

Владимир Владимирович Маяковский Избранное

М. Тужилин www.vmayakovsky.ru

Содержание

«Я САМ»	15
Поэмы	40
ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК	69
ВОЙНА И МИР	82
ЧЕЛОВЕК	123
150 000 000	160
ЛЮБЛЮ	218
IV ИНТЕРНАЦИОНАЛ	231
ПЯТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ	241
ПРО ЭТО	280
РАБОЧИМ КУРСКА,	346
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН	366
ЛЕТАЮЩИЙ ПРОЛЕТАРИЙ	466
ХОРОШО!	532
ВО ВЕСЬ ГОЛОС	640
Стихотворения	649
УТРО	650
ПОРТ	652
ИЗ УЛИЦЫ В УЛИЦУ	653
А ВЫ МОГЛИ БЫ?	655
ВЫВЕСКАМ	656
Я	657
ОТ УСТАЛОСТИ	661
АДИЩЕ ГОРОДА	662

НАТЕ!	663
НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ	664
КОФТА ФАТА	665
ПОСЛУШАЙТЕ!	666
А ВСЕ-ТАКИ	668
ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА	670
МАМА И УБИТЫЙ НЕМЦАМИ ВЕЧЕР	672
СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО	675
Я И НАПОЛЕОН	677
ВАМ!	681
ГИМН СУДЬЕ	682
ГИМН УЧЕНОМУ	684
ВОЕННО-МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ	686
ГИМН ЗДОРОВЬЮ	688
ГИМН КРИТИКУ	689
ГИМН ОБЕДУ	691
ВОТ ТАК Я И СДЕЛАЛСЯ СОБАКОЙ	693
ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ НЕЛЕПОСТИ	696
ГИМН ВЗЯТКЕ	698
ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К	700
ВЗЯТОЧНИКАМ	
ЧУДОВИЩНЫЕ ПОХОРОНЫ	702
ЭЙ!	705
КО ВСЕМУ	708
ЛИЛИЧКА!	714
НАДОЕЛО	717
ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА	720

ХВОИ	723
СЕБЕ, ЛЮБИМОМУ, ПОСВЯЩАЕТ ЭТИ СТРОКИ АВТОР	726
ПОСЛЕДНЯЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ СКАЗКА РОССИИ	729 732
БРАТЬЯ ПИСАТЕЛИ	734
РЕВОЛЮЦИЯ	737
СКАЗКА О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ К ОТВЕТУ!	746 747
НАШ МАРШ	749
ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ	751
ОДА РЕВОЛЮЦИИ	754
ПРИКАЗ ПО АРМИИ ИСКУССТВА	756
ПОЭТ РАБОЧИЙ	758
ТОЙ СТОРОНЕ	760
ЛЕВЫЙ МАРШ	763
ПОТЯСАЮЩИЕ ФАКТЫ	766
МЫ ИДЕМ	769
СОВЕТСКАЯ АЗБУКА	772
«Окна сатиры Роста» 1919-1920 годов	776
ПЕСНЯ РЯЗАНСКОГО МУЖИКА	777
* * *	779
* * *	780
ИСТОРИЯ ПРО БУБЛИКИ И ПРО БАБУ, НЕ ПРИЗНАЮЩУЮ РЕСПУБЛИКИ	781
КРАСНЫЙ ЕЖ	783
* * *	784

ЧАСТУШКИ	785
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ!	786
НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ	789
ОТНОШЕНИЕ К БАРЫШНЕ	794
ГЕЙНЕОБРАЗНОЕ	795
* * *	796
РАССКАЗ ПРО ТО, КАК КУМА О ВРАНГЕЛЕ ТОЛКОВАЛА ВЕЗ ВСЯКОГО УМА	797
СКАЗКА О ДЕЗЕРТИРЕ,	803
ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ	814
О ДРЯНИ	816
ДВА НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНЫХ СЛУЧАЯ	819
СТИХОТВОРЕНИЕ О МЯСНИЦКОЙ, О БАБЕ И О ВСЕРОССИЙСКОМ МАСШТАБЕ	826
ПРИКАЗ № 2 АРМИИ ИСКУССТВ	830
ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ	833
СВОЛОЧИ!	836
БЮРОКРАТИАДА	844
МОЯ РЕЧЬ НА ГЕНУЭЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ	851
ГЕРМАНИЯ	855
О ПОЭТАХ	859
О «ФИАСКАХ», «АПОГЕЯХ» И ДРУГИХ НЕВЕДОМЫХ ВЕЩАХ	865

ПАРИЖ	869
ГАЗЕТНЫЙ ДЕНЬ	875
МЫ НЕ ВЕРИМ!	881
ТРЕСТЫ	883
17 АПРЕЛЯ	887
ВЕСЕННИЙ ВОПРОС	890
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТВЕТ	894
ВОРОВСКИЙ	897
БАКУ	899
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ	902
НОРДЕРНЕЙ	904
МОСКВА – КЕНИГСБЕРГ	908
КИЕВ	914
УХ, И ВЕСЕЛО!	919
9-е ЯНВАРЯ	924
КОМСОМОЛЬСКАЯ	927
ЮБИЛЕЙНОЕ	934
ПРОЛЕТАРИЙ, В ЗАРОДЫШЕ ЗАДУШИ ВОЙНУ!	947
СЕВАСТОПОЛЬ – ЯЛТА	958
ВЛАДИКАВКАЗ – ТИФЛИС	962
ТАМАРА И ДЕМОН	969
ХУЛИГАНЩИНА	975
ПОСМЕЕМСЯ!	977
КРАСНАЯ ЗАВИСТЬ	980
ВЫВОЛАКИВАЙТЕ БУДУЩЕЕ!	986
Цикл стихотворений «Париж» (1925 год)	989

ГОРОД	992
ВЕРЛЕН И СЕЗАН	996
NOTRE-DAME	1005
ВЕРСАЛЬ	1010
ЖОРЕС	1015
ПРОЩАНИЕ	1019
ПРОЩАНИЕ	1025
Цикл «Стихи об Америке» (1925 год)	1026
6 МОНАХИНЬ	1028
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН	1032
МЕЛКАЯ ФИЛОСОФИЯ НА ГЛУБОКИХ МЕСТАХ	1038
БЛЕК ЭНД УАЙТ	1041
СИФИЛИС	1046
ХРИСТОФОР КОЛОМБ	1054
ТРОПИКИ	1064
МЕКСИКА	1067
БОГОМОЛЬНОЕ	1077
МЕКСИКА – НЬЮ-ЙОРК	1082
БРОДВЕЙ	1085
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ	1089
БАРЫШНЯ И ВУЛЬВОРТ	1094
НЕБОСКРЕБ В РАЗРЕЗЕ	1099
ПОРЯДОЧНЫЙ ГРАЖДАНИН	1103
ВЫЗОВ	1107
100%	1111
АМЕРИКАНСКИЕ РУССКИЕ	1116

БРУКЛИНСКИЙ МОСТ	1119
КЕМП «НИТ ГЕДАЙГЕ»	1125
ДОМОЙ!	1130
Стихотворения 1926 года	1134
МАРКСИЗМ – ОРУЖИЕ,	1142
ЧЕТЫРЕХЭТАЖНАЯ ХАЛТУРА	1148
РАЗГОВОР С ФИНИНСПЕКТОРОМ О	1154
ПОЭЗИИ	
ПЕРЕДОВАЯ ПЕРЕДОВОГО	1165
ВЗЯТОЧНИКИ	1170
В ПОВЕСТКУ ДНЯ	1177
ПРОТЕКЦИЯ	1181
ЛЮБОВЬ	1186
ПОСЛАНИЕ ПРОЛЕТАРСКИМ ПОЭТАМ	1192
ФАБРИКА БЮРОКРАТОВ	1200
ТОВАРИЩУ НЕТТЕ	1206
УЖАСАЮЩАЯ ФАМИЛЬЯРНОСТЬ	1210
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИВЫЧКИ	1212
ХУЛИГАН	1216
ХУЛИГАН	1221
РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ	1224
ДЕСАНТНЫХ СУДОВ: «СОВЕТСКИЙ	
ДАГЕСТАН» И «КРАСНАЯ АБХАЗИЯ»	
ПИСЬМО ПИСАТЕЛЯ ВЛАДИМИРА	1227
ВЛАДИМИРОВИЧА МАЯКОВСКОГО	
ПИСАТЕЛЮ АЛЕКСЕЮ МАКСИМОВИЧУ	
ГОРЬКОМУ	

ДОЛГ УКРАИНЕ	1236
ОКТЯБРЬ	1240
НЕ ЮБИЛЕЙТЕ!	1244
СТОЯЩИМ НА ПОСТУ	1250
О ТОМ,	1255
НАШЕ НОВОГОДИЕ	1260
СТАБИЛИЗАЦИЯ БЫТА	1264
БУМАЖНЫЕ УЖАСЫ	1269
НАШЕМУ ЮНОШЕСТВУ	1273
ПО ГОРОДАМ СОЮЗА	1280
МОЯ РЕЧЬ НА ПОКАЗАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО СЛУЧАЮ ВОЗМОЖНОГО СКАНДАЛА С ЛЕКЦИЯМИ ПРОФЕССОРА ШЕНГЕЛИ	1286
«ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?»	1291
«ДАЕШЬ ИЗЯЧНУЮ ЖИЗНЬ»	1296
ВМЕСТО ОДЫ	1301
ЛУЧШИЙ СТИХ	1306
«ЛЕНИН С НАМИ!»	1310
ВЕСНА	1317
ОСТОРОЖНЫЙ МАРШ	1322
ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ И ВЯЧЕСЛАВ ПОЛОНСКИЙ	1325
ГОСПОДИН «НАРОДНЫЙ АРТИСТ»	1332
НУ, ЧТО Ж!	1336
ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПОДХАЛИМ	1337

КРЫМ	1342
ТОВАРИЩ ИВАНОВ	1344
ПОСМОТРИМ САМИ, ПОКАЖЕМ ИМ	1348
ИВАН ИВАНОВИЧ ГОНОРАРЧИКОВ	1351
ЧУДЕСА!	1356
МАРУСЯ ОТРАВИЛАСЬ	1360
ПИСЬМО К ЛЮБИМОЙ МОЛЧАНОВА, БРОШЕННОЙ ИМ, «МАССАМ НЕПОНЯТНО»	1375
РАЗМЫШЛЕНИЯ О МОЛЧАНОВЕ ИВАНЕ И О ПОЭЗИИ	1380
БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ВЕТРИЛ	1383
ЕКАТЕРИНБУРГ – СВЕРДЛОВСК	1387
РАССКАЗ ЛИТЕЙЩИКА ИВАНА КОЗЫРЕВА О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ ИМПЕРАТОР	1391
ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ПЕСНЯ	1396
НАГРУЗКА ПО МАКУШКУ	1401
КТО ОН?	1404
СЛУЖАКА	1408
КРИТИКА САМОКРИТИКИ «ОБЩЕЕ» И «МОЕ»	1411
КАЗАНЬ	1416
ТРУС	1422
ПОМПАДУР	1428
СТИХ	1432
ЕВПАТОРИЯ	1437
	1442
	1446

ЗЕМЛЯ НАША ОБИЛЬНА	1448
ПЛЮШКИН	1452
ХАЛТУРЩИК	1456
СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ	1460
ГАЛОПЩИК ПО ПИСАТЕЛЯМ	1462
ИДИЛЛИЯ	1468
СТОЛП	1472
ПОДЛИЗА	1476
СПЛЕТНИК	1480
ХАНЖА	1484
СТИХИ О РАЗНИЦЕ ВКУСОВ	1488
ПИСЬМО ТОВАРИЩУ КОСТРОВУ ИЗ ПАРИЖА О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ	1489
ПИСЬМО ТАТЬЯНЕ ЯКОВЛЕВОЙ	1496
ОТВЕТ НА БУДУЩИЕ СПЛЕТНИ	1501
МРАЗЬ	1505
ПЕРЕКОПСКИЙ ЭНТУЗИАЗМ!	1508
РАЗГОВОР С ТОВАРИЩЕМ ЛЕНИНЫМ	1511
МРАЧНОЕ О ЮМОРИСТАХ	1515
УРОЖАЙНЫЙ МАРШ	1519
ДУША ОБЩЕСТВА	1522
КАНДИДАТ ИЗ ПАРТИИ	1525
ВОНЗАЙ САМОКРИТИКУ!	1527
НА ЗАПАДЕ ВСЕ СПОКОЙНО	1530
ПАРИЖАНКА	1535
КРАСАВИЦЫ	1539
СТИХИ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ	1542

АМЕРИКАНЦЫ УДИВЛЯЮТСЯ	1547
ПРИМЕР, НЕ ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ	1550
ПТИЧКА БОЖИЯ	1553
СТИХИ О ФОМЕ	1557
Я СЧАСТЛИВ!	1560
РАССКАЗ ХРЕНОВА О КУЗНЕЦКСТРОЕ И О ЛЮДЯХ КУЗНЕЦКА	1564
ОСОБОЕ МНЕНИЕ	1569
ДАЕШЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ БАЗУ!	1573
ЛЮБИТЕЛИ ЗАТРУДНЕНИЙ	1576
МАРШ УДАРНЫХ БРИГАД	1579
* * *	1583
ЛЕНИНЦЫ	1584
Во весь голос	1589
Лозунги 1929-1930 годов	1598
Лозунги по безопасности труда	1607
Лозунги для журнала «Даешь»	1610
Лозунги «Трудовая дисциплина» и «Агитационно-производственные»	1613
Антирелигиозные стихотворения	1621
КРЕСТИТЬ – ЭТО ТОЛЬКО ПОПАМ РУБЛИ СКРЕСТИ	1624
КРЕСТЬЯНЕ, СОБСТВЕННОЙ ВЫГОДЫ РАДИ ПОЙМИТЕ – ДЕЛО НЕ В ОБРЯДЕ ОТ ПОМИНОК И ПАНИХИД	1627
НА ГОРЕ БЕДНЕНЬКИМ, БОГАТЕЙШИМ НА СЧАСТЬЕ —	1630
	1633

ОТ ПРИМЕТ КРОМЕ ВРЕДА НИЧЕГО НЕТ	1636
НИ ЗНАХАРЬ, НИ БОГ,	1638
ПРОШЕНИЯ НА ИМЯ БОГА —	1640
ПРО ФЕКЛУ, АКУЛИНУ, КОРОВУ И БОГА	1642
НИ ЗНАХАРСТВО, НИ БЛАГОДАТЬ БОГА	1645
ТОВАРИЩИ КРЕСТЬЯНЕ, ВДУМАЙТЕСЬ	1648
РАЗ ХОТЬ —	
ПРО ТИТА И ВАНЬКУ. СЛУЧАЙ,	1650
ПОП	1652
Стихи детям	1654
ЧТО НИ СТРАНИЦА, – ТО СЛОН, ТО	1659
ЛЬВИЦА	
ЭТА КНИЖЕЧКА МОЯ ПРО МОРЯ И ПРО	1662
МАЯК	
КОНЬ-ОГОНЬ	1665
ПРОЧТИ И КАТАЙ В ПАРИЖ И КИТАЙ	1670
ВОЗЬМЕМ ВИНТОВКИ НОВЫЕ	1679
МАЙСКАЯ ПЕСЕНКА	1682
КЕМ БЫТЬ	1684
ПЕСНЯ-МОЛНИЯ	1694
Пьесы	1696
МИСТЕРИЯ-БУФФ	1722
КЛОП	1859
БАНЯ	1928
Примечания	1999

Владимир Маяковский

Избранное

«Я САМ»

ТЕМА

Я-поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу. Об остальном – только если это отстоялось словом.

ПАМЯТЬ

Бурлюк говорил: у Маяковского память, что дорога в Полтаве, – каждый галошу оставит. Но лица и даты не запоминаю. Помню только, что в 1100 году куда-то переселялись какие-то «доряне». Подробностей этого дела не помню, но, должно быть, дело серьезное. Запоминать же – «Сие написано 2 мая. Павловск. Фонтаны» – дело вовсе мелкое. Поэтому свободно плаваю по своей хронологии.

ГЛАВНОЕ

Родился 7 июля 1894 года (или 93 – мнения мамы и послужного списка отца расходятся. Во всяком случае, не раньше). Родина – село Багдади, Кутаисская губерния, Грузия.

СОСТАВ СЕМЬИ

Отец: Владимир Константинович (багдадский лесни-

чий), умер в 1906 году.

Мама: Александра Алексеевна.

Сестры:

а) Люда.

б) Оля.

Других Маяковских, по-видимому, не имеется.

1-е ВОСПОМИНАНИЕ

Понятия живописные. Место неизвестно. Зима. Отец выписал журнал «Родина». У «Родины» «юмористическое» приложение. О смешных говорят и ждут. Отец ходит и поет свое всегдашнее «алон занфан де ля по четыре». «Родина» пришла. Раскрываю и сразу (картинка) ору: «Как смешно! Дядя с тетей целуются». Смеялись. Позднее, когда пришло приложение и надо было действительно смеяться, выяснилось – раньше смеялись только надо мной. Так разошлись наши понятия о картинках и юморе.

2-е ВОСПОМИНАНИЕ

Понятия поэтические. Лето. Приезжает масса. Красивый длинный студент – Б. П. Глушковский. Рисует. Кожаная тетрадища. Блестящая бумага. На бумаге длинный человек без штанов (а может, в обтяжку) перед зеркалом. Человека зовут «Евгенионегиным». И Боря был длинный, и нарисованный был длинный. Ясно. Борю я и с читал этим самым «Евгенионегиным». Мнение держалось года три.

3-е ВОСПОМИНАНИЕ

Практические понятия. Ночь. За стеной бесконечный шепот мамы и папы. О рояли. Всю ночь не спал. Свербила одна и та же фраза. Утром бросился бежать бегом: «Папа, что такое рассрочка платежа?» Объяснение очень понравилось.

ДУРНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Лето. Потрясающие количества гостей. Накапливаются именины. Отец хвастается моей памятью. Ко всем именинам меня заставляют заучивать стихи. Помню специально для папиных именин:

Как-то раз перед толпою
Соплеменных гор...

«Соплеменные» и «скалы» меня раздражали. Кто они такие, я не знал, а в жизни они не желали мне попадаться. Позднее я узнал, что это поэтичность, и стал тихо ее ненавидеть.

КОРНИ РОМАНТИЗМА

Первый дом, вспоминаемый отчетливо. Два этажа. Верхний – наш. Нижний – винный заводик. Раз в году – арбы винограда. Давили. Я ел. Они пили. Все это территория стариннейшей грузинской крепости под Багдадами. Крепость очетыреугольнивается крепостным валом. В углах валов – накаты для пушек. В валах бойницы. За валами рвы. За рвами леса и шакалы. Над лесами горы. Подрос. Бегал на самую высокую. Сни-

жаются горы к северу. На севере разрыв. Мечталось – это Россия. Тянуло туда невероятнейше.

НЕОБЫЧАЙНОЕ

Лет семь. Отец стал брать меня в верховые объезды лесничества. Перевал. Ночь. Обстигло туманом. Даже отца не видно. Тропка узейшая. Отец, очевидно, отдернул рукавом ветку шиповника. Ветка с размаху шипами в мои щеки. Чуть повизгивая, вытаскиваю колючки. Сразу пропали и туман и боль. В расступившемся тумане под ногами – ярче неба. Это электричество. Клепачный завод князя Накашидзе. После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь.

УЧЕНИЕ

Учила мама и всякоюродные сестры. Арифметика казалась неправдоподобной. Приходится рассчитывать яблоки и груши, раздаваемые мальчикам. Мне же всегда давали и я всегда давал без счета. На Кавказе фруктов сколько угодно. Читать выучился с удовольствием.

ПЕРВАЯ КНИГА

Какая-то «Птичница Агафья». Если б мне в то время попало несколько таких книг – бросил бы читать со всем. К счастью, вторая – «Дон-Кихот». Вот это книга! Сделал деревянный меч и латы, разил окружающее.

ЭКЗАМЕН

Переехали. Из Багдад в Кутаис. Экзамен в гимна-

зию. Выдержал. Спросили про якорь (на моем рукаве) – знал хорошо. Но священник спросил – что такое «око». Я ответил: «Три фунта» (так по грузински). Мне объяснили любезные экзаменаторы, что «око» – это «глаз» по-древнему, церковнославянскому. Из-за этого чуть не провалился. Поэтому возненавидел сразу – все древнее, все церковное и все славянское. Возможно, что отсюда пошли и мой футуризм, и мой атеизм, и мой интернационализм.

ГИМНАЗИЯ

Приготовительный, 1-й и 2-й. Иду первым. Весь в пятерках. Читаю Жуля Верна. Вообще фантастическое. Какой-то бородач стал во мне обнаруживать способности художника. Учит даром.

ЯПОНСКАЯ ВОЙНА

Увеличилось количество газет и журналов дома. «Русские ведомости», «Русское слово», «Русское богатство» и прочее. Читаю все. Безотчетно взвинчен. Восхищают открытки крейсеров. Увеличиваю и перерисовываю. Появилось слово «прокламация». Прокламации вешали грузины. Грузинов вешали казаки. Мои товарищи грузины. Я стал ненавидеть казаков.

НЕЛЕГАЛЬЩИНА

Приехала сестра из Москвы. Восторженная. Тайком дала мне длинные бумажки. Нравилось: очень рискованно. Помню и сейчас. Первая:

Опомнись, товарищ, опомнись-ка, брат,
скорей брось винтовку на землю.

И еще какое-то, с окончанием;

...а не то путь иной —
к немцам с сыном, с женой и с мамашей...

(о царе).

Это была революция. Это было стихами. Стихи и революция как-то объединились в голове.

905-й ГОД

Не до учения. Пошли двойки. Перешел в четвертый только потому, что мне расшибли голову камнем (на Рионе подрался), – на переэкзаменовках пожалели. Для меня революция началась так: мой товарищ, повар священника – Исидор, от радости босой вскочил на плиту – убили генерала Алиханова. Усмиритель Грузии. Пошли демонстрации и митинги. Я тоже пошел. Хорошо. Воспринимаю живописно: в черном анархисты, в красном эсеры, в синем эсдеки, в остальных цветах федералисты.

СОЦИАЛИЗМ

Речи, газеты. Из всего – незнакомые понятия и слова. Требую у себя объяснений. В окнах белые книжцы. «Буревестник». Про то же. Покупаю все. Вставал в шесть утра. Читал запоем. Первая: «Долой социал-де-

мократов». Вторая: «Экономические беседы». На всю жизнь поразила способность социалистов распутывать факты, систематизировать мир. «Что читать?» — кажется, Рубакина. Перечитал советуемое. Много не понимаю. Спрашиваю. Меня ввели в марксистский кружок. Попал на «Эрфуртскую». Середина. О «лупенпролетариате». Стал считать себя социал-демократом: стащил отцовские берданки в эсдечий комитет. Фигурой нравился Лассаль. Должно быть, оттого, что без бороды. Моложавей. Лассаль у меня перепутался с Демосфеном. Хожу на Рион. Говорю речи, набрав камни в рот.

РЕАКЦИЯ

По-моему, началось со следующего: при панике (может, разгоне) в демонстрацию памяти Баумана мне (упавшему) попало большущим барабанищем по голове. Я испугался, думал — сам треснул.

906-й ГОД

Умер отец. Уколол палец (сшивал бумаги). Заражение крови. С тех пор терпеть не могу булавок. Благополучие кончилось. После похорон отца — у нас 3 рубля. Инстинктивно, лихорадочно мы распродали столы и стулья. Двинулись в Москву. Зачем? Даже знакомых не было.

ДОРОГА

Лучше всего — Баку. Вышки, цистерны, лучшие духи — нефть, а дальше степь. Пустыня даже.

МОСКВА

Остановились в Разумовском. Знакомые сестры – Плотниковы. Утром паровиком в Москву. Сняли квартиру на Бронной.

МОСКОВСКОЕ

С едами плохо. Пенсия – 10 рублей в месяц. Я и две сестры учимся. Маме пришлось давать комнаты и обеды. Комнаты дрянные. Студенты жили бедные. Социалисты. Помню – первый передо мной «большевик» Вася Канделаки.

ПРИЯТНОЕ

Послан за керосином. 5 рублей. В колониальной дали сдачи 14 рублей 50 копеек; 10 рублей – чистый заработок. Совесть. Обошел два раза магазин («Эрфуртская» заела). – Кто обсчитался, хозяин или служащий, – тихо расспрашиваю приказчика. – Хозяин! – Купил и съел четыре цукатных хлеба. На остальные गया в лодке по Патриаршим прудам. Видеть с тех пор цукатных хлебов не могу.

РАБОТА

Денег в семье нет. Пришлось выжигать и рисовать. Особенно запомнились пасхальные яйца. Круглые, вертятся и скрипят, как двери. Яйца продавал в кустарный магазин на Неглинной. Штука 10-15 копеек. С тех пор бесконечно ненавижу Бемов, русский стиль и кустарщину.

ГИМНАЗИЯ

Перевелся в 4-й класс пятой гимназии. Единицы, слабо разнообразяемые двойками. Под партой «АнтиДюринг».

ЧТЕНИЕ

Беллетристики не признавал совершенно. Философия. Гегель. Естествознание. Но главным образом марксизм. Нет произведения искусства, которым бы я увлекся более, чем «Предисловием» Маркса. Из комнат студентов шла нелегальщина. «Тактика уличного боя» и т. д. Помню отчетливо синенькую ленинскую «Две тактики». Нравилось, что книга срезана до букв. Для нелегального просовывания. Эстетика максимальной экономии.

ПЕРВОЕ ПОЛУСТИХОТВОРЕНИЕ

Третья гимназия издавала нелегальный журнальчик «Порыв». Обиделся. Другие пишут, а я не могу?! Стал скрипеть. Получилось невероятно революционно и в такой же степени безобразно. Вроде теперешнего Кириллова. Не помню ни строки. Написал второе. Вышло лирично. Не считая таковое состояние сердца совместимым с моим «социалистическим достоинством», бросил вовсе.

ПАРТИЯ

1908 год. Вступил в партию РСДРП (большевиков). Держал экзамен в торгово-промышленном подрайоне. Выдержал. Пропагандист. Пошел к булочникам, потом к сапожникам и наконец к типографщикам. На общего-

родской конференции выбрали в МК. Были Ломов, Поволжец, Смидович и другие. Звался «товарищем Константином». Здесь работать не пришлось – взяли.

АРЕСТ

29 марта 1908 г. нарвался на засаду в Грузинах. Наша нелегальная типография. Ел блокнот. С адресами и в переплете. Пресненская часть. Охранка. Суцевская Часть. Следователь Вольтановский (очевидно, считал себя хитрым) заставил писать под диктовку: меня обвиняли в писании прокламации. Я безнадежно перевернул диктант. Писал: «социальдимократическая». Возможно, провел. Выпустили на поруки. В части с недоумением прочел «Санина». Он почему-то в каждой части имелся. Очевидно, душеспасителен. Вышел. С год – партийная работа. И опять кратковременная сидка. Взяли револьвер. Махмудбеков, друг отца, тогда помощник начальника Крестов, арестованный случайно у меня в засаде, заявил, что револьвер его, и меня выпустили.

ТРЕТИЙ АРЕСТ

Живущие у нас (Коридзе (нелегалын. Морчадзе), Герулайтис и др.) ведут подкоп под Таганку. Освободят женщин-каторжан. Удалось устроить побег из Новинской тюрьмы. Меня забрали. Сидеть не хотел. Скандалил. Переводили из части в часть – Басманная, Мещанская, Мясницкая и т. д. – и наконец – Бутырки. Одиночка № 103.

11 БУТЫРСКИХ МЕСЯЦЕВ

Важнейшее для меня время. После трех лет теории и практики – бросился на беллетристику. Перечел все новейшее. Символисты – Белый, Бальмонт. Разобрала формальная новизна. Но было чуждо. Темы, образы не моей жизни. Попробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось так же про другое – нельзя. Вышло ходульно и ревлаксиво. Что-то вроде:

В золото, в пурпур леса одевались,
Солнце играло на главах церквей.
Ждал я: но в месяцах дни потерялись,
Сотни томительных дней.

Исписал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям – при выходе отобрали. А то б еще напечатал! Отчитав современность, обрушился на классиков. Байрон, Шекспир, Толстой. Последняя книга – «Анна Каренина». Не дочитал. Ночью вызвали «с вещами по городу». Так и не знаю, чем у них там, у Карениных, история кончилась.

Меня выпустили. Должен был (охранка постановила) идти на три года в Туруханск. Махмудбеков отхлопотал меня у Курлова.

Во время сидки судили по первому делу – виновен, но летами не вышел. Отдать под надзор полиции и под родительскую ответственность.

ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ДИЛЕММА

Вышел взбудораженный. Те, кого я прочел, – так называемые великие. Но до чего же нетрудно писать лучше них. У меня уже и сейчас правильное отношение к миру. Только нужен опыт в искусстве. Где взять? Я неуч. Я должен пройти серьезную школу. А я вышиблен даже из гимназии, даже и из Строгановского. Если остаться в партии – надо стать нелегальным. Нелегальным, казалось мне, не научишься. Перспектива – всю жизнь писать летучки, выкладывать мысли, взятые из правильных, но не мной придуманных книг. Если из меня вытряхнуть прочитанное, что останется? Марксистский метод. Но не в детские ли руки попало это оружие? Легко орудовать им, если имеешь дело только с мыслью своих. А что при встрече с врагами? Ведь вот лучше Белого я все-таки не могу написать. Он про свое весело – «в небеса запустил ананасом», а я про свое ною – «сотни томительных дней». Хорошо другим партийцам. У них еще и университет. (А высшую школу – я еще не знал, что это такое, – я тогда уважал!) Что я могу противопоставить навалившейся на меня эстетике старья? Разве революция не потребует от меня серьезной школы? Я зашел к тогда еще товарищу по партии – Медведеву. Хочу делать социалистическое искусство. Сережа долго смеялся: кишка тонка. Думаю все-таки, что он недооценил мои кишки. Я прервал партийную работу. Я сел учиться.

НАЧАЛО МАСТЕРСТВА

Думалось – стихов писать не могу. Опыты плачевные. Взялся за живопись. Учился у Жуковского. Вместе с какими-то дамочками писал серебрянские сервизики. Через год догадался – учусь рукоделию. Пошел к Келину. Реалист. Хороший рисовальщик. Лучший учитель. Твердый. Меняющийся.

Требование – мастерство, Гольбейн. Терпеть не могущий красивенькое.

Поэт почитаемый – Саша Черный. Радовал его антиэстетизм.

ПОСЛЕДНЕЕ УЧИЛИЩЕ

Сидел на «голове» год. Поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества: единственное место, куда приняли без свидетельства о благонадежности. Работал хорошо. Удивило: подражателей лелеют – самостоятельных гонят. Ларионов, Машков. Ревинстинктом стал за выгоняемых.

ДАВИД БУРЛЮК

В училище появился Бурлюк. Вид наглый. Лорнетка. Сюртук. Ходит напевая. Я стал задирать. Почти задралась.

В КУРИЛКЕ

Благородное собрание. Концерт. Рахманинов. Остров мертвых. Бежал от невыносимой мелодизированной скуки. Через минуту и Бурлюк. Расхохотались друг в друга. Вышли шляться вместе.

ПАМЯТНЕЙШАЯ НОЧЬ

Разговор. От скуки рахманиновской перешли на училищную, от училищной – на всю классическую скуку. У Давида – гнев обогнавшего современников мастера, у меня – пафос социалиста, знающего неизбежность крушения старья. Родился российский футуризм.

СЛЕДУЮЩАЯ

Днем у меня вышло стихотворение. Вернее – куски. Плохие. Нигде не напечатаны. Ночь. Сретенский бульвар. Читаю строки Бурлюку. Прибавляю – это один мой знакомый. Давид остановился. Осмотрел меня. Рывнул: «Да это же ж вы сами написали! Да вы же ж гениальный поэт!» Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом.

БУРЛЮЧЬЕ ЧУДАЧЕСТВО

Уже утром Бурлюк, знакомя меня с кем-то, басил: «Не знаете? Мой гениальный друг. Знаменитый поэт Маяковский». Толкаю. Но Бурлюк непреклонен. Еще и рычал на меня, отойдя: «Теперь пишите. А то вы меня ставите в глупейшее положение».

ТАК ЕЖЕДНЕВНО

Пришлось писать. Я и написал первое (первое профессиональное, печатаемое) – «Багровый и белый» и другие.

ПРЕКРАСНЫЙ БУРЛЮК

Всегдашней любовью думаю о Давиде. Прекрасный друг. Мой действительный учитель. Бурлюк сделал меня поэтом. Читал мне французов и немцев. Всовывал книги. Ходил и говорил без конца. Не отпускал ни на шаг. Выдавал ежедневно 50 копеек. Чтоб писать не голодая. На Рождество завез к себе в Новую Маячку. Привез «Порт» и другое.

«ПОЩЕЧИНА»

Из Маячки вернулись. Если с неотчетливыми взглядами, то с отточенными темпераментами. В Москве Хлебников. Его тихая гениальность тогда была для меня совершенно затемнена бурлящим Давидом. Здесь же вился футуристический иезуит слова – Крученых. После нескольких ночей лирики родили совместный манифест. Давид собирал, переписывал, вдвоем дали имя и выпустили «Пощечину общественному вкусу».

ПОШЕВЕЛИВАЮТСЯ

Выставки «Бубновый валет». Диспуты. Разъяренные речи мои и Давида. Газеты стали заполняться футуризмом. Тон был не очень вежливый. Так, например, меня просто называли «сукиным сыном».

ЖЕЛТАЯ КОФТА

Костюмов у меня не было никогда. Были две блузы – гнуснейшего вида. Испытанный способ – украшаться галстуком. Нет денег. Взял у сестры кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор. Значит, самое заметное и красивое в человеке – галстук. Очевидно – увеличишь гал-

стук, увеличится и фурор. А так как размеры галстуков ограничены, я пошел на хитрость: сделал галстукую рубашку и рубашковый галстук. Впечатление неотра- зимое.

РАЗУМЕЕТСЯ

Генералитет искусства ощерился. Князь Львов. Ди- ректор училища. Предложил прекратить критику и аги- тацию. Отказались.

Совет «художников» изгнал нас из училища.

ВЕСЕЛЫЙ ГОД

Ездили Россией. Вечера. Лекции. Губернаторство настораживалось. В Николаеве нам предложили не ка- саться ни начальства, ни Пушкина. Часто обрывались полицией на полуслове доклада. К ватаге присоеди- нился Вася Каменский. Старейший футурист.

Для меня эти годы – формальная работа, овладение словом.

Издатели не брали нас. Капиталистический нос чу- ял в нас динамитчиков. У меня не покупали ни одной строчки.

Возвращаясь в Москву – чаще всего жил на бульва- рах.

Это время завершилось трагедией «Владимир Мая- ковский». Поставлена в Петербурге. Луна-Парк. Прос- вистели ее до дырок.

НАЧАЛО 14-го ГОДА

Чувствую мастерство. Могу овладеть темой. Вплот-

ную. Ставлю вопрос о теме. О революционной. Думаю над «Облаком в штанах».

ВОЙНА

Принял взволнованно. Сначала только с декоративной, с шумовой стороны. Плакаты заказные и, конечно, вполне военные. Затем стих. «Война объявлена».

АВГУСТ

Первое сражение. Влотною встал военный ужас. Война отвратительна. Тыл еще отвратительней. Чтобы сказать о войне – надо ее видеть. Пошел записываться добровольцем. Не позволили. Нет благонадежности. И у полковника Модля оказалась одна хорошая идея.

ЗИМА

Отвращение и ненависть к войне. «Ах, закройте, закройте глаза газет» и другие.

Интерес к искусству пропал вовсе.

МАЙ

Выиграл 65 рублей. Уехал в Финляндию. Куоккала.

КУОККАЛА

Семизнакомая система (семипольная). Установил семь обедающих знакомств. В воскресенье «ем» Чуковского, понедельник – Евреинова и т. д. В четверг было хуже – ем репинские травки. Для футуриста ростом в сажень – это не дело.

Вечера шатаюсь пляжем. Пишу «Облако».

Выкрепло сознание близкой революции.

Поехал в Мустамяки. М. Горький. Читал ему части

«Облака». Расчувствовавшийся Горький обплакал мне весь жилет. Расстроил стихами. Я чуть загордился.

Скоро выяснилось, что Горький рыдает на каждом поэтическом жилете.

Все же жилет храню. Могу кому-нибудь уступить для провинциального музея.

«НОВЫЙ САТИРИКОН»

65 рублей прошли легко и без боли. «В рассуждении чего б покушать» стал писать в «Новом сатириконе».

РАДОСТНЕЙШАЯ ДАТА

Июль 915-го года. Знакомлюсь с Л. Ю. и О. М. Бриками.

ПРИЗЫВ

Забрили. Теперь идти на фронт не хочу. Притворился чертежником. Ночью учусь у какого-то инженера чертить авто. С печатанием еще хуже. Солдатам запрещают. Один Брик радуется. Покупает все мои стихи по 50 копеек строку. Напечатал «Флейту позвоночника» и «Облако». Облако вышло перистое. Цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек.

С тех пор у меня ненависть к точкам. К запятым тоже.

СОЛДАТЧИНА

Паршивейшее время. Рисую (изворачиваюсь) начальниковы портреты. В голове разворачивается «Война и мир», в сердце – «Человек».

16-й ГОД

Окончена «Война и мир». Немного позднее – «Человек». Куски печатаю в «Летописи». На военщину нагло не показываюсь.

26 ФЕВРАЛЯ, 17-й ГОД

Пошел с автомобилями к Думе. Влез в кабинет Родзянки. Осмотрел Милюкова. Молчит. Но мне почему-то кажется, что он заикается. Через час надоели. Ушел. Принял на несколько дней команду Автошколой. Гучковееет. Старое офицерье по-старому расхаживает в Думе. Для меня ясно – за этим неизбежно сейчас же социалисты. Большевики. Пишу в первые же дни революции Поэтохронику «Революция». Читаю лекции – «Большевики искусства».

АВГУСТ

Россия понемногу откереенщивается. Потеряли уважение. Ухожу из «Новой жизни». Задумываю «Мистерию-Буфф».

ОКТЯБРЬ

Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня (и для других москвичей-футуристов) не было. Моя революция. Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось. Начинают заседать.

ЯНВАРЬ

Заехал в Москву. Выступаю. Ночью «Кафе поэтов» в Настасьинском. Революционная бабушка теперешних кафе-поэтных салончиков. Пишу киносценарии. Играю сам. Рисую для кино плакаты. Июнь. Опять Петербург.

18-й ГОД

РСФСР – не до искусства. А мне именно до него. Заходил в Пролеткульт к Кшесинской. Отчего не в партии? Коммунисты работали на фронтах. В искусстве и просвещении пока соглашатели. Меня послали б ловить рыбу в Астрахань.

25 ОКТЯБРЯ, 18-й ГОД

Окончил мистерию. Читал. Говорят много. Поставил Мейерхольд с К. Малевичем. Ревели вокруг страшно. Особенно коммунистическая интеллигенция. Андреева чего-чего не делала. Чтоб мешать. Три раза поставили – потом расколотили. И пошли «Макбеты».

19-й ГОД

Езжу с мистерией и другими вещами моими и товарищей по заводам. Радостный прием. В Выборгском районе организуется комфут, издаем «Искусство коммуны». Академии трещат. Весной переезжаю в Москву.

Голову охватила «150000000». Пошел в агитацию РОСТА.

20-й ГОД

Кончил «Сто пятьдесят миллионов». Печатаю без фамилии. Хочу, чтоб каждый дописывал и лучшил. Этого не делали, зато фамилию знали все. Все равно. Печатаю здесь под фамилией.

Дни и ночи РОСТА. Наступают всяческие Деникины. Пишу и рисую. Сделал тысячи три плакатов и тысяч шесть подписей.

21-й ГОД

Пробиваясь сквозь все волокиты, ненависти, канцелярщины и тупости – ставлю второй вариант мистерию.

Идет в РСФСР – в режиссуре Мейерхольда с художниками Лавинским, Храковским, Киселевым и в цирке на немецком языке для III конгресса Коминтерна. Ставит Грановский с Альтманом и Равделем. Прошло около ста раз.

Стал писать в «Известиях».

22-й ГОД

Организую издательство МАФ. Собираю футуристов – коммуны. Приехали с Дальнего Востока Асеев, Третьяков и другие товарищи по дракам. Начал записывать работанный третий год «Пятый Интернационал». Утопия. Будет показано искусство через 500 лет.

23-й ГОД

Организуем «Леф». «Леф» – это охват большой социальной темы всеми орудиями футуризма. Этим определением, конечно, вопрос не исчерпывается, – интересующихся отсылаю к N%N%. Сплотились тесно: Брик, Асеев, Кушнер, Арватов, Третьяков, Родченко, Лавинский.

Написал: «Про это». По личным мотивам об общем быте. Начал обдумывать поэму «Ленин». Один из лозунгов, одно из больших завоеваний «Лефа» – деэстетизация производственных искусств, конструктивизм. Поэтическое приложение: агитка и агитка хозяйствен-

ная – реклама. Несмотря на поэтическое улюлюканье, считаю «Нигде кроме как в Моссельпроме» поэзией самой высокой квалификации.

24-й ГОД

«Памятник рабочим Курска». Многочисленные лекции по СССР о «Лефе». «Юбилейное» – Пушкину. И стихи этого типа – цикл. Путешествия: Тифлис, Ялта – Севастополь. «Тамара и Демон» и т. д. Закончил поэму «Ленин». Читал во многих рабочих собраниях. Я очень боялся этой поэмы, так как легко было снизиться до простого политического пересказа. Отношение рабочей аудитории обрадовало и утвердило в уверенности нужности поэмы. Много ездю за границу. Европейская техника, индустриализм, всякая попытка соединить их с еще непролазной бывшей Россией – всегдашняя идея футуриста-лефовца.

Несмотря на неутешительные тиражные данные о журнале, «Леф» ширится в работе.

Мы знаем эти «данные» – просто частая канцелярская незаинтересованность в отдельных журналах большого и хладнокровного механизма ГИЗа.

25-й ГОД

Написал агитпоэму «Летающий пролетарий» и сборник агитстихов «Сам пройдишь по небесам». Еду вокруг земли. Начало этой поездки – последняя поэма (из отдельных стихов) на тему «Париж». Хочу и перейду со стиха на прозу. В этот год должен закончить первый

роман.

«Вокруг» не вышло. Во-первых, обокрали в Париже, во-вторых, после полугода езды пулей бросился в СССР. Даже в Сан-Франциско (звали с лекцией) не поехал. Изъездил Мексику, С.—А. С. Ш. и куски Франции и Испании. Результат — книги: публицистика-проза — «Мое открытие Америки» и стихи — «Испания», «Атлантический океан», «Гаванна», «Мексика», «Америка». Роман дописал в уме, а на бумагу не перевел, потому что: пока дописывалось, проникался ненавистью к выдуманному и стал от себя требовать, чтобы на фамилии, чтоб на факте. Впрочем, это и на 26-й — 27-й годы.

1926-й ГОД

В работе сознательно перевожу себя на газетчика. Фельетон, лозунг. Поэты улюлюкают — однако сами газетничать не могут, а больше печатаются в безответственных приложениях. А мне на их лирический вздор смешно смотреть, настолько этим заниматься легко и никому, кроме супруги, не интересно.

Пишу в «Известиях», «Труде», «Рабочей Москве», «Заре Востока», «Бакинском рабочем» и других. Вторая работа — продолжаю прерванную традицию трубачуров и менестрелей. Езжу по городам и читаю. Новочеркасск, Винница, Харьков, Париж, Ростов, Тифлис, Берлин, Казань, Свердловск, Тула, Прага, Ленинград, Москва, Воронеж, Ялта, Евпатория, Вятка, Уфа и т. д.,

и т. д., и т. д.

1927-й ГОД

Восстанавливаю (была проба «сократить») «Леф», уже «Новый». Основная позиция: против выдумки, эстетизации и психоложества искусством – за агит, за квалифицированную публицистику и хронику. Основная работа в «Комсомольской правде», и сверхурочно работаю «Хорошо».

«Хорошо» считаю программной вещью, вроде «Облака в штанах» для того времени. Ограничение отвлеченных поэтических приемов (гиперболы, виньеточного самоценного образа) и изобретение приемов для обработки хроникального и агитационного материала.

Иронический пафос в описании мелочей, но могущих быть и верным шагом в будущее («сыры не засижены – лампы сияют, цены снижены»), введение, для перебивки планов, фактов различного исторического калибра, законных только в порядке личных ассоциаций («Разговор с Блоком», «Мне рассказывал тихий еврей, Павел Ильич Лавут»).

Буду разрабатывать намеченное.

Еще: написаны – сценарии и детские книги.

Еще продолжал менестрелить. Собрал около 20000 записок, думаю о книге «Универсальный ответ» (записочникам). Я знаю, о чем думает читающая масса.

1928-й ГОД

Пишу поэму «Плохо». Пьесу и мою литературную биографию. Многие говорили: «Ваша автобиография не очень серьезна». Правильно. Я еще не заакадемичился и не привык нянчиться со своей персоной, да и дело мое меня интересует, только если это весело. Подъем и опадание многих литератур, символисты, реалисты и т. д., наша борьба с ними – все это, шедшее на моих глазах: это часть нашей весьма серьезной истории. Это требует, чтобы об нем написать. И напишу.

1922. 1928

Поэмы ОБЛАКО В ШТАНАХ

Тетраптих

(Вступление)

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут:
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,
иду – красивый,
двадцатидвухлетний.

Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,

чтобы были одни сплошные губы!

Приходите учиться —
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите —
буду от мяса бешеный
– и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а – облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца!
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.

1

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было,
было в Одессе.

«Приду в четыре», – сказала Мария.
Восемь.

Девять.
Десять.

Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрь.

В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце – холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.

И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.

Будет любовь или нет?

Какая —

большая или крошечная?

Откуда большая у тела такого:

должно быть, маленький,
смирный любеночек.

Она шарахается автомобильных гудков.

Любит звоночки коночек.

Еще и еще,

уткнувшись дождю

лицом в его лицо рябое,

жду,

обрызганный громом городского прибоа.

Полночь, с ножом мечась,

догнала,

зарезала, —

вон его!

Упал двенадцатый час,

как с плахи голова казненного.

В стеклах дождинки серые

свылись,

гримасу громадили,

как будто воют химеры

Собора Парижской Богоматери.

Проклятая!

Что же, и этого не хватает?
Скоро криком издерется рот.
Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот, —
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы —
большие,
маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже

у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится, —
из тины не вытянутся отяжелевшему глазу.

Двери вдруг заляскали,

будто у гостиницы
не попадает зуб на зуб.

Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
"Знаете —
я выхожу замуж".

Что ж, выходите.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите – спокоен как!
Как пульс
покойника.
Помните?
Вы говорили:
"Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть", —
а я одно видел:
вы – Джоконда,
которую надо украсть!
И украли.

Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей загиб.
Что же!

И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!

Дразните?

"Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий".

Помните!

Погибла Помпея,
когда раздражили Везувий!

Эй!

Господа!

Любители

святотатств,

преступлений,

боев, —

а самое страшное

видели —

лицо мое,

когда

я

абсолютно спокоен?

И чувствую —

"я"

для меня мало.

Кто-то из меня вырывается упрямо.

Алло!

Кто говорит?

Мама?

Мама!

Ваш сын прекрасно болен!

Мама!

У него пожар сердца.

Скажите сестрам, Люде и Оле, —
ему уже некуда деться.

Каждое слово,

даже шутка,

которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.

Люди нюхают —

запахло жареным!

Нагнали каких-то.

Блестящие!

В касках!

Нельзя сапожища!

Скажите пожарным:

на сердце горящее лезут в ласках.

Я сам.

Глаза наслезненные бочками выкачу.

Дайте о ребра опереться.

Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!

Рухнули.

Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем

из трещины губ

обугленный поцелушко броситься вырос.

Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так страх
схватиться за небо
высил
горящие руки «Лузитании».

Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний, —
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!

2

Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю «nihil».

Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?

Что книги!

Я раньше думал —
книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак —
пожалуйста!

А оказывается —
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размозолев от брожения,
и тихо барахтаются в тине сердца
глупая вобла воображения.
Пока выкипчивают, рифмами пиликают,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.

Городов вавилонские башни,
возгордясь, возносим снова,
а бог
города на пашни
рушит,
мешая слово.

Улица муку молча перла.
Крик торчком стоял из глотки.
Топорщились, застрявшие поперек горла,
пухлые taxi и костлявые пролетки
грудь испешеходили.

Чахотки плоче.
Город дорогу мраком запер.

И когда —
все-таки! —
выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступившую на горло паперть,
думалось:
в хорах архангелова хорала
бог, ограбленный, идет карать!

А улица присела и заорала:
«Идемте жрать!»

Гримируют городу Круппы и Круппики
грозящих бровей морщь,
а во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея —
«сволочь»
и еще какое-то,
кажется, «борщ».

Поэты,
размокшие в плаче и всхлипе,
бросились от улицы, ероша космы:
"Как двумя такими выпеть
и барышню,
и любовь,

и цветочек под росами?"

А за поэтами —

уличные тыщи:

студенты,

проститутки,

подрядчики.

Господа!

Остановитесь!

Вы не нищие,

вы не смеете просить подачки!

Нам, здоровенным,

с шагом саженьим,

надо не слушать, а рвать их —

их,

присосавшихся бесплатным приложением

к каждой двуспальной кровати!

Их ли смиренно просить:

«Помоги мне!»

Молить о гимне,

об оратории!

Мы сами творцы в горящем гимне —

шуме фабрики и лаборатории.

Что мне до Фауста,

феерией ракет

скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!

Я знаю —

гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гете!

Я,
златоустейший,
чье каждое слово
душу новородит,
именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Слушайте!
Проповедует,
мечась и стена,
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!
Мы
с лицом, как заспанная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра,
мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъязвили проказу, —
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!

Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоты в оспе.
Я знаю —

солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!

Жилы и мускулы – молитв верней.
Нам ли вымаливать милостей времени!
Мы —
каждый —
держим в своей пятерне
миров приводные ремни!

Это взвело на Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
и не было ни одного,
который
не кричал бы:
"Распни,
распни его!"
Но мне —
люди,
и те, что обидели —
вы мне всего дороже и ближе.

Видели,
как собака бьющую руку лижет?!

Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабресный анекдот,
вижу идущего через горы времени,

которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцей,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

А я у вас – его предтеча;
я – где боль, везде;
на каждой капле слезовой течи
распял себя на кресте.
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.
Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!

И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю —
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя.

3

Ах, зачем это,
откуда это

в светлое весело
грязных кулачищ замах!

Пришла
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах.

И —
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк —
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев, Бурлюк.
Почти окровавив исслезенные веки,
вылез,
встал,
пошел
и с нежностью, неожиданной в жирном человеке
взял и сказал:
«Хорошо!»
Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!
Хорошо,
когда брошенный в зубы эшафоту,
крикнуть:
«Пейте какао Ван-Гутена!»

И эту секунду,
бенгальскую,

громкую,
я ни на что б не выменял,
я ни на...

А из сигарного дыма
ликерною рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.
Как вы смеете называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!

Вы,
обеспокоенные мыслью одной —
«изящно пляшу ли», —
смотрите, как развлекаюсь
я —
площадной
сутенер и карточный шулер.
От вас,
которые влюбленностью мокли,
от которых
в столетия слеза лилась,
уйду я,
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз.

Невероятно себя нарядив,

пойду по земле,
чтоб нравился и жегся,
а впереди
на цепочке Наполеона поведу, как мопса.
Вся земля поляжет женщиной,
заерзает мясами, хотя отдаться;
вещи оживут —
губы вещицы
засюсюкают:
«цаца, цаца, цаца!»

Вдруг
и тучи
и облачное прочее
подняло на небе невероятную качку,
как будто расходятся белые рабочие,
небу объявив озлобленную стачку.
Гром из-за тучи, зверея, вылез,
громадные ноздри задорно высморкая,
и небе лицо секунду кривилось
суровой гримасой железного Бисмарка.
И кто-то,
запутавшись в облачных путах,
вытянул руки к кафе —
и будто по-женски,
и нежный как будто,
и будто бы пушки лафет.

Вы думаете —
это солнце нежненько

треплет по щечке кафе?
Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифе!

Выньте, гулящие, руки из брюк —
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук —
пришел чтоб и бился лбом бы!
Идите, голоदनенькие,
потненькие,
покорненькие,
закишие в блохастом грязненьке!
Идите!

Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!
Пускай земле под ножами припомнится,
кого хотела опошлить!

Земле,
обжиревшей, как любовница,
которую вылюбил Ротшильд!
Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника —
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.

Изругивался,
вымаливался,
резал,
лез за кем-то

вгрызаться в бока.

На небе, красный, как марсельеза,
вздрагивал, околевая, закат.

Уже сумашествие.

Ничего не будет.

Ночь придет,
перекусит
и съест.
Видите —
небо опять иудит
пригоршню обгрызанных предательством звезд?

Пришла.
Пирует Мамаем,
задом на город насеив.
Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!

Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,
вином обливаю душу и скатерть
и вижу:
в углу – глаза круглы, —
глазами в сердце въелась богоматерь.
Чего одаривать по шаблону намалеванному
сиянием трактирную ораву!
Видишь – опять

голгофнику оплеванному
предпочитают Варавву?
Может быть, нарочно я
в человеческом месиве
лицом никого не новей.

Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.
Дай им,
заплесневшим в радости,
скорой смерти времени,
чтоб стали дети, должные подрасти,
мальчики – отцы,
девочки – забеременели.
И новым рожденным дай обрасти
пытливой сединой волхвов,
и придут они —
и будут детей крестить
именами моих стихов.

Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном Евангелии
тринадцатый апостол.
И когда мой голос
похабно ухает —
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает

моей души незабудки.

4

Мария! Мария! Мария!
Пусти, Мария!
Я не могу на улицах!
Не хочешь?
Ждешь,
как щеки провалятся ямкою
попробованный всеми,
пресный,
я приду
и беззубо прошамкаю,
что сегодня я
«удивительно честный».
Мария,
видишь —
я уже начал сутулиться.

В улицах
люди жир продырявят в четырехэтажных зобах,
высунут глазки,
потертые в сорокгодовой таске, —
перехихикиваться,
что у меня в зубах
— опять! —
черствая булка вчерашней ласки.
Дождь обрыдал тротуары,
лужами сжатый жулик,

мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп,
а на седых ресницах —
да! —
на ресницах морозных сосулек
слезы из глаз —
да! —
из опущенных глаз водосточных труб.
Всех пешеходов морда дождя обсосала,
а в экипажах лоцился за жирным атлетом атлет;
лопались люди,
проевшись насквозь,
и сочилось сквозь трещины сало,
мутной рекой с экипажей стекала
вместе с иссосанной булкой
жевотина старых котлет.

Мария!

Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?

Птица

побирается песней,

поет,

голодна и звонка,

а я человек, Мария,

простой,

выхарканный чахоточной ночью в грязную руку

Пресни.

Мария, хочешь такого?

Пусти, Мария!

Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка!

Мария!

Звереют улиц выгоны.
На шее ссадиной пальцы давки.

Открой!

Больно!

Видишь – натыканы
в глаза из дамских шляп булавки!

Пустила.

Детка!

Не бойся,
что у меня на шее воловьей
потноживотые женщины мокрой горою сидят, —
это сквозь жизнь я тащу
миллионы огромных чистых любовей
и миллион миллионов маленьких грязных любят.
Не бойся,
что снова,
в измены ненастье,
прильну я к тысячам хорошеньких лиц, —
«любящие Маяковского!» —
да ведь это ж династия
на сердце сумасшедшего восшедших цариц.

Мария, ближе!

В раздетом бесстыдстве,
в боящейся дрожи ли,
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:
я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.
Мария!

Поэт сонеты поет Тиане,
а я —
весь из мяса,
человек весь —
тело твое просто прошу,
как просят христиане —
"хлеб наш насущный
даждь нам днесь".

Мария – дай!

Мария!
Имя твое я боюсь забыть,
как поэт боится забыть
какое-то
в муках ночей рожденное слово,
величием равное богу.
Тело твое
я буду беречь и любить,
как солдат,
обрубленный войною,

ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.
Мария —
не хочешь?
Не хочешь!

Ха!

Значит – опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака,
которая в конуру
несет
переехannую поездом лапу.
Кровью сердце дорогу радую,
липнет цветами у пыли кителя.
Тысячу раз опляшет Иродиадой
солнце землю —
голову Крестителя.
И когда мое количество лет
выпляшет до конца —
миллионem кровинок устелется след
к дому моего отца.

Вылезу
грязный (от ночевok в канавах),

стану бок о бок,
наклонюсь
и скажу ему на ухо:
– Послушайте, господин бог!
Как вам не скушно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?
Давайте – знаете —
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!
Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
и вина такие расставим по столу,
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу
хмурому Петру Апостолу.
А в рае опять поселим Евочек:
прикажи, —
сегодня ночью ж
со всех бульваров красивейших девочек
я натащу тебе.
Хочешь?
Не хочешь?
Мотаешь головою, кудластый?
Супишь седую бровь?
Ты думаешь —
этот,
за тобою, крыластый,
знает, что такое любовь?
Я тоже ангел, я был им —
сахарным барашком выглядывал в глаз,
но больше не хочу дарить кобылам

из сервской муки изваянных ваз.
Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова, —
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!
Я думал – ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крыластые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!

Пустите!

Меня не остановите.
Вру я,
в праве ли,
но я не могу быть спокойней.
Смотрите —
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!
Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!

Я иду!

Глухо.

Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.

1914-1915

ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК

За всех вас,
которые нравились или нравятся,
хранимых иконами у души в пещере,
как чашу вина в застольной здравице,
подъемлю стихами наполненный череп.

Все чаще думаю —
не поставить ли лучше
точку пули в своем конце.
Сегодня я
на всякий случай
даю прощальный концерт.

Память!
Собери у мозга в зале
любимых неисчерпаемые очереди.
Смех из глаз в глаза лей.
Былыми свадьбами ночь ряди.
Из тела в тело веселье лейте.
Пусть не забудется ночь никем.
Я сегодня буду играть на флейте.
На собственном позвоночнике.

Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда уйду я, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!

Буре веселья улицы узки.
Праздник нарядных черпал и черпал.
Думаю.
Мысли, крови сгустки,
больные и запекшиеся, лезут из черепа.

Мне,
чудотворцу всего, что празднично,
самому на праздник выйти не с кем.
Возьму сейчас и грохнусь навзничь
и голову вымозжу каменным Невским!
Вот я богохулил.
Орал, что бога нет,
а бог такую из пекловых глубин,
что перед ней гора заволнуется и дрогнет,
вывел и велел:
люби!

Бог доволен.
Под небом в круче
измученный человек одичал и вымер.
Бог потирает ладони ручек.
Думает бог:
погоди, Владимир!
Это ему, ему же,

чтоб не догадался, кто ты,
выдумалось дать тебе настоящего мужа
и на рояль положить человечьи ноты.
Если вдруг подкрасться к двери спаленной,
перекрестить над вами стёганье одеялово,
знаю —
запахнет шерстью паленной,
и серой издымится мясо дьявола.
А я вместо этого до утра раннего
в ужасе, что тебя любить увели,
метался
и крики в строчки выгранивал,
уже наполовину сумасшедший ювелир.
В карты бы играть!
В вино
выполоскать горло сердцу изоханному.

Не надо тебя!
Не хочу!
Все равно
я знаю,
я скоро сдохну.

Если правда, что есть ты,
боже,
боже мой,
если звезд ковер тобою выткан,
если этой боли,
ежедневно множимой,
тобой ниспослана, господи, пытка,

судейскую цепь надень.
Жди моего визита.
Я аккуратный,
не замедлю ни на день.
Слушай,
всевышний инквизитор!

Рот зажму.
Крик ни один им
не выпущу из искусанных губ я.
Привяжи меня к кометам, как к хвостам
лошадиным,
и вымчи,
рвя о звездные зубья.
Или вот что:
когда душа моя выселится,
выйдет на суд твой,
выхмурясь тупенько,
ты,
Млечный Путь перекинув виселицей,
возьми и вздерни меня, преступника.
Делай что хочешь.
Хочешь, четвертуй.
Я сам тебе, праведный, руки вымою.
Только —
слышишь! —
убери проклятую ту,
которую сделал моей любимой!

Версты улиц взмахами шагов мну.

Куда я денусь, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!

2

И небо,
в дымах забывшее, что голубо,
и тучи, ободранные беженцы точно,
вызарю в мою последнюю любовь,
яркую, как румянец у чахоточного.

Радостью покрою рев
скопа
забывших о доме и уюте.
Люди,
слушайте!
Вылезьте из окопов.
После довоюете.

Даже если,
от крови качающийся, как Бахус,
пьяный бой идет —
слова любви и тогда не ветхи.
Милые немцы!
Я знаю,
на губах у вас
гётевская Гретхен.
Француз,
улыбаясь, на штыке мрет,

с улыбкой разбивается подстреленный авиатор,
если вспомнят
в поцелуе рот
твой, Травиата.

Но мне не до розовой мякоти,
которую столетия выжуют.
Сегодня к новым ногам лягте!
Тебя пою,
накрашенную,
рыжую.

Может быть, от дней этих,
жутких, как штыков остря,
когда столетия выбелят бороду,
останемся только
ты
и я,
бросаящийся за тобой от города к городу.

Будешь за море отдана,
спрячешься у ночи в норе —
я в тебя вцелую сквозь туманы Лондона
огненные губы фонарей.

В зное пустыни вытянешь караваны,
где львы начеку, —
тебе
под пылью, ветром рваной,
положу Сахарой горящую щеку.

Улыбку в губы вложишь,
смотришь —
тореадор хорош как!
И вдруг я
ревность метну в ложи
мрущим глазом быка.

Вынесешь на мост шаг рассеянный —
думать,
хорошо внизу бы.
Это я
под мостом разлился Сеной,
зову,
скалю гнилые зубы.
С другим зажгешь в огне рысаков
Стрелку или Сокольники.

Это я, взобравшись туда высоко,
луной томлю, ждущий и голенький.
Сильный,
понадоблюсь им я —
велят:
себя на войне убей!
Последним будет
твое имя,
запекшееся на выдранной ядром губе.

Короной кончу?
Святой Еленой?

Буре жизни оседлав валы,
я – равный кандидат
и на царя вселенной,
и на
кандалы.

Быть царем назначено мне —
твое личико
на солнечном золоте моих монет
велю народу:
вычекань!
А там,
где тундрой мир вылинял,
где с северным ветром ведет река торги, —
на цепь нацарапаю имя Лилино
и цепь исцелую во мраке каторги.

Слушайте ж, забывшие, что небо голубо,
выщетинившиеся,
звери точно!
Это, может быть,
последняя в мире любовь
вызарилась румянцем чахоточного.

3

Забуду год, день, число.
Запрусь одинокий с листом бумаги я.
Творись, просветленных страданием слов
нечеловечья магия!

Сегодня, только вошел к вам,
почувствовал —
в доме неладно.
Ты что-то таила в шелковом платье,
и ширился в воздухе запах ладана.
Рада?
Холодное
«очень».
Смятением разбита разума ограда.
Я отчаянье громозжу, горящ и лихорадочен.

Послушай,
все равно
не спрячешь трупа.
Страшное слово на голову лавь!
Все равно
твой каждый мускул
как в рупор
трубит:
умерла, умерла, умерла!
Нет,
ответь.
Не лги!
(Как я такой уйду назад?)
Ямами двух могил
вырылись в лице твоём глаза.

Могилы глубятся.
Нету дна там.

Кажется,
рухну с помоста дней.
Я душу над пропастью натянул канатом,
жонглируя словами, закачался над ней.

Знаю,
любовь его износила уже.
Скуку угадываю по стольким признакам.
Вымолоди себя в моей душе.
Празднику тела сердце вызнакомь.

Знаю,
каждый за женщину платит.
Ничего,
если пока
тебя вместо шика парижских платьев
одену в дым табака.
Любовь мою,
как апостол во время оно,
по тысяче тысяч разнесу дорог.
Тебе в веках уготована корона,
а в короне слова мои —
радугой судорог.

Как слоны стопудовыми играми
завершали победу Пиррову,
Я поступью гения мозг твой выгромил.
Напрасно.
Тебя не вырву.

Радуйся,
радуйся,
ты доконала!
Теперь
такая тоска,
что только б добежать до канала
и голову сунуть воде в оскал.

Губы дала.
Как ты груба ими.
Прикоснулся и остыл.
Будто целую покаянными губами
в холодных скалах высеченный монастырь.

Захлопали
двери.
Вошел он,
весельем улиц орошен.
Я
как надвое раскололся в вопле,
Крикнул ему:
"Хорошо!
Уйду!
Хорошо!
Твоя останется.
Тряпок нашей ей,
робкие крылья в шелках зажирели б.
Смотри, не уплыла б.
Камнем на шее
навесь жене жемчуга ожерелий!"

Ох, эта
ночь!
Отчаянье стягивал туже и туже сам.
От плача моего и хохота
морда комнаты выкосилась ужасом.

И видением вставал унесенный от тебя лик,
глазами вызарил ты на ковре его,
будто вымечтал какой-то новый Бялик
ослепительную царицу Сиона евреева.

В муке
перед той, которую отдал,
коленипреклоненный выник.
Король Альберт,
все города
отдавший,
рядом со мной задаренный именинник.

Вызолачивайтесь в солнце, цветы и травы!
Весеньтесь жизни всех стихий!
Я хочу одной отравы —
пить и пить стихи.

Сердце обокравшая,
всего его лишив,
вымучившая душу в бреде мою,
прими мой дар, дорогая,
больше я, может быть, ничего не придумаю.

В праздник красьте сегодняшнее число.
Творишь,
распятью равная магия.
Видите —
гвоздями слов
прибит к бумаге я.

1915

ВОЙНА И МИР

ПРОЛОГ

Хорошо вам.
Мертвые сраму не имут.
Злобу
к умершим убийцам туши.
Очистительнейшей влагой вымыт
грех отлетевшей души.

Хорошо вам!
А мне
сквозь строй,
сквозь грохот
как пронести любовь к живому?
Оступлюсь —
и последней любвишки кроха
навек канет в дымный омут.

Что им,
вернувшимся,
печали ваши,
что им
каких-то стихов бахроме?!

Им
на паре б дровяшек
день кое-как прохромать!

Боишься!
Трус!
Убьют!
А так
полсотни лет еще можешь, раб, расти.
Ложь! Я знаю,
и в лаве атак
я буду первый
в геройстве,
в храбрости.

О, кто же,
набатов гибнущих годин
званный,
не выйдет брав?
Все!
А я
на земле
один
глашатай грядущих правд.

Сегодня ликую!
Не разбрызгав,
Душу
сумел,
сумел донести.

Единственный человечесий,
среди воя,
среди визга,
голос
подъемлю днесь.

А там
расстреливайте,
вяжите к столбу!
Я ль изменюсь в лице!
Хотите —
туза
нацеплю на лбу,
чтоб ярче горела цель?!

ПОСВЯЩЕНИЕ

Лиле

8 октября.
1915 год.
Даты времени,
смотревшего в обряд
посвящения меня в солдаты.

«Слышите!
Каждый,
ненужный даже,

должен жить;
нельзя,
нельзя ж его
в могилы траншей и блиндажей
вкопать заживо —
убийцы!»

Не слушают.
Шестипудовый унтер сжал, как пресс.
От уха до уха выбрили аккуратненько.
Мишенью
на лоб
нацепили крест
ратника.

Теперь и мне на запад!
Буду идти и идти там,
пока не оплачут твои глаза
под рубрикой
«убитые»
набранного петитом.

ТРА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА
ТРА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА

И вот
на эстраду,
колеблемую костром оркестра,
вывалился живот.
И начал!

Рос в глазах, как в тысячах луп.
Змеился.

Пот сиял лачком.
Вдруг —
остановил мелькающий пуп,
вывертелся волчком.

Что было!
Лысины слиплись в одну луну.
Смаслились глазки, щелясь.
Даже пляж,
расхлестав соленую слюну,
осклабил утыканную домами челюсть.

Вывертелся.
Рты,
как электрический ток,
скрючило «браво».
Браво!
Бра-аво!
Бра-а-аво!
Бра-а-а-аво!
Б-р-а-а-а-а-в-о!
Кто это,
кто?
Эта массомьяся
быкомордая орава?

Стихам не втиснешь в тихие томики

крик гнева.
Это внуки Колумбов,
Галилеев потомки
ржут, запутанные в серпантинный невод!

ТРА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА
ТРА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА_РА

А там,
всхлобучась на вечер чинный,
женщины
раскачивались шляпой стопёрой.
И в клавиши тротуаров бухали мужчины,
уличных блудилищ остервенелые таперы.
Вправо,
влево,
вкривь,
вкось,
выфрантив полей лоно,
вихрились нанизанные на земную ось
карусели Вавилонищ,
Вавилончиков,
Вавилонов.

Над ними
бутыли,
восхищающие длиной.
Под ними
бокалы
пьяной ямой.

Люди
или валялись,
как упившийся Ной,
или грохотали мордой многохамой!

Нажрутся,
а после,
в ночной слепоте,
вывалясь мясами в пухе и вате,
сползутся друг на друге потеть,
города содрогая скрипом кроватей.

Гниет земля,
ламп огни ей
взрывают кору горой волдырей;
дрожа городов агонией,
люди мрут
у камня в дыре.

Врачи
одного
вынули из гроба,
чтоб понять людей небывалую убыль:
в прогрызанной душе
золотопалым микробом
вился рубль.

Во все концы,
чтоб скорее вызлить
смерть,

взбурлив людей крышам вровень,
сердец столиц тысячесильные Дизели
вогнали вагоны зараженной крови.

Тихие!

Недолго пожили.

Сразу

железо рельс всочило по жиле

в загар деревень городов заразу.

Где пели птицы – тарелок лязги.

Где бор был – площадь стодомым содомом.

Шестиэтажными фавнами ринулись в пляски
публичный дом за публичным домом.

Солнце подымет рыжую голову,

запекшееся похмелье на вспухшем рте,

и нет сил удержаться голому —

взять

не вернуться ночам в вертеп.

И еще не успеет

ночь, арапка,

лечь, продажная,

в отдых,

в тень, —

на нее

раскаленную тушу вскарабкал

новый голодный день.

В крыши зажатые!

Горсточка звезд,
ори!
Шарахайся испуганно, вечер-инок!
Идем!
Раздуем на самок
ноздри,
выеденные зубами кокаина!

ЧАСТЬ II

Это случилось в одну из осеней,
были горюче-сухи
все.
Металось солнце,
сумасшедший маляр,
оранжевым колером пыльных выпачкав.

Откуда-то
на землю
нахлынули слухи.
Тихие.
Заходили на цыпочках.

Их шепот тревогу в гр'уди выселил,
а страх
под черепом
рукой красной

распутывал, распутывал и распутывал
мысли,
и стало невыносимо ясно:
если не собрать людей пучками рот,
не взять и не взрезать людям вены —
зараженная земля
сама умрет —
сдохнут Парижи,
Берлины,
Вены!

Чего размякли?!
Хныкать поздно!
Раньше б раскаянье осеняло!
Тысячеруким врачам
ланцетами роздано
оружье из арсеналов.

Италия!
Королю,
брадобрею ли
ясно —
некуда деться ей!
Уже сегодня
реяли
немцы над Венецией!

Германия!
Мысли,
музеи,

книги,
каньте в разверстые жерла.
Зевы зарев, оскальтесь нагло!
Бурши,
скачите верхом на Канте!
Нож в зубы!
Шашки наголо!

Россия!
Разбойной ли Азии зной остыл?!
В крови желанья бурлят ордой.
Выволакивайте забившихся под Евангелие
Толстых!
За ногу худую! По камню бородой!

Франция!
Гони с бульваров любовный шепот!
В новые танцы – юношей выловить!
Слышишь, нежная?
Хорошо
под музыку митральезы жечь и насиловать!

Англия!
Турция!..
Т-р-а-а-ах!
Что это?
Послышалось!
Не бойтесь!
Ерунда!
Земля!

Смотрите,
что по волосам ее?
Морщины окопов легли на чело!
Т-с-с-с-с-с-с... —
грохот.
Барабаны, музыка?
Неужели?
Она это,
она самая?
Да!
НАЧАЛОСЬ.

ЧАСТЬ III

Нерон!
Здравствуй!
Хочешь?
Зрелище величайшего театра.
Сегодня
бьются
государством в государство
16 отборных гладиаторов.

Куда легендам о бойнях Цезарей
перед былью,
которая теперь была!
Как на детском лице заря,

нежна ей
самая чудовищная гипербола.

Белкой скружишься у смеха в колесе,
когда узнает твой прах о том:
сегодня
мир
весь – Колизей,
и волны всех морей
по нем изостлались бархатом.

Трибуны – ск'алы,
и на скале там,
будто бой ей зубы выломил,
поднебесья соборов
скелет за скелетом
выжглись
и обнеслись перилами.

Сегодня
заревом в земную плешь она,
кровавая толп ропот,
в небо
люстрой подвешена
целая зажженная Европа.

Пришли,
расселись в земных долинах
гости
в страшном наряде.

Мрачно поигрывают на шеях длинных
ожерелья ядер.

Золото славян.

Черные мадьяр усы.

Негров непроглядные пятна.

Всех земных широт ярусы
вытолпила с головы до пят она.

И там,

где Альпы,

в закате грея,

выласкали в небе лед щеки, —

облаков галереей

нахохлились зоркие летчики.

И когда

на арену

воины

вышли

парадными парами,

в версты шарахнув театром удвоенный

грохот и гром миллиардных армий, —

шар земной

полюсы стиснул

и в ожидании замер.

Седоволосые океаны

вышли из берегов,

впились в арену мутными глазами.

Пылающими сходнями

спустилось солнце —

суровый
вечный арбитр.
Выгорая от любопытства,
звезд глаза повылезли из орбит.

А секунда медлит и медлит.
Лень ей.
К началу кровавых игр,
напряженный, как совокупление,
не дыша, остановился миг.

Вдруг —
секунда вдребезги.
Рухнула арена дыму в дыру.
В небе – ни зги.
Секунды быстрились и быстрились —
взрывали,
ревели,
рвали.
Пеной выстрел на выстреле
огнел в кровавом вале.
Вперед!

СПА_СИ ГОС_ПО_ДИ ЛЮ_

Вздогнула от крика грудь дивизий.
Вперед!
Пена у рта.
Разящий Георгий у знамен в девизе,
барабаны:

ТРА_ТА_ТА_ТА_ТА_ТА_ТА_ТА_ТА_ТА_ТА_ТА_ТА
ТРА_ТА_ТА_ТА_ТА_ТА_ТА_ТА_ТА_ТА_ТА_ТА

Бутафор!

Катафалк готовь!

Вдов в толпу!

Мало вдов еще в ней.

И взвился

в небо

фейерверк фактов,

один другого чудовищней.

Выпучив глаза,

маяк

из-за гор

через океаны плакал;

а в океанах

эскадры корчились,

насаженные мине на кол.

Дантова ада кошмаром намаранней,

громоголосие меди грохотом изоржав,

дрожа за Париж,

последним

на Марне

ядром отбивается Жоффр.

С юга

Константинополь,

оскалив мечети,

выблевывал

вырезанных
в Босфор.
Волны!
Мечите их,
впившихся зубами в огрызки просфор.

Лес.
Ни голоса.
Даже нарочен
в своей тишине.
Смешались их и наши.
И только
проходят
вороны да ночи,
в чернь облачась, чредой монашьей.

И снова,
грудь обнажая зарядам,
плывя по веснам,
пробиваясь в зиме,
армия за армией,
ряд за рядом
заливают мили земель.

Разгорается.
Новых из дубров волок.
Огня пентаграмма в пороге луга.
Молниями колючих проволок
сожраны сожженные в уголь.

Батареи добела раскалили жару.
Прыгают по трупам городов и сел.
Медными мордами жрут
всё.

Огневержец!
Где не найдешь, карая!
Впутаюсь ракете,
в небо вбегу —
с неба,
красная,
рдея у края,
кровь Пегу.

И тверди,
и воды,
и воздух взрыт.
Куда направлю опромети шаг?
Уже обезумевшая,
уже навзрыд,
вырываясь, молит душа:

«Война!
Довольно!
Уйми ты их!
Уже на земле голо».
Метнулись гонимые разбегом убитые,
и еще
минуту
бегут без голов.

А над всем этим
дьявол
заревое зевот дымит.
Это в созвездии железнодорожных линий
стоит
озаренное порохowymi заводами
небо в Берлине.

Никому не ведомо,
дни ли,
годы ли,
с тех пор как на поле
первую кровь войне отдали,
в чашу земли сцедив по капле.

Одинаково —
камень,
болото,
халупа ли,
человечьей кровью вымочили весь его.
Везде
шаги
одинаково хлюпали,
меся дымящееся мира месиво.

В Ростове
рабочий
в праздничный отдых
захотел
воды для самовара выжать, —

и отшатнулся:
во всех водопроводах
сочилась та же рыжая жижа.

В телеграфах надрывались машины Морзе.
Орали городам об юных они.
Где-то
на Ваганькове
могильщик заерзал.
Двинулись факельщики в хмуром Мюнхене.

В широко развороченную рану полка
раскаленную лапу всунули прожекторы.
Подняли одного,
бросили в окоп —
того,
на ноже который!
Библеец лицом,
изо рва
ряса.
«Вспомните!
За ны!
При Понтийстем Пилате!»
А ветер ядер
в клочки изорвал
и мясо и платье.

У_ПО_КОЙ ГОС_ПО_ДИ ДУ_ШУ У_СОПША_ГО
РА_БА ТВО_Е_ГО

Выдернулась из дыма сотня голов.
Не смей заплаканных глаз им!
Заволокло
газом.

ВЕ_ЧНА_Я ПА_МЯТЬ

Белые крылья выросли у души,
стон солдат в пальбе доносится.
«Ты на небо летишь, —
удуши,
удуши его,
победоносца».

Бьется грудь неровно...
Шутка ли!
К богу на дом!
У рая, в облака бронированного,
дверь расшибаю прикладом.

Трясутся ангелы.
Даже жаль их.
Белее перышек личика овал.
Где они —
боги!
«Бежали,
все бежали,
и Саваоф,
и Будда,
и Аллах,

и Иегова».

У_ПО_КОЙ ГОС_ПО_ДИ ДУ_ШУ У_СОПША_ГО
РА_БА ТВО_Е_ГО

Ухало.

Ахало.

Охало.

Но уже не та канонада, —
повздыхала еще
и заглохла.

Вылезли с белым.

Взмолились:

— не надо! —

Никто не просил,
чтоб была победа
родине начертана.
Безрукому огрызку кровавого обеда
на чёрта она?!

Последний на штык насажен.
Наши отходят на Ковно,
на сажень
человечьего мяса нашинковано.

И когда затихли
все, кто нападали,
лег
батальон на батальоне —

выбежала смерть
и затанцевала на падали,
балета скелетов безногая Тальони.

Танцует.
Ветер из-под носка.
Шевельнул папаху,
обласкал на мертвом два волоска,
и дальше —
попахивая.

Пятый день
в простреленной голове
поезда выкручивают за изгибом
изгиб.
В гниющем вагоне
на сорок человек —
четыре ноги.

ЧАСТЬ IV

Эй!
Вы!
Притушите восторженные глазенки!
Лодочки ручек суньте в карман!
Это
достойная награда

за выжатое из бумаги и чернил.

А мне за что хлопать?

Я ничего не сочинил.

Думаете:

врет!

Нигде не прострелен.

В целехоньких висках биенья не уладить,

если рукоплещут

его барабанов трели,

его проклятий рифмованной руладе.

Милостивые государи!

Понимаете вы?

Боль берешь,

растишь и растишь ее:

всеми пиками истыканная грудь,

всеми газами свороченное лицо,

всеми артиллериями громимая цитадель головы —

каждое мое четверостишие.

Не затем

взвела

по насыпям тел она,

чтоб, горестный,

сочил заплаканную гнусь,

страшной тяжестью всего, что сделано,

без всяких

«красиво»,

прижатый, гнусь.

Убиты —

и все равно мне, —

я или он их

убил.

На братском кладбище,

у сердца в яме,

легли миллионы, —

гниют,

шевелиятся, приподымаемые червями!

Нет!

Не стихами!

Лучше

язык узлом завяжу,

чем разговаривать.

Этого

стихами сказать нельзя.

Выхоленным ли языком поэта

горящие жаровни лизать!

Эта!

В руках!

Смотрите!

Это не лира вам!

Раскаяньем вспоротый,

сердце вырвал —

рву аорты!

В кашу рукоплесканий ладош невме'сите!

Нет!
Не вмесите!
Рушьяся, комнат уют!
Смотрите,
под ногами камень.
На лобном месте стою.
Последними глотками
воздух...

Вытеку, срубленный,
но кровью выем
имя «убийца»,
выклейменное на человеке.
Слушайте!
Из меня
слепым Виём
время орет:
«Подымите,
подымите мне
веков веки!»

Вселенная расцветет еще,
радостна,
нова.
Чтоб не было бессмысленной лжи за ней,
каюсь:
я
один виноват
в растущем хрусте ломаемых жизнью!

Слышите —
солнце первые лучи выдало,
еще не зная,
куда,
отработав, денется, —
это я,
Маяковский, подножию идола
нес
обезглавленного младенца.

Простите!

В христиан зубов резцы
вонзая,
львы вздымали рык.
Вы думаете – Нерон?
Это я, Маяковский
Владимир,
пьяным глазом обволакивал цирк.

Простите меня!

Воскрес Христос.
Свили
одной любовью
с устами уста вы;
Маяковский
еретикам
в подземелье Севильи
дыбой выворачивал суставы.

Простите,
простите меня!

Дни!

Вылазьте из годов лачуг!
Какой раскрыть за собой
еще?

Дымным хвостом по векам волочу
оперенное пожарами побоище!

Пришел.

Сегодня

не немец,
не русский,
не турок, —

это я

сам,

с живого сдирая шкуру,
жру мира мясо.

Тушами на штыках материки.

Города – груды глиняные.

Кровь!

Выцеди из твоей реки
хоть каплю,
в которой невинен я!

Нет такой!

Этот
выколотыми глазами —
пленник,
мною меченный.
Я,
в поклонах разбивший колени,
голодом выглодал з'емли неметчины.

Мечу пожаров рыжие пряди.
Волчьи щетинюсь из темени ям.
Люди!
Дорогие!
Христа ради,
ради Христа,
простите меня!

Нет,
не подыму искаженного тоской лица!
Всех окаянное,
пока не расколется,
буду лоб разбивать в покаянии!
Встаньте,
ложью верженные ниц,
оборванные войнами
калеки лет!
Радуйтесь!
Сам казнится
единственный людоед.

Нет,

не осужденного выдуманная хитрость!
Пусть с плахи не соберу разодранные части я, —
все равно
всего себя вытряс,
один достоин
новых дней приять причастие.

Вытеку срубленный,
и никто не будет —
некому будет человека мучить.
Люди рождаются,
настоящие люди,
бога самого милосердней и лучше.

ЧАСТЬ V

А может быть,
больше
у времени-хамелеона
и красок никаких не осталось.
Дернется еще
и ляжет,
бездыхан и угловат.
Может быть,
дымами и боями охмеленная,
никогда не подыметя земли голова.

Может быть...

Нет,

не может быть!

Когда-нибудь да выстеклится мыслей омут,
когда-нибудь да увидит, как хлещет из тел ала.

Над вздыбленными волосами руки заломит,
выстонет:

«Господи,

что я сделала!»

Нет,

не может быть!

Грудь,

срази отчаянья лавину.

В грядущем счастье вырыщи ощупь.

Вот,

хотите,

из правого глаза

выну

целую цветущую рощу?!

Птиц причудливых мысли ройте.

Голова,

закинься восторженна и горда.

Мозг мой,

веселый и умный строитель,

строй города!

Ко всем,

кто зубы еще

злостью выщемил,

иду
в сияющих глаз заре.
Земля,
встань,
тыщами
в ризы зарев разодетых Лазарей!

И радость,
радость! —
сквозь дымы
светлые лица я
вижу.
Вот,
приоткрыв помертвевшее око,
первая
приподымается Галиция.
В травы вкнуталась ободранным боком.

Кинув ноши пушек,
выпрямились горбатые,
кровавленными сединами в небо канув,
Альпы,
Балканы,
Кавказ,
Карпаты.

А над ними,
выше еще —
двое великанов.
Встал золототелый,

молит;

«Ближе!

К тебе с изрытого взрывами дна я».

Это Рейн

размокшими губами лижет

иссеченную миноносцами голову Дуная.

До колоний, бежавших за стены Китая,
до песков, в которых потеряна Персия.

каждый город,

ревевший,

смерть кидая, —

теперь сиял.

Шепот.

Вся земля

черные губы разжала.

Громче.

Урагана ревом

вскипает.

«Клянитесь,

больше никого не скосите!»

Это встают из могильных курганов,

мясом обрастают хороненные кости.

Было ль,

чтоб срезанные ноги

искали б

хозяев,

оборванные головы звали по имени?

Вот
на череп обрубку
вспрыгнул скальп,
ноги подбежали,
живые под ним они.
С днищ океанов и морей,
на реях,
оживших утопших выплыли залежи.
Солнце!
В ладонях твоих изогрей их,
лучей языками глаза лижи!
В старушьё лицо твое
смеемся,
время!
Здоровые и целые вернемся в семьи!
Тогда
над русскими,
над болгарами,
над немцами,
над евреями,
над всеми,
под тверди небес,
от зарев алой,
ряд к ряду,
семь тысяч цветов засияло
из тысячи разных радуг.
По обрывкам народов,
по банде рассеянной
эхом раскатилось
растерянное

«А-ах!..»

День раскрылся такой,
что сказки Андерсена
щенками ползали у него в ногах.

Теперь не верится,
что мог идти
в сумерках улочек, темный, шаря.
Сегодня
у капельной девочки
на ногте мизинца
солнца больше,
чем раньше на всем земном шаре.

Большими глазами землю обводит
человек.
Растет,
главою гор достиг.
Мальчик
в новом костюме
— в свободе своей —
важен,
даже смешон от гордости.
Как священники,
чтоб помнили об искупительной драме,
выходят с причастием, —
каждая страна
пришла к человеку со своими дарами:
«На».

«Безмерной Америки силу несущей тебе,
мощь машин!»

«Неаполя теплые ночи дарю,
Италия.
Палимый,
пальм веерами маши».

«В холоде севера мерзнущий,
Африки солнце тебе!»

«Африки солнцем сожженный,
тебе,
со своими снегами,
с гор спустился Тибет!»

«Франция,
первая женщина мира,
губ принесла алоость».

«Юношей – Греция,
лучшие телом нагим они».

«Чьих голосов мощь
в песне звончее сплеталась?!
Россия
сердце свое
раскрыла в пламенном гимне!»

«Люди,

веками граненную
Германия
мысль принесла».

«Вся
до недр напоенная золотом,
Индия
дары принесла вам!»

«Славься, человек,
во веки веков живи и славься!
Всякому,
живущему на земле,
слава,
слава,
слава!»

Захлебнешься!
А тут и я еще.
Прохожу осторожно,
огромен,
неуклюж.
О, как великолепен я
в самой сияющей
из моих бесчисленных душ!

Мимо поздравляющих,
праздничных мимо я,
– проклятое,
да не колотись ты! —

вот она
навстречу.

«Здравствуй, любимая!»

Каждый волос выласкиваю,
вьющийся,
золотистый.
О, какие ветры,
какого юга,
свершили чудо сердцем погребенным?
Расцветают глаза твои,
два луга!
Я кувыркаюсь в них,
веселый ребенок.
А кругом!
Смеяться.
Флаги.
Стоцветное.
Мимо.
Вздыбились.
Тысячи.
Насквозь.
Бегом.
В каждом юноше порох Маринетти,
в каждом старце мудрость Гюго.

Губ не хватит улыбке столицей.
Все
из квартир

на площади
вон!
Серебряными мячами
от столицы к столице
раскинем веселие,
смех,
звон!

Не поймешь —
это воздух,
цветок ли,
птица ль!
И поет,
и благоухает,
и пестрое сразу, —
но от этого
костром разгораются лица
и сладчайшим вином пьянеет разум.
И не только люди
радость личью
расцветили,
звери франтовато завили руно,
вчера бушевавшие
моря,
мурлыча,
легли у ног.

Не поверишь,
что плыли,
смерть изрыгав, они.

В трюмах,
навек забывших о порохе,
броненосцы
проводят в тихие гавани
всякого вздора яркие ворохи.

Кому же страшны пушек шайки
эти,
кроткие,
рвут?
Они
перед домом,
на лужайке,
мирно щиплют траву.

Смотрите,
не шутка,
не смех сатиры —
среди бела дня,
тихо,
попарно,
цари-задиры
гуляют под присмотром нянь.

Земля,
откуда любовь такая нам?
Представь —
там
под деревом
видели

с Каином
играющего в шашки Христа.

Не видишь,
прищурилась, ищешь?
Глазенки – щелки две.
Шире!
Смотри,
мои глазища —
всем открытая собора дверь.

Люди! – любимые,
нелюбимые,
знакомые,
незнакомые,
широким шествием излейте в двери те.
И он, свободный, ору о ком я, человек – придет он,
верьте мне, верьте!

1915-1918

ЧЕЛОВЕК

Священнослужителя мира, отпустителя всех грехов,

– солнца ладонь на голове моей.

Благочестивейший из монашествующих

– ночи облачение на плечах моих.

Дней любви моей тысячелистое Евангелие целую.

Звонящей болью любовь замоля,

душой

иное шествие чающих,

слышу

твое, земля:

«Ныне отпускаеши»!

В ковчеге ночи,

новый Ной,

я жду —

в разливе риз

сейчас придут,

придут за мной

и узел рассекут земной

секирами зари.

Идет!

Пришла.

Раскуталась.

Лучи везде!
Скребут они.
Запели петли утло,
и тихо входят будни
с их шелухой сутолок.

Солнце снова.
Зовет огневых воевод.
Барабанит заря,
и туда,
за земную грязь вы!
Солнце!
Что ж
своего
глашатая
так и забудешь разве?

Рождество Маяковского

Пусть, науськанные современниками,
пишут глупые историки: "Скушной
и неинтересной жизнью жил замечательный поэт".

Знаю,
не призовут мое имя
грешники,
задыхающиеся в аду.
Под аплодисменты попов
мой занавес не опустится на Голгофе.
Так вот и буду

В Летнем саду
пить мой утренний кофе.

В небе моего Вифлеема
никаких не горело знаков,
никто не мешал
могилами
спать кудроголовым волхвам.
Был абсолютно как все
— до тошноты одинаков —
день
моего сошествия к вам.
и никто не догадался намекнуть
недалекой
неделикатной звезде:
"Звезда – мол —
лень сиять напрасно вам!
Если не
человечьего рождения день,
то черта ль,
звезда,
тогда еще
праздновать?!"

Судите:
говорящую рыбешку
выудим нитями невода
и поем,
поем золотую
воспеваем рыбачью удаль.

Как же
себя мне не петь,
если весь я —
сплошная невидаль,
если каждое движение мое —
огромное,
необъяснимое чудо.

Две стороны обойдите.
В каждой
дивитесь пятилучию.
Называется «Руки».
Пара прекрасных рук!
Заметьте:
лучшую
шею выбрать могу
и обовьюсь вокруг.

Черепу шкатулку вскройте —
сверкнет
драгоценнейший ум.
Есть ли,
чего б не мог я!
Хотите,
новое выдумать могу
животное?
Будет ходить
двуххвостое
или треногое.
Кто целовал меня —

скажет,
есть ли
слаще слюны моей сока.
Покоится в нем у меня
прекрасный
красный язык.
«О-го-го» могу —
зальется высоко, высоко.
«О-ГО-ГО» могу —
и – охоты поэта сокол —
голос
мягко сойдет на низы.
Всего не сочтешь!
Наконец,
чтоб в лето
зимы,
могу в вино превращать чтоб мог —
у меня
под шерстью жилета
бьется
необычайнейший комок.
Ударит вправо – направо свадьбы.
Налево грохнет – дрожат миражи.
Кого еще мне
любить устлать бы?
Кто ляжет
пьяный,
ночами ряжен?

Прачечная.

Прачки.

Много и мокро.

Радоваться, что ли, на мыльные пузыри?

Смотрите,

исчезает стоногий окорок!

Кто это?

Дочери неба и зари?

Булочная.

Булочник.

Булки выпек.

Что булочник?

Мукой измусоленный ноль.

У вдруг

у булок

загибаются грифы скрипок.

Он играет.

Все в него влюблено.

Сапожная.

Сапожник.

Прохвост и нищий.

Надо

на сапоги

какие-то головки.

Взглянул —

и в арфы распускаются голенища.

Он в короне.

Он принц.

Веселый и ловкий.

Это я
сердце флагом поднял.
Небывалое чудо двадцатого века!

И отхлынули паломники от гроба господня.
Опустела правоверными древняя Мекка.

Жизнь Маяковского

Ревом встревожено логово банкиров, вельмож и
дожей.

Вышли
латы,
золото тенькая.
"Если сердце всё,
то на что,
на что же
вас нагреб, дорогие деньги, я?
Как смеют петь,
кто право дал?
Кто дням велел юлиться?
Заприте небо в провода!
Скрутите землю в улицы!
Хвалился:
«Руки?!»
На ружье ж!
Ласкался днями летними?
Так будешь —

весь! —
колюч, как ёж.
Язык оплюйте сплетнями!"

Загнанный в земной загон,
влеку дневное иго я.
А на мозгах
верхом
«Закон»,
на сердце цепь —
«Религия».

Полжизни прошло, теперь не вырвешься.
Тысячеглаз надсмотрщик, фонари, фонари,
фонари...
Я в плену.
Нет мне выкупа!
Оковала земля окаянная.
Я бы всех в любви моей выкупал,
да в дома обнесен океан её!

Кричу...
и чу!
Ключи звучат!
Тюремщика гримаса.
Бросает
с острия луча
клочок гнилого мяса.

Под хохотливое

«Ага!»

бреду по бреду жара.

Гремит,

приковано к ногам,

ядро земного шара.

Замкнуло золото ключом

глаза.

Кому слепого весть?

Навек

теперь я

заключен

в бессмысленную повесть!

Долой высоких вымыслов бремя!

Бунт

муз обреченного данника.

Верящие в павлинов

– выдумка Брэма! —

верящие в розы

– измышление досужих ботаников! —

мое

безупречное описание земли

передайте из рода в род.

Рвась из меридианов,

атласа арок,

пенится,

звенит золоторот,

франков,

долларов,
рублей,
крон,
иен,
марок.

Тонут гении, курицы, лошади, скрипки.
Тонут слоны.
Мелочи тонут.
В горлах,
в ноздрях.
в ушах звон его липкий.
«Спасите!»
Места нет недоступного стону.

А посредине,
обведенный невозмутимой каймой,
целый остров расцветоченного ковра.
Здесь
живет
Повелитель Всего —
соперник мой,
мой неодолимый враг.
Нежнейшие горошинки на тонких чулках его.
Штанов франтовских восхитительны полосы.
Галстук
выпестренный ахово,
с шеищи
по глобусу пуза расползся.

Гибнут кругом.
Но, как в небе бурав,
в честь
твоего – сиятельный – сана:
Бр-р-а-во!
Эвива!
Банзай!
Ура!
Гох!
Гип-гип!
Вив!
Осанна!

Пророков могущество в громах винят.
Глупые!
Он это
читает Локка!
Нравится.
От смеха
на брюхе
звенят,
молнятся целые цепи брелоков.
Онемелые
стоим
перед делом эллина.
Думаем:
"Кто бы,
где бы,
когда бы?"
А это

ИМ
покойному Фидию велено:
"Хочу,
чтоб из мрамора
пышные бабы".

Четыре часа —
прекрасный повод:
"Рабы,
хочу отобедать заново!"
И бог
— его проворный повар —
из глин
сочиняет мясо фазаново.
Вытянется,
самку в любви олелеяв.
"Хочешь
бесценнейшую из звездного скопа?"
И вот
для него
легион Галилеев
елозит по звездам в глаза телескопов.

Встрясывают революции царств тельца,
меняют погонщиков человечесий табун,
но тебя,
некоронованного сердец владельца,
ни один не трогает бунт!

Страсти Маяковского

Слышите?
Слышите лошажье ржанье?
Слышите?
Слышите вопли автомобилей?
Это идут.
идут горожане
выкупаться в Его обилии.

Разлив людей.
Затерся в люд,
растроенный и хлюпкий.
Хватаюсь за уздцы.
Повлю
за фалды и за юбки.

Что это?
Ты?
Туда же ведома?
В святошестве изолгалась!
Как красный фонарь у публичного дома,
кровав
налившийся глаз.

Зачем тебе?
Остановись!
Я знаю радость слаже!
Надменно лес ресниц навис.
Остановись!
Ушла уже...

Там, возносясь над головами, Он.

Череп блестит,
хоть надень его на ноги,
безволосый,
весь рассиялся в лоске.
Только
у пальца безымянного
на последней фаланге
три
из-под бриллианта —
выщетинились волосики.

Вижу – подошла.
Склонилась руке.
Губы волосикам.
шепчут над ними они,
«Флейточкой» называют один,
«Облачком» – другой,
третий – сияньем неведомым
какого-то
только что
мною творимого имени.

Вознесение Маяковского

Я сам поэт. Детей учите: «Солнце встает над
ковылями». С любовного ложа из-за Его волосиков
любимой голова.

Глазами взвила ввысь стрелу.
Улыбку убери твою!
А сердце рвется к выстрелу,
а горло бредит бритвою.
В бессвязный бред о демоне
растет моя тоска.
Идет за мной,
к воде манит.
ведет на крыши скат.
Снега кругом.
Снегов налет.
Завьются и замрут.
И падает
— опять! —
на лед
замерзший изумруд.
Дрожит душа.
Меж льдов она,
и ей из льдов не выйти!
вот так и буду,
заколдованный,
набережной Невы идти.
Шагну —
и снова в месте том.
Рванусь —
и снова зря.

Воздвигся перед носом дом.
Разверзлась за оконным льдом

пузатая заря.

Туда!

Мяукал кот.

Коптел, горя,
ночник.

Звонюсь в звонок.

Аптекаря!

Аптекаря!

Повис на палки ног.

Выросли,

спутались мысли,

оленьи

рога.

Плачем марая

пол,

распластался в моленье

о моем потерянном рае.

Аптекарь!

Аптекарь!

Где

до конца

сердце тоску изноет?

У неба ль бескрайнего в нивах,

в бреде ль Сахар,

у пустынь в помешанном зное

есть приют для ревнивых?

За стенками склянок столько тайн.
Ты знаешь высшие справедливости.
Аптекарь,
дай
душу
без боли
в просторы вывести.

Протягивает.
Череп.
«Яд».
Скрестилась кость на кость.

Кому даешь?
Бессмертен я,
твой небывалый гость.
Глаза слепые,
голос нем,
и разум запер дверь за ним,
так что ж
— еще! —
нашел во мне, —
чтоб ядом быть растерзанным?

Мутная догадка по глупому пробрела.
В окнах зеваки.
Дыбятся волоса.
И вдруг я
плавно оплываю прилавок.
Потолок отверзается сам.

Визги.
Шум.
«Над домом висит!»
Над домом вишу.

Церковь в закате.
Крест огарком.
Мимо!
Леса верхи.
Вороньём окаркан.
Мимо!

Студенты!
Вздор
все, что знаем и учим!
Физика, химия и астрономия – чушь.
Вот захотел
и по тучам
лечу ж.

Всюду теперь!
Можно везде мне.
взбурься, баллад поэтовых тина.
Пойте теперь
о новом – пойте Демоне
в американском пиджаке
и блеске желтых ботинок.

Маяковский в небе

Стоп!

Скидываю на тучу
вещей
и тела усталого
кладь.

Благоприятны места, в которых доселе не был.

Оглядываюсь.
Эта вот
зализанная гладь —
это и есть хваленое небо?

Посмотрим, посмотрим!

Искрило,
сверкало,
блестело,
и
шорох шел —
облако
или бестелые
тихо скользили.

«Если красавица в любви клянется...»

Здесь.
на небесной тверди,

слышать музыку Верди?
В облаке скважина.
Заглядываю —
ангелы поют.
Важно живут ангелы.
Важно.

Один отделился
и так любезно
дремотную немоту расторг:
"Ну, как вам
Владимир Владимирович,
нравится бездна?"
И я отвечаю так же любезно:
"Прелестная бездна.
Бездна – восторг!"

Раздражало вначале:
нет тебе
ни угла одного,
ни чаю.
ни к чаю газет.
Постепенно вживался небесам в уклад.
Выхожу с другими глазеть,
а не пришло ли новых.
«А, и вы!»
Радостно обнял.
«Здравствуйте, Владимир Владимирович!»
"Здравствуйте, Абрам Васильевич!
Ну, как кончались?"

Ничего?
Удобно ль?"

Хорошие шуточки, а?

Понравилось.
Стал стоять при въезде.
И если
знакомые
являлись, умирав.
сопровождал их.
показывая в рампе созвездий
величественную бутафорию миров.

Центральная станция всех явлений,
путаница штепселей, рычагов и ручек.
Вот сюда
– и миры застынут в лени —
вот сюда
– и завертятся шибче и круче.
"Крутните, – просят, —
да так, чтоб вымер мир.
Что им?
Кровью поля поливать?"
Смеюсь горячности.
"Шут с ними!
Пусть поливают,
плевать!"

Главный склад всевозможных лучей.

Место выгоревшие звезды кидать.
Ветхий чертеж
— неизвестно чей —
первый неудавшийся проект кита.

Серьезно.
Занято.
Кто тучи чинит,
кто жар надбавляет солнцу в печи.
Всё в страшном порядке,
в покое,
в чине.
Никто не толкается.
Впрочем, и нечем.

Сперва ругались.
«Шатается без дела!»
Я для сердца,
а где у бестелых сердца?!
Предложил им:
"Хотите
по облаку
телом
развалюсь
и буду всех созерцать".

«Нет, — говорят, — это нам не подходит!»
«Ну, не подходит — как знаете! Мое дело
предложить».

Кузни времен вздыхают меха —
и новый
год
готов.
Отсюда
низвергается,
громыхая,
страшный оползень годов.

Я счет не веду неделям.
Мы,
хранимые в рамах времен,
мы любовь на дни не делим,
не меняем любимых имен.

Стих.
Лучам луны на мели
слег,
волнение снами моря.
Будто на пляже южном.
только еще онемелей,
и по мне,
насквозь излаская,
катятся вечности моря.

Возвращение Маяковского

1, 2, 4, 8, 16, тысячи, миллионы.

Вставай,

довольно!
На солнце очи!
Доколе будешь распластан, нем?
Бурчу спросонок:
"Чего грохочут?
Кто смеет сердцем шуметь во мне?"

Утро,
вечер ли?
Ровен белесый свет небес.

Сколько их,
веков,
успело уйти,
вдребезги дней разбилось о даль...
Думаю,
глядя на млечные пути, —
не моя седая развеялась борода ль?

Звезды падают.
Стал глаза вести.
Ишь
туда,
на землю, быстрая!

Проснулись в сердце забытые зависти,
а мозг
досужий
фантазию выстроил.
— Теперь

на земле.
должно быть, ново.
Пахучие весны развесили в селах.
Город каждый, должно быть, иллюминирован.
Поет семья краснощеких и веселых.

Тоска возникла.
Резче и резче.
Царственно туча встает,
дальнее вспыхнет облако,
все мне мерещится
близость
какого-то земного облика.

Напрягся,
ищу
меж другими точками
землю.

Вот она!

Въелся.
Моря различаю,
горы в орлином клетоте...

Рядом отец.
Такой же.
Только на ухо больше туг,
да поистерся
немного

на локте
форменный лесничего сюртук.

Раздражает.
Тоже
уоставился наземь.
Какая старому мысль ясна?
Тихо говорит:
"На Кавказе,
вероятно, весна".

Бестелое стадо,
ну и тоску ж оно
гонит!

Взбубнилась злоба апаша.

Папаша.
мне скушно!
Мне скушно, папаша!
Глупых поэтов небом маните,
вырядились
звезд ордена!
Солнце!
Чего расплескалось мантией?
Думаешь – кардинал?
Довольно лучи обсасывать в спячке.
За мной!
Все равно без ножек —
чего вам пачкать?!

И галош не понадобится в грязи земной.

Звезды!
Довольно
мученический плести
венки
земле!
Озакатили красным.
Кто там
крылами
к земле блестит?
Заря?
Стой!
По дороге как раз нам.

То перекинусь радугой,
то хвост завью кометою.
Чего пошел играть дугой?
Какую жуть в кайме таю?

Показываю
мирам
номера
невероятной скорости.

Дух
бездомный давно
полон дум о давних
днях.
Земных полушарий горсти

вижу —
лежат города в них.

Отдельные голоса различает ухо.

Взмахах в ста.

«Здравствуй, старуха!»
Поскользнулся в асфальте.
Встал.

То-то удивятся не ихней силище
путешественника неб.

Голоса:

"Смотрите,
должно быть, красильщик
с крыши.
Еще удачно!
Тяжелый хлеб".

И снова
толпа
в поводу у дела,
громогосый катился день ее.
О, есть ли глотка,
чтоб громче вгудела
— города громче —
в его гудение.

Кто схватит улиц рвущийся вымах!
Кто может распутать тоннелей подкопы!
Кто их остановит,
по воздуху
в дымах
аэропланами буравящих копать!

По скату экватора
из Чикаг
сквозь Тамбовы
катятся рубли.
Вытянув выи,
гонятся все,
телами утрамбовывая
горы,
моря,
мостовые.

Их тот же лысый
невидимый водит,
главный танцмейстер земного канкана.
То в виде идеи,
то чёрта вроде,
то богом сияет, за облако канув.

Тише, философы!
Я знаю —
не спорьте —
зачем источник жизни дарен им.
Затем, чтоб рвать

затем, чтоб портить
дни листкам календарным.

Их жалеть?
А меня им жаль?
Сожрали бульвары,
сады,
предместья!
Антиквар!
Покажите!
Покупаю кинжал.

И сладко чувствовать,
что вот
пред местью я.

Маяковский векам

Куда я,
зачем я?
Улицей сотой
мечусь
человечьим
разжужженным ульем.

Глаза пролетают оконные соты,
и тяжело,
и чуждо,
и мерзко в июле им.

Витрины и окна тушит
город.

Устал и сник.

И только
туч выпотрашивает туши
кровавый закат-мясник.

Слоняюсь.
Мост феерический.
Влез.
И в страшном волнении взираю с него я.
Стоял, вспоминаю.
Был этот блеск.
И это
тогда
называлось Невою.

Здесь город был.
Бессмысленный город,
выпутанный в дымы трубного леса.
В этом самом городе
скоро
ночи начнутся,
остекленелые,
белесые.

Июлю капут.

Обезночел загретый.
Избрелся в шепот чего-то сквозного.
То видится крест лазаретной кареты,
то слышится выстрел.
Умолкнет —
и снова.

Я знаю,
такому, как я,
накалиться
недолго,
конечно,
но все-таки дико,
когда не фонарные тыщи,
а лица.
Где было подобие этого тика?

И вижу, над домом
по риску откоса
лучами идешь,
собираешь их в копны.
Тянусь,
но туманом ушла из-под носа.

И снова стою
онемелый и вкопанный.
Гуляк полуночных толпа раскололась,
почти что чувствую запах кожи,
почти что дыханье,
почти что голос,

я думаю – призрак,
он взял, да и ожил.

Рванулась,
вышла из воздуха уз она.
Ей мало
– одна! —
раскинулась в шествие.
Ожившее сердце шарахнулось грузно.
Я снова земными мученьями узнан.
Да здравствует
– снова! —
мое сумасшествие!

Фонари вот так же врезаны были
в середину улицы.
Дома похожи.
Вот так же,
из ниши,
готовы кобыльей
вылеп.

– Прохожий!
Это улица Жуковского?

Смотрит,
как смотрит дитя на скелет,
глаза вот такие,
старается мимо.

"Она – Маяковского тысячи лет:
он здесь застрелился у двери любимой".
Кто,
я застрелился?
Такое загнут!
Блестящую радость, сердце, вычекань!
Окну
лечу.
Небес привычка.

Высоко.
Глубже ввысь зашел
за этажем этаж.
Завесилась.
Смотрю за шелк —
все то же,
спальня та ж.

Сквозь тысячи лет прошла – и юна.
Лежишь,
волоса луною высиня.
Минута...
и то,
что было – луна,
Его оказалась голая лысина.

Нашел!

Теперь пускай поспят.
Рука,

кинжала жало стиснь!
Крадусь,
приглядываюсь —
и опять!
Люблю
и вспять
иду в любви и жалости.

Доброе утро!

Зажглось электричество.
Глаз два выката.
«Кто вы?» —
"Я Николаев
– инженер.
Это моя квартира.
А вы кто?
Чего пристаёте к моей жене?"

Чужая комната.
Утро дрогло.
Трясаясь уголками губ,
чужая женщина,
раздетая догола.

Бегу.

Растерзанной тенью,
большой,
косматый,

несусь по стене,
луной облитый.
Жильцы выбегают, запахивая халаты.
Гремлю о плиты.
Швейцара ударами в угол загнал.
"Из сорок второго
куда ее дели?" —
"Легенда есть:
к нему
из окна.
Вот так и валялись
тело на теле".

Куда теперь?
Куда глаза
глядят.
Поля?
Пускай поля!
Траля-ля, дзин-дза,
траля-ля, дзин-дза,
тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля!

Петлей на шею луч накинь!
Сплетусь в палящем лете я!
Гремят на мне
наручники,
любви тысячелетия...

Погибнет все.
Сойдет на нет.

И тот,
кто жизнью движет.
последний луч
над тьмой планет
из солнц последних выжжет.
И только
боль моя
острей —
стою,
огнем обвит,
на несгорающем костре
немыслимой любви.

Последнее

Ширь,
бездомного
снова
лоном твоим прими!
Небо какое теперь?
Звезде какой?
Тысячью церковей
подо мной
затянул
и тянет мир:
«Со святыми упокой!»

1916-1917

150 000 000

150 000 000 мастера этой поэмы имя.

Пуля – ритм.

Рифма – огонь из здания в здание.

150 000 000 говорят губами моими.

Ротационной шагов

в булыжном верже площадей

напечатано это издание.

Кто спросит луну?

Кто солнце к ответу притянет —

чего

ночи и дни чините?!

Кто назовет земли гениального автора?

Так

и этой

моей

поэмы

никто не сочинитель.

И идея одна у нее —

сиять в настоящее

завтра.

В этом самом году,

в этот день и час,

под землей,

на земле,

по небу
и выше —
такие появились
плакаты,
летучки,
афиши:

«ВСЕМ!
ВСЕМ!
ВСЕМ!
Всем,
кто больше не может!
Вместе
выйдите
и идите!»

(подписи):

МЕСТЬ – ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР.

ГОЛОД – РАСПОРЯДИТЕЛЬ.

ШТЫК.

БРАУНИНГ.

БОМБА.

(три

подписи:

секретари).

Идем!

Идемидем!

Го, го,

го, го, го, го,

го, го!

Спадают!

Ванька!

Керенок подсунь-ка в лапоть!

Босому, что ли, на митинг ляпать?

Пропала Россеичка!

Загубили бедную!

Новую найдем Россию.

Всехсветную!

Иде-е-е-е-е-м!

Он сидит раззолоченный

за чаем

с птифур.

Я приду к нему

в холере.

Я приду к нему

в тифу.

Я приду к нему,

я скажу ему:

«Вильсон, мол,

Вудро,

хочешь крови моей ведро?

И ты увидишь...»

До самого дойдем

до Ллойд-Джорджа —

скажем ему:

«Послушай,

Жоржа...»

– До него дойдешь!

До него океаны.

Страшен,

как же,
российский одёр им.
– Ничего!
Дойдем пешкодером!
Идемидем! —
Будилась призывом,
из лесов
спросонок,
лезла сила зверей и зверят.
Визжал придавленный слоном поросенок.
Щенки выстраивались в щенячий ряд.
Невыносим человеческий крик.
Но зверий
душу веревкой сворачивал.
(Я вам переведу звериный рык,
если вы не знаете языка зверячьего):
«Слушай,
Вильсон,
заплывший в сале!
Вина людей —
наказание дай им.
Но мы
не подписывали договора в Версале.
Мы,
зверье,
за что голодаем?
Свое животное горе киньте им!
Дос'ята наестся хоть раз бы еще!
К чреватым сажеными травами Индиям,
к американским идемте пастбищам!»

Скорейскорей!

Эй,

губернии,

снимайтесь с якорей!

За Тульской Астраханская,

за махиной махина,

стоявшие недвижимо

даже при Адаме,

двинулись

и на

другие

прут, погромыхивая городами.

Вперед запоздавшую темь гоня,

сшибаясь ламп лбами,

на митинг шли легионы огня,

шагая фонарными столбами.

А по верху,

воду с огнем миря,

загнившие утопшими, катились моря.

«Дорогу каспийской волне-баловнице!

Обратно в России русло не поляжем!

Не в чахлом Баку,

а в ликующей Ницце

с волной средиземной пропляшем по пляжам».

И, наконец,

из-под грома

бега и езды,

в ширь непомерных легких завздыхав,

всклокоченными тучами рванулись из дыр

и пошли грозой российские воздуха.

Иде-е-е-е-м!

Идемидем!

И все эти

сто пятьдесят миллионов людей,

биллионы рыбин,

триллионы насекомых,

зверей,

домашних животных,

сотни губерний,

со всем, что построилось,

стоит,

живет в них,

все, что может двигаться,

и все, что не движется,

все, что еле двигалось,

пресмыкаясь,

ползая,

плавая —

лавою все это,

лавою!

И гудело над местом,

где стояла когда-то Россия:

– Это же ж не важно,

чтоб торговать сахарином!

В колокола клокотать чтоб – сердцу важно!

Сегодня

в рай

Россию ринем
за радужные закаты скважины.
Го, го,
го, го, го, го,
го, го!
Идемидем!
Сквозь белую гвардию снегов!

**Чего полезли губерний туши
из веками намеченных губернаторами зон?
Что, слушая, небес зияют уши?
Кого озирает горизонт?**

Оттого
сегодня:
на нас устремлены
глаза всего света
и уши всех напряжены,
наше малейшее ловя,
чтобы видеть это,
чтобы слушать эти слова:
это —
революции воля,
брошенная за последний предел,
это —
митинг,
в махины машинных тел вмешавший людей и
зверьи туши,
это —
руки,

лапы,
клешни,
рычаги,
туда,
где воздух поредел,
вонзенные в клятвенном единодушье.

Поэтов,
старавшихся выть поднебесней,
забудьте,

эти слушайте песни:

«Мы пришли, сквозь столицы,
сквозь тундры прорвались,
прошагали сквозь грязи и лужищи.

Мы пришли, миллионы,
миллионы трудящихся,
миллионы работающих и служащих.

Мы пришли из квартир,
мы сбежали со складов,
из пассажей, пожаром озаренных.

Мы пришли, миллионы,
миллионы вещей,
изуродованных, сломанных,
разоренных.

Мы спустились с гор,
мы из леса сползлись,
от полей, годами глоданных.

Мы пришли,
миллионы,
миллионы скотов,
одичавших, тупых,

голодных.

Мы пришли,
миллионы
безбожников,
язычников
и атеистов
биясь
лбом,
ржавым железом,
полем —
все
истово
господу богу помолимся.

Выйдь
не из звездного
нежного ложа,
боже железный,
огненный боже,
боже не Марсов,
Нептун и Вег,
боже из мяса —
бог-человек!
Звездам н'а мель
не загнанный ввысь,
земной
между нами
выйди,
явись!
Не тот, который

«иже еси на небесех».

Сами
на глазах у всех
сегодня
мы
займемся
чудесами.

Твое во имя
биться дабы,
в громе,
в дыме
встаем на дыбы.
Идем на подвиг
труднее божеского втрое,
творившего,
пустоту вещами д'аруя.
А нам
не только, новое строя,
фантазировать,
а еще и издинамитить старое.

Жажда, по'и!
Голод, насыть!
Время
в бои
тело носить.
Пули, погуще!
По оробелым!
В гущу бегущим

грязь, парабеллум!

Самое это!

С донышка душ!

Жаром,

жженьем,

железом,

светом, жарь,

жги,

режь,

рушь!

Наши ноги —

поездов молниеносные проходы.

Наши руки —

пыль сдувающие веера полян.

Наши плавники – пароходы.

Наши крылья – аэроплан.

Идти!

Лететь!

Проплывать!

Катиться! —

всего мироздания проверяя реестр.

Нужная вещь —

хорошо,

годится.

Ненужная —

к черту!

Черный крест.

Мы

тебя доконаем,

мир-романтик!

Вместо вер —
в душе
электричество,
пар.

Вместо нищих —
всех миров богатство прикарманьте!
Стар – убивать.
На пепельницы череп'а!
В диком разгроме
старое смыв,
новый разгр'омим
по миру миф.
Время-ограду
взломим ногами.
Тысячу радуг
в небе нагаммим.

В новом свете раскроются
поэтом опоганенные розы и грезы.
Всё
на радость
нашим
глазам больших детей!
Мы возьмем
и придумаем
новые розы —
розы столиц в лепестках площадей.
Все,
у кого
мучений клейма нажжены,

тогда приходите к сегодняшнему палачу.

И вы

узнаете,

что люди

бывают нежны,

как любовь,

к звезде вздымающаяся по лучу.

Будет

наша душа

любовных Волг слиянным устьем.

Будешь

– любой приплыви —

глаз сияньем облит.

По каждой

тончайшей артерии

пустим

поэтических вымыслов феерические корабли.

Как нами написано, —

мир будет таков

и в среду,

и в прошлом,

и ныне,

и присно,

и завтра,

и дальше

во веки веков!

За лето

столетнее

бейся,

пой: – «И это будет

последний
и решительный бой!»
– Залпом глоток гремим гимн!
Миллион плюс!
Умножим н'а сто!
По улицам!
На крыши!
За солнца!
В миры —
слов звонконогие гимнасты!

И вот
Россия
не нищий оборвыш,
не куча обломков,
не зданий пепел —
Россия
вся
единый Иван, и рука
у него —
Нева,
а пятки – каспийские степи.

Идем!
Идемидем!
Не идем, а летим!
Не летим, а молньимся,
души зефирами вымыв!
Мимо
баров и бань.

Бей, барабан!
Барабан, барабань!
Были рабы!
Нет раба!
Баарбей!
Баарбань!
Баарабан!
Эй, стальногрудые!
Крепкие, эй!
Бей, барабан!
Барабан, бей!
Или – или.
Пропал или пан!
Будем бить!
Бьем!
Били!
В барабан!
В барабан!
В барабан!

Революция
царя лишит царева званья.
Революция
на булочную бросит голод толп.
Но тебе
какое дам названье, вся Россия, смерчем
скрученная в столб?!
Совнарком —
его частица мозга, —
не опередить декретам скач его.

Сердце ж было так его громоздко,
что Ленин еле мог его раскачивать.
Красноармейца можно отступить заставить,
коммуниста сдавить в тюремный гнет,
но такого
в какой удержишь заставе,
если
такой
шагнет?!
Гром разодрал побережий уши,
и брызги взметнулись земель за тридевять,
когда Иван,
шаги обрушив,
пошел
грозою вселенную выдвигать.
В стремя фантазии ногу вденем,
дней оседлаем порох,
и сами
за этим блестящим виденьем
пойдем излучаться в несметных просторах.

**Теперь
повернем вдохновенья колесо.
Наново ритма мерка.
Этой части главное действующее лицо —
Вильсон.
Место действия – Америка.**

Мир,
из света частей

собирая квинтет,
одарил ее мощью магической.
Город в ней стоит
на одном винте,
весь электро-динамо-механический.
В Чикаго
14 000 улиц —
солнц площадей лучи.
От каждой —
700 переулков
длиною поезду н'а год.
Чудно человеку в Чикаго!
В Чикаго
от света
солнце
не ярче грошовой свечи.
В Чикаго,
чтоб брови поднять —
и то
электрическая тяга.
В Чикаго
на версты
в небо
скачут дорог стальные циркачи.
Чудно человеку в Чикаго!
В Чикаго
у каждого жителя
не менее генеральского чин.
А служба —
в барах быть,

кутить без забот и тягот.
Съестного
в чикагских барах
чего-чего не начудено!
Чудн'о человеку в Чикаго!
Чудн'о человеку!
И ч'удно!
В Чикаго
такой свирепеет грохот,
что грузовоз
с тысячесильной машиною
казался,
что ветрится тихая кроха, что он
прошелёстывал тишью мышиною.
Русских
в город тот
не везет пароход,
не для нас дворцов этажи.
Я один там был,
в барах ел и пил,
попивал в барах с янками джин.
Может, пустят и вас,
не пустили пока —
начиняйтесь же и вы чудесами —
в скороходах-стихах,
в стихах-сапогах
исход'ите Америку сами!
Аэростанция
на небоскребе.
Вперед,

пружина бока в дирижабле!
Сожмутся мосты до воробьих ребер.
Чикаго внизу
землею прижаблен.
А после,
с неба,
видные еле, сорвавшись,
камнем в бездну спланируем.
Тоннелем в метро
подземные версты выроем
и выйдем на площадь.
Народом запружена.
Версты шириною с три.
Отсюда начинается то, что нам нужно: —
«Королевская улица» —
по-ихнему
– «Рояль-стрит».
Что за улица?
Что на ней стоит?

А стоит на ней —
Чипль-Стронг-Отель.
Да отель ли то
или сон?!
А в отеле том
в чистоте,
в теплоте сам живет
Вудро
Вильсон.
Дом какой – не скажу.

А скажу когда,
то покорнейше прошу не верить.
Места нет такого, отойти куда,
чтоб всего его глазом обмерить.
То,
что можно увидеть,
один уголок,
но и то
такая диковина!
Посмотреть, например,
на решетки клок —
из гущённого солнца кована.
А с боков обойдешь —
гора не гора!
Верст на сотни,
а может, на тыщи.
За седьмое небо зашли флюгера.
Да и флюгер
не богом ли чищен?
Тоже лестница там!
Не пойдешь по ней!
Меж колоночек,
балкончиков,
портиков
сколько в ней ступеней,
и не счесть ступне, —
ступеней этих самых
до чертиков!
Коль пешком пойдешь —
иди молодой!

Да и то
дойдешь ли старым!
А для лифтов —
трактиры по лестнице той,
чтоб не изголодались задаром.
А доехали —
если рады нам —
по пяти впускают парадным.
Триста комнат сначала гости идут.
Наконец дошли.
Какое!
Тут
опять начались покои.
Вас встречает лакей.
Булава в кулаке.
Так пройдешь лакеев пять.
И опять булава.
И опять лакей.
Залу кончишь —
лакей опять.
За лакеями
гуще еще
курьер.
Курьера курьер обгоняет в карьер.
Нет числа.
От числа такого
дух займет у щенка-Хлестакова.
И только
уоставши
от страшных снований,

когда
не кажется больше,
что выйдешь,
а кажется,
нет никаких оснований,
чтоб кончилось это —
приемную видишь.
Вход отсюда прост —
в триаршинный рост
секретарь стоит в дверях нем.
Приоткроем дверь.
По ступенькам – (две) —
приподымаемся,
взглянем,
ахнем! —
То не солнце днем —
цилиндрище на нем
возвышается башней Сухаревой.
Динамитом плюет
и рыгает о нем,
рыжий весь,
и ухает ухарево.
Посмотришь в ширь —
йоркширом йоркшир!
А длина —
и не скажешь, какая длина,
так далеко от ног голова удалена!
То ль заряжен чем,
то ли с присвистом зуб,
что ни звук —

бух пушки.

Люди – мелочь одна,
люди ходят внизу,
под ним стоят,
как избушки.

Щеки ж
такой сверхъестественной мягкости,
что сами просятся —
придите,
лягте.

А одежда тонка,
будто вовсе и нет —
из тончайшей поэтовой неги она.

Кальсоны Вильсона
не кальсоны – сонет,
сажени из ихнего Онегина.

А работает как!

Не покладает рук.

Может заработать до см'ерти.

Вертит пальцем большим
большого вокруг.

То быстрее,
то медленней вертит.

Повернет —
расчет где-нибудь
на заводе.

Мне
платить не хотят построчной платы.

Повернет —
Штраусы вальсы заводят,

золотым дождем заливает палаты.

Чтоб его прокормить,

поистратили рупь.

Обкормленный весь,

оп'оенный.

И на случай смерти,

не пропал чтоб труп,

салотопки стоят,

маслобойни.

Все ему

американцы отданы,

и они

гордо говорят:

я —

американский подданный.

Я —

свободный

американский гражданин.

Под ним склоненные

стоят

его служающих сонмы.

Вся зала полна

Линкольнами всякими.

Уитмэнами, Эдисонами.

Свита его

из красавиц,

из самой отборнейшей знати.

Его шевеленья малейшего ждут.

Аделину

Патти

знаете?

Тоже тут!

В тесном смокинге стоит Уитмэн,
качалкой раскачивать в невиданном ритме.

Имея наивысший американский чин —
«заслуженный разглаживатель дамских морщин»,
стоит уже загримированный и в шляпе
всегда готовый запеть Шаляпин.

Паркетные песком соря,
рассыпчатые от старости стоят профессора.

Сам знаменитейший Мечников
стоит и снимает нагар с подсвечников.

Конечно,

ученых

сюда

привел

теорий потоп.

Художников

какое-нибудь

великолепнейшее

экольдебозар.¹

Ничего подобного!

Все

сошлись,

чтоб

ходить на базар.

Ежеутренне

все эти

любимцы муз и слав

нагрузятся корзинами,

идут на рынок
и несут,
несут
мяс'а,
масла'.

Какой-нибудь король поэтов
Лонгфелло
сто волочит со сливками крынок.
Жрет Вильсон,
наращивает жир,
растут животы,
за этажом этажи.

Небольшое примечание:

Художники
Вильсонов,
Ллойд-Джорджев,
Клемансо
рисуют —
усатые,
безусые рожи —
и напрасно:
всё
это
одно и то же.

**Теперь
довольно смеющихся глав нам.
В уме
Америку
ясно рисуете.**

**Мы переходим
к событиям главным.
К невероятной,
к гигантской сути.**

День
этот
был
огнеупорный.
В разливе зноя з'емли тихли.
Ветр'ов иззубренные бороны
вотще старались воздух взрыхлить.
В Чикаго
жара непомерная:
градусов 100,
а 80 – наверное.
Все на пляже.
Кто могли – гуляли себе.
А в большей части лежали даже.
Пот
благоухал
на их холеном теле.
Ходили и пыхтели.
Лежали и пыхтели.
Барышни мопсиков на цепочках водили,
и мопсик
раскормленный был,
как теленок.
Даме одной,
дремавшей в идиллии,

в ноздрю
сжаревший влетел мотыленок.
Некоторые вели оживленные беседы,
говорили «ах»,
говорили «ух».
С деревьев слетал пух.
Слетал с деревьев мимозовых.
Розовел
на белых шелках и кисеях.
Белел на розовых.
Так
довольно долго все занимались
приятным времяпрепровождением.
Но уже
час тому назад
стало кое-что
меняться.
Еле слышное,
разве только что кончиком души,
дуновенье какое-то.
В безветренном море
ширятся всплески.
Что такое?
Чего это ради ее?
А утром
в молнийном блеске
АТА
(Американское Телеграфное Агентство)
город таким шарахнуло радио:
«Страшная буря на Тихом океане.

Сошли с ума муссоны и пассаты.
На Чикагском побережье выловлены рыбы.
Очень странные.
В шерстях.
Носатые».
Вылазили сонные,
не успели еще обсудить явление,
а радио
спешные
вывешивало объявления:
«Насчет рыб ложь.
Рыбак спьяну местный.
Муссоны и пассаты на месте.
Но буря есть.
Даже еще страшней.
Причины неизвестны».
Выход судам запретили большие,
к ним
присоединились
маленькие пароходные
компанийки.
Доллар пал.
Чемоданы нарасхват.
Биржа в панике.
Незнакомога
на улице
останавливали незнакомые —
не знает ли чего человек со стороны.
Экстренный выпуск!
Радио!

Выпуск экстренный!
«Радиограмма переврана.
Не бурь раскат.
Другое.
Грохот неприятельских эскадр».
Радио расклеили.
И, опровергая оное,
сейчас же
новое,
последнее,
захватывающее,
сенсационное.
«Не пушечный дым —
океанская синева.
Нет ни броненосцев,
ни флотов,
ни эскадр.
Ничего нет. Иван».
Что Иван?
Какой Иван?
Откуда Иван?
Почему Иван?
Чем Иван?
Положения не было более запутанного.
Ни одного объяснения
достоверного,
путного.
Сейчас же собрался коронный совет.
Всю ночь во дворце беспокоился свет.
Министр Вильсона

Артур Крупп
заговорился так,
что упал, как труп.
Капитализма верный трезор,
совсем умаялся сам Крезо.
Вильсон
необычайное
проявил упорство
и к утру
решил —
иду в единоборство.
Беда надвигается.
Две тысячи верст.
Верст за тысячу.
З'а сто.
И...
очертанья идущего
нащупали,
заметили,
увидели маяки глазастые.

**Строки
этой главы,
гремите,
время ритмом роя!
В песне —
миф о героях Гомера,
история Трои,
до неузнаваемости раздутая,
воскресни!**

Голодный,
с теплом в единственный градус
жизни,
как милости д'аренной,
радуюсь,
ход твой следя легендарный.
Куда теперь?
Где пеш?
Какими идешь морями?
Молнию рвущихся депеш
холодным стихом срашим.
Ворвался в Дарданеллы Иванов разбег.
Турки
с разинутыми ртами
смотрят:
человек —
голова в Казбек! —
идет над Дарданелльскими фортами.
Старики улизнули.
Молодые на мол.
Вышли.
Песни бунта и молодости.
И лишь
до берега вал домёл,
и лишь волною до мола достиг —
бросились,
будто в долгожданном сигнале,
человек на человека,
класс на класс.

Одних короновали.
Других согнали.
Пешком по морю —
и скрылись из глаз.
Других глотает морская ванна,
другими
акула кровавая кутит,
а эти
вошли,
ввалились в Ивана
и в нем разлеглись,
как матросы в каюте.
(А в Чикаго
ничто не сулило пока
для чикагцев страшный час.
Изогнувшись дугой,
оттопырив бока,
веселились,
танцами мчась.)
Замерли римляне.
Буря на Тибре.
А Тибр,
взъярясь,
папе римскому голову выбрил
и пошел к Ивану сквозь утреннюю ясь.
(А в Чикаго
усы в ликеры вваля,
выступ мяса облапив бабистый, —
Илл-ля-ля!
Олл-ля-ля! —

процелованный,
взголённый,
разухабистый.)

Черная ночь.

Без звездных фонарей.

К Вильсону,

скользя по водным массам,

коронованный поэтами

крадется Рейн,

слегка посвечивая голубым лампасом.

(А Чикаго

спит,

обтанцован,

спит,

рыхотелье подушками выходя.

Синь уснула.

Сопит.

Море храпом храпит.

День встает.

Не расплатой на них ли?)

Идет Иван,

сиянием брезжит.

Шагает Иван,

прибоями брызжет.

Бежит живое.

Бежит, побережит.

Вулканом мир хорохорится рыже.

Этого вулкана нет на

составленной старыми географами карте.

Вселенная вся,

а не жалкая Этна,
народов лавой брызжущий кратер.
Ревя, несется
странами стертыми
живое и мертвое
от ливня лав.
Одни к Ивану бегут
с простертыми
руками,
другие – к Вильсону стремглав.
Из мелких фактов будничной тины
выявился факт один:
вдруг
уничтожились все середины —
нет на земле никаких средин.
Ни цветов,
ни оттенков,
ничего нет —
кроме
цвета, красящего в белый цвет,
и красного,
кровавящего цветом крови.
Багровое все становилось багр'овой.
Белое все белей и белее.
Иван
через царства
шагает по крови,
над миром справляя огней юбилеи.
Выходит, что крепости строили даром.
Заткнитесь, болтливые пушки!

Баста!

Над неприступным прошел Гибралтаром.

И мир

океаном Ивану распластан.

(А в Чикаго

на пляже

выводок шлюх

беснованием моря встревожен.

Погоняет время за слухом слух,

отпустив небылицам вожжи.)

Какой адмирал

в просторе намытом

так пути океанские выучит?!

Идет,

начиненный людей динамитом.

Идет,

всемирной злобою взрывчат.

В четыре стороны расплылось

тихоокеанское лоно.

Иван

без карт,

без компасной стрелки

шел

и видел цель неуклонно,

как будто

не с моря смотрел,

а с тарелки.

(А в Чикаго

до Вильсона

докатился вал,

брошенный Ивановой ходьбою.
Он боксеров,
стрелков,
фехтовальщиков сзывал,
чтобы силу наяривать к бою.)
Вот так открыватели,
так Колумбы
сияли,
когда
Ивану
до носа —
как будто
с тысячезапахой клумбы —
земли приближавшейся запах донесся.
(А в Чикаго
боксеров
распирает труд.
Положили Вильсона наземь
и...
ну тереть!
Натирают,
трут,
растирают силовыми мазями.)
Сверльнуло глаз'а маяка одноглазье —
и вот
в мозги,
в глаза,
в рот,
из всех океанских щелей вылазя,
Америка так и прет и прет.

Взбиралась с разбега верфь на верфь.

На виадук взлетал виадук.

Дымище такой,

что, в черта уверовав,

идешь, убежденный,

что ты в аду.

(Где Вильсона дряблость?

Сдули!

Смолодел на сорок годов.

Животами мышцы вздулись,

Ощупали.

Есть.

Готов.)

Доходит,

пенной волну опеая,

гигантам-домам за крыши замча,

на берег выходит Иван

в Америке,

сухенький,

даже ног не замоча.

(Положили Вильсону последний заклеп

на его механический доспех,

шлем ему бронированный возвели на лоб,

и к Ивану он гонит спех.)

Чикагцы

себя

не любят

в тесных улицах площадьь.

И без того

в Чикаго

площади самые лучшие.
Но даже
для чикагцев непомерная
площадь
была приготовлена для этого случая.
Люди,
место схватки ораив,
пускай непомерное! —
сузили в узел.
С одной стороны —
с горностаем,
с бобрами,
с другой —
синевели в замасленной блузе.
Лошади
в кашу впутались
в ту же.
К бобрам —
арабский скакун,
к блузам —
тяжелые туши битюжьи.
Вздымают ржанье,
грозят рысаку.
Машины стекались, скользя на мази.
На классы разбился
и вывоз
и ввоз.
К бобрам
изящный ушел лимузин,
к блузам

стал
стосильный грузовоз.
Ни песне,
ни краске не будет отсрочки,
бой вас решит – судия строгий.
К бобрам —
декадентов всемирных строчки.
К блузам —
футуристов железные строки.
Никто,
никто не избегнет возмездья —
звезде,
и той
не уйти.
К бобрам становитесь,
генералы созвездья,
к блузам —
миллионы Млечного Пути.
Наружу выпустив скованные лавины,
земной шар самый
на две раскололся полушарий половины
и, застыв,
на солнце
повис весами.
Всеми сущими пушками
над
площадью объявлен был «чемпионат
всемирной классовой борьбы!».
В ширь
ворота Вильсону —

верста,
и то он боком стал
и еле лез ими.
Сапожищами
подгибает бетон.
Чугунами гремит,
железами.
Во Ивана входящего вперился он —
осмотреть врага,
да нечего
смотреть —
ничего,
хорошо сложен,
цветом тела в рубаху просвечивал.
У того —
револьверы
в четыре курка,
сабля
в семьдесят лезвий гнута,
а у этого —
рука
и еще рука,
да и та
за пояс ткнута.
Смерил глазом.
Смешок по усам его.
Взвил плечом шитье эполетово:
«Чтобы я —
о господи! —
этого самого?»

Чтобы я
не смог
вот этого?!»
И казалось —
растет могильный холм
посреди ветров обываний.
Ляжет в гроб, и отныне
никто,
никогда,
ничего
не услышит
о нашем Иване.
Сабля взвизгнула.
От плеча
и вниз
на четыре версты прорез.
Встал Вильсон и ждет —
кровь должна б,
а из
раны
вдруг
человек полез.
И пошло ж идти!
Люди,
дома,
броненосцы,
лошади
в прорез пролезают узкий.
С пением лезут.
В музыке.

О горе!

Прислали из северной Трои
начиненного бунтом человека-коня!
Метались чикагцы,
о советском строе
весть по оторопевшим рядам гоня.

**Товарищи газетчики,
не допытывайтесь точно,
где была эта битва
и была ль когда.
В этой главе
в пятиминутье всредоточены
бывших и не бывших битв года.**

Не Ленину стих умиленный.
В бою
славлю миллионы,
вижу миллионы, миллионы пою.
Внимайте же, историки и витии,
битв не бывших видевшему перипетии!
«Вставай, проклятьем заклейменный» —
радостная выстрелила весть.
В ответ
миллионный
голос:
«Готово!»
«Есть!»
«Боже, Вильсона храни.
Сильный, державный», —

они голос подняли ржавый.
Запела земли половина красную песню.
Земли половина белую песню запела.
И вот
за песней красной,
и вот
за песней за белой —
тараны затарахтели в запертое будущее,
лучей щетины заскребли,
замели.
Руки разрослись,
легко распутывающие
неведомые измерения души и земли.
Шарахнутые бунта веником
лавочки,
не доведя обычный торг,
разбежались ошпаренным муравейником
из банков,
магазинов,
конторок.
На толщ душивших набережных и дамб
к городам
из океанов
двинулась вода.
Столбы телеграфные то здесь,
то там
соборы вздергивали на провода.
Бросив насиженный фундамент,
за небоскребом пошел небоскреб,
как тигр в зверинце —

мясо
фунтами,
пастью ворот особнячишки сгреб.
Сами себя из мостовых вынув, —
где, хозяин, лбище твой? —
в зеркальные стекла бриллиантовых магазинов
бросились булыжники мостовой.
Не боясь сесть на мель,
не боясь на колокольни напороть туши,
просто —
как мы с вами —
шагали киты сушей.
Красное все
и все, что б'ело,
билось друг с другом,
билось и пело.
Танцевал Вильсон
во дворце кэк-уок,
заворачивал задом и передом,
да не доделала нога экивок,
в двери смотрит Вильсон,
а в дв'ери там —
непоколебимые,
походкой зловещею,
человек за человеком,
вещь за вещью
вваливаются в дверь в эту:
«Господа Вильсоны,
пожалте к ответу!»
И вот,

притворявшиеся добрыми,
колье
на Вильсоних
бросились кобрами.
Выбирая,
которая помягче и почище,
по гостиным
за миллиардершами
гонялись грузовичищи.
Не убежать!
Сороконогая
мебель раскинула лов.
Топтала людей гардеробами,
протыкала ножками столов.
Через Рокфеллеров,
валяющихся ничком,
с горлами,
сжимаемыми собственным воротничком,
растоптав,
как тараканов, вывалилась,
в Чикаго канув.
По улицам
в саж'ени
дома не видно от дыма сражений.
Как в кинематографе
бывает —
вдруг
крупно —
видят:
сквозь ха'ос

ползущую спекуляцию добивает,
встав на задние лапы,
Совнархоз.

Но Вильсон не сдается,
засел во дворце,
нажимает золотые пружины,
и выстраивается цепь —
нечеловеческие дружины.

Страшней, чем танки,
чем войск роты,
безбрюхий встал,
пошел сторотый,
мильонозубый
ринулся голод.

Город грызнет – орехом расколот.
Сгреб деревню – хрустнула косточкой.

А людей,
а людей и зверей —
просто в рот заправляет горсточкой.

Впереди его,
вывострив ухо,
путь расчищая, лезет разруха.

Дышит завод.

Разруха слышит.

Слышит разруха – фабрика дышит.

Грохнет по фабрике —
фабрика свалена.

Сдавит завод —
завод развалина.

Рельс обломком крушит, как палицей.

Все разрушается,
гибнет,
валится.
Готовься!
К атаке!
Трудись!
Потей!
Горло голода,
разрухи глотку
затянем
петлей железнодорожных путей!
И когда пресекаться дух стран
стал,
голодом сперт,
тогда,
раскачивая поездов таран,
двинулся вперед транспорт.
Ветрилась паровозов борода седая,
бьются,
голод сдал,
и по нем,
остатки съедая,
груженные хлебом прошли поезда.
Искорежился, —
и во гневе
Вудро,
приказав:
«Сразите сразу»,
новых воинов высылает рой —
смертоноснейшую заразу.

Идут закованные в грязевые брони
спирохет на спирохете,
вибрион на вибрионе.
Ядом бактерий,
лапами вшей
кровь поганят,
ползут за шей.
Болезни явились
небывалого фасона:
вдруг
человек
становится сонный,
высыпает ряб'о,
распухает
и лопается грибом.
Двинулись,
предводимые некою
радугоглазой аптекою,
бутыли карболочные выдвинув в бойницы,
лазареты,
лечебницы,
больницы.
Вши отступили,
сгрудились скопом.
Вшей
в упор
расстреливали микроскопом.
Молотит и молотит дезинфекции цеп.
Враги легли,
ножки задрав.

А поверху,
размахивая флаг-рецепт,
прошел победителем мировой Наркомздрав,
Вырывается у Вильсона стон, —
и в болезнях побит и в еде,
и последнее войско высылает он
ядовитое войско идей.

Демократизмы,
гуманизмы —
идут и идут
за измами измы.

Не успеешь разобраться,
чего тебе нужно,

а уже
философией
голова заталмужена.

Засасывали романсов тиной.

Пением завораживали.

Завлекали картиной.

Пустые головы

книжками

для веса нагрузив,

пошел за профессором профессор.

Их

молодая встретила орава,

и дулам браунингов в провал

рухнуло римское право

и какие-то еще права.

Простонародью очки втирая,

адам пугая,

прельщая раем,
и лысые, как колено,
и мохнатые, как звери,
с евангелиями вер,
с заговорами суеверий,
рясами вздыбив пыль,
армией двинулись черно-белые попы.

Под градом декретов
от красной лавины
рассыпались
попы,
муллы,
раввины.

А ну, чудотворцы,
со смертных одр
встаньте-ка!

На месте кровавого спора
опора веры валяется —
Петр
с проломанной головой собственного собора.

Тогда
поэты взлетели н'а небо,
чтоб сверху стрелять, как с аэроплана бы.

Их
на приманку академического пайка
заманивали,
ждали, не спустятся пока.

Поэты бросались, камнем пав, —
в работу их,
перья рифм ощипав!

В «Полное собрание сочинений»,
как в норки
классики забились.
Но жалости нет!
Напрасно
их
наседкой
Горький
прикрыл,
распустив изношенный авторитет.
Фермами ног отмахивая мили,
кранами рук расчищая пути,
футуристы
прошлое разгромили,
пустив по ветру культуришки конфетти.
Стенкой в стенку,
валяясь в п'ыли,
билась с адмиралтейством
Лувра труха,
пока
у адмиралтейства
на штыке-шпиле
не повисли Лувра картинные потроха.
Последняя схватка.
Сам Вильсон.
И в ужасе видят вильсонцы —
испепелен он,
задом придавить пытавшийся солнце.
Кто вспомнит безвестных главковерхов имя,
победы громоздивших одна на одну?!

Загрохотав в международной Цусиме,
эскадра старья пошла ко дну.
Фабриками попирая прошедшего труп,
будущее загорланило триллионом труб:
«Авелем называйте нас
или Каином,
разница какая нам!
Будущее наступило!
Будущее победитель!
Эй, века,
на поклон идите!»
Горизонт перед солнцем расступился злюч.
И только что
мира пол заклавший,
Каин гением взялся за луч,
как музыкант берется за клавиши.

**История,
в этой главе
как на ладони бег твой.
Голодая и ноя,
города расступаются,
и над пылью проспектовой
солнцем встает бытие иное.**

Год с нескончаемыми нулями.
Праздник, в святцах
не имеющий чина.
Выфлажено все.
И люди

и строения.
Может быть,
Октябрьской революции сотая годовщина,
может быть,
просто
изумительнейшее настроение.
Разгоняя дирижабли небесам под уклон,
поездами,
на палубах бесчисленных эскадр,
извилинами пеших колонн
за кадром выстраивают человеческий кадр.
Большеголовые,
в красном сиянье,
с Марса слетевшие, встали марсиане.
Взыграет аэро,
и снова нет.
И снова птицей солнце заслонится.
И снова
с отдаленнейших слетаются планет,
винтами развеерясь из-за солнца.
Пустыни смыты у мира с хари,
деревья за стволом расфеерили ствол.
На площади зелени —
на бывшей Сахаре —
сегодня
ежегодное торжество.
День за днем спускались дни,
и снова густела тьма ночная.
Прежде чем выстроиться сумев,
они

грянули:

– Начинаем!

«Голоса людские,

зверьи голоса,

рев рек

ввысь славословием вьем.

Пойте все, и все слушайте

мира торжественный реквием.

Вам, давнишние,

года проголодавшие,

о рае сегодняшнем раструбливая весть,

вам,

миллионолетию давшие

петь,

пить,

есть.

Вам, женщины,

рожденные под горностаевые

мантии,

тело в лохмотья рядя,

падавшие замертво,

за хлебом простаивая

в неисчислимых очередях.

Вам,

легионы жидкокостых детей,

толпы искривленной голодом молодежи,

те, кто дожили до чего-то,

и те,

кто ни до чего не д'ожил.

Вам,

звери,
ребрами сквозя,
забывшие о съеденном людьми овсе,
работавшие, кого-то и что-то возя,
пока исхлестанные не падали совсем.

Вам,
расстрелянные на баррикадах духа,
чтоб дни сегодняшние были пропеты,
будущее ловившие в ненасытное ухо,
маляры,
певцы,
поэты.

Вам, которые
сквозь дым и чад,
жизнью, едва державшейся на иотке,
ржавым железом, шестерней скрежеща,
работали все-таки,
делали все-таки.

Вам неумолкающих слав слова,
ежегодно расцветающие, вовеки не вянув,
за нас замученные – слава вам,
миллионы живых,
кирпичных
и прочих Иванов».

Парад мировой расходился ровно, —
ведь горе давнишнее душу не бесит.

Годами
печаль

в покой воркестрована
и песней брошена ввысь поднебесить.

Еще гудят голосов отголоски
про смерти чьи-то,
про память вечную.
А люди
уже
в многоуличном лоске
катили минуту, весельем расцвеченную.
Ну и катись средь песенного лада,
цвети, земля, в молотьбе и в сеятьбе.
Это тебе
революций кровавая Илиада!
Голодных годов Одиссея тебе!

1919-1920

ЛЮБЛЮ

ОБЫКНОВЕННО ТАК

Любовь любому рожденному дадена, —
но между служб,
доходов
и прочего
со дня на день
очерствеваает сердечная почва.
На сердце тело надето,
на тело – рубаха.
Но и этого мало!
Один —
идиот! —
манжеты наделал
и груди стал заливать крахмалом.
Под старость спохватятся.
Женщина мажется.
Мужчина по Мюллеру мельницей машется.
Но поздно.
Морщинами множится кожа.
Любовь поцветет,
поцветет —
и скукожится.

МАЛЬЧИШКОЙ

Я в меру любовью был одаренный.
Но с детства
людьё
трусами муштровано.
А я —
убёг на берег Риона
и шлялся,
ни черта не деляя ровно.
Сердилась мама:
«Мальчишка паршивый!»
Грозился папаша поясом выстегать.
А я,
разживясь трехрублевкой фальшивой,
играл с солдатъём под забором в «три листика».
Без груза рубах,
без башмачного груза
жарился в кутаисском зное.
Вворачивал солнцу то спину,
то пузо —
пока под ложечкой не заноеет.
Дивилось солнце:
«Чуть виден весь-то!
А тоже —
с сердечком.

Старается малым!
Откуда
в этом
в аршине
место —
и мне,
и реке,
и стоверстым скалам?!»

ЮНОШЕЙ

Юношеству занятий масса.
Грамматикам учим дурней и дур мы.
Меня ж
из 5-го вышибли класса.
Пошли швырять в московские тюрьмы.
В вашем
квартирном
маленьком мирике
для спален растут кучерявые лирики.
Что выищешь в этих болоночьих лириках?!
Меня вот
любить
учили
в Бутырках.
Что мне тоска о Булонском лесе?!
Что мне вздох от видов на море?!

Я вот
в «Бюро похоронных процессий»
влюбился
в глазок 103 камеры.
Глядят ежедневное солнце,
зазнаются.
«Чего – мол – стоят лученышки эти?»
А я
за стенного
за желтого зайца
отдал тогда бы – все на свете.

МОЙ УНИВЕРСИТЕТ

Французский знаете.
Делите.
Множите.
Склоняете чудно.
Ну и склоняйте!
Скажите —
а с домом спеться
можете?
Язык трамвайский вы понимаете?
Птенец человеческий,
чуть только вывелся —
за книжки рукой,
за тетрадные дести.

А я обучался азбуке с вывесок,
листая страницы железа и жести.

Землю возьмут,
обкорнав,
ободрав ее —
учат.

И вся она – с крохотный глобус.

А я
боками учил географию —
недаром же
наземь

ночевкой хлопаюсь!

Мутят Иловайских большие вопросы:
– Была ль рыжа борода Барбароссы? —
Пускай!

Не копаюсь в пропыленном вздоре я —
любая в Москве мне известна история!
Берут Добролюбова (чтоб зло ненавидеть), —
фамилья ж против,
скулит родовая.

Я
жирных
с детства привык ненавидеть,
всегда себя
за обед продавая.

Научатся,
сядут —
чтоб нравиться даме,
мыслишки звякают лбенками медненькими.

А я

говорил
с одними домами.
Одни водокачки мне собеседниками.
Окном слуховым внимательно слушая,
ловили крыши – что брошу в уши я.
А после
о ночи
и друг о друге
трещали,
язык ворочая – флюгер.

ВЗРОСЛОЕ

У взрослых дела.
В рублях карманы.
Любить?
Пожалуйста!
Рубликов за сто.
А я,
бездомный,
ручища
в рваный
в карман засунул
и шлялся, глазастый.
Ночь.
Надеваете лучшее платье.
Душой отдыхаете на женах, на вдовах.

Меня
Москва душила в объятьях
кольцом своих бесконечных Садовых.
В сердца,
в часишки
любовницы тикают.
В восторге партнеры любовного ложа.
Столиц сердцебиение дикое
ловил я,
Страстную площадью лежа.
Враспашку —
сердце почти что снаружи —
себя открываю и солнцу и луже.
Входите страстями!
Любовями влазьте!
Отныне я сердцем править не властен.
У прочих знаю сердца дом я.
Оно в груди – любому известно!
На мне ж
с ума сошла анатомия.
Сплошное сердце —
гудит повсеместно.
О, сколько их,
одних только весен,
за 20 лет в распаленного ввалено!
Их груз нерастраченный – просто несносен.
Несносен не так,
для стиха,
а буквально.

ЧТО ВЫШЛО

Больше чем можно,
больше чем надо —
будто
поэтовым бредом во сне навис —
комок сердечный разросся громадой:
громада любовь,
громада ненависть.
Под ношей
ноги
шагали шатко —
ты знаешь,
я же
ладно слажен —
и все же
тащусь сердечным придатком,
плеч подгибая косую сажень.
Взбухаю стихов молоком
– и не вылиться —
некуда, кажется – полнится заново.
Я вытомлен лирикой —
мира кормилица,
гипербола
праобраза Мопассанова.

ЗОВУ

Поднял силачом,
понес акробатом.
Как избирателей сзывают на митинг,
как сёла
в пожар
созывают набатом —
я звал:
«А вот оно!
Вот!
Возьмите!»
Когда
такая махина ахала —
не глядя,
пылью,
грязью,
сугробом, —
дамьё
от меня
ракетой шарахалось:
«Нам чтобы поменьше,
нам вроде танго бы...»
Нести не могу —
и несу мою ношу.
Хочу ее бросить —
и знаю,

не брошу!

Распора не сдержат рёбровы дуги.

Грудная клетка трещала с натуги.

ТЫ

Пришла —

деловито,

за рыком,

за ростом,

взглянув,

разглядела просто мальчика.

Взяла,

отобрала сердце

и просто

пошла играть —

как девочка мячиком.

И каждая —

чудо будто видится —

где дама вкопалась,

а где девица.

«Такого любить?

Да этакий ринется!

Должно, укротительница!

Должно, из зверинца!»

А я ликую.

Нет его —

ига!

От радости себя не помня,
скакал,
индейцем свадебным прыгал,
так было весело,
было легко мне.

НЕВОЗМОЖНО

Один не смогу —
не снесу рояля
(тем более —
несгораемый шкаф).
А если не шкаф,
не рояль,
то я ли
сердце снес бы, обратно взяв.
Банкиры знают:
«Богаты без края мы.
Карманов не хватит —
кладем в несгораемый».
Любовь
в тебя —
богатством в железо —
запрятал,
хожу
и радуюсь Крезом.

И разве,
если захочется очень,
улыбку возьму,
пол-улыбки
и мельче,
с другими кутя,
протрачу в полночи
рублей пятнадцать лирической мелочи.

ТАК И СО МНОЙ

Флоты – и то стекаются в гавани.
Поезд – и то к вокзалу гонит.
Ну, а меня к тебе и подавней
– я же люблю! —
тянет и клонит.
Скупой спускается пушкинский рыцарь
подвалом своим любоваться и рыться.
Так я
к тебе возвращаюсь, любимая.
Мое это сердце,
любуюсь моим я.
Домой возвращаетесь радостно.
Грязь вы
с себя соскребаете, бреясь и моясь.
Так я
к тебе возвращаюсь, —

разве,
к тебе идя,
не иду домой я?!
Земных принимает земное лоно.
К конечной мы возвращаемся цели.
Так я
к тебе
тянусь неуклонно,
еле расстались,
развиделись еле.

ВЫВОД

Не смоят любовь
ни ссоры,
ни версты.
Продумана,
выверена,
проверена.
Подъемля торжественно стих строкопёрстый,
клянусь —
люблю
неизменно и верно!

IV ИНТЕРНАЦИОНАЛ

I

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МАЯКОВСКОГО ЦК РКП, ОБЪЯСНЯЮЩЕЕ НЕКОТОРЫЕ ЕГО, МАЯКОВСКОГО, ПОСТУПКИ

2

Были белые булки.

Более

звезд.

Маленькие.

И то по фунту.

А вы

уходили в подполье,

готовясь к голодному бунту.

Жили, жря и ржа.

Мир

в небо отелями вылез,

лифт франтих винтил по этажам спокойным.

А вы

в подпольи таились,

готовясь к грядущим войнам.
В креслах времен
незыблем
капитализма зад.
Жизнь
стынет чаем на блюде.
А вы —
уже! —
смотрели в глаза
атакующим дням революций.
Вывернувшись с изнанки,
выкрасив бороду,
гоняли изгнанники
от города к городу.

В колизеи душ,
в стадионы-головы,
еле-еле взнеся их в парижский чердак,
собирали в цифры,
строили голь вы
так —
притекшие человеческой кашей
с плантаций,
с заводов —
обратно
шагали в марше
стройных рабочих взводов.
Фарами фирмы марксовой
авто диалектики врезалось в года.
Будущее рассеивало мрак свой.

И когда
Октябрь
пришел и залил,
огневой галоп,
казалось,
не взнуздает даже дым,
вы
в свои
железоруки
взяли
революции огнедымые бразды.
Скакали и прямо,
и вбок,
и криво.
Кронштадтом конь.
На дыбы.
Над Невою.
Бедой Ярославля горит огнегривый.
Царицын сковал в кольцо огневое.
Гора.
Махнул через гору —
и к новой.
Бездна.
Взвился над бездной —
и к бездне.
До крови с-под ногтя
в загривок конёвый
вцепившийся
мчался и мчался наездник.

Восторжен до крика,
тревожен до боли,
я тоже
в бешеном темпе галопа
по меди слов языком колоколил,
ладонями рифм торжествующе хлопал.

Доскакиваем.
Огонь попритушен.
Чадит мещанство.
Дымится покамест.
Но крепко
на загнанной конской туше
сидим,
в колени зажата боками.

Сменили.
Битюг трудовой.
И не мешкая,
мимо развалин,
пожарищ мимо мы.
Головешку за головешкою
притушим,
иными развеясь дымами.

Во тьме
без пути
по развалинам лазая,
твой конь дрожит,

спотыкается тычась твой.

Но будет:

Шатурское

тысячеглазое

пути сияньем прозрит электричество.

Пойди,

битюгом Россию промеряй-ка!

Но будет миг,

верую,

скоро

у нас

паровозная встанет Америка.

Высверлит пулей поля и горы.

Въезжаем в Поволжье,

корежит вид его.

Костями устелен.

Выжжен.

Чахл.

Но будет час

жития сытого,

в булках,

в калачах.

И тут-то вот

над земною точкою

загнулся огромный знак вопроса.

В грядущее

тыкаюсь

пальцем-строчкой,

в грядущее

глазом образа вросся.

Коммуна!

Кто будет пить молоко из реки ея?

Кто берег-кисель расхлебает опоен?

Какие их мысли?

Любови какие?

Какое чувство?

Желанье какое?

Сейчас же,

вздымая культурнейший вой,

патент старье коммуне выдало:

«Что будет?

Будет спаньем,

едой

себя развлекать человечесь быдло.

Что будет?

Асфальтом зальются улицы.

Совдепы вычинят в пару лет.

И в праздник

будут играть

пролеткультцы

в сквере

перед совдепом

в крокет.

Свистит любой афиши плеть:

– Капут Октябрю!

Октябрь не выгорел! —

Коммунисты

толпами

лезут млеть

в Онегине,
в Сильве,
в Игоре.
К гориллам идете!
К духовной дырке!
К животному возвращаетесь вспять!
От всей
вековой
изощренной лирики
одно останется:
– Мужчина, спать! —
В монархию,
В коммуны ль мещанина выселим мы.
И в городе-саде ваших дач
он будет
одинаково
работать мыслью
только над счетом кухаркиных сдач.
Уже настало.
Смотрите —
вот она!
На месте ваших вчерашних чаяний
в кафах,
нажравшись пироженью рвотной,
коммуны славя, расселись мещане.
Любовью
какой обеспечит Собес?!
Семашко ль поможет душ калекам?!»

Довольно!

Мы возьмемся,
если без
нас
об этом подумать некому.

Каждый омолаживайся!
Спеши
юн
душу седую из себя вытрясти.
Коммунары!
Готовьте новый бунт
в грядущей
коммунистической сытости.

Во имя этого
награждайте Академиком
или домом —
ни так
и ни даром —
я не стану
ни замом,
ни предом.
ни помом,
ни даже продкомиссаром.
Бегу.
Растет
за мной,
эмигрантом,
людей и мест изгонявших черта.
Знаю:

придет,
взбарабаню,
и грянет там...
Нынче ж
своей голове
на чердак
загнанный,
грядущие бунты славлю.
В марксову диалектику
стосильные
поэтические моторы ставлю.
Смотрите —
ряды грядущих лет текут.
Взрывами мысли головы содрогая,
артиллерией сердец ухая,
встает из времен
революция другая —
третья революция
духа.

Штык-язык остри и три!
Глаза на прицел!
На перевес уши!
Смотри!
Слушай!
Чтоб душу врасплох не смяли,
чтоб мозг не опрокинули твой —
эй-ка! —
Смирно!
Ряды вздвой,

мысль-красногвардейка.
Идите все
от Маркса до Ильича вы,
все,
от кого в века лучи.
Вами выученный,
миры величавые
вижу —
любой приходи и учись!

1922

ПЯТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

8 ЧАСТЕЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Приказ № 3

Прочеть по всем эскадрильям футуристов, крепостям классиков, удушливогазным командам символистов, обозам реалистов и кухонным командам имажинистов.

Где еще

– разве что в Туле? —

позволительно становиться на поэтические ходули?!

Провинциям это!..

«Ах, как поэтично...

Как возвышенно...

Ах!»

Я двадцать лет не ходил в церковь.

И впредь бывать не буду ни в каких церквах.

Громили Василия Блаженного.

Я не стал теряться.

Радостный,
вышел на пушечный зов.
Мне ль
Вычеканивать венчики аллитераций
богу поэзии с образами образов.
Поэзия – это сиди и над розой ной...
Для меня
Невыносима мысль,
Что роза выдумана не мной.
Я 28 лет отращиваю мозг
не для обнюхивания,
а для изобретения роз.
Надс'оны,
не в ревность
над вашим сонмом
эта
моя
словостройка взвеена.
Я стать хочу
в ряды Эдисонам,
Лениным в ряд,
в ряды Эйнштейнам.

Я обкармливал.
Я обкармливался деликатесами досыта.
Ныне —
мозг мой чист.
Язык мой гол.
Я говорю просто —
фразами учебника Марго.

Я
поэзии
одну разрешаю форму:
краткость,
точность математических формул.
К болтовне поэтической я слишком привык, —
я еще говорю стихом, а не напрямик.
Но если
я говорю:
«А!» —
это «а»
атакующему человечеству труба.
Если я говорю:
«Б!» —
это новая бомба в человеческой борьбе.

Я знаю точно – что такое поэзия. Здесь описываются
мною интереснейшие события, раскрывшие мне глаза.
Моя логика неоспорима. Моя математика непогрешима.

Внимание!

Начинаю.

Аксиома:

Все люди имеют шею.

Задача:

Как поэту пользоваться ею?

Решение:

Сущность поэзии в том,
чтоб шею сильнее завинтить винтом.
Фундамент есть.
Начало благополучно.
По сравнению с Гершензоном даже получается
научно.
Я и начал!
С настойчивостью Леонардо да Винчевою,
закручу,
раскручу
и опять довинчиваю,
(Не думаю,
но возможно,
что это
немного
похоже даже на самоусовершенствование йога.)

Постепенно,
практикуясь и тужась,
я шею так завинтил,
что просто ужас.
В том, что я сказал,
причина коренится,
почему не нужна мне никакая заграница.
Ехать в духоте,
трястись,
не спать,
чтоб потом на Париж паршивый пялиться?!
Да я его и из Пушкина вижу,

как свои
пять пальцев.
Мой способ дешевый и простой:
руки в карманы заложил и стой.
Вставши,
мысленно себя вытягивай за уши.
Так
через год
я
мог
шею свободно раскручивать на вершок.
Прохожие развозмущались.
Потом привыкли.
Наконец,
и смеяться перестали даже —
мало ли, мол, какие у футуристов бывают блажи.
А с течением времени
пользоваться даже стали —
при указании дороги.
«Идите прямо, —
тут еще стоят такие большие-большие ноги.
Ноги пройдете, и сворачивать пора —
направо станция,
налево Акулова гора».

Этой вот удивительной работой я был занят чрезвычайно долгое время.

Я дней не считал.

И считать на что вам!

Отмечу лишь:

сквозь еловую хвою,

года отшумевши с лесом мачтовым,

леса перерос и восстал головою.

Какой я к этому времени —

даже определить не берусь.

Человек не человек,

а так —

людогусь.

Как только голова поднялась над лесами,

обозреваю окрестности.

Такую окрестность и обозреть лестно.

Вы бывали в Пушкине (Ярославская ж. д.) так в 1925-30 году? Были болота. Пахалось невесть чем. Крыши – дыры. Народ крошечный. А теперь!

В красных,

в зеленых крышах сёла!

Тракторы!

Сухо!

Крестьянин веселый!

У станции десятки линий.

Как только не путаются —

не вмещает ум.

Станция помножилась на 10 – минимум.

«Серьезно» —

поздно

является.

Молодость – известное дело – забавляется.

Нагибаюсь.

Глядя на рельсовый путь,
в трубу паровозу б сверху подуть.

Дамы мимо.

Дым им!

Дамы от дыма.

За дамами дым.

Дамы в пыль!

Дамы по луже.

Бегут.

Расфыркались.

Насморк верблюжий.

Винти дальше!

Пушкино размельчилось.

Исчезло, канув.

Шея растягивается

– пожарная лестница —

голова

уже,

разве что одному Ивану

Великому

ровесница.

Москва.

Это, я вам доложу, – зрелище. Дом'а. Дома необык-

новенных величин и красот.

Помните,
дом Нирензее
стоял,
над лачугами крышищу взвеивая?
Так вот:
теперь
под гигантами
грибочком
эта самая крыша Нирензеевая.

Улицы циркулем выведены. Электричество ожерельями выложило булыжник. Диадемищами горит в театральных лбах. Горящим адрес-календарем пропечатывают ночь рекламы и вывески. Из каждой трубы – домовьей, пароходной, фабричной – дым. Работа. Это Москва – 940-950 года во всем своем великолепии.

Винти!

Водопьяный переулок разыскиваю пока,
Москва стуманилась.
Ока змейнула.
Отзмеилась Ока.

Горизонт бровями лесными хмурится.
Еще винчусь.
Становища Муромца
из глаз вон.

К трем морям
простор
одуряющ и прям.
Волга,
посредине Дон,
а направо зигзагища Днепра.

До чего ж это замечательно!

Глобус – и то хорошо. Рельефная карта – еще лучше. А здесь живая география. Какой-нибудь Терек – жилкой трепещет в дарьяльском виске. Волга игрушечная переливается фольгой. То розовым, то голубым акварелит небо хрусталик Араратика.

Даже размечтался – не выдержал.

Воздух
голосом прошлого
ветрится басов...
Кажется,
над сечью облачных гульб
в усах лучей головища Тарасов Бульб.

Еще развинчиваюсь,
и уже
бежит
глаз
за русские рубежи.

Мелькнули

валяющиеся от войны дробилки:

Латвии,

Литвы

и т. п. политические опилки.

Гущей тел искалеченных, по копям скрученным,
тяжко,

хмуро,

придавленная версальскими печатями сургучными,
Германия отрабатывается на дне Рура.

На большой Европейской дороге,
разбитую челюсть

Версальским договором перевязав,
зубами,

нож зажавшими, щерясь,
стоит француз-зуав.

Швейцария.

Закована в горный панцирь.

Италия...

Сапожком на втором планце...

И уже в тумане:

Испания...

Испанцы...

А потом океан – и никаких испанцев.

Заворачиваю шею в полоборотца.

За плечом,

ледниками ляская —

бронзовая Индия.

Встает бороться.

Лучи натачивает о горы Гималайские,
Поворачиваюсь круто.
Смотрю очумело.
На горизонте Япония,
Австралия,
Англия...
Ну, это уже пошла мелочь.

Я человек ужасно любознательный. С детства.

Пользуюсь случаем —
полюсы
полез осмотреть получше.
Наклоняюсь настолько низко,
что нос
мороз
выдергивает редиской.

В белом,
снегами светящемся мире
Куки,
Пири.
Отвоевывают за шажками шажок, —
в пуп земле
наугад
воткнуть флажок.
Смотрю презрительно,
чуть не носом тыкаясь в ледовитые пятна —
я вот
полюсы

дюжинами б мог
открывать и закрывать обратно.
Растираю льдышки обмороженных щек.
Разгибаюсь.
Завинчиваюсь еще.
Мира половина —
кругленькая такая —
подо мной,
океанами с полушария стекая.
Издали
совершенно вид апельсиний;
только тот желтый,
а этот синий.

Раза два повернул голову полным кругом. Кажется,
все наиболее интересные вещи осмотрены.

Ну-с,
теперь перегнусь.
Пожалуйста!
Нате!
Соединенные
штат на штате.
Надо мной Вашингтоны,
Нью-Йорки.
В дыме.
В гаме.
Надо мной океан.
Лежит

и не может пролиться.

И сидят,

и ходят,

и все вверх ногами.

Вверх ногами даже самые высокопоставленные лица.

Наглядевшись американских дивес,

как хороший подъемный мост,

снова выпрямляюсь во весь

рост.

Тут уже начинаются дела так называемые небесные.

Звезды огромнеют,

потому – ближе.

Туманна земля.

Только шумами дальними ухо лижет,

голоса в единое шумливо смеля.

Выше!

Тишь.

И лишь

просторы,

мирам открытые странствовать.

Подо мной,

надо мной

и насквозь светящее реянье.

Вот уж действительно

что называется – пространство!
Хоть руками щупай в 22 измерения.
Нет краев пространству,
времени конца нет.
Так рисуют футуристы едущее или идущее:
неизвестно,
что вещь,
что след,
сразу видишь вещь из прошедшего в грядущее.
Ничего не режут времени ножи.
Планеты сшибутся,
и видишь —
разом
разворачивается новая жизнь
грядущих планет туманом-газом.

Некоторое отступление. —

Выпустят из авиашколы летчика.
Долго ль по небу гоняет его?
И то
через год
у кареглазого молодчика
глаза
начинают просвечивать синевой.

Идем дальше.
Мое пребывание небом не считано,
и я
от зорь его,

от ветра,
от зноя
окрасился весь небесно-защитно —
тело лазоревосинесквозное,
Я так натянул мою материю,
что ветром
свободно
насквозь свистело, —
и я
титанисто
боролся с потерей
привычного
нашего
плотного тела.
Казалось:
миг —
и постройки масса
рухнет с ног
со всех двух.
Но я
оковался мыслью каркасом.
Выметаллизировал дух.

Нервная система?
Черта лешего!
Я так разгимнастировал ее,
что по субботам,
вымыв,
в просушку развешивал
на этой самой системе белье.

Мысль —
вещественней, чем ножка рояльная.
Вынешь мысль из-под черепа кровельки,
и мысль лежит на ладони,
абсолютно реальная,
конструкцией из светящейся проволоки.
Штопором развинчивается напрягшееся ухо.
Могу сверлить им
или
на бутыль нацелиться слухом
и ухом откупоривать бутылки.

Винты еще!

Тихо до жути.
Хоть ухо выколи.
Но уши слушали.
Уши привыкли.

Сперва не разбираю и разницу нот.
(Это всего-то отвинтившись версты на три!)
Разве выделишь,
если кто кого ругнет
особенно громко по общеизвестной матери.
А теперь
не то что мухин полет различают уши —
слышу
биенье пульса на каждой лапке мушьею.
Да что муха,
пустяк муха.

Слышу
каким-то телескопическим ухом:
мажорно
мира жернов
басит.
Выворачивается из своей оси.
Уже за час различаю —
небо в приливе.
Наворачивается облачный валун на валун им.
Это месяц, значит, звезды вывел
и сам
через час
пройдет новолунием.

Каждая небесная сила
по-своему голосила.
Раз!
Раз! —
это близко,
совсем близко
выворачивается Марс.
Пачками колец
Сатурн
расшуршался в балетной суете.
Вымахивает за туром тур он
свое мировое фуэтэ.
По эллипсисам,
по параболам,
по кругам
засвистывают на невероятные лады.

Солнце-дирижер,
прибрав их к рукам,
шипит —
шипенье обливаемой сковороды.

А по небесному стеклу,
будто с чудовищного пера,
скрип
пронизывает оркестр весь.
Это,
выворачивая чудовищнейшую спираль,
солнечная система свистит в Геркулес,
Настоящая какофония!
Но вот
на этом фоне я
жесткие,
как пуговики,
стал нащупывать какие-то буквы.
Воздух слышу, —
расходятся волны его,
груз фраз на спину взвалив.
Перекидываются словомолниево
Москва
и Гудзонов залив.

Москва.
«Всем! Всем! Всем!
Да здравствует коммунистическая партия!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Эй!»

Чикаго.

«Всем! Всем! Всем!

Джимми Долларе предлагает партию
откормленнейших свиней!»

Ловлю долетающее сюда извне.

В окружающее вросся.

Долетит —

и я начинаю звенеть и звенеть

антеннами глаза,

глотки,

носа.

Сегодня я добился своего. Во вселенной совершилось
наиневроятнейшее превращение.

Пространств мировых одоления ради,

охвата ради веков дистанций

я сделался вроде

огромнейшей радиостанции.

С течением времени с земли стали замечать мое
сооружение. Земля ошеломилась. Пошли целить телескопы.
Книга за книгой, за статьей статья. Политехнический музей
взрывался непрекращающимися диспутами. Я хватал на лету
радио важнейших мнений.
Сводка:

Те, кто не видят дальше аршина,
просто не верят:

«Какая такая машина??»

Поэты утверждают:

«Новый выпуск „истов“,
просто направление такое
новое —

унанимистов».

Мистики пишут:

«Логос.

Это всемогущество. От господа бога-с».

П. С. Коган:

«Ну, что вы, право,
это

просто символизируется посмертная слава».

Марксисты всесторонне обсудили диво.

Решили:

«Это

олицетворенная мощь коллектива».

А. В. Луначарский:

"Это он о космосе!»

Я не выдержал, наклонился и гаркнул на всю землю

– Бросьте вы там, которые о космосе!

Что космос?

Космос далеко-с, мусью-с!

То, что я сделал,

это

и есть называемое «социалистическим поэтом».

Выше Эйфелей,
выше гор
– кепка, старое небо дырь! —
стою,
будущих былин Святогор
богатырь.

Чтоб поэт перерос веков сроки,
чтоб поэт
человечеством полководить мог,
со всей вселенной впитывай соки
корнями вросших в землю ног.
Товарищи!
У кого лет сто свободных есть,
можете повторно мой опыт произвести.
А захотелось на землю
вниз —
возьми и втянись.

Практическая польза моего изобретения:

при таких условиях
древние греки
свободно разгуливали б в тридцатом веке.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Простите, товарищ Маяковский. Вот вы всё время

орете – «социалистическое искусство, социалистическое искусство». А в стихах – «я», «я» и «я». Я радио, я башня, я то, я другое. В чем дело?

Для малограмотных

Пролеткультцы не говорят
ни про «я»,
ни про личность.
«Я»
для пролеткультиста
все равно что неприличность.
И чтоб психология
была
«коллективней», чем у футуриста,
вместо «я-с-то»
говорят
«мы-с-то».
А по-моему,
если говорить мелкие вещи,
сколько ни заменяй «Я»-«Мы»,
не вылезешь из лирической ямы.
А я говорю
«Я»,
и это «Я»
вот,
балагурия,
прыгая по словам легко,
с прошлых
многовековых высот,

озирает высоты грядущих веков.

Если мир
подо мной
муравейника менее,
то куда ж тут, товарищи, различать местоимения?!

Теперь сама поэма

Напомню факты. Раскрутив шею, я остановился на
каких-то тысячных метрах.

Подо мной земля —
капля из-под микроскопа:
загогулина и палочка, палочка и загогулина...
Европа лежит грудой раскопок,
гулом пушек обложенная огульно.
Понятно,
видишь только самые общие пятна.
Вот
она,
Россия,
моя любимая страна.
Красная,
только что из революции горнила.
Рабочей
чудовищной силой
ворочало ее и гранило.
Только еле
остатки нэпа ржавчиной чернели.

А это Польша,
из лоскуточков ссучена.
Тут тебе сразу вся палитра.
Склей такую!
Потратила пилсудчина
слюны одной тысячу литров.
Чувствуешь —
зацепить бы за лоскуточек вам,
и это
всё
разлезется по швам.
Германия —
кратера огнедышащий зной.
Камня,
пепла словесное сеянье.
Лава —
то застынет соглашательской желтизной,
то, красная,
дрожит революции землетрясением.
Дальше.
Мрак.
Франция.
Сплошной мильерановский фрак,
Черный-черный.
Прямо синий.
Только сорочка блестит —
как блик на маслине.
Чем дальше – тем чернее.
Чем дальше – тем мрачнее.
Чем дальше – тем ночнее.

И на горизонте,
где Америка,
небо кроя,
сплошная чернотища выметалась икрою.
Иногда лишь
черноты горы
взрывались звездой света —
то из Индии,
то из Ангоры,
то из Венгерской республики Советов.

Когда же
сворачивался лучей веер,
день мерк —
какой расфееривался фейерверк!
Куда ни нагнись ты —
огнисто.

Даже ночью, даже с неба узнаю РСФСР.

Мало-помалу, еле-еле,
но вместе с тем неуклонно,
неодолимо вместе с тем
подо мной
развертываются
огней параллели —
это Россия железнодорожит темь.

А там вон
в линиях огни поредели,

в кучи сбились,
горят тангово.
Это значит —
Париж открывает бордели
или еще какая из животоварных торговков.

Собрать бы молнии
да отсюда
в золотооконный
в этот самый
в Мулея
в Руж...
Да разве попрешь?
Исторические законы!
Я марксист,
разумеется, не попрю ж!

Если б вы знали,
с какой болью
ограничиваюсь свидетельской ролью.

Потушить антенны глаз. Настроить на 400 000 верст
антенны слуха!

Сначала
— молодое рвение —
радостно принимал малейшее веянье.
Ловлю перелеты букв-пуль.
Складываю.

Расшифровываю,
волнуясь и дрожа.
И вдруг:
«Ллойд-Джордж зовет в Ливерпуль.
На конференцию.
Пажа-пажа!!»
Следующая.
Благой мат.
Не радио,
а Третьяков в своем «Рыде»:
«Чего не едете?
Эй, вы,
дипломат!
Послезавтра.
Обязательно!
В Мадриде!»

До чего мне этот старик осточертел!

Тысячное радио.
Несколько слов:
«Ллойд-Джордж.
Болезнь.
Надуло лоб.
Отставка.
Вызвал послов.
Конференция!»
Конотоп!

Черпнешь из другой воздушной волны.

Волны
другой чепухой полны.
«Берлину
Париж:
Гони монету!»
«Парижу
Берлин:
Монет нету!»
«Берлину.
У аппарата Фош.
Платите! —
а то зазвените».
«Парижу.
Что ж,
заплатим,
извините».
И это в конце каждого месяца.
От этого
даже Аполлон Бельведерский взбесится.
А так как
человек, а не мрамор,
то это
меня
извело прямо.
Я вам не в курзале под вечер летний,
чтоб слушать
эти
радиосплетни.

Завинчусь.

Не будет нового покамест —
затянусь облаками-с.

Очень оригинальное ощущение. Головой провинтим
облака и тучи. Земли не видно. Не видишь даже соб-
ственные плечи. Только небо. Только облака. Да в
облаках мед головища.

Мореет тучами.
Облаком застит.
И я
на этом самом
на море
горой-головой плыву головастиль —
второй какой-то брат черноморий.
Эскадры
верблюдокорабледраконьи.
Плывут.
Иззолочены солнечным Крезом.
И встреться с фантазией ультра-Маркони,
об лоб разбиваемы облакорезом.
Громище.
Закатится
с тучи
по скату,
над ухом
грохотом расчересчурясь.
Втыкаю в уши облака вату,
стою в тишине, на молнии щурясь.

И дальше
летит
эта самая Лета;
не злобствуя дни текут и не больствуя,
а это
для человека
большое удовольствие.

Стою спокойный. Без единой думы. Тысячесилием
воли сдерживаю антенны. Не гудеть!

Лишь на извивах подсознательных,
проселков окольней,
полумысль о культуре проходящих поколений:
раньше
аэро
шуршали о голени,
а теперь
уже шуршат о колени.

Так
Дни
текли и текли в покое.
Дни дотекли.
И однажды
расперегрязнуло такое,
что я
затрясся антенной каждой.

Колонны ног,
не колонны – стебли.
Так эти самые ноги колеблет.

В небо,
в эту облакову няньку,
сквозь земной
непрекращающийся зуд,
все законы природы вывернув наизнанку,
в небо
с земли разразили грозу.
Уши —
просто рушит.
Радиосмерч.

«Париж...
Согласно Версальскому
Пуанкаре да Ллойд...»
«Вена.
Долой!»
«Париж.
Фош.
Врешь, бош.
Берегись, унтер...»
«Berlin.
Runter!» '
«Вашингтон.
Закрывать Европе кредит.
Предлагаем должникам торопиться со взносом».
«Москва.

А ну!

Иди!

Сунься носом».

За радио радио в воздухе пляшет.

Воздух

в сплошном

и грозобуквом ералаше.

Что это! Скорее! Скорее! Увидеть. Раскидываю тучи. Ладонь ко лбу. Глаза укрепил над самой землей. Вчера еще закандаленная границам?!, лежала здесь Россия одиноким красным оазисом. Пол-Европы горит сегодня. Прерывает огонь границы географии России. А с запада на приветствия огненных рук огнеплещет германский пожар. От красного тела России, от красного тела Германии огненными руками отделились колонны пролетариата. И у Данцига – «Берлин. Долой!» (нем.).

пальцами армий,

пальцами танков,

пальцами Фоккеров

одна другой руку жала.

И под пальцами

было чуть-чуть мокро

там,

где пилсудчина коридорами лежала. —

Влились. Сплошное огневище подо мной. Сжалось.
Напряглось. Разорвалось звездой.

Надрывающиеся вопли:

«Караул!

Стой!»

А это

разливается пятиконечной звездой

в пять частей оторопевшего света.

Вот

один звездозуб,

острый,

узкий,

врезывается в край земли французской.

Чернота старается.

Потушить бы,

поймать.

А у самих

в тылу

разгорается кайма.

Никогда эффектнее не видал ничего я!

Кайму протягивает острие лучевое.

Не поможет!

Бросьте назад дуть.

Красное и красное – слилось как ртуть.

Сквозь Францию

дальше,

безудержный,

грозный,

вгрызывается зубец краснозвездный.
Ору, восторженный:
– Не тщитесь!
Ныне
революции не залить.
Склонись перед нею! —
А луч
взбирается на скат Апеннинский.
А луч
рассвечивается по Пиренею.

Сметая норвежских границ следы,
по северу
рвется красная буря.
Здесь
луч второй прожигает льды,
до полюса снега опурпуря.
П'оезда чище
лился Сибирью третий лучище.
Красный поток его
уже почти докатился до Токио.
Четвертого лучища жар
вонзил в юго-восток зубец свой длинный,
и уже
какой-то
поджаренный раджа
лучом
с Гималаев
сбит в долины.
Будто проверяя

– хорошо остра ли я, —
в Австралию звезда.
Загорелась Австралия.
Правее – пятый.
Атакует такой же.
Играет красным у негров по коже.
Прошел по Сахаре,
по желтому клину,
сиянье
до южного полюса кинул.

Размахивая громадными руками, то зажигая, то туша глаза, сетью уха вылавливая каждое слово, я весь изработался в неодолимой воле – победить. Я облаками маскировал наши колонны. Маяками глаз указывал места легчайшего штурма. Путаю вражьи радио. Все ливни, все лавы, все молнии мира – охапкою собираю, обрушиваю на черные головы врагов. Мы победим. Мы не хотим, мы не можем не победить. Только Америка осталась. Перегибаюсь. Сею тревогу.

Дрожит Америка:
революции демон
вступает в Атлантическое лоно...
Впрочем,
сейчас это не моя тема,
это уже описано
в интереснейшей поэме «Сто пятьдесят миллионов».

Кто прочтет ее, узнает, как победили мы. Отсылаю
интересующихся к этой истории. А сам

замер: смотрю,
любуюсь,
и я
вижу:
вся земная масса,
сплошь подмятая под красноезвездные острия,
красная,
сияет вторым Марсом,
Видением лет пролетевших взволнован,
устав
восторгаться в победном раже,
я
голову
в небо заправил снова
и снова
стал
у веков на страже.
Я видел революции,
видел войны.
Мне
и голодный надоел человек.
Хоть раз бы увидеть,
что вот,
спокойный,
живет человек меж веселий и нег.

Радуюсь просторам,
радуюсь тишине,
радуюсь облачным нивам.

Рот

простор разжиженный пьет.

И только

иногда

вычесываю лениво

в волоса запутавшееся

звездное репье.

Словно

стекло

время, —

текло, не текло оно,

не знаю, —

вероятно, текло.

И, наконец, через какое-то время —

тучи в клочки,

в клочочки-клучишки.

Исчезло все

до последнего

бледного

облачишка.

Смотрю на землю, восторженно поулыбливаясь.

На всём

вокруг

ни черного очень,

ни красного,

но и ни белого не было.
Земшар
сияньем сплошным раззолочен,
и небо
над шаром
раззолотонебело.
Где раньше
река
водищу гоняла,
лила наводнения,
буйна,
гола, —
теперь
геометрия строгих каналов
мрамору в русла спокойно легла.
Где пыль
вздымалась,
ветрами дуема,
Сахары охрились, жаром лентя, —
росли
из земного
из каждого дюйма,
строения и зеленыя.
Глаз —
восторженный над феерией рей!
Реальнейшая
подо мною
вон она —
жизнь,
мечтаемая от дней Фурье,

Роберта Оуэна и Сен-Симона,
Маяковский!
Опять человеком будь!
Силой мысли,
нервов,
жил
я,
как стоверстную подзорную трубу,
тихо шеищу сложил.

Небылицей покажется кое-кому.
А я,
в середине XXI века,
на **Земле**,
среди **Федерации Коммун** —
гражданин **ЗЕФЕКА**.

Самое интересное, конечно, начинается отсюда. Едва ли кто-нибудь из вас точно знает события конца XXI века. А я знаю. Именно это и описывается в моей третьей части.

1922

ПРО ЭТО

ПРО ЧТО – ПРО ЭТО?

В этой теме,
и личной
и мелкой,
перепетой не раз
и не пять,
я кружил поэтической белкой
и хочу кружиться опять.

Эта тема
сейчас
и молитвой у Будды
и у негра вострит на хозяев нож.
Если Марс,
и на нем хоть один сердцелюдый,
то и он
сейчас
скрипит
про то ж.

Эта тема придет,
калеку за локти
подтолкнет к бумаге,
прикажет:
– Скреби! —
И калека
с бумаги

срывается в клетоте,
горько строчками в солнце песня рябит.
Эта тема придет,
позвонится с кухни,
повернется,
сгинет шапчонкой гриба,
и гигант
постоит секунду
и рухнет,
под записочной рябью себя погребя.
Эта тема придет,
прикажет:
— Истина! —
Эта тема придет,
велит:
— Красота! —
И пускай
перекладиной кисти раскистены —
только вальс под нос мурлычешь с креста.
Эта тема азбуку тронет разбегом —
уж на что б, казалось, книга ясна! —
и становится
— А —
недоступней Казбека.
Замутит,
оттянет от хлеба и сна.
Эта тема придет,
вовек не изнашивается,
только скажет:
— Отныне гляди на меня! —

И глядишь на нее,
и идешь знаменосцем,
красношелкий огонь над землей знамени.
Это хитрая тема!
Нырнет под события,
в тайниках инстинктов готовясь к прыжку,
и как будто ярясь
– посмели забыть ее! —
затрясет;
посыпятся души из шкур.
Эта тема ко мне заявила гневная,
приказала:
– Подать
дней удила! —
Посмотрела, скривясь, в мое ежедневное
и грозой раскидала людей и дела.
Эта тема пришла,
остальные оттерла
и одна
безраздельно стала близка.
Эта тема ножом подступила к горлу.
Молотобоец!
От сердца к вискам.
Эта тема день истемнила, в темень
колотись – велела – строчками лбов.
Имя
этой
теме:
...!

БАЛЛАДА РЕДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ

Стоял – вспоминаю.
Был этот блеск.
И это
тогда
называлось Невую.
Маяковский, «Человек».
(13 лет работы, т. 2, стр. 77)
О балладе и о балладах

Немолод очень лад баллад,
но если слова болят
и слова говорят про то, что болят,
молодеет и лад баллад.
Лубянский проезд.
Водопьяный.
Вид
вот.
Вот
фон.
В постели она.
Она лежит.

Он.
На столе телефон.
«Он» и «она» баллада моя.
Не страшно нов я.
Страшно то,
что «он» – это я,
и то, что «она» —
моя.
При чем тюрьма?
Рождество.
Кутерьма.
Без решеток окошки домика!
Это вас не касается.
Говорю – тюрьма.
Стол.
На столе соломинка.

По кабелю пущен номер

Тронул еле – волдырь на теле.
Трубку из рук вон.
Из фабричной марки —
две стрелки яркие
омолниили телефон.
Соседняя комната.
Из соседней
сонно:
– Когда это?
Откуда это живой поросенок? —
Звонок от ожогов уже визжит,

добела раскален аппарат.

Больна она!

Она лежит!

Беги!

Скорей!

Пора!

Мясом дымясь, сжимаю жжение.

Моментально молния телом забегала.

Стиснул миллион вольт напряжения.

Ткнулся губой в телефонное пекло.

Дыры

сверля

в доме,

взрыв

Мясницкую

пашней,

рвя

кабель,

номер

пулей

летел

барышне.

Смотрел осовело барышнин глаз —

под праздник работай за двух.

Красная лампа опять зажглась.

Позвонила!

Огонь потух.

И вдруг

как по лампам пошло куролесить,

вся сеть телефонная рвется на нити.

– 67-10!

Соедините! —

В проулок!

Скорей!

Водопьяному в тишь!

Ух!

А то с электричеством станется —

под рождество

на воздух взлетишь

со всей

со своей

телефонной

станцией.

Жил на Мясницкой один старожил.

Сто лет после этого жил —

про это лишь —

сто лет! —

говаривал детям дед.

– Было – суббота...

под воскресенье...

Окорочок...

Хочу, чтоб дешево...

Как вдарит кто-то!..

Землетрясение...

Ноге горячо...

Ходун – подошва!.. —

Не верилось детям,

чтоб так-то

да там-то.

Землетрясение?

Зимой?
У почтамта?!

Телефон бросается на всех

Протиснувшись чудом сквозь тоненький
шнур,
раструба трубки разинув оправу,
погромом звонков грома тишину,
разверг телефон дребезжащую лаву.
Это визжащее,
звнящее это
пальнуло в стены,
старалось взорвать их.
Звончинки
тыщей
от стен
рикошетом
под стулья закатывались
и под кровати.
Об пол с потолка звончище хлопал.
И снова,
звнящий мячище точно,
взлетал к потолку, ударившись об пол,
и сыпало вниз дребезгою звоночной.
Стекло за стеклом,
вьюшку за вьюшкой

тянуло
звенеть телефонному в тон.

Тряся
ручоночкой
дом-погремушку,
тонул в разливе звонков телефон.

Секундантша

От сна
чуть видно —
точка глаз
иголит щеки жаркие.
Ленясь, кухарка поднялась,
идет,
кряхтя и харкая.
Моченым яблоком она.
Морщият мысли лоб ее.
– Кого?
Владим Владимыч?!
А! —
Пошла, туфлю шлепая.
Идет.
Отмеряет шаги секундантом.
Шаги отдаляются...
Слышатся еле...
Весь мир остальной отодвинут куда-то,
лишь трубкой в меня неизвестное целит.

Просветление мира

Застыли докладчики всех заседаний,
не могут закончить начатый жест.
Как были,
рот разинув,
сюда они
смотрят на рождество из рождеств.
Им видима жизнь
от дрязг и до дрязг.
Дом их —
единая будняя тина.
Будто в себя,
в меня смотрясь,
ждали
смертельной любви поединок.
Окаменели сиренные рокоты.
Колес и шагов суматоха не вертит.
Лишь поле дуэли
да время-доктор
с бескрайним бинтом исцеляющей смерти.
Москва —
за Москвой поля примолкли.
Моря —
за морями горы стройны.
Вселенная
вся
как будто в бинокле,
в огромном бинокле (с другой стороны).
Горизонт распрявился
ровно-ровно.
Тесьма.

Натянут бечевой тугой.
Край один —
я в моей комнате,
ты в своей комнате – край другой.
А между —
такая,
какая не снится,
какая-то гордая белой обновой,
через вселенную
легла Мясницкая
миниатюрой кости слоновой.
Ясность.
Прозрачайшей ясностью пытка.
В Мясницкой
деталью искуснейшей выточки
кабель
тонюсенький —
ну, просто нитка!
И все
вот на этой вот держится ниточке.

Дуэль

Раз!
Трубку наводят.
Надежду
брось.
Два!
Как раз
остановилась,

не дрогнув,
между
моих
мольбой обволокнувших глаз.
Хочется крикнуть медлительной бабе:
– Чего задаетесь?
Стоите Дантесом.
Скорей,
скорей просверлите сквозь кабель
пулей
любого яда и веса. —
Страшнее пуль —
оттуда
сюда вот,
кухаркой оброненное между зевот,
проглоченным кроликом в брюхе удава
по кабелю,
вижу,
слово ползет.
Страшнее слов —
из древнейшей древности,
где самку клыком добывали люди еще,
ползло
из шнура —
скребущейся ревности
времен троглодитских тогдашнее чудище.
А может быть...
Наверное, может!
Никто в телефон не лез и не лезет,
нет никакой троглодичьей рожи.

Сам в телефоне.

Зеркалюсь в железе.

Возьми и пиши ему ВЦИК циркуляры!

Пойди – эту правильность с Эрфуртской
сверь!

Сквозь первое горе

бессмысленный,

ярый,

мозг поборов,

проскребается зверь.

Что может сделаться с человеком

Красивый вид.

Товарищи!

Взвесьте!

В Париж гастролировать едущий летом,
поэт,

почтенный сотрудник «Известий»,
царапает стул когтем из штиблета.

Вчера человек —

единым махом

клыками свой размедведил вид я!

Косматый.

Шерстью свисает рубаха.

Тоже туда ж!?

В телефоны бабахать!?

К своим пошел!

В моря ледовитые!

Размедвеженье

Медведем,
когда он смертельно сердится,
на телефон
грудь
на врага тяну.
А сердце
глубже уходит в рогатину!
Течет.
Ручьища красной меди.
Рычание и кровь.
Лакай, темнота!
Не знаю,
плачут ли,
нет медведи,
но если плачут,
то именно так.
То именно так:
без сочувственной фальши
скулят,
заливаясь ущельной длиной.
И именно так их медвежий Бальшин,
скуленьем разбужен, ворчит за стеной.
Вот так медведи именно могут:
недвижно,
задравши морду,
как те,
повыть,
извыться

и лечь в берлогу,
царапая логово в двадцать когтей.
Сорвался лист.
Обвал.
Беспокоит.
Винтовки-шишки
не грохнули б враз.
Ему лишь взмедведиться может такое
сквозь слезы и шерсть, бахромящую глаз.

Протекающая комната

Кровать.
Железки.
Барахло одеяло.
Лежит в железках.
Тихо.
Вяло.
Трепет пришел.
Пошел по железкам.
Простынь постельная треплется плеском.
Вода лизнула холодом ногу.
Откуда вода?
Почему много?
Сам заплакал.
Плакса.
Слякоть.
Неправда —
столько нельзя заплакать.
Чертова ванна!

Вода за диваном.
Под столом,
за шкафом вода.
С дивана,
сдвинут воды задеваньем,
в окно проплыл чемодан.
Камин...
Окурок...
Сам кинул.
Пойти потушить.
Петушится.
Страх.
Куда?
К какому такому камину?
Верста.
За верстою берег в кострах.
Размыло все,
даже запах капустный
с кухни
всегдашний,
приторно сладкий.
Река.
Вдали берега.
Как пусто!
Как ветер воет вдогонку с Ладogi!
Река.
Большая река.
Холодина.
Рябит река.
Я в середине.

Белым медведем
влез на льдину,
плыву на своей подушке-льдине.
Бегут берега,
за видом вид.
Подо мной подушки лед.
С Ладоги дует.
Вода бежит.
Летит подушка-плот.
Плыву.
Лихорадуюсь на льдине-подушке.
Одно ощущение водой не вымыто:
я должен
не то под кроватные дужки,
не то
под мостом проплыть под каким-то.
Были вот так же:
ветер да я.
Эта река!..
Не эта.
Иная.
Нет, не иная!
Было —
стоял.
Было – блестело.
Теперь вспоминаю.
Мысль растет.
Не справлюсь я с нею.
Назад!
Вода не выпустит плот.

Видней и видней...
Ясней и яснее...
Теперь неизбежно...
Он будет!
Он вот!!!

Человек из-за 7-ми лет

Волны устои стальные моют.
Недвижный,
страшный,
упершись в бока
столицы,
в отчаянье созданной мною,
стоит
на своих стоэтажных быках.
Небо воздушными скрепами вышил.
Из вод феерией стали восстал.
Глаза подымаю выше,
выше...
Вон!
Вон —
опершись о перила моста...
Прости, Нева!
Не прощает,
гонит.
Сжался!
Не сжалился бешеный бег,
Он!
Он —

у небес в воспаленном фоне,
прикрученный мною, стоит человек.
Стоит.
Разметал изросшие волосы.
Я уши лаплю.
Напрасные мнешь!
Я слышу
мой,
мой собственный голос.
Мне лапы дырявит голоса нож.
Мой собственный голос —
он молит,
он просится:
– Владимир!
Остановись!
Не покинь!
Зачем ты тогда не позволил мне
броситься?
С размаху сердце разбить о быки?
Семь лет я стою.
Я смотрю в эти воды,
к перилам прикручен канатами строк.
Семь лет с меня глаз эти воды не сводят.
Когда ж,
когда ж избавления срок?
Ты, может, к ихней примазался касте?
Целуешь?
Ешь?
Отпускаешь брюшко?
Сам

в ихний быт,
в их семейное счастье
намереваешься пролезть петушком?!
Не думай! —
Рука наклоняется вниз его.
Грозится
сухой
в подмостную кручу.
– Не думай бежать!
Это я
вызвал.
Найду.
Загоню.
Доконаю.
Замучу!
Там,
в городе,
праздник.
Я слышу гром его.
Так что ж!
Скажи, чтоб явились они.
Постановление неси исполкомово.
Муку мою конфискуй,
отмени.
Пока
по этой
по Невской
по глуби
спаситель-любовь
не придет ко мне,

скитайся ж и ты,
и тебя не полюбят.
Греби!
Тони меж домовых камней! —

Спасите!

Стой, подушка!
Напрасное тщенье.
Лапой гребу —
плохое весло.
Мост сжимается.
Невским течением
меня несло,
несло и несло.
Уже я далеко.
Я, может быть, за день.
За день
от тени моей с моста.
Но гром его голоса гонится сзади.
В погоне угроз паруса распластал.
– Забыть задумал невский блеск?!
Ее заменишь?!
Некем!
По гроб запомни переплеск,
плескавший в «Человеке». —
Начал кричать.
Разве это осилите?!
Буря басит —
не осилить вовек.

Спасите! Спасите! Спасите! Спасите!
Там
на мосту
на Неве
человек!

II

НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО

Фантастическая реальность

Бегут берега —
за видом вид.
Подо мной —
подушка-лед.
Ветром ладожским гребень завит.
Летит
льдышка-плот.
Спасите! – сигналю ракетой слов.
Падаю, качкой добитый.
Речка кончилась —
море росло.
Океан —
большой до обиды.
Спасите!

Спасите!..
Сто раз подряд
реву батареей пушечной.
Внизу
подо мной
растет квадрат,
остров растет подушечный.
Замирает, замирает,
замирает гул.
Глуше, глуше, глуше...
Никаких морей.
Я —
на снегу.
Кругом —
версты суши.
Суша – слово.
Снегами мокра.
Подкинут метельной банде я.
Что за земля?
Какой это край?
Грен-
лап-
люб-ландия?

Боль были

Из облака вызрела лунная дынка,
стену постепенно в тени оттеня.
Парк Петровский.
Бегу.

Ходынка
за мной.
Впереди Тверской простыня.
А-у-у-у!
К Садовой аж выкинул "у"!
Оглоблей
или машиной,
но только
мордой
аршин в снегу.
Пулей слова матерщины.
"От нэпа ослеп?!"
Для чего глаза впряжены?!
Эй,ты!
Мать твою разнэп!
Ряженный!"
Ах!
Да ведь
я медведь.
Недоразуменье!
Надо —
проходим,
что я не медведь,
только вышел похожим.

Спаситель

Вон
от заставы
идет человечек.

За шагом шаг вырастает короткий.

Луна

голову вправила в венчик.

Я уговорю,

чтоб сейчас же,

чтоб в лодке.

Это – спаситель!

Вид Иисуса.

Спокойный и добрый,

венчанный в луне.

Он ближе.

Лицо молодое безусо.

Совсем не Иисус.

Нежней.

Юней.

Он ближе стал,

он стал комсомольцем.

Без шапки и шубы.

Обмотки и френч.

То сложит руки,

будто молится.

То машет,

будто на митинге речь.

Вата снег.

Мальчишка шел по вате.

Вата в золоте —

чего уж пошловатей?!

Но такая грусть,

что стой

и грустью ранься!

Расплывайся в процыганенном романсе.

Романс

Мальчик шел, в закат глаза уставя.
Был закат непревзойдимо желт.
Даже снег желтел в Тверской заставе.
Ничего не видя, мальчик шел.
Шел,
вдруг
встал.
В шелк
рук
сталь.
С час закат смотрел, глаза уставя,
за мальчишкой легшую кайму.
Снег, хрустя, разламывал суставы.
Для чего?
Зачем?
Кому?
Был вором-ветром мальчишка обыскан.
Попала ветру мальчишки записка.
Стал ветер Петровскому парку звонить:
– Прощайте...
Кончаю...
Прошу не винить...

Ничего не поделаешь

До чего ж
на меня похож!
Ужас.
Но надо ж!
Дернулся к луже.
Залитую курточку стягивать стал.
Ну что ж, товарищ!
Тому еще хуже —
семь лет он вот в это же смотрит с моста.
Напялил еле —
другого калибра.
Никак не намылишься —
зубы стучат.
Шерстищу с лапищ и с мордищи выбрил.
Гляделся в льдину...
бритвой луча...
Почти,
почти такой же самый.
Бегу.
Мозги шевелят адресами.
Во-первых,
на Пресню,
туда,
по задворкам.
Тянет инстинктом семейная норка.
За мной
всероссийские,
теряясь точкой,
сын за сыном,
дочка за дочкой.

Всехные родители

– Володя!
На рождество!
Вот радость!
Радость-то во!.. —
Прихожая тьма.
Электричество комната.
Сразу —
наискось лица родни.
– Володя!
Господи!
Что это?
В чем это?
Ты в красном весь.
Покажи воротник!
– Не важно, мама,
дома вымою.
Теперь у меня раздолье —
вода.
Не в этом дело.
Родные!
Любимые!
Ведь вы меня любите?
Любите?
Да?
Так слушайте ж!
Тетя!
Сестры!

Мама!
Тушите елку!
Заприте дом!
Я вас поведу...
вы пойдете...
Мы прямо...
сейчас же...
все
возьмем и пойдём.
Не бойтесь —
это совсем недалеко —
600 с небольшим этих крохотных верст.
Мы будем там во мгновение ока.
Он ждет.
Мы вылезем прямо на мост.
– Володя,
родной,
успокойся! —
Но я им
на этот семейственный писк голосков:
– Так что ж?!
Любовь заменяете чаем?
Любовь заменяете штопкой носков?

Путешествие с мамой

Не вы —
не мама Альсандра Альсеевна.
Вселенная вся семьёю засеяна.
Смотрите,

мачт корабельных щетина —
в Германию врезался Одера клин.
Слезайте, мама,
уже мы в Штеттине.
Сейчас,
мама,
несемся в Берлин.
Сейчас летите, мотором урча, вы:
Париж,
Америка,
Бруклинский мост,
Сахара,
и здесь
с негритоской курчавой
лакает семейкой чай негритос.
Сомнете периной
и волю
и камень.
Коммуна —
и то завернется комом.
Столетия
жили своими домками
и нынче зажили своим домкомом!
Октябрь прогремел,
карающий,
судный.
Вы
под его огнеперым крылом
расставились,
разложили посудыны.

Паучьих волос не расчешешь колом.
Исчезни, дом,
родимое место!
Прощайте! —
Отбросил ступеней последок.
– Какое тому поможет семейство?!
Любовь цыплячья!
Любвишка наседок!

Пресненские миражи

Бегу и вижу —
всем в виду
кудринскими вышками
себе навстречу
сам
иду
с подарками под мышками.
Мачт крестами на буре распластан,
корабль кидает балласт за балластом.
Будь проклята,
опустошенная легкость!
Домами оскалила скалы далекость.
Ни люда, ни заставы нет.
Горят снега,
и голо.
И только из-за ставенек
в огне иголки елок.
Ногам вперекор,
тормозами на быстрые

вставали стены, окнами выстроясь.

По стеклам

тени

фигурками тира

вертелись в окне,

зазывали в квартиры.

С Невы не сводит глаз,

продрог,

стоит и ждет —

помогут.

За первый встречный за порог

закидываю ногу.

В передней пьяный проветривал бредни.

Стрезвел и дернул стремглав из передней.

Зал заливался минуты две:

– Медведь,

медведь,

медведь,

медв-е-е-е-е... —

Муж Феклы Давидовны со мной и со всеми знакомы-
ми

Потом,

извертясь вопросительным знаком,

хозяин полглаза просунул:

– Однако!

Маяковский!

Хорош медведь! —

Пошел хозяин любезностями медоветь:

– Пожалуйста!

Прошу-с.

Ничего —

я боком.

Нечаянная радость-с, как сказано у Блока.

Жена – Фекла Двидна.

Дочка,

точь-в-точь

в меня, видно —

семнадцать с половиной годочков.

А это...

Вы, кажется, знакомы?! —

Со страха к мышам ушедшие в норы,
из-под кровати полезли партнеры.

Усища —

к стеклам ламповым пыльники —

из-под столов пошли собутыльники.

Ползут с-под шкафа чтецы, почитатели.

Весь безлицый парад подсчитать ли?

Идут и идут процессией мирной.

Блестят из бород паутиной квартирной.

Все так и стоит столетья,

как было.

Не бьют —

и не тронулась быта кобыла.

Лишь вместо хранителей духов и фей

ангел-хранитель —

жилец в галифе.

Но самое страшное:
по росту,
по коже
одеждой,
сама походка моя! —
в одном
узнал —
близнецами похожи —
себя самого —
сам
я.

С матрацев,
вздывая постельные тряпки,
клопы, приветствуя, подняли лапки.
Весь самовар рассиялся в лучики —
хочет обнять в самоварные ручки.
В точках от мух
веночки
с обоев
венчают голову сами собою.
Взыграли туш ангелочки-горнисты,
пророзовев из иконного глянца.
Исус,
приподняв
венок тернистый,
любезно кланяется.
Маркс,
впряженный в алую рамку,
и то тащил обывательства лямку.
Запели птицы на каждой на жердочке,

герани в ноздри лезут из кадочек.
Как были
сидя сняты
на корточках,
радушно бабушки лезут из карточек.
Раскланялись все,
осклабились враз;
кто басом фразу,
кто в дискант
дьячком.
– С праздничком!
С праздничком!
С праздничком!
С праздничком!
С праз-
нич-
ком! —
Хозяин
то тронет стул,
то дунет,
сам со скатерти крошки вымел.
– Да я не знал!..
Да я б накануне...
Да, я думаю, занят...
Дом...
Со своими...

Бессмысленные просьбы

Мои свои?!

Д-а-а-а —
это особы.

Их ведьма разве сыщет на венике!

Мои свои

с Енисея

да с Оби

идут сейчас,

следят четвереньки.

Какой мой дом?!

Сейчас с него.

Подушкой-льдом

плыл Невой —

мой дом

меж дамб

стал льдом,

и там...

Я брал слова

то самые вкрадчивые,

то страшно рыча,

то вызвоня лирово.

От выгод —

на вечную славу сворачивал,

молил,

грозил,

просил,

агитировал.

— Ведь это для всех...

для самих...

для вас же...

Ну, скажем, «Мистерия» —

ведь не для себя ж?!
Поэт там и прочее...
Ведь каждому важен...
Не только себе ж —
ведь не личная блажь...
Я, скажем, медведь, выражаясь грубо...
Но можно стихи...
Ведь сдирают шкуру?!
Подкладку из рифм поставишь —
и шуба!..
Потом у камина...
там кофе...
курят...
Дело пустяшно:
ну, минут на десять...
Но нужно сейчас,
пока не поздно...
Похлопать может...
Сказать —
надейся!..
Но чтоб теперь же...
чтоб это серьезно... —
Слушали, улыбаясь, именитого скомороха.
Катали по столу хлебные мякиши.
Слова об лоб
и в тарелку —
горохом.
Один расчувствовался,
вином размягший:
— Поооостой...

поооостой...
Очень даже и просто.
Я пойду!..
Говорят, он ждет...
на мосту...

Я знаю...
Это на углу Кузнецкого моста.
Пустите!
Ну-кося! —
По углам —
зуд:
– Наззз-ю-зззюкался!
Будет нить!
Поесть, попить,
попить, поесть —
и за бб!
Теорию к лешему!
Нэп —
практика.
Налей,
нарежь ему.
Футурист,
налягте-ка! —
Ничуть не смущаясь челюстей целостью,
пошли греметь о челюсть челюстью.
Шли
из артезианских прорв
меж рюмкой
слова поэтических споров.

В матрац,
поздоровавшись,
влезли клопы.
На вещи насела столетняя пыль.
А тот стоит —
в перила вбит.
Он ждет,
он верит:
скоро!
Я снова лбом,
я снова в быт
вбиваюсь слов напором.
Опять
атакую и вкривь и вкось.
Но странно:
слова проходят насквозь.

Необычайное

Стихает бас в комариные трельки.
Подбитые воздухом, стихли тарелки.
Обои,
стены
блекли...
блекли...
Тонули в серых тонах офортных.
Со стенки
на город разросшийся
Беклин
Москвой расставил «Остров мертвых».

Давным-давно.
Подавно —
теперь.
И нету прощя!
Вон
в лодке,
скутан саваном,
недвижный перевозчик.
Не то моря,
не то поля —
их шорох тишью стерт весь.
А за морями —
тополя
возносят в небо мертвость.
Что ж —
ступлю!
И сразу
тополи
сорвались с мест,
пошли,
затопали.
Тополы стали спокойствия мерами,
ночей сторожами,
милиционерами.
Расчетверившись,
белый Харон
стал колоннадой почтамтских колонн.

Деваться некуда

Так с топором влезают в сон,
обметят спящелобых —
и сразу
исчезает все,
и видишь только обух.
Так барабаны улиц
в сон
войдут,
и сразу вспомнится,
что вот тоска
и угол вон,
за ним
она —
виновница.
Прикрывши окна ладонью угла,
стекло за стеклом вытягивал с краю.
Вся жизнь
на карты окон легла.
Очко стекла —
и я проиграю.
Арап —
миражей шулер —
по окнам
разметил нагло веселия крап.
Колода стекла
торжеством яркоогним
сияет нагло у ночи из лап.
Как было раньше —
вырасти б,
стихом в окно влететь.

Нет,
никни к стенной сырости.
И стих
и дни не те.
Морозят камни.
Дрожь могил.
И редко ходят веники.
Плевками,
снявши башмаки,
вступаю на ступеньки.
Не молкнет в сердце боль никак,
кует к звену звено.
Вот так,
убив,
Раскольников
пришел звенеть в звонок.
Гостье идет по лестнице...
Ступеньки бросил —
стенкою.
Стараюсь в стенку вплеснуться
и слышу —
струны тенькают.
Быть может, села
вот так
невзначай она.
Лишь для гостей,
для широких масс.
А пальцы
сами
в пределе отчаянья

ведут бесшабашье, над горем глумясь.

Друзья

А вороны гости?!
Дверье крыло
раз сто по бокам коридора исхлопано.
Горлань горланья,
оранья орло
ко мне доплеталось пьяное допьяна.
Полоса
щели.

Голоса

еле:

"Аннушка —
ну и румянушка!"

Пирог...
Печка...

Шубу...

Помогает...

С плечика...

Сглушило слова уанстепным темпом,
и снова слова сквозь темп уанстепа:

"Что это вы так развеселились?
Разве?!"

Слились...

Опять полоса осветила фразу.

Слова непонятны —

особенно сразу.

Слова так

Слова так

(не то чтоб со зла):

"Один тут сломал ногу,
так вот веселимся, чем бог послал,
танцуем себе понемногу".

Да,
их голоса.

Знакомые выкрики.
Застыл в узнаванье,
расплющился, нем,
фразы крою по выкриков выкройке.

Да —
это они —
они обо мне.

Шелест.
Листают, наверное, ноты.

"Ногу, говорите?
Вот смешно-то!"

И снова
в тостах стаканы исчоканы,
и сыплют стеклянные искры из щек они.

И снова
пьяное:

"Ну и интересно!

Так, говорите, пополам и треснул?"

"Должен огорчить вас, как ни грустно,
не треснул, говорят,
а только хрустнул".

И снова
хлопанье двери и карканье,
и снова танцы, полами исшарканные.

И снова
стен раскаленные степи
под ухом звенят и вздыхают в тустепе.

Только б не ты

Стою у стенки.
Я не я.
Пусть бредом жизнь смололась.
Но только б, только б не ея
невыносимый голос!
Я день,
я год обыденщине предал,
я сам задыхался от этого бреда.
Он
жизнь дымком квартирошным выел.
Звал:
решишь
с этажей
в мостовые!
Я бегал от зова разинутых окон,
любя убегал.
Пускай однобоко,
пусть лишь стихом,
лишь шагами ночными —
строчишь,
и становятся души строчными,
и любишь стихом,
а в прозе немею.
Ну вот, не могу сказать,

не умею.

Но где, любимая,

где, моя милая,

где

– в песке! —

любви моей изменил я?

Здесь

каждый звук,

чтоб признаться,

чтоб кликнуть.

А только из песни – ни слова не выкинуть.

Вбегу на трель,

на гаммы.

В упор глазами

в цель!

Гордясь двумя ногами,

Ни с места! – крикну. —

Цел! —

Скажу:

– Смотри,

даже здесь, дорогая,

стихами грома обыденщины жуть,

имя любимое оберегая,

тебя

в проклятьях моих

обхожу.

Приди,

разотзовись на стих.

Я, всех оббегав, – тут.

Теперь лишь ты могла б спасти.

Вставай!
Бежим к мосту! —
Быком на бойне
под удар
башку мою нагнул.
Сбору себя,
пойду туда.
Секунда —
и шагну.

Шагание стиха

Последняя самая эта секунда,
секунда эта
стала началом,
началом
невероятного гуда.
Весь север гудел.
Гудения мало.
По дрожи воздушной,
по колебанию
догадываюсь —
оно над Любанью.
По холоду,
по хлопанию дверью
догадываюсь —
оно над Тверью.
По шуму —
настежь окна раскинул —
догадываюсь —

кинулся к Клину.
Теперь грозой Разумовское залил.
На Николаевском теперь
на вокзале.
Всего дыхание одно,
а под ногой
ступени
пошли,
поплыли ходуном,
вздываясь в невской пене.
Ужас дошел.
В мозгу уже весь.
Натягивая нервов строй,
разгуживаясь все и разгуживаясь,
взорвался,
пригвоздил:
– Стой!
Я пришел из-за семи лет,
из-за верст шести ста,
пришел приказать:
Нет!
Пришел повелеть:
Оставь!
Оставь!
Не надо
ни слова,
ни просьбы.
Что толку —
тебе
одному

удалось бы?!
Жду,
чтоб землей обезлюбленной
вместе,
чтоб всей
мировой
человечьей гущей.
Семь лет стою,
буду и двести
стоять пригвожденный
этого ждущий.
У лет на мосту
на презренье,
на смех,
земной любви искупителем значась,
должен стоять,
стою за всех,
за всех расплачусь,
за всех расплачусь.

Ротонда

Стены в тустепе ломались
на три,
на четверть тона ломались,
на сто...
Я, стариком,
на каком-то Монмартре
лезу —
стотысячный случай —

на стол.

Давно посетителям осточертело.

Знают заранее

все, как по нотам:

буду звать

(новое дело!)

куда-то идти,

спасать кого-то.

В извинение пьяной нагрузки

хозяин гостям объясняет:

– Русский! —

Женщины —

мяса и тряпок вязанки —

смеются,

стащить стараются

за ноги:

"Не пойдём.

Дудки!

Мы – проститутки".

Быть Сены полосе б Невой!

Грядущих лет брызгой

хожу по мгле по Сеновой

всей нынчести изгой.

Саженный,

обсмеянный,

саженный,

битый,

в бульварах

ору через каски военщины:

– Под красное знамя!

Шагайте!
По быту!
Сквозь мозг мужчины!
Сквозь сердце женщины! —
Сегодня
гнали
в особенном раже.
Ну и жара же!

Полусмерть

Надо
немного обветрить лоб.
Пойду,
пойду, куда ни вело б.
Внизу свистят сержанты-трельщики.
Тело
с панели
уносят метельщики.
Рассвет.
Подымаюсь сенскою сенью,
синематографской серой тенью.
Вот —
гимназистом смотрел их
с парты —
мелькают сбоку Франции карты.
Воспоминаний последним током
тащился прощаться
к странам Востока.

Случайная станция

С разлету рванулся —
и стал,
и на мель.
Лохмотья мои зацепились штанами.
Ощупал —
скользко,
луковка точно.
Большое очень.
Испозолочено.
Под луковкой
колоколов завыванье.
Вечер зубцы стенные выкаймил.
На Иване я
Великом.
Вышки кремлевские пиками.
Московские окна
видятся еле.
Весело.
Елками зарождествели.
В ущелья кремлевы волна ударяла:
то песня,
то звона рождественский вал.
С семи холмов,
низвергаясь Дарьялом,
бросала Тереком
праздник
Москва.
Вздывается волос.

Лягушкой тжусь.
Боюсь —
оступлюсь на одну только пядь,
и этот
старый
рождественский ужас
меня
по Мясницкой закружит опять.

Повторение пройденного

Руки крестом,
крестом
на вершине,
ловлю равновесие,
страшно машу.
Густеет ночь,
не вижу в аршине.
Луна.
Подо мною
льдистый Машук.
Никак не справлюсь с моим равновесием,
как будто с Вербы —
руками картонными.
Заметят.
Отсюда виден весь я.
Смотрите —
Кавказ кишит Пинкертонами.
Заметили.
Всем сообщили сигналом.

Любимых,
друзей
человечьи ленты
со всей вселенной сигналом согнало.
Спешат рассчитаться,
идут дуэлянты.
Щетинясь,
щерясь
еще и еще там...
Плюют на ладони.
Ладонями сочными,
руками,
ветром,
нещадно,
без счета
в мочалку щеку истрепали пощечинами.
Пассажи —
перчаточных лавок початки,
дамы,
духи развевая паточные,
снимали,
в лицо швыряли перчатки,
швырялись в лицо магазины перчаточные.
Газеты,
журналы,
зря не глазейте!
На помощь летящим в морду вещам
ругней
за газетиной взвейся газетина.
Слухом в ухо!

Хватай, клеветца!
И так я калека в любовном боленье.
Для ваших оставьте помоев ушат.
Я вам не мешаю.
К чему оскорбленья!
Я только стих,
я только душа.
А снизу:
– Нет!
Ты враг наш столетний.
Один уж такой попался —
гусар!
Понюхай порох,
свинец пистолетный.
Рубаху враспашку!
Не праздной трус'а! —

Последняя смерть

Хлеще ливня,
грома бодрей,
бровь к брови,
ровненько,
со всех винтовок,
со всех батарей,
с каждого маузера и браунинга,
с сотни шагов,
с десяти,
с двух,
в упор —

за зарядом заряд.
Станут, чтоб перевести дух,
и снова свинцом сорят.
Конец ему!
В сердце свинец!
Чтоб не было даже дрожи!
В конце концов —
всему конец.
Дрожи конец тоже.

То, что осталось

Окончилась бойня.
Веселье клокочет.
Смакуя детали, разлезлись шажком.
Лишь на Кремле
поэтовы ключья
сияли по ветру красным флажком.
Да небо
по-прежнему
лирикой звездится.
Глядит
в удивленье небесная звездь —
затрубадурила Большая Медведица.
Зачем?
В королевы поэтов пролезть?
Большая,
неси по векам-Араратам
сквозь небо потопа
ковчегом-ковшом!

С борта
звездолетом
медведьинским братом
горланю стихи мирозданию в шум,
Скоро!
Скоро!
Скоро!
В пространство!
Пристальной!
Солнце блестит горы.
Дни улыбаются с пристани.

ПРОШЕНИЕ НА ИМЯ...

Прошу вас, товарищ химик,
заполните сами!

Пристает ковчег.
Сюда лучами!
Пристань.
Эй!
Кидай канат ко мне!
И сейчас же
ощутил плечами
тяжесть подоконничьих камней.
Солнце
ночь потопы высушило жаром.
У окна
в жару встречаю день я.
Только с глобуса – гора Килиманджаро.

Только с карты африканской – Кения.

Голой головою глобус.

Я над глобусом
от горя горблюсь.

Мир

хотел бы

в этой груди горя
настоящие облапить груди-горы.

Чтобы с полюсов

по всем жильям

лаву раскатил, горящ и каменист,
так хотел бы разрыдаться я,

медведь-коммунист.

Столбовой отец мой

дворянин,

кожа на моих руках тонка.

Может,

я стихами выхлебаю дни,

и не увидав токарного станка.

Но дыханием моим,

сердцебиеньем,

голосом,

каждым острием вздыбленного в ужас

волоса,

дырами ноздрей,

гвоздями глаз,

зубом, исскрежещенным в звериный лязг,

ежью кожи,

гнева брови сборами,

триллионом пор,

дословно —
всеми порами
в осень,
в зиму,
в весну,
в лето,
в день,
в сон
не приемлю,
ненавижу это
все.
Все,
что в нас
ушедшим рабьим вбито,
все,
что мелочинным роем
оседало
и осело бытом
даже в нашем
краснофлагом строе.
Я не доставлю радости
видеть,
что сам от заряда стих.
За мной не скоро потянете
об упокой его душу таланте.
Меня
из-за угла
ножом можно.
Дантесам в мой не целить лоб.
Четырежды состарюсь — четырежды омоложенный,

до гроба добраться чтоб.
Где б ни умер,
умру поя.
В какой трущобе ни лягу,
знаю —
достойн лежать я
с легшими под красным флагом.
Но за что ни лечь —
смерть есть смерть.
Страшно – не любить,
ужас – не сметь.
За всех – пуля,
за всех – нож.
А мне когда?
А мне-то что ж?
В детстве, может,
на самом дне,
десять найду
сносных дней.
А то, что другим?!
Для меня б этого!
Этого нет.
Видите —
нет его!
Верить бы в загробь!
Легко прогулку пробную.
Стоит
только руку протянуть —
пуля
мигом

в жизнь загробную
начертит гремящий путь.
Что мне делать,
если я
вовсю,
всей сердечной мерою,
в жизнь сию,
сей
мир
верил,
верую.

Вера

Пусть во что хотите жданья удлинятся —
вижу ясно,
ясно до галлюцинаций.
До того,
что кажется —
вот только с этой рифмой
развяжись,
и вбежишь
по строчке
в изумительную жизнь.
Мне ли спрашивать —
да эта ли?
Да та ли?!
Вижу,
вижу ясно, до деталей.
Воздух в воздух,

будто камень в камень,
недоступная для тленов и прошений,
рассиявшись,
высится веками
мастерская человеческих воскрешений.
Вот он,
большелобый
тихий химик,
перед опытом наморщил лоб.
Книга —
«Вся земля», —
выискивает имя.
Век двадцатый.
Воскресить кого б?
– Маяковский вот...
Поищем ярче лица —
недостаточно поэт красив. —
Крикну я
вот с этой,
с нынешней страницы:
– Не листай страницы!
Воскреси!

Надежда

Сердце мне вложи!
Кровищу —
до последних жил.
в череп мысль вдолби!
Я свое, земное, не дож'ил,

на земле
свое не долюбил.
Был я сажень ростом.
А на что мне сажень?
Для таких работ годна и тля.
Перышком скрипел я, в комнатенку всажен,
вплющился очками в комнатный футляр.
Что хотите, буду делать даром —
чистить,
мыть,
стеречь,
мотаться,
месть.
Я могу служить у вас
хотя б швейцаром.
Швейцары у вас есть?
Был я весел —
толк веселым есть ли,
если горе наше непролазно?
Нынче
обнажают зубы если,
только чтоб хватить,
чтоб
лязгнуть.
Мало ль что бывает —
тяжесть
или горе...
Позовите!
Пригодится шутка дурья.
Я шарадами гипербол,

аллегорий
буду развлекать,
стихами балагурия.
Я любил...
Не стоит в старом рыться.
Больно?
Пусть...
Живешь и болью дорожась.
Я зверье еще люблю —
у вас
зверинцы
есть?
Пустите к зверю в сторожа.
Я люблю зверье.
Увидишь собачонку —
тут у булочной одна —
сплошная плешь, —
из себя
и то готов достать печенку.
Мне не жалко, дорогая,
ешь!

Любовь

Может,
может быть,
когда-нибудь,
дорожкой зоологических аллей
и она —
она зверей любила —

тоже ступит в сад,
улыбаясь,
вот такая,
как на карточке в столе.
Она красивая —
ее, наверно, воскресят.
Ваш
тридцатый век
обгонит стаи
сердце раздиравших мелочей.
Нынче недолюбленное
наверстаем
звездностью бесчисленных ночей.
Воскреси
хотя б за то,
что я
поэтом
ждал тебя,
откинул будничную чушь!
Воскреси меня
хотя б за это!
Воскреси —
свое дожить хочу!
Чтоб не было любви – служанки
замужеств,
похоти,
хлебов.
Постели прокляв,
встав с лежанки,
чтоб всей вселенной шла любовь.

Чтоб день,
который горем старящ,
не христарадничать, моля.
Чтоб вся
на первый крик:
– Товарищ! —
оборачивалась земля.
Чтоб жить
не в жертву дома дырам.
Чтоб мог
в родне
отныне
стать
отец,
по крайней мере, миром,
землей, по крайней мере, – мать.

1923

РАБОЧИМ КУРСКА, ДОБЫВШИМ ПЕРВУЮ РУДУ, ВРЕМЕННЫЙ ПАМЯТНИК РАБОТЫ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО

Было:

социализм —
восторженное слово!
С флагом,
с песней
становились слева,
и сама
на головы
спускалась слава.
Сквозь огонь прошли,
сквозь пушечные дула.
Вместо гор восторга —
горе дола.

Стало:

коммунизм —
обычайшее дело.
Нынче
словом

не пофанфароните —
шею крючь
да спину гни.
На вершочном
незаметном фронте
завоевываются дни.
Я о тех,
кто не слышал
про греков
в драках,
кто
не читал
про Муциев Сцев'ол,
кто не знает,
чем замечательны Гракхи, —
кто просто работает —
грядущего вол.
Было.
Мы митинговали.
Словопадов струи,
пузыри идеи —
мир сразить во сколько.
А на деле —
обломались
ручки у кастрюли,
бреемся
стеклом-осколком.
А на деле —
у подметок дырки, —
без гвоздя

слюной
клеить – впустую!
Дырку
не посадите в Бутырки,
а однако
дырки
протестуют.
«Кто был ничем, тот станет всем!»
Станет.
А на деле —
как феллахи —
неизвестно чем
распахиваем земь.
Шторы
пиджаками
на плечи надели.
Жабой
сжало грудь
блокады иго.
Изнутри
разрух стоградусовый жар.
Машиньё
сдыхало,
рычажком подрывав.
В склепах-фабриках
железо
жрала ржа.
Непроезженные
выли степи,
и Урал

орал
непроходимолесый.
Без железа
коммунизм
не стерпим.
Где железо?
Рельсы где?
Давайте рельсы!
Дым
не выдоит
трубищ фабричных вымя.
Отповедь
гудковая
крута: «Зря
чего
ворочать маховыми?
Где железо,
отвечайте!
Где руда?»
Электризовало
массы волю.
Массы мозг
изобретательством мотало.
Тело масс
слоняло
по горе,
по полю
голодом
и жаждою металла.
Крик,

вгоняющий
в дрожание
и в ёжь,
уши
земляные
резал:
«Даешь железо!»
Возникал
и глух призыв повторный —
только шепот
шел
профессоров-служак:
де под Курском
стрелки
лезут в стороны,
как Чужак.
Мне
фабрика слов
в управленье дана.
Я
не геолог,
но я утверждаю,
что до нас было
под Курском
голо.
Обыкновеннейшие
почва и подпочва.
Шар земной,
а в нем —
вода

и всяческий пустяк.
Только лавы
изредка
сверлили ночь его.
Времена спустя
на восстанье наше,
на желанье,
на призыв
двинулись
земли низы.
От времен,
когда
лавины
рыже разжижели —
затухавших газов перегар, —
от времен,
когда вода
входила еле в первые
базальтовые берега, —
от времен,
когда
прабабки носорожьи,
ящерьи прапрадеды
и крокодильи,
ни на что вообразяемое не похожие,
льдами-броненосцами катили, —
от времен,
которые
слоили папоротник,
углем

каменным
застыв,
о которых
рапорта
не дал
и первый таборник, —
залегли
железные пласты.
Будущих времен
машинный гул
в каменном
мешке
лежит —
и ни гугу.
Даешь!
До мешков,
до запряженных в сонные,
до сердца
земного
лозунг долез.
Даешь!
Грозою воль потрясенные,
трещат
казематы
над жилой желез.
Свернув
горы навалившийся груз,
ступни пустынь,
наступивших на жилы,
железо

бежало
в извилины русл,
железо
текло
в океанские илы.
Бороло
каких-то течений сливания,
какие-то горы брало в разбеге,
под Крымом
ползло,
разогнав с Пенсильвании,
на Мурман
взбиралось,
сорвавшись с Норвегии.
Бежало от немцев,
боялось французов,
глаза
косивших
на лакомый кус,
пока доплелось,
задыхаясь от груза,
запряталось
в сердце России
под Курск.
Голоса
подземные
выкачивала ветра помпа.
Слушай, человек,
рулетка,
компас:

не для мопсов-гаубиц —
для мира
разыщи,
узнай,
найди и вырой!
Отойди
еще
на пяди малые, —
отойди
и голову нагни.

Глаз искателей
тянуло аномалией,
стрелки компасов
крутил магнит.

Есть.

Вы,
оравшие:
«В лоск залускали,
рассорил
Россию
подсолнух!» —
посмотрите
в работе мускулы
полуголых,
голодных,
сонных.
В пустырях
ветров и снега бред,
под ногою
грязь и лужи вместе,

непроходимые,
как Альфред
из «Известий».
Прославлял
романтик
Дон-Кихота, —
с ветром воевал
и с д'ухами иными.
Просто
мельников хвалить
кому охота —
с настоящей борются,
не с ветряными.
Слушайте,
пролетарские дочки:
пришедший
в землю врыться,
в чертежах
размечавший точки,
он —
сегодняшний рыцарь!
Он так же мечтает,
он так же любит.
Руда
залегла, томясь.
Красавцем
в кудрявом
дымном клубе —
за ней
сквозь камень масс!

Стальной бурав
о землю ломался.
Сиди,
оттачивай,
правь —
и снова
земли атакуется масса,
и снова
иззубрен бурав.
И снова —
ухнем!
И снова —
ура! —
в расселинах каменных масс.
Стальной
сменял
алмазный бурав,
и снова
ломался алмаз.
И когда
казалось —
правь надеждам тризну,
из-под Курска
прямо в нас
настоящею
земной любовью брызнул
будущего
приоткрытый глаз.
Пусть
разводят

скептики
уныные сычье:
нынче, мол, не взять
и далеко лежит.

Если б
коммунизму
жить
осталось
только нынче,
мы
вообще бы
перестали жить.

Будет.

Лучше всяких «Лефов»
насмерть ранив русского
ленивый вкус,
музыкой
в мильон подъемных кранов
цокает,
защелкивает Курск.
И не тщась
взлететь
на буровые вышки,
в иллюстрацию
зоологових слов,
приготовишкам
соловьишки
демонстрируют
свое
унылейшее ремесло.

Где бульвар
вздыхал
весною томной,
не таких
Любовей
лития, —
огнегубые
вздыхают топкой домны,
рассыпаясь
звездами литья.
Речка,
где и уткам
было узко,
где и по колено
не было ногам бы,
шла
плотвою флотов
речка Тускарь:
курс на Курск —
эСэСэСэРский Гамбург.
Всякого Нью-Йорка ньюйоркистей,
раздинамливая
электрический раскат,
маяки
просверливающей зоркости
в девяти морях
спелят
глаза эскадр.
И при каждой топке,
каждом кране,

наступивши
молниям на хвост,
выверенные куряне направляли
весь
с цепей сорвавшийся ха'ос.
Четкие, как выстрел,
у машин
эльвисты.
В небесах,
где месяц,
раб писателин,
искры труб
черпал совком,
с башенных волчков
– куда тут Татлин! —
отдавал
сиренами
приказ
завком.
«Слушай!
д 2!
3 и!
Пятый ряд тяжелой индустрии!
7 ф!
Доки лодок
и шестая верфь!»
Заревет сирена
и замрет, тонка,
и опять
засвистывает

электричество и пар.

«Слушай!

19-й ангар!»

Раззевают

слуховые окна

крыши-норы.

Сразу

в сто

товарно-пассажирских линий

отправляются

с иголочки

планёры,

рассияв

по солнцу

алюминий.

Раззевают

главный вход

заводы.

Лентами

авто и паровозы —

в главный.

С верфей

с верстовых

соскальзывают в воды

корабли

надводных

и подводных плаваний.

И уже

по тундрам,

обгоняя ветер резкий,

параллельными путями
на пари
два локомотива —
скорый
и курьерский – в свитрах,
в кепках
запускают лопари.
В деревнях,
с аэропланов
озирая тыщеполье,
стадом
в 1000 —
не много и не мало —
пастушонок
лет семи,
не более,
управляет
световым сигналом.
Что перо? —
гусиные обноски! —
только зря
бумагу рвут, —
сто статей
напишет
обо мне
Сосновский,
каждый день
меняя
«Ундервуд».
Я считаю,

обходя
бульварные аллеи,
скольких
наследили
юбилеи?
Пушкин,
Достоевский,
Гоголь,
Алексей Толстой
в бороде у Льва.
Не завидую —
у нас
бульваров много,
каждому
найдется
бульвар.
Может,
будет
Лазарев
у липы в лепете.
Обозначат
в бронзе
чином чин.
Ну, а остальные?
Как их слепите?
Тысяч тридцать
курских
женщин и мужчин.
Вам
не скрестишь ручки,

не напаялишь тогу,
не поставишь
нянькам на затор...
Ну и слава богу!
Но зато – на бороды дымов,
на тело гулов
не покусится
никакой Меркулов.
Трем Андреевым,
всему академическому скопу,
копошащемся
у писателей в усах,
никогда
не вылепить
ваш красный корпус,
заводские корпуса.
Вас
не будут звать:
«Железо бросьте,
выверните
на спину
глаза,
возвращайтесь
вспять
к слоновой кости,
к мамонту,
к Островскому
назад».
В ваш
столетний юбилей

не прольют
Сакулины
речей елей.
Ты работал,
ты уснул
и спи —
только город ты,
а не Шекспир.
Собинов,
перезвените званьем Южина.
Лезьте
корпусом
из монографий и садов.
Курскам
ваших мраморов
не нужно.
Но зато —
на бегущий памятник
курьерский
рукотворный
не присядут
гадить
вороны.
Вас
у опер
и у оперетт в антракте,
в юбилее
не расхвалит
языкастый лектор.
Речь

об вас
разгромыхает трактор —
самый убедительный электролектор.
Гиз
не тиснет
монографии о вас.
Но зато —
растает дыма клуб,
и опять
фамилий ваших вязь
вписывают
миллионы труб.
Двери в славу —
двери узкие,
но как бы ни были они узки,
навсегда войдете
вы,
кто в Курске добывал
железные куски.

1923

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН

*Российской коммунистической партии
посвящаю*

Время —
начинаю
про Ленина рассказ.
Но не потому,
что горя
нету более,
время
потому,
что резкая тоска
стала ясною
осознанною болью.
Время,
 снова
ленинские лозунги развихрь.
Нам ли
растекаться
слезной лужею, —
Ленин
и теперь
живее всех живых.
Наше знание —
сила

и оружие.
Люди – лодки.
Хотя и на суше.
Проживешь
свое
пока,
много всяких
грязных ракушек
налипает
нам
на бока.
А потом,
пробивши
бурю разозленную,
сядешь,
чтобы солнца близ,
и счищаешь
водорослей
бороду зеленую
и медуз малиновую слизь.
Я
себя
под Лениным чищу.
чтобы плыть
в революцию дальше.
Я боюсь
этих строчек тыщи,
как мальчишкой
боишься фальши.
Рассияют головою венчик,

я тревожусь,
не закрыли чтоб
настоящий,
мудрый,
человечий
ленинский
огромный лоб.
Я боюсь,
чтоб шествия
и мавзолеи,
поклонений
установленный статут
не залили б
приторным елеем
ленинскую
простоту.
За него дрожу,
как за зеницу глаза,
чтоб конфетной
не был
красотой оболган.
Голосует сердце —
я писать обязан
по мандату долга.
Вся Москва.
Промерзшая земля
дрожит от гуда.
Над кострами
обмороженные с ночи.
Что он сделал?

Кто он
и откуда?
Почему
ему
такая почеть?
Слово за словом
из памяти таская,
не скажу
ни одному —
на место сядь.
Как бедна
у мира
слова мастерская!
Подходящее
откуда взять?
У нас
семь дней,
у нас
часов – двенадцать.
Не прожить
себя длинней.
Смерть
не умеет извиняться.
Если ж
с часами плохо,
мала
календарная мера,
мы говорим —
«эпоха»,
мы говорим —

«эра».

Мы

спим

ночь.

Днем

совершаем поступки.

Любим

свою толочь

воду

в своей ступке.

А если

за всех смог

направлять

потоки явлений,

мы говорим —

«пророк»,

мы говорим —

«гений».

У нас

претензий нет, —

не зовут —

мы и не лезем;

нравимся

своей жене,

и то

довольны донельзя.

Если ж,

телом и духом слит,

прет

на нас непохожий.

шпилим —
«царственный вид»,
удивляемся —
«дар божий».
Скажут так, —
и вышло
ни умно, ни глупо.
Повисят слова
и уплывут, как дымы.
Ничего
не выколупишь
из таких скорлупок.
Ни рукам,
ни голове не ощутимы.
Как же
Ленина
таким аршином мерить!
Ведь глазами
видел
каждый всяк —
«эра» эта
проходила в двери,
даже
головой
не задевая о косяк.
Неужели
про Ленина тоже:
"вождь
милостью божьей"?
Если б

был он
царствен и божествен,
я б
от ярости
себя не поберег,
я бы
стал бы
в перекоре шествий,
поклонениям
и толпам поперек.
Я б
нашел
слова
проклятья громоустого,
и пока
растоптан
я
и выкрик мой,
я бросал бы
в небо
богохульства,
по Кремлю бы
бомбами
метал:
долой!
Но тверды
шаги Дзержинского
у гроба.
Нынче бы
могла

с постов сойти Чека.
Сквозь миллионы глаз,
и у меня
сквозь оба,
лишь сосульки слез,
примерзшие
к щекам.

Богу
почести казенные
не новость.

Нет!
Сегодня
настоящей болью
сердце холодей.

Мы
хороним
самого земного
изо всех
прошедших
по земле людей.

Он земной,
но не из тех,
кто глазом
упирается
в свое кобыто.

Землю
всю
охватывая разом,
видел
то,

что временем закрыто.

Он, как вы

и я,

совсем такой же,

только,

может быть

у самых глаз

мысли

больше нашего

морщинам кожей,

да насмешливей

и тверже губы,

чем у нас.

Не сатрапья твердость,

триумфаторской коляской

мнущая

тебя,

подергивая вожжи.

Он

к товарищу

милел

людскою лаской.

Он

к врагу

вставал

железа тверже.

Знал он

слабости,

знакомые у нас,

как и мы,

перемогал болезни.

Скажем,
мне бильярд —
отрачиваю глаз,
шахматы ему —
они вождям полезней.

И от шахмат
перейдя
к врагу натурой,
в люди
выведа
вчерашних пешек строй,
становил
рабочей — человеческой диктатурой
над тюремной
капиталовой турой.

И ему
и нам
одно и то же дорого.

Отчего ж,
стоящий
от него поодаль,
я бы
жизнь свою,
глупея от восторга,
за одно б
его дыхание
отдал?!

Да не я один!

Да что я

лучше, что ли?!
Даже не позвать,
раскрыть бы только рот —
кто из вас
из сел,
из кожи вон,
из штолен
не шагнет вперед?!
В качке —
будто бы хватил
вина и горя лишку —
инстинктивно
хоронюсь
трамвайной сети.
Кто
сейчас
оплакал бы
мою смертишку
в трауре
вот этой
безграничной смерти!
Со знаменами идут,
и так.
Похоже —
стала
вновь
Россия кочевой.
И Колонный зал
дрожит,
насквозь прохожен.

Почему?
Зачем
и отчего?
Телеграф
охрип
от траурного гуда.
Слезы снега
с флажных
покрасневших век.
Что он сделал,
кто он
и откуда —
этот
самый человеческий человек?
Коротка
и до последних мгновений
нам
известна
жизнь Ульянова.
Но долгую жизнь
товарища Ленина
надо писать
и описывать заново.
Далеко давным,
годов за двести,
первые
про Ленина
восходят вести.
Слышите —
железный

и луженый,
прорезая
древние века, —
голос
прадеда
Бромлея и Гужона —
первого паровика?
Капитал
его величество,
некоронованный,
невенчаный объявляет
покоренной
силу деревенщины.
Город грабил,
греб,
грабастал,
глыбил
пуза касс,
а у станков
худой и горбастый
встал
рабочий класс.
И уже
грозил,
взвивая трубы за небо:
— Нами
к золоту
пути мостите.
Мы родим,
пошлем,

придет когда-нибудь
человек,
борец,
каратель,
мститель! —
И уже
смешались
облака и дымы,
будто
рядовые
одного полка.
Небеса
становятся двойными,
дымы
забивают облака.
Товары
растут,
меж нищими высясь.
Директор,
лысый черт,
пощелкал счетами,
буркнул:
«кризис!»
и вывесил слово
«расчет».
Крапило
сласти
мушиное сеево,
хлеб'а
зерном

в элеваторах портятся,
а под витринами
всех Елисеевых,
живот подведя,
плелась безработица.
И бурчало
у трущоб в утробе,
покрывая
детвориный плачик:
– Под работу,
под винтовку ль,
на —
ладони обе!
Приходи,
заступник
и расплатчик! —
Эй,
верблюды,
открыватель колоний!
Эй,
колонны стальных кораблей!
Марш
в пустыни
огня раскаленной!
Пеньте пену
бумаги белей!
Начинают
черным лататься
оазисы
пальмовых нег.

Вон
среди
золотистых плантаций
засеченный
вымычал негр:
– У-у-у-у-у,
У-у-у!
Нил мой, Нил!
Приплещи
и выплещи
черные дни!
Чтоб чернее были,
чем я во сне,
и пожар чтоб
крови вот этой красней.
Чтоб во всем этом кофе,
враз вскипелом,
вариться пузатым —
черным и белым.
Каждый
добытый
слоновий клык —
тык его в мясо,
в сердце тык.
Хоть для правнуков,
не зря чтоб
кровью литься,
выплыви,
заступник солнцелицей.
Я кончаюсь, —

бог смертей
пришел и поманил.
Помни
это заклинанье,
Нил,
мой Нил! —
В снегах России,
в бреду Патагонии
расставило
время
станки потогонные.
У Ив'анова уже
у Вознесенска
каменные туши
будоражат
выкрики частушек:
«Эх, завод ты мой, завод,
желтоглазина.
Время нового зовет
Стеньку Разина».
Внуки
спросят:
– Что такое капиталист? —
Как дети
теперь:
– Что это
г-о-р-о-д-о-в-о-й?.. —
Для внуков
пишу
в один лист

капитализма
портрет родовой.
Капитализм
в молодые года
был ничего,
деловой парнишка:
первый работал —
не боялся тогда,
что у него
от работ
засалится манишка.
Трико феодальное
ему тесно!

Лез
не хуже,
чем нынче лезут.
Капитализм
революциями
своей весной
расцвел
и даже
подпевал «Марсельезу».

Машину
он
задумал и выдумал.
Люди
и те – ей! Он
по вселенной
видимо-невидимо
рабочих расплодил

детей.
Он враз
и царства
и графства сжевал
с коронами их
и с орлами.
Встучнел,
как библейская корова
или вол,
облизывается.
Язык – парламент.
С годами
ослабла
мускулов сталь,
он раздобрел
и распух, такой же
с течением времени
стал,
как и его гроссбух.
Дворец возвел —
не увидишь такого!
Художник
– не один! —
по стенам поерзал,
Пол ампиристый,
потолок рококовый,
стенки —
Людовика XIV,
Каторза.
Вокруг,

с лицом,
что равно годится
быть и лицом
и ягодичей,
задолицая
полиция.
И краске
и песне
душа глуха,
как корове
цветы
среди луга.
Этика, эстетика
и прочая чепуха —
просто —
его
женская прислуга.
Его
и рай
и преисподняя —
распродает
старухам
дырки
от гвоздей
креста господня
и перо
хвоста
святого духа.
Наконец,
и он

перерос себя,
за него
работает раб.
Лишь наживая,
жря
и спя,
капитализм разбух
и обдряб.
Обдряб
и лег
у истории на пути
в мир,
как в свою кровать.
Его не объехать,
не обойти,
единственный выход —
взорвать!
Знаю,
лирик
скривится горько,
критик
ринется
хлыстиком выстегать:
— А где ж душа?!
Да это ж —
риторика!
Поэзия где ж?
Одна публицистика!! —
Капитализм —
неизящное слово,

куда изящней звучит —

«соловей»,

но я

возвращусь к нему

снова и снова.

Строку

агитаторским лозунгом взвей.

Я буду писать

и про то

и про это,

но нынче

не время

любовных ляс.

Я

всю свою

звонкую силу поэта

тебе отдаю,

атакующий класс.

Пролетариат —

неуклюже и узко

тому,

кому

коммунизм — западня.

Для нас

это слово —

могучая музыка,

могущая

мертвых

сражаться поднять.

Этажи

уже
заёжились, дрожа,
клич подвалов
подымается по этажам: —
Мы прорвемся
небесам
в распахнутую синь.
Мы пройдем
сквозь каменный колодец.
Будет.
С этих нар
рабочий сын —
пролетариатоводец. —
Им уже
земного шара мало.
И рукой,
отяжелевшей
от колец,
тянется
упитанная
туша капитала
ухватить
чужой горлец.
Идут,
железом
клацая и лацкая.
– Убивайте!
Двум буржуям тесно! —
Каждое село —
могила братская,

города —
завод протезный.
Кончилось —
столы
накрыли чайные.
Пирогом
победа на столе.
– Слушайте
могил чревовещание,
кастаньеты костылей!
Снова
нас
увидите
в военной яви.
Эту
время
не простит вину.
Он расплатится,
придет он
и объявит вам
и вашинской войне
войну! —
Вырастают
на земле
слезы озёра,
слишком
непролазны
крови топи.
И клонились
одиночки-фантазеры

над решением
немыслимых утопий.
Голову
об жизнь
разбили филантропы.
Разве
путь миллионам —
филантропов тропы?
И уже
бессилен
сам капиталист,
так его
машина размахалась, —
строй его
несет,
как пожелтелый лист,
кризисов
и забастовок х'аос. —
В чей карман
стекаем
золотую лавой?
С кем идти
и на кого пенять? —
Класс миллионоглавый
напрягает глаз —
себя понять.
Время
часы
капитала
крало,

побивая
прожекторов яркость.
Время
родило
брата Карла —
старший
ленинский брат
Маркс.
Маркс!
Встает глазам
седин портретных рама.
Как же
жизнь его
от представлений далека!
Люди
видят
замурованного в мрамор,
гипсом
холодеющего старика.
Но когда
революционной тропкой
первый
делали
рабочие
шажок,
о, какой
невероятной топкой
сердце Маркс
и мысль свою зажег!
Будто сам

в заводе каждом
стоя стоямя,
будто
каждый труд
размозоливая лично,
грабящих
прибавочную стоимость
за руку
поймал с поличным.
Где дрожали тельцем,
не вздымая глаз свой
даже
до пупа
биржевика-дельца,
Маркс
повел
разить
войною классовой
золотого,
до быка
доросшего тельца.
Нам казалось —
в коммунизмовы затоны
только
волны случая
закинут
нас
юля.
Маркс
раскрыл

истории законы,
пролетариат
поставил у руля.
Книга Маркса
не набора гранки,
не сухие
цифр столбцы —
Маркс
рабочего
поставил на ноги
и повел
колоннами
стройнее цифр.
Вел
и говорил: —
сражаясь, лягте,
дело —
корректур
выкладкам ума.
Он придет,
придет
великий практик,
поведет
полями битв,
а не бумага! —
Жерновами дум
последнее меля
и рукой
дописывая
восковой,

знаю,
Марксу
виделось
видение Кремля
и коммуны
флаг
над красною Москвой.
Назревали,
зрели дни,
как дыни,
пролетариат
взрослел
и вырос из ребят.
Капиталовы
отвесные твердыни
валом размывают
и дробят.
У каких-нибудь
годов
на расстоянии
сколько гроз
гудит
от нарастаний.
Завершается
восстанием
гнева нарастание,
нарастают
революции
за вспышками восстаний.
Крут

буржуев
озверевший норов.
Тьерами растерзанные,
воя и стеная,
тени прадедов,
парижских коммунаров,
и сейчас
вопят
парижскою стеною:
– Слушайте, товарищи!
Смотрите, братья!
Горе одиночкам —
выучьтесь на нас!
Сообща взрывайте!
Бейте партией!
Кулаком
одним
собрал
рабочий класс. —
Скажут:
«Мы вожди»,
а сами —
шаркунами?
За речами
шкуру
распознать умей!
Будет вождь
такой,
что мелочами с нами —
хлеба проще,

рельс прямой.
Смесью классов,
вер,
сословий
и наречий
на рублях колес
землища двигалась.
Капитал
ежом противоречий
рос всюду
и креп,
штыками иглясь.
Коммунизма
призрак
по Европе рыскал,
уходил
и вновь
маячил в отдаленьи...
По всему по этому
в глуши Симбирска
родился
обыкновенный мальчик
Ленин.

* * *

Я знал рабочего.
Он был безграмотный.
Не разжевал
даже азбуки соль.

Но он слышал,
как говорил Ленин,
и он
знал – всё.
Я слышал
рассказ
крестьянина-сибирца.
Отбрали,
отстояли винтовками
и раем
разделили селеньице.
Они не читали
и не слышали Ленина,
но это
были ленинцы.
Я видел горы —
на них
и куст не рос.
Только
тучи
на скалы
упали ничком.
И на сто верст
у единственного горца
лохмотья
сияли
ленинским значком.
Скажут —
это
о булавах ахи.

Барышни их
вкалывают
из кокетливых причуд.
Не булавка вколота —
значком
прожгло рубахи
сердце,
полное
любовью к Ильичу.
Этого
не объяснишь
церковными славянскими крюками,
и не бог
ему
велел —
избранник будь!
Шагом человеческим,
рабочими руками,
собственно головой
прошел он
этот путь.
Сверху
взгляд
на Россию брось —
рассинелась речками,
словно
разгулялась
тысяча розг, словно
плетью исполосована.
Но синей,

чем вода весной,
синяки
Руси крепостной.
Ты
с боков
на Россию глянь —
и куда
глаза ни кинь,
упираются
небу всклянь
горы,
каторги
и рудники.
Но и каторг
больнее была
у фабричных станков
кабала.
Были страны
богатые более,
красивее видал
и умней.
Но земли
с еще большей болью
не довиделось
видеть
мне.
Да, не каждый
удар
сотрешь со щеки.
Крик крепчал:

– Подымайтесь
за землю и волю вы! —
И берутся
бунтовщики-одиночки
за бомбу
и за револьвер.
Хорошо
в царя
вогнуть обойму!
Ну, а если
только пыль
взметнешь у колеса?!
Подготовщиком
цареубийства
пойман
брат Ульянова,
народоволец
Александр.
Одного убьешь —
другой
во весь свой пыл
пытками
ушедших
переплюнуть тужится.
И Ульянов
Александр
повешен был
тысячным из шлиссельбуржцев.
И тогда
сказал

Ильич семнадцатигодовый —
это слово
крепче клятв
солдатом поднятой руки: —
Брат,
мы здесь
тебя сменить готовы,
победим,
но мы
пойдем путем другим! —
Оглядите памятники —
видите
героев род вы?
Станет Гоголем,
а ты
венком его величь.
Не такой —
чернорабочий,
ежедневный подвиг
на плечи себе
взвалил Ильич.
Он вместе,
учит в кузничной пасти,
как быть,
чтоб зарплата
взросла пятаком.
Что делать,
если
дерется мастер.
Как быть,

чтоб хозяин
поил кипятком.
Но не мелочь
целью в конце:
победив,
не стой так
над одной
сметённой лужею.
Социализм – цель.
Капитализм – враг.
Не веник —
винтовка оружие.
Тысячи раз
одно и то же
он вбивает
в тугой слух,
а назавтра
друг в друга вложит
руки
понявших двух.
Вчера – четыре,
сегодня – четыреста.
Таимся,
а завтра
в открытую встанем,
и эти
четыреста
в тысячи вырастут.
Трудящихся мира
подыдем восстанием.

Мы уже
не тише вод,
травинок ниже —
гнев трудящихся
густится в туче.
Режет
молниями
Ильичевых книжек.
Сыпет
градом
прокламаций и летучек.
Бился
об Ленина
темный класс,
тёк
от него
в просветленьи,
и, обданный
силой
и мыслями масс,
с классом
рос
Ленин.
И уже
превращается в быль то,
в чем юношей
Ленин клялся:
— Мы
не одиночки,
мы —

союз борьбы
за освобождение
рабочего класса. —
Ленинизм идет
все далее
и более вширь
учениками
Ильичевой выверки.
Кровью
вписан
героизм подполья
в пыль
и в слякоть
бесконечной Володимирки.
Нынче
нами
шар земной заверчен.
Даже
мы,
в кремлевских креслах если, —
скольким
вдруг
из-за декретов Нерчинск
кандалами
раззвенится в кресле!
Вам
опять
напомню птичий путь я.
За волчком —
трамваев

электрическая рысь.

Кто

из вас

решетчатые прутья

не царапал

и не грыз?!
Лоб

разбей

о камень стенки тесной —

за тобою

смыли камеру

и замели.

«Служил ты недолго, но честно

на благо родимой земли».

Полюбилась Ленину

в какой из ссылок

этой песни

траурная сила?

Говорили —

мужичок

своей пойдет дорогой,

заведет

социализм

бесхитростен и прост.

Нет,

и Русь

от труб

становится стор'огой.

Город

дымной бородой оброс.

Не попросят в рай —
пожалуйста,
войдите —
через труп буржуазии
коммунизма шаг.
Ста крестьянским миллионам
пролетариат водитель.
Ленин —
пролетариев вожак.
Понаобещает либерал
или эсерик прыткий,
сам охочий до рабочих шей, —
Ленин
фразочки
с него
пооборвет до нитки,
чтоб из книг
сиял
в дворянском нагише.
И нам
уже
не разговорцы досужие,
что-де свобода,
что люди братья, —
мы
в Марксовом всеоружии
одна
на мир
большевистская партия.
Америку

пересекаешь
в экспрессном купе,
идешь Чухломой —
тебе
в глаза
вонзается теперь
РКП
и в скобках
маленькое «б».
Теперь
на Марсов
охотится Пулково,
перебирая
небесный ларчик.
Но миру
эта
строчная буква
в сто крат красней,
грандиозней
и ярче.
Слова
у нас
до важного самого
в привычку входят,
ветшают, как платье.
Хочу
сией заставить заново
величественнейшее слово
«ПАРТИЯ».
Единица!

Кому она нужна?!
Голос единицы
тоньше писка.
Кто ее услышит? —
Разве жена!
И то
если не на базаре,
а близко.
Партия —
это
единый ураган,
из голосов спрессованный
тихий и тонких,
от него
лопаются
укрепления врага,
как в канонаду
от пушек
перепонки.
Плохо человеку,
когда он один.
Горе одному,
один не воин —
каждый дюжий
ему господин,
и даже слабые,
если двое.
А если
в партию
сгрудились малые —

сдайся, враг,
замри
и ляг!
Партия —
рука миллионопалая,
сжатая
в один
громящий кулак.
Единица – вздор,
единица – ноль,
один —
даже если
очень важный —
не подымет
простое
пятивершковое бревно,
тем более
дом пятиэтажный.
Партия —
это
миллионов плечи,
друг к другу
прижатые туго.
Партией
стройки
в небо взмечем,
держа
и вздымая друг друга.
Партия —
спинной хребет рабочего класса.

Партия —
бессмертие нашего дела.
Партия – единственное,
что мне не изменит.
Сегодня приказчик,
а завтра
царства стираю в карте я.
Мозг класса,
дело класса,
сила класса,
слава класса —
вот что такое партия.
Партия и Ленин —
близнецы-братья —
кто более
матери-истории ценен?
Мы говорим Ленин,
подразумеваем —
партия,
мы говорим
партия,
подразумеваем —
Ленин.
Еще
горой
коронованные главы,
и буржуи
чернеют,
как вороны в зиме,
но уже

горение
рабочей лавы
по кратеру партии
рвется из-под земель.
Девятое января.
Конец гапонщины.
Падаем,
царским свинцом косимы.
Бредня
о милости царской
прикончена
с бойней Мукденской,
с треском Цусимы.
Довольно!
Не верим
разговорам посторонним.
Сами
с оружием
встали пресненцы.
Казалось —
сейчас
покончим с троном,
за ним
и буржуево
кресло треснет.
Ильич уже здесь.
Он изо дня н'а день
проводит
с рабочими
пятый год.

Он рядом
на каждой стоит баррикаде,
ведет
всего восстания ход.
Но скоро
прошла
лукавая вестийка —
«свобода».
Бантики люди надели,
царь
на балкон
выходил с манифестиком.
А после
«свободной»
медовой недели
речи,
банты
и пения плавные
пушечный рев
покрывает басом:
по крови рабочей
пустился в плавание
царев адмирал,
каратель Дубасов.
Плюнем в лицо
той белой слякоти,
сюсюкающей
о зверствах Чека!
Смотрите,
как здесь,

связавши за локти,
рабочих насмерть
секли по щекам.
Зверела реакция.
Интеллигентчики
ушли от всего
и всё изгадили.
Заперлись дома,
достали свечки,
ладан курят —
богоискатели.
Сам заскулил
товарищ Плеханов:
– Ваша вина,
запутали, братцы!
Вот и пустили
крови лохани!
Нечего
зря
за оружие браться. —
Ленин
в этот скулеж недужный
врезал голос
бодрый и зычный:
– Нет,
за оружие
братья нужно,
только более
решительно и энергично.
Новых восстаний вижу день я.

Снова подымется
рабочий класс.
Не защита —
нападение
стать должно
лозунгом масс. —
И этот год
в кровавой пене
и эти раны
в рабочем стане
покажутся
школой
первой ступени
в грозе и буре
грядущих восстаний.
И Ленин
снова
в своем изгнании
готовит
нас
перед новой битвой.
Он учит
и сам вбирает знание,
он партию
вновь
собирает разбитую.
Смотри —
забастовки
вздымают год,
еще —

и к восстанию сумеешь сдвинуться ты.

Но вот из лет

подымается

страшный четырнадцатый.

Так пишут —

солдат-де

раскурит трубку,

балакать пойдет

о походах древних,

но эту

всемирнейшую мясорубку

к какой приравнять

к Полтаве,

к Плевне?!

Империализм

во всем оголении —

живот наружу,

с вставными зубами,

и море крови

ему по колени —

сжирает страны,

вздымая штыками.

Вокруг него

его подхалимы —

патриоты —

приспособились Вовы —

пишут,

руки предавшие вымыв: —

Рабочий,

дерись

до последней крови! —
Земля —
горой
железного лома,
а в ней
человечья
рвань и рваль.
Среди
всего сумасшедшего дома
трезвый
встал
один Циммервальд.
Отсюда
Ленин
с горсточкой товарищей
встал над миром
и поднял над
мысли
ярче
всякого пожараща,
голос
громче
всех канонад.
Оттуда —
миллионы
канонадою в уши,
стотысячесабельной
конницы бег,
отсюда,
против

и сабель и пушек, —
скуластый
и лысый
один человек.

– Солдаты!

Буржуи,
предав и продав,
к туркам шлют,
за Верден,
на Двину.

Довольно!

Превратим
войну народов
в гражданскую войну!

Довольно
разгромов,
смертей и ран,
у наций
нет
никакой вины.

Против
буржуазии всех стран подыдем
знамя

гражданской войны! —

Думалось:

сразу
пушка-печка
чихнет огнем
и сдунет гнилью,
потом поди,

ищи человечка,
поди,
вспоминай его фамилию.
Глоткой орудий,
шипевших и вывших,
друг другу
страны
орут —
на колени!
Додрались,
и вот
никаких победивших —
один победил
товарищ Ленин.
Империализма прорва!
Мы
истощили
терпенье ангельское.
Ты
восставшею
Россией прорвана
от Тавриза
и до Архангельска.
Империя —
это тебе не к'ура!
Клювастый орел
с двухглавою властью.
А мы,
как докуренный окурок,
просто

сплюнули
их династью.
Огромный,
покрытый кровавою ржою,
народ,
голодный и голоштаный,
к Советам пойдет
или будет
буржую таскать,
как и встарь,
из огня каштаны? —
Народ
разорвал
оковы царьи,
Россия в буре,
Россия в грозе, —
читал
Владимир Ильич
в Швейцарии,
дрожа,
волнуясь
над кипой газет.
Но что
по газетным узнаешь ключьям?
На аэроплане
прорваться б ввысь,
туда,
на помощь
к восставшим рабочим, —
одно желанье,

единая мысль.

Поехал,
покорный партийной воле,
в немецком вагоне,
немецкая пломба.
О, если бы
знал
тогда Гогенцоллерн,
что Ленин
и в их монархию бомба!
Питерцы
всё еще
всем на радость
лобзались,
скакали детишками малыми,
но в красной ленточке,
слегка припарадясь,
Невский
уже
кишел генералами.
За шагом шаг —
и дойдут до точки,
дойдут
и до полицейского свиста.
Уже
начинают
казать коготочки
буржуи
из лапок своих пушистых.
Сначала мелочь —

вроде мальков.
Потом повзрослев —
от шпротов до килечек.
Потом Дарданельский
в девичестве Милюков,
за ним
с коронацией
прет Михайльчик.
Премьер
не власть —
вышивание гладью!
Это
тебе
не грубый нарком.
Прямо девушка —
иди и гладь ее!
Истерики закатывает,
поет тенорком.
Еще
не попало
нам
и росинки
от этих самых
февральских свобод,
а у оборонцев —
уже хворостинки —
«марш, марш на фронт,
рабочий народ».
И в довершение
пейзажа славненького,

нас предававшие
и до
и потом,
вокруг
сторожами
эсеры да Савинковы,
меньшевики —
ученым котом.
И в город,
уже
заплывающий салом,
вдруг оттуда,
из-за Невы,
с Финляндского вокзала
по Выборгской
загрохотал броневик.
И снова
ветер
свежий, крепкий валы
революции
поднял в пене.
Литейный
залили
блузы и кепки.
«Ленин с нами!
Да здравствует Ленин!»
— Товарищи! —
и над головами
первых сотен вперед
ведущую

руку выставил.
– Сбросим
эсдечества
обветшавшие лохмотья.
Долой
власть
соглашателей и капиталистов!
Мы —
голос
воли низа,
рабочего низа
всего света.
Да здравствует
партия,
строящая коммунизм,
да здравствует
восстание
за власть Советов! —
Впервые
перед толпой обалделой
здесь же,
перед тобою,
близ,
встало,
как простое
делаемое дело,
недосягаемое слово —
«социализм».
Здесь же,
из-за заводов гудящих,

сияя горизонтом
во весь свод,
встала
завтрашняя
коммуна трудящихся —
без буржуев,
без пролетариев,
без рабов и господ.
На толщ
окрутивших
соглашательских веревок
слова Ильича
ударами топора.
И речь
прерывало
обвалами рева:
«Правильно, Ленин!
Верно!
Пора!»
Дом
Кшесинской,
за дрыгоножество
подаренный,
нынче —
рабочая блузница.
Сюда течет
фабричное множество,
здесь
закаляется
в ленинской кузнице.

«Ешь ананасы,
рябчиков жуй,
день твой последний
приходит, буржуй».
Уж лезет
к сидящим
в хозяйском стуле —
как живете
да что жуете?
Примериваясь,
в июле
за горло потрогали
и за животик.
Буржуевы зубья
ощерились разом. —
Раб взбунтовался!
Плетями,
да в кровь его! —
И ручку
Керенского
водят приказом —
на мушку Ленина!
И партия
снова
ушла в подполье.
Ильич на Разливе,
Ильич в Финляндии.
Но ни чердак,
ни шалаш,
ни поле вождя

не дадут
озверелой банде их.
Ленина не видно,
но он близ.
По тому,
работа движется как,
видна
направляющая
ленинская мысль,
видна
ведущая
ленинская рука.
Словам Ильичевым —
лучшая почва:
падают,
сейчас же
дело растя,
и рядом
уже
с плечом рабочего —
плечи
миллионов крестьян.
И когда
осталось
на баррикады выйти,
день наметив
в ряду недель,
Ленин
сам
явился в Питер: —

Товарищи,
довольно тянуть канитель!
Гнет капитала,
голод-уродина,
войн бандитизм,
интервенция в'орья —
будет! —
покажутся
белее родинок
на теле бабушки,
древней истории. —
И оттуда,
на дни
оглядываясь эти,
голову
Ленина
взвидишь сперва.
Это
от рабства
десяти тысячелетий
к векам
коммуны
сияющий перевал.
Пройдут
года
сегодняшних тягот,
летом коммуны
согреет лета,
и счастье
сластью

огромных ягод
дозреет
на красных
октябрьских цветах.
И тогда
у читающих
ленинские веления,
пожелтевших
декретов
перебирая листки,
выступят
слезы,
выведенные из употребления,
и кровь
волнением
ударит в виски.
Когда я
итожу
то, что прожил,
и роюсь в днях —
ярчайший где,
я вспоминаю
одно и то же —
двадцать пятое,
первый день.
Штыками
тычется
чирканье молний,
матросы
в бомбы

играют, как в мячики.
От гуда
дрожит
взбудораженный Смольный.
В патронных лентах
внизу пулеметчики.
– Вас
вызывает
товарищ Сталин.
Направо
третья,
он там.
– Товарищи,
не останавливаться!
Чего стали?
В броневики
и на почтамт!
– Есть! —
повернулся
и скрылся скоро,
и только
на ленте
у флотского
под лампой
блеснуло —
«Аврора».
Кто мчит с приказом,
кто в куче спорящих,
кто щелкал
затвором

на левом колене.
Сюда
с того конца коридорища
бочком
пошел
незаметный Ленин.
Уже
Ильичей
поведенные в битвы,
еще
не зная
его по портретам,
толкались,
орали,
острее бритвы
солдаты друг друга
крыли при этом.
И в этой желанной
железной буре
Ильич,
как будто
даже заспанный,
шагал,
становился
и глаз, сощурия,
вонзал,
заложивши
руки за спину.
В какого-то парня
в обмотках,

лохматого,
уоставил
без промаха бьющий глаз,
как будто
сердце
с-под слов выматывал,
как будто
душу
тащил из-под фраз.
И знал я,
что все
раскрыто и понято
и этим
глазом
наверное выловится —
и крик крестьянский,
и вопли фронта,
и воля нобельца,
и воля путиловца.
Он
в черепе
сотней губерний ворочал,
людей
носил
до миллиардов полутора.
Он
взвешивал
мир
в течение ночи, а утром:
—Всемир!

Всем!

Всем это – фронтам,

кровью пьяным,

рабам

всякого рода,

в рабство

богатым отданным. —

Власть Советам!

Земля крестьянам!

Мир народам!

Хлеб голодным! —

Буржуи

прочли

– погодите,

выловим, —

животики пятят

доводом веским —

ужо им покажут

Духонин с Корниловым,

покажут ужо им

Гучков с Кер'енским.

Но фронт

без боя

слова эти взяли —

деревня

и город

декретами залит,

и даже

безграмотным

сердце прожег.

Мы знаем,
не нам,
а им показали,
какое такое бывает
«ужо».

Переходило
от близких к ближним,
от ближних
дальним взрывало сердца:
«Мир хижинам, война,
война,
война дворцам!»

Дрались
в любом заводе и цехе,
горохом
из городов вытряхивали,
а сзади
шаганье октябрьское
метило вехи
пылающих
дворянских усадеб.
Земля —
подстилка под ихними порками,
и вдруг
ее,
как хлебища в узел,
со всеми ручьями ее
и пригорками
крестьянин взял
и зажал, закорузел.

В очках
манжетчики,
злостью похаркав,
ползли туда,
где царство да графство.
Дорожка скатертью!
Мы и кухарку
каждую
выучим
управлять государством!
Мы жили
пока
производством ротаций.
С окопов
летело
в немецкие уши:
– Пора кончать!
Выходите брататься! —
И фронт
расползлся
в улитки теплушек.
Такую ли
течь
загородите горстью?
Казалось —
наша лодчонка кренится —
Вильгельмов сапог,
Николаева шпористой,
сотрет
Советской страны границы.

Пошли эсеры
в плащах распашонкой,
ловили бегущих
в свое словоблудьище,
тащили
по-рыцарски
глупой шпажонкой
красиво
сразить
броневые чудища!
Ильич
петушившимся
крикнул:
– Ни с места!
Пусть партия
взвалит
и это бремя.
Возьмем
передышку похабного Бреста.
Потеря – пространство,
выигрыш – время. —
Чтоб не передохнуть
нам
в передышку,
чтоб знал —
запомнят удары мои,
себя
не муштровкой —
сознанием вышколи,
стройся

рядами
Красной Армии.
Историки
с гидрой плакаты выдерут
– чи эта гидра была,
чи нет? —
а мы
знавали
вот эту гидру
в ее
натуральной величине.
«Мы смело в бой пойдем
за власть Советов
и, как один, умрем
в борьбе за это!»
Деникин идет.
Деникина выкинут,
обрушенный пушкой
подымут очаг.
Тут Врангель вам —
на смену Деникину.
Барона уронят —
уже Колчак.
Мы жрали кору,
ночевка – болотце,
но шли
миллионами красных звезд,
и в каждом – Ильич,
и о каждом заботится
на фронте

в одиннадцать тысяч верст.
Одиннадцать тысяч верст
окружность,
а сколько
вдоль да поперек!
Ведь каждый дом
атаковывать нужно,
каждый
врага
в подворотнях берег.
Эсер с монархистом
шпионят бессонно —
где жалят змеей,
где рубят сплеча.
Ты знаешь
путь
на завод Михельсона?
Найдешь
по крови
из ран Ильича.
Эсеры
целят
не очень верно —
другим концом
да себя же
в бровь.
Но бомб страшнее
и пуль револьверных
осада голода,
осада тифов.

Смотрите —
кружат
над крошками мушки,
сытней им,
чем нам
в осьмнадцатом году, —
простаивали
из-за осьмушки сутки
в улице
на холоду.

Хотите сажайте,
хотите травите —
завод за картошку —
кому он не жалок!
И десятикорпусный
судостроитель пыхтел
и визжал
из-за зажигалок.

А у кулаков
и масло и пышки.
Расчет кулаков
простой и верненький —
запрячь хлеба
да зарой в кубышки
николаевки
да к'еренки.

Мы знаем —
голод
сметает начисто,
тут нужен зажим,

а не ласковость воска,
и Ленин
встает
сражаться с кулачеством
и продотрядами
и подразверсткой.
Разве
в этокое время
слово «демократ»
набрeдет
какой головке дурьей?!
Если бить,
так чтоб под ним
панель была мокра:
ключ побед —
в железной диктатуре.
Мы победили,
но мы
в пробоинах:
машина стала,
обшивка —
лохмотья.
Валы обломков!
Лохмотьев обoйных!
Идите залейте!
Возьмите и смойте!
Где порт?
Маяки
поломались в порту,
кренимся,

мачтами
волны крестя!
Нас опрокинет —
на правом борту
в сто миллионов
груз крестьян.
В восторге враги
заливаются воя,
но так
лишь Ильич умел и мог —
он вдруг
повернул
колесо рулевое сразу
на двадцать румбов вбок.
И сразу тишь,
дивящая даже;
крестьяне
подвозят
к пристани хлеб.
Обычные вывески
– купля —
– продажа —
– нэп.
Прищурился Ленин:
– Чинитесь пока чего,
аршину учись,
не научишься —
плох. —
Команду
усталую

берег покачивал.
Мы к буре привыкли,
что за подвох?
Залив
Ильичем
указан глубокий
и точка
смычки-причала
найдена,
и плавно
в мир,
строительству в доки,
вошла
Советских республик громадина.
И Ленин
сам
где железо,
где дерево носил
чинить
пробитое место.
Стальными листами
вздымал
и примеривал
кооперативы,
лавки
и тресты.
И снова
становится
Ленин штурман,
огни по бортам,

вперед и сзади.
Теперь
от бордажей и штурма
мы
перейдем
к трудовой осаде.
Мы
отошли,
рассчитавши точно.
Кто разложился —
на берег
за ворот.
Теперь вперед!
Отступленья окончено.
РКП,
команду на борт!
Коммуна – столетия,
что десять лет для ней?
Вперед —
и в прошлом
скроется нэпчик.
Мы двинемся
во сто раз медленней,
зато
в миллион
прочней и крепче.
Вот этой
мелкобуржуазной стихии
еще
колышется

мертвая зыбь,
но, тихие
тучи
молнией выев,
уже —
нарастање
всемирной грозы.
Враг
сменяет
врага поределого,
но будет —
над миром
зажжем небеса —
но это
уже
полезней проделывать,
чем
об этом писать.
Теперь,
если пьете
и если едите,
на общий завод ли
идем
с обеда,
мы знаем —
пролетариат – победитель,
и Ленин —
организатор победы.
От Коминтерна
до звонких копеек,

серпом и молотом
в новой меди,
одна
неписаная эпопея —
шагов Ильича
от победы к победе.
Революции —
тяжелые вещи,
один не подынешь —
согнется нога.
Но Ленин
меж равными
был первейший
по силе воли,
ума рычагам.
Подымаются страны
одна за одной —
рука Ильича
указывала верно:
народы —
черный,
белый
и цветной —
становятся
под знамя Коминтерна.
Столпов империализма
непреклонные колонны —
буржуи
пяти частей света,
вежливо

приподымая
цилиндры и короны,
кланяются
Ильичевой Республике Советов.
Нам
не страшно
усилие ничье,
мчим
вперед
паровозом труда...
и вдруг
стопудовая весть —
с Ильичем
удар.

* * *

Если бы
выставить в музее
плачущего большевика,
весь день бы
в музее
торчали ротозеи.
Еще бы —
такое
не увидишь и в века!
Пятиконечные звезды
выжигали на наших спинах
панские воеводы.
Живьем,

по голову в землю,
закапывали нас банды
Мамонтова.

В паровозных топках
сжигали нас японцы.
рот заливали свинцом и оловом.

отрекитесь! – ревели,

но из

горящих глоток

лишь три слова:

– Да здравствует коммунизм! —

Кресло за креслом,

ряд в ряд

эта сталь

железо это

вваливалось

двадцать второго января

в пятиэтажное здание

Съезда Советов.

Усаживались,

кидались усмешкою,

решали

походя

мелочь дел.

Пора открывать!

Чего они мешкают?

Чего

президиум,

как вырубленный,

поредел?

Отчего
глаза
краснее ложи?
Что с Калининым?
Держится еле.
Несчастье?
Какое?
Быть не может?
А если с ним?
Нет!
Неужели?
Потолок
на нас
пошел снижаться вороном.
Опустили головы —
еще нагни!
Задрожали вдруг
и стали черными
люстр расплывшихся огни.
Захлебнулся
клокольчика ненужный щелк.
Превозмог себя
и встал Калинин.
Слезы не сжуешь
с усов и щек.
Выдали.
Блестят у бороды на клине.
Мысли смешались,
голову мнут.
Кровь в виски,

клокочет в вене:

– Вчера

в шесть часов пятьдесят минут
скончался товарищ Ленин!

Этот год

видал,

чего не взвидят сто.

День

векам

войдет

в тоскливое преданье.

Ужас

из железа

выжал стон.

По большевикам

прошло рыданье.

Тяжесть страшная!

Самих себя же

выволакивали

волоком.

Разузнать —

когда и как?

Чего таят!

В улицы

и в переулки

катафалком

плыл

Большой театр.

Радость

ползет улиткой.

У горя
бешеный бег.
Ни солнца,
ни льдины слитка —
всё
сквозь газетное ситко
черный
засеял снег.
На рабочего
у станка
весть набросилась.
Пулей в уме.
И как будто
слезы стакан
опрокинули на инструмент.
И мужичонко,
видавший виды,
смерти
в глаз
смотревший не раз,
отвернулся от баб,
но выдала
кулаком
растертая грязь.
Были люди – кремень,
и эти
прикусились,
губу уродуя.
Стариками
рассерезничались дети,

и, как дети,
плакали седобородые.
Ветер
всей земле
бессонницею выл,
и никак
восставшей
не додумать до конца.
что вот гроб
в морозной
комнатеночке Москвы
революции
и сына и отца.
Конец,
конец,
конец.
Кого
уверять!
Стекло —
и видите под...
Это
его
несут с Павелецкого
по городу,
взятому им у господ.
Улица,
будто рана сквозная —
так болит
и стонет так.
Здесь

каждый камень
Ленина знает
по топоту
первых
октябрьских атак.
Здесь
всё,
что каждое знамя
вышило,
задумано им
и велено им.
Здесь
каждая башня
Ленина слышала,
за ним
пошла бы
в огонь и в дым.
Здесь
Ленина
знает
каждый рабочий,
сердца ему
ветками елок стели.
Он в битву вел,
победу пророчил,
и вот
пролетарий —
всего властелин.
Здесь
каждый крестьянин

Ленина имя
в сердце
вписал
любовней, чем в святцы.
Он земли
велел
назвать своими,
что дедам
в гробах,
засеченным, снятся.
И коммунары
с-под площади Красной,
казалось,
шепчут:
– Любимый и милый!
Живи,
и не надо
судьбы прекрасней —
сто раз сразимся
и ляжем в могилы! —
Сейчас
прозвучали б
слова чудотворца,
чтоб нам умереть
и его разбудят, —
плотина улиц
враспашку растворится,
и с песней
на смерть
ринутся люди.

Но нету чудес,
и мечтать о них нечего.
Есть Ленин,
гроб
и согнутые плечи.
Он был человек
до конца человеческого —
неси
и казись
тоской человеческой.
Вовек
такого
бесценного груза
еще
не несли
океаны наши,
как гроб этот красный,
к Дому Союзов
плывущий
на спинах рыданий и маршей.
Еще
в караул
вставала в почетный
суровая гвардия
ленинской выправки,
а люди
уже
прожидают, впечатаны
во всю длину
и Тверской

и Димитровки.
В семнадцатом
было —
в очередь дочери
за хлебом не вышлешь —
завтра съем!
Но в эту
холодную,
страшную очередь
с детьми и с больными
встали все.
Деревни
строились
с городом рядом.
То мужеством горе,
то детскими вызвенит.
Земля труда
проходила парадом —
живым
итогом
ленинской жизни.
Желтое солнце,
косое и лаковое.
взойдет,
лучами к подножью кидается.
Как будто
забитые,
надежду оплакивая,
склоняясь в горе,
проходят китайцы.

Вплывали
ночи
на спинах дней,
часы меняя,
путая даты.
Как будто
не ночь
и не звезды на ней,
а плачут
над Лениным
негры из Штатов.
Мороз небывалый
жарил подошвы.
А люди
днюют
давкою тесной.
Даже
от холода
бить в ладоши
никто не решается —
нельзя,
неуместно.
Мороз хватает
и тащит,
как будто
пытает,
насколько в любви закаленные.
Врывается в толпы.
В давку запутан,
вступает

вместе с толпой за колонны.

Ступени растут,
разрастаются в риф.

Но вот
затихает
дыханье и пенье,
и страшно ступить —
под ногою обрыв —
бездонный обрыв
в четыре ступени.

Обрыв
от рабства в сто поколений,
где знают
лишь золота звонкий резон.

Обрыв
и край —
это гроб и Ленин,
а дальше —
коммуна
во весь горизонт.

Что увидишь?!
Только лоб его лишь,
и Надежда Константиновна
в тумане
за...

Может быть,
в глаза без слез
увидеть можно больше.

Не в такие
я

смотрел глаза.

Знамен

плывущих

склоняется шелк

последней

почестью отданной:

"Прощай же, товарищ

ты честно прошел

свой доблестный путь, благородный".

Страх.

Закрой глаза

и не гляди —

как будто

идешь

по проволоке провода.

Как будто

минуту

один на один

остался

с огромной

единственной правдой.

Я счастлив.

Звнящего марша вода

относит

тело мое невесомое.

Я знаю —

отныне

и навсегда

во мне

минута

эта вот самая.
Я счастлив,
что я
этой силы частица,
что общие
даже слезы из глаз.
Сильнее
и чище
нельзя причаститься
великому чувству
по имени —
класс!
Знамённые
снова
склоняются крылья,
чтоб завтра
опять
подняться в бои —
"Мы сами, родимый, закрыли
орлиные очи твои".
Только б не упасть,
к плечу плечо,
флаги вычернив
и веками алая,
на последнее
прощание с Ильичем
шли
и медлили у Мавзолея.
Выполняют церемониал.
Говорили речи.

Говорят – и ладно.
Горе вот,
что срок минуты
мал —
разве
весь
охватишь ненаглядный!
Пройдут
и наверх
смотрят с опаской,
на черный,
посыпанный снегом кружок.
Как бешено
скачут
стрелки на Спасской.
В минуту —
к последней четверке прыжок.
Замрите
минуту
от этой вести!
Остановись,
движение и жизнь!
Поднявшие молот,
стыньте на месте.
Земля, замри,
ложись и лежи!
Безмолвие.
Путь величайший окончен.
Стреляли из пушки,
а может, из тыщи.

И эта
пальба
казалась не громче,
чем мелочь,
в кармане бренчащая —
в нищем.
До боли
раскрыл
убогое зрение,
почти заморожен,
стою не дыша.
Встает
предо мной
у знамен в озарении
темный
земной
неподвижный шар.
Над миром гроб,
неподвижен и нем.
У гроба —
мы,
людей представители,
чтоб бурей восстаний,
дел и поэм
размножить то,
что сегодня видели.
Но вот
издалёка,
оттуда,
из алого

в мороз,
в караул умолкнувший наш,
чей-то голос —
как будто Муралова —
«Шагом марш».
Этого приказа
и не нужно даже —
реже,
ровнее,
тверже дыша,
с трудом
отрывая
тело-тяжесть,
с площади
вниз
вбиваем шаг.
Каждое зная
твердыми руками
вновь
над головою
взвито ввысь.
Топота потоп,
сила кругами,
ширясь,
расходится
миру в мысль.
Общая мысль
воедино созвеньена
рабочих,
крестьян

и солдат-рубак:
– Трудно
будет
республике без Ленина.
Надо заменить его —
кем?
И как?
Довольно
валяться
на перине клоповой!
Товарищ секретарь!
На тебе —
вот —
просим приписать
к ячейке еркаповой
сразу,
коллективно,
весь завод... —
Смотрят
буржуи,
глазки раскоряча,
дрожат
от топота крепких ног.
Четыреста тысяч
от станка
горячих —
Ленину
первый
партийный венок.
– Товарищ секретарь,

Бери ручку...
Говорят – заменим...
Надо, мол...
Я уже стар —
берите внучика,
не отстает —
подай комсомол. —
Подшефный флот,
подымай якоря,
в море
пора
подводным кротам.
"По морям,
по морям,
нынче здесь,
завтра там".
Выше, солнце!
Будешь свидетель —
скорей
разглаживай траур у рта.
В ногу
взрослым
вступают дети —
тра-та-та-та-та
та-та-та-та.
"Раз,
два,
три!
Пионеры мы.
Мы фашистов не боимся,

пойдем на штыки".
Напрасно
кулак Европы задран.
Кроем их грохотом.
Назад!
Не смей!
Стала
величайшим
коммунистом-организатором
даже
сама
Ильичева смерть.
Уже
над трубами
чудовищной рощи,
руки
миллионов
сложив в древко,
красным знаменем
Красная площадь
вверх
вздымается
страшным рывком.
С этого знамени,
с каждой складки
снова
живой
взывает Ленин:
– Пролетарии,
стройтесь

к последней схватке!
Рабы,
разгибайте
спины и колени!
Армия пролетариев,
встань стройна!
Да здравствует революция,
радостная и скорая!
Это —
единственная
великая война
из всех,
какие знала история.

1924

ЛЕТАЮЩИЙ ПРОЛЕТАРИЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

В «Правде»
пишется правда.
В «Известиях» —
известия.
Факты.
Хоть возьми
да положи на стол.
А поэта
интересует
и то,
что будет через двести
лет
или —
через сто.

I ВОЙНА, КОТОРАЯ БУДЕТ СЕЙЧАС

Когда
перелистываем
газетный лист мы,
перебираем
новости

заграницы болотной,
натыкаемся —
выдумали
ученые империалистовы:
то газ,
то луч,
то самолет беспилотный.
Что им,
куриная судьба горька?
Человечеству
помогают,
лучи скрестя?
Нет —
с поднебесья
новый аркан
готовят
на шеи
рабочих и крестьян.
Десятилетие
страницы
всех газетин
смерть начиняла —
увечья,
горе...
Но вздором
покажутся
бойни эти
в ужасе
грядущих фантазмагорий.

...

2125 год.

Небо горсти сложило
(звезды клянчит).
Был вечер,
выражаясь просто.
На небе,
как всегда,
появился аэропланчик.
Обычный —
самопишущий —
«Аэророста».
Москва.
Москвичи
повылезли на крыши
сорокаэтажных
домов-коммун.
– Посмотрим, что ли...
Про что пропишет.
Кто?
Кого?
Когда?
Кому? —

Тревога.

Летчик
открыл
горящий газ,

вывел
на небе
раму.
Вывел
крупными буквами:

ПРИКАЗ.
МОБИЛИЗАЦИЯ.

А потом —
телеграмму:
Рапорт.
Наблюдатели.
Берег восточный.
Доносим:
"Точно —
без пяти восемь,
несмотря
на время раннее,
враг
маяки
потушил крайние".
Ракета.
Осветились
в темноте
приготовления —
лихорадочный темп.
Крыло к крылу,
в крылья крылья,
первая,

вторая,
сотая эскадрилья.
Еще ракету!
Вспыхнула.
Видели?
Из ангаров
выводятся истребители.
"Зашифровали.
Передали
стам
сторожевым
советским постам.
Порядок образцовый.
Летим
наперерез,
в прикрытии
газовых завес".
За рапортом —
воззвание:
"Товарищи,
ясно!
Угроза —
Европе
и Азии красной.
Америка —
разбитой буржуазии оплот —
на нас
подымает
воздушный флот.
Не врыть

в нору
рабочий класс.
Рука – на руль!
Глаз – на газ!"
Казалось,
газ,
смертоносный и душненький,
уже
обволакивает
миллионы голов.
Заторопились.
Хватали наушники.
Бросали в радио:
"Алло!
Алло!!"
Мотор умолк,
тревогу отгаркав.
Потух
вверху
фосфорический свет.
А люди
выводили
двухместки из ангариков,
летели —
с женой —
в районный совет.
Долетевшим
до половины
встречались —
побывавшие в штабе.

Туда!
Туда!!
Где бомбы
да мины
сложил
арсенальщик
в страшный штабель.

Радиомитинг.

– Товарищи!
На митинг! —
радио кликал.
Массы
морем
вздымало бурно.
А с Красной
площади
взлетала восьмикрылка —
походная
коминтерновская трибуна.
Не забудется
вовек
картина эта.
В масках,
в противогазном платье
земля
разлеглась
фантастическим макетом.
А вверху —

коминтерновский председатель:
– Товарищи!
Сегодня
Америка
Союзу
трудящихся
навязывает войны! —
От Шанхая
до ирландского берега —
фразы
сразу
по радиоволнам.

Авиамобилизация.

Сегодня
забыли
сон и дрему.
Солнце
искусственное
в миллиард свечей
включили,
и от аэродрома
к аэродрому
сновали
машины
бессонных москвичей.
Легкие разведчики,
дредноуты из алюминия...
И в газодежде,

мускулами узловат,
рабочий
крепил
подвески минные;
бомбами —
летучками
набивал кузова.
Штабные
у машин
разбились на группки.

Небо кроили;
место свое
отмечали.
Делали зарубки
на звездах —
территории грядущих боев.
Летчик.
Рядом – ребятишки
(с братом)
шлем
помогали
надеть ему.
И он
объяснял
пионерам и октябрятам,
из-за чего тревога
и что – к чему:
– Из Европы выбили...
из Азии...

Ан,
они – туда
наострили лыжи, —
в Америку, значит.
В подводках.
За океан.
А там —
свои.
Буржуи.
Кулиджи.
Мы
тут
забыли и имя их.
Заводы строим.
Возносим трубы.
А они
не дремлют.
У них —
химия.
Воняют газом.
Точат зубы.
Ну, и решили —
дошло до точки.
Бомбы взяли.
С дом – в объем.
Камня на камне,
листочка на листочке
не оставят.
Побьют...
Если мы не побьем. —

Вперед.

Одна
машина
выскользнула плавно.
Снизилась,
смотрит...
Чего бы надо еще?
Потом рванулась —
обрадовалась словно —
сигнализировала:
"Главнокомандующий.
Приказываю:
Пора!
Вперед!!
И до Марса
винт отмашет!"
Отземлились,
подняли рупора.
И воздух
гремит
в давнишнем марше.

Марш.

Буржуи
лезут в яри
на самый
небий свод.

Товарищ
пролетарий,
садись на самолет!
Катись
назад,
заводчики,
по облакам свистя.
Мы – летчики
республики
рабочих и крестьян.
Где не проехать
коннице,
где не пройти
ногам —
там
только
летчик гонится
за птицами врага.
Вперед!
Сквозь тучи-кочки!
Летим,
крылом блестя.
Мы – летчики
республики
рабочих и крестьян!
Себя
с врагом померьте,
дорогу
кровью рдя;
до самой

небьей тверди
коммуны
утвердя.
Наш флаг
меж звезд
полощется,
рабочью
власть
растя.
Мы – летчики,
мы – летчицы
рабочих и крестьян!

* * *

Начало.

Сначала
разведчики
размахнулись полукругом.
За разведчиками —
истребителей дуга,
А за ними
газоносцы
выстроились в угол.
Тучи
от винтов
размахиваются наугад.
А за ними,
почти
закрывая многоокий,

помноженный
фонарями
небесный свод,
летели
огромней,
чем корабельные доки,
ангары —
сразу
на аэропланов пятьсот.
Когда
повороты
были резки, —
на тысячи
ладов и ладков
ревели
сонмы
окружающих мастерских
свистоголосием
сирен и гудков.
За ними
вслед
пошли обозы,
маскированные
каким-то
цветом седым.
Тихо...
Тебе – не телегой об земь!..
Арсеналы,
склады
медикаментов,

еды...
Под ними
земля
выгибалась миской.
Ждали
на каждой
бетонной поляне.
Ленинская
эскадрилья
взлетела из-под Минска...
Присоединились
крылатые смоляне...
Выше,
выше
ввинчивались летчики.
Совсем высоко...
И – еще выше.
Марш отшумел.
Машины —
точки.
Внизу – пощурились
и бросили крыши.
Проверили.
Есть —
кислород и вода.
Еду
машина
в минуту подавала.
И влезли,
осмотрев

провода и привода,
в броню
газонепроницаемых подвалов.
На оборону!
Заводы гудят.
А краны
мины таскают.
Под землю
от вражьего газа уйдя,
бежала
жизнь заводская.

Поход.

Летели.
Птицы
в изумленьи глядели.
Летели...
Винт,
звезда блестит в темноте ли?
Летели...
Ввысь
до того,
что – иней на теле.
Летели...
Сами
себя ж
догоняя еле,
летели.
С часами

скорость
творит чудеса:
шло
в сутки
двое сполна;
два солнца —
в 24 часа;
и дважды
всходила луна.
Когда ж
догоняли
вращенье земли —
сто мест
перемахивал
глаз.
А циферблат
показывал
им
один
неподвижный час.
Взвивались,
прорезавши
воздух весь.
В удушьи
разинув рот,
с трудом
рукой,
потерявшей вес,
выструивали
кислород.

Врезались
разведчики
в бурю
и в гром
и, бросив
громовую одурь,
на гладь
океана
кидались ядром
и плыли,
распенивши воду.
Плавучей
миной
взорван один.
И тотчас
все остальные
заторопились
в воду уйти,
сомкнувши
брони стальные.
Всплывали,
опасное место пройдя,
стряхнувши
с пропеллеров
капли;
и вновь
в небосвод,
пылающ и рдян,
машин
многоточие

вкрапили.

Летели...

Минуты...

сутки...

недели...

Летели.

Сквозь россыпи солнца,

сквозь луновы мели

летели.

Нападение.

Начальник

спокойно

передвигает кожаный

на два

валика

намотанный план.

Все спокойно.

И вдруг —

как подкошенный,

камнем —

аэроплан.

Ничего.

И только

лучище

вытягивается

разящей

ручищей.

Вставали,

как в пустыне миражи,
сто тысяч
машин
эскадрильи вражьей.
Нацелив
луч,
истребленье готовящий,
сторон с десяти
— никак не менее —
свистели,
летели,
мчались чудовища —
из света,
из стали,
из алюминия.
Качнула
машины
ветра река.
Налево
кренятся
по склону.
На правом
крыле
встает три "К",
три
черных
"К" —
Ку-клукс-клана.
А ветер
с другого бока налез,

направо
качнул огульно —
и чернью
взметнулась
на левом крыле
фашистская
загогулина.
Секунда.
Рассмерчились бешено.
И нет.
Исчезли,
в газ занавешены.
На каждом аэро,
с каждого бока,
как будто
искра —
в газовый бак,
два слова
взрывало сердца:
"Тревога!
Враг!"

Аэробитва.

Не различить
горизонта слитого.
Небо,
воздух,
вода —
воедино!

И в этой
синеве —
последняя битва.
Красных,
белых
— последний поединок.
Невероятная битва!
Ни одного гроыханийка!!
Ни ядер,
ни пуль не вижу мимо я —
только
винтов
взбешенная механика,
только
одни
лучи да химия.
Гнались,
увлекались ловом,
и вдруг —
поворачивали
назад.
Свисали руки,
а на лице
лиловом —
вылезшие
остекленелые глаза.
Эскадрильи,
атакующие,
тучи рыли.
Прожектор

глаз
открывает круглый —
и нету
никаких эскадрилий.
Лишь падают
вниз
обломки и угли.
Иногда,
невидимые,
башня с башнею
сходились,
и тогда
громыхало одно это.
По старинке
дрались
врукопашную
два
в абордаже
воздушные дредноута.
Один разбит,
и сразу —
идиллия:
беззащитных,
как щенят,
в ангары
поломанные
дредноуты вводили,
здесь же
в воздухе
клепая и чиня.

Четырежды
ночью,
от звезд рябой,
сменились
дней глади,
но все
растет,
расширяется бой,
звереет
со дня на день.
В бою
умирали
пятые сутки.
Враг
отошел на миг.
А после
тысяча
ясно видимых и жутких
машин
пошла напрямик.
В атаку!
В лучи!! —
Не свернули лета.
В газ!!! —
И газ не мутит.
Неуязвимые,
прут без пилотов.
Все
метут
на пути.

* * *

Гнут.

Командав нахмурился.
Кажется – крышка!
Бросится наш,
винтами взмахнет —
и падает
мухой,
сложивши крылышки.
Нашим – плохо.
Отходят наши.
Работа —
чистая.
Сброшена тонна.
Ни увечий,
ни боли,
ни раны...
И город
сметен
без всякого стопа
тонной
удушливой
газовой дряни.
Десятки
столиц
невидимый выел
никого,
ничего не щадящий газ.

К самой
к Москве
машины передовые
прут,
как на парад,
как на показ...
Уже
надеющихся
звали врялями.
Но летчики,
долг выполняя свой,
аэропланнами
кольцами-
спиралями
сгрудились
по-над самой Москвой.
Расплывшись
во все
небесное лоно,
во весь
непреклонный
машинный дух,
враг летел,
наступал неуклонно.
Уже —
в четырех километрах,
в двух...
Вспыхивали
в черных рамках
известия

неизбежной ясности.

Радио

громко

трубило:

– Революция в опасности! —

Скрежещущие звуки

корезили

и спокойное лицо, —

это

завинчивала люки

Москва

подвальных жильцов.

Сверху

видно:

мура —

так толпятся;

а те —

в дирижаблях

да – на Урал.

Прихватывают

жен и детей.

Растут,

размножаются

в небесном ситце

надвигающиеся

машины-горошины.

Сейчас закидают!

Сейчас разразится!

Сейчас

газобомбы

обрушатся брошенные.
Ну что ж,
приготовимся
к смерти душной.
Нам ли
клониться,
пощаду моля?
Напрягшись
всей
силищей воздушной,
примолкла
Советская Земля.

Победа.

И вдруг... —
не верится! —
будто
кто-то
машины
вражьи
дернул разом.
На удивленье
полувывлезшим
нашим пилотам,
те скривились
и грохнулись
наземь.
Не смея радоваться —
не подвох ли?

снизились, может,
землею шествуют? —
моторы
затараторили,
заохали,
ринулись
к месту происшествия.
Снизились,
к земле приникли...
В яме,
упавшими развороченной, —
обломки
алюминия,
никеля...
Без подвохов.
Так. Точно.
Летчики вылезли.
Лбы-складки.
Тысяча вопросов.
Ответ —
нем.
И лишь
под утро
радио-разгадка:
– Нью-Йорк.
Всем!
Всем!
Всем!

Радио.

Рабочих,
крестьян
и летные кадры
приветствуют
летчики
первой эскадры.
Пусть
разиллюминуют
Москву
в миллион свечей.
С этой минуты
навек минуют
войны.
Мы —
эскадра москвичей —
прорвались.
Нас
не видели.
Под водой —
до Америки рейс.
Взлетели.
Ночью
громкоговорители
поставили.
И забасили
на Нью-Йорк, на весь.
"Рабочие!
Товарищи и братья!
Скоро ль

наций
дурман развеется?!
За какие серебренники,
по какой плате
вы
предаете
нас, европейцев?
Сегодня
натравливают:
– Идите!
Европу
окутайте
в газовый мор! —
А завтра
возвратится победитель,
чтоб здесь
на вас
навьючить ярмо.
Что вам
жизнь
буржуями дарена?
Жмут
из вас
то кровь,
то пот.
Спаяйтесь
с нами
в одну солидарность.
В одну коммуну —
без рабов,

без господ!"
Полицейские —
за лисой лиса —
на аэросипедах...
Прожектора полоса...
Напрасно! —
Качаясь мерно,
громкоговорители
раздували голоса
лучших
ораторов Коминтерна.
Ничего!
Ни связать,
ни забрать его —
радио.
Видим,
у них —
сумятица.
Вышли рабочие,
полиция пятится.
А город
будто
огни зажег —
разгорается
за флагом флажок.
Для нас
приготовленные мины
миллиардерам
кладут под домины.
Знаменами

себя
осеня,
атаковывают
арсенал.
Совсем как в Москве
столетия назад
Октябрьская
разрасталась гроза.
Берут,
на версты
гром разбасив,
ломают
замков
хитроумный массив.
Радиофорт...
Охраняющий —
скинут.
Атаковали.
Взят вполовину.
В другую!
Схватка,
с час горяча.
Ухватывают
какой-то рычаг.
Рванули...
еще крутнули...
Мгновение, —
и то чересчур —
мгновения менее, —
как с тыщи

струнищ
оборванный вой!
И тыща
чудовищ
легла под Москвой.

Радость.

В «ура» содрогающимся
ртам еще
хотелось орать
и орать досыта, —
а уже
во все небеса
телеграммищу
вычерчивала
радиороста:
"Мир!
Народы
кончили драться.
Да здравствует
минута эта!
Великая
Американская федерация
присоединяется
к Союзу советов!"
Сомнений —
ни в ком.
Подпись:
«Американский ревком».

Возвращение.

Утром
с запада
появились точки.
Неслись,
себя
и марш растя:
"Мы – летчики
республики
рабочих и крестьян.
Недаром
пролетали —
очищен
небий свод.
Крестьянин!
Пролетарий!
Снижайте самолет!
Скатились
вниз
заводчики,
по облакам свистя.
Мы летчики —
республики
рабочих и крестьян!
Не вступит
вражья
конница,
ни птица,

ни нога.
Наш летчик
всюду гонится
за силами врага.
Наш флаг
меж звезд полощется,
рабочью власть растя.
Мы – летчицы,
мы – летчики
рабочих и крестьян".

II

БУДУЩИЙ БЫТ

Сегодня.

Комната —
это,
конечно,
не роща.
В ней
ни пикников не устраивать,
ни сражений.
Но все ж

не по мне —
проклятая жилплощадь:
при моей,
при комплекции —
проживи на сажени!
Старики,
старухи,
дама с моською,
дети
без счета —
вот население.
Не квартира,
а эскимосское
или киргизское
копченое селение.
Ребенок —
это вам не щенок.
Весь день —
в работе упорной.
То он тебя
мячиком
сбивает с ног,
то
на крючок
запирает в уборной.
Меж скарбом —
тропинки,
крымских окольнойей.
От шума
взбесятся

и самые кроткие.
Весь день —
звонки,
как на колокольне.
Гуртом,
в одиночку,
протяжные,
короткие...
И за это
гнездо —
между клеток
и солений,
где негде
даже
приткнуть губу,
носишься
весь день,
отмахиваясь
от выселений
мандатом союзным,
бумажкой КУБУ.
Вернешься
ночью,
вымотан в городе.
Морда – в пене, —
смыть бы ее.
В темноте
в умывальной
лупит по морде
кем-то

талантливо
развешенное белье.
Бр-р-р-р!
Мутит
чад кухонный.
Встаю на корточки.
Тянусь
с подоконника
мордой к форточке.
Вижу,
в небесах —
возня аэроплана.
Приникаю
к стеклам,
в раму вбит.
Вот кто
должен
переделать наново
наш
сардиночный
унылый быт!

Будет.

Год какой-то
нолями разнудится.
Отгремят
последние
битвы-грома.
В Москве

не будет
ни переулка,
ни улицы —
одни аэродромы
да дома.
Темны,
неясны
грядущие дни нам.
Но —
для шутки
изобразю
грядущего гражданина,
проводящего
одни сутки.

Утро.

Восемь.
Кричит
радиобудильник вежливый:
"Товарищ —
вставайте,
не спите ежели вы!
Завод —
зовет.
Пока
будильнику
приказов нет?
До свидания!
Привет!"

Спросонок,
но весь —
в деловой прыти,
гражданин
включил
электросамобритель.
Минута —
причесан,
щеки —
даже
гражданки Милосской
Венеры глаже.
Воткнул степсель,
открыл губы:
электрощетка —
юрк! —
и выблестила зубы.
Прислуг – никаких!
Кнопкой званная,
сама
под ним
расплескалась ванная.
Намылила
вначале —
и пошла:
скребет и мочалит.
Позвонил —
гражданину
под нос
сам

подносится
чайный поднос.
Одевается —
ни пиджаков,
ни брюк;
рубаха
номерами
не жмет узка.
Сразу
облекается
от пяток до рук
шелком
гениально скроенного куска.
В туфли —
пару ног...
В окно —
звонок.
Прямо
к постели
из небесных лон
впархивает
крылатый почтальон.
Ни – приказ выселиться,
ни – с налогом повестка.
Письмо от любимой
и дружеских несколько.
Вбегает сын,
здоровяк-
карапуз.
– До свидания,

улетаю в вуз.
– А где Ваня?
– Он
в саду
порхает с няней.

На работу.

Сквозь комнату – лифт.
Присел —
и вышел
на гладь
расцветочной крыши.
К месту
работы
курс держу,

к самому
карнизу
подлетает дирижабль.
По задумчивости
(не желая надуть)
гражданин
попробовал
сесть на лету.
Сделав
самые вежливые лица,
гражданина
остановила
авиамилиция.

Ни протоколов,
ни штрафа бряцания...
Только —
вежливенькое
порицание.
Высунувшись
из гондолы,
на разные тона
покрикивает
знакомым летунам:
– Товарищ,
куда спешите?
Бросьте!
Залетайте
как-нибудь
с женою
в гости!
Если свободны —
часа на пол
запархивайте
на авиабол!
– Ладно!
А вы
хотите пересесть?
Садитесь,
местечко в гондоле есть! —
Пересел...
Пятнадцать минут.
И вот —
гражданин

прибывает
на место работ.

Труд.

Завод.

Главвоздух.

Делают вообще они
воздух

прессованный

для междупланетных сообщений.

Кубик

на кабинку – в любую ширь,

и сутки

сосновым духом дыши.

Так —

в век оный

из «Магги»

делали бульоны.

Так же

вырабатываются

из облаков

искусственная сметана

и молоко.

Скоро

забудут

о коровьем имени.

Разве

столько

выдоишь

из коровьего вымени!
Фабрика.
Корпусом сорокаярусным.
Слезли.
Сорок —
в рвении яростном.
Чисто-чисто.
Ни копотей,
ни сажи.
Лифт
развез
по одному на этаж.
Ни гуда,
ни люда!
Одна клавиатура —
вроде «Ундервуда».
Хорошо работать!
Легко – и так,
а тут еще
по радио —
музыка в такт.
Бей буквами,
надо которыми,
а все
остальное
доделается моторами.
Четыре часа.
Промелькнули мельком.
И каждый —
с воздухом,

со сметаной,
с молоком.
Не скукситесь,
как сонные совы.
Рабочий день —
четырёхчасовой.
Бодро, как белка...
Еще бодрей.
Под душ!
И кончено —
обедать рей!

Обед.

Вылетел.
Детишки.
Крикнул:
— Тише! —
Нагнал
из школы
летающих детишек.
— Куда, детвора?
Обедать пора! —
Никакой кухни,
никакого быта!
Летают сервированные
аэростоловые Нарпита.
Стал
и сел,
Взял

и съел.

Хочешь – из двух,
хочешь – из пяти, —
на любой дух,
на всякий аппетит.

Посуда —
самоубирающаяся.

Поел —
и вон!

Подносит
к уху
радиофон.

Буркнул,
детишек лаская:
Дайте Чухломскую!
Коммуна Чухломская?..

Прошу —
Иванова Десятого! —
– Которого?

Бритого? —
– Нет.

Усатого!..
– Как поживаешь?

Добрый день.
– Да вот —

только
вылетел за плетень.

Пасу стадо.
А что надо? —
– Как что?!

Давно больно
не видались.
Залетай
на матч авиабольный. —
– Ладно!
Еще с часок
попасу
и спланирую
в шестом часу.
Может, опоздаю...
Думаю – не слишком.
Деревня
поручила
маленькое делишко.
Хлеба —
жарю мучимы,
так я
управляю
искусственными тучами.
Надо
сделать дождь,
да чтоб – без града.
До свидания! —

Занятия.

Теперь —
поучимся.
Гражданин
в минуту

подлетает
к Высшему
сметанному институту.
Сопоставляя
новейшие
технические данные,
изучает
в лаборатории
дела сметанные...
У нас пока —
различные категории занятий.
Скажем —
грузят чернорабочие,
а поэзия —
для духовной знати.
А тогда
не будет
более почетных
и менее...
И сапожники,
и молочницы —
все гении.

* * *

Игра.

Через час —
дома.
Отдых.

Смена.

Вместо блузы —
костюм спортсмена.

В гоночной,
всякого ветра чище,
прет,
захватив
большой мячище.

Небо —
в самолетах юрких.
Фигуры взрослых,
детей фигурки.

И старики
повылезли,
забыв апатию.
Красные – на желтых.

Партия – на партию.
Подбросят
мяч

с вышотищи
с этакой,
а ты подлетай,
подхватывай сеткой.

Откровенно говоря,
футбол —
тоска.

Занятие
разве что —
для лошадиной расы.

А здесь —

хорошо!
Башмаки – не истаскать.
Нос
тебе
мячом не расквасят.
Все кувыркаются —
надо,
нет ли;
скользят на хвост,
наматывают петли.
Наконец
один
промахнется сачком.
Тогда:
– Ур-р-р-а!
Выиграли очко! —
Вверх,
вниз,
вперед,
назад, —
перекувырнутся
и опять скользят.
Ни вздоха запыханного,
ни кислой мины —
будто
не ответственные работники,
а – дельфины.
Если дождь налетает
с ветром в паре —
подымутся

над тучами
и дальше шпарят.
Стемнеет,
а игры бросить
лень;
догонят солнце,
и – снова день.
Наконец
устал
от подбрасывания,
от лова.
Снизился
и влетел
в окно столовой.
Кнопка.
Нажимает.
Стол чайный.
Сын рассказывает:
– Сегодня
случайно
крыло поломал.
Пересел к Петьке,
а то б
опоздал
на урок арифметики.
Освободились на час
(урока нету),
полетели
с Петькой
ловить комету.

Б-о-о-о-льшущая!

С версту – рост.

Еле

вдвоем

удержали за хвост.

А потом

выбросили —

большая больно.

В школу

кометы таскать

не позволено. —

Сестра:

– Сегодня

от ветра

скатился клубок

с трех тысяч метров.

Пришлось снизиться —

нитку наматывать.

Аж вся

от ветра

стала лохматая. —

А младший

весь

в работу вник.

Сидит

и записывает в дневник:

"Сегодня

в школе —

практический урок.

Решали —

нет
или есть бог.
По-нашему —
религия опиум.
Осматривали образ —
богову копию.
А потом
с учителем
полетели по небесам.
Убеждайся – сам!
Небо осмотрели
и внутри
и наружно.
Никаких богов,
ни ангелов
не обнаружено".
А папаше,
чтоб не пропал
ни единый миг,
радио
выбубнивает
страницы книг...

Вечер.

Звонок.
– Алло!
Не разбираю имя я...
А!
Это ты!

Привет, любимая!

Еду!

Немедленно!

В пять минут
небо перемахну
во всю длину.

В такую погоду
прекрасно едетя.

Жди

у облака —

под Большой Медведицей.

До свидания! —

Сел,

и попятились

площади,

здания...

Щека – к щеке,

к талии – талией, —

небо

раза три облетали.

По млечным путям

за кометной кривизной,

а сзади —

жеребенком —

аэроплан привязной.

Простор!

Тебе —

не Петровский парк,

где все

протерто

задами парок.
На ходу
рассказывает
бывшее
в двадцать пятом году.
– Сегодня
слушал
радиокнижки.
Да...
это были
не дни, а днишки.
Найдешь комнатенку,
и то – не мед.
В домком давай,
фининспектору данные.
А тут – благодать!
Простор —
не жмет.
Мироздание!
Возьмем – наудачу.
Тогда
весной
тащились на дачу.
Ездили
по железной дороге.
Пыхтят
и ползут понемножку.
Все равно,
что ласточку
поставить на ноги,

чтоб шла,
ступая
с ножки на ножку.
Свернуть,
пойти по лесу —
нельзя!
Соблюдай рельсу.
А то еще
в древнее время
были
так называемые
автомобили.
Тоже —
мое почтеньице —
способ сообщеньица!
По воздуху —
нельзя.
По воде —
не может.
Через лес —
нельзя.
Через дом —
тоже.
Ну, скажите,
это машина разве?
Шины лопаются,
неприятностей —
масса.
Даже
на фонарь

не мог взлазить.
Сейчас же —
ломался.
Теперь захочу —
и в сторону ринусь.
А разве —
езда с паровозом!
Примус!
Теперь
приставил
крыло и колеса
да вместе с домом
взял
и понесся.
А захотелось
остановиться —
вот тебе – Винница,
вот тебе – Ницца.
Больным
во время оное
прописывались
солнечные ванны.
Днем
и то,
сложивши ручки —
жди,
чтобы вылез
луч из-за тучки.
А нынче
лети

хоть с самого полюса.

Грейся!

Пользуйся!.. —

Любимой

дни ушедшие мнятся.

А под ними

города,

селения

проносятся

в иллюминации —

ежедневные увеселения!

Радиостанция

Урала

на всю

на Сибирь

концерты орала.

Шаля,

такие ноты наляпаны,

что с зависти

лопнули б

все Шаляпины.

А дальше

в кинематографическом раже

по облакам —

верстовые миражи.

Это тебе

не «Художественный»

да «Арс»,

где в тесных стенках —

партер да ярус.

От земли
до самого Марса
становись,
хоть партером,
хоть ярусом.
Наконец —
в грядущем
и это станется —
прямо
по небу
разводят танцы.
Не топоча,
не вздымая пыль,
грациозно
выгибая крылья,
наяривают
фантастическую кадрили.
А в радио —
буря кадрили.
Вокруг
миллионы
летающих столиков.
Пей и прохлаждайся —
позвони только.
Безалкогольное.
От сапожника
и до портного —
никто
не выносит
и запаха спиртного.

Больному —
рюмка норма,
и то
принимает
под хлороформом.
Никого
не мутит
никакая строфа.
Не жизнь,
а – лафа!
Сообщаю это
к прискорбию
товарищей поэтов.
Не то что нынче —
тысячами
высыпят
на стихи,
от которых дурно.
А тут —
хорошо!
Ни диспута,
ни заседания ни одного —
культурно!
Полдвенадцатого.
Радио проорал:
– Граждане!
Напоминаю —
спать пора! —
От быстроты
засвистевши аж,

прямо
с суматохи бальной
гражданин,
завернув
крутой вираж,
влетает
в окно спальни.
Слез с самолета.
Кнопка.
Троньте!
Самолет сложился
и – в угол,
как зонтик.
Разделся.
В мембрану —
три слова:
– Завтра
разбудить
в полвосьмого! —
Повернулся
на бок
довольный гражданин,
зевнул
и закрыл веки.
Так
проводил
свои дни
гражданин
в ХХХ веке.

ПРИЗЫВ.

Крылатых
дней
далека дата.
Нескоро
в радости
крикнем:
— Вот они! —
Но я —
грядущих дней агитатор —
к ним
хоть на шаг
подвожу сегодня.
Чтоб вам
уподобиться
детям птичьим,
в гондолу
в уютную
сев, —
огнем вам
в глаза
ежедневно тычем

буквы —

О. Д. В. Ф.

Чтоб в будущий

яркий,

радостный час вы

носились

в небе любом —

сейчас

летуны

разбиваются насмерть,

в Ходынку

вплющившись лбом.

Чтоб в будущем

веке

жизнь человечья

ракетой

неслась в небеса —

и я,

уставая

из вечера в вечер,

вот эти

строки

писал.

Рабочий!

Крестьянин!

Проверь на ощупь,

что

и небеса —

твои!

Стотридцатимиллионною мощью

желанье
лететь
напои!
Довольно
ползать, как вошь!
Найдем —
разгуляться где бы!
Даешь
небо!
Сами
выкropим рожь —
тучи
прольем над хлебом.
Даешь
небо!
Слов
отточенный нож
вонзай
в грядущую небыль!
Даешь
небо!

1925

ХОРОШО!

Октябрьская поэма.

1

Время —
вещь
необычайно длинная, —
были времена —
прошли былинные.
Ни былин,
ни эпосов,
ни эпопей.
Телеграммой
лети,
строфа!
Воспаленной губой
припади
и попей
из реки
по имени – «Факт».
Это время гудит
телеграфной струной,
это

сердце
с правдой вдвоем.
Это было
с бойцами,
или страной,
или
в сердце
было
в моем.
Я хожу,
чтобы, с этой
книгой побыв,
из квартирному
мирка
шел опять
на плечах
пулеметной пальбы,
как штыком,
строкой
просверкав.
Чтоб из книги,
через радость глаз,
от свидетеля
счастливого, —
в мускулы
усталые
лилась
строящая
и бунтующая сила.
Этот день

воспевать
никого не найдем.
Мы
распнем
карандаш на листе,
чтобы шелест страниц,
как шелест знамен,
надо лбами
годов
шелестел.

2

"Кончайте войну!
Довольно!
Будет!
В этом
голодном году —
невмоготу.
Врали:
"народа —
свобода,
вперед,
эпоха, заря..." —
и зря.
Где
земля,
и где
закон,
чтобы землю

выдать
к лету? —
Нету!
Что же
дают
за февраль,
за работу,
за то,
что с фронтов
не бежишь? —
Шиш.
На шее
кучей
Гучковы,
черти,
министры,
Родзянки...
Мать их за ноги!
Власть
к богатым
рыло
воротит —
чего
подчиняться
ей?!.
Бей!!"
То громом,
то шепотом
этот ропот
сползал

из Керенской
тюрьмы-решета.
в деревни
шел
по травам и тропам,
в заводах
сталью зубов скрежетал.
Чужие
партии
бросали швырком.
– На что им
сбор
болтунов дался?! —
И отдавали
большевикам
гроши,
и силы,
и голоса.
До самой
мужичьей
земляной башки
докатывалась слава, —
лилась
и слыла,
что есть
за мужиков
какие-то
«большаки»
– у-у-у!
Сила! —

Царям
дворец
построил Растрелли.
Цари рождались,
жили,
старели.
Дворец
не думал
о вертлявом постреле,
не гадал,
что в кровати,
царицам вверенной,
раскинется
какой-то
присяжный поверенный.
От орлов,
от власти,
одеял и кружевца
голова
присяжного поверенного
кружится.
Забывши
и классы
и партии,
идет
на дежурную речь.
Глаза

у него
бонапартьи
и цвета
защитного
френч.
Слова и слова.
Огнесловая лава.
Болтает
сорокой радостной.
Он сам
опьянен
своею славой
пьяней,
чем сорокаградусной.
Слушайте,
пока не устанете,
как щебечет
иной адъютантик:
"Такие случаи были —
он едет
в автомобиле.
Узнавши,
кто
и который, —
толпа
распрягла моторы!
Взамен
лошадиной силы
сама
на руках носила!"

В аплодисментном
плеске
премьер
проплывет
над Невским.
и дамы,
и дети-пузанчики
кидают
цветы и розанчики.
Если ж
с безработы
загрустится,
сам
себя
уверенно и быстро
назначает —
то военным,
то юстиции,
то каким-нибудь
еще
министром.
И вновь
возвращается,
сказанув,
ворочать дела
и вертеть казну.
Подмахивает подписи
достойно
и старательно.
"Аграрные?"

Беспорядки?
Ряд?
Пошлите,
этот,
как его, —
карательный
отряд!
Ленин?
Большевики?
Арестуйте и выловите!
Что?
Не дают?
Не слышу без очков.
Кстати...
об его превосходительстве...
Корнилове...
Нельзя ли
сговориться
сюда
казачков?!
Их величество?
Знаю.
Ну да!..
И руку жал.
Какая ерунда!
Императора?
На воду?
И черную корку?
При чем тут Совет?
Приказываю

туда,
в Лондон,
к королю Георгу".
Пришит к истории,
пронумерован
и скреплен,
и его
рисуют —
и Бродский и Репин.

4

Петербургские окна.
Синё и темно.
Город
сном
и покоем скован.
НО
не спит
мадам Кускова.
Любовь
и страсть вернулись к старушке.
Кровать
и мечты
розоватит восток.
Ее
волос
пожелтелые стружки
причудливо
склеил

слезливый восторг.
С чего это
девушка
сохнет и вянет?
Молчит...
но чувство,
видать, велико.
Ее
утешает
усатая няня,
видавшая виды, —
Пе Эн Милюков.
"Не спится, няня...
Здесь так душно...
Открой окно
да сядь ко мне".
– Кускова,
что с тобой? —
"Мне скушно...
Поговорим о старине".

– О чем, Кускова?

Я,
бывало,
хранила
в памяти
немало
старинных былей,
небылиц —
и про царей

и про цариц.
И я б,
с моим умишком хилым, —
короновала б
Михаила.
чем брать
династию
чужую...
Да ты
не слушаешь меня?! —
"Ах, няня, няня,
я тоскую.
Мне тошно, милая моя.
Я плакать,
я рыдать готова..."
— Господь помилуй
и спаси...
Чего ты хочешь?
Попроси.
Чтобы тебе
на нас
не дуться,
дадим свобод
и конституций...
Дай
окроплю
речей водою
горящий бунт... —
"Я не больна.
Я...

знаешь, няня...

влюблена..."

– Дитя мое,
господь с тобою! —

И Милюков

ее

с мольбой

крестил

профессорской рукой.

– Оставь, Кускова,

в наши лета

любить

задаром

смысла нету. —

«Я влюблена». —

шептала

снова

в ушко

профессору

она.

– Сердечный друг,

ты нездорова. —

"Оставь меня,

я влюблена".

– Кускова,

нервы, —

полечись ты... —

"Ах няня,

он такой речистый...

Ах, няня-няня!

няня!

Ах!

Его же ж

носят на руках

А как поет он

про свободу...

Я с ним хочу, —

не с ним,

так в воду".

Старушка

тычется в подушку,

и только слышно:

" Саша! —

Душка!"

Смахнувши

слезы

рукавом,

взревел усатый нянь:

— В кого?

Да говори ты нараспашку! —

«В Керенского...»

— В какого?

В Сашку? —

И от признания

такого

лицо

расплылось

Милюкова.

От счастья

профессор ожил:

— Ну, это что ж —
одно и то же!
При Николае
и при Саше
мы
сохраним доходы наши. —
Быть может,
на берегах Невы
подобных
дам
видали вы?

5

Звякая
шпорами
довоенной выковки,
аксельбантами
увешанные до пупов,
говорили —
адъютант
(в «Селекте» на Лиговке)
и штанс-капитан
Попов.
"Господин адъютант,
не возражайте,
не дам, —
скажите,
чего еще
поджидаем мы?"

Россию
жиды
продают жидам,
и кадровое
офицерство
уже под жидами!
Вы, конечно,
профессор,
либерал,
но казачество,
пожалуйста,
оставьте в покое.
Например,
мое положенье беря,
это...
черт его знает, что это такое!
Сегодня с денщиком:
ору ему
—эй,
наваксь
щиблетину,
чтоб видеть рыло в ней! —
И конечно —
к матушке,
а он *меня*
к *моей*,
к матушке,
к свет
к Елизавете Кирилловне!"
"Нет,

я не за монархию
с коронами,
с орлами,
НО
для социализма
нужен базис.
Сначала демократия,
потом
парламент.
Культура нужна.
А мы —
Азия-с!
Я даже —
социалист.
Но не граблю,
не жгу.
Разве можно сразу?
Конечно, нет!
Постепенно,
понемногу,
по вершочку,
по шажку,
сегодня,
завтра,
через двадцать лет.
А эти?
От Вильгельма кресты да ленты.
В Берлине
выходили
с билетом перронным.

Деньги
штаба —
шпионы и агенты.
В Кресты бы
тех,
кто ездит в пломбированном!"
"С этим согласен,
это конечно,
этой сволочи
мало повешено".
"Ленина,
который
смуту сеет,
председателем,
што ли,
совета министров?
Что ты?!

Рехнулась, старушка Рассея?
Касторки прими!
Поправьсь!
Выздоровь!
Офицерам —
Суворова,
Голенищева-Кутузова
благодаря
политикам ловким
быть
под началом
Бронштейна бескартузого,
какого-то

бештанного
Лёвки?!
Дудки!
С казачеством
шутки плохи —
повыпускаем
им
потроха..."
И все адъютант
—ха да хи —
Попов
—хи да ха. —
"Будьте дважды прокляты
и трижды поколейте!
Господин адъютант,
позвольте ухо:
их
...ревосходительство
...ерал Каледин,
с Дону,
с плеточкой,
извольте понюхать!
Его превосходительство...
Да разве он один?!
Казачество кубанское,
Днепр,
Дон..."
И все стаканами —
дон и динь,
и шпорами —

диль и дон.
Капитан
упился, как сова.
Челядь
чайники
бесшумно подавала.
А в конце у Лиговки
другие слова
подымались
из подвалов.
"Я,
товарищи, —
из военной бюры.
Кончили заседание —
тока-тока.
Вот тебе,
к маузеру,
двести бери,
а это —
сто патронов
к винтовкам.
Пока соглашатели
замазывали рты,
подходит
казатчина
и самокатчина.
Приказано
питерцам
идти на фронты,
а сюда

направляют
с Гатчины.
Вам,
которые
с Выборгской стороны,
вам
заходить
с моста Литейного.
В сумерках,
тоньше
дискантовой струны,
не галдеть
и не делать
заведенья питейного.
Я
за Лашевичем
беру телефон, —
не задушим,
так нас задушат.
Или
возьму телефон,
или вон
из тела
пролетарскую душу.
Сам
приехал,
в пальтишке рваном, —
ходит,
никем не опознан.
Сегодня,

говорит,
подыматься рано.
А послезавтра —
поздно.
Завтра, значит.
Ну, не сдобровать им!
Быть
Керенскому
биту и ободрану!
Уж мы
подымем
с царёвой кровати
эту
самую
Александрю Федоровну".

6

Дул,
как всегда,
октябрь
ветрами
как дуют
при капитализме.
За Троицкий
дули
авто и трамы,
обычные
рельсы
вызмеив.

Под мостом
Нева-река,
по Неве
плывут кронштадтцы...
От винтовок говорка
скоро
Зимнему шататься.
В бешеном автомобиле,
покрышки сбивши,
тихий,
вроде
упакованной трубы,
за Гатчину,
забившись,
улепетывал бывший —
"В рог,
в бараний!
Взбунтовавшиеся рабы!.."

Видят
редких звезд глаза,
окружая
Зимний
в кольца,
по Мильонной
из казарм
надвигаются кексгольмцы.
А в Смольном,
в думах
о битве и войске,
Ильич

гримированный
мечет шажки,
да перед картой
Антонов с Подвойским
втыкают
в места атак
флажки.
Лучше
власть
добром оставь,
никуда
тебе
не деться!
Ото всех
идут
застав
к Зимнему
красногвардейцы.
Отряды рабочих,
матросов,
голи —
дошли,
штыком домерцав,
как будто
руки
сошлись на горле,
холёном
горле
дворца.
Две тени встало.

Огромных и шатких.
Сдвинулись.
Лоб о лоб.
И двор
дворцовый
руками решетки
стиснул
торс
толп.
Качались
две
огромных тени
от ветра
и пуль скоростей, —
да пулеметы,
будто
хрустенье
ломаемых костей.
Серчают стоящие павловцы.
"В политику...
начали...
баловаться...
Куда
против нас
бочкаревским дурам?!
Приказывали б
на штурм".
Но тень
боролась,
спутав лапы, —

и лап
никто
не разнимал и не рвал.
Не выдержав
молчания,
сдавался слабый —
уходил
от испуга,
от нерва.
Первым,
боязнью одолен,
снялся
бабий батальон.
Ушли с батарей
к одиннадцати
михайловцы или константиновцы...
А Керенский —
спрятался,
попробуй
вымань его!
Задумывалась
казачья башка.
И
редели
защитники Зимнего,
как зубья
у гребешка.
И долго
длилось
это молчанье,

молчанье надежд
и молчанье отчаянья.
А в Зимнем,
в мягких мебелиях
с бронзовыми выкрутами,
сидят
министры
в меди блях,
и пахнет
гладко выбритыми.
На них не глядят
и их не слушают —
они
у штыков в лесу.
Они
упадут
переспевшей грушею,
как только
их
потрясут.
Голос – редок.
Шепотом,
знаками.
– Керенский где-то? —
– Он?
За казаками. —
И снова молча
И только
под вечер:
– Где Прокопович? —

– Нет Прокоповича. —
А из-за Николаевского
чугунного моста,
как смерть,
глядит
неласковая
Авроровых
башен
сталь.
И вот
высоко
над воротником
поднялось
лицо Коновалова.
Шум,
который
тек родником,
теперь
прибоем наваливал.
Кто длинный такой?..
Дотянуться смог!
По каждому
из стекол
удары палки.
Это —
из трехдюймовок
шарахнули
форты Петропавловки.
А поверху
город

как будто в зорван:
бабахнула
шестидюймовка Авророва.
И вот
еще
не успела она
рассыпаться,
гулка и грозна, —
над Петропавловской
взвился
фонарь,
восстанья
условный знак.
– Долой!
На приступ!
Вперед!
На приступ! —
Ворвались.
На ковры!
Под раззолоченный кров!
Каждой лестницы
каждый выступ
брали,
перешагивая
через юнкеров.
Как будто
водою
комнаты полня,
текли,
сливались

над каждой потерей,
и схватки
вспыхивали
жарче полдня
за каждым диваном,
у каждой портьеры.
По этой
анфиладе,
приветствиями оранной
монархам,
несущим
короны-клады, —
бархатными залами,
раскатистыми коридорами
гремели,
бились
сапоги и приклады.
Какой-то
смущенный
сукин сын,
а над ним
путиловец —
нежней папаши:
"Ты,
парнишка,
выкладывай
ворованные часы —
часы теперича наши!"
Топот рос
и тех

тринадцать
сгреб,
забил,
зашиб,
затыркал.
Забились
под галстук —
за что им приняться? —
Как будто
топор
навис над затылком.
За двести шагов...
за тридцать...
за двадцать...
Вбегают
юнкер:
«Драться глупо!»
Тринадцать визгов:
—Сдаваться!
Сдаваться! —
А в двери —
бушлаты,
шинели,
тулупы...
И в эту
тишину
раскатившийся всласть
бас,
окрепший
над реями рея:

"Которые тут временные?"

Слазь!

Кончилось ваше время".

И один

из ворвавшихся,

пенснишки тронув,

объявил,

как об чем-то простом

и несложном:

"Я,

председатель реввоенкомитета

Антонов,

Временное

правительство

объявляю низложенным".

А в Смольном

толпа,

растопырив груди,

покрывала

песней

фейерверк сведений.

Впервые

вместо:

— и это будет... —

пели:

— и это есть

наш последний... —

До рассвета

осталось

не больше аршина, —

руки
лучей
с востока взмолены.
Товарищ Подвойский
сел в машину,
сказал устало:
"Кончено...
в Смольный".
Умолк пулемет.
Угодил толков.
Умолкнул
пуль
звениящий улей.
Горели,
как звезды,
границы штыков,
бледнели
звезды небес
в карауле.
Дул,
как всегда,
октябрь ветрами.
Рельсы
по мосту вызмеив,
гонку
свою
продолжали трамы
уже —
при социализме.

В такие ночи,
в такие дни,
в часы
такой поры
на улицах
разве что
одни
поэты
и воры.
Сумрак
на мир
океан катнул.
Синь.
Над кострами —
бур.
Подводной
лодкой
пошел ко дну
взорванный
Петербург.
И лишь
когда
от горящих вихров
шатался
сумрак бурый,
опять вспоминалось:
с боков
и с верхов

непрерывная буря.

На воду

сумрак

похож и так —

бездонна

синяя прорва.

А тут

еще

и виденьем кита

туша

Авророва.

Огонь

пулеметный

площадь остриг.

Набережные —

пусты.

И лишь

хорохорятся

костры

в сумерках

густых.

И здесь,

где земля

от жары вязка,

с испугу

или со льда,

ладони

держа

у огня в языках,

греется

солдат.
Солдату
упал
огонь на глаза,
на клочок
волос
лег.
Я узнал,
удивился,
сказал:
"Здравствуйте,
Александр Блок.
Лафа футуристам,
фрак старья
разлазится
каждым швом".
Блок посмотрел —
костры горят —
«Очень хорошо».
Кругом
тонула
Россия Блока...
Незнакомки,
дымки севера
шли
на дно,
как идут
обломки
и жестянки
консервов.

И сразу
лицо
скупее менял,
мрачнее,
чем смерть на свадьбе:
"Пишут...
из деревни...
сожгли...
у меня...
библиотеку в усадьбе".
Уставился Блок —
и Блокова тень
глазеет,
не стенке привстав...
Как будто
оба
ждут по воде
шагающего Христа.
Но Блоку
Христос
являться не стал.
У Блока
тоска у глаз.
Живые,
с песней
вместо Христа,
люди
из-за угла.
Вставайте!
Вставайте!

Вставайте!
Работники
и батраки.
Зажмите,
косарь и кователь,
винтовку
в железо руки!
Вверх —
флаг!
Рвань —
встань!
Враг —
ляг!
День —
дрянь!
За хлебом!
За миром!
За волей!
Бери
у буржуев
завод!
Бери
у помещика поле!
Братайся,
дерущийся взвод!
Сгинь —
стар.
В пух,
в прах.
Бей —

бар!
Трах!
тах!
Довольно,
довольно,
довольно
покорность
нести
на горбах.
Дрожи,
капиталова дворня!
Тряситесь,
короны,
на лбах!

Жир
ёжь
страх
плах!
Трах!
тах!
Тах!
тах!
Эта песня,
перепетая по-своему,
доходила
до глухих крестьян —
и вставали села,
содрогая воем,
по дороге

топоры крестя.

Но-

жи-

чком

на

месте чик

лю-

то-

го

по-

мещика.

Гос-

по-

дин

по-

мещичек,

со-

би-

райте

вещи-ка!

До-

шло

до поры,

вы-

хо-

ди,

босы,

вос-

три

топоры,

подымай косы.
Чем
хуже
моя Нина?!
Ба-
рыни сами.
Тащъ
в хату
пианино,
граммофон с часами!
Под-
хо-
ди-
те, орлы!
Будя —
пограбили.
Встречай в колы,
провожай
в грабли!
Дело
Стеньки
с Пугачевым,
разгорайся жарче-ка!
Все
поместья
богачевы
разметем пожарчиком.
Под-
пусть
петуха!

Подымай вилы!

Эх,

не

потухай, —

пет-

тух милый!

Черт

ему

теперь

родня!

Головы —

кочаном.

Пулеметов трескотня

сыпется с тачанок.

"Эх, яблочко,

цвета ясного.

Бей

справа

белаво,

слева краснова".

Этот вихрь,

от мысли до курка,

и постройку,

и пожара дым

прибирала

партия

к рукам,

направляла,

строила в ряды.

Холод большой.
Зима здорова.
Но блузы
прилипли к потненьким.
Под блузой коммунисты.
Грузят дрова.
На трудовом субботнике.
Мы не уйдем,
хотя
уйти
имеем
все права.
В *наши* вагоны,
на *нашем* пути,
наши
грузим
дрова.
Можно
уйти
часа в два, —
но *мы* —
уйдем поздно.
Нашим товарищам
наши дрова
нужны:
товарищи мерзнут.
Работа трудна,
работа

томит.
За нее
никаких копеек.
Но *мы*
работаем,
будто *мы*
делаем
величайшую эпопею.
Мы будем работать,
все стерпя,
чтоб жизнь,
колёса дней торопя,
бежала
в железном марше
в *наших* вагонах,
по *нашим* степям,
в города
промерзшие
наши.
"Дяденька,
что вы делаете тут?
столько
больших дядей?"
– Что?
Социализм:
свободный труд
свободно
собравшихся людей.

Перед нашею
республикой
стоят богатые.
Но как постичь ее?
И вопросам
разнедоуменным
нет числа:
что это
за нация такая
«социалистичья»,
и что это за
"соци-
алистическое отечество"?
"Мы
восторги ваши
понять бессильны.
Чем восторгаются?
Про что поют?
Какие такие
фрукты-апельсины
растут
в большевицком вашем
раю?
Что вы знали,
кроме хлеба и воды, —
с трудом
перебиваясь
со дня на день?
Такого отечества

такой дым
разве уж
настолько приятен?
За что вы
идете,
если велят —
«воюй»?
Можно
быть
разорванным бомбицей,
можно
умереть
за землю за свою,
но как
умирать
за общую?
Приятно
русскому
с русским обняться, —
но у вас
и имя
«Россия»
утеряно.
Что это за
отечество
у забывших об нации?
Какая нация у вас?
Коминтерна?
Жена,
да квартира,

да счет текущий —
вот это —
отечество,
райские кущи.
Ради бы
вот
такого отечества
мы понимали б
и смерть
и молодечество".
Слушайте,
национальный трутень, —
день наш
тем и хорош, что труден.
Эта песня
песней будет
наших бед,
побед,
буден.

10

Политика —
проста.
Как воды глоток.
Понимают
ощерившие
сытую пасть,
что если
в Россиях

увязнет коготок,
всей
буржуазной птичке —
пропасть.
Из «сюртэ женераль»,
из «интеллидженс Сервис»,
«дефензивы»
и «сигуранцы»
выходит
разная
сволочь и стерва,
шьет
шинели
цвета серого,
бомбы
кладет
в ранцы.
Набились в трюмы,
палубы обсели,
на деньги
вербовочного агентства.
В Новороссийск
плывут из Марсея,
из Дувра
плывут к Архангельску.
С песней,
с виски,
сыты по-свински.
Килями
вскопаны

воды холодные.

Смотрят

перископами

лодки подводные.

Плывут крейсера,

снаряды соря.

И

миноносцы

с минами носятся.

А

поверх

всех

с пушками

чудовищной длинноты

сверх-

дредноуты.

Разными

газами

воняя гадко,

тучи

пропеллерами выдрав,

с авиоматки

на авиоматку

пе-

ре-

пархивают «гидро».

Послал

капитал

капитанов ученых.

Горло

нащупали
и стискивают.

Ткнешься
в Белое,
ткнешься
в Черное,
в Каспийское,
в Балтийское, —
куда
корабль
ни тычется,
конец
катаниям.

Стоит
морей владычица,
бульдोजья
Британия.

Со всех концов
блокады кольцо
и пушки
смотрят в лицо.
– Красным не нравится?

Им
голодно?
Рыбкой
наедитесь,
пойдя
на дно. —
А кому
на суше

грабить охота,
те
с кораблей
сходили пехотой.
– На море потопим,
на суше
потопаем. —
Чужими
руками
жар гребя,
дым
отечества
пускают
пострелины —
выставляю
впереди
одураченных
ребят,
баронов
и князей недорасстрелянных.
Могилы копайте,
гроба копите —
Юденича
рати
прут
на Питер.
В обозах
еды вкуснятся,
консервы —
пуд.

Танков
гусеницы
на Питер
прут.
От севера
идет
адмирал Колчак,
сибирский
хлеб
сапогом толча.
Рабочим на расстрел,
поповнам на утехи,
с ним идут
голубые чехи.
Траншеи,
машинами выбранные,
саперами
Крым перекопан, —
Врангель
крупнокалиберными
орудует
с Перекопа.
Любят
полковников
сантиментальные леди.
Полковники
любят
поговорить на обеде.
– Я
иду, мол

(прихлебывает виски),
а на меня
десяток
чудовищ
большевицких.
Раз-одного,
другого —
рраз, —
кстати,
как дэнди,
и девушку спас. —
Леди,
спросите
у мерина сивого —
он
как Мурманск
разизнасиловал.
Спросите,
как —
Двина-река,
кровью
крашенная,
трупы
в'ытая,
с кладью
страшною
шла
в Ледовитый.
Как храбрецы
расстреливали кучей

коммуниста
одного,
да и тот скручен.
Как офицера
его величества
бежали
от выстрелов,
берег вычистя.
Как над серыми
хатами
огненные перья
и руки
холёные
туго
у горл.
Но...
"итс э лонг уэй
ту Типерери,
итс э лонг уэй
ту го!"
На первую
республику
рабочих и крестьян,
сверкая
выстрелами,
штыками блестя,
гнали
армии,
флоты катили
богатые мира,

и эти
и те...
Будьте вы прокляты,
прогнившие
королевства и демократии,
со своими
подмоченными
«фратэрнитэ» и «эгалитэ»!
Свинцовый
льется
на нас
кипяток.
Одни мы —
и спрятаться негде.
"Янки
дудль
кип ит об,
Янки дудль дэнди".
Посреди
винтовок
и орудий голосища
Москва —
островком,
и мы на островке.
Мы —
голодные,
мы —
нищие,
с Лениным в башке
и с наганом в руке.

Несется
жизнь,
овеевая,
проста,
суха.
Живу
в домах Стахеева я,
теперь
Везсэнха.
Свезли,
винтовкой звякая,
богатых
и кассы.
Теперь здесь
всякие
и люди
и классы.
Зимой
в печурку-пчелку
суют
тома шекспирьи.
Зубами
щелкают, —
картошка —
пир им.
А летом
слушают асфальт

с копейками
в окне:
—Трансваль,
Трансваль,
страна моя,
ты вся
горишь
в огне! —
Я в этом
каменном
котле
варюсь,
и эта жизнь —
и бег, и бой,
и сон,
и тлен —
в домовьи
этажи
отражена
от пят
до лба,
грозою
омываемая,
как отражается
толпа
идущими
трамваями.
В пальбу
присев
на корточки,

в покой
глазами к форточке,
чтоб было
видней,
я в
комнатенке-лодочке
проплыл
три тыщи дней.

12

Ходят
спекулянты
вокруг Главтопа.
Обнимут,
зацелуют,
убьют за руп.
Секретарши
ответственные
валенками топают.
За хлебными
карточками
стоят лесорубы.
Много
дела,
мало
горя им,
фунт
—целый! —
первой категории.

Рубят,
липовый
чай
выкушав.
—Мы
не Филипповы,
мы —
привыкши.
Будет обед,
будет
ужин, —
белых бы
вон
отбить от ворот.

Есть захотелось,
пояс —
потуже,
в руки винтовку
и
на фронт. —
А
мимо —
незаменимый.
Стуча
сапогом,
идет за пайком —
Правление
выдало
урюк

и повидло.
Богатые —
ловче,
едят
у Зунделовича.
Ни щей,
ни каш —
бифштекс
с бульоном,
хлеб
ваш,
полтора миллиона.
Ученому
хуже:
фосфор
нужен,
масло
на блюдец.
Но,
как назло,
есть революция,
а нету
масла.
Они
научные.
Напишут,
вылечат.
Мандат, собственноручный,
Анатоль Васильича.
Где

хлеб
да мяса,
придут
на час к вам.
Читает
комиссар
мандат Луначарского:
"Так...
сахар...
так...
жирок вам.
Дров...
березовых...
посуше поленья...
и шубу
широкого
потребленья.
Я вас,
товарищ,
спрашиваю в упор.
Хотите —
берите
головной убор.
Приходит
каждый
с разной блажью.
Берите
пока што
ногу
лошажью!"

Мех
на глаза,
как баба-яга,
идут
назад
на трех ногах.

13

Двенадцать
квадратных аршин жилья.
Четверо
в помещении —
Лиля,
Ося,
я
и собака
Щеник.
Шапчонку
взял
оборванную
и вытащил салазки.
— Куда идешь? —
В уборную
иду.
На Ярославский.
Как парус,
шуба
на весу,
воняет

козлом она.
В санях
полено везу,
забрал
забор разломанный
Полено —
тушею,
тверже камня.
Как будто
вспухшее
колени
великанье.
Вхожу
с бревном в обнимку.
Запотел,
вымок.
Важно
и чинно
строгаю
перочинным.
Нож —
ржа.
Режу.
Радуюсь.
В голове
жар
подымает градус.
Зацветают луга,
май
поет

В уши —
это
тянется угар
из-под черных вьюшек.
Четверо сосуллек
свернулись,
уснули.
Приходят
люди,
ходят,
будят.
Добудились еле —
с углей
угорели.
В окно —
сугроб.
Глядит горбат.
Не вымерзли покамест?
Морозы
в ночь
идут, скрипят
снегами – сапогами.
Небосвод,
наклонившийся
на комнату мою,
морем
заката
облит.
По розовой
глади

моря,
на юг —
тучи-корабли.
За гладь,
за розовую,
бросать якоря,
туда,
где березовые
дрова
горят.
Я
много
в теплых странах плутал.
Но только
в этой зиме
понятной
стала
мне
теплота
любовей,
дружб
и семей.
Лишь лежа
в такую вот гололедь,
зубами
вместе
проляскав —
поймешь:
нельзя
на людей жалеть

ни одеяло,
ни ласку.
Землю,
где воздух,
как сладкий морс,
бросишь
и мчишь, колесея, —
но землю,
с которою
вместе мерз,
вовек
разлюбить нельзя.

14

Скрыла
та зима,
худая и строга,
всех,
кто навек
ушел ко сну.
Где уж тут словам!
И в этих
строках
боли
волжской
я не коснусь.
Я
дни беру
из ряда дней,

что с тыщей
дней
в родне.
Из серой
полосы
деньки,
их гнали
годы —
водники —
не очень
сытенькие,
не очень
голодненькие.
Если
я
чего написал,
если
чего
сказал —
тому виной
глаза-небеса,
любимой
моей
глаза.
Круглые
да карие,
горячие
до гари.
Телефон
взбесился шалый,

в ухо
грохнул обухом:
карие
глазища
сжала
голода
опухоль.
Врач наболтал —
чтоб глаза
глазели,
нужна
теплота,
нужна
зелень.
Не домой,
не на суп,
а к любимой
в гости
две
морковинки
несу
за зеленый хвостик.
Я
много дарил
конфет да букетов,
но больше
всех
дорогих даров
я помню
морковь драгоценную эту

и пол-
полена
березовых дров.
Мокрые,
тощие
под мышкой
дровинки,
чуть
потолще
средней бровинки.
Вспухли щеки.
Глазки —
щелки.
Зелень
и ласки
выходили глазки.
Больше
блюдца,
смотрят
революцию.
Мне
легше, чем всем, —
я
Маяковский.
Сижу
и ем
кусочек
конский.
Скрип —
дверь,

плача.

Сестра

младшая.

—Здравствуй, Володя!

—Здравствуй, Оля!

—завтра новогодие —

нет ли

соли? —

Делю,

в ладонях вешаю

щепотку

отсыревшую.

Одолевая

снег

и страх,

скользит сестра,

идет сестра,

бредет

трехверстной Преснею

солить

картошку пресную.

Рядом

мороз

шел

и рос.

Затевал

щекотку —

отдай

щепотку.

Пришла,

а соль
не валится —
примерзла
к пальцам.
За стенкой
шарк:
"Иди,
жена,
продай
пиджак,
купи
пшена".
Окно, —
с него
идут
снега,
мягка
снегов
тиха
нога.
Бела,
гола
столиц
скала.
Прилип
к скале
лесов
скелет.
И вот
из-за леса

небу в шаль
вползает
солнца
вша.

Декабрьский
рассвет,
изможденный
и поздний,
встает
над Москвой
горячкой тифозной.

Ушли
тучи
к странам
тучным.

За тучей
берегом
лежит
Америка.

Лежала,
лакала
кофе,
какао.

В лицо вам,
толще
свиных причуд,
круглей
ресторанных блюд,
из нищей
нашей

земли
кричу:
Я
землю
эту
люблю.
Можно
забыть,
где и когда
пузы растил
и зобы,
но землю,
с которой
вдвоем голодал, —
нельзя
никогда
забыть!

15

Под ухом
самым
лестница
ступенек на двести, —
несут
минуты-вестницы
по лестнице
вести.
Дни пришли
и топали:

—Дожили,
вот вам, —
нету
топлив
брюхам
заводным.
Дымом
небесный
лак помутив,
до самой трубы,
до носа
локомотив
стоит
в заносах.
Положив
на валенки
цветные заплаты,
из ворот,
из железного зёва,
снова
шли,
ухватясь за лопаты,
все,
кто мобилизован.
Вышли
за лес,
вместе
взялись.
Я ли,
вы ли,

откопали,
вырыли.
И снова
поезд
катит
за снежную
скатерть.
Слабеет
тело
без ед
и питья,
носилки сделали,
руки сплетя.
Теперь
запевай,
и домой можно —
да на руки
положено
пять
обмороженных.
Сегодня
на лестнице,
грязной и тусклой,
копались
обывательские
слухи-свиньи.
Деникин
подходит
к самой,
к тульской,

к пороховой
сердцевине.
Обулись обыватели,
по пыли печатают
шепотоголосые
кухарочьи хоры.
—Будет...
крупчатая!..
пуды непчатые...
ручьи-чай,
сухари,
сахары.
Бли-и-и-зко беленькие,
береги керенки! —
Но город
проснулся,
в плакаты кадрованный, —
это
партия звала:
«Пролетарий, на коня!»
И красные
скачут
на юг
эскадроны —
Мамонтова
нагонять.
Сегодня
день
вбежал второпях,
криком

тишь
порвав,
простреленным
легким
часто хрипя,
упал
и кончился,
кровав.
Кровь
по ступенькам
стекала на пол,
стыла
с пылью пополам
и снова
на пол
каплями
капала
из-под пули
Каплан.
Четверолапые
зашагали,
визг
шел
шакалий.
Салоп
говорит
чуйке,
чуйка
салопу:
— Заёрзали

длинноносые щуки!

Скоро

всех

слопают! —

А потом

топырили

глаза-тарелины

в длинную

фамилий

и званий тропу.

Ветер

сдирает

списки расстрелянных,

рвет,

закручивает

и пускает в трубу.

Лапа

класса

лежит на хищнике —

Лубьянская

лапа

Че-ка.

—Замрите, враги!

Отойдите, лишненькие!

Обыватели!

Смирно!

У очага! —

Миллионный

класс

вставал за Ильича

против
белого
чудовища клыкастого,
и вливалось
в Ленина,
леча,
этой воли
лучшее лекарство.
Хоронились
обыватели
за кухни,
за пеленки.
—Нас не трогайте —
мы
цыпленки.
Мы только мошки,
мы ждем кормежки.
Закройте,
время,
вашу пасть!
Мы обыватели —
нас обувайте вы,
и мы
уже
за вашу власть. —
А утром
небо —
веча звонница!
Вчерашний
день

виня во лжи,
расколоколивали
птицы и солнце:

жив,
жив,
жив,
жив!

И снова дни
чередой заводной
сбегались
и просили.
— Идем
за нами —
"еще одно
усилье".
От боя к труду —
от труда до атак, —
в голоде,
в холоде
и наготе
держали
взятое,
да так,
что кровь
выступала из-под ногтей.
Я видел
места,
где инжир с айвой
росли
без труда

у рта моего, —
к таким
относишься иначе.
Но землю,
которую
завоевал
и полуживую
вынянчил,
где с пулей встань,
с винтовкой ложись,
где каплей
льешься с массами, —
с такою
землею
пойдешь
на жизнь,
на труд,
на праздник
и на смерть!

16

Мне
рассказывал
тихий еврей,
Павел Ильич Лавут:
"Только что
вышел я
из дверей,
вижу —

они плывут..."

Бегут
по Севастополю
к дымящим пароходам.

За день
подметок стопали,
как за год похода.

На рейде
транспорты
и транспорточки,
драки,
крики,
ругня,
мотня, —
бегут
добровольцы,
задрав порточки, —
чистая публика
и солдатня.

У кого —
канарейка,
у кого —
роялина,
кто со шкафом,
кто
с утюгом.

Кадеты —
на что уж
люди лояльные —
толкались локтями,

крыли матюгом.
Забыли приличие,
бросили моду,
кто —
без юбки,
а кто —
без носков.

Бьет
мужчина
даму
в морду,
солдат
полковника
сбивает с мостков.
Наши заседали,
крыли по трапам,
кашей
грузился
военный эшелон.
Хлопнув
дверью,
сухой, как рапорт,
из штаба
опустевшего
вышел он.

Глядя
на ноги,
шагом
резким

шел
Врангель
в черной черкеске.
Город бросили.
На молу —
голо.
Лодка
шестивесельная
стоит
у мола.
И над белым тленом,
как от пули падающий,
на оба
колена
упал главнокомандующий.
Трижды
землю
поцеловавши,
трижды
город
перекрестил.
Под пули
в лодку прыгнул...
— Ваше
превосходительство,
грести? —
— Грести! —
Убрали весло.
Мотор
заторкал.

Пошла
весело
к «Алмазу»
моторка.
Пулей
пролетела
штандартная яхта.
А в транспортах-галошинах
далеко,
сзади,
тащились
оторванные
от станка и пахот,
узлов
полтораста
накручивая за день.
От родины
в лапы турецкой полиции,
к туркам в дыру,
в Дарданеллы узкие,
плыли
завтрашние галлиполийцы,
плыли
вчерашние русские.
Впе-
реди
година на године.
Каждого
трясись,
который в каске.

Будешь
доить
коров в Аргентине,
будешь
мереть
по ямам африканским.

Чужие
волны
качали транспорты,
флаги
с полумесяцем
бросались в очи,
и с транспортов
за яхтой
гналось —
"Аспиды,
сперли казну
и удрали, сволочи".

Уже
экипажам
оберегаться
пули
шальной
надо.

Два
миноносца-американца
стояли
на рейде
рядом.
Адмирал

трубой обвел
стреляющих
гор
край:
– Ол
райт. —
И ушли
в хвосте отступающих свор, —
орудия на город,
курс на Босфор.
В духовках солнца
горы
жаркое.
Воздух
цветы рассиропили.
Наши
с песней
идут от Джанкоя,
сыпятся
с Симферополя.
Перебивая
пуль разговор,
знаменами
бой
овевая,
с красными
вместе
спускается с гор
песня
боевая.

Не гнулась,
когда
пулеметом крошило,
вставала,
бесстрашная,
в дожде-свинце:
"И с нами
Ворошилов,
первый красный офицер".
Слушают
пушки,
морские ведьмы,
у-
ле-
петывая
во винты во все,
как сыпется
с гор
—"готовы умереть мы
за Эс Эс Эс Эр!" —
Начштаба
морщит лоб.
Пальцы
корявой руки
буквы
непослушные гнут:
"Врангель
оп-
раки-
нут

в море.
Пленных нет".
Покамест —
точка
и телеграмме
и войне.
Вспомнили —
недопахано,
недожато у кого,
у кого
доменные
топки да зори.
И пошли,
отирая пот рукавом,
расставив
на вышках
дозоры.

17

Хвалить
не заставят
не долг,
ни стих
всего,
что делаем мы.
Я
пол-отечества мог бы
снести,
а пол —

отстроить, умыв.

Я с теми,
кто вышел
строить
и мечь
в сплошной
лихорадке
буден.

Отечество
славлю,
которое есть,
но трижды —
которое будет.

Я
планов наших
люблю громадьё,
размаха
шаги саженьи.

Я радуюсь
маршу,
которым идем
в работу
и в сраженья.

Я вижу —
где сор сегодня гниет,
где только земля простая —
на сажень вижу,
из-под нее
комунны
дома

прорастают.
И меркнет
доверье
к природным дарам
с унылым
пудом сенца
и поворачиваются
к тракторам
крестьян
заскорузлые сердца.
И планы,
что раньше
на станциях лбов
задерживал
нищенства тормоз,
сегодня
встают
из дня голубого,
железом
и камнем формясь.
И я,
как весну человечества,
рожденную
в трудах и в бою,
пою
мое отечество,
республику мою!

На девять
сюда
октябрей и маёв,
под красными
флагами
праздничных шествий,
носил
с миллионами
сердце мое,
уверен
и весел,
горд
и торжествен.
Сюда,
под траур
и плеск чернофлажий,
пока
убитого
кровь горяча,
бежал,
от тревоги,
на выстрелы вражьи,
молчать
и мрачнеть,
и кричать
и рычать.
Я
здесь
бывал
в барабанах стучащий

и в мертвом
холоде
слез и льдин,
а чаще еще —
просто
один.
Солдаты башен
стражей стоят,
подняв
свои
островерхие шлемы,
и, злобу
в башках куполов
тая,
притворствуют
церкви,
монашьи шельмы.
Ночь —
и на головы нам
луна.
Она
идет
оттуда откуда-то...
оттуда,
где
Совнарком и ЦИК,
Кремля
кусок
от ночи откутав,
переползает

через зубцы.

Вползает

на гладкий

валун,

на секунду

склоняет

голову,

и вновь

голова-лунь

уносится

с камня

голового.

Место лобное —

для голов

ужасно неудобное.

И лунным

пламенем

озарена мне

площадь

в сияньи,

в яви

в денной...

Стена —

и женщина со знаменем

склонилась

над теми,

кто лег под стеной.

Облил

булыжники

лунный никель,

Штыки
от луны
и тверже
и злей,
и,
как нагроможденные книги, —
его
мавзолей.

Но в эту
дверь
никакая тоска
не втянет
меня,
черна и вязка, —
души
не смущу
мертвизной, —
он бьется,
как бился
в сердцах
и висках,
живой
человечьей весной.

Но могилы
не пускают, —
и меня
останавливают имена.
Читаю угрюмо:
«товарищ Красин».
И вижу —

Париж
и из окон Дорио...
И Красин
едет,
сед и прекрасен,
сквозь радость рабочих,
шумящую морево.
Вот с этим
виделся,
чуть не за час.
Смеялся.
Снимался около...
И падает
Войков,

кровью сочась, —
и кровью
газета
намокла.
За ним
предо мной
на мгновенье короткое
такой,
с каким
портретами сжились, —
в шинели измятой,
с острой бородкой,
прошел
человек,
железен и жилист.

Юноше,
обдумывающему
житье,
решающему —
сделать бы жизнь с кого,
скажу
не задумываясь —
"Делай ее
с товарища
Дзержинского".
Кто костями,
кто пеплом
стенам под стопу
улеглись...
А то
и пепла нет.
От трудов,
от каторг
и от пуль,
и никто
почти —
от долгих лет.
И чудится мне,
что на красном погосте
товарищей
мучит
тревоги отравы.
По пеплам идет,
сочится по кости,
выходит

на свет
по цветам
и по травам.
И травы
с цветами
шуршат в беспокойстве.
— Скажите —
вы здесь?
Скажите —
не сдали?
Идут ли вперед?
Не стоят ли? —
Скажите.
Достроит
коммуна
из света и стали
республики
вашей
сегодняшний житель? —
Тише, товарищи, спите...
Ваша,
подросток-страна
с каждой
весной
ослепительней,
крепнет,
сильна и стройна.
И снова
шорох
в пепельной вазе,

лепечут
венки
языками лент:
— А в ихних
черных
Европах и Азиях
боязнь,
дремота и цепи? —
Нет!
В мире
насилия и денег,
тюрем
и петель витья —
ваши
великие тени
ходят,
будя
и ведя.
— А вас
не тянет
всевластная тина?
Чиновность
в мозгах
паутину не свила?
Скажите —
цела?
Скажите —
едина?
Готова ли
к бою

партийная сила? —
Спите,
товарищи, тише...
Кто
ваш покой отберет?
Встанем,
штыки оцетинивши,
с первым
приказом:
«Вперед!»

19

Я
земной шар
чуть не весь
обошел, —
И жизнь
хороша,
и жить
хорошо.
А в нашей буче,
боевой, кипучей, —
и того лучше.
Вьется
улица-змея.
Дома
вдоль змеи.
Улица —
моя.

Дома —
мои.
Окна
разинув,
стоят магазины.
В окнах
продукты:
вина,
фрукты.
От мух
кисея.
Сыры
не засижены.
Лампы
сияют.
"Цены
снижены!
Стала
оперяться
моя
кооперация.
Бьем
грошом.
Очень хорошо.
Грудью
у витринных
книжных груд.
Моя
фамилия
в поэтической рубрике.

Радуюсь я —
это
мой труд
вливается
в труд
моей республики.
Пыль
взбили
шиной губатой —
в моем
автомобиле
мои
депутаты.
В красное здание
На заседание.
Сидите,
не совейте,
в моем
Моссовете.
Розовые лица.
Револьвер
желт.
Моя
милиция
меня
бережет.
Жезлом
правит,
чтоб вправо
шел.

Пойду
направо.
Очень хорошо.
Надо мною
небо.
Синий
шелк!
Никогда
не было
так
хорошо.
Тучи-
кочки,
переплыли летчики.
Это
летчики мои.
Встал,
словно дерево, я.
Всыпят,
как пойдут в бои,
по число
по первое.
В газету
глаза:
молодцы-венцы.
Буржуйам
под зад
наддают
коленцем.
Суд

жгут.
Зер
гут.
Идет
пожар
сквозь бумажный шорох.
Прокуроры
дрожат.
Как хорошо!
Пестрит
передовица
угроз паршой.
Что б им подавиться.
Грозят?
Хорошо.
Полки
идут,
у меня на виду.
Барабану
в бока
бьют
войска.
Нога
крепка,
голова
высока.
Пушки
ввозятся, —
идут
краснозвездцы.

Приспособил
к маршу
такт ноги:
вра-
ги
ва-
ши
мо-
и
вра-
ги.
Лезут?
Хорошо.
Сотрем
в порошок.
Дымовой
дых
тяг.
Воздуха береги.
Пых-дых,
пых-
тят
мои фабрики.
Пыши,
машина,
шибче-ка,
вовек чтоб
не смолкла, —
побольше
ситчика

моим
комсомолкам.
Ветер
подул
в соседнем саду.
В ду-
хах
про-
шел.
Как хо-
рошо!
За городом —
поле.
В полях —
деревеньки.
В деревнях —
крестьяне.
Бороды
веники.
Сидят
папаши.
Каждый
хитр.
Землю попашет,
попишет
стихи.
Что ни хутор,
от ранних утр,
работа любя.
Сеют,

пекут,
мне
хлеба.
Доют,
пашут,
ловят рыбицу.
Республика наша
строится,
дыбится.
Другим
странам
по сто.
История —
пастью гроба.
А моя
страна —
подросток, —
твори,
выдумывай,
пробуй!
Радость прет.
Не для вас
уделить ли нам?!
Жизнь прекрасна
и
удивительна.
Лет до ста
расти
нам
без старости.

Год от года
расти
нашей бодрости.
Славьте,
молот
и стих,
землю молодости.

1927

ВО ВЕСЬ ГОЛОС

Первое вступление в поэму

Уважаемые
товарищи потомки!
Роясь
в сегодняшнем
окаменевшем г...,
наших дней изучал потемки,
вы,
возможно,
спросите и обо мне,
И, возможно, скажет
ваш ученый,
кроя эрудицией
вопросов рой,
что жил-де такой
певец кипяченой
и ярый враг воды сырой.
Профессор,
снимите очки-велосипед!
Я сам расскажу
о времени
и о себе.
Я, ассенизатор
и водовоз,
революцией

мобилизованный и призванный,
ушел на фронт
из барских садоводств
поэзии —
бабы капризной.
Засадил садик мило,
дочка,
дача.
вот
и гладь —
сама садик я садила,
сама буду поливать.
Кто стихами льет из лейки,
кто кропит,
набравши в рот —
кудреватые Митрейки,
мудреватые Кудрейки —
кто их к черту разберет!
Нет на прорву карантина —
мандолинят из-под стен:
«Тара-тина, тара-тина,
т-эн-н...»
Неважная честь,
чтоб из этаких роз
мои изваяния высились
по скверам,
где харкает туберкулез,
где б... с хулиганом
да сифилис.
И мне

агитпроп
в зубах навяз,
и мне бы
строчить
романсы на вас —
доходней оно
и прелестней.
Но я
себя
смирять,
становясь на горло
собственной песне.
Слушайте,
товарищи потомки,
агитатора,
горлана-главаря.
Заглуша
поэзии потоки,
я шагну
через лирические томики,
как живой
с живыми говоря.
Я к вам приду
в коммунистическое далеко
не так,
как песенно-есененный провитязь.
Мой стих дойдет
через хребты веков
и через головы
поэтов и правительств.

Мой стих дойдет,
но он дойдет не так, —
не как стрела
в амурно-лировой охоте,
не как доходит
к нумизмату стершийся пятак
и не как свет умерших звезд доходит.

Мой стих
громаду лет прорвет
и явится
весомо,
грубо,
зримо,
как в наши дни
вошел водопровод,
сработанный
еще рабами Рима,
В курганах книг,
похоронивших стих,
железки строк случайно обнаруживая,
вы
с уважением
ощупывайте их,
как старое,
но грозное оружие.
Я
ухо
словом
не привык ласкать;
ушку девическому

в завиточках волоска
с полупохабщины
не разалеться тронуту.
Парадом развернув
моих страниц войска,
я прохожу
по строчечному фронту.
Стихи стоят
свинцово-тяжело,
готовые и к смерти
и к бессмертной славе.
Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацеленных
зияющих заглавий.
Оружия
любимейшего
род,
готовая
рвануться в гике,
застыла
кавалерия острот,
поднявши рифм
отточенные пики.
И все
поверх зубов вооруженные войска,
что двадцать лет в победах
пролетали,
до самого
последнего листка

я отдаю тебе,
планеты пролетарий.
Рабочего
громады класса враг —
он враг и мой,
отъявленный и давний.
Велели нам
идти
под красный флаг
года труда
и дни недоеданий.
Мы открывали
Маркса
каждый том,
как в доме
собственном
мы открываем ставни,
но и без чтения
мы разбирались в том,
в каком идти,
в каком сражаться стане.

Мы
диалектику
учили не по Гегелю.
Бряцанием боев
она врывалась в стих,
когда
под пулями
от нас буржуи бегали,
как мы

когда-то
бегали от них.
Пускай
за гениями
безутешною вдовой
плетется слава
в похоронном марше —
умри, мой стих,
умри, как рядовой,
как безымянные
на штурмах мерли наши!
Мне наплевать
на бронзы многопудье,
мне наплевать
на мраморную слизь.
Сочтемся славою —
ведь мы свои же люди, —
пускай нам
общим памятником будет
построенный
в боях
социализм.
Потомки,
словарей проверьте поплавки:
из Леты
выплывут
остатки слов таких,
как «проституция»,
«туберкулез»,
«блокада».

Для вас,
которые
здоровы и ловки,
поэт
вылизывал
чахоткины плевки
шершавым языком плаката.
С хвостом годов
я становлюсь подобием чудовищ
ископаемо-хвостатых.
Товарищ жизнь,
давай быстрее протопаем,
протопаем
по пятилетке
дней остаток.
Мне
и рубля
не накопили строчки,
краснодеревщики
не слали мебель на дом.
И кроме
свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
мне ничего не надо.
Явившись
в Це Ка Ка
идущих
светлых лет,
над бандой
поэтических

рвачей и выжиг
я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
моих
партийных книжек.

Декабрь 1929 – январь 1930

Стихотворения

НОЧЬ

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.

Бульварам и площади было не странно
увидеть на зданиях синие тоги.
И раньше бегущим, как желтые раны,
огни обручали браслетами ноги.

Толпа – пестрошерстая быстрая кошка —
плыла, изгибаясь, дверями влекома;
каждый хотел протащить хоть немножко
громаду из смеха отлитого кома.

Я, чувствуя платья зовущие лапы,
в глаза им улыбку протиснул; пугая
ударами в жечь, хохотали арапы,
над лбом расцветивши крыло попугая.

УТРО

Угрюмый дождь скосил глаза.
А за
решеткой
четкой
железной мысли проводов —
перина.
И на
нее
встающих звезд
легко оперлись ноги
Но ги-
бель фонарей,
царей
в короне газа,
для глаза
сделала больней
враждующий букет бульварных проституток.
И жуток
шуток
клюющий смех —
из желтых
ядовитых роз
возрос
зигзагом.
За гам

и жуть
взглянуть
отрадно глазу:
раба
крестов
страдающе-спокойно-безразличных,
гроба
домов
публичных
восток бросал в одну пылающую вазу.

1912

ПОРТ

Простыни вод под брюхом были.
Их рвал на волны белый зуб.
Был вой трубы – как будто лили
любовь и похоть медью труб.
Прижались лодки в люльках входов
к сосцам железных матерей.
В ушах оглохших пароходов
горели серьги якорей.

1912

ИЗ УЛИЦЫ В УЛИЦУ

У-

лица.

Лица

у

догов

годов

рез-

че.

Че-

рез

железных коней

с окон бегущих домов

прыгнули первые кубы.

Лебеди шей колокольных,

гнитесь в силках проводов!

В небе жирафий рисунок готов

выпестрить ржавые чубы.

Пестр, как форель,

сын

безузорной пашни.

Фокусник

рельсы

тянет из пасти трамвая,

скрыт циферблатами башни.

Мы завоеваны!

Ванны.
Души.
Лифт.
Лиф души расстегнули.
Тело жгут руки.
Кричи, не кричи:
«Я не хотела!» —
резок
жгут
муки.
Ветер колючий
трубе
вырывает
дымчатой шерсти клочок.
Лысый фонарь
сладоострастно снимает
с улицы
черный чулок.

1913

А ВЫ МОГЛИ БЫ?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.

На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.

А вы

ноктюрн сыграть

могли бы

на флейте водосточных труб?

1913

ВЫВЕСКАМ

Читайте железные книги!
Под флейту золоченой буквы
полезут копченые сиги
и золотокудрые брюквы.

А если веселостью песьей
закружат созвездия «Магги» —
бюро похоронных процессий
свои проведут саркофаги.

Когда же, хмур и плачевен,
загасит фонарные знаки,
влюбляйтесь под небом харчевен
в фаянсовых чайников маки!

1913

Я

1

По мостовой
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жестких фраз пяты.
Где города
повешены
и в петле облака
застыли
башен
кривые выи —
иду
один рыдать,
что перекрестком
распяты
городовые.

2

Несколько слов о моей жене

Морей неведомых далеким пляжем
идет луна —
жена моя.
Моя любовница рыжеволосая.

За экипажем
крикливо тянется толпа созвездий пестрополосая.
Венчается автомобильным гаражом,
целуется газетными киосками,
а шлейфа млечный путь моргающим пажем
украшен мишурными блестками.

А я?

Несло же, палимому, бровей коромысло
из глаз колодцев студеные ведра.

В шелках озерных ты висла,
янтарной скрипкой пели бедра?

В края, где злоба крыш,
не кинешь блесткой лесни.

В бульварах я тону, тоской песков оваян:

ведь это ж дочь твоя —

моя песня

в чулке ажурном

у кофеен!

3

Несколько слов о моей маме

У меня есть мама на васильковых обоях.

А я гуляю в пестрых павах,

вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу.

Заиграет вечер на гобоях ржавых,

подхожу к окошку,

веря,

что увижу опять

севшую

на дом

тучу.

А у мамы больной
пробегают народа шорохи
от кровати до угла пустого.

Мама знает —

это мысли сумасшедшей ворохи
вылезают из-за крыш завода Шустова.

И когда мой лоб, венчаный шляпой фетровой,
окровавит гаснущая рама,

я скажу,

раздвинув басом ветра вой:

"Мама.

Если станет жалко мне

вазы вашей муки,

сбитой каблуками облачного танца, —

кто же изласкает золотые руки,

вывеской заломленные у витрин Аванцо?.."

4

Несколько слов обо мне самом

Я люблю смотреть, как умирают дети.

Вы прибоя смеха мгlistый вал заметили
за тоски хоботом?

А я —

в читальне улиц —

так часто перелистывал гроба том.

Полночь

промокшими пальцами щупала

меня
и забитый забор,
и с каплями ливня на лысине купола
скакал сумасшедший собор.
Я вижу, Христос из иконы бежал,
хитона оветренный край
целовала, плача, слякоть.
Кричу кирпичу,
слов исступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:
"Солнце!
Отец мой!
Сжался хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою
дольней.
Это душа моя
ключьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!
Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!"

1913

ОТ УСТАЛОСТИ

Земля!

Дай исцелю твою лысеющую голову
лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот.

Дымом волос над пожарами глаз из олова
дай обовью я впалые груди болот.

Ты! Нас – двое,

ораненных, загнанных ланями,

вздыбилось ржанье оседланных смертью коней,

Дым из-за дома догонит нас длинными дланями,
мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней.

Сестра моя!

В богадельнях идущих веков,

может быть, мать мне сыщется;

бросил я ей окровавленный песнями рог.

Квакая, скачет по полю

канава, зеленая сыщица,

нас заневолить

веревками грязных дорог.

1913

АДИЩЕ ГОРОДА

Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светами адки.
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки.

А там, под вывеской, где сельди из Керчи —
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечереющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.

В дырах небоскребов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз —
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.

И тогда уже – скомкав фонарей одеяла —
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.

НАТЕ!

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я – бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озверевает, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется – и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я – бесценных слов транжир и мот.

НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ

Вошел к парикмахеру, сказал – спокойный:

«Будьте добры, причешите мне уши».

Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,
лицо вытянулось, как у груши.

"Сумасшедший!

Рыжий!" —

запрыгали слова.

Ругань металась от писка до писка,

и до-о-о-о-лго

хихикала чья-то голова,

выдергиваясь из толпы, как старая редиска.

1913

КОФТА ФАТА

Я сошью себе черные штаны
из бархата голоса моего.
Желтую кофту из трех аршин заката.
По Невскому мира, по лощеным волосам его,
профланирую шагом Дон-Жуана и фата.

Пусть земля кричит, в покое обабившись:
«Ты зеленые весны идешь насиловать!»
Я брошу солнцу, нагло ослабившись:
«На глади асфальта мне хорошо грассировать!»

Не потому ли, что небо голубо,
а земля мне любовница в этой праздничной чистке,
я дарю вам стихи, веселые, как би-ба-бо,
и острые и нужные, как зубочистки!

Женщины, любящие мое мясо, и эта
девушка, смотрящая на меня, как на брата,
закидайте улыбками меня, поэта, —
я цветами нашью их мне на кофту фата!

ПОСЛУШАЙТЕ!

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают —
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
Значит – кто-то называет эти плевочки
жемчужиной?

И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную муку!

А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
"Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!"

Послушайте!

Ведь, если звезды

зажигают —
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

1914

А ВСЕ-ТАКИ

Улица провалилась, как нос сифилитика.
Река – сладострастье, растекшееся в слюни.
Отбросив белье до последнего листика,
сады похабно развалились в июне.

Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик.
Людам страшно – у меня изо рта
шевелит ногами непрожеванный крик.

Но меня не осудят, но меня не облают,
как пророку, цветами устелят мне след.
Все эти, провалившиеся носами, знают:
я – ваш поэт.

Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!
Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках понесут
и покажут богу в свое оправдание.

И бог заплачет над моею книжкой!
Не слова – судороги, слипшиеся комом;
и побежит по небу с моими стихами под мышкой
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.

1914

ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА

"Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!"
И на площадь, мрачно очерченную чернью,
багровой крови пролилась струя!

Морду в кровь разбила кофейня,
зверьим криком багрима:
"Отравим кровью игры Рейна!
Громами ядер на мрамор Рима!"

С неба, изодранного о штыков жала,
слезы звезд просеивались, как мука в сите,
и подошвами сжатая жалость визжала:
«Ах, пустите, пустите, пустите!»

Бронзовые генералы на граненом цоколе
молили: «Раскуйте, и мы поедем!»
Прощающейся конницы поцелуи цокали,
и пехоте хотелось к убийце – победе.

Громоздящемуся городу уродился во сне
хохочущий голос пушечного баса,
а с запада падает красный снег
сочными клочьями человеческого мяса.

Вздувается у площади за ротой рота,
у злящейся на лбу вздуваются вены.
"Постойте, шашки о шелк кокоток
вытрем, вытрем в бульварах Вены!"

Газетчики надрывались: "Купите вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!"
А из ночи, мрачно очерченной чернью,
багровой крови лилась и лилась струя.

20 июля 1914 г.

МАМА И УБИТЫЙ НЕМЦАМИ ВЕЧЕР

По черным улицам белые матери
судорожно простерлись, как по гробу газет.
Вплакались в орущих о побитом неприятеле:
«Ах, закройте, закройте глаза газет!»

Письмо.

Мама, громче!

Дым.

Дым.

Дым еще!

Что вы мямлите, мама, мне?

Видите —

весь воздух вымощен

громыхающим под ядрами камнем!

Ма-а-а-ма!

Сейчас притащили израненный вечер.

Крепился долго,

кургузый,

шершавый,

и вдруг, —

надломивши тучные плечи,

расплакался, бедный, на шее Варшавы

Звезды в платочках из синего ситца
визжали:
"Убит,
дорогой,
дорогой мой!"
И глаз новолуния страшно косится
на мертвый кулак с зажатой обоймой.
Сбежались смотреть литовские села,
как, поцелуем в обрубок вкована,
слезя золотые глаза костелов,
пальцы улиц ломала Ковна.
А вечер кричит,
безногий,
безрукий:
"Неправда,
я еще могу-с —
хе! —
выбряцав шпоры в горящей мазурке,
выкрутить русский ус!"

Звонок.

Что вы,
мама?
Белая, белая, как на гробе газет.
"Оставьте!
О нем это,
об убитом, телеграмма.
Ах, закройте,
закройте глаза газет!"

1914

СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО

Скрипка издергалась, упрасивая,
и вдруг разревелась

так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»

А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.

Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка

без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:

«Что это?»
«Как это?»

А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:

"Дура,
плакса,
вытри!" —

я встал,
шатаюсь полз через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
бросился на деревянную шею:
"Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!"
Музыканты смеются:
"Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!"
А мне – наплевать!
Я – хороший.
"Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?"

1914

Я И НАПОЛЕОН

Я живу на Большой Пресне,
36, 24.

Место спокойненькое.

Тихонькое.

Ну?

Кажется – какое мне дело,
что где-то
в буре-мире
взяли и выдумали войну?

Ночь пришла.

Хорошая.

Вкрадчивая.

И чего это барышни некоторые
дрожат, пугливо поворачивая
глаза громадные, как прожекторы?
Уличные толпы к небесной влаге
припали горящими устами,
а город, вытрепав ручонки-флаги,
молится и мелится красными крестами.
Простоволосая церковка бульварному изголовью
припала, —набитый слезами куль, —
а у бульвара цветники истекают кровью,
как сердце, изодранное пальцами пуль.
Тревога жиреет и жиреет,

жрет зачерстевший разум.
Уже у Ноева оранжереи
покрылись смертельно-бледным газом!
Скажите Москве —
пускай удержится!
Не надо!
Пусть не трясется!
Через секунду
встречу я
неб самодержца, —
возьму и убью солнце!
Видите!
Флаги по небу полощет.
Вот он!
Жирен и рыж.
Красным копытом грохнув о площадь,
въезжает по трупам крыш!

Тебе,
орущему:
"Разрушу,
разрушу!",
вырезавшему ночь из окровавленных карнизов,
я,
сохранивший бесстрашную душу,
бросаю вызов!

Идите, изъеденные бессонницей,
сложите в костер лица!
Все равно!

Это нам последнее солнце —
солнце Аустерлица!

Идите, сумасшедшие, из России, Польши.
Сегодня я – Наполеон!
Я полководец и больше.
Сравните:
я и – он!

Он раз чуме приблизился троном,
смелостью смерть поправ, —
я каждый день иду к зачумленным
по тысячам русских Яфф!
Он раз, не дрогнув, стал под пули
и славится столетий сто, —
а я прошел в одном лишь июле
тысячу Аркольских мостов!
Мой крик в граните времени выбит,
и будет греметь и гремит,
оттого, что
в сердце, выжженном, как Египет,
есть тысяча тысяч пирамид!
За мной, изъеденные бессонницей!
Выше!
В костер лица!
Здравствуй,
мое предсмертное солнце,
солнце Аустерлица!

Люди!

Будет!
На солнце!
Прямо!
Солнце съжится аж!
Громче из сжатого горла храма
хрипи, похоронный марш!
Люди!
Когда канонизируете имена
погибших,
меня известней, —
помните:
еще одного убила война —
поэта с Большой Пресни!

1915

ВАМ!

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваετε Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре блядям буду
подавать ананасную воду!

ГИМН СУДЬЕ

По Красному морю плывут каторжане,
трудом выгребая галеру,
рыком покрыв кандальное ржанье,
орут о родине Перу.

О рае Перу орут перуанцы,
где птицы, танцы, бабы
и где над венцами цветов померанца
были до небес баобабы.

Банан, ананасы! Радостей груды!
Вино в запечатанной посуде...
Но вот неизвестно зачем и откуда
на Перу наперли судьи!

И птиц, и танцы, и их перуанок
кругом обложили статьями.
Глаза у судьи – пара жестянок
мерцает в помойной яме.

Попал павлин оранжево-синий
под глаз его строгий, как пост, —
и вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!

А возле Перу летали по прерии
птички такие – колибри;
судья поймал и пух и перья
бедной колибри выбрил.

И нет ни в одной долине ныне
гор, вулканом горящих.
Судья написал на каждой долине:
«Долина для некурящих».

В бедном Перу стихи мои даже
в запрете под страхом пыток.
Судья сказал: "Те, что в продаже,
тоже спиртной напиток".

Экватор дрожит от кандальных звонов.
А в Перу бесптичье, безлюдье...
Лишь, злобно забившись под своды законов,
живут унылые судьи.

А знаете, все-таки жаль перуанца.
Зря ему дали галеру.
Судьи мешают и птице, и танцу,
и мне, и вам, и Перу.

ГИМН УЧЕНОМУ

Народонаселение всей империи —
люди, птицы, сороконожки,
ощетинив щетину, выперев перья,
с отчаянным любопытством висят на окошке.

И солнце интересуется, и апрель еще,
даже заинтересовало трубочиста черного
удивительное, необыкновенное зрелище —
фигура знаменитого ученого.

Смотрят: и ни одного человеческого качества.
Не человек, а двуногое бессилие,
с головой, откусанной начисто
трактатом «О бородавках в Бразилии».

Вгрызлись в букву едящие глаза, —
ах, как букву жалко!
Так, должно быть, жевал вымирающий ихтиозавр
случайно попавшую в челюсти фиалку.

Искривился позвоночник, как оглоблей ударенный,
но ученому ли думать о пустяковом изъяне?
Он знает отлично написанное у Дарвина,
что мы – лишь потомки обезьяны.

Просочится солнце в крохотную щелку,
как маленькая гноящаяся ранка,
и спрячется на пыльную полку,
где громоздится на банке банка.

Сердце девушки, вываренное в йоде.
Окаменелый обломок позапрошлого лета.
И еще на булавке что-то вроде
засушенного хвоста небольшой кометы.

Сидит все ночи. Солнце из-за домишки
опять ослабилось на людские безобразия,
и внизу по тротуарам опять приготовишки
деятельно ходят в гимназии.

Проходят красноухие, а ему не нудно,
что растет человек глуп и покорен;
ведь зато он может ежесекундно
извлекать квадратный корень.

1915

ВОЕННО-МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ

По морям, играя, носится
с миноносцем миноносица.

Льнет, как будто к меду осочка,
к миноносцу миноносочка.

И конца б не довелось ему,
благодарушкой миноносьюему.

Вдруг прожектор, вздев на нос очки,
впился в спину миноносочки.

Как взревет медноголосина:
«Р-р-р-астакая миноносина!»

Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,
а сбежала миноносица.

Но ударить удалось ему
по ребру по миноносьюему.

Плач и вой морями носится:
овдовела миноносица.

И чего это несносен нам

мир в семействе миноносином?

1915

ГИМН ЗДОРОВЬЮ

Среди тонконогих, жидких кровью,
трудом поворачивая шею бычью,
на сытый праздник тучному здоровью
людей из мяса я зычно кличу!

Чтоб бешеной пляской землю овить,
скучную, как банка консервов,
давайте весенних бабочек ловить
сетью ненужных нервов!

И по камням острым, как глаза ораторов,
красавцы-отцы здоровых томов,
поташим мордами умных психиатров
и бросим за решетки сумасшедших домов!

А сами сквозь город, иссохший как Онания,
с толпой фонарей желтолицых, как скопцы,
голодным самкам накормим желания,
поросшие шерстью красавцы-самцы!

ГИМН КРИТИКУ

От страсти извозчика и разговорчивой прачки
невзрачный детеныш в результате вытек.
Мальчик – не мусор, не вывезешь на тачке.
Мать поплакала и назвала его: критик.

Отец, в разговорах вспоминая родословные,
любил поспорить о правах материнства.
Такое воспитание, светское и салонное,
оберегало мальчика от уклона в свинство.

Как роется дворником к кухарке сапа,
щебетала мамаша и кальсоны мыла;
от мамыши мальчик унаследовал запах
и способность вникать легко и без мыла.

Когда он вырос приблизительно с полено
и веснушки рассыпались, как рыжики на блюде,
его изящным ударом колена
повели на улицу, чтобы вышел в люди.

Много ль человеку нужно? – Клочок —
небольшие штаны и что-нибудь из хлеба.
Он носом, хорошеньким, как построчный пяточок,
обнюхал приятное газетное небо.

И какой-то обладатель какого-то имени
нежнейший в двери услышал стук.
И скоро критик из имениного вымени
выдоил и брюки, и булку, и галстук.

Легко смотреть ему, обутому и одетому,
молодых искателей изысканные игры
и думать: хорошо – ну, хотя бы этому
потрогать зубенками шальные икры.

Но если просочится в газетной сети
о том, как велик был Пушкин или Дант,
кажется, будто разлагается в газете
громадный и жирный официант.

И когда вы, наконец, в столетний юбилей
продерете глазки в кадильной гари,
имя его первое, голубицы белей,
чисто засияет на поднесенном портсигаре.

Писатели, нас много. Собирайте миллион.
И богадельню критикам построим в Ницце.
Вы думаете – легко им наше белье
ежедневно прополаскивать в газетной странице!

ГИМН ОБЕДУ

Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
и тысячи блюдищ всяческой пищи.

Если ударами ядр
тысячи Реймсов разбить удалось бы —
по-прежнему будут ножи у пулярд,
и дышать по-прежнему будет ростбиф!

Желудок в панаме! Тебя ль заразят
величием смерти для новой эры?!
Желудку ничем болеть нельзя,
кроме аппендицита и холеры!

Пусть в сале совсем потонут зрачки —
все равно их зря отец твой выделал;
на слепую кишку хоть надень очки,
кишка все равно ничего б не видела.

Ты так не хуже! Наоборот,
если б рот один, без глаз, без затылка —
сразу могла б поместиться в рот
целая фаршированная тыква.

Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
а дети твои у тебя на брюхе
будут играть в крокет.

Спи, не тревожась картиной крови
и тем, что пожаром мир опоясан, —
молоком богаты силы коровьи,
и безмерно богатство бычьего мяса.

Если взрежется последняя шея бычья
и знак последний с камня серого,
ты, верный раб твоего обычая,
из звезд сфабрикуешь консервы.

А если умрешь от котлет и бульонов,
на памятнике прикажем высечь:
"Из стольких-то и стольких-то котлет миллионов —
твоих четыреста тысяч".

1915

ВОТ ТАК Я И СДЕЛАЛСЯ СОБАКОЙ

Ну, это совершенно невыносимо!
Весь как есть искусан злобой.
Злюсь не так, как могли бы вы:
как собака лицо луны гололобой —
взял бы
и все обвыл.

Нервы, должно быть...
Выйду,
погуляю.
И на улице не успокоился ни на ком я.
Какая-то прокричала про добрый вечер.
Надо ответить:
она — знакомая.
Хочу.
Чувствую —
не могу по-человечьи.

Что это за безобразия!
Сплю я, что ли?
Ощупал себя:
такой же, как был,
лицо такое же, к какому привык.

Тронул губу,
а у меня из-под губы —
клык.

Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь.
Бросился к дому, шаги удвоив.
Бережно огибаю полицейский пост,
вдруг оглушительное:
"Городовой!
Хвост!"

Провел рукой и – остолбенел!
Этого-то,
всяких клыков почище,
я и не заметил в бешеном скачке:
у меня из-под пиджака
развеерился хвостик
и вьется сзади,
большой, собачий.

Что теперь?
Один заорал, толпу растя.
Второму прибавился третий, четвертый.
Смяли старушонку.
Она, крестясь, что-то кричала про черта.

И когда, оцетинив в лицо усища-веники,
толпа навалилась,
огромная,
злая,

я стал на четвереньки
и залаял:
Гав! гав! гав!

1915

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ НЕЛЕПОСТИ

Бросьте!

Конечно, это не смерть.

Чего ей ради ходить по крепости?

Как вам не стыдно верить
нелепости?!

Просто именинник устроил карнавал,

выдумал для шума стрельбу и тир,

а сам, по-жабьи присев на вал,

вымаргивается, как из мортир.

Ласков хозяина бас,

просто – похож на пушечный.

И не от газа маска,

а ради шутки игрушечной.

Смотрите!

Небо мерить

выбежала ракета.

Разве так красиво смерть

бежала б в небе паркета!

Ах, не говорите:

«Кровь из раны».

Это – дико!

Просто избранных из бранных

одаривали гвоздикой.

Как же иначе?

Мозг не хочет понять
и не может:
у пушечных шей
если не целоваться,
то – для чего же
обвиты руки траншей?
Никто не убит!
Просто – не выстоял.
Лег от Сены до Рейна.
Оттого что цветет,
одуряет желтолистая
на клумбах из убитых гангрена.
Не убиты,
нет же,
нет!
Все они встанут
просто —
вот так,
вернутся
и, улыбаясь, расскажут жене,
какой хозяин весельчак и чудак.
Скажут: не было ни ядр, ни фугасов
и, конечно же, не было крепости!
Просто именинник выдумал массу
каких-то великолепных нелепостей!

ГИМН ВЗЯТКЕ

Пришли и славословим покорненько
тебя, дорогая взятка,
все здесь, от младшего дворника
до того, кто в золото заткан.

Всех, кто за нашей десницей
посмеет с укором глаза весть,
мы так, как им и не снится,
накажем мерзавцев за зависть.

Чтоб больше не смела вздыматься хула,
наденем мундиры и медали
и, выдвинув вперед убедительный кулак,
спросим: «А это видали?»

Если сверху смотреть – разинешь рот.
И зыграет от радости каждая мышца.
Россия – сверху – прямо огород,
вся наливается, цветет и пышится.

А разве видано где-нибудь, чтоб стояла коза
и лезть в огород козе лень?..
Было бы время, я б доказал,
которые – коза и зелень.

И нечего доказывать – идите и берите.
Умолкнет газетная нечисть ведь.
Как баранов, надо стричь и брить их.
Чего стесняться в своем отечестве?

1915

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЗЯТОЧНИКАМ

Неужели и о взятках писать поэтам!
Дорогие, нам некогда. Нельзя так.
Вы, которые взяточники,
хотя бы поэтому,
не надо, не берите взяток.
Я, выколачивающий из строчек штаны, —
конечно, как начинающий, не очень часто,
я — еще и российский гражданин,
беззаветно чтущий и чиновника и участок.
Прихожу и выплакиваю все мои просьбы,
приникши щекою к светлому кителю.
Думает чиновник: "Эх, удалось бы!
Этак на двести птичку вытелю".
Сколько раз под сень чиновник,
приносил обиды им.
"Эх, удалось бы, — думает чиновник, —
этак на триста бабочку выдоим".
Я знаю, надо и двести и триста вам —
возьмут, все равно, не те, так эти;
и руганью ни одного не обижу пристава:
может быть, у пристава дети.
Но лишний труд — доить поодиночно,
вы и так ведете в работе года.

Вот что я выдумал для вас нарочно —
Господа!

Взломайте шкапы, сундуки и ларчики,
берите деньги и драгоценности мамшины,
чтоб последний мальчонка в потненьком кулачике
зажал сбереженный рубль бумажный.

Костюмы соберите. Чтоб не было рваных.
Мамаша! Вытряхивайтесь из шубы беличьей!

У старых брюк обшарьте карманы —
в карманах копеек на сорок мелочи.

Все это узлами уложим и свяжем,
а сами, без денег и платья,
придем, поклонимся и скажем:

Нате!

Что нам деньги, транжирам и мотам!
Мы даже не знаем, куда нам деть их.

Берите, милые, берите, чего там!

Вы наши отцы, а мы ваши дети.

От холода не попадая зубом на зуб,
станем голые под голые небеса.

Берите, милые! Но только сразу,

Чтоб об этом больше никогда не писать.

ЧУДОВИЩНЫЕ ПОХОРОНЫ

Мрачные до черного вышли люди,
тяжко и чинно выстроились в городе,
будто сейчас набираться будет
хмурых монахов черный орден.

Траур воронов, выкаймленный под окна,
небо, в бурю крашеное, —
все было так подобрано и подогнано,
что волей-неволей ждалось страшное.

Тогда разверзлась, кряхтя и нехотя,
пыльного воздуха сухая охра,
вылез из воздуха и начал ехать
тихий катафалк чудовищных похорон.

Встревоженная ожила глаз масса,
гору взоров в гроб бросили.
Вдруг из гроба прыснула гримаса,
после —

крик: «Хоронят умерший смех!» —
из тысячегрудного меха
гремел омиллионенный множеством эх
за гробом, который ехал.

И тотчас же отчаяннейшего плача ножи
врезались, заставив ничего не понимать.
Вот за гробом, в плаче, старуха-жизнь, —
усопшего смеха седая мать.

К кому же, к кому вернуться назад ей?
Смотрите: в лысине – тот —
это большой, носатый
плачет армянский анекдот.

Еще не забылось, как выкривил рот он,
а за ним ободранная, куцая,
визжа, бежала острота.
Куда – если умер – уткнуться ей?

Уже до неба плачей глыба.
Но еще,
еще откуда-то плачики —
это целые полчища улыбочек и улыбок
ломали в горе хрупкие пальчики.

И вот сквозь строй их, смокших в один
сплошной изрыдавшийся Гаршин,
вышел ужас – вперед пойти —
весь в похоронном марше.

Размокло лицо, стало – кашлица,
смятая морщинками на выхмуренном лбу,
а если кто смеется – кажется,
что ему разодрали губу.

1915

Эй!

Мокрая, будто ее облизали,
толпа.

Прокисший воздух плесенью веет.

Эй!

Россия,

нельзя ли

чего поновее?

Блажен, кто хоть раз смог,

хотя бы закрыв глаза,

забыть вас,

ненужных, как насморк,

и трезвых,

как нарзан.

Вы все такие скучные, точно
во всей вселенной нету Капри.

А Капри есть.

От сияний цветочных

весь остров, как женщина в розовом капоре.

Помчим поезда к берегам, а берег

забудем, качая тела в парходах.

Наоткрываем десятки Америк.

В неведомых полюсах вынежим отдых.

Смотри, какой ты ловкий,
а я —
вон у меня рука груба как.
Быть может, в турнирах,
быть может, в боях
я был бы самый искусный рубака.

Как весело, сделав удачный удар,
смотреть, растопырил ноги как.
И вот врага, где предки,
туда
отправила шпаги логика.

А после в огне раззолоченных зал,
забыв привычку спанья,
всю ночь напролет провести,
глаза
уткнув в желтоглазый коньяк.

И, наконец, ошетинясь, как еж,
с похмелья придя поутру,
неверной любимой грозить, что убьешь
и в море выбросишь труп.

Сорвем ерунду пиджаков и манжет,
крахмальные груди раскрасим под панцирь,
загнем рукоять на столовом ноже,
и будем все хоть на день, да испанцы.

Чтоб все, забыв свой северный ум,
любились, дрались, волновались.

Эй!

Человек,
землю саму
зови на вальс!

Возьми и небо заново вышей,
новые звезды придумай и выставь,
чтоб, исступленно царапая крыши,
в небо карабкались души артистов.

1916

КО ВСЕМУ

Нет.

Это неправда.

Нет!

И ты?

Любимая,

за что,

за что же?!

Хорошо —

я ходил,

я дарил цветы,

я ж из ящика не выкрал серебряных
ложек!

Белый,

сшатался с пятого этажа.

Ветер щеки ожег.

Улица клубилась, визжа и ржа.

Похотливо взлазил рожок на рожок.

Вознес над суетой столичной одури
строгое —

древних икон —

чело.

На теле твоём — как на смертном одре —
сердце

дни

кончило.

В грубом убийстве не пачкала рук ты.

Ты

уронила только:

"В мягкой постели

он,

фрукты,

вино на ладони ночного столика".

Любовь!

Только в моем

воспаленном

мозгу была ты!

Глупой комедии остановите ход!

Смотрите —

срываю игрушки-латы

я,

величайший Дон-Кихот!

Помните:

под ношей креста

Христос

секунду

усталый стал.

Толпа орала:

"Марала!

Мааарррааала!"

Правильно!

Каждого,
кто
об отдыхе взмолится,
оплюй в его весеннем дне!
Армии подвижников, обреченным добровольцам
от человека пощады нет!

Довольно!

Теперь – моей языческой силою! —
дайте
любую
красивую,
юную, —
души не растрочу,
изнасилую
и в сердце насмешку плюну ей!

Око за око!

Севы мести в тысячу крат жизни!
В каждое ухо ввой:
вся земля —
каторжник
с наполовину выбритой солнцем головой!

Око за око!

Убьете,
похороните —

выроюсь!

Об камень обточатся зубов ножи еще!

Собакой забьюсь под нары казарм!

Буду,

бешеный,

вгрызаться в ножища,

пахнущие потом и базаром.

Ночью вскочите!

Я

звал!

Белым быком возрос над землей:

Муууу!

В ярмо замучена шея-язва,

над язвой смерчи мух.

Лосем обернусь,

в провода

впутаю голову ветвистую

с налитыми кровью глазами.

Да!

Затравленным зверем над миром выстою.

Не уйти человеку!

Молитва у рта, —

лег на плиты просящ и грязен он.

Я возьму

намалюю

на царские врата

на божьем лице Разина.

Солнце! Лучей не кинь!
Сохните, реки, жажду утолить не дав ему, —
чтоб тысячами рождались мои ученики
трубить с площадей анафему!
И когда,
наконец,
на веков верхи став,
последний выйдет день им, —
в черных душах убийц и анархистов
зажгусь кровавым видением!

Светает.
Все шире разверзается неба рот.
Ночь
пьет за глотком глоток он.
От окон зарево.
От окон жар течет.
От окон густое солнце льется на спящий
город.

Святая месть моя!
Опять
над уличной пылью
ступенями строк ввысь поведи!
До края полное сердце
вылью
в исповеди!

Грядущие люди!

Кто вы?

Вот – я,

весь

боль и ушиб.

Вам завещаю я сад фруктовый
моей великой души.

1916

ЛИЛИЧКА!

Вместо письма
Дым табачный воздух выел.
Комната —
глава в крученыховском аде.
Вспомни —
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще —
выгонишь,
может быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.
Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
Все равно

любовь моя —
тяжкая гиря ведь —
висит на тебе,
куда ни бежала б.
Дай в последнем крике вырветь
горечь обиженных жалоб.
Если быка трудом уморят —
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.
Захочет покоя уставший слон —
царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.
Если б так поэта измучила,
он
любимую на деньги б и славу выменял,
а мне
ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.
И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,

не властно лезвие ни одного ножа.
Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растреплет страницы моих книжек...
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?
Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.

26 мая 1916 г. Петроград

НАДОЕЛО

Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет.
Опять,
тоскою к людям ведомый,
иду
в кинематографы, в трактиры, в кафе.

За столиком.
Сияние.
Надежда сияет сердцу глупому.
А если за неделю
так изменился россиянин,
что щеки сожгу огнями губ ему.

Осторожно поднимаю глаза,
роюсь в пиджачной куче.
"Назад,
наз-зад,
назад!"
Страх орет из сердца.
Мечется по лицу, безнадежен и скучен.

Не слушаюсь.
Вижу,
вправо немножко,

неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,
старательно работает над телячьей ножкой
загадочнейшее существо.

Глядишь и не знаешь: ест или не ест он.
Глядишь и не знаешь: дышит или не дышит он.
Два аршина безликого розоватого теста!
хоть бы метка была в уголочке вышита.

Только колышутся спадающие на плечи
мягкие складки лоснящихся щек.
Сердце в исступлении,
рвет и мечет.
"Назад же!
Чего еще?"

Влево смотрю.
Рот разинул.
Обернулся к первому, и стало иначе:
для увидевшего вторую образину
первый —
воскресший Леонардо да Винчи.

Нет людей.
Понимаете
крик тысячедневных мук?
Душа не хочет немая идти,
а сказать кому?

Брошусь на землю,

камня корою
в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая.
Истомившимися по ласке губами
тысячью поцелуев покрою
умную морду трамвая.

В дом уйду.
Прилипну к обоям.
Где роза есть нежнее и чайнее?
Хочешь —
тебе
рябое
прочту «Простое как мычание»?

Для истории

Когда все расселятся в раю и в аду,
земля итогами подведена будет —
помните:
в 1916 году
из Петрограда исчезли красивые люди.

1916

ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА

Женщину ль опутываю в трогательный роман,
просто на прохожего гляжу ли —
каждый опасливо придерживает карман.

Смешные!

С нищих —

что с них сжулить?

Сколько лет пройдет, узнают пока —
кандидат на сажень городского морга —

я

бесконечно больше богат,
чем любой Пьерпонт Морган.

Через столько-то, столько-то лет

— словом, не выживу —

с голода сдохну ль,

стану ль под пистолет —

меня,

сегодняшнего рыжего,

профессора разучат до последних йот,

как,

когда,

где явлен.

Будет

с кафедры лобастый идиот

что-то молоть о богодьяволе.

Склонится толпа,
лебезяща,
суетна.
Даже не узнаете —
я не я:
облысевшую голову разрисует она
в рога или в сияния.

Каждая курсистка,
прежде чем лечь,
она
не забудет над стихами моими замлеть.
Я – пессимист,
знаю —
вечно
будет курсистка жить на земле.
Слушайте ж:
все, чем владеет моя душа,
– а ее богатства пойдите смерти ей! —
великолепие,
что в вечность украсит мой шаг,
и самое мое бессмертие,
которое, громяхая по всем векам,
коленипреклоненных соберет мировое вече, —
все это – хотите? —
сейчас отдам
за одно только слово
ласковое,

человечье.

Люди!

Пыля проспекты, топоча рожь,
идите со всего земного лона.

Сегодня

в Петрограде

на Надеждинской

ни за грош

продается драгоценнейшая корона.

За человеческое слово —

не правда ли, дешево?

Пойди,

попробуй, —

как же,

найдешь его!

1916

ХВОИ

Не надо.
Не просите.
Не будет елки.
Как же
в лес
отпустите папу?
К нему
из-за леса
ядер осколки
протянут,
чтоб взять его,
хищную лапу.
Нельзя.
Сегодня
горящие блески
не будут лежать
под елкой
в вате.
Там —
миллион смертоносных осок,
ужалят,
а раненым ваты не хватит.
Нет.
Не зажгут.
Свечей не будет.

В море
железные чудища лазят.
А с этих чудищ
злые люди
ждут:
не блеснет ли у окон в глазе.
Не говорите.
Глупые речь заводят:
чтоб дед пришел,
чтоб игрушек ворох.
Деда нет.
Дед на заводе.
Завод?
Это тот, кто делает порох.
Не будет музыки.
Рученек
где взять ему?
Не сядет, играя.
Ваш брат
теперь,
безрукий мученик,
идет, сияющий, в воротах рая.
Не плачьте.
Зачем?
Не хмурьте личек.
Не будет —
что же с того!
Скоро
все, в радостном кличе
голоса сплетая,

встрелят новое Рождество.
Елка будет.
Да какая —
не обхватишь ствол.
Навесят на елку сиянья разного.
Будет стоять сплошное Рождество.
Так что
даже —
надоест его праздновать.

1916

СЕБЕ, ЛЮБИМОМУ, ПОСВЯЩАЕТ ЭТИ СТРОКИ АВТОР

Четыре.

Тяжелые, как удар.

«Кесарево кесарю – богу богово».

А такому,

как я,

ткнуться куда?

Где для меня уготовано логово?

Если б был я

маленький,

как Великий океан, —

на цыпочки б волн встал,

приливом ласкался к луне бы.

Где любимую найти мне,

такую, как и я?

Такая не уместилась бы в крохотное
небо!

О, если б я нищ был!

Как миллиардер!

Что деньги душе?

Ненасытный вор в ней.

Моих желаний разнузданной орде

не хватит золота всех Калифорний.

Если б быть мне косноязычным,
как Дант
или Петрарка!
Душу к одной зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!
И слова
и любовь моя —
триумфальная арка:
пышно,
бесследно пройдут сквозь нее
любовницы всех столетий.

О, если б был я
тихий,
как гром, —
ныл бы,
дрожью объял бы земли одряхлевший
скит.

Я
если всей его мощью
выреву голос огромный —
кометы заломят горящие руки,
бросятся вниз с тоски.

Я бы глаз лучами грыз ночи —
о, если б был я
тусклый,
как солнце!

Очень мне надо
Сияньем моим поить
Земли отощавшее лонце!

Пройду,
любовищу мою волоча.
В какой ночи,
бредовой,
недужной,
какими Голиафами я зачат —
такой большой
и такой ненужный?

1916

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ СКАЗКА

Стоит император Петр Великий,
думает:
«Запирую на просторе я!» —
а рядом
под пьяные клики
покроется гостиница «Астория».

Сияет гостиница,
за обедом обед она
дает.
Завистью с гранита снят,
слез император.
Трое медных
слазят
тихо,
чтоб не спугнуть Сенат.

Прохожие стремились войти и выйти.
Швейцар в поклоне не уменьшил рост.
Кто-то
рассеянный
бросил:
«Извините»,

наступив нечаянно на змеин хвост.

Император,
лошадь и змей
неловко
по карточке
спросили гренадин.
Шума язык не смолк, немея.
Из пивших и евших не обернулся ни один.

И только
когда
над пачкой соломинок
в коне заговорила привычка древняя,
толпа сорвалась, криком сломана:
– Жует!
Не знает, зачем они.
Древняя!

Стыдом овихрены шаги коня.
Выбелена грива от уличного газа.
Обратно
по Набережной
гонит гиканье
последнюю из петербургских сказок.

И вновь император
стоит без скипетра.
Змей.
Унынье у лошади на морде.

И никто не поймет тоски Петра —
узника,
закованного в собственном городе.

1916

РОССИИ

Вот иду я,
заморский страус,
в перьях строф, размеров и рифм.
Спрятать голову, глупый, стараюсь,
в оперенье звенящее врыв.

Я не твой, снеговая уродина.
Глубже
в перья, душа, уложись!
И иная окажется родина,
вижу —
выжжена южная жизнь.

Остров зноя.
В пальмы овазился.
"Эй,
дорогу!"
Выдумку мнут.
И опять
до другого оазиса
вью следы песками минут.

Иные жмутся —
уйти б,
не кусается ль? —

Иные изогнуты в низкую лесть.

"Мама,

а мама,

несет он яйца?" —

"Не знаю, душечка.

Должен бы несть".

Ржут этажия.

Улицы плятятся.

Обдают водой холода.

Весь истыканный в дымы и в пальцы,
переваливаю года.

Что ж, бери меня хваткой мерзкой!

Бритвой ветра перья обрей.

Пусть исчезну,

чужой и заморский,

под неистовства всех декаблей.

1916

БРАТЬЯ ПИСАТЕЛИ

Очевидно, не привыкну
сидеть в «Бристоле»,
пить чай,
построчно врать я, —
опрокину стаканы,
взлезу на столик.
Слушайте,
литературная братия!

Сидите,
глазки в чайшко канув.
Вытерся от строчения локоть плюшевый.
Подымите глаза от недопитых стаканов.
От косм освободите уши вы.

Вас,
прилипших
к стене,
к обоям,
милые,
что вас со словом свело?
А знаете,
если не писал,
разбоем
занимался Франсуа Виллон.

Вам,
берущим с опаской
и перочинные ножи,
красота великолепнейшего века вверена вам!
Из чего писать вам?
Сегодня
жизнь
в сто крат интересней
у любого помощника присяжного поверенного.

Господа поэты,
неужели не наскучили
пажи,
дворцы,
любовь,
сирени куст вам?
Если
такие, как вы,
творцы —
мне наплевать на всякое искусство.

Лучше лавочку открою.
Пойду на биржу.
Тугими бумажниками растопырю бока.
Пьяной песней
душу выржу
в кабинете кабака.

Под копны волос проникнет ли удар?

Мысль
одна под волосища вложена:
"Причесываться? Зачем же?!
На время не стоит труда,
а вечно
причесанным быть
невозможно".

1917

РЕВОЛЮЦИЯ

Поэтохроника

26 февраля.

Пьяные, смешанные с полицией,
солдаты стреляли в народ.

27-е.

Разлился по блескам дул и лезвий
рассвет.

Рдел багрян и долог.

В промозглой казарме

суровый

трезвый

молился Волынский полк.

Жестоким

солдатским богом божились

роты,

бились об пол головой многолобой.

Кровь разжигалась, висками жиялась.

Руки в железо сжимались злобой.

Первому же,
приказавшему —

«Стрелять за голод!» —
заткнули пулей орущий рот.
Чье-то – «Смирно!»
Не кончил.
Заколот.
Вырвалась городу буря рот.

9 часов.

На своем постоянном месте
в Военной автомобильной школе
стоим,
зажатые казарм оградой.
Рассвет растет,
сомнением колет,
предчувствием страха и радуя.

Окну!
Вижу —
оттуда,
где режется небо
дворцов иззубленной линией,
взлетел,
простерся орел самодержца,
черней, чем раньше,
злей,
орлинее.

Сразу —
люди,

лошади,
фонари,
дома
и моя казарма
толпами
по сто
ринулись на улицу.
Шагами ломаемая, звенит мостовая.
Уши крушит невероятная поступь.

И вот неведомо,
из пенья толпы ль,
из рвущейся меди ли труб гвардейцев
нерукотворный,
сияньем пробивая пыль,
образ возрос.
Горит.
Рдеется.

Шире и шире крыл окружие.
Хлеба нужней,
воды изжажданней,
вот она:
"Граждане, за ружья!
К оружию, граждане!"

На крыльях флагов
стоглавой лавою
из горла города ввысь взлетела.
Штыков зубами вгрызлась в двуглавое

орла императорского черное тело.

Граждане!

Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».

Сегодня пересматривается миров основа.

Сегодня

до последней пуговицы в одежде

жизнь переделаем снова.

Граждане!

Это первый день рабочего потопа.

Идем

запутавшемуся миру на выручу!

Пусть толпы в небо вбивают топот!

Пусть флоты ярость сиренами вырывают!

Горе двуглавному!

Пенится пенье.

Пьянит толпу.

Площади плещут.

На крохотном форде

мчим,

обгоняя погони пуль.

Взрывом гудков продираемся в городе.

В тумане.

Улиц река дымит.

Как в бурю дюжина груженных барж,

над баррикадами

плывет, громокая, марсельский марш.

Первого дня огневое ядро
жужжа скатилось за купол Думы.
Нового утра новую дрожь
встречаем у новых сомнений в бреду мы.

Что будет?

Их ли из окон выломим,
или на нарах
ждать,
чтоб снова
Россию
могилами
выгорбил монарх?!

Душу глушу об выстрел резкий.
Дальше,
в шинели орыт.
Рассыпав дома в пулеметном треске,
город грохочет.
Город горит.

Везде языки.
Взовьются и лягут.
Вновь взвиваются, искры рассея.
Это улицы,
взяв по красному флагу,
призывом зарев зовут Россию.

Еще!

О, еще!
О, ярче учи, красноязыкий оратор!
Зажми и солнца
и лун лучи
мстящими пальцами тысячерукого Марата!

Смерть двуглавному!
Каторгам в двери
ломись,
когтями ржавые выев.
Пучками черных орлиных перьев
Подбитые падают городовые.

Сдается столицы горящий остов.
По чердакам раскинули поиск.
Минута близко.
На Троицкий мост
вступают толпы войск.

Скрип содрогает устои и скрепы.
Стиснулись.
Бьемся.
Секунда! —
и в лак
заката
с фортов Петропавловской крепости
звился огнем революции флаг.

Смерть двуглавному!
Шеищи глав

рубите наотмашь!
Чтоб больше не ожил.
Вот он!
Падает!
В последнего из-за угла! – вцепился.
"Боже,
четыре тысячи в лоно твое прими!"

Довольно!
Радость трубите всеми голосами!
Нам
до бога
дело какое?
Сами
со святыми своих упокоим.

Что ж не поете?
Или
души задушены Сибирей саваном?
Мы победили!
Слава нам!
Сла-а-ав-в-ва нам!

Пока на оружии рук не разжали,
повелевается воля иная.
Новые несем земле скрижали
с нашего серого Синая.

Нам,
Поселянам Земли,

каждый Земли Поселянин родной.

Все

по станкам,

по конторам,

по шахтам братья.

Мы все

на земле

солдаты одной,

жизнь создающей рати.

Пробеги планет,

держав бытие

подвластны нашим волям.

Наша земля.

Воздух – наш.

Наши звезд алмазные копи.

И мы никогда,

никогда!

никому,

никому не позволим!

землю нашу ядрами рвать,

воздух наш раздирать остриями отточенных копий.

Чья злоба надвое землю сломала?

Кто вздыбил дымы над заревом боен?

Или солнца

одного

на всех мало?!

Или небо над нами мало голубое?!

Последние пушки грохочут в кровавых спорах,
последний штык заводы гранят.
Мы всех заставим рассыпать порох.
Мы детям раздарим мячи гранат.

Не трусость вопит под шинелью серую,
не крики тех, кому есть нечего;
это народа огромного громовое:
– Верую
величию сердца человеческого! —

Это над взбитой битвами пылью,
над всеми, кто грызся, в любви изверясь,
днесь
небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь!

17 апреля 1917 года. Петроград

СКАЗКА О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ

Жил да был на свете кадет.
В красную шапочку кадет был одет.

Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,
ни черта в нем красного не было и нету.

Услышит кадет – революция где-то,
шапочка сейчас же на голове кадета.

Жили припеваючи за кадетом кадет,
и отец кадета, и кадетов дед.

Поднялся однажды пребольшущий ветер,
в клочья шапочку изорвал на кадете.

И остался он черный. А видевшие это
волки революции сцапали кадета.

Известно, какая у волков диета.
Вместе с манжетами сожрали кадета.

Когда будете делать политику, дети,
не забудьте сказочку об этом кадете.

К ОТВЕТУ!

Гремит и гремит войны барабан.
Зовет железо в живых втыкать.
Из каждой страны
за рабом раба
бросают на сталь штыка.
За что?
Дрожит земля
голодна,
раздета.
Выпарили человечество кровавой баней
только для того,
чтоб кто-то
где-то
разжился Албанией.
Сцепилась злость человеческих свор,
падает на мир за ударом удар
только для того,
чтоб бесплатно
Босфор
проходили чьи-то суда.
Скоро
у мира
не останется неполоманного ребра.
И душу вытащат.
И растопчут там ее

только для того,
чтоб кто-то
к рукам прибрал
Месопотамию.
Во имя чего
сапог
землю растаптывает скрипящ и груб?
Кто над небом боев —
свобода?
бог?
Рубль!
Когда же встанешь во весь свой рост,
ты,
отдающий жизнь свою им?
Когда же в лицо им бросишь вопрос:
за что воюем?

1917

НАШ МАРШ

Бейте в площади бунтов топот!
Выше, гордых голов гряда!
Мы разливом второго потопа
перемоем миров города.

Дней бык пег.
Медленна лет арба.
Наш бог бег.
Сердце наш барабан.

Есть ли наших золот небесней?
Нас ли сжалит пули оса?
Наше оружие – наши песни.
Наше золото – звенящие голоса.

Зеленью ляг, луг,
выстели дно дням.
Радуга, дай дуг
лет быстролетным коням.

Видите, скушно звезд небу!
Без него наши песни вьем.
Эй, Большая Медведица! требуй,
чтоб на небо нас взяли живьем.

Радости пей! Пой!
В жилах весна разлита.
Сердце, бей бой!
Грудь наша – медь литавр.

1917

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ

Били копыта.

Пели будто:

– Гриб.

Грабь.

Гроб.

Груб. —

Ветром опита,

льдом обута,

улица скользила.

Лошадь на круп

грохнулась,

и сразу

за зевакой зевака,

штаны пришедшие Кузнецким клешить,

сгрудились,

смех зазвенел и зазвякал!

– Лошадь упала!

– Упала лошадь! —

Смеялся Кузнецкий.

Лишь один я

голос свой не вмешивал в вой ему.

Подошел

и вижу
глаза лошадиные...

Улица опрокинулась,
течет по-своему...
Подошел и вижу —
за каплицей каплица
по морде катится,
прячется в шерсти...

И какая-то общая
звериная тоска
плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
"Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь".
Может быть,
— старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя казалась пошла,
только
лошадь
рванулась,
встала ни ноги,
ржанула
и пошла.

Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.

1918

ОДА РЕВОЛЮЦИИ

Тебе,
освищенная,
осмеянная батареями,
тебе,
изъявленная злословием штыков,
восторженно возношу
над руганью реемой
оды торжественное
"О"!
О, звериная!
О, детская!
О, копеечная!
О, великая!
Каким названьем тебя еще звали?
Как обернешься еще, двулика?
Стройной постройкой,
грудой развалин?
Машинисту,
пылью угля овеянному,
шахтеру, пробивающему толщи руд,
кадишь,
кадишь благоговейно,
славишь человеческий труд.
А завтра
Блаженный

стропила соборовы
тщетно возносит, пощаду моля, —
твоих шестидюймовок тупорылые боровы
взрывают тысячелетия Кремля.
«Слава».
Хрипит в предсмертном рейсе.
Визг сирен придушенно тонок.
Ты шлешь моряков
на тонущий крейсер,
туда,
где забытый
мяукал котенок.
А после!
Пьяной толпой орала.
Ус залихватский закручен в форсе.
Прикладами гонишь седых адмиралов
вниз головой
с моста в Гельсингфорсе.
Вчерашние раны лижет и лижет,
и снова вижу вскрытые вены я.
Тебе обывательское
— о, будь ты проклята трижды! —
и мое,
поэтово
— о, четырежды славься, благословенная! —

1918

ПРИКАЗ ПО АРМИИ ИСКУССТВА

Канителят стариков бригады
канитель одну и ту ж.
Товарищи!
На баррикады! —
баррикады сердец и душ.
Только тот коммунист истый,
кто мосты к отступлению сжег.
Довольно шагать, футуристы,
в будущее прыжок!
Паровоз построить мало —
накрутил колес и утек.
Если песнь не громит вокзала,
то к чему переменный ток?
Громоздите за звуком звук вы
и вперед,
попя и свища.
Есть еще хорошие буквы:
Эр,
Ша,
Ща.
Это мало – построить парами,
распушить по штанине канты.
Все совдепы не сдвинут армий,
если марш не дадут музыканты.
На улицу тащите рояли,

барабан из окна багром!
Барабан,
рояль раскроя ли,
но чтоб грохот был,
чтоб гром.
Это что – корпеть на заводах,
перемазать рожу в копоть
и на роскошь чужую
в отдых
осовелыми глазками хлопать.
Довольно грошовых истин.
Из сердца старое вытри.
Улицы – наши кисти.
Площади – наши палитры.
Книгой времени
тысячелистой
революции дни не воспеты.
На улицы, футуристы,
барабанщики и поэты!

1918

ПОЭТ РАБОЧИЙ

Орут поэту:

"Посмотреть бы тебя у токарного станка.

А что стихи?

Пустое это!

Небось работать – кишка тонка".

Может быть,

нам

труд

всяких занятий роднее.

Я тоже фабрика.

А если без труб,

то, может,

мне

без труб труднее.

Знаю —

не любите праздных фраз вы.

Рубите дуб – работать дабы.

А мы

не деревообделочники разве?

Голов людских обделываем дубы.

Конечно,

почтенная вещь – рыбачить.

Вытащить сеть.

В сетях осетры б!

Но труд поэтов – почтенный паче —

людей живых ловить, а не рыб.
Огромный труд – гореть над горном,
железа шипящие класть в закал.
Но кто же
в безделье бросит укор нам?
Мозги шлифуем рашпилем языка.
Кто выше – поэт
или техник,
который
ведет людей к вещественной выгоде?
Оба.
Сердца – такие ж моторы.
Душа – такой же хитрый двигатель.
Мы равные.
Товарищи в рабочей массе.
Пролетарии тела и духа.
Лишь вместе
вселенную мы разукрасим
и маршами пустим ухать.
Отгородимся от бурь словесных молотом.
К делу!
Работа жива и нова.
А праздных ораторов —
на мельницу!
К мукомолам!
Водой речей вертеть жернова.

ТОЙ СТОРОНЕ

Мы
не вопль гениальничанья —
«все дозволено»,
мы
не призыв к ножовой расправе,
мы
просто
не ждем фельдфебельского
«вольно!»,
чтоб спину искусства размять,
расправить.

Гарцуют скелеты всемирного Рима
на спинах наших.
В могилах мало им.
Так что ж удивляться,
что непримиримо
мы
мир обложили сплошным «долоем».

Характер различен.
За целость Венеры вы
готовы щадить веков камарилью.
Вселенский пожар размочалил нервы.
Орете:

"Пожарных!
Горит Мурильо!"

А мы —
не Корнеля с каким-то Расином —
отца, —
предложи на старье меняться, —
мы
и его
обольем керосином
и в улицы пустим —
для иллюминаций.
Бабушка с дедушкой.
Папа да мама.
Чинопочитанья проклятого тина.
Лачуги рушим.
Возносим дома мы.
А вы нас – «ловить арканом картинок!?»

Мы
не подносим —
"Готово!
На блюде!
Хлебайте сладкое с чайной ложки!"
Клич футуриста:
были б люди —
искусство приложится.

В рядах футуристов пусто.
Футуристов возраст – призыв.

Изрубленные, как капуста,
мы войн,
революций призы.
Но мы
не зовем обывателей гроба.
У пьяной,
в кровавом пунше,
земли —
смотрите! —
взбухает утроба.
Рядами выходят юноши.
Идите!
Под ноги —
топчите ими —
мы
бросим
себя и свои творенья.
Мы смерть зовем рожденья во имя.
Во имя бега,
паренья,
реянья.
Когда ж
прорвемся сквозь заставы,
и праздник будет за болью боя, —
мы
все украшенья
расставить заставим —
любите любое!

ЛЕВЫЙ МАРШ

(Матросам)

Разворачивайтесь в марше!

Словесной не место кляузе.

Тише, ораторы!

Ваше

слово,

товарищ маузер.

Довольно жить законом,

данным Адамом и Евой.

Клячу историю загоним.

Левой!

Левой!

Левой!

Эй, синемблузые!

Рейте!

За океаны!

Или

у броненосцев на рейде

ступлены острые кили?!

Пусть,

оскалясь короной,

вздымает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной.
Левой!
Левой!
Левой!

Там
за горами горя
солнечный край непочатый.
За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!
Пусть бандой окружат нанятой,
стальной изливаются леевой, —
России не быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!

Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем пялиться?
Крепи
у мира на горле
пролетариата пальцы!
Грудью вперед бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

1918

ПОТРЯСАЮЩИЕ ФАКТЫ

Небывалей не было у истории в аннале
факта:
вчера,
сквозь иней,
звеня в «Интернационале»,
Смольный
ринулся
к рабочим в Берлине.
И вдруг
увидели
деятели сыска,
все эти завсегдатаи баров и опер,
триэтажный
призрак
со стороны российской
Поднялся.
Шагает по Европе.
Обедающие не успели окончить обед —
в место это
грохнулся,
и над Аллеей Побед —
знамя
«Власть Советов».
Напрасно пухлые руки взмолены, —
не остановить в его неслышном карьере.

Раздавил
и дальше ринулся Смольный,
республик и царств беря барьеры.
И уже
из лоска
тротуарного глянца
Брюсселя,
натягивая нерв,
росла легенда
про Летучего голландца —
голландца революционеров.
А он —
по полям Бельгии,
по рыжим от крови полям,
туда,
где гудит союзное ржанье,
метнулся.
Красный встал над Парижем.
Смолкли парижане.
Стоишь и сладостным маршем манишь.
И вот,
восстанию в лапы отдана,
рухнула республика,
а он — за Ла-Манш.
На площадь выводит подвалы Лондона.
А после
пароходы
низко-низко
над океаном Атлантическим видели —
пронесся.

К шахтерам калифорнийским.
Говорят —
огонь из зева выделил.
Сих фактов оценки различна мерка.
Не верили многие,
Ловчились в спорах.
А в пятницу
утром
вспыхнула Америка,
землей казавшаяся, оказалась порох.
И если
скулит
обывательская моль нам:
– не увлекайтесь Россией,
восторженные дети, —"
я
указываю
на эту историю со Смольным.
А этому
я,
Маяковский,
свидетель.

1919

МЫ ИДЕМ

Кто вы?

Мы

разносчики новой веры,
красоте задающей железный тон.
Чтоб природами хилыми не сквернили скверы,
в небеса шарахаем железобетон.

Победители,
шествуем по свету
сквозь рев стариков злючий.

И всем,
кто против,
советуем
следующий вспомнить случай.

Раз

на радугу
кулаком

замахнулся городской:

– чего, мол, меня нарядней и чище! —

а радуга
вырвалась
и давай

опять сиять на полицейском кулачище.

Коммунисту ль

распластываться

перед тем, кто старей?

Беречь сохранность насиженных мест?
Это революция
и на Страстном монастыре
начертила:
«Не трудящийся не ест».
Революция
отшвырнула
тех, кто
рушащееся
оплакивал тысячью родов,
ибо знает:
новый грядет архитектор —
это мы,
иллюминаторы завтрашних городов.
Мы идем
нерушимо,
бодро.
Эй, двадцатилетние!
Взываем к вам.
Барабаня,
тащите красок ведра.
Заново обкрасимся.
Сияй, Москва!
И пускай
с газеты
какой-нибудь выродок
сражается с нами
(не на смерть, а на живот).
Всех младенцев перебили по приказу Ирода;
а молодость,

ничего —
живет.

1919

СОВЕТСКАЯ АЗБУКА

А

Антисемит Антанте мил.
Антанта – сборище громил.

Б

Большевики буржуев ищут.
Буржуи мчатся верст за тыщу.

В

Вильсон важнее прочей птицы.
Воткнуть перо бы в ягодицы.

Г

Гольц фон-дер прет на Ригу. Храбрый!
Гуляй, пока не взят за жабры!

Д

Деникин было взял Воронеж.
Дяденька, брось, а то уронишь.

Е

Европой правит Лига наций.
Есть где воришкам разогнаться!

Ж

Железо куй, пока горячее.
Жалеть о прошлом – дело рачье.

З
Земля собой шарообразная,
За Милюкова – сволочь разная.

И
Интеллигент не любит риска.
И красен в меру, как редиска.

К
Корове трудно бегать быстро.
Керенский был премьер-министром.

Л
Лакеи подают на блюде.
Ллойд-Джордж служил и вышел в люди.

М
Меньшевики такие люди —
Мамашу могут проиудить.

Н
На смену вам пора бы, Носке!
Носки мараются от носки.

О
Ох, спекулянту хоть повеситься!
Октябрь идет. Не любит месяца.

П

Попы занялись делом хлебным —
Погромщиков встречать молебном.

Р

Рим – город и стоит на Тибре.
Румыны смотрят, что бы стирить.

С

Сазонов послан вновь Деникиным.
Сиди послом, пока не выкинем!

Т

Тот свет – буржуям отдых сладкий
Трамваем Б без пересадки!

У

У «правых» лозунг «учредилка».
Ужели жив еще курилка?!

Ф

Фазан красив. Ума ни унции.
Фиуме спьяну взял д'Аннунцио.

Х

Хотят в Москву пробраться Шкуры.
Хохочут утки, гуси, куры.

Ц

Цветы благоухают к ночи.
Царь Николай любил их очень.

Ч
Чалдон на нас шел силой ратной.
Чи не пойдете ли обратно?!!

Ш
Шумел Колчак, что пароход.
Шалишь, верховный! Задний ход!

Щ
Щетина украшает борова.
Щенки Антанты лают здорово.

Э
Экватор мучает испарина.
Эсера смой – увидишь барина.

Ю
Юнцы охочи зря приврать.
Юденич хочет Питер брать.

Я
Японцы, всеу белых учите!
Ярмо микадо нам не всучите.

«Окна сатиры Роста» 1919-1920 годов

1. Рабочий!

Глупость беспартийную выкинь!

Если хочешь жить с другими вразброд —
всех по очереди словит Деникин,
всех сожрет генеральский рот.

2. Если ж на зов партийной недели
придут миллионы с фабрик и с пашен —
рабочий быстро докажет на деле,
что коммунистам никто не страшен.

1919, октябрь

ПЕСНЯ РЯЗАНСКОГО МУЖИКА

1. Не хочу я быть советской.

Батюшки!

А хочу я жизни светской.

Матушки!

Походил я в белы страны.

Батюшки!

Мужичков встречают странно.

Матушки!

2. Побывал у Дутова.

Батюшки!

Отпустили вздутого.

Матушки!

3. Я к Краснову, у Краснова —

Батюшки!

Кулачище – сук сосновый.

Матушки!

4. Я к Деникину, а он —

Батюшки!

Бьет крестьян, как фараон.

Матушки!

5. Мамонтов-то генерал —

Батюшки!

Матершинно наорал.

Матушки!

Я ему: «Все люди братья».

Батюшки!

А он: «И братьев буду драть я».

Матушки!

6. Я поддался Колчаку.

Батюшки!

Своротил со скул щеку.

Матушки!

На Украину махнул.

Батюшки!

Думаю, теперь вздохну.

Матушки!

А Петлюра с Киева —

Батюшки!

Уж орет: «Секи его!»

Матушки!

7. Видно, белый ананас —

Батюшки!

Наработан не для нас.

Матушки!

Не пойду я ни к кому,

Батюшки!

Окромя родных Коммун.

Матушки!

1919, октябрь

* * *

1. Оружие Антанты – деньги.
2. Белогвардейцев оружие – ложь.
3. Большевиков оружие – в спину нож.
4. Правда,
5. глаза открытые
6. и ружья —
вот коммунистов оружие.

1920, июль

* * *

1. Если жить вразброд,
как махновцы хотят,
2. буржуазия передушит нас, как котят.
3. Что единица?
Ерунда единица!
4. Надо
в партию коммунистическую объединиться.
5. И буржуи,
какими б ни были ярыми,
6. побегут
от мощи
миллионных армий.

1920, июль

ИСТОРИЯ ПРО БУБЛИКИ И ПРО БАБУ, НЕ ПРИЗНАЮЩУЮ РЕСПУБЛИКИ

1. Съя история была в некоей республике. Баба на базар плыла, а у бабы бублики.
2. Слышит топот близ ее, музыкаю веется:
бить на фронте пановье мчат красноармейцы.
3. Кушать хотца одному, говорит ей: "Тетя, бублик дай голодному! Вы ж на фронт нейдете?!"
4. Коль без дела будет рот, буду слаб, как мощи.
5. Пан республику сожрет, если будем тощи".
6. Баба молвила: "Ни в жисть не отдам я бублики! Прочь, служивый! Отвяжись! Черта ль мне в республике?!"
7. Шел наш полк и худ и тощ, паны ж все саженные.

Нас смела Панова мощь
в первом же сражении.

8. Мчится пан, и лют и яр,
смерть неся рабочим;
к глупой бабе на базар
влез он между прочим.

9. Видит пан – бела, жирна
баба между публики.

Миг – и съедена она.

И она и бублики.

10. Посмотри, на площадь выйди —
ни крестьян, ни ситника.

Надо вовремя кормить
красного защитника!

11. Так кормите ж красных рать!

Хлеб неси без вою,
чтобы хлеб не потерять
вместе с головою!

1920, август

КРАСНЫЙ ЕЖ

Голой рукою нас не возьмешь.
Товарищи, – все под ружья!
Красная Армия – Красный еж —
железная сила содружья.
Рабочий на фабрике, куй, как куешь,
Деникина день сосчитан!
Красная Армия – Красный еж —
верная наша защита.
Крестьяне, спокойно сейте рожь,
час Колчака сосчитан!
Красная Армия – Красный еж —
лучшая наша защита.
Врангель занес на Коммуну нож,
баронов срок сосчитан!
Красная Армия – Красный еж —
не выдаст наша защита.
Назад, генералы, нас не возьмешь!
Наземь кидайте оружие.
Красная Армия – Красный еж —
железная сила содружья.

* * *

1. Каждый прогул —
2. радость врагу.
3. А герой труда —
4. для буржуев удар.

1921, январь

ЧАСТУШКИ

Милкой мне в подарок бурка
и носки подарены.
Мчит Юденич с Петербурга
как наскипидаренный.
Мчит Пилсудский, пыль столбом,
стон идет от марша.
Разобьется панским лбом
об Коммуну маршал.
В октябре с небес не пух —
снег с небес валится.
Что-то наш Деникин вспух,
стал он криволицый.

1919-1920

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ!

Я знаю —
не герои
низвергают революций лаву.
Сказка о героях —
интеллигентская чушь!
Но кто ж
удержится,
чтоб славу
нашему не воспеть Ильичу?
Ноги без мозга – вздорны.
Без мозга
рукам нет дела.
Металось
во все стороны
мира безголовое тело.
Нас
продавали на вырез.
Военный вздымался вой.
Когда
над миром вырос
Ленин
огромной головой.
И земли
сели на оси.
Каждый вопрос – прост.

И выявилось
два
в хаосе
мира
во весь рост.
Один —
животище на животище.
Другой —
непреклонно скалистый —
влил в миллионы тыщи.
Встал
горой мускулистой.

Теперь
не промахнемся мимо.
Мы знаем кого – мети!
Ноги знают,
чьими
трусами
им идти.

Нет места сомненьям и воям.
Долой улитье – «подождем»!
Руки знают,
кого им
крыть смертельным дождем.
Пожарами землю дымя,
езде,
где народ испленен,
взрывается

бомбой
имя:
Ленин!
Ленин!
Ленин!

И это —
не стихов вееру
обмахивать юбиляра уют. —
Я
в Ленине
мира веру
славлю
и веру мою.

Поэтом не быть мне бы,
если б
не это пел —
в звездах пятиконечных небо
безмерного свода РКП.

1920

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ

(Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева,
27 верст по Ярославской жел. дор.)

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова

мир залить
вставало солнце ало.
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.

И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:

"Слазь!
довольно шляться в пекло!"

Я крикнул солнцу:

"Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут – не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!"

Я крикнул солнцу:

"Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!"

Что я наделал!

Я погиб!

Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,

шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведя,
заговорило басом:
"Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чаи гони,
гони, поэт, варенье!"
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
"Ну что ж,
садись, светило!"
Черт дернул дерзости мои
орать ему, —
сконфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь – не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась, —

и степенность
забыв,
сизу, разговорись
с светилом постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
"Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
— Поди, попробуй! —
А вот идешь —
взялось идти,
идешь — и светишь в оба!"
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоюсь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
"Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,

взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты – свое,
стихами".
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг – я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

ОТНОШЕНИЕ К БАРЫШНЕ

Этот вечер решал —
не в любовники выйти ль нам? —
темно,
никто не увидит нас,
Я наклонился действительно,
и действительно
я,
наклонясь,
сказал ей,
как добрый родитель:
"Страсти крут обрыв —
будьте добры,
отойдите.
Отойдите,
будьте добры".

1920

ГЕЙНЕОБРАЗНОЕ

Молнию метнула глазами:

"Я видела —

с тобой другая.

Ты самый низкий,

ты подлый самый..." —

И пошла,

и пошла,

и пошла, ругая.

Я ученый малый, милая,

громыханья оставьте ваши.

Если молния меня не убила —

то гром мне,

ей-богу, не страшен.

1920

* * *

Портсигар в траву
ушел на треть.
И как крышка
блестит
наклонились смотреть
муравьишки всяческие и травишка.
Обалдело дивились
выкрутас монограмме,
дивились сиявшему серебром
полированным,
не стоившие со своими морями и горами
перед делом человеческим
ничего ровно.
Было в диковинку,
слепило зрение им,
ничего не видевшим этого рода.
А портсигар блестел
в окружающее с презрением:
– Эх, ты, мол,
природа!

1920

РАССКАЗ ПРО ТО, КАК КУМА О ВРАНГЕЛЕ ТОЛКОВАЛА ВЕЗ ВСЯКОГО УМА

Старая, но полезная история

Врангель прет.
Отходим мы.
Врангелю удача.
На базаре
две кумы,
вставши в хвост, судачат!
— Кум сказал, —
а в ем ума —
я-то куму верю, —
что барон-то,
слышь, кума,
меж Москвой и Тверью.
Чуть не даром
все
в Твери
стало продаваться.
Пуд крупчатки...
— Ну,

не ври! —
пуд за рупь за двадцать.
— А вина, скажу я вам!
Дух над Тверью водочный.
Пьяных
лично
по домам
водит околоточный.
Влюблены в барона власть
левые и правые.
Ну, не власть, а прямо сласть,
просто — равноправие.

Встали, ртом ловя ворон.
Скоро ли примчится?
Скоро ль будет царь-барон
и белая мучица?

Шел волшебник мимо их.
— На, — сказал он бабе, —
сороходы-сапоги,
к Врангелю зашла бы! —
Вмиг обувшись,
шага в три
в Тверь кума на это.
Кум сбрыхнул ей:
во Твери
власть стоит Советов.
Мчала баба суток пять,
рвала юбки в ветре,

чтоб баронский

увидать

флаг

на Ай-Петри.

Разогнавшись с дальних стран,

удержаться силясь,

баба

прямо

в ресторан

в Ялте опустилась.

В «Гранд-отеле»

семгу жрет

Врангель толсторожий.

Разевает баба рот

на рыбешку тоже.

Метрдотель

желанья те

зрит —

и на подносе

ей

саженный метрдотель

карточку подносит.

Все в копеечной цене.

Съехал сдуру разум.

Молвит баба:

– Дайте мне

всю программу разом! —

От лакеев мчится пыль.

Прошибает пот их.
Мчат котлеты и супы,
вина и компоты.
Уж из глаз еда течет
у разбухшей бабы!
Наконец-то
просит счет
бабин голос слабый.
Вся собралась публика.
Стали щелкать счеты.
Сто четыре рублика
выведено в счете.
Что такая сумма ей?!
Даром!
С неба манна.
Двести вынула рублей
баба из кармана.

Отскочил хозяин.
– Нет! —
(Бледность мелом в рожке.)
Наш-то рупь не в той цене,
наш в миллион дороже. —

Завопил хозяин лют:
– Знаешь разницу валют?!
Беспортошных нету тут,
генералы тут пьют! —
Возопил хозяин в яри:
– Это, тетка, что же!

Этак
каждый пролетарий
жрать захочет тоже.
– Будешь знать, как есть и пить! —
все завыли в злости.
Стал хозяин тетку бить,
метрдотель
и гости.

Околоточный
на шум
прибежал из части.
Взвыла баба:
– Ой,
прошу,
защитите, власти! —
Как подняла власть сия
с шпорой сапожища...
Как полезла
мигом
вся
вспять
из бабы пища.

– Много, – молвит, – благ в Крыму
только для буржуя,
а тебя,
мою куму,
в часть препровожу я. —

Влезла
тетка
в скороход
перед тюремной дверью,
как задала тетка ход —
в Эрэсэфэсэрю.

Бабу видели мою,
наши обыватели?
Не хотите
в том раю
сами побывать ли?!

1920

СКАЗКА О ДЕЗЕРТИРЕ, УСТРОИВШЕМСЯ НЕДУРНЕНЬКО, И О ТОМ, КАКАЯ УЧАСТЬ ПОСТИГЛА ЕГО САМОГО И СЕМЬЮ ШКУРНИКА

Хоть пока
победила
крестьянская рать,
хоть пока
на границах мир,
но не время
еще
в землю штык втыкать,
красных армий
ряды крепил!
Чтоб вовеки
не смел
никакой Керзон
брать на пушку,
горланить ноты, —
даже землю паша,
помни

сабельный звон,
помни
марш
атакующей
роты.
Молодцом
на коня боевого влазь,
по земле
пехотинься пеший.
С неба
землю всю
глазами оглазь,
на железного
коршуна
севши.
Мир пока,
но на страже
красных годов стой
на нашей
красной вышке.
Будь смел.
Будь умел.
Будь
всегда
готов
первым
ринуться
в первой вспышке.
Кто
из вас

не крещен
военным огнем,
кто считает,
что шкурнику
лучше?
Прочитай про это,
подумай о нем,
вникни
в этот сказочный случай.
Защищая
рабоче-крестьянскую Русь,
встали
фронтами
красноармейцы.
Но – как в стаде
овца паршивая —
трус
и меж их
рядами
имеется.
Жил
в одном во полку
Силеверст Рябой,
Голова у Рябого —
пробкова.
Чуть пойдет
наш полк
против белых
в бой,
а его

и не видно,
робкого.
Дело ясное:
бьется рать,
горяча,
против
барско-буржуйского ига.
У Рябого ж
слово одно:
«Для ча
буду
я
на рожон прыгать?»
Встал стеною полк,
фронт раскинул
свой.
Силеверст
стоит в карауле.
Подымает
пуля за пулей
вой.
Силеверст
испугался пули.
Дома
печь да щи.
Замечтал
Силеверст.
Бабья
рожа
встала

из воздуха.
Да как дернет Рябой!
Чуть не тыщу верст
пробежал
без единого
роздыха.
Вот и холм,
и там
и дом за холмом,
будет
дома
в скором времечке.
Вот и холм пробежал,
вот плетень
и дом,
вот
жена его
лускает
семечки.
Прибежал,
пошел лобызаться
с женой, чаю выдул —
стаканов до тыщи:
задремал,
заснул
и храпит,
как Ной, —
с ГПУ,
и то
не сыщешь.

А на фронте
враг
видит:
полк с дырой.
враг
пролазит
щелью этою.
А за ним
и золотозады
рой
лезет в дырку,
блестит эполетою.
Поп,
урядник —
сивуха
течет по усам,
с ним —
петля
и прочие вещи.
Между ними —
царь,
самодержец сам,
за царем —
кулак
да помещик.
Лезут,
в радости,
аж не чуют ног,
где
и сколько занято мест ими?!

Пролетария
гнут в бараний рог,
сыпят
в спину крестьян
манифестами.
Отошла
земля
к живоглотам
назад,
наложили
наложища
тяжкие.
Лишь свистит
в урядничьей ручке
лоза —
знай, высыпает
и в спину
и в ляжки.
Улизнувшие
бары
едут в дом.
Мчит буржуй.
Не видали три года, никак.
Снова
школьника
поп
обучает крестом —
уважать заставляет
угодников.
В то село пришли,

где храпел
Силеверст.
Видят —
выглядит
дом
аккуратненько.
Тычет
в хату Рябого
исправничий
перст,
посылает занять
урядника.
Дурню
снится сон:
де в раю живет
и галушки
лопает тыщами.
Вдруг
как хватит
его
крокодил
за живот!
То урядник
хватил
сапожищами.
«Как ты смеешь спать,
такой рассякой,
мать твою растак
да разэтак!
Я тебя запорю,

я тебя засеку!
и повешу
тебя
напоследок!» —
«Барин!» —
взвыл Силеверст,
а его
кнутом
хватать помещик
по сытой роже.
«Подавай
и себя,
и поля,
и дом,
и жену
помещику
тоже!»
И пошел
прошибать
Силеверста
пот,
вновь
припомнил
барщины муку,
а жена его
на дворе
у господ
грудью
кормит
барскую суку.

Сей истории
прост
и ясен сказ, – посмотри,
как наказаны дурни;
чтобы то же
не стряслось и у вас, —
да не будет
меж вами
шкурник.

Нынче
сына
даем
не царям на зарез, —
за себя
этот боище
начат.

Провожая
рекрутов
молодолес,
провожай поя,
а не плача.
Чтоб помещики
вновь
не взнуздали вас,
не в пример
Силеверсту-бедняге, —
провожая
сынов,
давайте наказ:
будьте

верными
красной присяге.

1920-1923

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Слава тебе, краснозвездный герой!
Землю кровью вымыв,
во славу коммуны,
к горе за горой
шедший твердынями Крыма.
Они проползали танками рвы,
выпятив пушек шеи, —
телами рвы заполняли вы,
по трупам перейдя перешеек.
Они
за окопами взрыли окоп,
хлестали свинцовой рекою, —
а вы
отобрали у них Перекоп
чуть не голой рукою.
Не только тобой завоеван Крым
и белых разбита орава, —
удар твой двойной:
завоевано им
трудиться великое право.
И если
в солнце жизнь суждена
за этими днями хмурыми,

мы знаем —
вашей отвагой она
взята в перекопском штурме.
В одну благодарность сливаем слова
тебе,
краснозвездная лава.
Во веки веков, товарищи,
вам —
слава, слава, слава!

1920 – 1921

О ДРЯНИ

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,

им

довольно воздали дани.

Теперь

поговорим

о дряни.

Утихомирились бури революционных лон.

Подернулась тиной советская мешанина.

И вылезло

из-за спины РСФСР

мурло

мещанина,

(Меня не поймаете на слове,

я вовсе не против мещанского сословия.

Мещанам

без различия классов и сословий

мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив,

с первого дня советского рождения

стеклись они,

наскоро оперенья переменяв,

и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне
тише воды.

Свили уютные кабинеты и спальни.

И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,

от самовара разморясь:

"Товарищ Надя!

К празднику прибавка —

24 тыщи.

Тариф.

Эх,

и заведу я себе

тихоокеанские галифища,

чтоб из штанов

выглядывать,

как коралловый риф!"

А Надя:

"И мне с эмблемами платья.

Без серпа и молота не покажешься в свете!

В чем

сегодня

буду фигурять я

на балу в Реввоенсовете?!"

На стенке Маркс.

Рамочка ала.

На «Известиях» лежа, котенок греется.

А из-под потолочка

верещала

оголтелая канарейца.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...

И вдруг

разинул рот,

да как заорет:

"Опутали революцию обывательщины нити

Страшнее Врангеля обывательский быт.

Скорее

головы канарейкам сверните —

чтоб коммунизм

канарейками не был побит!"

1920 – 1921

ДВА НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНЫХ СЛУЧАЯ

Ежедневно
как вол жуя,
стараясь за строчки драть, —
я
не стану писать про Поволжье:
про ЭТО —
страшно врать.
Но я голодал,
и тысяч лучше я
знаю проклятое слово – «голодные!».
Вот два,
не совсем обычные, случая,
на ненависть к голоду самые годные.

Первый —
Кто из петербуржцев
забудет 18-й год?!
Наддохлым лошадем вороны кружатся.
Лошадь за лошадью падает на лед.
Заколачиваются улицы ровные.

Хвостом виляя,
на перекрестках

собаки дрессированные
просили милостыню, визжа и лая.
Газетам писать не хватало духу —
но это ж передавалось изустно:
старик
удушил
жену-старуху
и ел частями.
Злился —
невкусно.
Слухи такие
и мрущим от голода,
и сытым сумели глотки свесть.
Из каждой поры огромного города
росло ненасытное желание есть.
От слухов и голода двигаясь еле,
раз
сам я,
с голодной тоской,
остановился у витрины Эйлерса —
цветочный магазин на углу Морской.
Малы – аж не видно! – цветочные точки,
нули ж у цен
необъятны длиною!
По булке, должно быть, в любом лепесточке,
И вдруг,
смотрю,
меж витриной и мною —
фигурка человечья.
Идет и валится.

У фигурки конская голова.

Идет.

И в собственные ноздри

пальцы

воткнула.

Три или два.

Глаза открытые мухи обсели,

а сбоку

жила из шеи торчала

Из жилы

капли по улицам сеялись

и стыли черно, кровеня сначала.

Смотрел и смотрел на ползущую тень я,

дрожа от сознания невыносимого,

что полуживотное это —

виденье! —

что это

людей вымирающих символ.

От этого ужаса я – на попятный.

Ищу машинально чернеющий след.

И к туше лошажьей приплелся по пятнам.

Где ж голова?

Головы и нет!

А возле

с каплями крови присохлой,

блестел вершок перочинного ножичка —

должно быть,

тот

работал над дохлой

и толстую шею кромсал понемножечко.

Я понял:
не символ,
стихом позолоченный,
людская
реальная тень прошагала.
Быть может,
завтра вот так же точно
я здесь заработаю, скалясь шакалом.
Второй. —
Из мелочи выросло в это.
Май стоял.
Позапрошное лето.
Весною ширишь ноздри и рот,
ловя бульваров дыханье липовое.
Я голодал,
и с другими
в черед
встал у бывшей кофейни Филиппова я.
Лет пять, должно быть, не был там,
а память шепчет еле:
"Тогда
в кафе
журчал фонтан
и плавали форели".
Вздуваемый памятью рос аппетит;
какой ни на есть,
но по крайней мере —
обед.
Как медленно время летит!
И вот

я втиснут в кафеинные двери.
Сидели
с селедкой во рту и в посуде,
в селедке рубахи,
и воздух в селедке.
На черта ж весна,
если с улиц
люди
от лип
сюда влипают все-таки!
Едят,
дрожа от голода голого,
вдыхают радостью душище едкой,
а нищие молят:
подайте головы.
Дерясь, получают селедок объедки.

Кто б вспомнил народа российского имя,
когда б не бросали хребты им в горсточки?!
Народ бы российский
сегодня же вымер,
когда б не нашлось у селедки косточки.
От мысли от этой
сквозь грызшихся кучку,
громя кулаком по ораве зверьей,
пробился,
схватился,
дернул за ручку —
и выбег,
селедкой обмазан —

об двери.

Не знаю,
душа пропахла,
рубаха ли,
какими водами дух этот смою?
Полгода
звезды селедкою пахли,
лучи рассыпая гнилой чешуею.
Пускай,
полусытый,
доволен я нынче:
так, может, и кончусь, голод не видя, —
к нему я
ненависть в сердце вынянчил,
превыше всего его ненавидя.
Подальше прочую чушь забрось,
когда человека голодом сводит.
Хлеб! —
вот это земная ось:
на ней вертеться и нам и свободе.
Пусть бабы баранки на Трубной нижут
и ситный лари Смоленского ломит, —
я день и ночь Поволжье вижу,
солому жуящее, лежа в соломе.

Трубите ж о голоде в уши Европе!
Делитесь и те, у кого немного!
Крестьяне,
ройте пашен окопы!

Стреляйте в него
мешками налога!
Гоните стихом!
Тесните пьесой!
Вперед врачей целебных взводы!
Давите его дымовую завесой!
В атаку, фабрики!
В ногу, заводы!
А если
воплю голодных не внимлешь, —
чужды чужие голод и жажда вам, —
он
завтра
нагрянет на наши земли ж
и встанет здесь
за спиною у каждого!

1921

СТИХОТВОРЕНИЕ О МЯСНИЦКОЙ, О БАБЕ И О ВСЕРОССИЙСКОМ МАСШТАБЕ

Сапоги почистить – 1 000 000.
Состояние!

Раньше б дом купил —
и даже неплохой.

Привыкли к миллионам.
Даже до луны расстояние
советскому жителю кажется чепухой.

Дернул меня черт
писать один отчет.
«Что это такое?» —
спрашивает с тоскою
машинистка.
Ну, что отвечу ей?!
Черт его знает, что это такое,
если сзади
у него
тридцать семь нулей.
Недавно уверяла одна дура,
что у нее

тридцать девять тысяч семь сотых температура.
Так привыкли к таким числам,
что меньше сажени число и не мыслим.
И нам,
если мы на митинге ревом,
рамки арифметики, разумеется, узки —
все разрешаем в масштабе мировом.
В крайнем случае – масштаб общерусский.
«Электрификация?!» – масштаб всероссийский.
«Чистка!» – во всероссийском масштабе.
Кто-то
даже,
чтоб избежать переписки,
предлагал —
сквозь землю
до Вашингтона кабель.

Иду.
Мясницкая.
Ночь глуха.
Скачу трясогузкой с ухаба на ухаб.
Сзади с тележкой баба.
С вещами
на Ярославский
хлюпает по ухабам.
Сбивают ставшие в хвост на галоши;
то грузовик обдаст,
то лошадь,
Балансируя
– четырехлетний навык! —

тащусь меж канавищ,
канав,
канавок.

И то

– на лету вспоминая маму —

с размаху

у почтамта

плюхаюсь в яму.

На меня тележка.

На тележку баба.

В грязи ворочаемся с боку на бок.

Что бабе масштаб грандиозный наш?!

Бабе грязью обдало рыло,

и баба,

взбираясь с этажа на этаж,

сверху

и меня

и власти крыла.

Правдив и свободен мой вещий язык

и с волей советскою дружен,

но, натолкнувшись на эти низы,

даже я запнулся, сконфужен.

Я

на сложных агитвопросах рос,

а вот

не могу объяснить бабе,

почему это

о грязи

на Мясницкой

вопрос

никто не решает в общемясницком масштабе?!

1921

ПРИКАЗ № 2 АРМИИ ИСКУССТВ

Это вам —
упитанные баритоны —
от Адама
до наших лет,
потрясающие театрами именуемые притоны
ариями Ромеов и Джульетт.

Это вам —
пентры,
раздобревшие как кони,
жрущая и ржущая России краса,
прячущаяся мастерскими,
по-старому драконя
цветочки и телеса.

Это вам —
прикрывшиеся листиками мистики,
лбы морщинками изрыв —
футуристики,
имажинистики,
акмеистики,
запутавшиеся в паутине рифм.

Это вам —
на растрепанные сменившим
гладкие прически,
на лапти – лак,

пролеткультцы,
кладущие заплатки
на вылинявший пушкинский фрак.
Это вам —
пляшущие, в дуду дующие,
и открыто предающиеся,
и грешащие тайком,
рисующие себе грядущее
огромным академическим пайком.
Вам говорю
я —
гениален я или не гениален,
бросивший безделушки
и работающий в Росте,
говорю вам —
пока вас прикладами не прогнали:
Бросьте!

Бросьте!
Забудьте,
плюньте
и на рифмы,
и на арии,
и на розовый куст,
и на прочие мелехлюндии
из арсеналов искусств.
Кому это интересно,
что – "Ах, вот бедненький!
Как он любил
и каким он был несчастным..."?

Мастера,
а не длинноволосые проповедники
нужны сейчас нам.
Слушайте!
Паровозы стонут,
дует в щели и в пол:
"Дайте уголь с Дону!
Слесарей,
механиков в депо!"

У каждой реки на истоке,
лежа с дырой в боку,
пароходы провыли доки:
«Дайте нефть из Баку!»
Пока канителим, спорим,
смысл сокровенный ища:
«Дайте нам новые формы!» —
несется вопль по вещам.

Нет дураков,
ждя, что выйдет из уст его,
стоять перед «маэстрами» толпой разинь.

Товарищи,
дайте новое искусство —
такое,
чтобы выволочь республику из грязи.

ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание,
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.
Заявишься:
"Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени она". —
"Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
объединение Тео и Гукона".

Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
"Через час велели прийти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом".

Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет —
голо!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
"На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома".

Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорогой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
"Зарезали!
Убили!"
Мечусь, оря.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
"Оне на двух заседаниях сразу.
В день

заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там".

С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
"О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!"

1922

СВОЛОЧИ!

Гвоздимые строками,
стойте немые!
Слушайте этот волчий вой,
еле прикидывающийся поэмой!
Дайте сюда
самого жирного,
самого плешивого!
За шиворот!
Ткну в отчет Помгола.
Смотри!
Видишь —
за цифрой голой...

Ветер рванулся.
Рванулся и тише...
Снова снегами огреб
тысяче-
миллионнокрыший
волжских селений гроб.
Трубы —
гробовые свечи.
Даже вороны
исчезают,
чуя,
что, дымясь,

тянется
слащавый,
тошнотворный
дух
зажариваемых мяс.
Сына?
Отца?
Матери?
Дочери?
Чья?!
Чья в людоедчестве очередь?!

Помощи не будет!
Отрезаны снегами.
Помощи не будет!
Воздух пуст.
Помощи не будет!
Под ногами
даже глина сожрана,
даже куст.

Нет,
не помогут!
Надо сдаваться.
В 10 губерний могилу вымеряйте!
Двадцать
миллионов!
Двадцать!
Ложитесь!
Вымрите!..

Только одна,
осипшим голосом,
сумасшедшие проклятия метелями меля,
рек,
дорог снеговые волосы
ветром рвя, рыдает земля.

Хлеба!
Хлебушка!
Хлебца!

Сам смотрящий смерть воочию,
еле едящий,
только б не сдох, —
тянет город руку рабочую
горстью сухих крох.

"Хлеба!
Хлебушка!
Хлебца!"
Радио ревет за все границы.
И в ответ
за нелепицей нелепица
сыплется в газетные страницы.

"Лондон.
Банкет.
Присутствие короля и королевы.
Жрущих – не вместишь в раззолоченные

хлевы".

Будьте прокляты!

Пусть

за вашей головою венчанной
из колоний

дикари придут,
питаемые человечиной!

Пусть

горят над королевством
бунтов зарева!

Пусть

столицы ваши
будут выжжены дотла!

Пусть из наследников,
из наследниц варево

варится в коронах – котлах!

"Париж.

Собрались парламентарии.

Доклад о голоде.

Фритиоф Нансен.

С улыбкой слушали.

Будто соловьиные арии.

Будто тенора слушали в модном романсе".

Будьте прокляты!

Пусть

веки

вам

не слышать речи человеческой!
Пролетарий французский!
Эй,
стягивай петлею вместо речи
толщ непроходимых шей!

"Вашингтон.
Фермеры,
доевшие,
допившие
до того,
что лебедками поднимают пузы,
в океане
пшеницу
от излишества топившие, —
топят паровозы грузом кукурузы".

Будьте прокляты!
Пусть
ваши улицы
бунтом будут запружены.
Выбрав
место, где более больно,
пусть
по Америке —
по Северной,
по Южной —
гонят
брюх ваших
мячище футбольный!

"Берлин.
Оживает эмиграция.
Банды радуются:
с голодными драться им.
По Берлину,
закручивая усики,
ходят,
хвастаются:
– Патриот!
Русский!"

Будьте прокляты!
Вечное «вон!» им!
Всех отвращая иудым видом,
французского золота преследуемые звоном,
скитайтесь чужбинами Вечным жидом!
Леса российские,
соберитесь все!
Выберите по самой большой осине,
чтоб образ ихний
вечно висел,
под самым небом качался, синий.

"Москва.
Жалоба сборщицы:
в «Ампирах» морщатся
или дадут
тридцатирублевку,
вышедшую из употребления в 1918 году".

Будьте прокляты!
Пусть будет так,
чтоб каждый проглоченный
глоток
желудок жег!
Чтоб ножницами оборачивался бифштекс
сочный,
вспарывая стенки кишок!

Вымрет.
Вымрет 20 миллионов человек!
Именем всех упокоенных тут —
проклятие отныне,
проклятие вовек
от Волги отвернувшим морд толстоту.
Это слово не к жирному пузу,
это слово не к царскому трону, —
в сердце таком
слова ничего не тронут:
трогают их революций штыком.

Вам,
несметной армии частицам малым,
порох мира,
силой чьей,
силой,
брошенной по всем подвалам,
будет взорван
мир несметных богачей!

Вам! Вам! Вам!
Эти слова вот!

Цифрами верстовыми,
вмещающимися едва,
запишите Волгу буржуазии в счет!

Будет день!
Пожар всехсветный,
чистящий и чадный.
Выворачивая богачей палаты,
будьте так же,
так же беспощадны
в этот час расплаты!

1922

БЮРОКРАТИАДА

Прабабушка бюрократизма

Бульвар.

Машина.

Сунь пятак —

что-то повертится,

пошипит гадко.

Минуты через две,

приблизительно так,

из машины вылазит трехкопеечная

шоколадка.

Бараны!

Чего разглазелись кучей?!

В магазине и проще,

и дешевле,

и лучше.

Вчерашнее

Черт,

сын его

или евонный брат,

расшутившийся сверх всяких мер,

раздул машину в миллиарды крат

и расставил по всей РСФСР.

С ночи становятся людей тени.
Тяжелая – подъемный мост! —
скрипит,
глотает дверь учреждений
извивающийся человеческий хвост.

Дверь разгорожена.
Еще не узка им!
Через решетки канцелярских баррикад,
вырвав пропуск, идет пропускаемый.
Разлилась коридорами человечья река.

(Первый шип —
первый вой —
«С очереди сшиб!»
«Осади без трудовой!»)

– Ищите и обрящете, —
пойди и «рящь» ее! —
которая «входящая» и которая «исходящая»?!
Обрящут через час – другой.
На рупь бумаги – совсем мало! —
всовывают дрожащей рукой
в пасть входящего журнала.
Колесики завертелись.
От дамы к даме
пошла бумажка, украшаясь номерами.

От дам бумажка перекинулась к секретарше.
Шесть секретарш от младшей до старшей!

До старшей бумажка дошла в обед.
Старшая разошлась.
Потерялся след.
Звезды считать?
Сойдешь с ума!
Инстанций не считаю – плавай сама!
Бумажка плыла, шевелилась еле.
Лениво ворочались машины валы.
В карманы тыкалась,
совалась в портфели,
на полку ставилась,
кчалась в столы.
Под грудой таких же
столами коллегий
ждала,
когда подымут ввысь ее,
и вновь
под сукном
в многомесячной неге
дремала в тридцать третьей комиссии.

Бумажное тело сначала толстело.
Потом прибавились клипсы – лапки.
Затем бумага выросла в «дело» —
пошла в огромной синей папке.
Зав ее исписал на славу,
от зава к замзаву вернулась вспять,
замзав подписал,
и обратно
к заву

вернулась на подпись бумага опять.
Без подписи места не сыщем под ней мы,
но вновь
механизм
бумагу волок,
с плеча рассыпая печати и клейма
на каждый
чистый еще
уголок.
И вот,
через какой-нибудь год,
отверз журнал исходящий рот.
И, скрипнув перьями,
выкинул вон
бумаги негодной – на миллион.

Сегодняшнее

Высунув языки,
разинув рты,
носятся нэписты
в рьяни,
в яри...
А посередине
высятся
недоступные форты,
серые крепости советских канцелярий.
С угрозой выдвинув пики – перья,
закованные в бумажные латы,
работали канцеляристы,

когда
в двери
бумажка втиснулась:
«Сокращай штаты!»
Без всякого волнения,
без всякой паники
завертели колеса канцелярской механики.
Один берет.
Другая берет.
Бумага взад.
Бумага вперед.
По проторенному другими следу
через замзава проплыла к преду.
Пред в коллегию внес вопрос:
"Обсудите!
Аппарат оброс".

Все в коллегии спорили стойко.
Решив вести работу рысью,
немедленно избрали тройку.
Тройка выделила комиссию и подкомиссию.
Комиссию распирала работа.

Комиссия работала до четвертого пота.
Начертили схему:
кружки и линии,
которые красные, которые синие.
Расширив штат сверхштатной сотней,
работали и в праздник и в день субботний.
Согнулись над кипами,

расселись в ряд,
щеголяют выкладками,
цифрами пещрят.
Глотками хриплыми,
ртами пенными
вновь вопрос подымался в пленуме.
Все предлагали умно и трезво:
«Вдвое урезывать!»
«Втрое урезывать!»
Строчил секретарь —
от работы в мыле:
постановили – слушали,
слушали – постановили...
Всю ночь,
над машинкой склонившись низко,
резолуции переписывала и переписывала
машинистка.
И...
через неделю
забредшие киски
играли листиками из переписки.

Моя резолюция

По-моему,
это
– с другого бочка —
знаменитая сказка про белого бычка.

Конкретное предложение

Я,
как известно,
не делопроизводитель.
Поэт.
Канцелярских способностей у меня нет.
Но, по-моему,
надо
без всякой хитрости
взять за трубу канцелярию
и вытрясти.
Потом
над вытряхнутыми
посидеть в тиши,
выбрать одного и велеть:
«Пиши!»
Только попросить его:
"Ради бога,
пиши, товарищ, не очень много!"

1922

МОЯ РЕЧЬ НА ГЕНУЭЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Не мне российская делегация вверена,
Я —
самозванец на конференции Генуэзской.
Дипломатическую вежливость товарища Чичерина
дополню по-моему —
просто и резко.
Слушай!
Министерская компания!
Нечего заплывшими глазками мерцать.
Сквозь фраки спокойные вижу —
паника
трясет лихорадкой ваши сердца.
Неужели
без смеха
думать в силе,
что вы
на конференцию
нас пригласили?
В штыки бросаясь на Перекоп идти,
мятежных склоняя под красное знамя,
трудом сгибаясь в фабричной копоти, —
мы знали —
заставим разговаривать с нами.

Не просьбой просителей язык замер,
не нищие, жмурающиеся от господского света, —
мы ехали, осматривая хозяйскими глазами
грядущую

Мировую Федерацию Советов.

Болтают язычишки газетных строк:

«Испытать их сначала...»

Хватили лишку!

Не вы на испытание даете срок —

а мы на время даем передышку.

Лишь первая фабрика взвила дым —
враждой к вам

в рабочих

вспыхнули души.

Слюной ли речей пожары вражды

на конференции

нынче

затушим?!

Долги наши,

каждый медный грош,

считают «Матэны»,

считают «Таймсы».

Считаться хотите?

Давайте!

Что ж!

Посчитаемся!

О вздернутых Врангелем,

о расстрелянном,

о заколотом

память на каждой крымской горе.

Какими пудами
какого золота
оплатите это, господин Пуанкаре?
О вашем Колчаке – Урал спросите!
Зверством – аж горы вгонялись в дрожь.
Каким золотом —
хватит ли в Сити?! —
оплатите это, господин Ллойд-Джордж?
Вонзите в Волгу ваше зрение:
разве этот
голодный ад,
разве это
мужицкое разорение —
не хвост от ваших войн и блокад?
Пусть
кладбищами голодной смерти
каждый из вас протащится сам!
На каком —
на железном, что ли, эксперте
не встанут дыбом волоса?
Не защититесь пунктами резолюций-плотин.
Мировая —
ночи пальбой веселя —
революция будет —
и велит:
"Плати
и по этим российским векселям!"
И розовые краснеют мало-помалу.
Тише!
Не дыша!

Слышите
из Берлина
первый шаг
трех Интернационалов?
Растя единство при каждом ударе,
идем.
Прислушайтесь —
вздрагивает здание.

Я кончил.
Милостивые государи,
можете продолжать заседание.

1922

ГЕРМАНИЯ

Германия —
это тебе!
Это не от Рапалло.
Не наркомвнешторжым я расчетам внял.
Никогда,
никогда язык мой не трепала
комплиментщины официальной болтовня.
Я не спрашивал,
Вильгельму,
Николаю прок ли, —
разбираться в дрязгах царственных не мне.
Я
от первых дней
войнищу эту проклял,
плюнул рифмами в лицо войне.
Распустив демократические слюни,
шел Керенский в орудийном гуле.
С теми был я,
кто в июне
отстранял
от вас
нацеленные пули.
И, когда стянув полков ободья,
сжали горла вам французы и британцы,
голос наш

взвивался песней о свободе,
руки фронта вытянул брататься.
Сегодня
хожу
по твоей земле, Германия,
и моя любовь к тебе
расцветает романнее и романнее.
Я видел —
цепенеют верфи на Одере,
я видел —
фабрики сковывает тишь.
Пусть, —
не верю,
что на смертном одре
лежишь.
Я давно
с себя
лохмотья наций скинул.
Нищая Германия,
позволь
мне,
как немцу,
как собственному сыну,
за тебя твою распеснить боль.

Рабочая песнь

Мы сеем,
мы жнем,
мы куем,

мы прядем,
рабы всемогущих Стиннесов.
Но мы не мертвы.
Мы еще придем.
Мы еще наметим и кинемся.
Обернулась шибером,
улыбка на морде, —
история стала.
Старая врет.
Мы еще придем.
Мы пройдем из Норденов
сквозь Вильгельмов пролет Бранденбургских ворот.
У них доллары.
Победа дала.
Из унтерденлиндских отелей
ползут,
вгрызают в горло доллар,
пируют на нашем теле.
Терпите, товарищи, расплаты во имя...
За все —
за войну,
за после,
за раньше,
со всеми,
с ихними
и со своими
мы рассчитаемся в Красном реванше...

На глотке колено.
Мы – зверьи рычим.

Наш голос судорогой немится...

Мы знаем, под кем,
мы знаем, под чьим
еще подымутся немцы.

Мы

еще

извеселим берлинские улицы.

Красный флаг, —

мы заждались —

вздымайся и рей!

Красной песне

из окон каждого Шульца

откликайся,

свободный

с Запада

Рейн.

Это тебе дарю, Германия!

Это

не долларов тыщи,

этой песней счета с голодом не свести.

Что ж,

и ты

и я —

мы оба нищи, —

у меня

это лучшее из всего, что есть.

1922 – 1923

О ПОЭТАХ

Стихотворение это —
одинаково полезно и для редактора
и для поэтов.

Всем товарищам по ремеслу:
несколько идей
о "прожигании глаголами сердец
людей".

Что поэзия?!
Пустяк.
Шутка.
А мне от этих шуточек жутко.

Мысленным оком окидывая Федерацию —
готов от боли визжать и драться я.
Во всей округе —
тысяч двадцать поэтов изогнулись в дуги.
От жизни сидячей высохли в жгут.
Изголодались.
С локтями голыми.
Но денно и ночью
жгут и жгут
сердца неповинных людей «глаголами».
Написал.

Готово.

Спрашивается – прожег?

Прожег!

И сердце и даже бок.

Только поймут ли поэтические стада,

что сердца

сгорают —

исключительно со стыда.

Посудите:

сидит какой-нибудь верзила

(мало ли слов в России есть?!).

А он

вытягивает,

как булавку из ила,

пустяк,

который полегше зарифмоплесть.

много ль в языке такой чуши,

чтоб сама

колокольчиком

лезла в уши?!!

Выберет...

и опять отчесывает вычески,

чтоб образ был «классический»,

«поэтический».

Вычешут...

и опять кряхтят они:

любят ямбы редактора лающие.

А попробуй

в ямб

пойди и запихни

какое-нибудь слово,
например, «млекопитающееся».
Потеют как следует
над большим листом.
А только сбоку
на узеньком клочочке
коротенькие строчки растянулись глистом.
А остальное —
одни запятые да точки.
Хороший язык взял да и искрошил,
зря только на обучение тратились гроши.
В редакции
поэтов банда такая,
что у редактора хронический разлив желчи.
Банду локтями,
дверями толкают,
курьер орет: «Набилось сволочи!»
Не от мира сего —
стоят молча.
Поэту в редкость удачи лучи.
Разве что редактор заталмудится слишком,
и врасплох удастся ему всучить
какую-нибудь
позапрошлогодную
залежавшуюся «веснишку».
И, наконец,
выпускающий,
над чушью фыркая,
режет набранное мелким петитнком
и затыкает стихами дырку за дыркой,

на горе родителям и на радость критикам.
И лезут за прибавками наборщик и наборщица.
Оно понятно —
набирают и морщатся.

У меня решение одно отлежалось:
помочь людям.

А то жалость!

(Особенно предложение пригодилось к весне б,
когда стихом зачитывается весь нэп.)

Я не против такой поэзии.

Отнюдь.

Весною тянет на меланхолическую нудь.

Но долой рукоделие!

Что может быть старей
кустарей?!

Как мастер этого дела

(ко мне не прицепитесь)

сообщу вам об универсальном рецепте-с.

(Новость та,

что моими мерами

поэты заменяются редакционными курьерми.)

Рецепт

(Правила простые совсем:
всего – семь.)

1. Берутся классики,

свертываются в трубку

и пропускаются через мясорубку.

2. Что получится, то откидывают на решето.
3. Откинутае выставляется на вольный дух.
(Смотри, чтоб на «образы» не насело мух!)
4. Просушиваемое перетряхивается еле
(чтоб мягкие знаки чересчур не затвердели).
5. Сушится (чтоб не успело перевечниться)
и сыпется в машину:
обыкновенная перечница.
6. Затем
раскладывается под машиной
липкая бумага
(для ловли мушиной).
7. Теперь просто;
верти ручку,
да смотри, чтоб рифмы не сбились в кучку!
(Чтоб «кровь» к «любовь»,
«тьень» ко «дню»,
чтоб шли аккуратненько
одна через одну.)

Полученное вынь и...
готово к употреблению:
к чтению,
к декламированию,
к пению.

А чтоб поэтов от безработной меланхолии
вылечить,
чтоб их не тянуло портить бумажки,

отобрать их от добрейшего Анатолия
Васильича
и передать
товарищу Семашке.

1923

О «ФИАСКАХ», «АПОГЕЯХ» И ДРУГИХ НЕВЕДОМЫХ ВЕЩАХ

На съезде печати
у товарища Калинина
великолепнейшая мысль в речь вклинена!
"Газетчики,
думайте о форме!"
До сих пор мы
не подумали об усовершенствовании статейной
формы.
Товарищи газетчики,
СССР оглазейте, —
как понимается описываемое в газете.

Акуловкой получена газет связка.
Читают.
В буквы глаза втыкают.
Прочли:
— «Пуанкаре терпит фиаско». —
Задумались.
Что это за «фиаска» за такая?
Из-за этой «фиаски»
грамотей Ванюха
чуть не разодрался!
— Слушай, Петь,

с «фиаской» остро держи ухо;
даже Пуанкаре приходится его терпеть.
Пуанкаре не потерпит какой-нибудь клячи.
Даже Стиннеса —
и то! —
прогнал из Рура.
А этого терпит.
Значит, богаче.
Американец, должно.
Понимаешь, дура?! —

С тех пор,
когда самогонщик,
местный туз,
проезжал по Акуловке, гремя коляской,
в уважение к богатству,
скидавая картуз,
его называли —
Господином Фиаской.

Последние известия получили красноармейцы.
Сели.
Читают, газетиной вея.
— О французском наступлении в Руре имеется?
— Да, вот написано:
«Дошли до своего апогея»,
— Товарищ Иванов!
Ты ближе.
Эй!
На карту глянь!

Что за место такое:

А-п-о-г-е-й? —

Иванов ищет.

Дело дрянь.

У парня

аж скулу от напряжения свело.

Каждый город просмотрел,

каждое село.

"Эссен есть —

Апогея нету!

Деревушка махонькая, должно быть, это.

Верчусь —

аж дыру провертел в сапоге я —

не могу найти никакого Апогея!"

Казарма

малость

посоветчалась.

Наконец —

товарищ Петров взял слово:

– Сказано: до своего дошли.

Ведь не до чужого?!

Пусть рассеется сомнений дым.

Будь он селом или градом,

своего «апогея» никому не отдадим,

а чужих «апогеев» – нам не надо. —

Чтоб мне не писать, впустую оря,

мораль вывожу тоже:

то, что годится для иностранного словаря,

газете – не гоже.

1923

ПАРИЖ

(Разговорчики с Эйфелевой башней)

Обшаркан миллионом ног.
Исшелестен тыщей шин.
Я борозжу Париж —
до жути одинок,
до жути ни лица,
до жути ни души.
Вокруг меня —
авто фантастят танец,
вокруг меня —
из зверорыбьих морд —
еще с Людовиков
свистит вода, фонтанясь.
Я выхожу
на Place de la Concorde.
Я жду,
пока,
подняв резную главку,
домовьей слежкой умаяна,
ко мне,
к большевику,
на явку

выходит Эйфелева из тумана.
– Т-ш-ш-ш,
башня,
тише шлепайте! —
увидят! —
луна – гильотинная жуть.
Я вот что скажу
(пришипился в шепоте,
ей
в радиоухо
шепчу,
жужжу);
– Я разагитировал вещи и здания.
Мы —
только согласия вашего ждем.
Башня —
хотите возглавить восстание?
Башня —
мы
вас выбираем вождем!
Не вам —
образцу машинного гения —
здесь
таять от аполлинеровских вирш.
Для вас
не место – место гниения —
Париж проституток,
поэтов,
бирж.
Метро согласились,

метро со мною —
они
из своих облицованных нутр
публику выплюют —
кровью смоят
со стен
плакаты духов и пудр.
Они убедились —
не ими литься
вагонам богатых.
Они не рабы!
Они убедились —
им
более к лицам

наши афиши,
плакаты борьбы.
Башня —
улиц не бойтесь!
Если
метро не выпустит уличный грунт —
грунт
исполосуют рельсы.
Я подымаю рельсовый бунт.
Бойтесь?
Трактиры заступятся стаями?
Бойтесь?
На помощь придет Рив-гош.
Не бойтесь!
Я уговорился с мостами.

Вплавь
реку
переплыть
не легко ж!
Мосты,
распалясь от движения злого,
подымутся враз с парижских боков.
Мосты забунтуют.
По первому зову —
прохожих ссыпят на камень быков.
Все вещи вздыбятся.
Вещам невоготу.
Пройдет
пятнадцать лет
иль двадцать,
обдрябнет сталь,
и сами
вещи
тут
пойдут
Монмартрами на ночи продаваться.
Идемте, башня!
К нам!
Вы —
там,
у нас,
нужней!
Идемте к нам!
В блестенье стали,
в дымах —

мы встретим вас.

Мы встретим вас нежней,
чем первые любимые любимых.

Идем в Москву!

У нас

в Москве

простор.

Вы

— каждый! —

будете по улице иметь.

Мы

будем холить вас;

раз сто

за день

до солнц расчистим вашу сталь и медь.

Пусть

город ваш,

Париж франтих и дур,

Париж бульварных ротозеев,

кончается один, в сплошной складбищась Лувр,

в старье лесов Булонских и музеев.

Вперед!

Шагни четверкой мощных лап,

прибитых чертежами Эйфеля,

чтоб в нашем небе твой изранило лоб,

чтоб наши звезды пред тобою сдрейфили!

Решайтесь, башня, —

нынче же вставайте все,

разворотив Париж с верхушки и до низу!

Идемте!

К нам!

К нам, в СССР!

Идемте к нам —

я

вам достану визу!

1923

ГАЗЕТНЫЙ ДЕНЬ

Рабочий

утром

глазеет в газету.

Думает:

"Нам бы работешку эту!

Дело тихое, и нету чище.

Не то что по кузницам отмахивать ручища.

Сиди себе в редакции в беленькой сорочке —
и гони строчки.

Нагнал,

расставил запятые да точки,

подписался,

под подпись закорючку,

и готово:

строчки растут как цветочки.

Ручки в брючки,

в стол ручку,

получил построчные —

и, ленивой ивой

склоняясь над кружкой,

дуй пиво".

В искоренение вредного убежденья
вынужден описать газетный день я.

Как будто

весь народ,
который
не поместился под башню Сухареву, —
пришел торговаться в редакционные коридоры.
Тыщи!

Во весь дух ревут.

"Где объявления?

Потеряла собачку я!"

Голосит дамочка, слезками пачкаясь.

«Караул!»

Отчаянные вопли прореяли.

"Миллиард?

С покойничка?

За строку нонпарели?"

Завжилотдел.

Не глаза – жжение.

Каждому сует какие-то опровержения.

Кто-то крестится.

Клянется крещеным лбом:

«Это я – настоящий Бим-Бом!»

Все стены уставлены какими-то дядьями.

Стоят кариатидами по стенкам голым.

Это «начинающие».

Помахивая статьями,

по дороге к редактору стоят частоколом.

Два.

Редактор вплывает барином.

В два с четвертью

из барина,

как из пристяжной,

умученной выездом парным, —
паром вздымается испарина.

Через минуту

из кабинета редакторского рев:
то ручкой по папке,
то по столу бац ею.

Это редактор,
собрав бухгалтеров,
потеет над самоокупацией.

У редактора к передовице лежит сердце.

Забудь!

Про сальдо язычишкой треплет.

У редактора —

аж волос вылезит от коммерции,
лечет редактор про «кредит и дебет».

Пока редактор завхоза ест —
раз сто телефон вгрызается лаем.

Это ставку учетверяет Мострест.

И еще грозитя:

«Удесятерю в мае».

Наконец, освободился.

Минуточек лишка...

Врывается начинающий.

Попробуй – выставь!

"Прочтите немедля!

Замечательная статьяшка",

а в статьешке —

листов триста!

Начинающего унимают диалектикой нечеловечьей.

Хроникер врывается:

"Там,
в Замоскворечье, —
выловлен из Москвы-реки —
живой гиппопотам!"

Из РОСТА

на редактора

начинает литься

сенсация за сенсацией,

за небылицей небылица.

Нет у РОСТА лучшей радости,

чем всучить редактору невероятнейшей гадости.

Извергая старательность, как Везувий и Этна,

курьер врывается.

"К редактору!

Лично!"

В пакете

с надписью:

– Совершенно секретно —

повестка

на прошлогоднее заседание публичное.

Затем курьер,

красный, как малина,

от НКВД.

Кроет рьяно.

Передовик

президента Чжан Цзо-лина

спутал с гаолянком.

Наконец, библиограф!

Что бешеный вол.

Машет книжкой.

Выражается резко.

Получил на рецензию

юрист —

хохол —

учебник гинекологии

на древнееврейском!

Вокруг

за столами

или перьев скрежет,

или ножницы скрипят:

писателей режут.

Секретарь

у фельетониста,

пропотевшего до сорочки,

делает из пятисот —

полторы строчки.

Под утро стихает редакционный раж.

Редактор в восторге,

Уехал.

Улажено.

Но тут...

Самогоном упился метранпаж,

лишь свистят под ротационкой ноздри

метранпажины.

Спит редактор.

Снится: Мострест

так высоко взвинтил ставки —

что на колокольню Ивана Великого влез

и хохочет с колокольной главки.

Просыпается.

До утра проспал без просыпа.
Ручонки дрожат.
Газету откроют.
Ужас!
Не газета, а оспа.
Шрифт по статьям расплылся икрою.
Из всей газеты,
как из моря риф,
выглядывает лишь —
парочка чьих-то рифм.
Вид у редактора...
такой вид его,
что видно сразу —
нечему завидовать.

Если встретите человека белее мела,
худющего,
худей, чем газетный лист, —
умозаключайте смело:
или редактор,
или журналист.

МЫ НЕ ВЕРИМ!

Тенью истемня весенний день,
выклеен правительственный бюллетень.

Нет!

Не надо!

Разве молнии велишь
не литься?

Нет!

не оковать язык грозы!

Вечно будет

тысячестраницый

грохотать

набатный

ленинский язык.

Разве гром бывает немостою болен?!

Разве сдержишь смерч,

чтоб вихрем не кипел?!

Нет!

не ослабеет ленинская воля

в миллионосильной воле РКП.

Разве жар

такой

термометрами меряется?!

Разве пульс
такой
секундами гудит?!
Вечно будет ленинское сердце
клокотать
у революции в груди.

Нет!

Нет!

Не-е-т...

Не хотим,

не верим в белый бюллетень.

С глаз весенних

сгинь, навязчивая тень!

1923

ТРЕСТЫ

В Москве
редкое место —
без вывески того или иного треста.
Сто очков любому вперед дадут —
у кого семейное счастье худо.
Тресты живут в любви,
в ладу
и супружески строятся друг против друга.
Говорят:
меж трестами неурядицы, —
Ложь!
Треста
с трестом
водой не разольешь.
На одной улице в Москве
есть
(а может нет)
такое место:
стоит себе тихо «хвостотрест»,
а напротив —
вывеска «копытотреста».
Меж трестами
через улицу,
в служении лют,
весь день суетится чиновный люд.

Я теперь хозяйством обзавожусь немножко.

(Купил уже вилки и ложки.)

Только вот что:

беспокоит всякая крошка.

После обеда

на клеенке —

сплошные крошки.

Решил купить,

так или иначе,

для смахивания крошек

хвост телячий.

Я не спекулянт —

из поэтического теста.

С достоинством влазю в дверь «хвостотреста».

Народищу – уйма.

Просто неопишимо.

Стоят и сидят

толпами и гущами.

Хлопают и хлопают дверные створки.

Коридор —

до того забит торгующими,

что его

не прочистишь цистерной касторки.

Отчаявшись пробиться без указующих фраз,

спрашиваю:

– Где здесь на хвосты ордера? —

У вопрошаемого

удивление на морде.

– Хотите, – говорит, – на копыто ордер? —

Я к другому —

невозмутимо, как день вешний:

– Где здесь хвостики?

– Извините, – говорит, – я не здешний, —

Подхожу к третьему
(интеллигентный быдто) —

а он и не слушает:

– Угодно-с копыто?

– Да ну вас с вашими копытами к маме,
подать мне сюда заведующего хвостами! —

Врываюсь в канцелярию:

пусто, как в пустыне,

только чей-то чай на столике стынет.

Под вывеской —

«без доклада не лезьте»

читаю:

"Заведующий принимает в «копытотресте». —

Взбесился.

Выбежал.

Во весь рот

гаркнул:

– Где из «хвостотреста» народ? —

Сразу завопило человек двести:

– Не знает.

Бедненький!

Они посредничают в «копытотресте»,

а мы в «хвостотресте»,

по копыту посредники.

Если вам по хвостам —

идите туда:

они там.

Перейдите напротив

– тут мелко —

спросите заведующего

и готово – сделка.

Хвост через улицу перепрут рысью

только 100 процентов с хвоста —

за комиссию. —

Я

способ прекрасный для борьбы им выискал:

как-нибудь

в единый мах —

с треста на трест перевесить вывески,

и готово:

все на своих местах.

А чтоб те или иные мошенники

с треста на трест не перелетели птичкой,

посредников на цепочки,

к цепочке ошейники,

а на ошейнике —

фамилия

и трестова кличка.

1923

17 АПРЕЛЯ

Мы
о царском плене
забыли за 5 лет.
Но тех,
за нас убитых на Лене,
никогда не забудем.
Нет!
Россия вздрогнула от гнева злобного,
когда
через тайгу
до нас
от ленского места лобного —
донесся расстрела гул.
Легли,
легли Октября буревестники,
глядели Сибири снега:
их,
безоружных,
под пуль песенки
топтала жандарма нога.
И когда
фабрикантище ловкий
золотые
горстями загребал,
липла

с каждой
с пятирублевки
кровь
упрятанных тундрам в гроба.
Но напрасно старался Терещенко
смыть
восставших
с лица рудника.
Эти
первые в троне трещинки
не залижет никто.
Никак.
Разгуделась весть о расстреле,
и до нынче
гудит заряд,
по российскому небу расстрелясь,
Октябрем разгорелась заря.
Нынче
с золота смыты пятна.
Наши
тыщи сияющих жил.
Наше золото.
Взяли обратно.
Приказали:
– Рабочим служи! —
Мы
сомкнулись красными ротами.
Быстра шагов краснофлагих гряда.
Никакой не посмеет ротмистр
сыпать пули по нашим рядам.

Нынче
течем мы.
Красная лава.
Песня над лавой
свободная пенится.
Первая
наша
благодарная слава
вам, Ленцы!

1923

ВЕСЕННИЙ ВОПРОС

Страшное у меня горе.
Вероятно —
лишусь сна.
Вы понимаете,
вскоре
в РСФСР
придет весна.
Сегодня
и завтра
и веков испокон
шатается комната —
солнца пропойца.
Невозможно работать.
Определенно обеспокоен.
А ведь откровенно говоря —
совершенно не из-за чего беспокоиться.
Если подойти серьезно —
так-то оно так.
Солнце посветит —
и пройдет мимо.
А вот попробуй —
от окна оттяни кота.
А если и животное интересуется улицей,
то мне
это —

просто необходимо.

На улицу вышел

и встал в лени я,

не в силах...

не сдвинуть с места тело.

Нет совершенно

ни малейшего представления,

что ж теперь, собственно говоря, делать?

И за шиворот

и по носу каплет безбожно.

Слушаешь.

Не смахиваешь.

Будто стих.

Юридически —

куда хочешь идти можно,

но фактически —

сдвинуться

никакой возможности.

Я, например,

считаюсь хорошим поэтом.

Ну, скажем,

могу

доказать:

«самогон — большое зло».

А что про это?

Чем про это?

Ну нет совершенно никаких слов.

Например:

город советские служащие искрапили,

приветствуй весну,

ответь салютно!

Разучились —

нечем ответить на капли.

Ну, не могут сказать —

ни слова.

Абсолютно!

Стали вот так вот —

смотрят рассеянно.

Наблюдают —

скалывают дворники лед.

Под башмаками вода.

Бассейны.

Сбоку брызжет.

Сверху льет.

Надо принять какие-то меры.

Ну, не знаю что, —

например:

выбрать день

самый синий,

и чтоб на улицах

улыбающиеся милиционеры

всем

в этот день

раздавали апельсины.

Если это дорого —

можно выбрать дешевле,

проще.

Например!

чтоб старики,

безработные,

неучащаяся детвора
в 12 часов
ежедневно
собирались на Советской
площади,
тремякратно кричали б:
ура!
ура!
ура!
Ведь все другие вопросы
более или менее ясны.
И относительно хлеба ясно,
и относительно мира ведь.
Но этот
кардинальный вопрос
относительно весны
нужно
во что бы то ни стало
теперь же урегулировать.

1923

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Мне
надоели ноты —
много больно пишут что-то.
Предлагаю
без лишних фраз
универсальный ответ —
всем зараз.
Если
нас
войка тот или иной
захочет
спровоцировать войной, —
наш ответ:
нет!
А если
даже в мордобойном вопросе
руку протянут —
на конференцию, мол, просим, —
всегда
ответ:
да!
Если
держава
та или другая
ультиматумами пугает, —

наш ответ:

нет!

А если,

не пугая ультимативным видом,

просят:

– Заплатим друг другу по обидам, —

всегда

ответ:

да!

Если

концессией

или чем прочим

хотят

на шею насесть рабочим, —

наш ответ:

нет!

А если

взаимно,

вскрыв мошну тугую,

предлагают:

– Давайте

честно поторгуем! —

всегда

ответ:

да!

Если

хочется

сунуть рыло им

в то,

кого судим,
кого милуем, —
наш ответ:
нет!
Если
просто
попросят
одолжения ради —
простите такого-то —
дурак-дядя, —
всегда
ответ:
да!
Керзон,
Пуанкаре,
и еще кто там?!
Каждый из вас
пусть не поленится
и, прежде
чем испускать зряшние ноты,
прочтет
мое стихотвореньице.

1923

ВОРОВСКИЙ

Сегодня,
пролетариат,
гром голосов раскуй,
забудь
о всепрощенье и воске.
Приконченный
фашистской шайкой воровской,
в последний раз
Москвой
пройдет Воровский.
Сколько не станет...
Сколько не стало...
Скольких – в ключья...
Скольких – в дым...
Где б ни сдали.
Чья б ни сдала.
Мы не сдали,
мы не сдадим.
Сегодня
гнев
скругли
в огромный
бомбы мяч.
Сегодня
голоса

размолний штычьим блеском.
В глазах
в капиталистовых маячь.
Чертись
по королевским занавескам.
Ответ
в мильон шагов
пошли
на наглость нот.
Мильонную толпу
у стен кремлевских вызьмей.
Пусть
смерть товарища
сегодня
подчеркнет
бессмертье
дела коммунизма.

1923

БАКУ

Баку.

Город ветра.

Песок плюет в глаза.

Баку.

Город пожаров.

Полыхание Балахан.

Баку.

Листья – копоть.

Ветки – провода.

Баку.

Ручьи —

чернила нефти.

Баку.

Плосковерхие дома.

Горбоносые люди.

Баку.

Никто не селится для веселья.

Баку.

Жирное пятно в пиджаке мира.

Баку.

Резервуар грязи,

но к тебе

я тянусь

любовью

более —

чем притягивает дервиша Тибет,
Мекка – правоверного,
Иерусалим —
христиан
на богомолье.
По тебе
машинами вздыхают
миллиарды
поршней и колес.
Поцелуют
и опять
целуют, не стихая,
маслом,
нефтью,
тихо
и взасос.
Воле города
противостать не смея,
цепью оцепеневших тел
льнут
к Баку
покорно
даже змеи
извивающихся цистерн.
Если в будущее
крепко верится —
это оттого,
что до краев
изливается
столицам в сердце

черная
бакинская
густая кровь.

1923

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Дело земли —
вертеться.
Литься —
дело вод.
Дело
молодых гвардейцев —
бег,
галоп
вперед.
Жизнь шажком
стара нам.
Бегом
под знаменем алым.
Комсомольским
миллионным тараном
вперед!
Но этого мало.
Полками
по полкам книжным,
чтоб буквы
и то смяло.
Мысль
засеем
и выжнем.
Вперед!

Но этого мало.
Через самую
высочайшую высь
махни атакующим валом.
Новым
чувством
мысль
будоражь!
Но и этого мало.
Ковром
вселенную взвей.
Моль
из вселенной
выбей!
Вели
лететь
левой
всей
вселенской
глыбе!

1923

НОРДЕРНЕЙ

Дыра дырой,
ни хорошая, ни дрянная —
немецкий курорт,
живу в Нордернее.
Небо
то луч,
то чайку роняет.
Море
блестящей, чем ручка дверная.
Полон рот
красот природ:
то волны
приливом
полберега выроют,
то краб,
то дельфинье выплеснет тельце,
то примусом волны фосфоресцируют,
то в море
закат
киселем раскиселится.
Тоска!..
Хоть бы,
что ли,
громовый раскат.
Я жду не дождусь

и не в силах дожидаться,
но верую в ярую,
верую в скорую.
И чудится:
из-за островочка
кронштадтцы
уже выплывают
и целят «Авророю».
Но море в терпенье,
и буре не вывести.
Волну
и не глядят ветровы пальчики.
По пляжу
впластались в песок
и в ленивости
купальщицы млеют,
млеют купальщички.
И видится:
буря вздымается с дюны.
"Купальщички,
жиром набитые бочки,
спасайтесь!
Покроет,
измелет
и сдует.
Песчинки – пули,
песок – пулеметчики".
Но пляж
буржуйкам
ласкает подошвы.

Но ветер,
песок
в ладу с грудастыми.
С улыбкой:
— как все в Германии дешево! —
валютчики
греют катары и астмы.
Но это ж,
наверно,
красные роты.
Шаганья знакомая разноголосица.
Сейчас на табльдотчиков,
сейчас на табльдоты
накинутся,
врежутся,
ринутся,
бросятся.
Но обер
на барыню
косится рабы:
фашистский
на барыньке
знак муссолинится.
Сося
и вгрызаясь в щупальцы крабы,
глядят,
как в море
закатище вклинится.
Чье сердце
октябрьскими бурями вымыто,

тому ни закат,
ни моря револицые,
тому ничего,
ни красот,
ни климатов,
не надо —
кроме тебя,
Революция!

1923

МОСКВА – КЕНИГСБЕРГ

Проезжие – прохожих реже.

Еще храпит Москва деляг.
Тверскую жрет,
Тверскую режет
сорокасильный «Каделяк».

Обмахнуло
радиатор
горизонта веером.

– Eins!

zweil!

dreil! —

Мотора гром.

В небо дверью —
аэродром.

Брик.

Механик.

Ньюбольд.

Пилот.

Вещи.

Всем по пять кило.

Влезли пятеро.

Земля попятилась.

Разбежались дорожки —
ящеры.

Ходынка
накрылась скатертью.
Красноармейцы,
Ходынкой стоящие,
стоя ж —
назад катятся.
Небо —
не ты ль?..
Звезды —
не вы ль это?!
Мимо звезды
(нельзя без виз!)
Навылет небу,
всему навывлет,
пали —
земной
отлетающий низ!
Развернулось солнечное это.
И пошли
часы
необычайниться.
Города,
светящиеся
в облачных просветах.
Птица
догоняет,
не догнала —
тянется...
Ямы воздуха.
С размаха ухаем.

Рядом молния.
Сощурился Ньюбольд.
Гром мотора.
В ухе
и над ухом.
Но не раздраженье.
Не боль.
Сердце,
чаще!
Мотору вторь.
Слились сладчайше
я
и мотор:
"Крылья Икар
в скалы низверг,
чтоб воздух – река
тек в Кенигсберг.
От чертежных дел
седел Леонардо,
чтоб я
летел,
куда мне надо.
Калечился Уточкин,
чтоб близко-близко,
от солнца на чуточку,
парить над Двинском.
Рекорд в рекорд
вбивал Горрб,
чтобы я
вот —

этой тучей-горой.

Коптел

над «Гномом»

Юнкерс и Дукс,

чтоб спорил

с громом

моторов стук".

Что же —

для того

конец крылам Икариным,

человечество

затем

трудом заводов никло, —

чтобы этакий

Владимир Маяковский,

барином,

Кенигсбергами

распархивался

на каникулы?!

Чтобы этакой

бесхвостой

и бескрылой курице

меж подушками

усесться куце?!

Чтоб кидать,

и не выглядывая из гондолы,

кожуру

колбасную —

на города и доли?!.
Нет!

Вылазьте из гондолы, плечи!
100 зрачков
глазейте в каждый глаз!
Завтрашнее,
послезавтрашнее человечество,
мой
неодолимый
стальнорукий класс, —
я
благодарю тебя
за то,
что ты
в полетах
и меня,
слабейшего,
вковал своим звеном.
Возлагаю
на тебя —
земля труда и пота —
горизонта
огненный веноч.
Мы взлетели,
но еще – не слишком.
Если надо
к Марсам
дуги выгнуть —
сделай милость,
дай
отдать
мою жизнишку.

Хочешь,
вниз
с трех тысяч метров
прыгну?!

Berlin, 6 сентября, 1923 г.

КИЕВ

Лапы елок,
лапки,
лапушки...
Все в снегу,
а теплые какие!
Будто в гости
к старой,
старой бабушке
я
вчера
приехал в Киев.
Вот стою
на горке
на Владимирской.
Ширь всю —
не вымчат и перу!
Так
когда-то,
рассиявшись в выморозки,
Киевскую
Русь
оглядывал Перун.
А потом —
когда
и кто,

не помню толком,
только знаю,
что сюда вот
по льду,
да и по воде,
в порогах,
волоком —
шли
с дарами
к Диру и Аскольду.
Дальше
било солнце
куполам в литавры.
– На колени, Русь!
Согнись и стой. —
До сегодня
нас
Владимир гонит в лавры.
Плеть креста
сжимает
каменный святой.
Шли
из мест
таких,
которых нету глуше, —
прадеды,
прапрадеды
и пра пра пра!..
Много
всяческих

кровавых безделушек
здесь у бабушки
моей
по берегам Днепра.
Был убит,
и снова встал Столыпин,
памятником встал,
вложивши пальцы в китель.
Снова был убит,
и вновь
дрожали липы
от пальбы
двенадцати правительств.
А теперь
встают
с Подола
дымы,
киевская грудь
гудит,
котлами грета.
Не святой уже —
другой,
земной Владимир
крестит нас
железом и огнем декретов.
Даже чуть
зарусофильствовал
от этой шири!
Русофильство,
да другого сорта.

Вот
моя
рабочая страна,
одна
в огромном мире.

– Эй!
Пуанкаре!
возьми нас?..
Черта!
Пусть еще
последний,
старый батька
содрогают
плачем
лавры звонницы.
Пусть
еще
врезается с Крещатика
волчий вой:
«Даю – беру червонцы!»
Наша сила —
правда,
ваша —
лавры звоны.
Ваша —
дым кадильный,
наша —
фабрик дым.
Ваша мощь —

червонец,
наша —
стяг червонный
– Мы возьмем,
займем
и победим.
Здравствуй
и прощай, седая бабушка!
Уходи с пути!
скорее!
ну-ка!
Умирай, старуха,
спекулянтка,
набожка.
Мы идем —
ватага юных внуков!

1924

УХ, И ВЕСЕЛО!

О скуке
на этом свете
Гоголь
говаривал много.
Много он понимает —
этот самый ваш
Гоголь!
В СССР
от веселости
стонут
целые губернии и волости.
Например,
со смеха
слезы потопом
на крохотном перегоне
от Киева до Конотопа.
Свечи
кажут
язычки кончики.
11 ночи.
Сидим в вагончике.
Разговор
перекидывается сам
от бандитов
к Брынским лесам.

Остановят поезд —
минута паники.
И мчи
в Москву,
укутавшись в подштанники.
Осоловели;
поезд
темный и душный,
и легли,
попрятав червонцы
в отдушины.
4 утра.
Скок со всех ног.
Стук
со всех рук:
"Вставай!
Открывай двери!
Чай, не зимняя спячка.
Не медведи-звери!"
Где-то
с перепугу
загрохотал наган,
у кого-то
в плевательнице
застряла нога.
В двери
новый стук
раздраженный.
Заплакали
разбуженные

дети и жены.
Будь что будет...
Жизнь —
на ниточке!
Снимаю цепочку,
и вот...
Ласковый голос:
"Купите открыточки,
пожертвуйте
на воздушный флот!"

Сон
еще
не сошел с сонных,
ищут
радостно
карманы в кальсонах.
Черта
вытащишь
из голой ляжки.
Наконец,
разыскали
копеечные бумажки.
Утро,
вдали
петухи пропели...
— Через сколько
лет
соберет он на пропеллер?
Спрашиваю,

под плед
засовывая руки:
– Товарищ сборщик,
есть у вас внуки?
– Есть, —
говорит.
– Так скажите
внучке,
чтоб с тех собирала,
– на ком брючки.
А таким способом
– через тысячную ночку —
соберете
разве что
на очки летчику. —
Наконец,
задыхаясь от смеха,
поезд
взял
и дальше поехал.
К чему спать?
Позевывает пассажир.
Сны эти
только
нагоняют жир.
Человеческим
происхождением
гордятся простофили.
А я
сожалею,

что я
не филин.
Как филинам полагается,
не предаваясь сну,
ждал бы
сборщиков,
влезши на сосну.

1924

9-е ЯНВАРЯ

О боге болтая,
о смирении говоря,
помни день —
9-е января.
Не с красной звездой —
в смирении тупом
с крестами шли
за Гапоном-попом.
Не в сабли
врубались
конармией-птицей —
белели
в руках
листы петиций.
Не в горло
вгрызались
царевым лампасникам —
плелись
в надежде на милость помазанника.
Скор
ответ
величества
был:
"Пули в спины!
в груди!"

и в лбы!"

Позор без названия,
ужас без имени
покрыл и царя,
и площадь,
и Зимний.

А поп
на забрызганном кровью требнике
писал
в приход
царевы серебряники.
Не все враги уничтожены.

Есть!

Раздуйте
опять
потухшую месть.

Не сбиты
с Запада
крепости вражьи.

Буржуи
рабочих
сгибают в рожья.

Рабочие,
помните русский урок!
Затвор осмотрите,
штык
и курок.

В споре с врагом —
одно решение:
Да здравствуют битвы!

Долой прошения!

1924

КОМСОМОЛЬСКАЯ

Смерть —
не сметь!
Строит,
рушит,
кроит
и рвет,
тихнет,
кипит
и пенится,
гудит,
говорит,
молчит
и ревет —
юная армия:
ленинцы.
Мы
новая кровь
городских жил,
тело нив,
ткацкой идей
нить,
Ленин —
жил,
Ленин —
жив,

Ленин —
будет жить.
Залили горем.
Свезли в мавзолей
частицу Ленина —
тело.
Но тленью не взять —
ни земле,
ни золе —
первейшее в Ленине —
дело.
Смерть,
косу положи!
Приговор лжив.
С таким
небесам
не блажить.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.
Ленин —
жив
шаганьем Кремля —
вождя
капиталовых пленников.
Будет жить,
и будет

земля
гордиться именем:
Ленинка.
Еще
по миру
пройдут мятежи —
сквозь все межи
коммуне
путь проложить,
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.
К сведению смерти,
старой карги,
гонящей в могилу
и старящей:
«Ленин» и «Смерть» —
слова-враги.
«Ленин» и «Жизнь» —
товарищи.
Тверже
печаль держи.
Грудью
в горе прилив.
Нам —
не ныть.
Ленин —

жил.

Ленин —

жив.

Ленин —

будет жить.

Ленин рядом.

Вот

он.

Идет

и умрет с нами.

И снова

в каждом рожденном рожден —

как сила,

как знанье,

как знамя.

Земля,

под ногами дрожи.

За все рубежи

слова —

взвивайтесь кружить.

Ленин —

жил.

Ленин —

жив.

Ленин —

будет жить.

Ленин ведь

тоже

начал с азов, —

жизнь —

мастерская геньина.
С низа лет,
с класса низов —
рвись
разгромадиться в Ленина.
Дрожите, дворцов этажи!
Биржа нажив,
будешь
битая
выть.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.
Ленин
больше
самых больших,
но даже
и это
диво
создали всех времен
малыши —
мы,
малыши коллектива.
Мускул
узлом вяжи.
Зубы-ножи —
в знанье —

вонзай крошить.

Ленин —

жил.

Ленин —

жив.

Ленин —

будет жить.

Строит,

рушит,

кроит

и рвет,

тихнет,

кипит

и пенится,

гудит,

молчит,

говорит

и ревет —

юная армия:

ленинцы.

Мы

новая кровь

городских жил,

тело нив,

ткацкой идей

нить.

Ленин —

жил.

Ленин —

жив.

Ленин —
будет жить.

31 марта 1924 г.

ЮБИЛЕЙНОЕ

Александр Сергеевич,
разрешите представиться.
Маяковский.

Дайте руку
Вот грудная клетка.
Слушайте,
уже не стук, а стон,
тревожусь я о нем,
в щенка смиренном львенке.
Я никогда не знал,
что столько
тысяч тонн
в моей
позорно легкомыслрой головенке.
Я тащу вас.
Удивляетесь, конечно?
Стиснул?
Больно?
Извините, дорогой.
У меня,
да и у вас,
в запасе вечность.
Что нам
потерять

часок-другой?!
Будто бы вода —
давайте
мчать, болтая,
будто бы весна —
свободно
и раскованно!
В небе вон
луна
такая молодая,
что ее
без спутников
и выпускать рискованно.

Я
теперь
свободен
от любви
и от плакатов.

Шкурой
ревности медведь
лежит когтист.

Можно
убедиться,
что земля поката, —
сядь
на собственные ягодицы
и катись!

Нет,
не навязусь в меланхолишке черной,
да и разговаривать не хочется

ни с кем.

Только

жабры рифм

топырит учащенно

у таких, как мы,

на поэтическом песке.

Вред – мечта,

и бесполезно грезить,

надо

весть

служебную нуду.

Но бывает —

жизнь

встает в другом разрезе,

и большое

понимаешь

через ерунду.

Нами

лирика

в штыки

неоднократно атакована,

ищем речи

точной

и нагой.

Но поэзия —

пресволочнейшая штуковина:

существует —

и ни в зуб ногой.

Например,

вот это —

говорится или блеется?
Синемордое,
в оранжевых усах,
Навуходоносором
библейцем —
«Коопсах».
Дайте нам стаканы!
знаю
способ старый
в горе
дуть винище,
но смотрите —
из
выплывают
Red и White Star'ы
с ворохом
разнообразных виз.
Мне приятно с вами, —
рад,
что вы у столика.
Муза это
ловко
за язык вас тянет.
Как это
у вас
говаривала Ольга?..
Да не Ольга!
из письма
Онегина к Татьяне.
— Дескать,

муж у вас
дурак
и старый мерин,
я люблю вас,
будьте обязательно моя,
я сейчас же
утром должен быть уверен,
что с вами днем увижусь я. —
Было всякое:
и под окном стояние,
письма,
тряски нервное желе.
Вот
когда
и горевать не в состоянии —
это,
Александр Сергеич,
много тяжелей.
Айда, Маяковский!
Маячь на юг!
Сердце
рифмами вымучь —
вот
и любви пришел какюк,
дорогой Владим Владимыч.
Нет,
не старость этому имя!
Тушу
вперед стремя,
я

с удовольствием
справлюсь с двоими,
а разозлить —
и с тремя.
Говорят —
я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н!
Entre nous...
чтоб цензор не нацыкал.
Передам вам —
говорят —
видали
даже
двух
влюбленных членов ВЦИКа.
Вот —
пустили сплетню,
тешат душу ею.
Александр Сергеич,
да не слушайте ж вы их!
Может,
я
один
действительно жалею,
что сегодня
нету вас в живых.
Мне
при жизни
с вами
сговориться б надо.
Скоро вот

и я
умру
и буду нем.
После смерти
нам
стоять почти что рядом:
вы на Пе,
а я
на эМ.
Кто меж нами?
с кем велите знаться?!
Чересчур
страна моя
поэтами нища.
Между нами
— вот беда —
позатесался Надсон
Мы попросим,
чтоб его
куда-нибудь
на Ща!
А Некрасов
Коля,
сын покойного Алеши, —
он и в карты,
он и в стих,
и так
неплох на вид.
Знаете его?
вот он

мужик хороший.
Этот
нам компания —
пускай стоит.
Что ж о современниках?!
Не просчитались бы,
за вас
полсотни отдав.
От зевоты
скулы
разворачивает аж!
Дорогойченко,
Герасимов,
Кириллов,
Родов —
какой
одноробразный пейзаж!
Ну Есенин,
мужиковствующих свора.
Смех!
Коровою
в перчатках лаечных.
Раз послушаешь...
но это ведь из хора!
Балалаечник!
Надо,
чтоб поэт
и в жизни был мастак.
Мы крепки,
как спирт в полтавском штофе.

Ну, а что вот Безыменский?!

Так...

ничего...

морковный кофе.

Правда,

есть

у нас

Асеев

Колька.

Этот может.

Хватка у него

моя.

Но ведь надо

заработать сколько!

Маленькая,

но семья.

Были б живы —

стали бы

по Лефу соредактор.

Я бы

и агитки

вам доверить мог.

Раз бы показал:

— вот так-то мол,

и так-то...

Вы б смогли —

у вас

хороший слог.

Я дал бы вам

жирность

и сукна,
в рекламу б
выдал
гумских дам.
(Я даже
ямбом подсюсюкнул,
чтоб только
быть
приятней вам.)
Вам теперь
пришлось бы
бросить ямб картавый.
Нынче
наши перья —
штык
да зубья вил, —
битвы революций
посерьезнее «Полтавы»,
и любовь
пограндиознее
онегинской любви.
Бойтесь пушкинистов.
Старомозгий Плюшкин,
перышко держа,
полезет
с перержавленным.
— Тоже, мол,
у лефов
появился
Пушкин.

Вот арап!
а состязается —
с Державиным...
Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.
Навели
хрестоматийный глянец.
Вы
по-моему
при жизни
— думаю —
тоже бушевали.
Африканец!
Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.
Мы б его спросили:
— А ваши кто родители?
Чем вы занимались
до 17-го года? —
Только этого Дантеса бы и видели.
Впрочем,
что ж болтанье!
Спиритизма вроде.
Так сказать,
невольник чести...
пулею сражен...
Их
и по сегодня
много ходит —

всяческих
охотников
до наших жен.
Хорошо у нас
в Стране Советов.
Можно жить,
работать можно дружно.
Только вот
поэтов,
к сожаленью, нету —
впрочем, может,
это и не нужно.
Ну, пора:
рассвет
лучища выкалил.
Как бы
милиционер
разыскивать не стал.
На Тверском бульваре
очень к вам привыкли.
Ну, давайте,
подсажу
на пьедестал.
Мне бы
памятник при жизни
полагается по чину.
Заложил бы
динамиту
— ну-ка,
дрызнь!

Ненавижу
всяческую мертвечину!
Обожаю
всяческую жизнь!

1924

ПРОЛЕТАРИЙ, В ЗАРОДЫШЕ ЗАДУШИ ВОЙНУ!

Будущие:

Дипломатия

– Мистер министр?

How do you do?

Ультиматум истек.

Уступки?

Не иду.

Фирме Морган

должен Крупп

ровно

три миллиарда

и руп.

Обложить облака!

Начать бои!

Будет добыча —

вам пай.

Люди – ваши,

расходы —

мои.

Good bye!

Мобилизация

"Смит и сын.
Самоговорящий ящик".
Ящик
министр
придвинул быстро.
В раструб трубы,
мембране говорящей,
сорок
секунд
бубнил министр.
Сотое авеню.
Отец семейства.
Дочь
играет
цепочкой на отце.
Записал
с граммофона
время и место.
Фармацевт – как фармацевт.
Пять сортировщиков.
Вид водолаза.
Серых
масок
немигающий глаз —
уставили
в триста баллонов газа.
Блок
минуту

повизгивал лазя,
грузя
в кузова
«чумной газ».
Клубы
Нью-Йорка
раскрылись в сроки,
раз
не разнился
от других разов.
Фармацевт
сиял,
убивши в покер
флеш-роялем
– четырех тузов.

Наступление

Штаб воздушных гаваней и доков.
Возд-воен-электрик
Джим Уост
включил
в трансформатор
заатлантических токов
триста линий —
зюд-ост.
Авиатор
в карте
к цели полета
вграфил

по линейке
в линию линия.
Ровно
в пять
без механиков и пилотов
взвились
триста
чудовищ алюминия.
Треугольник
— летящая фабрика ветра —
в воздух
триста винтов всвистал.
Скорость —
шестьсот пятьдесят километров.
Девять
тысяч
метров —
высота.
Грозой не кривясь,
ни от ветра резкого,
только —
будто
гигантский Кольт —
над каждым аэро
сухо потрескивал
ток
в 15 тысяч вольт.
Встали
стражей неба вражьего.
Кто умер —

счастье тому.
Знайते,
буржуями
сжигаемые заживо,
последнее изобретение:
«крематорий на дому».

Бой

Город
дышал
что было мочи,
спал,
никак
не готовясь
к смертям.
Выползло
триста,
к дымочку дымочек.
Пошли
спиралью
снижаться, смердя.
Какая-то птица
— пустяк,
воробушки —
падала
в камень,
горохом ребрышки.
Крыша
рейхстага,

сиявшая лаково,
в две секунды
стала седая.
Бесцветный дух
дома обволакивал,
ник
к земле,
с этажей оседая.
"Спасайся, кто может,
с десятого —
прыга..."
Слово
свело
в холодеющем небе;

ножки,
еще минуту подрыгав,
рядом
легли —
успокоились обе.
Безумные
думали:
"Сжалим,
умолим".
Когда
растаял
газ,
повися, —
ни человека,
ни зверя,

ни моли!
Жизнь
была
и вышла вся.
Четыре
аэро
снизились искоса,
лучи
скрестя
огромнейшим иксом.
Был труп
– и нет.
Был дом
– и нет его.
Жег
свет
фиолетовый.
Обделали чисто.
Ни дыма,
ни мрака.
Взорвали,
взрыли,
смыли,
взмели.
И город
лежит
погашенной маркой
на грязном,
рваном
пакете земли.

Победа

Морган.

Жена.

В корсетах.

Не двинется.

Глядя,

как

шампанское пенится,

Морган сказал:

– Дарю имениннице
немного разрушенное,
но хорошее именице!

Товарищи, не допустим!

Сейчас

подытожена

великая война.

Пишут

мемуары

истории писцы.

Но боль близких,

любимых, нам

еще

кричит

из сухих цифр.

30

миллионов

взяли на мушку,
в сотнях
миллионов
стенанье и вой.
Но и этот
ад
покажется погремушкой
рядом
с грядущей
готовящейся войной.
Всеми спинами,
по пленам драными,
руками,
брошенными
на операционном столе,
всеми
в осень
ноющими ранами,
всей трескотней
всех костылей,
дырами ртов,
— выбил бой! —
голосом,
визгом газовой боли —
сегодня,
мир,
крикни
— Долой!!!
Не будет!
Не хотим!

Не позволим!
Нациям
нет
врагов наций.
Нацию
выдумал
мира враг.
Выходи
не с нацией драться,
рабочий мира,
мира батрак!
Иди,
пролетарской армией топя,
штыки
последние
атакой выставь!
"Фразы
о мире —
пустая утопия,
пока
не экспроприирован
класс капиталистов".
Сегодня...
завтра... —
а справимся все-таки!
Виновным – смерть.
Невиновным – вдвойне.
Сбейте
жирных
дюжины и десятки.

Миру – мир,
война – войне.

2 августа 1924 г.

СЕВАСТОПОЛЬ – ЯЛТА

В авто
насажали
разных армян,
рванулись —
и мы в пути.
Дорога до Ялты
будто роман:
все время
надо крутить.
Сначала
авто
подступает к горам,
охлаживая кряжевые.
Вот так и у нас
влюбленья пора:
наметишь —
и мчишь, ухаживая.
Авто
начинает
по солнцу трясть,
то жаренной ты,
то варенной:
так сердце
тебе
распаляет страсть,

и грудь —
раскаленной жаровней.
Привал,
шашлык,
не вяжешь лык,
с кружением
нету сладу.
У этих
у самых
гроздьев шашлы —
совсем поцелуйная сладость.

То солнечный жар,
то ущелий тоска, —
не верь
ни единой версийке.
Который москит
и который мускат,
и кто персюки
и персики?
И вдруг вопьешься,
любовью залив
и душу,
и тело,
и рот.
Так разом
встают
облака и залив
в разрыве
Байдарских ворот.

И сразу
дорога
нудней и нудней,
в туннель,
тормозами тужась.
Вот куча камня,
и церковь над ней —
ужасом
всех супружеств.
И снова
почти
о скалы скулой,
с боков
побелелой глядит.
Так ревность
тебя
обступает скалой —
за камнем
любовник бандит.
А дальше —
тишь;
крестьяне, корпя,
лозой
разделали скаты.
Так,
свой виноградник
потом кропя,
и я
рисую плакаты.
Потом,

пропылясь,
проплывают года,
трусят
суетнею мышиною,
и лишь
развлекает
семейный скандал
случайно
лопнувшей шиной.
Когда ж
окончательно
это доест,
распух
от моторного гвалта —
– Стоп! —
И склепом
отдельный подъезд:
– Пожалте
червонец!
Ялта.

1924

ВЛАДИКАВКАЗ – ТИФЛИС

Только
нога
ступила в Кавказ,
я вспомнил,
что я —
грузин.
Эльбрус,
Казбек.
И еще —
как вас?!
На гору
горы грузи!
Уже
на мне
никаких рубах.
Бродягой, —
один архалук.
Уже
подо мной
такой карабах,
что Ройльсу —
и то б в похвалу.
Было:
с ордой,
загорел и носат,

старее
всего старья,
я влез,
веков девятнадцать назад,
вот в этот самый
в Дарьял.
Лезгинщик
и гитарист душой,
в многовековом поту,
я землю
прошел
и возделал мушой
отсюда
по самый Батум.
От этих дел
не вспомнят ни зги.
История —
врун даровитый,
бубнит лишь,
что были
царьки да князьки:
Ираклии,
Нины,
Давиды.
Стена —
и то
знакомая что-то.
В тахтах
вот этой вот башни —
я помню:

я вел
Руставели Шотой
с царицей
с Тамарою
шашни.
А после
катился,
костьями хрустя,
чтоб в пену
Тереку врыться.
Да это что!
Любовный пустяк!
И лучше
резвилась царица.
А дальше
я видел —
в пробоину скал
вот с этих
тропиночек узких
на сакли,
звеня,
опускались войска
золотопогонников русских.
Лениво
от жизни
взбираясь ввысь,
гитарой
душу отверз —
"Мхолот шен эртс
рац, ром чемтвис

Моуция
маглидгаи гмертс..."
И утро свободы
в кровавой росе
сегодня
встает поодаль.
И вот
я мечу,
я, мститель Арсен,
бомбы
5-го года.
Живились
в пажах
Князевы сынки,
а я
ежедневно
и наново
опять вспоминаю
все синяки
от плеток
всех Алихановых.
И дальше
история наша
хмура.
Я вижу
правлящих кучку.
Какие-то люди,
мутней, чем Кура,
французов чмокают в ручку.
Двадцать,

а может,
больше веков
волок
угнетателей узы я,
чтоб только
под знаменем большевиков
воскресла
свободная Грузия.

Да,
я грузин,
но не старенькой нации,
забитой
в ущелье в это.

Я —
равный товарищ
одной Федерации
грядущего мира Советов.

Еще
омрачается
день иной
ужасом
крови и яри.
Мы бродим,
мы
еще
не вино,
ведь мы еще
только мадчари.

Я знаю:
глупость – эдемы и рай!

Но если
пелось про это,
должно быть,
Грузию,
радостный край,
подразумевали поэты.
Я жду,
чтоб аэро
в горы взвились.
Как женщина,
мною
лелеема
надежда,
что в хвост
со словом «Тифлис»
вобьем
фабричные клейма.
Грузин я,
но не кинто озорной,
острящий
и пьющий после.
Я жду,
чтоб гудки
взревели зурной,
где шли
лишь кинто
да ослик.
Я чту
поэтов грузинских дар,
но ближе

всех песен в мире,
мне ближе
всех
и зурн
и гитар
лебедок
и кранов шаири.
Строй
во всю трудовую прыть,
для стройки
не жаль ломаний!
Если
даже
Казбек помешает —
скрыть!
Все равно
не видать
в тумане.

1924

ТАМАРА И ДЕМОН

От этого Терека
в поэтах
истерика.
Я Терек не видел.
Большая потерийка.
Из омнибуса
вразвалку
сошел,
поплеывал
в Терек с берега,
совал ему
в пену
палку.
Чего же хорошего?
Полный развал!
Шумит,
как Есенин в участке.
Как будто бы
Терек
организовал,
проездом в Боржом,
Луначарский.
Хочу отвернуть
заносчивый нос
и чувствую:

стыну на грани я,
овладевает
мною
гипноз,
воды
и пены играние.
Вот башня,
револьвером
небу к виску,
разит
красотою нетроганой.
Поди,
подчини ее
преду искусств —
Петру Семенычу
Когану.
Стою,
и злоба взяла меня,
что эту
дикость и выступы
с такой бездарностью
я
променял
на славу,
рецензии,
диспуты.
Мне место
не в «Красных нивах»,
а здесь,
и не построчно,

а даром
реветь
стараться в голос во весь,
срывая
струны гитарам.
Я знаю мой голос:
паршивый тон,
но страшен
силою ярой.
Кто видывал,
не усомнится,
что
я
был бы услышан Тамарой.
Царица крепится,
взвинчена хоть,
величественно
делает пальчиком.
Но я ей
сразу:
— А мне начхать,
царица вы
или прачка!
Тем более
с песен —
какой гонорар?!
А стирка —
в семью копейка.
А даром
немного дарит гора:

лишь воду —
поди,
попей-ка! —
Взъярилась царица,
к кинжалу рука.
Козой,
из берданки ударенной.
Но я ей
по-своему,
вы ж знаете как —
под ручку...
любезно...
– Сударыня!
Чего кипятитесь,
как паровоз?
Мы
общей лирики лента.
Я знаю давно вас,
мне
много про вас
говаривал
некий Лермонтов.
Он клялся,
что страстью
и равных нет...
Таким мне
мерещился образ твой.
Любви я заждался,
мне 30 лет.
Полюбим друг друга.

Попросту.
Да так,
чтоб скала
распостелилась в пух.
От черта скраду
и от бога я!
Ну что тебе Демон?
Фантазия!
Дух!
К тому ж староват —
мифология.
Не кинь меня в пропасть,
будь добра.
От этой ли
струшу боли я?
Мне
даже
пиджак не жаль ободрать,
а грудь и бока —
тем более.
Отсюда
дашь
хороший удар —
и в Терек
замертво треснетя.
В Москве
больнее спускают...
куда!
ступеньки считаешь —
лестница.

Я кончил,
и дело мое сторона.
И пусть,
озверев от помарок,
про это
пишет себе Пастернак.
А мы...
соглашайся, Тамара! —
История дальше
уже не для книг.
Я скромный,
и я
бастую.
Сам Демон слетел,
подслушал,
и сник,
и скрылся,
смердя
впустую.
К нам Лермонтов сходит,
презрев времена,
Сияет —
«Счастливая парочка!»
Люблю я гостей.
Буылку вина!
Налей гусару, Тamarочка!

ХУЛИГАНЩИНА

Только
солнце усядется,
канув
за опустевшие
фабричные стройки,
стонут
окраины
от хулиганов
вроде вот этой
милрой тройки.
Человек пройдет
и – марш поодаль.
Таким попадись!
Ежовые лапочки!
От них ни проезда,
от них
ни прохода
ни женщине,
ни мужчине,
ни электрической лампочке.
"Мадамочка, стой!
Провожу немножко...
Клуб?
Почему?
Ломай стулья!

Он возражает?
В лопатку ножиком!
Зубы им вычти!
Помножь им скулья!"
Гудят
в башке
пивные пары,
тощая мысль
самогоном
смята,
и в воздухе
даже не топоры,
а целые
небоскребы
стоэтажного
мата.

Рабочий,
этим ли
кровь наших жил?!
Наши дочери
этим разве?!
Пока не поздно —
конец положи
этой горланной
и грязной язве!

ПОСМЕЕМСЯ!

СССР!

Из глоток из всех,
да так,
чтоб врагу аж смяться,
сегодня
раструбливай
радостный смех —
нам
можно теперь посмеяться!

Шипели: "Погибнут
через день, другой,
в крайности —
через две недели!"

Мы
гордо стоим,
а они дугой
изгибаются.
Ливреи надели.

Бились
в границы Советской страны:
"Не допустим
и к первой годовщине!"

Мы
гордо стоим,
а они —

штаны
в берлинских подвалах чинят.
Ллойд-Джорджи
ревели
со своих постов:
"Узурпаторы!
Бандиты!
Воришки!"
Мы
гордо стоим,
а они – раз сто
слетали,
как еловые шишки!
Они
на наши
голодные дни
радовались,
пожевывая пончики.
До урожаев
мы доживаем,
а они
последние дожевали
милльончики!
Злорадничали:
"Коммунистам
надежды нет:
погибнут
не в мае, так в июне".
А мы,
мы – стоим.

Мы – на 7 лет
ближе к мировой коммуне!
Товарищи,
вовсю
из глоток из всех —
да так, чтоб врагам аж смяться,
сегодня
раструбливайте
радостный смех!
Нам
есть над чем посмеяться!

1924

КРАСНАЯ ЗАВИСТЬ

Я
еще
не лыс
и не шамкаю,
все же
дядя
рослый с виду я.
В первый раз
за жизнь
малышам-ка я
барабанящим
позавидую.
Наша
жизнь —
в грядущее рваться,
оббивать
его порог,
вы ж
грядущее это
в двадцать
расшагаете
громом ног.
Нам
сегодня
корезит уши

громыханий
теплушечных
ржа.
Вас,
забывших
и имя теплушек,
разлетит
на рабфак
дирижабль.
Мы,
пергаменты
текстами саля,
подписываем
договора.
Вам
забыть
и границы Версаля
на борту
самолета-ковра.
Нам —
трамвай.
Попробуйте,
влезьте!
Полон.
Как в арифметике —
цифр.
Вы ж
в работу
будете
ездить,

самолет
выводя
под уздцы.
Мы
сегодня
двугривенный потный
отчисляем
от крох,
от жалований,
чтоб флот
взлетел
заработанный,
вам
за юность одну
пожалованный.

Мы
живем
как радиозайцы,
телефонные
трубки
крадя,
чтоб музыкам
в вас
врезаться,
от Урала
до Крыма грядя.
Мы живем
только тем,
что тощи,
чуть полней бы —

и в комнате
душно.
Небо
будет
ваша жилплощадь —
не зазмет
на шири
воздушной.
Мы
от солнца,
от снега зависим.
Из-за дождика —
с богом
судятся.
Вы ж
дождем
раскрепите выси,
как только
заблагорассудится.
Динамиты,
бомбы,
газы —
самолетов
наших
фарш.
Вам
смертями
не сыпать наземь,
разлетайтесь
под звонкий марш.

К нам
известье
идет
с почтовым,
проплывает
радость —
год.
Это
глупое время
на что вам?
Телеграммой
проносится код.
Мы
в камнях
проживаем весны —
нет билета
и денег нет.
Вам
не будет
пространств поперстных —
сам
себе
проездной билет.
Превратятся
не скоро
в ягодку
словоцветы
О. Д. В. Ф.
Те,
кому

по три
и по два годка,
вспомни
нас,
эти ягоды съев.

1925

ВЫВОЛАКИВАЙТЕ БУДУЩЕЕ!

Будущее
не придет само,
если
не примем мер.
За жабры его, – комсомол!
За хвост его, – пионер!
Коммуна
не сказочная принцесса,
чтоб о ней
мечтать по ночам.
Рассчитай,
обдумай,
нацелься —
и иди
хоть по мелочам.
Коммунизм
не только
у земли,
у фабрик в поту.
Он и дома
за столиком,
в отношениях,
в семье,
в быту.
Кто скрипит

матершиной смачной
целый день,
как немазанный воз,
тот,
кто млеет
под визг балалаечный,
тот
до будущего
не дорос.
По фронтам
пулеметами такать —
не в этом
одном
война!
И семей
и квартир атака
угрожает
не меньше
нам.
Кто не выдержал
натиск домашний,
спит
в уюте
бумажных роз, —
до грядущей
жизни мощной
тот
пока еще
не дорос.
Как и шуба,

и время тоже —
проедает
быта моль ее.
Наших дней
залежалых одежду
перетряхни, комсомолия!

1925

Цикл стихотворений «Париж» (1925 год) ЕДУ

Билет —
щелк.
Щека —
чмок.
Свисток —
и рванулись туда мы,
куда,
как сельди,
в сети чулок
плывут
кругосветные дамы.
Сегодня приедет —
уродом-урод,
а завтра —
узнать посмейте-ка:
в одно
разубран
и город и рот —
помады,
огней косметика.
Веселых
тянет в эту вот даль.

В Париже грустить?

Едва ли!

В Париже

площадь

и та Этуаль,

а звезды —

так сплошь этуали.

Засвистывай,

трись,

врезайся и режь

сквозь Льежи

и об Брюссели.

Но нож

и Париж,

и Брюссель,

и Льеж —

тому,

кто, как я, обрусели.

Сейчас бы

в сани

с ногами —

в снегу,

как в газетном листе б...

Свисти,

заноси снегами

меня,

прихерсонская степь...

Вечер,

поле,

огоньки,

дальняя дорога, —
сердце рвется от тоски,
а в груди —
тревога.

Эх, раз,
еще раз,
стих – в пляс.

Эх, раз,
еще раз,
рифм хряск.

Эх, раз,
еще раз,
еще много, много раз...

Люди
разных стран и рас,
копая порядков грядки,
увидев,
как я
себя потряс,
скажут:
в лихорадке.

1925

ГОРОД

Один Париж —
адвокатов,
казарм,
другой —
без казарм и без Эррио.
Не оторвать
от второго
глаза —
от этого города серого.
Со стен обещают:
"Un verre de koto
donne de l'energie"³
Вином любви
каким
и кто
мою взбудоражит жизнь?
Может,
критики
знают лучше.
Может,
их
и слушать надо.
Но кому я, к черту, попутчик?
Ни души
не шагает

рядом.
Как раньше,
свой
раскачивай горб
впереди
поэтовых арб —
неси,
один,
и радость,
и скорбь,
и прочий
людской скарб.
Мне скучно
здесь
одному
впереди, —
поэту
не надо многого, —
пусть
только
время
скорей родит
такого, как я,
быстроногого.
Мы рядом
пойдем
дорожной пыльцой.
Одно
желанье
пучит:

мне скучно —
желаю
видеть в лицо,
кому это
я
попутчик?!
«Je suis un chateau»,
в плакате стоят
литеры,
каждая – фут.
Совершенно верно:
«Je suis», —
это
"я",
а «chateau» – это
«я верблюд».
Лиловая туча,
скорей нагнись,
меня
и Париж полей,
чтоб только
скорей
зацвели огни
длиной
Елисейских полей.
Во все огонь —
и небу в темь
и в чернь промокшей пыли.
В огне
жуками

всех систем
жужжат
автомобили.
Горит вода,
земля горит,
горит
асфальт
до жжения,
как будто
зубрят
фонари
таблицу умножения.
Площадь
красивей
и тысяч
дам-болонок.
Эта площадь
оправдала б
каждый город.
Если б был я
Вандомская колонна,
я б женился
на Place la concorde.

1925

ВЕРЛЕН И СЕЗАН

Я стучаюсь
о стол,
о шкафа острия —
четыре метра ежедневно мерь.
Мне тесно здесь
в отеле Istria —
на коротышке
rue Campagne – Premiere.
Мне жмет.
Парижская жизнь не про нас —
в бульвары
тоску рассыпай.
Направо от нас —
Boulevard Montparnasse,
налево —
Boulevard Raspail.
Хожу и хожу,
не щадя каблука, —
хожу
и ночь и день я, —
хожу трафаретным поэтом, пока
в глазах
не встанут виденья.
Туман – парикмахер,
он делает гениев —

загримировал
одного
бородой —
Добрый вечер, м-г Тургенев.
Добрый вечер, м-ме Виардо.
Пошел:
"За что боролись?
А Рудин?..
А вы,
именье
возьми подпальни..."
Мне
их разговор эмигрантский
нуден,
и юркаю
в кафе от скульни.
Да.
Это он,
вот эта сова —
не тронул
великого
тлен.
Приподнял шляпу:
"Comment ça va,
cher camarade Verlaine?"⁴
Откуда вас знаю?
Вас знают все.
И вот
довелось состукаться.
Лет сорок

вы тянете
свой абсент
из тысячи репродукций.
Я раньше
вас
почти не читал,
а нынче —
вышло из моды, —
и рад бы прочесть —
не поймешь ни черта:
по-русски дрянь, —
переводы.
Не злитесь, —
со мной,
должно быть, и вы
знакомы
лишь понаслышке.
Поговорим
о пустяках путевых,
о нашинском ремеслишке.
Теперь
плохие стихи —
труха.
Хороший —
себе дороже.
С хорошим
и я б
свои потроха
сложил
под забором

тоже.
Бумаги
гладь
облевывая
пером,
концом губы —
поэт,
как блядь рублевая,
живет
с словцом любимым.
Я жизнь
отдать
за сегодня
рад.
Какая это громада!
Вы чуете
слово —
пролетариат? —
ему
грандиозное надо.
Из кожи
надо
вылезать тут,
а нас —
к журнальчикам
премией.
Когда ж поймут,
что поэзия —
труд,
что место нужно

и время ей.
«Лицом к деревне» —
заданье дано, —
за гусли,
поэты-други!
Поймите ж —
лицо у меня
одно —
оно лицо,
а не флюгер.
А тут и ГУС
отверзает уста:
вопрос не решен.
"Который?
Поэт?
Так ведь это ж —
просто кустарь,
простой кустарь,
без мотора".
Перо
такому
в язык вонзи,
прибей
к векам кунсткамер.
Ты врешь.
Еще
не найден бензин,
что движет
сердце кусками.
Идею

нельзя
замешать на воде.
В воде
отсыреет идеяка.
Поэт
никогда
и не жил без идей.
Что я —
попугай?
индейка?
К рабочему
надо
идти серьезней —
недооценили их мы.
Поэты,
покайтесь,
пока не поздно,
во всех
отглагольных рифмах.
У нас
поэт
событья берет —
спишет
вчерашний гул,
а надо
рваться
в завтра,
вперед,
чтоб брюки
трещали

в шагу.
В садах коммуны
вспомнят о барде —
какие
птицы
зальются им?
Что
будет
с веток
товарищ Вардин
рассвистывать
свои резолюции?!
За глотку возьмем.
"Теперь поори,
несбитая быта морда!"
И вижу,
зависть
зажглась и горит
в глазах
моего натюрморта.
И каплет
с Верлена
в стакан слеза.
Он весь —
как зуб на сверле.
Тут
к нам
подходит
Поль Сезан:
"Я

так
напишу вас, Верлен".
Он пишет.
Смотрю,
как краска свежа.
Monsieur,
простите вы меня,
у нас
старикам,
как под хвост вожжа,
бывало
от вашего имени.
Бывало —
сезон,
наш бог – Ван-Гог,
другой сезон —
Сезан.
Теперь
ушли от искусства
вбок —
не краску любят,
а сан.
Птенцы —
у них
молоко на губах, —
а с детства
к смирению падки.
Большущее имя взяли
АХРР,
а чешут

ответственным
пятки.
Небось
не напишут
мой портрет, —
не трут
понапрасну
кисти.
Ведь то же
лицо как будто, —
ан нет,
рисуют
кто поцекистей.
Сезан
остановился на линии,
и весь
размерсился – тронутый.
Париж,
фиолетовый,
Париж в анилине,
вставал
за окном «Ротонды».

1925

NOTRE-DAME

Другие здания
лежат,
как грязная кора,
в воспоминании
о NOTRE-DAME'е.
Прошедшего
возвышенный корабль,
о время зацепившийся
и севший на мель.
Раскрыли дверь —
тоски тяжелей;
желе
из железа —
нелепее.
Прошли
сквозь монаший
служилый елей
в соборное великолепие.
Читал
письмена,
украшавшие храм,
про боговы блага
на небе.
Спускался в партер,
подымался к хорам,

смотрел удобства
и мебель.
Я вышел —
со мной
переводчица-дура,
щебечет
бантиком-ротиком:
"Ну, как вам
нравится архитектура?
Какая небесная готика!"
Я взвесил все
и обдумал, —
ну вот:
он лучше Блаженного Васьки.
Конечно,
под клуб не пойдет —
темноват, —
об этом не думали
классики.
Не стиль...
Я в этих делах не мастак.
Не дался
старью на съедение.
Но то хорошо,
что уже места
готовы тебе
для сидения.
Его
ни к чему
перестраивать заново —

приладим
с грехом пополам,
а в наших —
ни стульев нет,
ни органов.
Копнешь —
одни купола.
И лучше б оркестр,
да игра дорога —
сначала
не будет финансов, —
а то ли дело
когда орган —
играй
хоть пять сеансов.
Ясно —
репертуар иной —
фокстроты,
а не сопенье.
Нельзя же
французскому Госкино
духовные песнопения.
А для рекламы —
не храм,
а краса —
старайся
во все тяжкие.
Электрорекламе —
лучший фасад:
меж башен

пустить перетяжки,
да буквами разными:
«Signe de Zoro»,
чтоб буквы бежали,
как мышь.

Такая реклама
так заорет,
что видно
во весь Boulmiche.

А если
и лампочки
вставить в глаза
химерам
в углах собора,
тогда —
никто не уйдет назад:
подряд —
битковые сборы!

Да, надо
быть
бережливым тут,
ядром
чего
не попортив.

В особенности,
если пойдут
громить
префектуру
напротив.

ВЕРСАЛЬ

По этой
дороге,
спеша во дворец,
бесчисленные Людовики
трясли
в шелках
золоченых каретц
телес
десятипудовики.
И ляжек
своих
отмахав шатуны,
по ней,
марсельезой пропет,
плюя на корону,
теряя штаны,
бежал
из Парижа
Капет.
Теперь
по ней
веселый Париж
гоняет
авто россиян, —
кокотки,

рантье, подсчитавший барыш,
американцы
и я.
Версаль.
Возглас первый:
«Хорошо жили стервы!»
Дворцы
на тыщи спален и зал —
и в каждой
и стол
и кровать.
Таких
вторых
и построить нельзя —
хоть целую жизнь
воровать!
А за дворцом,
и сюды
и туды,
чтоб жизнь им
была
свежа,
пруды,
фонтаны,
и снова пруды
с фонтаном
из медных жаб.
Вокруг,
в поощренье
жантильных манер,

дорожки
полны статуями —
езде Аполлоны,
а этих
Венер
безруких, —
так целые уймы.
А дальше —
жилья
для их Помпадурш —
Большой Трианон
и Маленький.
Вот тут
Помпадуршу
водили под душ,
вот тут
помпадуршины спаленки.
Смотрю на жизнь —
ах, как не нова!
Красивость —
аж дух выматывает!
Как будто
влип
в акварель Бенуа,
к каким-то
стишкам Ахматовой.
Я все осмотрел,
поощупал вещи.
Из всей
красотищи этой

мне
больше всего
понравилась трещина
на столике
Антуанетты.
В него
штыка революции
клин
вогнали,
пляша под распевку,
когда
санкюлоты
поволокли
на эшафот
королевку.
Смотрю,
а все же —
завидные видики!
Сады завидные —
в розах!
Скорей бы
культуру
такой же выделки,
но в новый,
машинный розмах!
В музеи
вот эти
лачуги б вымести!
Сюда бы —
стальной

и стекольный
рабочий дворец
миллионной вместимости, —
такой,
чтоб и глазу больно.
Всем,
еще имеющим
купоны
и монеты,
всем царям —
еще имеющимся —
в назидание:
с гильотины неба,
головой Антуанетты,
солнце
покатилось
умирать на зданиях.
Расплылась
и лип
и каштанов толпа,
слегка
листочки ворся.
Прозрачный
вечерний
небесный колпак
закрыл
музейный Версаль.

ЖОРЕС

Ноябрь,
а народ
зажат до жары.
Стою
и смотрю долго:
на шинах машинных
мимо —
шары
катаются
в треуголках.
Войной обагрённые
руки
умыв
и красные
шансы
взвесив,
коммерцию
новую
вбили в умы —
хотят
спекульнуть на Жоресе.
Покажут рабочим —
смотрите,
и он
с великими нашими

тоже.
Жорес
настоящий француз.
Пантеон
не станет же
он
тревожить.
Готовы
потоки
слезливых фраз.
Эскорт,
колесницы – эффект!
Ни с места!
Скажите,
кем из вас
в окне
пристрелен
Жорес?
Теперь
пришли
панихидами выть.
Зорче,
рабочий класс!
Товарищ Жорес,
не дай убить
себя
во второй раз.
Не даст.
Подняв
знамен мачтовый лес,

спаяв
людей
в один
плывущий флот,
громовый и живой,
по-прежнему
Жорес
проходит в Пантеон
по улице Суфло.
Он в этих криках,
несущихся вверх,
в знаменах,
в шагах,
в горбах.
"Vivent les Soviets!..
A bas la guerre!..
Capitalisme a bas!.."5
И вот —
взбегает огонь
и горит,
и песня
краснеет у рта.
И кажется —
снова
в дыму
пушкари
идут
к парижским фортам.
Спиною
к витринам отжали —

и вот
из книжек
выжались
тени.
И снова
71-й год
встает
у страниц в шелестении.
Гора
на груди
могла б подняться.
Там
гневный окрик орет:
"Кто смел сказать,
что мы
в семнадцатом
предали
французский народ?
Неправда,
мы с вами,
французские блузники.
Забудьте
этот
поклеп дрянной.
На всех баррикадах
мы ваши союзники,
рабочий Крезо
и рабочий Рено".

ПРОЩАНИЕ

(Кафе)

Обыкновенно
мы говорим:
все дороги
приводят в Рим.
Не так
у монпарнасца.
Готов поклясться.
И Рем
и Ромул,
и Ремул и Ром
в «Ротонду» придут
или в «Дом».
В кафе
идут
по сотням дорог,
плывут
по бульварной реке.
Вплываю и я:
"Garçon,
un grog
americain!"

Сначала
слова,
и губы,
и скулы
кафейный гомон сливал.

Но вот
пошли
вылупляться из гула
и лепятся
фразой
слова.

"Тут
проходил
Маяковский давече,
хромой —
не видали рази?" —
«А с кем он шел?» —
«С Николай Николаичем». —
«С каким?»

«Да с великим князем!» —
"С великим князем?

Будет врать!

Он кругл
и лыс,
как ладонь.

Чекист он,
послан сюда
взорвать..." —

«Кого?» —
"Буа-дю-Булонь.

Езжай, мол, Мишка..."

Другой поправил:

"Вы врете,

противно слушать!

Совсем и не Мишка он,

а Павел.

Бывало, сядем —

Павлуша! —

а тут же

его супруга,

княжна,

брюнетка,

лет под тридцать..." —

"Чья?

Маяковского?

Он не женат".

"Женат —

и на императрице". —

"На ком?

Ее ж расстреляли..." —

"И он

поверил —

Сделайте милость!

Ее ж Маяковский спас

за трильон!

Она же ж

омолодилась!"

Благоразумный голос:

"Да нет,

вы врете —

Маяковский – поэт". —

"Ну, да, —

вмешалось двое саврасов, —

в конце

семнадцатого года

в Москве

чекой конфискован Некрасов

и весь

Маяковскому отдан.

Вы думаете —

сам он?

Сбондил до йот —

весь стих,

с запятыми,

скраден.

Достанет Некрасова

и продает —

червонцев по десять

на день".

Где вы,

свахи?

Подымись, Агафья!

Предлагается

жених невиданный.

Видано ль,

чтоб человек

с такою биографией

был бы холост

и старел невыданный?!

Париж,

тебе ль,
столице столетий,
к лицу
эмигрантская нудь?
Смахни
за ушми
эмигрантские сплетни.
Провинция! —
не продохнуть. —
Я вышел
в раздумье —
черт его знает!
Отплюнулся —
тьфу, напасть!
Дыра
в ушах
не у всех сквозная —
другому
может запать!
Слушайте, читатели,
когда прочтете,
что с Черчиллем
Маяковский
дружбу вертит
или
что женился я
на кулиджевской тете,
то, покорнейше прошу, —
не верьте.

ПРОЩАНИЕ

В авто,
последний франк разменяв.
— В котором часу на Марсель? —
Париж
бежит,
проводя меня,
во всей
невозможной красе.
Подступай
к глазам,
разлуки жижя,
сердце
мне
сантиментальностью расквась!
Я хотел бы
жить
и умереть в Париже,
если б не было
такой земли —
Москва.

Цикл «Стихи об Америке» (1925 год) ИСПАНИЯ

Ты – я думал —
райский сад.
Ложь
подпивших бардов.
Нет —
живьем я вижу
склад
«ЛЕОПОЛЬДО ПАРДО».
Из прилипших к скалам сел
опустясь с опаской,
чистокровнейший осел
шпарит по-испански.
Все плебейство выбив вон,
в шляпы влезла по нос.
Стал
простецкий
«телефон»
гордым
«телефонос».
Чернь волос
в цветах горит.
Щеки в шаль орамив,

сотня с лишним
сеньорит
машет веерами.
От медуз
воде сине.
Глуби —
версты мера.
Из товарищей
«сеньор»
стал
и «кабальеро».
Кастаньеты гонят сонь.
Визги...
пенье...
страсти!
А на что мне это все?
Как собаке – здрасите!

1925

6 МОНАХИНЬ

Воздев
печеные
картошки личек,
черней,
чем негр,
не выдавший бань,
шестеро благочестивейших католичек
влезло
на борт
парохода «Эспань».
И сзади
и спереди
ровней, чем веревка.
Шали,
как с гвоздика,
с плеч висят,
а лица
обвила
белейшая гофрировка,
как в пасху
гофрируют
ножки поросят.
Пусть заполнится годами
жизни квота —
стоит

только
вспомнить это диво,
раздирает
рот
зевота
шире Мексиканского залива.
Трезвые,
чистые,
как раствор борной,
вместе,
эскадроном, садятся есть.
Пообедав, сообща
скрываются в уборной.
Одна зевнула —
зевают шесть.
Вместо известных
симметричных мест,
где у женщин выпуклость, —
у этих выем;
в одной выемке —
серебряный крест,
в другой – медали
со Львом
и с Пием.
Продрав глазенки
раньше, чем можно, —
в раю
(ужо!)
отоспятся лишек, —
оркестром без дирижера

шесть дорожных
вынимают
евангелишек.

Придешь ночью —
сидят и бормочут.
Рассвет в розы —
бормочут, стервозы!

И днем,
и ночью, и в утра, и в полдни
сидят
и бормочут,
дуры господни.

Если ж
день
чуть-чуть
помрачнеет с виду,
сойдут в кабину,
12 галош
наденут вместе
и снова выйдут,
и снова
идет
елейный скулеж.

Мне б
язык испанский!
Я б спросил, взъяренный
– Ангелицы,
попросту
ответ поэту дайте —
если

люди вы,
то кто ж
тогда
вороны?
А если
вы вороны,
почему вы не летаете?
Агитпропщики!
не лезьте вон из кожи.
Весь земной
обревизуйте шар.
Самый
замечательный безбожник
не придумает
кощунственнее шарж!
Радуйся, распятый Иисусе,
не слезай
с гвоздей своей доски,
а вторично явишься —
сюда
не суйся —
все равно:
повесишься с тоски!

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Испанский камень
слепящ и бел,
а стены —
зубьями пил.
Пароход
до двенадцати
уголь ел
и пресную воду пил.
Повел
пароход
окованным носом
и в час,
сопя,
вобрал якоря
и понесся.
Европа
скрылась, мельчась.
Бегут
по бортам
водяные глыбы,
огромные,
как года.
Надо мною птицы,
подо мною рыбы,
а кругом —

вода.
Недели
грудью своей атлетической —
то работяга,
то в стельку пьян —
вздыхает
и гремит
Атлантический
океан.
"Мне бы, братцы,
к Сахаре подобраться...
Развернись и плюнь —
пароход вниз.
Хочу топлю,
хочу везу.
Выходи сухой —
сварю ухой.
Людей не надо нам —
малы к обеду.
Не трону...
ладно...
пускай едут..."
Волны
будоражить мастера:
детство выплеснут;
другому —
голос милой.
Ну, а мне б
опять
знамена простирать!

Вон —
пошло,
затарахтело,
загромило!
И снова
вода
присмирела сквозная,
и нет
никаких сомнений ни в ком.
И вдруг,
откуда-то —
черт его знает! —
встает
из глубин
воднячий Ревком.
И гвардия капель —
воды партизаны —
взбираются
ввысь
с океанского рва,
до неба метнутся
и падают заново,
порфиру пены в клочки изодрав.
И снова
спаялись воды в одно,
волне
повелев
разбурлиться вождем.
И прет волнища
с-под тучи

на дно —
приказы
и лозунги
сыплет дождем.
И волны
клянутся
всеобщему Цику
оружие бурь
до победы не класть.
И вот победили —
экватору в циркуль
Советов-капель бескрайняя власть.
Последних волн небольшие митинги
шумят
о чем-то
в возвышенном стиле.
И вот
океан
улыбнулся умытенький
и замер
на время
в покое и в штиле.
Смотрю за перила.
Старайтесь, приятели!
Под трапом,
нависшим
ажурным мостком,
при океанском предприятии
потеет
над чем-то

волновой местком.
И под водой
деловито и тихо
дворцом
растет
кораллов плетенка,
чтоб легче жилось
трудовой китихе
с рабочим китом
и дошкольным китенком,
Уже
и луну
положили дорожкой.
Хоть прямо
на пузе,
как по суху, лазь.
Но враг не сунется —
в небо
сторожко
глядит,
не сморгнув,
Атлантический глаз.
То стынешь
в блеске лунного лака,
то стонешь,
облитый пеною ран.
Смотрю,
смотрю —
и всегда одинаков,
любим,

близок мне океан.
Вовек
твой грохот
удержит ухо.
В глаза
тебя
опрокинуть рад.
По шири,
по делу,
по крови,
по духу —
моей революции
старший брат.

1925

МЕЛКАЯ ФИЛОСОФИЯ НА ГЛУБОКИХ МЕСТАХ

Превращусь
не в Толстого, так в толстого, —
ем,
пишу,
от жары балда.
Кто над морем не философствовал?
Вода.
Вчера
океан был злой,
как черт,
сегодня
смиренней
голубицы на яйцах.
Какая разница!
Все течет...
Все меняется.
Есть
У воды
своя пора:
часы прилива,
часы отлива.
А у Стеклова
вода

не сходила с пера.
Несправедливо.
Дохлая рыбка
плывет одна.
Висят
плавнички,
как подбитые крылышки.
Плывет недели,
и нет ей —
ни дна,
ни покрывки.

Навстречу
медленней, чем тело тюленья,
пароход из Мексики,
а мы —
туда.
Иначе и нельзя.
Разделение
труда.

Это кит – говорят.
Возможно и так.
Вроде рыбьего Бедного —
обхвата в три.
Только у Демьяна усы наружу,
а у кита
внутри.
Годы – чайки.
Вылетят в ряд —

и в воду —
брюшко рыбешкой пичкать.

Скрылись чайки.
В сущности говоря,
где птички?

Я родился,
рос,
кормили соскою, —
жил,
работал,
стал староват...
Вот и жизнь пройдет,
как прошли Азорские
острова.

Атлантический океан, 3 июля 1925

БЛЕК ЭНД УАЙТ

Если
Гавану
окинуть мигом —
рай-страна,
страна что надо.
Под пальмой
на ножке
стоят фламинго.
Цветет
коларио
по всей Ведадо.
В Гаване
все
разграничено четко:
у белых доллары,
у черных – нет.
Поэтому
Вилли
стоит со щеткой
у «Энри Клей энд Бок, лимитед».
Много
за жизнь
повымел Вилли —
одних пылинок
целый лес, —

поэтому
волос у Вилли
вылез,
поэтому
живот у Вилли
влез.

Мал его радостей тусклый спектр:
шесть часов поспать на боку,
да разве что
вор,
портовой инспектор,
кинет
негру
цент на бегу.

От этой грязи скроешься разве?
Разве что
стали б
ходить на голове.

И то
намели бы
больше грязи:
волосьев тыщи,
а ног —
две.

Рядом
шла
нарядная Прадо.
То звякнет,
то вспыхнет
трехверстный джаз.

Дурню покажется,
что и взаправду
бывший рай
в Гаване как раз.
В мозгу у Вилли
мало извилин,
мало всходов,
мало посева.
Одно —
единственное
вызубрил Вилли
тверже,
чем камень
памятника Масео:
"Белый
ест
ананас спелый,
черный —
гнилью моченый.
Белую работу
делает белый,
черную работу —
черный".
Мало вопросов Вилли сверлили.
Но один был
закорюка из закорюк.
И когда
вопрос этот
влезал в Вилли,
щетка

падала
из Виллиных рук.
И надо же случиться,
чтоб как раз тогда
к королю сигарному
Энри Клей
пришел,
белей, чем облаков стада,
величественнейший из сахарных королей.
Негр
подходит
к туше дебелой:
"Ай бэг ер пардон, мистер Брэгг!
Почему и сахар,
белый-белый,
должен делать
черный негр?
Черная сигара
не идет в усах вам —
она для негра
с черными усами.
А если вы
любите
кофий с сахаром,
то сахар
извольте
делать сами".
Такой вопрос
не проходит даром.
Король

из белого
становится желт.
Вывернулся
король
сообразно с ударом,
выбросил обе перчатки
и ушел.
Цвели
кругом
чудеса ботаники.
Бананы
сплетали
сплошной кров.
Вытер
негр
о белые подштанники
руку,
с носа утершую кровь.
Негр
посопел подбитым носом,
поднял щетку,
держась за скулу.
Откуда знать ему,
что с таким вопросом
надо обращаться
в Коминтерн,
в Москву?

Гавана, 5 июля 1925 г.

СИФИЛИС

Пароход подошел,
завыл,
погудел —
и скован,
как каторжник беглый.
На палубе
700 человек людей,
остальные —
негры.
Подплыл
катерок
с одного бочка.
Вбежав
по лесенке хромой,
осматривал
врач в роговых очках:
«Которые с трахомой?»
Припудрив прыщи
и наружность вымыв,
с кокетством себя волоча,
первый класс
дефилировал
мимо
улыбавшегося врача.
Дым

голубой
из двустволки ноздрей
колечком
единым
свив,
первым
шел
в алмазной заре
свиной король —
Свифт.
Трубка
воняет,
в метр длиной.
Попробуй к такому —
полезь!
Под шелком кальсон,
под батистом-лино,
поди,
разбери болезнь.
"Остров,
дай
воздержанья зарок!
Остановить велите!"
Но взял
капитан
под козырек
и спущен Свифт —
сифилитик.
За первым классом
шел второй.

Исследуя
этот класс,
врач
удивлялся,
что ноздри с дырой, —
лез
и в ухо
и в глаз.
Врач смотрел,
губу своротив,
нос
под очками
взморща.
Врач
троих
послал в карантин
из
второклассного сборища.
За вторым
надвигался
третий класс,
черный от негритья.
Врач посмотрел:
четвертый час,
время коктейлей
питья.
– Гоните обратно
трюму в щель!
Больные —
видно и так.

Грязный вид...
И вообще —
оспа не привита. —
У негра
виски
ревмя ревут.
Валяется
в трюме
Том.
Назавтра
Тому
оспу привьют —
и Том
возвратится в дом.
На берегу
у Тома
жена.
Волоса
густые, как нефть.
И кожа ее
черна и жирна,
как вакса
«Черный лев».
Пока
по работам
Том болтается,
— у Кубы
губа не дура —
жену его
прогнали с плантаций

за неотработку
натурой.
Луна
в океан
накидала монет,
хоть сбросься,
вбежав на насыпь!
Недели
ни хлеба,
ни мяса нет.
Недели —
одни ананасы.
Опять
пароход
привинтило винтом.
Следующий —
через недели!
Как дождаться
с голодным ртом?
– Забыл,
разлюбил,
забросил Том!
С белой
рогожу
делит! —
Не заработать ей
и не скрасть.
Везде
полисмены под зонтиком.
А мистеру Свифту

последнюю страсть
раздула
эта экзотика.

Потело
тело
под бельецом
от черненького мясца.

Он тыкал
доллары
в руку, в лицо,
в голодные мясца.
Схватились —
желудок,
пустой давно,
и верности тяжеловес.

Она
решила отчетливо:
«No!», —
и глухо сказала:
«Yes!»

Уже
на дверь
плечом напирал
подгнивший мистер Свифт.
Его
и ее
наверх
в номера
взвинтил
услужливый лифт.

Явился
Том
через два денька.
Неделю
спал без просыпа.
И рад был,
что есть
и хлеб,
и деньга
и что не будет оспы.
Но день пришел,
и у кож
в темноте
узор непонятный впеппен.
И дети
у матери в животе
онемевали
и слепли.
Суставы ломая
день ото дня,
года календарные вылистаны,
и кто-то
у тел
половину отнял
и вытянул руки
для милостыни.
Внимание
к негру
стало особое.
Когда

собиралась паства,
морали
наглядное это пособие
показывал
постный пастор:
"Карает бог
и его
и ее
за то, что
водила гостей!"
И слазило
черного мяса гнилье
с гнилых
негритянских костей.
В политику
этим
не думал ввязаться я.
А так —
срисовал для видика.
Одни говорят —
«цивилизация»,
другие —
«колониальная политика».

ХРИСТОФОР КОЛОМБ

*Христофор Колумб был Христофор
Колумб – испанский еврей.*

Из журналов.

1

Вижу, как сейчас,
объедки да бутылки...
В портишке,
известном
лишь кабачком,
Колумб Христофор
и другие забулдыги
сидят,
нахлобучив
шляпы бочком.
Христофора злят,
пристают к Христофору:
"Что вы за нация?
Один Сион!
Любой португалишка
даст тебе фору!"
Вконец извели Христофора —
и он
покрыл
дисканточком

щелканье пробок
(задели
в еврее
больную струну):
"Что вы лезете:
Европа да Европа!
Возьму
и открою другую
страну".
Дивятся приятели:
"Что с Коломбом?
Вина не пьет,
не ходит гулять.
Надо смотреть —
не вывихнул ум бы.
Всю ночь сидит,
раздвигает циркуля".

2

Мертвая хватка в молодом еврее;
думает,
не ест,
недосыпает ночей.
Лакеев
оттягивает
за фалды ливреи,
лезет
аж в спальни
королей и богачей.

"Кораллами торгуете?!

Дешевле редиски.

Сам

наловит

каждый мальчуган.

То ли дело

материк индийский:

не барахло —

бирюза,

жемчуга!

Дело верное:

вот вам карта.

Это океан,

а это —

мы.

Пунктиром путь —

и бриллиантов караты

на каждый полтинник,

данный взаймы".

Тесно торгашам.

Томятся непоседы.

Посуху

и в год

не обернется караван.

И закапали

флорины и пезеты

Христофору

в продырявленный карман.

Идут,
посвистывая,
отчаянные из отчаянных.
Сзади тюрьма.
Впереди —
ни рубля.
Арабы,
французы,
испанцы
и датчане
лезли
по трапам
Коломбова корабля.
"Кто здесь Коломб?
До Индии?
В ночьку!
(Чего не откроешь,
если в пузе орган!)
Выкатывай на палубу
белого бочку,
а там
вези
хоть к черту на рога!"
Прощанье — что надо.
Не отъезд — а помпа:
день
не просыхали
капли на усах,
Время

меряли,
вперяясь в компас.
Спьяна
путали штаны и паруса.
Чуть не сшибли
маяк зажженный.
Палубные
не держатся на полу,
и вот,
быть может, отсюда,
с Жижона,
на всех парусах
рванулся Коломб.

4

Единая мысль мне сегодня люба,
что эти вот волны
Коломба лапили,
что в эту же воду
с Коломбова лба
стекали
пота
усталые капли.
Что это небо
землей обмеля,
на это вот облако,
вставшее с юга, —
"На мачты, братва!
глядите —

земля!" —
орал
рассудок теряющий юнга.
И вновь
океан
с простора раскосого
вбивал
в небеса
громыхающий клин,
а после
брatался
с волной сарагоссовой.
и вместе
пучки травы волокни.
Он
этой же бури слушал лады.
Когда ж
затихает бури задор,
мерещатся
в водах
Коломба следы,
ведущие
на Сан-Сальвадор.

5

Вырастают дни
в бородатые месяцы.
Луны
мрут

у мачты на колу.
Надоело океану,
Атлантический бесится.
Взбешен Христофор,
извелся Колумб.
С тысячной волны трехпарусник
съехал.
На тысячу первую взбираться
надо.
Видели Атлантический?
Тут не до смеха!
Команда ярится —
устала команда.
Шепчутся:
"Черту ввязались в попутчики.
Дома плохо?
И стол и кровать.
Знаем мы
эти
жидовские штучки —
разные
Америки
закрывать и открывать!"
За капитаном ходят по пятам.
"Вернись! – говорят,
играют мушкой. —
Какой ты ни есть
капитан-раскапитан,
а мы тебе тоже
не фунт с осьмушкой".

Лазит Коломб
на брамсель с фока,
глаза аж навывате,
исхудал лицом;
пустился вовсю:
придумал фокус
со знаменитым
Колумбовым яйцом.
Что яйцо? —
игрушка на день.
И день
не оттянешь
у жизни-воровки.
Галдит команда,
на Колумба глядя:
"Крепка
петля
из гонуэзской веревки.
Кончай,
Христофор,
собачий век!.."
И кортики
воздух
во тьме секут.
«Земля!» —
Горизонт в туманной
кайме.
Как я вот
в растущую Мексику
и в розовый

этот
песок на заре,
вглазелись.
Не смеют надеяться:
с кольцом экватора
в медной ноздре
вставал
материк индейцев.

6

Года прошли.
В старика
шипунa
смельчал Атлантический,
гордый смолоду.
С бортов «Мажестиков»
любая шпана
плюет
в твою
седоусую морду.
Коломб!
твое пропало наследство!
В вонючих трюмах
твои потомки
с машинным адом
в горящем соседстве
лежат,
под щеку
подложивши котомки.

А сверху,
в цветах первоклассных розеток,
катаясь пузом
от танцев
до пьянки,
в уюте читален,
кино
и клозетов
катаются донны,
сеньоры
и янки.
Ты балда, Коломб, —
скажу по чести.
Что касается меня,
то я бы
лично —
я б Америку закрыл,
слегка почистил,
а потом
опять открыл —
вторично.

1925

ТРОПИКИ

(Дорога Вера-Круц – Мехико-сити)

Смотрю:
вот это —
тропики.
Всю жизнь
вдыхаю наново я.
А поезд
прет торопкий
сквозь пальмы,
сквозь банановые.
Их силуэты-веники
встают рисунком тошненьким:
не то они – священники,
не то они – художники.
Аж сам
не веришь факту:
из всей бузы и вара
встает
растенье – кактус
трубой от самовара.
А птички в этой печке
красивей всякой меры.

По смыслу —
воробейчики,
а видом —
шантеклеры.
Но прежде чем
осмыслил лес
и бред,
и жар,
и день я —
и день
и лес исчез
без вечера
и без
предупреждения.
Где горизонта борозда?!
Все линии
потеряны.
Скажи,
которая звезда
и где
глаза пантерины?
Не счел бы
лучший казначей
звезды
тропических ночей,
настолько
ночи августа
звездой набиты
нагусто.
Смотрю:

ни зги, ни тропки.
Всю жизнь
вдыхаю наново я.
А поезд прет
сквозь тропики,
сквозь запахи
банановые.

1926

МЕКСИКА

О, как эта жизнь читалась взасос!

Идешь.

Наступаешь на ноги.

В руках

превращается

ранец в лассо,

а клячи пролетов —

мустанги.

Взаправду

игрушечный

рос магазин,

ревел

пароходный гудок.

Сейчас же

сбегу

в страну мокасин —

лишь сбондю

рубль и бульдог.

А сегодня —

это не умора.

Сколько миль воды

винтом нарыто, —

и встает

живьем

страна Фениамора

Купера
и Майн Рида.
Рев сирен,
кончается вода.
Мы прикручены
к земле
о локоть локоть.
И берет
набитый «Лефом»
чемодан
Монтигомо
Ястребиный Коготь.
Глаз торопится слезой налиться.
Как? чему я рад? —
– Ястребиный Коготь!
Я ж
твой "Бледнолицый
Брат".
Где товарищи?
чего таишься?
Помнишь,
из-за клумбы
стрелами
отравленными
в Кутаисе
били
мы
по кораблям Колумба? —
Цедит
злобно

Коготь Ястребиный,
медленно,
как треснувшая крынка:
– Нету краснокожих – истребили
гачупины с гринго.
Ну, а тех из нас,
которых
пульки
пощадили,
просвистевши мимо,
кабаками
кактусовой «пульке»
добивает
по 12-ти сантимов.
Заменила
чемоданов куча
стрелы,
от которых
никуда не деться... —
Огрызнулся
и пошел,
сомбреро нахлобуча
вместо радуги
из перьев
птицы Кетцаль.
Года и столетья!
Как ни косите
склоненные головы дней, —
корявые камни
Мехико-сити

прошедшее вышепчут мне.

Это

было

так давно,

как будто не было.

Бабушки столетних попугаев

не запомнят.

Здесь

из зыби озера

вставал Пуабло,

дом-коммуна

в десять тысяч комнат.

И золото

между озерных зыбей

лежало,

аж рыть не надо вам.

Чего еще,

живи,

бронзовой,

вторая сестра Элладова!

Но очень надо

за морем

белым,

чего индейцу не надо.

Жадна

у белого

Изабелла,

жена

короля Фердинанда.

Тяжек испанских пушек груз.

Сквозь пальмы,
сквозь кактусы лез
по этой дороге
из Вера-Круц
генерал
Эрнандо Кортес.
Пришел.
Вода студеная
хочет
вскипеть кипятком
от огня.
Дерутся
72 ночи
и 72 дня.
Хранят
краснокожих
двумордые идола.
От пушек
не видно вреда.
Как мышь на сало,
прельстясь на титулы,
своих
Моктецума предал.
Напрасно,
разбитых
в отряды спаяв,
Гватемок
в озерной воде
мок.
Что

против пушек
стреленка твоя!..
Под пытками
умер Гватемок.
И вот стоим,
индеец да я,
товарищ
далекого детства.
Он умер,
чтоб в бронзе
веками стоять
наискосок от полпредства.
Внизу
громыхает
столетий орда,
и горько стоять индейцу.
Что братьям его,
рабам,
чехарда
всех этих Хуэрт
и Диэцов?..
Прошла
годов трезначная сумма.
Героика
нынче не тема.
Пивною маркой стал Моктецума,
пивной маркой – Гватемок.
Буржуи
все
под одно стригут.

Вконец обесцветили мир мы.

Теперь

в утешенье земле-старика

лишь две

конкурентки фирмы.

Ни лиц пожелтелых,

ни солнца одеж.

В какую

огромную лупу,

в какой трущобе

теперь

найдешь

сарапе и Гваделупу?

Что Рига, что Мехико —

родственный жанр.

Латвия

тропического леса.

Вся разница:

зонтик в руке у рижан,

а у мексиканцев

«Смит и Вессон».

Две Латвии

с двух земных боков —

различные собой они

лишь тем,

что в Мексике

режут быков

в театре,

а в Риге —

на бойне.

И совсем как в Риге,
около пяти,
проклиная
мамову опеку,
фордом
разжигая жениховский аппетит,
кружат дочки
по Чапультатеку.

А то,
что тут урожай фуража,
что в пальмы земля разодета,
так это от солнца, —
сиди
и рожай
бананы и президентов.
Наверху министры
в бриллиантовом огне.

Под —
народ.
Гoleyший зад виднеется.
Без штанов,
во-первых, потому, что нет,
во-вторых, —
не полагается:

индейцы.
Обнищало
моктецумье племя,
и стоит оно
там,
где город

выбег
на окраины прощаться
перед вывеской
муниципальной:
"Без штанов
в Мехико-сити
вход воспрещается".
Пятьсот
по Мексике
нищих племен,
а сытый
с одним языком:
одной рукой выжимает в лимон,
одним запирает замком.
Нельзя
борьбе
в племена рассекаться.
Нищий с нищими
рядом!
Несись
по земле
из страны мексиканцев,
роднящий крик:
«Камарада!»
Голод
мастер людей равнять.
Каждый индеец,
кто гол.
В грядущем огне
родня-головня

ацтек,
метис
и креол.
Милльон не угробят богатых лопаты.
Страна!
Поди,
покори ее!
Встают
взамен одного Запаты
Гальваны,
Морено,
Карио.
Сметай
с горбов
толстопузых обузу,
ацтек,
креол
и метис!
Скорей
над мексиканским арбузом,
багровое знамя, взметись!

Мехико-сити, 20 июля, 1925

БОГОМОЛЬНОЕ

Большевики
надругались над верой православной.
В храмах-клубах —
словесные бои.
Колокола без языков —
немые словно.
По божьим престолом
похабничают воробьи.
Без веры
и нравственность ищем напрасно.
Чтоб нравственным быть —
кадилами вей.
Вот Мексика, например,
потому и нравственна,
что прут
богомолки
к вратам церквей.
Кафедраль —
богомольнейший из монашских институтцев.
Брат «Notre Dame'a»
на площади, —
а около,
Запружена народом,
«Площадь Конституции»,
в простонародии —

площадь «Сокола».
Блестящий
двенадцатицилиндровый
«пакард»
остановил шофер,
простоватый хлопец.
— Стой, — говорит, —
помолюсь пока... —
донна Эсперанца Хуан-де-Лопец.
Нету донны
ни час, ни полтора.
Видно, замолилась.
Веровать так веровать
И снится шоферу —
донна у алтаря.
Париж
голубочком
душа шоферова.
А в кафедрале
безлюдно и тихо:
не занято
в соборе
ни единого стульца.
С другой стороны
у собора —
выход
сразу
на четыре гудящие улицы.
Донна Эсперанца
выйдет как только,

к донне
дон распаленный кинется.
За угол!
Улица «Изабелла Католика»
а в этой улице —
гостиница на гостинице.
А дома —
растет до ужина
свирепость мужаина.
У дона Лопеца
терпенье лопається.
То крик,
то стон
испускает дон.
Гремит
по квартире
тигровый соло:
– На восемь частей разрежу ее! —
И, выдрав из уса
в два метра волос,
он пробует
сабли своей острие.
– Скажу ей:
"Иначе, сеньора, лягте-ка!
Вот этот
кольт
ваш сожитель до гроба!" —
И в пумовой ярости
– все-таки практика! —
сбивает

с бутылок
дюжину пробок.
Гудок в два тона —
приехала донна.
Еще
и рев
не успел уйти
за кактусы
ближнего поля,
а у шоферских
виска и груди
нависли
клинок и пистоля.
– Ответ или смерть!
Не вертеть вола!
Чтоб донна
не могла
запираться,
ответь немедленно,
где была
жена моя
Эсперанца?
– О дон Хуан!
В вас дьяволы злобятся.
Не гневайте
божью милость.
Донна Эсперанца
Хуан-де-Лопец
сегодня
усердно

молилась.

1925

МЕКСИКА – НЬЮ-ЙОРК

Бежала
Мексика
от буферов
горящим,
сияющим бредом.
И вот
под мостом
река или ров,
делящая
два Ларедо.
Там доблести —
скачут,
коня загоня,
в пятак
попадают
из кольца,
и скачет конь,
и брюхо коня
о колкий кактус исколото.
А здесь
железо —
не расшатать!
Ни воли,
ни жизни,
ни нерва вам!

И сразу
рябит
тюрьма решета
вам
для знакомства
для первого.
По рельсам
поезд сыпет,
под рельсой
шпалы сыпятся.
И гладью
Миссисипи
под нами миссисипится.
По бокам
поезда
не устанут сновать:
или хвост мелькнет,
или нос.
На боках поездных
страновеют слова:
«Сан-Луйс»,
«Мичиган»,
«Иллинойс»!
Дальше, поезд,
огнями расцветенный!
Лез,
обгоняет,
храпит.
В Нью-Йорк несется
"Твенти сенчери

экспресс".
Курьерский!
Рapid!
Кругом дома,
в этажи затеряв
путей
и проволок множь.
Теряй шапчонку,
глаза задеря,
все равно —
ничего не поймешь!

1926

БРОДВЕЙ

Асфальт – стекло.
Иду и звеню.
Леса и травинки —
сбриты.
На север
с юга
идут авеню,
на запад с востока —
стриты.
А между —
(куда их строитель завез!) —
дома
невозможной длины.
Одни дома
длиною до звезд,
другие —
длиной до луны.
Янки
подошвами шлепать
ленив:
простой
и курьерский лифт.
В 7 часов
человечий прилив,
в 17 часов —

отлив.
Скрежещет механика,
звон и гам,
а люди
немые в звоне.
И лишь замедляют
жевать чуингам,
чтоб бросить:
«Мек моней?»
Мамаша
грудь
ребенку дала.
Ребенок
с каплями из носу,
сосет
как будто
не грудь, а доллар —
занят
серьезным
бизнесом.
Работа окончена.
Тело обвей
в сплошной
электрический ветер.
Хочешь под землю —
бери собвей,
на небо —
бери элевейтер.
Вагоны
едут

и дымам под рост,
и в пятках
домовьих
трутся,
и вынесут
хвост
на Бруклинский мост,
и спрячут
в норы
под Гудзон.
Тебя ослепило,
ты осовел.
Но,
как барабанная дробь,
из тьмы
по темени:
"Кофе Максвел
гуд
ту ди ласт дроп".
А лампы
как станут
ночь копать.
ну, я доложу вам —
пламечко!
Налево посмотришь —
мамочка мать!
Направо —
мать моя мамочка!
Есть что поглядеть московской братве.
И за день

в конце не дойдут.
Это Нью-Йорк.
Это Бродвей.
Гау ду ю ду!
Я в восторге
от Нью-Йорка города.
Но
кепчонку
не сдерну с виска.
У советских
собственная гордость:
на буржуев
смотрим свысока.

6 августа Нью-Йорк. 1925 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ

Вид индейцев таков:
пернат,
смешон
и нездешен.
Они
приезжают
из первых веков
сквозь лязг
«Пенсильвэния Стейшен».
Им
Кулиджи
пару пальцев суют.
Снимают
их
голливудцы.
На крыши ведут
в ресторанный уют.
Под ними,
гульбу разгудевши свою,
ньюйоркские улицы льются.
Кто их радует?
чем их злят?
О чем их дума?
куда их взгляд?
Индейцы думают:

"Ишь —
капитал!
Ну и дома застроил.
Все отберем
ни за пятак
при
социалистическом строе.
Сначала
будут
бои клокотать.
А там
ни вражды,
ни начальства!
Тишь
да гладь
да божья благодать —
сплошное луначарство.
Иными
рейсами
вспенятся воды;
пойдут
пароходы зажаривать,
сюда
из Москвы
возить переводы
произведений Жарова.
И радио —
только мгла легла —
правду-матку вызвенит.
Придет

и расскажет
на весь вигвам,
в чем
красота
жизни.
И к правде
пойдет
индейская рать,
вздымаясь
знаменной уймою..."
Впрочем,
зачем
про индейцев врать?
Индейцы
про это
не думают.
Индеец думает:
"Там,
где черно
воде
у моста в оскале,
плескался
недавно
юркий челнок
деда,
искателя скальпов.
А там,
где взвит
этажей коробок
и жгут

миллион киловатт, —
стоял
индейский
военный бог,
брюхат
и головат.
И все,
что теперь
вокруг течет,
все,
что отсюда видимо, —
все это
вытворил белый черт,
заморская
белая ведьма.
Их
всех бы
в лес прогнать
в одни,
и мы чтоб
с копьем гонялись..."
Поди
под такую мысль
подведи
классовый анализ.
Мысль человечья
много сложнее,
чем знают
у нас
о ней.

Тряхнув
оперенья нарядную рядь
над пастью
облошаделой,
сошли
и – пока!
пошли вымирать.
А что им
больше
делать?
Подумай
о новом агит-винте.
Винти,
чтоб задор не гас его.
Ждут.
Переводи, Коминтерн,
расовый гнев
на классовый.

1926

БАРЫШНЯ И ВУЛЬВОРТ

Бродвей сдурел.
Бегня и гулево.
Дома
с небес обрываются
и висят.
Но даже меж ними
 заметишь Вульворт.
Корсетная коробка
этажей под шестьдесят.
Сверху
разведывают
звезд взводы,
в средних
тайпистки
стрекочут бешено.
А в самом нижнем —
"Дрогс сода,
грет энд феймус компани-нейшенал".
А в окошке мисс
семнадцати лет
сидит для рекламы
и точит ножи.
Ржавые лезвия
фирмы «Жиллет»
кладет в патентованный

железный зажим
и гладит
и водит
кожей ремня.

Хотя
усов
и не полагается ей,
но водит
по губке,
усы возомня, —
дескать —
готово,
наточил и брей.

Наточит один
до сияния лучика
и новый ржавый
берет для возни.

Наточит,
вынет
и сделает ручкой.

Дескать —
зайди,
купи,
возьми.

Буржуем не сделаешься с бритвенной точки.
Бегут без бород
и без выражений на лице.

Богатств буржуйских особые источники:
работай на доллар,
а выдадут цент.

У меня ни усов,
ни долларов,
ни шевелюр, —
и в горле
застревают
английского огрызки.
Но я подхожу
и губами шевелю —
как будто
через стекло
разговариваю по-английски.
"Сидишь,
глазами буржуев охлопана.
Чем обнадежена?
Дура из дур".
А девушке слышится:
"Опен,
опен ди дор".
"Что тебе заботиться
о чужих усах?
Вот...
посадили...
как дуру еловую".
А у девушки
фантазия раздувает паруса,
и слышится девушке:
«Ай лов ю».
Я злею:
"Выдь,
окно разломай, —

а бритвы раздай
для жирных горл".
Девушке мнится:
"Май,
май горл".
Выходит
фантазия из рамок и мерок —
и я
кажусь
красивый и толстый,
И чудится девушке —
влюбленный клерк
на ней
жениться
приходит с Волстрит.
И верит мисс,
от счастья дрожа,
что я —
долларовый воротила,
что ей
уже
в других этажах
готовы бесплатно
и стол
и квартира.
Как врезать ей
в голову
мысли-ножи,
что русским известно другое средство,
как влезть рабочим

во все этажи
без грез,
без свадеб,
без жданий наследства.

1925

НЕБОСКРЕБ В РАЗРЕЗЕ

Возьми
разбольшущий
дом в Нью-Йорке,
взгляни
насквозь
на здание на то.
Увидишь —
старейшие
норки да каморки —
совсем
дооктябрьский
Елец аль Конотоп.
Первый —
ювелиры,
караул бессменный,
замок
зацепился ставням о бровь.
В сером
герои кино,
полисмены,
лягут
собаками
за чужое добро.
Третий —
спят бюро-конторы.

Ест
промокашки
рабий пот.
Чтоб мир
не забыл,
хозяин который,
на вывесках
золотом
«Вильям Шпрот».

Пятый.
Подсчитав
приданные сорочки,
мисс
перезрелая
в мечте о женихах.
Вздымая грудью
ажурные строчки,
почесывает
пышных подмышек меха.

Седьмой.
Над очагом
домашним
высясь,
силы сберегши
спортом смолоду,
сэр
своей законной миссис,
узнав об измене,
кровавит морду.
Десятый.

Медовый.

Пара легла.

Счастливей,

чем Ева с Адамом были.

Читают

в «Таймсе»

отдел реклам:

«Продажа в рассрочку автомобилей».

Тридцатый.

Акционеры

сидят увлечены,

делят миллиарды,

жадны и озабочены.

Прибыль

треста

"изготовленье ветчины

из лучшей

дохлой

чикагской собачины".

Сороковой.

У спальни

опереточной дивы.

В скважину

замочную,

сосредоточив прыть,

чтоб Кулидж дал развод,

детективы

мужа

должны

в кровати накрыть.

Свободный художник,
рисующий задочки,
дремлет в девяностом,
думает одно:
как бы ухажнуть
за хозяйской дочкой —
да так,
чтоб хозяину
всучить полотно.
А с крыши стаял
скатертный снег.
Лишь ест
в ресторанной выси
большие крохи
уборщик-негр,
а маленькие крошки —
крысы.
Я смотрю,
и злость меня берет
на укывшихся
за каменный фасад.
Я стремился
за 7000 верст вперед,
а приехал
на 7 лет назад.

ПОРЯДОЧНЫЙ ГРАЖДАНИН

Если глаз твой
врага не видит,
пыл твой выпили
нэп и торг,
если ты
отвык ненавидеть, —
приезжай
сюда,
в Нью-Йорк.
Чтобы, в мили улиц опутан,
в боли игл
фонарных ежей,
ты прошел бы
со мной
лилипутом
у подножия
их этажей.
Видишь —
вон
выгребают мусор —
на объедках
с детьми пронянчиться,
чтоб в авто,
обгоняя «бусы»,
ко дворцам

неслись бриллиантщицы.
Загляни
в окошки в эти —
здесь
наряд им вышили княжий.
Только
сталью глушит элевейтер
хрип
и кашель
чахотки портняжей.
А хозяин —
липкий студень —
с мордой,
вспухшей на радость чирю,
у работницы
щупает груди:
"Кто понравится —
удочерю!
Двести дам
(если сотни мало),
грусть
сгоню
навсегда с очей!
Будет
жизнь твоя —
Куни-Айланд,
луна-парк
в миллиард свечей".
Уведет —
а назавтра

зверья,
волчья банда
бесполоых старух
проститутку —
в смолу и в перья,
и опять
в смолу и в пух.
А хозяин
в отеле Плаза,
через рюмку
и с богом сблизясь,
закатил
в поднебесье глазки:
"Сенк'ю
за хороший бизнес!"
Успокойтесь,
вне опасения
ваша трезвость,
нравственность,
дети,
барабаны
«армий спасения»
вашу
в мир
трубят добродетель.
Бог
на вас
не разукоризнится:
с вас
и маме их —

на платок,
и ему
соберет для ризницы
божий менаджер,
поп Платон.
Клоб полиций
на вас не свалится.
Чтобы ты
добрел, как кулич,
смотрит сквозь холеные пальцы
на тебя
демократ Кулидж.
И, елозя
по небьим сводам
стражем ханжества,
центов
и сала,
пялит
руку
ваша свобода
над тюрьюю
Элис-Айланд.

1925

ВЫЗОВ

Горы злобы
аж ноги гнут.
Даже
шея вспухает зобом.
Лезет в рот,
в глаза и внутрь.
Оседая,
влезает злоба.
Весь в огне.
Стою на Риверсайте.
Сбоку
фордами
штурмуют мрака форт.
Небоскребы
локти скручивают сзади,
впереди
американский флот.
Я смеюсь
над их атакою тройною.
Ники Картеры
мою
недоглядели визу.
Я
полпред стиха —
и я

с моей страной
вашим штатишкам
брошаю вызов.
Если
кроха протухла,
плеснитса,
выбрось
весь
прогнивший кус.
Сплюнул я,
не доев и месяца
вашу доблесть,
законы,
вкус.
Посылаю к чертям свинячим
все доллары
всех держав.
Мне бы
кончить жизнь
в штанах,
в которых начал,
ничего
за век свой
не стяжав.
Нам смешны
дозволенного зоны.
Взвод мужей,
остолбенеи,
цинизм поражен!
Мы целуем

— незаконно! —
над Гудзоном
ваших
длинноногих жен.
День наш
шумен.
И вечер пышен.
Шлите
сыщиков
в щелки слушать.
Пьем,
плюя
на ваш прогибишен,
ежедневную
«Белую лошадь».
Вот и я
стихом побрататься
прикатил и вбиваю мысли,
не боящиеся депортаций:
ни сослать их нельзя
и не выселить.
Мысль
сменяют слова,
а слова —
дела,
и глядишь,
с небоскребов города,
раскачав,
в мостовые
вбивают тела —

Вандерлипов,
Рокфеллеров,
Фордов.
Но пока
доллар
всех поэм родовей.
Обирая,
лапя,
хапая,
выступает,
порфирой надев Бродвей,
капитал —
его препохабие.

1925

100%

Шеры...

облигации...

доллары...

центы...

В винницкой глуши тьмутараканьясь,

так я рисовал,

вот так мне представлялся

стопроцентный

американец.

Родила сына одна из жен.

Отвернув

пеленочный край,

акушер демонстрирует:

Джон как Джон.

Ол райт!

Девять фунтов,

глаза —

пяточки.

Ощерив зубовой ряд,

отец

протер

роговые очки:

Ол райт!

Очень прост

воспитанья вопрос.

Ползает,
лапы марают.
Лоб расквасил —
ол райт!
нос —
ол райт!
Отец говорит:
"Бездельник Джон.
Ни цента не заработал,
а гуляет!"
Мальчишка
Джон
выходит вон.
Ол райт!
Техас,
Калифорния,
Массачузэт.
Ходит
из края в край.
Есть хлеб —
ол райт!
нет —
ол райт!
Подрос,
поплевывает слюну.
Трубчонка
горит, не сгорает.
"Джон,
на пари,
пойдешь на луну?"

Ол райт!
Одну полюбил,
назвал дорогой.
В азарте
играет в рай.
Она изменила,
ушел к другой.
Ол райт!
Наследство Джону.
Расходов —
рой.
Миллион
растаял от трат.
Подсчитал,
улыбнулся —
найдем второй.
Ол райт!
Работа.
Хозяин —
лапчатый гусь —
обкрадывает
и обирает.
Джон
намотал
на бритый ус.
Ол райт!
Хозяин выгнал.
Ну, что ж!
Джон
рассчитаться рад.

Хозяин за кольт,
а Джон за нож.
Ол райт!
Джон
хозяйской пулей сражен.
Шепчутся:
«Умирает».
Джон услышал,
усмехнулся Джон.
Ол райт!
Гроб.
Квадрат прокопали черный.
Земля —
как по крыше град.
Врыли.
Могильщик
вздохнул облегченно.
Ол райт!
Этих Джонов
нету в Нью-Йорке.
Мистер Джон,
жена его
и кот
зажирели,
спят
в своей квартирной норке,
просыпаясь
изредка
от собственных икот.
Я разбезалаберный до крайности,

но судьбе
не любящий
учтиво кланяться,
я,
поэт,
и то американистей
самого что ни на есть
американца.

1925

АМЕРИКАНСКИЕ РУССКИЕ

Петров
Капланом
за пуговицу пойман.
Штаны
заплатаны,
как балканская карта.
"Я вам,
сэр,
назначаю апойнтман.
Вы знаете,
кажется,
мой апартман?
Тудой пройдете четыре блока,
потом
сюдой дадите крен.
А если
стриткара набита,
около
можете взять
подземный трен.
Возьмите
с меняньем пересядки тикет
и прите спокойно,
будто в телеге.
Слезете на корнере

у дрогс ликет,
а мне уж
и пинту
принес бутлегер.
Приходите ровно
в севен оклок, —
поговорим
про новости в городе
и проведем
по-московски вечерок, —
одни свои:
жена да бордер.
А с джабом завозитесь в течение дня
или
раздумаете вовсе —
тогда
обязательно
отзвоните меня.
Я буду
в офисе".
«Гуд бай!» —
разнеслось окрест
и кануло
ветру в свист.
Мистер Петров
пошел на Вест
а мистер Каплан —
на Ист.
Здесь, извольте видеть, «джаб»,
а дома

«цуп» да «цус».
С насыпи
язык
летит на полном пуске.
Скоро
только очень образованный
француз
будет
кое-что
соображать по-русски.
Горланит
по этой Америке самой
стоязыкий
народ-оголтец.
Уж если
Одесса – Одесса-мама,
то Нью-Йорк —
Одесса-отец.

1925

БРУКЛИНСКИЙ МОСТ

Издай, Кулидж,
радостный клич!
На хорошее
и мне не жалко слов.
От похвал
красней,
как флага нашего материйка,
хоть вы
и разъюнайтед стетс
оф
Америка.
Как в церковь
идет
помешавшийся верующий,
как в скит
удаляется,
строг и прост, —
так я
в вечерней
сереющей мерещи
вхожу,
смиранный, на Бруклинский мост.
Как в город
в сломанный
прет победитель

на пушках – жерлом
жирафу под рост —
так, пьяный славой,
так жить в аппетите,
влезая,
гордый,
на Бруклинский мост.
Как глупый художник
в мадонну музея
вонзает глаз свой,
влюблен и остр,
так я,
с поднебесья,
в звезды усеян,
смотрю
на Нью-Йорк
сквозь Бруклинский мост.
Нью-Йорк
до вечера тяжек
и душен,
забыл,
что тяжело ему
и высоко,
и только одни
домовьи души
встают
в прозрачном свечении окон.
Здесь
еле зудит
элевейтеров зуд.

И только
по этому —
тихому зуду
поймешь —
поезда
с дребезжаньем ползут,
как будто
в буфет убирают посуду.
Когда ж,
казалось, с-под речки начатой
развозит
с фабрики
сахар лавочник, —
то
под мостом проходящие мачты
размером
не больше размеров булавочных.
Я горд
вот этой
стальной милей,
живьем в ней
мои видения встали —
борьба
за конструкции
вместо стилей,
расчет суровый
гаек
и стали.
Если
придет

окончание света —
планету
хаос
разделает в лоск,
и только
один останется
этот
над пылью гибели вздыбленный мост,
то,
как из косточек,
тоньше иголок,
тучнеют
в музеях стоящие
ящеры,
так
с этим мостом
столетий геолог
сумел
воссоздать бы
дни настоящие.
Он скажет:
— Вот эта
стальная лапа
соединяла
моря и прерии,
отсюда
Европа
рвалась на Запад,
пустив
по ветру

индейские перья.
Напомнит
машину
ребро вот это —
сообразите,
хватит рук ли,
чтоб, став
стальной ногой
на Мангетен,
к себе
за губу
притягивать Бруклин?
По проводам
электрической пряди —
я знаю —
эпоха
после пара —
здесь
люди
уже
орали по радио,
здесь
люди
уже
взлетали по аэро.
Здесь
жизнь
была
одним – беззаботная,
другим —

голодный
протяжный вой.
Отсюда
безработные
в Гудзон
кидались
вниз головой.
И дальше
картина моя
без заговоздки
по струнам – канатам,
аж звездам к ногам.
Я вижу —
здесь
стоял Маяковский,
стоял
и стихи слагал по слогам. —
Смотрю,
как в поезд глядит эскимос,
впиваюсь,
как в ухо впивается клещ.
Бруклинский мост —
да...
Это вещь!

1925

КЕМП «НИТ ГЕДАЙГЕ»

Запретить совсем бы
ночи – негодяйке
выпускать
из пасти
столько звездных жал.
Я лежу, —
палатка
в Кемпе «Нит гедайге».
Не по мне все это.
Не к чему...
и жаль...
Взвоят
и замрут сирены над Гудзоном,
будто бы решают:
выть или не выть?
Лучше бы не выли.
Пассажирам сонным
надо просыпаться,
думать,
есть,
любить...
Прямо
перед мордой
пролетает вечность —
бесконечночасый распустила хвост.

Были б все одеты,
и в белье, конечно,
если б время
ткало
не часы,
а холст.
Впречь бы это
время
в приводной бы ремень, —
спустят
с холостого —
и чеши и сыпь!
Чтобы
не часы показывали время,
а чтоб время
честно
двигало часы.
Ну, американец...
тоже...
чем гордится.
Втер очки Нью-Йорком.
Видели его.
Сотня этажишек
в небо городится.
Этажи и крыши —
только и всего.
Нами
через пропасть
прямо к коммунизму
перекинут мост,

длинною —
во сто лет.

Что ж,
с мостища с этого
глядим с презрением вниз мы?
Кверху нос задрали?
загордились?

Нет.

Мы
ничьей башки
мостами не морочим.
Что такое мост?
Приспособленье для простуд.
Тоже...

без домов
не проживете очень
на одном
таком
возвышенном мосту.
В мире социальном
те же непорядки:
три доллара за день,
на —
и отвяжись.

А у Форда сколько?
Что игратья в прятки!
Ну, скажите, Кулидж, —
разве это жизнь?

Много ль
человеку

(даже Форду)
надо?
Форд —
в миллионах фордов,
сам же Форд —
в аршин.
Мистер Форд,
для вашего,
для высохшего зада
разве мало
двух
просторнейших машин?
Лишек —
в М. К. Х.
Повесим ваш портретик.
Монумент
и то бы
вылепили с вас.
Кланялись бы детки,
вас
случайно встретив.
Мистер Форд —
отдайте!
Даст он...
Черта с два!
За палаткой
мир
лежит угрюм и темен.
Вдруг
ракетой сон

звенит в унынье в это:
"Мы смело в бой пойдём
за власть Советов..."
Ну, и сон приснит вам
полночь-негодяйка!
Только сон ли это?
Слишком громок сон.
Это
комсомольцы
Кемпа «Нит гедайге»
песней
заставляют
плыть в Москву Гудзон.

20 сентября 1925 г. Нью-Йорк.

ДОМОЙ!

Уходите, мысли, восвояси.

Обнимись,
души и моря глубь.

Тот,
кто постоянно ясен, —

тот,
по-моему,
просто глуп.

Я в худшей каюте
из всех кают —
всю ночь надо мною
ногами куют.

Всю ночь,
покой потолка возмутив,
несется танец,
стонет мотив:

"Маркита,
Маркита,
Маркита моя,
зачем ты,
Маркита,
не любишь меня..."

А зачем
любить меня Марките?!
У меня

и франков даже нет.
А Маркиту
(толечко моргните!)
за сто франков
препроводят в кабинет.
Небольшие деньги —
поживи для шику —
нет,
интеллигент,
взбивая грязь вихров,
будешь всучивать ей
швейную машинку,
по стежкам
строчащую
шелка стихов.
Пролетарии
приходят к коммунизму
низом —
низом шахт,
серпов
и вил, —
я ж
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви.
Все равно —
сослался сам я
или послан к маме —

слов ржавеет сталь,
чернеет баса медь.
Почему
под иностранными дождями
вымокать мне,
гнить мне
и ржаветь?
Вот лежу,
уехавший за воды,
ленью
еле двигаю
моей машины части.
Я себя
советским чувствую
заводом,
вырабатывающим счастье.
Не хочу,
чтоб меня, как цветочек с полян,
рвали
после служебных тягот.
Я хочу,
чтоб в дебатах
потел Госплан,
мне давая
задания на год.
Я хочу,
чтоб над мыслью
времен комиссар
с приказанием нависал.
Я хочу,

чтоб сверхставками спеца
получало
любовищу сердце.
Я хочу,
чтоб в конце работы
завком
запирал мои губы
замком.
Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.
С чугуном чтоб
и с выделкой стали
о работе стихов,
от Политбюро,
чтобы делал
доклады Сталин.
"Так, мол,
и так...
И до самых верхов
прошли
из рабочих нор мы:
в Союзе
Республик
пониманье стихов
выше
довоенной нормы..."

Стихотворения 1926 года СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Вы ушли,
как говорится,
в мир иной.
Пустота...
Летите,
в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость.
Нет, Есенин,
это
не насмешка.
В горле
горе комом —
не смешок.
Вижу —
врезанной рукой помешкав,
собственных
костей
качаете мешок.
– Прекратите!
Бросьте!
Вы в своем уме ли?

Дать,
чтоб щеки
заливал
смертельный мел?!
Вы ж
такое
загибать умели,
что другой
на свете
не умел.
Почему?
Зачем?
Недоуменье смяло.
Критики бормочут:
– Этому вина
то...
да се...
а главное,
что смычки мало,
в результате
много пива и вина. —
Дескать,
заменить бы вам
богему
классом,
класс влиял на вас,
и было б не до драк.
Ну, а класс-то
жажду
заливает квасом?

Класс – он тоже
выпить не дурак.
Дескать,
к вам приставить бы
кого из напостов —
стали б
содержанием
премного одарённой.
Вы бы
в день
писали
строк по сто,
утомительно
и длинно,
как Доронин.
А по-моему,
осуществись
такая бредь,
на себя бы
раньше наложили руки.
Лучше уж
от водки умереть,
чем от скуки!
Не откроют
нам
причин потери
ни петля,
ни ножик перочинный.
Может,
окажись

чернила в «Англетере»,
вены
резать
не было б причины.
Подражатели обрадовались:
бис!
Над собою
чуть не взвод
расправу учинил.
Почему же
увеличивать
число самоубийств?
Лучше
увеличь
изготовление чернил!
Навсегда
теперь
язык
в зубах затворится.
Тяжело
и неуместно
разводить мистерии.
У народа,
у языкотворца,
умер
звонкий
забулдыга подмастерье.
И несут
стихов заупокойный лом,
с прошлых

с похорон
не переделавши почти.
В холм
тупые рифмы
загонять колом —
разве так
поэта
надо бы почтить?
Вам
и памятник еще не слит, —
где он,
бронзы звон,
или гранита грань? —
а к решеткам памяти
уже
понанесли
посвящений
и воспоминаний дрянь.
Ваше имя
в платочки рассоплено,
ваше слово
слюнявит Собинов
и выводит
под березкой дохлой —
"Ни слова,
о дру-уг мой,
ни вздо-о-о-о-ха".
Эх,
поговорить бы иначе
с этим самым

с Леонидом Лознгринычем!

Встать бы здесь

гремящим скандалистом:

– Не позволю

мямлить стих

и мять! —

Оглушить бы

их

трехпалым свистом

в бабушку

и в бога душу мать!

Чтобы разнеслась

бездарнейшая погань,

раздувая

тьмь

пиджачных парусов,

чтобы

врассыпную

разбежался Коган,

встреченных

увеча

пиками усов.

Дрянь

пока что

мало поредела.

Дела много —

только поспевать.

Надо

жизнь

сначала переделать,

переделав —
можно воспевать.
Это время —
трудновато для пера,
но скажите
вы,
калеки и калекши,
где,
когда,
какой великий выбирал
путь,
чтобы протоптанней
и легче?
Слово —
полководец
человечьей силы.
Марш!
Чтоб время
сзади
ядрами рвалось.
К старым дням
чтоб ветром
относило
только
путаницу волос.

Для веселия
планета наша
мало оборудована.
Надо

вырвать
радость
у грядущих дней.
В этой жизни
помереть
не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней.

1926

МАРКСИЗМ – ОРУЖИЕ, ОГНЕСТРЕЛЬНЫЙ МЕТОД. ПРИМЕНЯЙ УМЕЮЧИ МЕТОД ЭТОТ!

Штыками
двух столетий стык
закрепляет
рабочая рать.
А некоторые
употребляют штык,
чтоб им
в зубах ковырять.
Все хорошо:
поэт поет,
критик
занимается критикой.
У стихотворца —
корытце свое,
у критика —
свое корытико.
Но есть
не имеющие ничего,
окромя
красивого почерка.

А лезут
в книгу,
хваля
и грома
из пушки
критического очерка.

А чтоб
имелось
научное лицо
у этого
вздора злопыханного —
всегда
на столе
покрытый пылью
неразрезанный том
Плеханова.

Зазубрит фразу
(ишь, ребятае!)
и ходит за ней,
как за няней.

Бытье —
а у этого — еда и питье
определяет сознание.

Перелистывая
авторов
на букву «эл»,
фамилию
Лермонтова
встретя,
критик выясняет,

что он ел
на первое
и что – на третье.
– Шампанское пил?
Выпивал, допустим.
Налет буржуазный густ.
А его
любовь
к маринованной капусте
доказывает
помещичий вкус.
В Лермонтове, например,
чтоб далеко не идти,
смысла
не больше,
чем огурцов в акации.
Целые
хоры
небесных светил,
и ни слова
об электрификации.
Но,
очищая ядро
от фразерских корок,
бобы —
от шелухи лиризма,
признаю,
что Лермонтов
близок и дорог
как первый

обличитель либерализма.

Массам ясно,
как ни хитри,
что, милюковски юля,
светила

у Лермонтова
ходят без ветрил,
а некоторые —
и без руля.

Но так ли
разрабатывать
важнейшую из тем?
Индивидуализмом пичкать?

Демоны в ад,
а духи —
в эдем?

А где, я вас спрашиваю, смычка?

Довольно
этих

божественных легенд!

Любою строчкой вырванной

Лермонтов

доказывает,

что он —

интеллигент,

к тому же

деклассированный!

То ли дело

наш Степа

– забыл,

к сожалению,
фамилию и отчество, —
у него
в стихах
Коминтерна топот...
Вот это —
настоящее творчество!
Степа —
кирпич
какого-то здания,
не ему
разговаривать вкось и вкривь.
Степа
творит,
не затемняя сознания,
без волокиты аллитераций
и рифм.
У Степы
незнание
точек и запятых
заменяет
инстинктивный
массовый разум,
потому что
батрачка —
мамаша их,
а папаша —
рабочий и крестьянин сразу. —
В результате
вещь

ясней помидора
обволакивается
туманом сизым,
и эти
горы
нехитрого вздора
некоторые
называют марксизмом.
Не говорят
о веревке
в журнале повешенного,
не изменить
шаблона прилежного.
Лежнев зарадуется —
«он про Вешнева».
Вешнев
— «он про Лежнева».

19 апреля 1926 г.

ЧЕТЫРЕХЭТАЖНАЯ ХАЛТУРА

В центре мира
стоит Гиз —
оправдывает штаты служебный раж.
Чтоб книгу
народ
зубами грыз,
наворачивается
миллионный тираж.
Лицо
тысячеглазого треста
блестит
электричеством ровным.
Вшивают
в Маркса
Аверченковы листы,
выписывают гонорары Цицеронам.
Готово.
А зав
упрется назавтра
в заглавие,
как в забор дышлом.
Воедино
сброшировано
12 авторов!
— Как же это, родимые, вышло?? —

Темь
подвалов
тиражом беля,
залегает знание —
и лишь
бегает
по книжным штабелям
жирная провинциалка —
мышь.

А читатели
сидят
в своей уездной яме,
иностранным упиваются,
мозги щадя.

В Африки
вослед за Бенуями
улетают
на своих жилплощадах.

Званье
— «пролетарские» —
нося как эполеты,
без ошибок
с Пушкина
списав про весны,
выступают
пролетарские поэты,
развернув
рулоны строф поверстных.
Чем вы – пролетарий,
уважаемый поэт?

Вы
с богемой слились
9 лет назад.
Ну, скажите,
уважаемый пролет, —
вы давно
динаму
видели в глаза?
– Извините
нас,
сермяжных,
за стишонок неудачненький.
Не хотите
под гармошку поплясать ли? —
Это,
в лапти нарядившись,
выступают дачники
под заглавием
– крестьянские писатели.
О, сколько нуди такой городимо,
от которой
мухи падают замертво!
Чего только стоит
один Радимов
с греко-рязанским своим гекзаметром!
Разлунивши
лысины лачки,
убежденно
взявши
ручку в ручки,

бороденок
теребя пучки,
честно
пишут про Октябрь
попутчики.
Раньше
маленьким казался и Лесков —
рядышком с Толстым
почти не виден.
Ну, скажите мне,
в какой же телескоп
в те недели
был бы виден Лидин?!

– На Руси
одно веселье —
питы... —
А к питью
подай краюху
и кусочек сыру.
И орут писатели
до хрипоты
о быте,
увлекаясь
бытом
госиздатовских кассиров.
Варят чепуху
под клубы
трубочного дыма —
всякую уху
сожрет

читатель-Фока.

А неписанная жизнь

проходит

мимо

улицею фыркающих окон.

А вокруг

скачут критики

в мыле и пене:

– Здорово пишут писатели, братцы!

– Гений-Казин,

Санников-гений...

Все замечательно!

Рады стараться! —

С молотка

литература пущена.

Где вы,

сеятели правды

или звезд сиятели?

Лишь в четыре этажа халтурщина:

Гиза,

критика,

читаки

и писателя.

Нынче

стала

зелень веток в редкость,

гол

литературы ствол.

Чтобы стать

поэту крепкой веткой —

выкрепите мастерство!

1926

РАЗГОВОР С ФИНИНСПЕКТОРОМ О ПОЭЗИИ

Гражданин фининспектор!
Простите за беспокойство.
Спасибо...
не тревожьтесь...
я постою...
У меня к вам
дело
деликатного свойства:
о месте
поэта
в рабочем строю.
В ряду
имеющих
лабазы и угожья
и я обложен
и должен караться.
Вы требуете
с меня
пятьсот в полугодие
и двадцать пять
за неподачу деклараций.
Труд мой
любому

труду
родствен.
Взгляните —
сколько я потерял,
какие
издержки
в моем производстве
и сколько тратится
на материал.
Вам,
конечно, известно явление «рифмы».
Скажем,
строчка
окончилась словом
«отца»,
и тогда
через строчку,
слога повторив, мы
ставим
какое-нибудь:
ламцадрица-ца.
Говоря по-вашему,
рифма —
вексель.
Учесть через строчку! —
вот распоряжение.
И ищешь
мелочишку суффиксов и флексий
в пустующей кассе
склонений

и спряжений.

Начнешь это

слово

в строчку всовывать,

а оно не лезет —

нажал и сломал.

Гражданин фининспектор,

честное слово,

поэту

в копеечку влетают слова.

Говоря по-нашему,

рифма —

бочка.

Бочка с динамитом.

Строчка —

фитиль.

Строка додымит,

взрывается строчка, —

и город

на воздух

строфой летит.

Где найдешь,

на какой тариф,

рифмы,

чтоб враз убивали, нацелясь?

Может,

пяток

небывалых рифм

только и остался

что в Венецуэле.

И тянет
меня
в холода и в зной.
Бросаюсь,
опутан в авансы и в займы я.
Гражданин,
учтите билет проездной!
– Поэзия
– вся! —
езда в неизвестное.
Поэзия —
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь
единого слова ради
тысячи тонн
словесной руды.
Но как
испепеляюще
слов этих жжение
рядом
с тлением
слова-сырца.
Эти слова
приводят в движение
тысячи лет
миллионов сердца.
Конечно,
различны поэтов сорта.

У скольких поэтов
легкость руки!
Тянет,
как фокусник,
строчку изо рта
и у себя
и у других.
Что говорить
о лирических кастратах?!
Строчку
чужую
вставит – и рад.
Это
обычное
воровство и растрата
среди охвативших страну растрат.
Эти
сегодня
стихи и оды,
в аплодисментах
ревомяе ревя,
войдут
в историю
как накладные расходы
на сделанное
нами —
двумя или тремя.
Пуд,
как говорится,
соли столовой

съешь
и сотней папирос клуби,
чтобы
добыть
драгоценное слово
из артезианских
людских глубин.
И сразу
ниже
налога рост.
Скиньте
с обложенья
нуля колесо!
Рубль девяносто
сотня папирос,
рубль шестьдесят
столовая соль.
В вашей анкете
вопросов масса:
– Были выезды?
Или выездов нет? —
А что,
если я
десяток пегасов
загнал
за последние
15 лет?!
У вас —
в мое положение войдите —
про слуг

и имущество
с этого угла.

А что,
если я
народа водитель
и одновременно —
народный слуга?

Класс
гласит
из слова из нашего,
а мы,
пролетарии,
двигатели пера.
Машину
души
с годами изнашиваешь.

Говорят:
— в архив,
исписался,
пора! —
Все меньше любитя,
все меньше дерзается,
и лоб мой
время
с разбега крушит.

Приходит
страшнейшая из амортизаций —
амортизация
сердца и души.
И когда

это солнце
разжиревшим боровом
взойдет
над грядущим
без нищих и калек, —
я
уже
сгнию,
умерший под забором,
рядом
с десятком
моих коллег.
Подведите
мой
посмертный баланс!
Я утверждаю
и – знаю – не налгу:
на фоне
сегодняшних
дельцов и пролаз
я буду
– один! —
в непролазном долгу.
Долг наш —
реветь
медногорлой сиреной
в тумане мещанья,
у бурь в кипенье.
Поэт
всегда

должник вселенной,
платящий
на горе
проценты
и пени.
Я

в долгу
перед Бродвейской лампионией,
перед вами,
багдадские небеса,
перед Красной Армией,
перед вишнями Японии —
перед всем,
про что
не успел написать.

А зачем
вообще
эта шапка Сене?
Чтобы – целься рифмой —
и ритмом ярись?
Слово поэта —
ваше воскресение,
ваше бессмертие,
гражданин канцелярист.
Через столетья
в бумажной раме
возьми строку
и время верни!
И встанет
день этот

с фининспекторами,
с блеском чудес
и с вонью чернил.

Сегодняшних дней убежденный житель,
выправьте
в энкапеез
на бессмертье билет
и, высчитав
действие стихов,
разложите
заработок мой
на триста лет!
Но сила поэта
не только в этом,
что, вас
вспоминая,
в грядущем икнут.

Нет!

И сегодня
рифма поэта —
ласка
и лозунг,
и штык,
и кнут.

Гражданин фининспектор,
я выплачу пять,
все
нули
у цифры скрестя!
Я

по праву
требую пядь
в ряду
беднейших
рабочих и крестьян.
А если
вам кажется,
что всего делов —
это пользоваться
чужими словесами,
то вот вам,
товарищи,
мое стило,
и можете
писать
сами!

1926

ПЕРЕДОВАЯ ПЕРЕДОВОГО

Довольно
сонной,
расслабленной праздности!
Довольно
kozyрянья
в тысячи рук!
Республика искусства
в смертельной опасности —
в опасности краска,
слово,
звук.
Громы
зажаты
у слова в кулаке, —
а слово
зовется
только с тем,
чтоб кланялось
событью
слово – лакей,
чтоб слово плелось
у статей в хвосте.
Брось дрожать
за шкуры скряжи!
Вперед забегайте,

не боясь суда!
Зовите рукой
с грядущих кряжей:
"Пролетарий,
сюда!"
Полезли
одиночки
из миллионной давки —
такого, мол,
другого
не увидишь в жисть.
Каждый
рад
подставить бородавки
под увековечливую
ахровскую кисть.
Вновь
своя рубаха
ближе к телу?
А в нашей работе
то и ново,
что в громаде,
класс которую сделал,
не важно
сделанное
Петровым и Ивановым.
Разнообразны
души наши.
Для боя – гром,
для кровати —

шепот.
А у нас
для любви и для боя —
марши.
Извольте
под марш
к любимой шлепать!
Почему
теперь
про чужое поем,
изъясняемся
ариями
Альфреда и Травиаты?
И любви
придумаем
слово свое,
из сердца сделанное,
а не из ваты.
В годы голода,
стужи-злюки
разве
филармонии играли окрест?
Нет,
свои,
баррикадные звуки
нашел
гудков
медногорлый оркестр.
Старью
революцией

поставлена точка.
Живите под охраной
музейных оград.
Но мы
не предадим
кустарям-одиночкам
ни лозунг,
ни сирену,
ни киноаппарат.
Наша
в коммуну
не иссякнет вера.
Во имя коммуны
жмись и мнись.
Каждое
сегодняшнее дело
меряй,
как шаг
в электрический,
в машинный коммунизм.
Довольно домашней,
кустарной праздности!
Довольно
изделий ловких рук!
Федерация муз
в смертельной опасности —
в опасности слово,
краска
и звук.

ВЗЯТОЧНИКИ

Дверь. На двери —
«Нельзя без доклада»
Под Марксом,
в кресло вкресленный,
с высоким окладом,
высок и гладок,
сидит
облеченный ответственный.
На нем
контрабандный подарок – жилет,
в кармане —
ручка на страже,
в другом
уголочком торчит билет
с длиннющим
подчищенным стажем.
Весь день —
сплошная работа уму.
На лбу —
непролазная дума:
кому
ему
устроить куму,
кому приспособить кума?
Он всюду

пристроил
мелкую сошку,
езде
у него
по лазутчику.
Он знает,
кому подставить ножку
и где
иметь заручку.
Каждый на месте:
невеста —
в тресте,
кум —
в Гум,
брат —
в наркомат.
Все шире периферия родных,
и
в ведомостичках узких
не вместишь
всех сортов наградных —
спецставки,
тантьемы,
нагрузки!
Он специалист,
но особого рода:
он
в слове
мистику стер.
Он понял буквально

«братство народов».
как счастье братьев,
тетя
и сестер.
Он думает:
как сократить ему штаты?
У Кэт
не глаза, а угли...
А может быть,
место
оставить для Наты?
У Наты формы округлей.
А там
в приемной —
сдержанный гул,
и воздух от дыма спирается.
Ответственный жмет плечью:
– Не могу!
Нормально...
Дела разбираются!
Зайдите еще
через день-другой... —
Но дней не дожидаться жданных.
Напрасно
проситель
согнулся дугой.
– Нельзя...
Не имеется данных! —
Пока поймет!
Обшаркав паркет,

порывшись в своих чемоданах,
проситель
кладет на суконце пакет
с листами
новейших данных.
Простился.
Ладонью пакет заслоня
– взрумянились щеки – пончики, —
со сладострастием,
пальцы слюня,
мерзавец
считает червончики.
А давший
по учрежденью орет,
от правильной гневности красен:
– Подать резолюцию! —
И в разворот
– во весь! —
на бумаге:
«Согласен»!
Ответственный
мчит
в какой-то подъезд.
Машину оставил
по праву.
Ответственный
ужин с любовницей ест
ответственный
хлещет «Абрау».
Любовницу щиплет,

весел и хитр.

– Вот это

подарочки Сонечке:

Вот это, Сонечка,

вам на духи.

Вот это

вам на кальсончики... —

Такому

в краже рабочих тыщ

для ширмы октябрьское зарево.

Он к нам пришел,

чтоб советскую нищ

на кабаки разбазаривать.

Я

белому

руку, пожалуй, дам,

пожму, не побрезгав ею.

Я лишь усмехнусь:

– А здорово вам

наши

намылили шею! —

Укравшему хлеб

не потребуешь кар.

Возможно

простить и убийце.

Быть может, больной,

сумасшедший угар

в душе

у него

клубится.

Но если
скравший
этот вот рубль
ладонью
ладонь мою тронет,
я, руку помыв,
кирпичом ототру
поганую кожу с ладони.
Мы белым
едва обломали рога;
хромает
пока что
одна нога, —
для нас,
полусытых и латочных,
страшней
и гаже
любого врага
взяточник.
Железный лозунг
партией дан.
Он нам
недешево дался!
Долой присосавшихся
к нашим
рядам
и тех,
кто к грошам
присосался!
Нам строиться надо

в гигантский рост,
но эти
обсели кассы.
Каленым железом
выжжет нарост
партия
и рабочие массы.

1926

В ПОВЕСТКУ ДНЯ

Ставка на вас,
комсомольцы-товарищи, —
на вас,
грядущее творящих!
Петь
заставьте
быт тарабарящий!
Расчистьте
квартирный ящик!
За десять лет —
устанешь бороться, —
расшатаны
— многие! —
тряской.
Заплыло
тиной
быта болотце,
покрылось
будничной ряской.
Мы так же
сердца наши
ревностью жжем —
и суд наш
по-старому скорый:
мы

часто
наганом
и финским ножом
решаем —
любовные споры.
Нет, взвидя,
что есть
любовная ржа,
что каши вдвоем
не сваришь, —
ты зубы стиснь
и, руку пожав,
скажи:
— Прощевай, товарищ! —
У скольких
мечта:
"Квартирку б внаем!
Свои сундуки
да клетки!
И угол мой
и хозяйство мое —
и мой
на стене
портретик".
Не наше счастье —
счастье вдвоем!
С классом
спаяйся четко!
Коммуна:
все, что мое, —

твое,
кроме —
зубных щеток.

И мы
по-прежнему,
если радостно,
по-прежнему,
если горе нам —

мы
топим горе в сорокаградусной
и празднуем
радость
трехгорным.

Питье
на песни б выменять нам.

Такую
сделай, хоть тресни!
Чтоб пенистой пива,
чтоб крепче вина
хватали
за душу
песни.

Гуляя,
работая,
к любимой льня, —
думай о коммуне,
быть или не быть ей?!
В порядок
этого

майского дня
поставьте
вопрос о быте.

1926

ПРОТЕКЦИЯ

Обывателиада в 3-х частях

1

Обыватель Михин —
друг дворничихин.
Дворник Службин
с Фелицией в дружбе.
У тети Фелиции
лицо в милиции.
Квартхоз милиции
Федор Овечко
имеет
в совете
нужного человечка.
Чин лица
не упомнишь никак:
главшвейцар
или помистопника.
А этому чину
домами знакома
мамаша
машинистки секретаря райкома.

У дочки ее
большушие связи:
друг во ВЦИКе
(шофер в автобазе!),
а Петров, говорят,
развозит мужчину,
о котором
все говорят шепоточком, —

маленького роста,
огромного чина.
Словом —
он...
Не решаюсь...
Точка.

2

Тихий Михин
пойдет к дворничихе.
"Прошу покорненько,
попросите дворника".
Дворник стукнется
к тетке заступнице.
Тетка Фелиция
шушукнет в милиции.
Квартхоз Овечко
замолвит словечко.
А главшвейцар —
Да Винчи с лица,

весь в бороде,
как картина в раме, —
прямо
пойдет
к машинисткиной маме.
Просьбу
дочь
передает огласке:
глазки да ласки,
ласки да глазки...
Кого не ловили на такую аферу?
Куда ж удержаться простаку-шоферу!
Петров подождет,
покамест,
как солнце,
персонье лицо расперсонится:
— Простите, товарищ,
извинений тысячка... —
И просит
и молит, ласковой лани.
И чин снисходит:
— Вот вам записочка. —
А в записке —
исполнение всех желаний.

3

А попробуй —
полазий
без родственных связей!

Покроют дворники
словом черненьким.
Обложит белолицая
тетя Фелиция.
Подвернется нога,
перервутся нервы
у взвидевших наган
и усы милиционеров.
В швейцарской судачат:
– И не лезь к совету
все на даче,
никого нету. —
И мама сама
и дитя-машинистка,
невинность блюдя,
не допустят близко.
А разных главных
неуловимо
шоферы
возят и возят мимо.
Не ухватишь —
скользкие, —
не люди, а налимь.
«Без доклада воспрещается».
Куда ни глянь,
"И пойдут они, солнцем палимы,
И застонут...".
Дело дрянь!
Кто бы ни были
сему виновниками

– сошка маленькая
или крупный кит, —
разорвем
сплетенную чиновниками
паутину кумовства,
протекций,
волокит.

1926

ЛЮБОВЬ

Мир
опять
цветами оброс,
у мира
весенний вид.
И вновь
встает
нерешенный вопрос —
о женщинах
и о любви.
Мы любим парад,
нарядную песню.
Говорим красиво,
выходя на митинг.
Но часто
под этим,
покрытый плесенью,
старенький-старенький бытик.
Поет на собрание:
«Вперед, товарищи...»
А дома,
забыв об арии сольной,
орет на жену,
что щи не в наваре
и что

огурцы
плоховато просолены.
Живет с другой —
киоск в ширину,
бельем —
шантанная дива.
Но тонким чулком
попрекает жену:
– Компрометируешь
пред коллективом. —
То лезут к любой,
была бы с ногами.
Пять баб
переменит
в течение суток.
У нас, мол,
свобода,
а не моногамия.
Долой мещанство
и предрассудок!
С цветка на цветок
молодым стрекозлом
порхает,
летает
и мечется.
Одноему
в мире
кажется злом —
это
алиментщица.

Он рад умереть,
экономя треть,
три года
судиться рад:
и я, мол, не я,
и она не моя,
и я вообще
кастрат.
А любят,
так будь
монашенкой верной —
тиранит
ревностью
всякий пустяк
и мерит
любовь
на калибр револьверный,
неверной
в затылок
пулю пуся.
Четвертый —
герой десятка сражений,
а так,
что любо-дорого,
бежит
в перепуге
от туфли жениной,
простой туфли Мосторга.
А другой
стрелу любви

иначе метит,
путает
– ребенок этакий —
уловленье
любимой
в романтические сети
с повышеньем
подчиненной по тарифной
сетке...

По женской линии
тоже вам не райские скинии.
Простенького паренька
подцепила
барынька.
Он работать,
а ее
не удержать никак —
бегает за клёшем
каждого бульварника.

Что ж,
сиди
и в плаче
Нилом нилься.

Ишь! —
Жених!

– Для кого ж я, милые, женился?
Для себя —
или для них? —
У родителей
и дети этакого сорта:

– Что родители?

И мы

не хуже, мол! —

Занимаются

любовью в виде спорта,

не успев

вписаться в комсомол.

И дальше,

к деревне,

быт без движенница —

живут, как и раньше,

из года в год.

Вот так же

замуж выходят

и женятся,

как покупают

рабочий скот.

Если будет

длиться так

за годом годик,

то,

скажу вам прямо,

не сумеет

разобрать

и брачный кодекс,

где отец и дочь,

который сын и мама.

Я не за семью.

В огне

и в дыме синем

выгори
и этого старья кусок,
где шипели
матери-гусыни
и детей
стерег
– отец-гусак!

Нет.

Но мы живем коммуной
плотно,
в общежитиях
грязнеет кожа тел.

Надо
голос

поднимать за чистоплотность
отношений наших
и любовных дел.

Не отвиливай —
мол, я не венчан.

Нас

не поп скрепляет тарабарящий.

Надо

обвязать

и жизнь мужчин и женщин
словом,

нас объединяющим:

«Товарищи».

ПОСЛАНИЕ ПРОЛЕТАРСКИМ ПОЭТАМ

Товарищи,
позвольте
без позы,
без маски —
как старший товарищ,
неглупый и чуткий,
поразговариваю с вами,
товарищ Безыменский,
товарищ Светлов,
товарищ Уткин.
Мы спорим,
аж глотки просят лужения,
мы
задыхаемся
от эстрадных побед,
а у меня к вам, товарищи,
деловое предложение:
давайте
устроим
веселый обед!
Расстелим внизу
комплименты ковровые,
если зуб на кого —

отпилим зуб;
розданные
Луначарским
венки лавровые —
сложим
в общий
товарищеский суп.
Решим,
что все
по-своему правы.
Каждый поет
по своему
голоску!
Разрежем
общую курицу славы
и каждому
выдадим
по равному куску.
Бросим
друг другу
шпильки подсовывать,
разведем
изысканный
словесный ажур.
А когда мне
товарищи
предоставят слово —
я это слово возьму
и скажу:
– Я кажусь вам

академиком
с большим задом,
один, мол, я
жрец
поэзий непролазных.

А мне
в действительности
единственное надо —
чтоб больше поэтов
хороших
и разных.

Многие
пользуются
напостовской тряскою,
с тем
чтоб себя
обозвать получше.
— Мы, мол, единственные,
мы пролетарские... —
А я, по-вашему, что —
валютчик?

Я
по существу
мастеровой, братцы,
не люблю я
этой
философии нудовой.
Засучу рукавчики:
работать?
драться?

Сделай одолжение,
а ну, давай!
Есть
перед нами
огромная работа —
каждому человеку
нужное стихачество.
Давайте работать
до седьмого пота
над поднятием количества,
над улучшением качества,
Я меряю
по коммуне
стихов сорта,
в коммуну
душа
потому влюблена,
что коммуна,
по-моему,
огромная высота,
что коммуна,
по-моему,
глубочайшая глубина.
А в поэзии
нет
ни друзей,
ни родных,
по протекции
не свяжешь
рифм лычки.

Оставим
распределение
орденов и наградных,
бросим, товарищи,
наклеивать ярлычки.
Не хочу
похвастать
мыслью новенькой,
но по-моему —
утверждаю без авторской спеси —
коммуна —
это место,
где исчезнут чиновники
и где будет
много
стихов и песен.
Стоит
изумиться
рифмочек парой нам —
мы
почитаем поэта гением.
Одного
называют
красным Байроном,
другого —
самым красным Гейнем.
Одного боюсь —
за вас и сам, —
чтоб не обмелели
наши души,

чтоб мы
не возвели
в коммунистический сан
плоскость раешников
и ерунду частушек.

Мы духом одно,
понимаете сами:
по линии сердца
нет раздела.

Если
вы не за нас,
а мы
не с вами,
то черта ль
нам
остается делать?

А если я
вас
когда-нибудь крою
и на вас
замахивается
перо-рука,
то я, как говорится,
добыл это кровью,
я
больше вашего
рифмы строгал.

Товарищи,
бросим
замашки торгашьи

— моя, мол, поэзия —
мой лабаз! —
всё, что я сделал,
все это ваше —
рифмы,
темы,
дикция,
бас!

Что может быть
капризной славы
и пепельней?
В гроб, что ли,
брать,
когда умру?
Наплевать мне, товарищи,
в высшей степени
на деньги,
на славу
и на прочую муру!
Чем нам
делить
поэтическую власть,
сгрудим
нежность слов
и слова-бичи,
и давайте
без завистей
и без фамилий
класть
в коммуну стройку

слова-кирпичи.
Давайте,
товарищи,
шагать в ногу.
Нам не надо
брюзжащего
лысого парика!
А ругаться захочется —
врагов много
по другую сторону
красных баррикад.

1926

ФАБРИКА БЮРОКРАТОВ

Его прислали
для проведения режима.
Средних способностей.
Средних лет.
В мыслях – планы.
В сердце – решимость.
В кармане – перо
и партбилет.
Ходит,
распоряжается энергичным жестом.
Видно —
занимается новая эра!
Сам совался в каждое место,
всех переглядел —
от зава до курьера.
Внимательный
к самым мельчайшим крохам,
вздувает
сердечный пыл...
Но бьются
слова,
как об стену горохом,
об —
канцелярские лбы.
А что канцелярии?

Внимает, мошенница!

Горите

хоть солнца ярче, —

она

уложит

весь пыл в отношеньица,

в анкетку

и в циркулярчик.

Бумажку

встречать

с отвращением нужно.

А лишь

увлечешься ею, —

то через день

голова заталмужена

в бумажную ахинею.

Перепишут все

и, канителью исходящей нитью,

на доклады

с папками идут:

– Подпишитесь тут!

Да тут вот подмахнитесь!..

И вот тут, пожалуйста!..

И тут!..

И тут!.. —

Пыл

в чернила уплыл

без следа.

Пред

в бумагу

всосался, как клещ...

Среда —

это

паршивая вещь!!

Глядел,

лицом

белее мела,

сквозь канцелярский мрак.

Катился пот,

перо скрипело,

рука свелась

и вновь корпела, —

но без конца

громадой белой

росла

гора бумаг.

Что угодно

подписью подляпает,

и не разберясь:

куда,

зачем,

кого?

Собственную

тетушку

назначит римской папою.

Сам себе

подпишет

смертный приговор.

Совести

партийной

слабенькие писки
заглушает
с днями
исходящий груз.
Раскусил чиновник
пафос переписки,
облизнулся,
въелся
и – вошел во вкус.
Где решимость?
планы?
и молодчество?
Собирает канцелярию,
загрибок мыля ей.
– Разузнать
немедля
имя – отчество!
Как
такому
посылать конверт
с одной фамилией??! —
И опять
несется
мелким лайцем:
– Это так-то службу мы несем?!
Написали просто
«прилагается»
и забыли написать
«при сем»! —
В течение дня

страну наводня
потопом
ненужной бумажности,
в машину
живот
уложит —
и вот
на дачу
стремится в важности.
Пользы от него,
что молока от черта,
что от пшенной каши —
золотой руды.
Лишь растут
подвалами
отчеты,
вознося
чернильные пуды.
Рой чиновников
с недели на день
аннулирует
октябрьский гром и лом,
и у многих
даже
проступают сзади
пуговицы
дофевральские
с орлом.
Поэт
всегда

и добр и галантен,
делиться выводом рад.

Во-первых:

из каждого
при известном таланте
может получиться
бюрократ.

Вывод второй
(из фельетонной водицы
вытекал не раз
и не сто):

коммунист не птица,
и незачем обзаводиться
ему
бумажным хвостом.

Третий:

поднять бы его за загривок
от бумажек,
разостланных низом,
чтоб бумажки,
подписанные
прямо и криво,
не заслоняли
ему
коммунизм.

ТОВАРИЦУ НЕТТЕ

пароходу и человеку

Я недаром вздрогнул.
Не загробный вздор.
В порт,
горящий,
как расплавленное лето,
разворачивался
и входил
товарищ "Теодор
Нетте".
Это – он.
Я узнаю его.
В блюдечках – очках спасательных кругов.
– Здравствуй, Нетте!
Как я рад, что ты живой
дымной жизнью труб,
канатов
и крюков.
Подойди сюда!
Тебе не мелко?
От Батума,
чай, котлами покипел...

Помнишь, Нетте, —
в бытность человеком
ты пивал чай
со мною в дипкупе?
Медлил ты.
Захрапывали сони.
Глаз
кося
в печати сургуча,
напролет
болтал о Ромке Якобсоне
и смешно потел,
стихи уча.
Засыпал к утру.
Курок
аж палец свел...
Суньтесе —
кому охота!
Думал ли,
что через год всего
встречусь я
с тобою —
с пароходом.
За кормой луница.
Ну и здорово!
Залегла,
просторы надвое порвав.
Будто навек
за собой
из битвы коридоровой

тянешь след героя,
светел и кровав.
В коммунизм из книжки
верят средне.
"Мало ли,
что можно
в книжке намолоть!"
А такое —
оживит внезапно «бредни»
и покажет
коммунизма
естество и плоть.
Мы живем,
зажатые
железной клятвой.
За нее —
на крест,
и пулею чешите:
это —
чтобы в мире
без России,
без Латвии,
жить единым
человечьим общежитьем.
В наших жилах —
кровь, а не водица.
Мы идем
сквозь револьверный лай,
чтобы,
умирая,

воплотиться
в пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела.

Мне бы жить и жить,
сквозь годы мчась.
Но в конце хочу —
других желаний нету —
встретить я хочу
мой смертный час
так,
как встретил смерть
товарищ Нетте.

15 июля 1926 г., Ялта

УЖАСАЮЩАЯ ФАМИЛЬЯРНОСТЬ

Куда бы
ты
ни направил разбег,
и как ни ерзай,
и где ногой ни ступи, —
есть Марксов проспект,
и улица Розы,
и Луначарского —
переулок или тупик.
Где я?
В Ялте или в Туле?
Я в Москве
или в Казани?
Разберешься?
– Черта в стуле!
Не езда, а – наказание.
Каждый дюйм
бытия земного
профамилиен
и разыменован.
В голове
от имен
такая каша!
Как общий котел пехотного полка.
Даже пса дворняжку

вместо

«Полкаша»

зовут:

«Собака имени Полкан».

"Крем Коллонтай.

Молодит и холит".

«Гребенки Мейерхольд».

"Мочала

а-ля Качалов".

"Гигиенические подтяжки

имени Семашки".

После этого

гуди во все моторы,

наизобретай идей мешок,

все равно —

про Мейерхольда будут спрашивать:

– "Который?

Это тот, который гребешок?"

Я

к великим

не суюсь в почетнейшие лики.

Я солдат

в шеренге миллиардной.

Но и я

взываю к вам

от всех великих:

– Милые,

не обращайтесь с ними фамильярно!

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИВЫЧКИ

Я
два месяца
шатался по природе,
чтоб посмотреть цветы
и звезд огнишки.
Таковых не видел.
Вся природа вроде
телефонной книжки.
Везде —
у скал,
на массивном грузе
Кавказа
и Крыма скалоликого,
на стенах уборных,
на небе,
на пузе
лошади Петра Великого,
от пыли дорожной
до гор,
где грозы
гремят,
грома потрясав, —
езде
отрывки стихов и прозы,
фамилии

и адреса.

"Здесь были Соня и Ваня Хайлов.

Семейство ело и отдыхало".

"Коля и Зина
соединили души".

Стрела

и сердце

в виде груши.

"Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Комсомолец Петр Парулайтис".

"Мусью Гога,
парикмахер из Таганрога".

На кипарисе,

стоящем века,

весь алфавит:

а б в г д е ж з к.

А у этого

от лазанья

талант иссяк.

Превыше орлиных зон

просто и мило:

"Исак

Лебензон".

Особенно

людей

винить не будем.

Таким нельзя

без фамилий и дат!

Всю жизнь канцелярствовали,

привыкли люди.

Они
и на скалу
глядят, как на мандат.
Такому,
глядящему
за чаем
с балконца
как солнце
садится в чаше,
ни восход,
ни закат,
а даже солнце —
входящее
и исходящее.

Эх!
Поставь меня
часок
на место Рыкова,
я б
к весне
декрет железный выковал:
"По фамилиям
на стволах и скалах
узнать
подписавшихся малых.
Каждому
в лапки
дать по тряпке.
За спину ведра —
и марш бодро!

Подписавшимся
и Колям
и Зинам
собственные имена
стирать бензином.
А чтоб энергия
не пропадала даром,
кстати и Ай-Петри
почистить скипидаром.
А кто
до того
к подписям привык,
что снова
к скале полез, —
у этого
навсегда
закрывается лик-
без".
Под декретом подпись
и росчерк броский —
Владимир Маяковский.

1926 Ялта, Симферополь, Гурзуф, Алупка

ХУЛИГАН

Республика наша в опасности.
В дверь
лезет
немыслимый зверь.
Морда матовым рыком гулка,
лапы —
в кулаках.
Безмозглый,
и две ноги для ляганий,
вот – портрет хулиганий.
Матроска в полоску,
словно леса.
Из этих лесов
глядят телеса.
Чтоб замаскировать рыло мандрилье,
шерсть
аккуратно
сбрил на рыле.
Хлопья пудры
(«Лебяжьего пуха!»),
бабочка-галстук
от уха до уха.
Души не имеется.
(Выдумка бар!)
В груди —

пивной
и водочный пар.
Обутые лодочкой
качает ноги водочкой.
Что ни шаг —
враг.
– Вдрызг фонарь,
враги – фонари.
Мне темно,
так никто не гори.
Враг – дверь,
враг – дом,
враг —
всяк,
живущий трудом.
Враг – читальня.
Враг – клуб.
Глупейте все,
если я глуп! —
Ремень в ручище,
и на нем
повисла гиря кистенем.
Взмахнет,
и гиря вертится, —
а ну —
попробуй встретиться!
По переулочкам – луна.
Идет одна.
Она юна.
– Хорошенькая!

(За косу.)

Обкрутимся без загсу! —

Никто не услышит,

напрасно орет

вонючей ладонью зажатый рот.

– Не нас контрапупят —

не наше дело!

Бежим, ребята,

чтоб нам не влетело! —

Луна

в испуге

за тучу пятится

от рваной груды

мяса и платьнца.

А в ближней пивной

веселье неистовое.

Парень

пиво глушит

и посвистывает.

Поймали парня.

Парня – в суд.

У защиты

словесный зуд:

– Конечно,

от парня

уйма вреда,

но кто виноват? —

Среда.

В нем

силу сдерживать

нет моготы.
Он – русский.
Он —
богатырь!
– Добрыня Никитич!
Будьте добры,
не трогайте этих Добрынь! —
Бантиком
губки
сложил подсудимый.
Прислушивается
к речи зудимой.
Сидит
смирней и краше,
чем сахарный барашек.
И припаяет судья
(сердобольно)
«4 месяца».
Довольно!
Разве
зверю,
который взбесится,
дают
на поправку
4 месяца?
Деревню – на сход!
Собери
и при ней
словами прожги парней!
Гуди,

и чтоб каждый завод гудел
об этой
последней беде.
А кто
словам не умилился,
тому
агитатор —
шашка милиции.
Решимость
и дисциплина,
пружинь
тело рабочих дружин!
Чтоб, если
возьмешь за воротник,
хулиган раскис и сник.
Когда
у больного
рука гниет —
не надо жалеть ее.
Пора
топором закона
отсечь
гнилые
дела и речь!

ХУЛИГАН

Ливень докладов.

Преете?

Прей!

А под клубом,
гармошкой избранные,
в клубах табачных
шипит «Левенбрей»,
в белой пене
прибоем
трехгорное...

Еле в стул вмещается парень.

Один кулак —
четыре кило.

Парень взвинчен.

Парень распарен.

Волос взъерошенный.

Нос лилов.

Мало парню такому доклада.

Парню —
слово душевное нужно.

Парню
силу выхлестнуть надо.

Парню надо...

– новую дюжину!

Парень выходит.

Как в бурю на катере.
Тесен фарватер.
Тело намокло.
Парнем разосланы
к чертовой матери
бабы,
деревья,
фонарные стекла.
Смотрит —
кому бы заехать в ухо?
Что башка не придумает дурья?!
Бомба
из безобразий и ухарств,
дурости,
пива
и бескультурья.
Так, сквозь песни о будущем рае,
только солнце спрячется, канув,
тянутся
к центру огней
от окраин
драка,
муть
и ругня хулиганов.
Надо
в упор им —
рабочьи дружины,
надо,
чтоб их
судом обломало,

в спорт
перелить
мускуля пружины, —
надо и надо,
но этого мало...
Суд не скрутит —
набрать имен
и раструбить
в молве многогласой,
чтоб на лбу горело клеймо:
«Выродок рабочего класса».
А главное – помнить,
что наше тело
дышит
не только тем, что скушано;
надо —
рабочей культуры дело
делать так,
чтоб не было скушно.

1926

РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ ДЕСАНТНЫХ СУДОВ: «СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН» И «КРАСНАЯ АБХАЗИЯ»

Перья-облака,
закат расканарейте!
Опускайся,
южной ночи гнет!
Пара
пароходов
говорит на рейде:
то один моргнет,
а то
другой моргнет.
Что сигналият?
Напрягаю я
морщины лба.
Красный раз...
угаснет,
и зеленый...
Может быть,
любовная мольба.
Может быть,
ревнует разозленный.

Может, просит:
«Красная Абхазия»!
Говорит
«Советский Дагестан».
Я устал,
один по морю лазая,
подойди сюда
и рядом стань. —
Но в ответ
коварная
она:
– Как-нибудь
один
живи и грейся.
Я
теперь
по мачты влюблена
в серый «Коминтерн»,
трехтрубный крейсер.
– Все вы,
бабы,
трясогузки и каналы...
Что ей крейсер,
дылда и пачкун? —
Поскулил
и снова засигналил!
– Кто-нибудь,
пришлите табачку!..
Скучно здесь,
нехорошо

и мокро.
Здесь
от скуки
отсыреет и броня... —
Дремлет мир,
на Черноморский округ
синь-слезищу
морем оброня.

1926

ПИСЬМО ПИСАТЕЛЯ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА МАЯКОВСКОГО ПИСАТЕЛЮ АЛЕКСЕЮ МАКСИМОВИЧУ ГОРЬКОМУ

Алексей Максимович,
как помню,
между нами
что-то вышло
вроде драки
или ссоры.
Я ушел,
блестя
потертыми штанами;
взяли Вас
международные рессоры.
Нынче —
иначе.
Сед височный блеск,
и взоры озаренной.
Я не лезу
ни с моралью,
ни в спасатели,

без иронии,
как писатель
говорю с писателем.
Очень жалко мне, товарищ Горький,
что не видно
Вас
на стройке наших дней.
Думаете —
с Капри,
с горки
Вам видней?
Вы
и Луначарский —
похвалы повальные,
добряки,
а пишущий
бесстыж —
тычет
целый день
свои
похвальные
листы.
Что годится,
чем гордиться?
Продают «Цемент»
со всех лотков.
Вы
такую книгу, что ли, цените?
Нет нигде цемента,
а Гладков

написал
благодарственный молебен о цементе.
Затыкаешь ноздри,
нос наморщишь
и идешь
верстой болотца длинненького.
Кстати,
говорят,
что Вы открыли мощи
этого...
Калинникова.
Мало знать
чистописаниев ремесла,
расписать закат
или цветенье редьки.
Вот
когда
к ребру душа примерзла,
ты
ее попробуй отогреть-ка!
Жизнь стиха —
тоже тиха.
Что горенья?
Даже
нет и тленья
в их стихе
холодном
и лядащем.
Все
входящие

срифмуют впечатления
и печатают
в журнале
в исходящем.

А рядом
молотобойцев
анапестам
учит
профессор Шенгели.

Тут
не поймете просто-напросто,
в гимназии вы,
в шинке ли?

Алексей Максимович,
у Вас
в Италии
Вы

когда-нибудь
подобное
видали?

Приспособленность
и ласковость дворовой,
деятельность
блюдо-рубле – и тому подобных «лиз»
называют многие

– "здоровый
реализм". —
И мы реалисты,
но не на подножном
корму,

не с мордой, упершейся вниз, —
мы в новом,
грядущем быту,
помноженном
на электричество
и коммунизм.

Одни мы,
как ни хвалите халтуры,
но, годы на спины грузя,
тащим
историю литературы —
лишь мы
и наши друзья.

Мы не ласкаем
ни глаза,
ни слуха.

Мы —
это Леф,
без истерики —

мы
по чертежам
деловито
и сухо
строим
завтрашний мир.

Друзья —
поэты рабочего класса.

Их знание
невелико,
но врезал

инстинкт
в оркестр разногласый
буквы
грядущих веков.
Горько
думать им
о Горьком-эмигранте.
Оправдайтесь,
гряньте!
Я знаю —
Вас ценит
и власть
и партия,
Вам дали б все —
от любви
до квартир.
Прозаики
сели
пред Вами
на парте б:
– Учи!
Верти! —
Или жить вам,
как живет Шаляпин,
раздушенными аплодисментами оляпан?
Вернись
теперь
такой артист
назад
на русские рублики —

я первый крикну:
– Обратно катись,
народный артист Республики! —
Алексей Максимыч,
из-за Ваших стекол
виден
Вам
еще
парящий сокол?
Или
с Вами
начали дружить
по саду
ползущие ужи?
Говорили
(объясненья ходкие!),
будто
Вы
не едете из-за чахотки.
И Вы
в Европе,
где каждый из граждан
смердит покоем,
жратвой,
валютей!
Не чище ль
наш воздух,
разреженный дважды
грозою
двух революций!

Бросить Республику
с думами,
с бунтами,
лысинку
южной зарей озарив, —
разве не лучше,
как Феликс Эдмундович,
сердце
отдать
временам на разрыв.
Здесь
дела по горло,
рукав по локти,
знамена неба
алы,
и соколы —
сталь в моторном клетоте —
глядят,
чтоб не лезли орлы.
Делами,
кровью,
строкою вот этую,
нигде
не бывшею в найме, —
я славлю
взвитое красной ракетой
Октябрьское,
руганное
и пропетое,
пробитое пулями знамя!

1926

ДОЛГ УКРАИНЕ

Знаете ли вы
украинскую ночь?
Нет,
вы не знаете украинской ночи!
Здесь
небо
от дыма
становится черно,
и герб
звездой пятиконечной вточен.
Где горилкой,
удалью
и кровью
Запорожская
бурлила Сечь,
проводов уздой
смирив Днепровьє,
Днепр
заставят
на турбины течь.
И Днипро
по проволокам-усам
электричеством
течет по корпусам.
Небось, рафинада

и Гоголю надо!

Мы знаем,
курит ли,
пьет ли Чаплин;
мы знаем
Италии безрукие руины;
мы знаем,
как Дугласа
галстух краплен...
А что мы знаем
о лице Украины?
Знаний груз
у русского
тощ —
тем, кто рядом,
почета мало.
Знают вот
украинский борщ,
знают вот
украинское сало.
И с культуры
поснимали пенку:
кроме
двух
прославленных Тарасов —
Бульбы
и известного Шевченка, —
ничего не выжмешь,
сколько ни старайся.

А если прижмут —
зардеется розой
и выдвинет
аргумент новый:
возьмет и расскажет
пару курьезов —
анекдотов
украинской мовы.
Говорю себе:
товарищ москаль,
на Украину
шуток не скаль.
Разучите
эту мову
на знаменах —
лексиконах алых, —
эта мова
величава и проста:
"Чуешь, сурмы заграли,
час расплаты настав..."
Разве может быть
затрепанней
да тише
слова
поистасканного
«Слышишь»?!
Я
немало слов придумал вам,
взвешивая их,
одно хочу лишь, —

чтобы стали
всех
моих
стихов слова
полновесными,
как слово «чуешь».

Трудно
людей
в одно истолочь,
собой
кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет,
мы не знаем украинской ночи.

1926

ОКТАБРЬ

1917 – 1926

Если
стих
сердечный раж,
если
в сердце
задор смолк,
голосами его будоражь
комсомольцев
и комсомолок.
Дней шоферы
и кучера
гонят
пулей
время свое,
а как будто
лишь вчера
были
бури
этих боев.
В шинелях,
в поддевках идут...

Весть:

«Победа!»

За Смольный порог.

Там Ильич и речь,

а тут

пулеметный говорок.

Мир

другими людьми оброс;

пионеры

лет десяти

задают про Октябрь вопрос,

как про дело

глубоких седин.

Вырастает

времени мол,

день-волна,

не в силах противиться;

в смоль – усы

оброс комсомол,

из юнцов

перерос в партийцев.

И партийцы

в годах борьбы

против всех

буржуазных лис

натрудили

себе

горбы,

многий

стал

и взросл
и лыс.
А у стен,
с Кремля под уклон,
спят вожди
от трудов,
от ран.
Лишь колышет
камни
поклон
ото ста
подневольных стран.
На стене
пропылен
и нем
календарь как календарь,
но в сегодняшнем
красном дне
воскресает
годов легендарь.
Будет знамя,
а не хоругвь,
будут
пули свистеть над ним,
и «Вставай, проклятьем...»
в хору
будет бой
и марш,
а не гимн.
Век промчится

в седой бороде,
но и десять
пройдет хотя б,
мы
не можем
не молодеть,
выходя
на праздник – Октябрь.
Чтоб не стих
сердечный раж,
не дряхлел,
не стыл
и не смолк,
голосами
его
будоражь
комсомольцев
и комсомолок.

1926

НЕ ЮБИЛЕЙТЕ!

Мне б хотелось
про Октябрь сказать,
не в колокол названивая,
не словами,
украшающими
тепленький уют, —
дать бы
революции
такие же названия,
как любимым
в первый день дают!
Но разве
уместно
слово такое?
Но разве
настали
дни для покоя?
Кто галоши приобрел,
кто зонтик;
радуется обыватель:
«Небо голубо...»
Нет,
в такую ерунду
не рассказывайте
боевую

революцию – любовь.
В сотне улиц
сегодня
на вас,
на меня
упадут огнем знамена.
Будут глотки греметь,
за кордоны катя
огневые слова про Октябрь.

Белой гвардии
для меня
белей
имя мертвое: юбилей.
Юбилей – это пепел,
песок и дым;
юбилей —
это радость седым;
юбилей —
это край
кладбищенских ям;
это речи
и фимиам;
остановка предсмертная,
вздохи,
елей —
вот что лезет
из букв
«ю-б-и-л-е-й».
А для нас

юбилей —
ремонт в пути,
постоял —
и дальше гуди.
Остановка для вас,
для вас
юбилей —
а для нас
подсчет рублей.
Сбереженный рубль —
сбереженный заряд,
поражающий вражеский ряд.
Остановка для вас,
для вас
юбилей —
а для нас —
это сплавы лей.
Разобьет
врага
электрический ход
лучше пушек
и лучше пехот.
Юбилей!
А для нас —
подсчет работ,
перемеренный литрами пот.
Знаем:
в графиках
довоенных норм
коммунизма одежда и корм.

Не горой, товарищ,
что бой измельчал:
— Глаз на мелочь! —
приказ Ильича.

Надо
в каждой пылинке
будить уметь
большевистского пафоса медь.
Зорче глаз крестьянина и рабочего,
и минуту
не будь рассеянной!

Будет:
под ногами
заколеблется почва
почище японских землетрясений.

Молчит
перед боем,
топки глуша,
Англия бастующих шахт.

Пусть
китайский язык
мудрен и велик, —
знает каждый и так,
что Кантон
тот же бой ведет,
что в Октябрь вели
наш
рязанский
Иван да Антон.
И в сердце Союза

война.
И даже
киты батарей
и полки.
Воры
с дураками
засели в блиндажи
растрат
и волокит.
И каждая вывеска:
— рабкооп —
коммунизма тяжелый окоп.
Война в отчетах,
в газетных листах —
рассчитывай,
режь и крой.
Не наша ли кровь
продолжает хлестать
из красных чернил РКИ?!
И как ни тушили огонь —
нас трое!
Мы
трое
охапки в огонь кидаем:
растет революция
в огнях Волховстроя,
в молчании Лондона,
в пулях Китая.
Нам
девятый Октябрь —

не покой,
не причал.
Сквозь десятки таких девяти
мозг живой,
живая мысль Ильича,
нас
к последней победе веди!

1926

СТОЯЩИМ НА ПОСТУ

Жандармы вселенной,
вылоснив лица,
стоят над рабочим:
– Эй,
не бастуй! —
А здесь
трудящихся щит —
милиция
стоит
на своем
бессменном посту.
Пока
за нашим
октябрьским гулом
и в странах
в других
не грянет такой, —
стой,
береги своим караулом
копейку рабочую,
дом и покой.
Пока
Волховстроев яркая речь
не победит
темноту нищеты,

нутро республики
вам беречь —
рабочих
домов и людей
щиты.

Храня республику,
от людей до иголок,
без устали стой
и без лени,
пока не исчезнут
богатство и голод —
поставщики преступлений.

Враг – хитер!

Смотрите в оба!

Его не сломишь,
если сам лоботряс.

Помни, товарищ, —
нужна учеба
всем,

защищающим рабочий класс!

Голой рукой

не взять врага нам,
на каждом участке
преследуй их.

Знай, товарищ,
и стрельбу из нагана,
и книгу Ленина,
и наш стих.

Слаба дисциплина – петлю накинута.
Бандит и белый

живут в ладах.
Товарищ,
тверже крепи дисциплину
в милиционерских рядах!
Иной
хулигану
так
даже рад, —
выйдет
этакий
драчун и голосило:
– Ничего, мол,
выпимши —
свой брат —
богатырская
русская сила. —
А ты качнешься
(от пива частого),
у целой улицы нос заалел:
– Ежели,
мол,
безобразит начальство,
то нам,
разумеется,
и бог велел! —
Сорвут работу
глупым ляганьем
пивного чада
бузящие чады.
Лозунг твой:

– Хулиганам
нет пощады! —
Иной рассуждает,
морща лоб:
– Что цапать
маленьких воришек?
Ловить вора,
да такого,
чтоб
об нем
говорили в Париже! —
Если выудят
миллион
из кассы скряжьей,
новый
с рабочих
сдерет задарма.
На мелочь глаз!
На мелкие кражи,
потрошащие
тощий
рабочий карман!
В нашей республике
свет не равен:
чем дальше от центра —
тем глубже ночи.
Милиционер,
в темноту окраин
глаз вонзай
острей и зорче!

Пока
за нашим
октябрьским гулом
и в странах других
не пройдет такой —
стой,
береги своим караулом
копейки,
людей,
дома
и покой.

1926

О ТОМ, КАК НЕКОТОРЫЕ ВТИРАЮТ ОЧКИ ТОВАРИЩАМ, ИМЕЮЩИМ ЦИКОВСКИЕ ЗНАЧКИ

1

Двое.

В петлицах краснеют флажки.

К дверям учрежденья направляют
шажки...

Душой – херувим,
ангел с лица,

дверь
перед ними
открыл швейцар.

Не сняв улыбки с прелестного ротика,
ботики снял
и пылинки с ботишков.

Дескать:

– Любой идет пускай:
ни имя не спросим,
ни пропуска! —

И рот не успели открыть,
а справа
принес секретарь
полдюжины справок,
И рта закрыть не успели,
а слева
несет резолюцию
какая-то дева...
Очередь?
Где?
Какая очередь?
Очередь —
воробьиного носа короче.
Ни чином своим не гордись,
ни окладом —
принял
обоих
зав
без доклада...
Идут обратно —
весь аппарат,
как брат
любимому брату, рад...
И даже
котенок,
сидящий на папке,
с приветом
поднял
передние лапки.
Идут, улыбаясь,

хвалить не ленятся:
– Рай земной,
а не учрежденьице! —
Ушли.
У зава
восторг на физии:
– Ура!
Пронесло.
Не будет ревизии!..

2

Назавтра,
дома оставив флажки,
двое
опять направляют шажки.
Швейцар
сквозь щель
горделиво лается:
– Ишь, шпана.
А тоже – шляется!.. —
С черного хода
дверь узка.
Орет какой-то:
– Предъявь пропуска! —
А очередь!
Мерь километром.
Куда!
Раз шесть
окружила дом,

как удав.
Секретарь,
величественней Сухаревой башни,
вдали
телефонит знакомой барышне...
Вчерашняя дева
в ответ на вопрос
сидит
и пудрит
веснушчатый нос...
У заовской двери
драконом-гадом
некто шипит:
– Нельзя без доклада! —
Двое сидят,
ковыряют в носу...
И только
уже в четвертом часу
закрыли дверь
и орут из-за дверок:

– Приходите
после дождика в четверг! —
У кошки —
и то тигрячий вид:
когти
вцарапать в глаза норовит...
В раздумье
оба
обратно катятся:

— За день всего —
и так обююкратиться?! —
А в щель
гардероб
вдогонку брошен:
на двух человек
полторы галоши.

Нету места сомнениям шатким.
Чтоб не пасса
бююкрат
коровой на лужку,
надо
или бююкратам
дать по шапке,
или
каждому гражданину
дать по флажку!

НАШЕ НОВОГОДИЕ

«Новый год!»
Для других это просто:
о стакан
стаканом бряк!
А для нас
новогодие —
подступ
к празднованию
Октября.
Мы
лета
исчисляем снова —
не христовый считаем род.
Мы
не знаем «двадцать седьмого»,
мы
десятый приветствуем год.
Наших дней
значенью
и смыслу
подвести итоги пора.
Серых дней
обыденные числа,
на десятый
стройтесь

парад!
Скоро
всем
нам
счет предъявят:
дни свои
ерундой не мельча,
кто
и как
в обыденной яви
воплотил
слова Ильича?
Что в селе?
Навоз
и скрипучий воз?

Свод небесный
коркою вычерствел?
Есть ли там
уже
миллионы звезд,
расцветающие в электричестве?
Не купая
в прошедшем взора,
не питаясь
зрелищем древним,
кто и нынче
послал ревизоров
по советским
Марьям Андреевнам?

Нам
коммуна
не словом крепка и любя
(сдашь без хлеба,
как ни крепися!).
У крестьян
уже
готовы хлеба
всем,
кто переписью переписан?
Дайте крепкий стих
годочков этак на сто,
чтоб не таял стих,
как дым клубимый,
чтоб стихом таким
звенеть
и хвастать
перед временем,
перед республикой,
перед любимой.
Пусть гремят
барабаны поступи
от земли
к голубому своду.
Занимайте дни эти —
подступы
к нашему десятому году!
Парад
из края в край растянем.
Все,

в любой работе
и чине,
рабочие и драмщики,
стихачи и крестьяне,
готовьтесь
к десятой годовщине!
Все, что красит
и радует,
все —
и слова,
и восторг,
и погоду —
все
к десятому припасем,
к наступающему году.

1926

СТАБИЛИЗАЦИЯ БЫТА

После боев
и голодных пыток
отрос на животике солидный жирок.
Жирок заливает щелочки быта
и застывает,
тих и широк.
Люблю Кузнецкий
(простите грешного!),
потом Петровку,
потом Столешников;
по ним
в году
раз сто или двести я
хожу из «Известий»
и в «Известия».
С восторга бросив подсолнухи лузгать,
восторженно подняв бровки,
читает работница:
"Готовые блузки.
Последний крик Петровки".
Не зря и Кузнецкий похож на зарю, —
прижав к замерзшей витрине ноздрю,
две дамы расплылись в стончике:
«Ах, какие фестончики!»
А рядом,

учли обывательню натуру, —
портрет
кого-то безусого;
отбирайте гения
для любого гарнитура, —
все
от Казина до Брюсова.
В магазинах —
ноты для широких масс.
Пойте, рабочие и крестьяне,
последний
сердцещипательный романс
«А сердце-то в партию тянет!»
В окне гражданин,
устав от ношения
портфелей,
сложивши папки,
жене,
приятной во всех отношениях,
выбирает
«глазки да лапки».
Перед плакатом «Медвежья свадьба»
нэпачка сияет в неге:
— И мне с таким медведем
поспать бы!
Погрызи меня,
душка Эггерт. —
Сияющий дом,
в костюмах,
в белье, —

радуйся,
растратчик и мот.
"Ателье
мод".
На фоне голосов стою,
стою
и философствую.
Свежим ветерочком в республику
вея,
звездой сияя из мрака,
товарищ Гольцман
из «Москвошвея»
обещает
«эпоху фрака».

Но,
от смокингов и фраков оберегая охотников
(не попался на буржуазную удочку!),
восхваляет
комсомолец
товарищ Сотников
толстовку
и брючки «дудочку».
Фрак
или рубахи синие?
Неувязка парт– и советской линии.
Меня
удивляют их слова.
Бьет разнобой в глаза.
Вопрос этот

надо
согласовать
и, разумеется,
увязать.
Предлагаю,
чтоб эта идейная драка
не длилась бессмысленно далее,
пришивать
к толстовкам
фалды от фрака
и носить
лакированные сандалии.
А чтоб цилиндр заменила кепка,
накрахмаливать кепку крепко.
Грязня сердца
и масля бумагу,
подминая
Москву
под копыта,
волокут
опять
колымагу
дореволюционного быта.
Зуди
издевкой,
стих хмурый,
вразрез
с обывательским хором:
в делах
идеи,

быта,
культуры —
поменьше
довоенных норм!

1927

БУМАЖНЫЕ УЖАСЫ

(Ощущения Владимира Маяковского)

Если б
в пальцах
держал
земли бразды я,
я бы
землю остановил на минуту:
– Внемли!
Слышишь,
перья скрипят
механические и простые,
как будто
зубы скрипят у земли? —
Человечья гордость,
смирись и улягся!
Человеки эти —
на кой они лях!
Человек
постепенно
становится кляксой
на огромных
важных

бумажных полях.

По каморкам

ютятся

людские тени.

Человеку —

сажень.

А бумажке?

Лафа!

Живет бумажка

во дворцах учреждений,

разлеглась на столах,

кейфует в шкафах.

Вырастает хвост

на сукно

в магазине,

без галош нога,

без перчаток лапа.

А бумагам?

Корзина лежит на корзине,

и для тела «дел» —

миллионы папок.

У вас

на езд

червонцы есть ли?

Вы были в Мадриде?

Не были там!

А этим

бумажкам,

чтоб плыли

и ездили,

еще
возносят
новый почтамп!
Стали
ножки-клипсы
у бывших сильных,
заменяли
инструкции
силу ума.
Люди
медленно
сходят
на должность посыльных,
в услужении
у хозяев – бумаг.
Бумажищи
в портфель
умещаются еле,
белозубую
обнажают кайму.
Скоро
люди
на жительство
влезут в портфели,
а бумаги —
наши квартиры займут.
Вижу
в будущем —
не вымыслы мои:
рупоры бумаг

орут об этом громко нам —
будет
за столом
бумага
пить чай,
человечек
под столом
валяться скомканным.
Бунтом встать бы,
развить огневые флаги,
рвать зубами бумагу б,
ядрами б выть...
Пролетарий,
и дюйм
ненужной бумаги,
как врага своего,
вконец ненавидь.

1927

НАШЕМУ ЮНОШЕСТВУ

На сотни эстрад бросает меня,
на тысячу глаз молодежи.
Как разны земли моей племена,
и разен язык
и одежды!
Насилу,
пот стирая с виска,
сквозь горло тоннеля узкого
пролез.
И, глуша прощаньем свистка,
рванулся
курьерский
с Курского!
Заводы.
Березы от леса до хат
бегут,
листочками вороча,
и чист,
как будто слушаешь МХАТ,
московский говорочек.
Из-за горизонтов,
лесами сломанных,
толпа надвигается
мазанок.
Цветисты бочка

из-под крыш соломенных,
окрашенные разно.
Стихов навезите целый мешок,
с таланта
можете лопаться —
в ответ
снисходительно cedят смешок
уста
украинца-хлопца.
Пространства бегут,
с хвоста нарастав,
их жарит
солнце-кухарка.
И поезд
уже
бежит на Ростов,
далеко за дымный Харьков.
Поля —
на мильоны хлебных тонн —
как будто
их гладят рубанки,
а в хлебной охре
серебряный Дон
блестит
позументом кубанки.
Ревем паровозом до хрипоты,
и вот
началось кавказское —
то головы сахара высят хребты,
то в солнце —

пожарной каскою.

Лечу

ущельями, свист приглушив.

Снегов и папах седины.

Сжимая кинжалы, стоят ингуши,

следят

из седла

осетины.

Верх

гор —

лед,

низ

жар

пьет,

и солнце льет йод.

Тифлисцев

узнаешь и метров за сто:

гуляют часами жаркими,

в моднейших шляпах,

в ботинках носастых,

этакими парижакими.

По-своему

всякий

зубрит азы,

аж цифры по-своему снятся им.

У каждого третьего —

свой язык

и собственная нация.

Однажды,

забросив в гостиницу хлам,

забыл,
где я ночую.

Я

адрес
по-русски
спросил у хохла,
хохол отвечал:

– Нэ чую. —

Когда ж переходят
к научной теме,

им

рамки русского
узки;

с Тифлисской

Казанская академия
переписывается по-французски.

И я

Париж люблю сверх мер
(красивы бульвары ночью!).

Ну, мало ли что —

Бодлер,

Маларме

и эдакое прочее!

Но нам ли,

шагавшим в огне и воде
годами

борьбой прожженными,
растить

на смену себе

бульвардые

французистыми пижонами!
Используй,
кто был безъязык и гол,
свободу Советской власти.
Ищите свой корень
и свой глагол,
во тьму филологии влазьте.
Смотрите на жизнь
без очков и шор,
глазами жадными цапайте
все то,
что у вашей земли хорошо
и что хорошо на Западе.
Но нету места
злобы мазку,
не мажьте красные души!
Товарищи юноши,
взгляд – на Москву,
на русский вострите уши!
Да будь я
и негром преклонных годов
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.
Когда
Октябрь орудийных бурь
по улицам

кровью лился,
я знаю,
в Москве решали судьбу
и Киевов
и Тифлисов.
Москва
для нас
не державный аркан,
ведущий земли за нами,
Москва
не как русскому мне дорога,
а как огневое знамя!
Три
разных истока
во мне
речевых.
Я
не из кацапов-разинь.
Я —
дедом казак, другим —
сечевик,
а по рожденью
грузин.
Три
разных капли
в себе совмещав,
беру я
право вот это —
покрыть
всесоюзных совмещан.

И ваших
и русопетов.

1927

ПО ГОРОДАМ СОЮЗА

Россия – все:
и коммуна,
и волки,
и давка столиц,
и пустырьная ширь,
стоводная удадь безудержной Волги,
обдорская темь
и сиянье Кашир.
Лед за пристанью за ближней,
оковала Волга рот,
это красный,
это Нижний,
это зимний Новгород.
По первой реке в российском сторечье
скользим...
цепенеем...
зацапаны ветром...
А за волжским доисторичьем
кресты да тресты,
да разные «центро».
Сумятица торга кипит и клокочет,
клочки разговоров
и дымные клочья,
а к ночи
не бросится говор,

не скрипнут полозья,
столетняя зелень зигзагов Кремля,
да под луной,
разметавшей волосья,
замерзающая земля.
Огромная площадь;
прорезав вкривь ее,
неслышную поступь дикарских лап
сквозь северную Скифию
я направляю
в местный ВАПП.
За версты,
за сотни,
за тыщи,
за массу
за это время заедешь, мчась,
а мы
ползли и ползли к Арзамасу
со скоростью верст четырнадцать в час.
Напротив
сели два мужичины:
красные бороды,
серые рожи.
Презрительно буркнул торговый мужчина:
— Сережи! —
Один из Сережей
полез в карман,
достал пироги,
запахнул одежду
и всю дорогу жевал корма,

ленивые фразы цедя промежду.
– Конешно...
и к Петрову...
и в Покров...
за то и за это пожалте процент...
а толку нет...
не дорога, а кровь...
с телегой тони, как ведро в колодце...
На што мой конь – крепыш,
аж и он
сломап по яме ногу...
Раз ты
правительство,
ты и должон
чинить на всех дорогах мосты. —
Тогда
на него
второй из Серез
прищурил глаз, в морщины оправленный.
– Налог-то ругашь,
а пирог-то жрешь... —
И первый Сереза ответил:
– Правильно!
Получше двадцатого,
что толковать,
не голодаем,
едим пироги.
Мука, дай бог...
хороша такова...
Но што насчет лошажьей ноги...

взыскали процент,
а мост не пролежать... —
Баючит езда дребезжаньем звонким.
Сквозь дрему
все время
про мост и про лошадь
до станции с названьем «Зименки».
На каждом доме
советский вензель
зовет,
сияет,
режет глаза.
А под вензелями
в старенькой Пензе
старушьям шепотом дышит базар.
Перед нэпачкой баба седа
отторговывает копеек тридцать.
— Купите платочек!
У нас
завсегда
заказывала
сама царица... —
Морозным днем отмелькала Самара,
за ней
начались азиаты.
Верблюдина
сено
провозит, замаран,
в упряжку лошажью взятый.
Университет —

горделивость Казани,
и стены его
и доныне
хранят
любовнейшее воспоминание
о великом своем гражданине.
Далеко
за годы
мысль катя,
за лекции университета,
он думал про битвы
и красный Октябрь,
идя по лестнице этой.
Смотрю в затихший и замерший зал:
здесь
каждые десять на сто
его повадкой щурят глаза
и так же, как он,
скуласты.
И смерти
коснуться его
не посметь,
стоит
у грядущего в смете!
Внимают
юноши
строфам про смерть,
а сердцем слышат:
бессмертье.
Вчерашний день

убог и низмен,
старья
премного осталось,
но сердце класса
горит в коммунизме,
и класса грудь
не разбить о старость.

1927

МОЯ РЕЧЬ НА ПОКАЗАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО СЛУЧАЮ ВОЗМОЖНОГО СКАНДАЛА С ЛЕКЦИЯМИ ПРОФЕССОРА ШЕНГЕЛИ

Я тру
ежедневно
взморщенный лоб
в раздумье
о нашей касте,
и я не знаю:
поэт —
поп,
поп или мастер.
Вокруг меня
толпа малышей, —
едва вкусившие славы,
а волос
уже
отрастили до шей
и голос имеют гнусавый.
И, образ подняв,
выходят когда

на толстожурнальный амвон,
я,
каюсь,
во храме
рвусь на скандал,
и крикнуть хочется:
— Вон! —
А вызовут в суд, —
убежденно гудя,
скажу:
— Товарищ судья!
Как знамя,
башку
держу высоко,
ни дух не дрожит,
ни коленки,
хоть я и слышал
про суровый
закон
от самого
от Крыленки.
Законы
не знают переодевания,
а без
преувеличенности,
хулиганство —
это
озорные деяния,
связанные
с неуважением к личности.

Я знаю
любого закона лютей,
что личность
уважить надо,
ведь масса —
это
много людей,
но масса баранов —
стадо.
Не зря
эту личность
рожает класс,
лелеет
до нужного часа,
и двинет,
и в сердце вложит наказ:
"Иди,
твори,
отличайся!"
Идет
и горит
докрасна,
добела...
Да что городить околичность!
Я,
если бы личность у них была,
влюбился б в ихнюю личность.
Но где ж их лицо?
Осмотрите в момент —
без плюсов,

без минусов.

Дыра!

Принудительный ассортимент

из глаз,

ушей

и носов!

Я зубы на этом деле сжевал,

я знаю, кому они копия.

В их песнях

поповская служба жива,

они —

зарифмованный опиум.

Для вас

вопрос поэзии —

нов,

но эти,

видите,

молятся.

Задача их —

выделка дьяконов

из лучших комсомольцев.

Скрывает

ученейший их богослов

в туман вдохновения радугу слов,

как чаши

скрывают

церковные.

А я

раскрываю

мое ремесло,

как радость,
мастером кованную.
И я,
вскипя
с позора с того,
ругнулся
и плюнул, уйдя.
Но ругань моя —
не озорство,
а долг,
товарищ судья. —
Я сел,
разбивши
доводы глиняные.
И вот
объявляется приговор,
так сказать,
от самого Калинина,
от самого
товарища Рыкова.
Судьей,
расцветшим розой в саду,
объявлено
тоном парадным:
– Маяковского
по суду
считать
безусловно оправданным!

«ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?»

Слух идет
бессмысленен и гадок,
трется в уши
и сердце ежит.
Говорят,
что воли упадок
у нашей
у молодежи.
Говорят,
что иной братишка,
заработавший орден,
ныне
про вкусноты забывший ротишко
под витриной
кривит в унынье.
Что голодным вам
на зависть
окна лавок в бутылочном тыне,
и едят нэпачи и завы
в декабре
арбузы и дыни.
Слух идет
о грозном сраме,
что лишь радость
развоскресенена,

комсомольцы
лейб-гусарами
пьют
да ноют под стих Есенина.
И доносится до нас
сквозь губы искривленную прорезь:
"Революция не удалась...
За что боролись?.."
И свои 18 лет
под наган подставят —
и нет,
или горло
впетлят в коски.
И горюю я,
как поэт,
и ругаюсь,
как Маяковский.
Я тебе
не стихи ору,
рифмы в этих делах
ни при чем;
дай
как другу
пару рук
положить
на твое плечо.
Знал и я,
что значит «не есть»,
по бульварам валялся когда, —
понял я,

что великая честь
за слова свои
голодать.

Из-под локона,
кепкой завитого,
вскинь глаза,
не грусти и не злись.

Разве есть
чему завидовать,
если видишь вот эту слизь?
Будто рыбы на берегу —
с прежним плаваньем
трудно расстаться им.

То царев горшок берегут,
то
обломанный шкаф с инкрустациями.

Вы – владыки
их душ и тела,
с вашей воли
встречают восход.

Это —
очень плевое дело,
если б
революция захотела
со счетов особых отделов
эту мелочь
списать в расход.

Но, рядясь
в любезность наносную,
мы —

взамен забытой Чеки
кормим дыней и ананасною,
ихних жен
одеваем в чулки.
И они
за все за это,
что чулки,
что плачено дорого,
строят нам
дома и клозеты
и бойцов
обучают торгу.
Что ж,
без этого и нельзя!
Сменим их,
гранит догрызя.
Или
наша воля обломалась
о сегодняшнюю
деловую малость?
Нас
дело
должно
пронизать насквозь,
скуленье на мелочность
высмей.
Сейчас
коммуне
ценен гвоздь,
как тезисы о коммунизме.

Над пивом
нашим юношам ли
склонять
свои мысли ракитовые?
Нам
пить
в грядущем
все соки земли,
как чашу
мир запрокидывая.

1927

«ДАЕШЬ ИЗЯЧНУЮ ЖИЗНЬ»

Даже
мерин сивый
желает
жизни изящной
и красивой.
Вертит
игриво
хвостом и гривой.
Вертит всегда,
но особо пылко —
если
навстречу
особа-кобылка.
Еще грациозней,
еще капризней
стремится человечество
к изящной жизни.
У каждого класса
свое понятие,
особые обычаи,
особое платье.
Рабочей рукою
старое выжми —
посыплются фракы,
полюются фижмы.

Царь
безмятежно
в могилке спит...
Сбит Милюков,
Керенский сбит...
Но в быту
походкой рачьей
пятятся многие
к жизни фрачьей.
Отверзаю
поэтические уста,
чтоб описать
такого хлюста.
Запонки и пуговицы
и спереди и сзади.
Теряются
и отрываются
раз десять на день.
В моде
в каждой
так положено,
что нельзя без пуговицы,
а без головы можно.
Чтоб было
оправдание
для стольких запонок,
в крахмалы
туловище
сплошь заляпано.
На голове

прилизанные волосы,
посередине
пробрита
лысая полоса.

Ноги
давит
узкий хром.

В день
обмозолишься
и станешь хром.

На всех мизинцах
аршинные ногти.
Обломаются —
работу не трогайте!

Для сморкания —
пальчики,
для виду —
платочек.

Торчит
из карманчика
кружевной уголочек.
Толку не добьешься,
что ни спроси —
одни «пардоны»,
одни «мерси».

Чтоб не было
ям
на хилых грудях,
ходит,
в петлицу

хризантемы вкрутя,
Изящные улыбки
настолько тонки,
чтоб только
виднелись
золотые коронки.
Косится на косицы —
стрельнуть за кем? —
и пошлость
про ландыш
на слюнявом языке.

А
в очереди
венерической клиники
читает
усердно
«Мощи» Калининкова.
Таким образом
день оттрудясь,
разденет фигуру,
не мытую отродясь,
Зевнет
и спит,
излюблен, испит.
От хлама
в комнате
тесней, чем в каюте.
И это называется;
– Живем-с в уюте!
Лозунг:

– В ногах у старья не ползай! —
Готов
ежедневно
твердить раз сто:
изящество —
это стопроцентная польза,
удобство одежд
и жилья простор.

1927

ВМЕСТО ОДЫ

Мне б хотелось
вас
воспеть
во вдохновенной оде,
только ода
что-то не выходит.
Скольким идеалам
смерть на кухне
и под одеялом!
Моя знакомая —
женщина как женщина,
оглохшая
от примусов пыхания
и ухания,
баба советская,
в загсе венчанная,
самая передовая
на общей кухне.
Хранит она
в складах лучших дат
замужество
с парнем среднего ростца;
еще не партиец,
но уже кандидат,
самый красивый

из местных письмоноосцев.
Баба сердитая,
видно сразу,
потому что сожитель ейный
огромный синяк
в дополнение к глазу
приставил,
придя из питейной.
И шипит она,
выгнав мужа вон:
– Я
ему
покажу советский закон!
Вымою только
последнюю из посуды —
и прямо в милицию,
прямо в суд... —
Домыла.
Перед взятием
последнего рубежа
звонок
по кухне
рассыпался, дребезжа.
Открыла.
Расцвели миллионы почек,
высохла
по-весеннему
слезная лужа...
– Его почерк!
Письмо от мужа. —

Письмо раскаленное —
не пишет,
а пышет.
"Вы моя душка,
и ангел
вы.
Простите великодушно!
Я буду тише
воды
и ниже травы".
Рассиялся глаз,
оплывший набок.
Слово ласковое —
мастер
дивных див.
И опять
за примусами баба,
все поняв
и все простив.
А уже
циркуля письмоносца
за новой юбкой
по улицам носятся;
раскручивая язык
витиеватой лентой,
шепчет
какой-то
оаживаемой Вере:
— Я за положительность
и против инцидентов,

которые
вредят
служебной карьере. —

Неделя покоя,
но больше
никак
не прожить
без мата и синяка.

Неделя —
и снова счастья нету,
задрались,
едва в пивнушке побыли...

Вот оно —
семейное
"перпетуум
мобиле".
И вновь
разговоры,
и суд, и «треть»
на много часов
и недель,
и нет решимости
пересмотреть
семейственную канитель.
Я
напыщенным словам
всегдашний враг,

и, не растекаясь одами
к Восьмому марта,
я хочу,
чтоб кончилась
такая помесь драк,
пьянства,
лжи,
романтики
и мата.

1927

ЛУЧШИЙ СТИХ

Аудитория
сыплет
вопросы колючие,
старается озадачить
в записочном рвении.
– Товарищ Маяковский,
прочтите
лучшее
ваше
стихотворение. —
Какому
стиху
отдать честь?
Думаю,
упершись в стол.
Может быть,
это им прочесть,
а может,
прочесть то?
Пока
перетряхиваю
стихотворную старь
и нем
ждет
зал,

газеты
«Северный рабочий»
секретарь
тихо
мне
сказал...
И гаркнул я,
сбившись
с поэтического тона,
громче
иерихонских хайл:
– Товарищи!
Рабочими
и войсками Кантона
взят
Шанхай! —
Как будто
жесть
в ладонях мнут,
оаций сила
росла и росла.
Пять,
десять,
пятнадцать минут
рукоплексал Ярославль.
Казалось,
буря
версты крыла,
в ответ
на все

чемберленьи ноты
катилась в Китай, —
и стальные рыла
отворачивали
от Шанхая
дредноуты.
Не приравняю
всю
поэтическую слякоть,
любую
из лучших поэтических слав,
не приравняю
к простому
газетному факту,
если
так
ему
рукоплещет Ярославль.
О, есть ли
привязанность
большей силищи,
чем солидарность,
прессующая
рабочий улей?!
Рукоплеци, ярославец,
маслобой и текстильщик,
незнаемым
и родным
китайским кули!

«ЛЕНИН С НАМИ!»

Бывают события:
случатся раз,
из сердца
высекут фразу.
И годы
не выдумать
лучших фраз,
чем сказанная
сразу.
Таков
и в Питер
ленинский въезд
на башне
броневика.
С тех пор
слова
и восторг мой
не ест
ни день,
ни год,
ни века.
Все так же
вскипают
от этой даты
души

фабрик и хат.

И я

привожу вам

просто цитаты

из сердца

и из стиха.

Февральское пламя

померкло быстро,

в речах

утопили

радость февральскую,

Десять

министров-капиталистов

уже

на буржуев

смотрят с ласкою.

Купался

Керенский

в своей победе,

задав

революции

адвокатский тон.

Но вот

пошло по заводу:

– Едет!

Едет!

– Кто едет?

– Он!

"И в город,

уже

заплывающий салом,
вдруг оттуда,
из-за Невы,
с Финляндского вокзала
по Выборгской
загрохотал броневик",
Была
простая
машина эта,
как многие,
шла над Невою.
Прошла,
а нынче
по целому свету
дыханье ее
броневое.
"И снова
ветер,
свежий и крепкий,
валы
революции
поднял в пене.
Литейный
залили
блузы и кепки.
– Ленин с нами!
Да здравствует Ленин!"
И с этих дней
езде
и во всем

имя Ленина
с нами.
Мы
будем нести,
несли
и несем —
его,
Ильичево, знамя.
" – Товарищи! —
и над головою
первых сотен
вперед
ведущую
руку выставил.
– Сбросим
эсдечества
обветшавшие лохмотья!
Долой
власть
соглашателей и капиталистов!"
Тогда
рабочий,
впервые спрошенный,
еще нестройно
отвечал:
– Готов! —
А сегодня
буржуй
распластан, сброшенный,
и нашей власти —

десять годов.

" – Мы —

голос

воли низа,

рабочего низа

всего света.

Да здравствует

партия,

строящая коммунизм!

Да здравствует

восстание

за власть Советов!"

Слова эти

слушали

пушки мордастые,

и щерился

белый,

штыками блестя.

А нынче

Советы и партия

здравствуют

в союзе

с сотней миллионов крестьян.

"Впервые

перед толпой обалделой,

здесь же,

перед тобою,

близ —

встало,

как простое

делаемое дело,
недосягаемое слово
— «социализм».

А нынче
в упряжку
взяты частники.

Коопов
стосортных
сети вьем,
показываем
ежедневно
в новом участке
социализм
живьем.

"Здесь же,
из-за заводов гудящих,
сияя горизонтом
во весь свод,
встала
завтрашняя
коммуна трудящихся —
без буржуев,
без пролетариев,
без рабов и господ".

Коммуна —
еще
не дело дней,
и мы
еще
в окружении врагов,

НО МЫ
прошли
по дороге к ней
десять
самых трудных шагов.

1927

ВЕЧНА

В газетах
пишут
какие-то дяди,
что начал
любовно
постукивать дятел.
Скоро
вид Москвы
скопируют с Ниццы,
цветы создадут
по весенним велениям.
Пишут,
что уже
синицы
оглядывают гнезда
с любовным вожделением,
Газеты пишут:
дни горячей,
налетели
отряды
передовых грачей.
И замечает
естествоиспытательское око,
что в березах
какая-то

циркуляция соков.
А по-моему —
дело мрачное:
начинается
горячка дачная.
Плюнь,
если рассказывает
какой-нибудь шут,
как дачные вечера
милы,
тихи.
Опишу
хотя б,
как на даче
выделываю стихи.
Не растрачивая энергию
среди ерундовых трат,
решаю твердо
писать с утра.
Но две девицы,
и тощи
и рябы,
заставили идти
искать грибы.
Хожу в лесу-с,
на каждой колючке
распинаюсь, как Иисус.
Устав до того,
что не ступишь на ноги,
принес сыроежку

и две поганки.
Принесши трофей,
еле отделяюсь
от упомянутых фей.
С бумажкой
лежу на траве я,
и строфы
спускаются,
рифмами вея.
Только
над рифмами стал сопеть,
и —
меня переезжает
кто-то
на велосипеде.
С балкона,
куда уселся, мыча,
сбежал
вовнутрь
от футбольного мяча.
Полторы строки намарал —
и пошел
ловить комара.
Опрокинув чернильницу,
задув свечу,
подымаюсь,
прыгаю,
чуть не лечу.
Поймал,
и при свете

мерцающих планет
рассматриваю —
хвост малярный
или нет?

Уселся,
но слово
замерло в горле.

На кухне крик:
– Самовар сперли! —

Адамом,
во всей первородной красе,
бегу
за жуликами
по василькам и росе.

Отступаю
от пары
бродячих дворняжек,
заинтересованных
видом
юных ляжек.

Сел
в меланхолии.

В голову
ни строчки
не лезет более.

Два,
Ложусь в идиллии.
К трем часам —
уснул едва,
а четверть четвертого

уже разбудили.
На луже,
зажатой
берегам в бока,
орет
целуемая
лодочникова дочка...
"Славное море —
священный Байкал,
Славный корабль —
омулевая бочка".

1927

ОСТОРОЖНЫЙ МАРШ

Гляди, товарищ, в оба!
Вовсю раскрой глаза!
Британцы
твердолобые
республике грозят.
Не будь,
товарищ,
слепым
и глухим!
Держи,
товарищ,
порох
сухим!
Стучат в бюро Аркосовы,
со всех сторон насеив:
как ломом,
лбом кокосовым
ломают мирный сейф.
С такими,
товарищ,
не сварись
ухи.
Держи,
товарищ,
порох

сухим!

Знакомы эти хари нам,

не нов для них подлог:

подпишут

под Бухарина

любой бумажки клочок.

Не жаль им,

товарищи,

бумажной

трухи.

Держите,

товарищи,

порох

сухим!

За барыней,

за Англией

и шавок лай летит, —

уже

у новых Врангелей

взыгрался аппетит.

Следи,

товарищ,

за лаем

лихим.

Держи,

товарищ,

порох

сухим!

Мы строим,

жнем

и сеем.

Наш лозунг:

«Мир и гладь».

Но мы

себя

сумеем

винтовкой отстоять.

Нас тянут,

товарищ,

к войне

от сохи.

Держи,

товарищ,

порох

сухим!

1927

ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ И ВЯЧЕСЛАВ ПОЛОНСКИЙ

Сегодня я,
поэт,
боец за будущее,
оделся, как дурак.
В одной руке —
венок
огромный
из огромных незабудицей,
в другой —
из чайных —
розовый букет.
Иду
сквозь моторно-бензинную мглу
в Лувр.
Складку
на брюке
выправил нервно;
не помню,
платил ли я за билет;
и вот
зала,
и в ней
Венерино

дезабилье.
Первое смущенье
Рассеялось когда,
я говорю:
– Мадам!
По доброй воле,
несмотря на блеск,
сюда
ни в жизнь не наострил бы лыж.
Но я
поэт СССР —
ноблес
оближ!6
У нас
в республике
не меркнет ваша слава.
Эстеты
мрут от мраморного лоска.
Короче:
я —
от Вячеслава
Полонского.
Носастей грека он.
Он в вас души не чает.
Он
поэлладистей Лициниев и Люциев,
хоть редактирует
и «Мир»,
и «Ниву»,
и "Печать

и революцию".

Он просит передать,
что нет ему житья.

Союз наш
грубоват для тонкого мужчины.

Он много терпит там
от мужичья,
от лефов и мастеровщины.

Он просит передать,
что, «леф» и «праф» кость,
в Элладу он плывет
надклассовым сознанием.

Мечтает он
об эллинских гостях,
о тогах,
о сандалиях в Рязани,

чтобы гекзаметром
сменилась
лефовца строфа,

чтобы Радимовы
скакали по дорожке,
и чтоб Радимов

был
не человек, а фавн, —
чтобы свирель,

набедренник
и рожки.

Конечно,
следует иметь в виду, —
у нас, мадам,

не все такие там.
Но эту я
передаю белиберду.
На ней
почти официальный штамп.
Велено
у ваших ног
положить
букеты и венок.
Венера,
окажите честь и счастье,
катите
в сны его
эпладских дней ладью...
Ну,
будет!
Кончено с официальной частью.
Мадам,
адью! —
Ни улыбки,
ни привета с уст ее,
И пока
толпу очередную
загоняет Кук,
расстаемся
без рукопожатий
по причине полного отсутствия
рук.
Иду —
авто дудит в дуду.

Танцюю – не иду.
Домой!
Внимателен
и нем
стою в моем окне.
Напротив окон
гладкий дом
горит стекольным льдом.
Горит над домом
букв жара —
гараж.
Не гараж —
сам бог!
"Миль вуатюр,
де сан бокс".
В переводе на простой:
"Тысяча вагонов,
двести стойл".
Товарищи!
Вы
видали Ройльса?
Ройльса,
который с ветром сросся?
А когда стоит —
кит.
И вот этого
автомобильного кита ж
подымают
на шестой этаж!
Ставши

уменьшеннее мышей,
тысяча машинных малышей
спит в объятиях
гаража-колосса.
Ждут рули —
дорваться до руки.
И сияют алюминием колеса,
круглые,
как дураки.
И когда
опять
вдыхают на заре
воздух
миллионом
радиаторных ноздрей,
кто заставит
и какую дуру
нос вертеть
на Лувры и скульптуру?!
Автомобиль и Венера – старо-с?
Пускай!
Поновее и АХРРов и роз.
Мещанская жизнь
не стала иной,
Тряхнем и мы футурстаринной.
Товарищ Полонский!
Мы не позволим
любителям старых
дворянских манер
в лицо строителям

тыкать мозоли,
веками
натерты
у Венер.

1927

ГОСПОДИН «НАРОДНЫЙ АРТИСТ»

Парижские «Последние новости» пишут:
"Шаляпин пожертвовал священнику
Георгию Спасскому на русских
безработных в Париже 5000 франков.
1000 отдана бывшему морскому агенту,
капитану 1-го ранга Дмитриеву,
1000 роздана Спасским лицам, ему
знакомым, по его усмотрению, и
3000 – владыке митрополиту
Евлогию".

Вынув бумажник из-под хвостика фрака,
добрейший
Федор Иванович Шаляпин
на русских безработных
пять тысяч франков
бросил
на дно
поповской шляпы.
Ишь сердобольный,
как заботится!
Конешно,
плохо, если жмет безработица.

Но...
удивляют получающие пропитанье.
Почему
у безработных званье капитанье?
Ведь не станет
лезть
морское капитанство
на завод труда
и в шахты пота.
Так чего же ждет
Евлогиева паства,
и какая
ей
нужна работа?
Вот если
за нынешней грозой нотною
пойдет война
в орудийном аду —
шляпинские безработные
живо
себе
работу найдут.
Впервые
тогда
комсомольская масса,
раскрыв
пробитые пулями уши,
сведет
знакомство
с шляпинским басом

через бас
белогвардейских пушек.
Когда ж
полями,
кровью политыми,
рабочие
бросят
руки и ноги, —
вспомним тогда
безработных митрополита
Евлогия.
Говорят,
артист —
большой ребенок.
Не знаю,
есть ли
у Шаляпина бонна.
Но если
бонны
нету с ним,
мы вместо бонны
ему объясним.
Есть класс пролетариев
миллионногорбый
и те,
кто покорен фаустовскому тельцу.
На бой
последний
класса оба
сегодня

сошлись
лицом к лицу.
И песня,
и стих —
это бомба и знамя,
и голос певца
подымает класс,
и тот,
кто сегодня
поет не с нами,
тот —
против нас.
А тех,
кто под ноги атакующим бросится,
с дороги
уберет
рабочий пинок.
С барина
с белого
сорвите, наркомпросцы,
народного артиста
красный веноч!

НУ, ЧТО Ж!

Раскрыл я
с тихим шорохом
глаза страниц...
И потянуло
порохом
от всех границ.

Не вновь,
которым за двадцать,
в грозе расти.
Нам не с чего
радоваться,
но нечего
грустить.
Бурна вода истории.
Угрозы
и войну
мы взрежем
на просторе,
как режет
киль волну.

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПОДХАЛИМ

В любом учреждении
есть подхалим.
Живут подхалимы,
и неплохо им.
Подчас молодежи,
на них глядя,
хочется
устроиться —
как устроился дядя.
Но как
в доверие к начальству влезть?
Ответственного
не возьмешь на низкую лесть.
Например,
распахивать перед начальством
двери —
не к чему.
Начальство тебе не поверит,
не оценит
энергии
излишнюю трату —
подумает,
что это

ты —
по штату.
Или вот еще
способ
очень грубый:
трубить
начальству
в пионерские трубы.
Еще рассердится:
– Чего, мол, ради
ежесекундные
праздники
у нас
в отряде?
Надо
льстить
умело и тонко.
Но откуда
тонкость
у подростка и ребенка?!
И мы,
желанием помочь палимы,
выпускаем
"Руководство
для молодого подхалимы".
Например,
начальство
делает доклад —
выкладывает канцелярской премудрости
клад.

Стакан
ко рту
поднесет рукой
и опять
докладывает час-другой.
И вдруг
воплъ посредине доклада:
– Время
докладчику
ограничить надо! —
Тогда
ты,
сотрясая здание,
требуй:
– Слово
к порядку заседания!
Доклад —
звезда среди мрака и темени.
Требую
продолжать
без ограничения времени! —
И будь уверен —
за слова за эти
начальство запомнит тебя
и заметит.
Узнав,
что у начальства
сочинения есть,
спеши
печатный отчетишко прочесть.

При встрече
с начальством,
закатывая глазки,
скажи ему
голосом,
полным ласки:
– Прочел отчет.
Не отчет, а роман!
У вас
стихи бы
вышли задарма!
Скажите,
не вы ли
автор «Антидюринга»?
Тоже
написан
очень недурненько. —
Уверен будь —
за оценки за эти
и начальство
оценит тебя
и заметит.
Увидишь:
начальство
едет пьяненький
в казенной машине
и в дамской компанийке,
Пиши
в стенгазету,
возмущенный насквозь:

"Экономия экономии рознь.

Такую экономию —
высмейте смешком!
На что это похоже?!

Еле-еле
со службы
и на службу,
таскаясь пешком,
начканц
волочит свои портфели",
И ты
преуспеешь на жизненной сцене —
начальство
заметит тебя
и оценит.
А если
не хотите
быть подхалимой,
сами
себе
не зажимайте рот:
увидев
безобразие,
не проходите мимо
и поступайте
не по стиху,
а наоборот.

КРЫМ

Хожу,
гляжу в окно ли я —
цветы
да небо синее,
то в нос тебе магнолия,
то в глаз тебе
глициния.
На молоко
сменил
чай
в сиянье
лунных чар.
И днем
и ночью
на Чаир
вода
бежит, рыча.
Под страшной
стражей
волн-борцов
глубины вод гноят
повыброшенных
из дворцов
тритонов и наяд.
А во дворцах

другая жизнь;
насытись
водной блажью,
иди, рабочий,
и ложись
в кровать
великокняжью.
Пылают горы-горны,
и море синеблужится.
Людей
ремонт ускоренный
в огромной
крымской кузнице.

1927

ТОВАРИЩ ИВАНОВ

Товарищ Иванов —
мужчина крепкий,
в штаты врос
покрепше репки.
Сидит
бессменно
у стула в оправе,
придерживаясь
на службе
следующих правил.
Подходит к телефону —
достоинство
складкой.
— Кто спрашивает?
— Товарищ тот —
И сразу
рот
в улыбке сладкой —
как будто
у него не рот, а торт.
Когда
начальство
рассказывает анекдот,
такой,
от которого

покраснел бы и дуб, —
Иванов смеется,
смеется, как никто,
хотя
от флюса
ноет зуб.
Спросишь мнение —
придет в смятеньце,
деликатно
отложит
до дня
до следующего,
а к следующему
узнаете
мненьце —
уважаемого
товарища заведующего.
Начальство
одно
смахнут, как пыльцу...
Какое
ему,
Иванову,
дело?
Он служит
так же
другому лицу,
его печенке,
улыбке,
телу.

Напялит
на себя
начальственную маску,
начальственные привычки,
начальственный
вид.

Начальство ласковое —
и он
ласков.

Начальство грубое —
и он грубит.

Увидя безобразие,
не протестует впустую.

Протест
замирает
в зубах тугих.

– Пускай, мол,
первыми
другие протестуют.

Что я, в самом деле,
лучше других? —

Тот —
уволен.

Этот —
сокращен.

Бессменно
одно
Ивановье рыльце.

Везде
и всюду

пролезет он,
подмыленный
скользким
подхалимским
мыльцем.
Впрочем,
написанное
ни для кого не ново —
разве нет
у вас
такого Иванова?
Кричу
благим
(а не просто) матом,
глядя
на подобные истории:
– Где я?
В лонах
красных наркоматов
или
в дооктябрьской консистории?!

1927

ПОСМОТРИМ САМИ, ПОКАЖЕМ ИМ

Рабочий Москвы,
ты видишь
везде:
в котлах —
асфальтное варево,
стропины,
стук
и дым весь день,
и цены
сползают товаровы.
Союз расцветет
у полей в оправе,
с годами
разделаем в рай его.
Мы землю
завоевали
и правим,
чистя ее
и отстраивая.
Буржуи
тоже,
в кулак не свистя,
чихают

на наши дымы.
Знают,
что несколько лет спустя —
мы —
будем непобедимы.
Открыта
шпане
буржуев казна,
хотят,
чтоб заводчик пас нас.
Со всех сторон,
гулка и грозна,
идет
на Советы
опасность.
Сегодня
советской силы показ:
в ответ
на гнев чемберленский
в секунду
наденем
противогаз,
штыки рассыаем в блеске.
Не думай,
чтоб займами
нас одарили.
Храни
республику
на свои гроши.
В ответ Чемберленам

взлетай, эскадрилья,
винтами
вражье небо кроши!
Страна у нас
мягка и добра,
но землю Советов —
не трогайте:
тому,
кто свободу придет отобрать,
сумеет
остричь
когти.

1927

ИВАН ИВАНОВИЧ ГОНОРАРЧИКОВ

**(Заграничные газеты печатают
безымянный протест русских писателей.)**

Писатель
Иван Иваныч Гонорарчиков
правительство
советское
обвиняет в том,
что живет-де писатель
запечатанным ларчиком
и владеет
замок
обцензуренным ртом.
Еле
преодолевая
пивную одурь,
напевает,
склоняясь
головой соловой:
– О, дайте,
дайте мне свободу

слова. —
Я тоже
сделан
из писательского теста.
Действительно,
чего этой цензуре надо?
Присоединяю
голос
к писательскому протесту:
ознакомимся
с писательским
ларчиком-кладом!
Подойдем
к такому
демократично и ласково.
С чего начать?
Отодвинем
товарища
Лебедева-Полянского
и сорвем
с писательского рта
печать.
Руки вымоем
и вынем
содержимое.
В начале
ротика —
пара
советских анекдотиков.
Здесь же

сразу,
от слюней мокра,
гордая фраза:
– Я —
демократ! —
За ней —
другая,
длинней, чем глиста:
– Подайте
тридцать червонцев с листа! —
Что зуб —
то светоч.
Зубовная гниль
светит,
как светят
гнилушки-огни.
А когда
язык
приподняли робкий,
сидевший
в глотке
наподобие пробки,
вырвался
визг осатанелый:
– Ура Милюкову,
даешь Дарданеллы! —
И сразу
все заорали:
– Закройте-ка
недра

благоухающего ротика! —

Мы
цензурой
белые враки обводим,
чтоб никто
не мешал
словам о свободе.
Чем точить
демократические лясы,
обливаясь
чаями
до четвертого поту,
поможем
и словом
свободному классу,
силой
оберегающему
и строящему свободу.
И вдруг
мелькает
мысль-заря:
а может быть,
я
и рифмую зря?
Не эмигрант ли
грязный
из бороденки вшивой
вычесал
и этот

протестик фальшивый?!

1927

ЧУДЕСА!

Как днище бочки,
правильным диском
стояла
луна
над дворцом Ливадийским.
Взошла над землей
и пошла заливать ее,
и льется на море,
на мир,
на Ливадию.
В царевых дворцах —
мужики-санаторники.
Луна, как дура,
почти в исступлении,
глядят
глаза
блинорожия плоского
в афишу на стенах дворца:
"Во вторник
выступление
товарища Маяковского".
Сам самодержец,
здесь же,
рядом,
гонял по залам

и по миллиардам.
И вот,
где Романов
дулся с маркерами,
шары
ложа
под свитское ржание,
читаю я
крестьянам
о форме
стихов —
и о содержании.

Звонок.
Луна
отодвинулась тусклая,
и я,
в электричестве,
стою на эстраде.
Сидят предо мною
рязанские,
тульские,
почесывают бороды русские,
ерошат пальцами
русые пряди.
Их лица ясны,
яснее, чем блюдец,
где надо — хмурятся,
где надо —
смеются.
Пусть тот,

кто Советам
не знает цену,
со мною станет
от радости пьяным:
где можно
еще
читать во дворце —
что?
Стихи!
Кому?
Крестьянам!
Такую страну
и сравнивать не с чем, —
где еще
мыслимы
подобные вещи?!
И думаю я
обо всем,
как о чуде.
Такое настало,
а что еще будет!
Вижу:
выходят
после лекции
два мужика
слоновьей комплекции.
Уселись
вдвоем
под стеклянный шар,
и первый

второму
заметил:
– Мишка,
оченно хороша —
эта
последняя
была рифмишка. —
И долго еще
гудят ливадийцы
на желтых дорожках,
у синей водицы.

1927

МАРУСЯ ОТРАВИЛАСЬ

Вечером после работы этот комсомолец уже не ваш товарищ. Вы не называйте его Борей, а, подделываясь под гнусавый французский акцент, должны называть его «Боб»...

«Комс. правда».

В Ленинграде девушка-работница отравилась, потому что у нее не было лакированных туфель, точно таких же, какие носила ее подруга Таня...

«Комс. правда».

Из тучки месяц вылез,
молоденький такой...
Маруська отравилась,
везут в прием-покой.
Понравился Маруське
один
с недавних пор:
нафабранные усики,
Расчесанный пробор.
Он был
монтером Ваней,
но...
в духе парижан,

себе
присвоил званье:
«электротехник Жан».
Он говорил ей часто
одну и ту же речь:
– Ужасное мещанство —
невинность
зря
беречь. —
Сошлись и погуляли,
и хмурит
Жан
лицо, —
нашел он,
что
у Ляли
красивше бельецо.
Марусе разнесчастной
сказал, как джентльмен:
– Ужасное мещанство
семейный
этот
плен. —
Он с ней
расстался
ровно
через пятнадцать дней,
за то,
что лакированных
нет туфельек у ней.

На туфли
денег надо,
а денег
нет и так...

Себе
Маруся
яду
купила
на пятак.
Короткой
жизни
точка.

– Смер-тель-ный
я-яд
испит... —
В малиновом платочке
в гробу
Маруся
спит.

Развылся ветер гадкий.
На вечер,
ветру в лад,
в ячейке
об упадке
поставили
доклад.

Почему?

В сердце

без лесенки
лезут
эти песенки.
Где родина
этих
бездарных романсов?
Там,
где белые
лаются моською?
Нет!
Эту песню
родила масса —
наша
комсомольская.
Легко
врага
продырявить наганом.
Или —
голову с плеч,
и саблю вытри.
А как
сейчас
нащупать врага нам?
Таится.
Хитрый!
Во что б ни обулись,
что б ни надели —
обноски
буржуев
у нас на теле.

И нет
тебе
пути-пряника.
Нашей
культуришке
без году неделя,
а ихней —
века!
И растут
черные
дурни
и дуры,
ничем не защищенные
от барахла культуры.
На улицу вышел —
глаза разопри!
В каждой витрине
буржуевы обноски:
какая-нибудь
шляпа
с пером «распри»,
и туфли
показывают
лакированные носики.
Простенькую
блузу нам
и надеть конфузно.
На улицах,
под руководством
Гарри Пилей,

расставило
сети
Совкино, —
от нашей
сегодняшней
трудной были
уносит
к жизни к иной.

Там
ни единого
ни Ваньки,
ни Пети,
одни
Жанны,
одни
Кэти.

Толча комплименты,
как воду в ступке,
люди
совершают
благородные поступки.

Все
бароны,
графы – все,
живут
по разным
роскошным городам,
ограбят
и скажут:
– Мерси, мусье, —

изнасилуют
и скажут:
– Пардон, мадам. —
На ленте
каждая —
графиня минимум.
Перо в шляпу
да серьги в уши.
Куда же
сравниться
с такими графинями
заводской
Феклуше да Марфуше?
И мальчики
пачками
стреляют за нэпачками.
Нравятся
мальчикам
в маникюре пальчики.
Играют
этим пальчиком
нэпачки
на рояльчике.
А сунешься в клуб —
речь рвотная.
Чешут
языками
чиновноустые.
Раз международное,
два международное,

но нельзя же до бесчувствия!
Напротив клуба
дверь пивнушки.
Веселье,
грохот,
как будто пушки!
Старается
разная
музыкальная челядь
пианинить
и виолончелить.
Входите, товарищи,
зайдите, подружечки,
выпейте,
пожалуйста,
по пенной кружечке!

Что?

Крою
пиво пенное, —
только что вам
с этого?!

Что даю взамен я?
Что вам посоветовать?
Хорошо
и целоваться,
и вино.
Но...
вино и поэзия,

и если
ее
хоть раз
по-настоящему
испили рты,
ее
не заменит
никакое питье,
никакие пива,
никакие спирты.
Помни
ежедневно,
что ты
зодчий
и новых отношений
и новых любовей, —
и станеет
ерундовым
любовный эпизодчик
какой-нибудь Любы
к любому Вове.
Можно и кепки,
можно и шляпы,
можно
и перчатки надеть на лапы.
Но нет
на свете
прекрасней одежды,
чем бронза мускулов
и свежесть кожи.

И если
подыметесь
чисты и стройны,
любую
одежу
заказывайте Москвошвею,
и...
лучшие
девушки
нашей страны
сами
бросятся
вам на шею.

1927

ПИСЬМО К ЛЮБИМОЙ МОЛЧАНОВА, БРОШЕННОЙ ИМ,

как о том сообщается в N 219
«Комсомольской правды» в
стихе по имени «Свидание»

Слышал —
вас Молчанов бросил,
будто
он
предпринял это,
видя,
что у вас
под осень
нет
«изячного» жакета.
На косынку
цвета синьки
смотрит он
и цедит еле:
— Что вы
ходите в косынке?
Да и...

мордой постарели?

Мне

пожалте

грудь тугую.

Ну,

а если

нету этаких...

Мы найдем себе другую

в разызысканной жакетке. —

Припомадясь

и прикрасясь,

эту

гадость

вливши в стих,

хочет

он

марксистский базис

под жакетку

подвести.

"За боль годов,

за все невзгоды

глухим сомнениям не быть!

Под этим мирным небосводом

хочу смеяться

и любить".

Сказано веско.

Посмотрите, дескать:

шел я верхом,

шел я низом,

строил

мост в социализм,
не достроил
и устал
и уселся
у моста.
Травка
выросла
у моста,
по мосту
идут овечки,
мы желаем
– очень просто! —
отдохнуть
у этой речки.
Заверните ваше знамя!
Перед нами
ясность вод,
в бок —
цветочки,
а над нами —
мирный-мирный небосвод.
Брошенная,
не бойтесь красивого слога
поэта,
музой венчанного!
Просто
и строго
ответьте
на лиру Молчанова:
– Прекратите ваши трели!

Я не знаю,
я стара ли,
но вы,
Молчанов,
постарели,
вы
и ваши пасторали.
Знаю я —
в жакетах в этих
на Петровке
бабья банда.
Эти
польские жакетки
к нам
провозят
контрабандой.
Чем, служа
у муз
по найму,
на мое
тряпье
коситься,
вы б
индустриальным займом
помогли
рожденью
ситцев.
Череп,
што ль,
пустеет чаном,

выбил
мысли
грохот лирный?
Это где же
вы,
Молчанов,
небосвод
узрели
мирный?
В гущу
ваших роздыхов,
под цветочки,
на реку
заграничным воздухом
не доносит гарьку?
Или
за любовной блажью
не видать
угрозу вражью?

Литературная шатия,
успокойте ваши нервы,
отойдите —
вы мешаете
мобилизациям и маневрам.

«МАССАМ НЕПОНЯТНО»

Между писателем
и читателем
стоят посредники,
и вкус
у посредника
самый средненький.
Этаких
средненьких
из посреднической рати
тыща
и в критиках
и в редакторате.
Куда бы
мысль твоя
ни скакала,
этот
все
озирает сонно:
– Я
человек
другого закала.
Помню, как сейчас,
в стихах
у Надсона...
Рабочий

не любит
строчек коротеньких.

А еще
посредников
кроет Асеев.

А знаки препинания?

Точка —
как родинка.

Вы
стих украшаете,
точки рассеяв.
Товарищ Маяковский,
писали б ямбом,
двугривенный
на строчку
прибавил вам бы. —

Расскажет
несколько
средневековых легенд,
объяснение
часа на четыре затянет,
и ко всему
присказывает
унылый интеллигент:

– Вас
не понимают
рабочие и крестьяне. —
Сникает
автор
от сознания вины.

А этот самый
критик влиятельный
крестьянина
видел
только до войны,
при покупке
на даче
ножки телятины.
А рабочих
и того менее —
случайно
двух
во время наводнения.
Глядели
с моста
на места и картины,
на разлив,
на плывущие льдины.
Критик
обошел умиленно
двух представителей
из десяти миллионов.
Ничего особенного —
руки и груди...
Люди – как люди!
А вечером
за чаем
сидел и хвастал:
– Я вот
знаю

рабочий класс-то.

Я

душу

прочел

за их молчаньем —

ни упадка,

ни отчаяния.

Кто может

читаться

в таком классе?

Только Гоголь,

только классик.

А крестьянство?

Тоже.

Никак не иначе.

Как сейчас помню —

весною, на даче... —

Этакие разговорчики

у литераторов

у нас

часто

заменяют

знание масс.

И идут

дореволюционного образца

творения слова,

кисти

и резца.

И в массу

плывет

интеллигентский дар —
грезы,
розы
и звон гитар.
Прошу
писателей,
с перепугу бледных,
бросить
высюсюкивать
стихи для бедных.
Понимает
ведущий класс
и искусство
не хуже вас.
Культуру
высокую
в массы двигай!
Такую,
как и прочим.
Нужна
и понятна
хорошая книга —
и вам,
и мне,
и крестьянам,
и рабочим.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О МОЛЧАНОВЕ ИВАНЕ И О ПОЭЗИИ

Я взял газету
и лег на диван.
Читаю:
"Скучает
Молчанов Иван".
Не скрою, Ванечка!
скушно и нам.
И ваши стишонки —
скуки вина.
Десятый Октябрь
у всех на носу,
а вы
ухватились
за чью-то косу.
Любите
и Машу
и косы ейные.
Это
ваше
дело семейное.
Но что нам за толк
от вашей
от бабы?!

Получше
стишки
писали хотя бы.
Но плох ваш роман.
И стих неказист.
Вот так
любил бы
любой гимназист.
Вы нам обещаете,
скушный Ваня,
на случай нужды
пойти, барабаня.
Де, будет
туман.
И отверзнете рот,
на весь
на туман
заорете:
— Вперед! —
Де,
— выше взвивайте
красное знамя!
Вперед, переплетчики,
а я —
за вами. —
Орать
«Караул!»,
попавши в туман?
На это
не надо

большого ума.
Сегодняшний
день
возвеличить вам ли,
в хвосте
у событий
о девушках мямля?!
Поэт
настоящий
вздувает
заранее
из искры
неясной —
ясное знание.

1927

БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ВЕТРИЛ

На эфирном океане,
там,
где тучи борода,
громко плавает в тумане
радио-белиберда.

Утро.

На столике стоит труба.

И вдруг

как будто

трубу прорвало

в перепонку

в барабанную

забубнила, груба:

"Алло!

Алло!!

Алло!!!

Алло!!!!"

А затем —

тенорок

(держиcь, начинается!):

"Товарищи,

слушайте

очередной урок,

Как сохранить

и полировать яйца".

Задумался,
заволновался,
бросил кровать,
в мозгах
темно,
как на дне штолен.
— К чему ж мне
яйца полировать?
К пасхе,
што ли?! —
Настраиваю
приемник
на новый лад.
Не захочет ли
новая волна порадовать?
А из трубы —
замогильный доклад,
какая-то
ведомственная
чушь аппаратава.
Докладец
полтора часа прослушав,
стал упадочником
и затосковал.
И вдруг...
встрепенулись
восторженные уши:
"Алло!
Последние новости!
Москва".

Но тотчас
в уши
писк и фырк.
Звуки заскакали,
заиграли в прятки —
это
широковещательная Уфы
дует
в хвост
широковещательную Вятки.
Наконец
из терпения
вывели и меня.
Трубку
душу,
за горло взявши,
а на меня
посыпались имена:
Зины,
Егоры,
Миши,
Лели,
Яши!
День
промучившись
в этом роде,
ложусь,
а радио
бубнит под одеяло:
"Во саду аль в огороде

девица гуляла".
Не заснешь,
хоть так ложись,
хоть иначе.
С громом
во всем теле
крою
дедушку радиопередачи
и бабушку
радиопочтелей.
Дремлют штаты в склепах зданий.
Им не радость,
не печаль
им
в грядущем нет желаний
им...
— *семь с половиной миллионов!* —
не жаль!

ЕКАТЕРИНБУРГ – СВЕРДЛОВСК

Из снегового,
слепящего лоска,
из перепутанных
сучьев
и хвои —
встает
внезапно
домами Свердловска
новый город:
работник и воин.
Под Екатеринбургом
рыли каратики,
вгрызались
в мерзлые
породы и руды —
чтоб на грудях
коронованной Катьки
переливались
изумруды.
У штолен
в боках
корпели,
пока —
Октябрь
из шахт

на улицы ринул,
и...
разослала
октябрьская ломка
к чертям
орлов Екатерины
и к богу —
Екатерины
потомка.
И грабя
и испепеляя,
орда растакая-то
прошла
по городу,
войну волоча.
Порол Пепеляев.
Свирепствовал Гайда.
Орлом
клевался
верховный Колчак.
Потухло
знамен
и пожаров пламя,
и лишь,
от него
как будто ожог,
сегодня
горит —
временам на память —
в свердловском небе

красный флажок.
Под ним
с простора
от снега светлого
встает
новорожденный
город Свердлова.
Полунебоскребы
лесами поднял,
чтоб в электричестве
мыть вечера,
а рядом —
гриб,
дыра,
преисподняя,
как будто
у города
нету
«сегодня»,
а только —
«завтра»
и «вчера».
В санях
промежду
бирж и трестов
свисти
во весь
широченный проспект.
И...
заколдованное место:

вдруг
проспект
обрывает разбег.
Просыпали
в ночь
расчернее могилы
звезды-табачишко
из неба кисета.
И грудью
топок
дышут Тагилы,
да трубки
заводов
курят в Исети.
У этого
города
нету традиций,
бульвара,
дворца,
фонтана и неги.
У нас
на глазах
городище родится
из воли
Урала,
труда
и энергии!

РАССКАЗ ЛИТЕЙЩИКА ИВАНА КОЗЫРЕВА О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ

Я пролетарий.
Объясняться лишне.
Жил,
как мать произвела, родив.
И вот мне
квартиру
дает жилищный,
мой,
рабочий,
кооператив.
Во – ширина!
Высота – во!
Проветрена,
освещена
и согрета.
Все хорошо.
Но больше всего
мне
понравилось —
это:
это
белее лунного света,

удобней,
чем земля обетованная,
это —
да что говорить об этом,
это —
ванная.
Вода в кране —
холодная крайне.
Кран
другой
не тронешь рукой.
Можешь
холодной
мыть хохол,
горячей —
пот пор.
На кране
одном
написано:
«Хол.»,
на кране другом —
«Гор.»
Придешь усталый,
вешаться хочется.
Ни щи не радуют,
ни чая клокотанье.
А чайкой поплещешься —
и мертвый расхохочется
от этого
плещущего щекотания.

Как будто
пришел
к социализму в гости,
от удовольствия —
захватывает дых.
Брюки на крюк,
блузу на гвоздик,
мыло в руку
и...
бултых!
Сидишь
и моешься
долго, долго.
Словом,
сидишь,
пока охота.
Просто
в комнате
лето и Волга —
только что нету
рыб и пароходов.
Хоть грязь
на тебе
десятилетнего стажа,
с тебя
корою с дерева,
чуть не лыком,
сходит сажа,
смывается, стерва.
И уж распаришься,

разжаришься уж!
Тут – вертай ручки:
и каплет
прохладный
дождик-душ
из дырчатой
железной тучки.
Ну уж и ласковость в этом душе!
Тебя
никакой
не возьмет упадок:
погладит волосы,
потреплет уши
и течет
по желобу
промежду лопаток.
Воду
стираешь
с мокрого тельца
полотенцем,
как зверь, мохнатым.
Чтобы суше пяткам —
пол
стелется,
извиняюсь за выражение,
пробковым матом.
Себя разглядевши
в зеркало вправленное,
в рубаху
в чистую —

влазь.

Влажу и думаю:

"Очень правильная

эта,

наша,

Советская власть".

Свердловск, 28 января 1928г.

ИМПЕРАТОР

Помню —
то ли пасха,
то ли —
рождество:
вымыто
и насухо
расчищено торжество.
По Тверской
шпалерами
стоят рядовые,
перед рядовыми —
пристава.
Приставов
глазами
едят городовые:
– Ваше благородие,
арестовать? —
Крутит
полицмейстер
за уши ус.
Пристав козыряет:
– Слушаюсь! —
И вижу —
катится ландо,
и в этой вот ланде

сидит
военный молодой
в холеной бороде.
Перед ним,
как чурки,
четыре дочурки.
И на спинах булыжных,
как на наших горбах,
свита
за ним
в орлах и в гербах.
И раззвонившие колокола
расплылись
в дамском писке:
Уррра!
Царь-государь Николай,
император
и самодержец всероссийский!

Снег заносит
косые кровельки,
серебрит
телеграфную сеть,
он схватился
за холод проволоки
и остался
на ней
висеть.
На всю Сибирь,
на весь Урал

метельная мура.
За Исетью,
где шахты и кручи,
за Исетью,
где ветер свистел,
приумолк
исполкомовский кучер
и встал
на девятой версте.
Вселенную
снегом заволокло.
Ни зги не видать —
как на зло.
И только
следы
от брюха волков
по следу
диких козлов.
Шесть пудов
(для веса ровного!);
будто правит
кедров полком он,
снег хрустит
под Парамоновым,
председателем
исполкома.
Распахнулся весь,
роют
снег
пимы.

– Будто было здесь?!

Нет, не здесь.

Мимо! —

Здесь кедр

топором перетроган,

зарубки

под корень коры,

у корня,

под кедром,

дорога,

а в ней —

император зарыт.

Лишь тучи

флагами плавают,

да в тучах

птичье вранье,

крикливое и одноглавое,

ругается воронье.

Прельщают

многих

короны лучи.

Пожалте,

дворяне и шляхта,

корону

можно

у нас получить,

но только

вместе с шахтой.

Свердловск.

ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ПЕСНЯ

Дрянь адмиральская,
пан
и барон
шли
от шестнадцати
разных сторон.
Пушка —
французская,
английский танк.
Белым
папаша
Антантовый стан.
Билась
Советская наша
страна,
дни
грохотали разрывом гранат.
Не для разбоя
битва зовет —
мы
защищаем поля
и завод.
Шли деревенские,
лезли из шахт,
дрались

голодные,
в рвани
и вшах.
Серые шлемы
с красной звездой
белой ораве
крикнули:
— Стой! —
Били Деникина,
били
Махно,
так же
любого
с дороги смахнем.
Хрустнул,
проломанный,
Крыма хребет.
Красная
крепла
в громе побед.
С вами
сливалось,
победу растя,
сердце —
рабочих,
сердце —
крестьян.
С первой тревогою
с наших низов
стомиллионные

встанем на зов.
Землю колебля,
в новый поход
двинут
дивизии
Красных пехот.
Помня
принятие
красных присяг,
лава
Буденных
пойдет
на рысях.
Против
буржуевых
новых блокад
красные
птицы
займут облака.
Крепни
и славься
в битвах веков,
Красная
Армия
большевиков!

1928

НАГРУЗКА ПО МАКУШКУ

Комсомолец
Петр Кукушкин
прет
в работе
на рожон, —
он от пяток
до макушки
в сто нагрузок нагружен.
Пообедав,
бодрой рысью
Петя
мчит
на культкомиссию.
После
Петю видели
у радиолюбителей.
Не прошел
мимо
и Осоавиахима.
С химии
в один прыжок
прыгнул
в шахматный кружок.
Играть с Кукушкиным —
нельзя:

он
путал
пешку и ферзя. —
(Малюсенький затор!)
Но... Петя
знал,
врагов разя,
теорию зато.
Этот Петя
может
вскачь
критикнуть
всемирный матч. —
«Я считаю:
оба плохи —
Капабланка и Алехин,
оба-два,
в игре юля,
охраняли короля.
Виден
в ходе
в этом вот
немарксистский подход.
Я
и часа не помешкаю —
монархизмы
ешьте пешкою!»
Заседания
и речи,
ходит утро,

ходит вечер,
от трудов —
едва дыша,
и торчат
в кармане френча
тридцать три карандаша.
Просидел
собрании двести.
Дни летят,
недели тают...
Аж мозоль
натер
на месте,
на котором заседают.
Мозг мутится,
пухнет парень,
тело
меньше головы,
беготней своей упарен,
сам
себя
считает парень —
разужасно деловым.
Расписал
себя
на год,
хоть вводи
в работу НОТ!
Где вы, Гастев с Керженцевым?!
С большинством —

проголоснет,
с большинством —
воздержится.
Год прошел.
Отчет недолог.
Обратились к Пете:
– Где ж
работы
смысл и толк
от нагрузок этих? —
Глаз
в презренье
щурит Петь,
всех
окинул
глазом узким:
– Где ж
работать мне поспеть
при такой нагрузке?

1928

КТО ОН?

Кто мчится,
кто скачет
такой молодой,
противник мыла
и в контрах с водой?
Как будто
окорока ветчины,
небритые щеки
от грязи черны.
Разит —
и грязнее черных ворот
зубною щеткой
нетронутый рот.
Сродни
шевелюра
помойной яме,
бумажки
и стружки
промеж волосьями;
а в складках блузы
безвременный гроб
нашел
энергично раздавленный клоп.
Трехлетнего пота
журчащий родник

проклеил
и выгрезнил
весь воротник.
Кто мчится,
кто скачет
и брюки ловит,
держациеся
на честном слове?
Сбежав
от повинностей
скушных и тяжких,
за скакуном
хвостятся подтяжки.
Кто мчится,
кто скачет
резво и яро
по мостовой
в обход тротуара?
Кто мчит
без разбора
сквозь слякоть и грязь,
дымя по дороге,
кура
и плюясь?
Кто мчится,
кто скачет
виденьем крылатым,
трамбуя
встречных
увесистым матом?

Кто мчится,
и едет,
и гонит,
и скачет?
Ответ —
апельсина
яснее и кратче,
ответ
положу
как на блюде я:
то мчится
наш товарищ докладчик
на диспут:
«Культурная революция».

1928

СЛУЖАКА

Появились
молодые
превоспитанные люди —
Мопров
знаки золотые
им
увенчивают груди.
Парт-комар
из МКК
не подточит
парню
носа:
к сроку
вписана
строка
проф-
и парт-
и прочих взносов.
Честен он.
как честен вол.
В место
в собственное
вросся
и не видит
ничего

дальше
собственного носа.

Коммунизм

по книге сдав,
перевызубривши «измы»,

он

покончил навсегда с мыслями
о коммунизме.

Что заглядывать далече?!

Циркуляр

сиди

и жди.

– Нам, мол,

с вами

думать неча,

если

думают вожди. —

Мелких дельцев

пару шор

он

надел

на глаза оба,

чтоб служилось

хорошо,

безмятежно,

узколобо.

День – этап

растрат и лести,

день,

когда

простор подлизам, —
это
для него
и есть
самый
рассоциализм.
До коммуны
перегон
не покрыть
на этой кляче,
как нарочно
создан
он
для чиновничьих делячеств.
Блещут
знаки золотые,
гордо
выпячены
груды,
ходят
тихо
молодые
приспособленные люди.
О коряги
якорятся
там,
где тихая вода...
А на стенке
декорацией
Карлы-марлы борода.

Мы томимся неизвестностью,
что нам делать
с ихней честностью?
Комсомолец,
живя
в твои лета,
октябрьским
озоном
дыша,
помни,
что каждый день —
этап,
к цели
намеченной
шаг.
Не наши —
которые
времени в зад
уперли
лбов
медь;
быть коммунистом —
значит дерзать,
думать,
хотеть,
сметь.
У нас
еще
не Эдем и рай —
мещанская

тина с цельюю.
Работая,
мелочи соразмеряй
с огромной
поставленной цельюю.

1928

КРИТИКА САМОКРИТИКИ

Модю —
объяты все:
и размашисто
и куце,
словно
белка в колесе
каждый
самокритикуется.
Сам себя
совбюрократ
бьет
в чиновничие перси.
«Я
всегда
советам рад.
Критикуйте!
Я —
без спеси.
о...
стенгазное мычанье...
Где
в рабкоре
толку статья?
Вы
пишите замечания

и пускайте
по инстанциям».
Самокритик
совдурак
рассуждает,
помпадурысь:
«Я же ж
критике
не враг.
Но рабкор —
разводит дурость.
Критикуйте!
Не обижен.
Здравым
мыслям
сердце радо.
Но...
чтоб критик
был
не ниже,
чем
семнадцатого разряда».
Сладкогласый
и ретивый
критикует подхалим.
С этой
самой
директивы
не был
им

никто
хвалим.
Сутки
сряду
могут крыть
тех,
кого
покрыли свыше,
чтоб начальник,
видя прыть,
их
из штатов бы
не вышиб.
Важно
пялят
взор спецы
на критическую моду, —
дескать —
пойте,
крит-певцы,
языком
толчите воду.
Много
было
каждый год
разударнейших кампаний.
Быть
тебе
в архиве мод —
мода

на самокопанье.
А рабкор?
Рабкор —
смотрите! —
приуныл
и смотрит криво:
от подобных
самокритик
у него
трещит
загривок.
Безработные ручища
тычет
зря
в карманы он.
Он —
обдернут,
он —
прочищен,
он зажат
и сокращен.
Лава фраз —
не выплыть вплавь.
Где размашисто,
где куцо,
модный
лозунг
оседлав,
каждый —
самокритикуется.

Граждане,
вы не врите-ка,
что это —
самокритика!
Покамест
точат начальники
демократические лясы,
меж нами
живут молчальники
овцы
рабочего класса.
А пока
молчим по-рабы,
бывших
белых
крепнут орды —
рвут,
насилуют
и грабят,
непокорным
плющат морды.
Молчаливых
кожа
устроена хитро:
плюнут им
в рожу – рожу вытрут.
«Не по рылу грохот нам,
где ж нам
жаловаться?
Не прощаться ж

с крохотным
с нашим
с жалованьицем».
Полчаса
в кутке
покипят,
чтоб снова
дрожать начать.
проснитесь, которые спят!
Разоблачай
с головы до пят.
Товарищ,
не смей молчать!

1928

«ОБЩЕЕ» И «МОЕ»

*Чуть-чуть еще, и он почти б
был положительнейший тип.*

Иван Иваныч —
чуть не «вождь»,
дана
в ладонь
вожжа ему.
К нему
идет
бумажный дождь
с припиской —
«уважаемый».
В делах умен,
в работе —
быстр.
Кичиться —
нет привычек.
Он
добросовестный службист —
не вор,
не волокитчик.
Велик
его
партийный стаж,

взгляни в билет —
и ахни!
Карманы в ручках,
а уста ж
сахарного сахарней.
На зависть
легкость языка,
уверенно
и пусто
он,
взяв путевку из ЭМКА,
бубнит
под Златоуста.
Поет
на соловьиный лад,
играет
слов
оправою
«о здравии комсомолят,
о женском равноправии».
И, сняв
служебные гужи,
узнавши,
час который,
домой
приедет, отслужив,
и...
опускает шторы.
Распустит
он

жилет...
и здесь,
— здесь
частной жизни часики! —
преображается
весь
по-третье-мещански.
Чуть-чуть
не с декабристов
род —
хоть предков
в рамы рамыте!
Но
сына
за уши
дерет
за леность в политграмоте.
Орет кухарке,
разъярясь,
супом
усом
капая: «Не суп, а квас,
который раз,
пермячка сиволапая!..»
Живешь века,
века учась
(гении
не рождаются).
Под граммофон
с подругой

час
под сенью штор
фокстротится.

Жена
с похлебкой из пшена
сокращена
за древностью.

Его
вторая зам-жена
и хороша,
и сложена,
и вымучена ревностью.

Елозя
лапой по ногам,
ероша
юбок утлость,
он вертит
под носом наган:
«Ты с кем
сегодня
путалась?..»

Пожил,
и отошел,
и лег,
а ночь
паучит нити...

Попробуйте,
под потолок
теперь
к нему

взгляните!
И сразу
он
вскочил и взвыл.
Рассердится
и визгнет:
«Не смейте
вмешиваться
вы
в интимность
частной жизни!»
Мы вовсе
не хотим бузить.
Мы кроем
быт столетний.
Но, боже...
Марксе, упаси
нам
заниматься сплетней!
Не будем
в скважины смотреть
на дрязги
в вашей комнате.
У вас
на дом
из суток —
треть,
но знайте
и помните:
глядит

мещанская толпа,
мусолит
стол и ложе...

Как
под стеклянный колпак,
на время
жизнь положим.

Идя
сквозь быт
мещанских клик,
с брезгливостью
преувеличенной,
мы
переменим
жизни лик,
и общей,
и личной.

1928

КАЗАНЬ

Стара,
коса
стоит
Казань.
Шумит
бурун:
«Шурум...
бурум...»
По-родному
тараторя,
снегом
лужи
намарав,
у подворья
в коридоре
люди
смотрят номера.
Кашляя
в рукава,
входит
робковат,
глаза таращит.
Приветствую товарища.

Я

В языках
не очень натаскан —
что норвежским,
что шведским мажь.
Входит татарин:
«Я
на татарском
вам
прочитаю
«Левый марш».
Входит второй.
Косой в скуле.
И говорит,
в карманах порыскав:
«Я—
мариец.
Твой
«Левый»
дай тебе
прочту по-марийски».
Эти вышли.
Шедших этих
в низкой
двери
встретил третий.
«Марш
ваш – наш марш.
Я —
чуваш,
слушай,

уважь.
Марш
вашинский
так по-чувашски...»
Как будто
годы
взял за чуб я —
– Станьте
и не пылите-ка! —
рукою
своею собственной
щупаю
бестелое слово
«политика».
Народы,
жившие,
въямясь в нужду,
притершись
Уралу ко льду,
ворвались в дверь,
идя
на штурм,
на камень,
на крепость культур.
Крива,
коса
стоит
Казань.
Шумит
бурун:

«Шурум...
бурум...»

1928

ТРУС

В меру
и черны и русы,
пряча взгляды,
пряча вкусы,
боком,
тенью,
в стороне, —
пресмыкаются трусы
в славной
смелыми
стране.
Каждый зав
для труса —
туз.
Даже
от его родни
опускает глазки трус
и уходит
в воротник.
Влип
в бумажки
парой глаз,
ног
поджаты циркуля:
«Схорониться б

за приказ...
Спрятаться б
за циркуляр...»
Не поймешь,
мужчина,
рыба ли —
междометья
зря
не выпалит.
Где уж
подпись и печать!
«Только бы
меня не выбрали,
только б
мне не отвечать...»
Ухо в метр
— никак не менее —
за начальством
ходит сзади,
чтоб, услышав
ихнье
мнение,
завтра
это же сказать им.
Если ж
старший
сменит мнение,
он
усвоит
мненье старшино:

– Мнение —
это не именье,
потерять его
не страшно. —
Хоть грабьте,
хоть режьте возле него,
не будет слушать ни плач,
ни вой.

«Наше дело
маленькое —
я сам по себе
не великий немой.

и рот
водою
наполнен мой,
вроде
умывальника я».

Трус
оброс
бумаг
корою.

«Где решать?!
Другие пусть.
Вдруг не выйдет?
Вдруг покроют?
Вдруг
возьму
и ошибусь?»
День-деньской
сплетает тонко

узы
самых странных свадеб —
увязать бы
льва с ягненком,
с кошкой
мышь согласовать бы.
Весь день
сердечко
ужас кро'ит,
предлогов для трепета —
кипа.
Боится автобусов
и Эркаи,
начальства,
жены
и гриппа.
Месткома,
домкома,
просящих займы,
кладбища,
милиции,
леса,
собак,
погоды,
сплетен,
зимы и
показательных процессов.
Подрожит
и ляжет житель,
дрожью

ночь
корежит тело...
Товарищ,
чего вы дрожите?
В чем,
собственно,
дело?!
В аквариум,
что ли,
сажать вас?
Революция требует,
чтобы имелась
смелость,
смелость
и еще раз – с-м-е-л-о-с-т-ь.

1928

ПОМПАДУР

Член ЦИКа тов. Рухула Алы Оглы Ахундов ударил по лицу пассажира в вагоне-ресторане поезда Москва – Харьков за то, что пассажир отказался закрыть занавеску у окна. При составлении дознания тов. Ахундов выложил свой циковский билет.

«Правда», № 111/3943.

Мне неведомо,
в кого я попаду,
знаю только —
попаду в кого-то...
Выдающийся
советский помпадур
выезжает
отдыхать
на воды.
Как шар,
положенный
в намеченную лузу,
он
лысой головой
для поворотов —
туг
и носит

синюю
положенную блузу,
как министерский
раззолоченный сюртук.
Победу
масс,
позволивших
ему
надеть
незыблемых
мандатов латы,
немедля
приписал он
своему уму,
почел
пожизненной
наградой за таланты.
Со всякой массою
такой
порвал давно.
Хоть политический,
но капиталец —
нажит.
И кажется ему,
что навсегда
дано
ему
над всеми
«володеть и княжить».
Внизу

какие-то
проходят, семена, —
его
не развлечешь
противною картиной.
Как будто говорит:
«Не трогайте
меня
касанием плотвы
густой,
но беспартийной».
С его мандатами
какой,
скажите,
риск?
С его знакомствами
ему
считаться не с кем.
Соседу по столу,
напившись в дым и дрызг,
орет он:
«Гражданин,
задернуть занавеску!»
Взбодрен заручками
из ЦИКа и из СТО,
помешкавшего
награждает оплеухой,
и собеседник
сверзился под стол,
придерживая

окровавленное ухо.
Расселся,
хоть на лбу
теши дубовый кол, —
чего, мол,
буду объясняться зря я?!
Величественно
положил
мандат на протокол:
«Прочесть
и расходиться, козыря!»
Но что случилось?
Не берут под козырек?
Сановник
под значком
топырит
грудью
платье.
Не пыжьтесь, помпадур!
Другой зарок
дала
великая
негнущаяся партия.
Метлою лозунгов
звенит железо фраз,
метлою бурь
по дуракам подуло.
– Товарищи,
подыдем ярость масс
за партию,

за коммунизм,
на помпадуров! —
Неизвестно мне,
в кого я попаду,
но уверен —
попаду в кого-то...
Выдающийся
советский помпадур
ехал
отдыхать на воды.

1928

**СТИХ
НЕ ПРО ДРЯНЬ,
А ПРО ДРЯНЦО.
ДРЯНЦО
ХЛЕЩИТЕ
РИФМ КОНЦОМ**

Всем известно,
что мною
дрянь
воспета
молодостью ранней.
Но дрянь не переводится.
Новый грянь
стих
о новой дряни.
Лезет
бытище
в щели во все.
Подновили житьишко,
предназначенное на слом,
человек
сегодня
приспособился и осел,

странной разновидностью —
сидящим ослом.

Теперь —
затишье.

Теперь не нар'одится
дрянь
с настоящим
характерным лицом.

Теперь
пошло
с измельчением народца
пошное,
маленькое,
мелкое дрянцо.

Пережил революцию,
до нэпа д'ожил
и дальше
приспособится,
хитер на уловки.

Очевидно —
недаром тоже
и у булавок
бывают головки.

Где-то
пули
рвут
знамённый шелк,
и нищий
Китай
встает, негодуюя,

а ему —
наплевать.
Ему хорошо:
тепло
и не дует.
Тихо, тихо
стираются грани,
отделяющие
обывателя от дряни.
Давно
канареек
выкинул вон,
нечего
на птицу тратить.
С индустриализации
завел граммофон
да канареечные
абажуры и платица.
Устроил
уютную
постельную нишку.
Его
некультурной
ругать ли гадиною?!

Берет
и с удовольствием
перелистывает книжку
интереснейшую книжку —
сберегательную.
Будучи

очень
в семействе добрым,
так
рассуждает
лапчатый гусь:
«Боже
меня упаси от допра,
а от Мопра —
и сам упасусь».
Об этот
быт,
распухший и сальный,
долга
поэтам
язык оббивать ли?!
Изобретатель,
даешь
порошок универсальный,
сразу
убивающий
клопов и обывателей.

1928

ЕВПАТОРИЯ

Чуть вздыхает волна,
и, вторя ей,
ветерок
над Евпаторией.
Ветерки эти самые
рыскают,
глядят
щеку евпаторийскую.
Ляжем
пляжем
в песочке рыться мы
бронзовыми
евпаторийцами.
Скрип уключин,
всплески
и крики —
развлекаются
евпаторийки.
В дым черны,
в тубетейках ярких
караимы-
евпаторьяки.
И, сравнясь,
загорают рьяней
москвичи —

евпаторьяне,
Всюду розы
на ножках тонких.
Радуются
евпаторёнки.
Все болезни
выжмут
горячие
грязи
евпаторячьи.
Пуд за лето
с любого толстого
соскребет
евпаторство.
Очень жаль мне
тех,
которые
не бывали
в Евпатории.

Евпатория
3 августа 1928 г.

ЗЕМЛЯ НАША ОБИЛЬНА

Я езжу
по южному
берегу Крыма, —
не Крым,
а копия
древнего рая!
Какая фауна,
флора
и климат!
Пою,
восторгаясь
и озирая.
Огромное
синее
Черное море.
Часы
и дни
берегами едем,
слезай,
освежайся,
ездой ум'орен.
Простите, товарищ,
купаться негде.
Окурки
с бутылками

градом упали – здесь
даже
корове
лежать не годится,
а сядешь в кабинку —
тебе
из купален
вопьется
заноза-змея
в ягодицу.
Огромны
сады
в раю симферопольском, —
пудами
плодов
обвисают к лету.
Иду
по ларькам
Евпатории
обыском, —
хоть четверть персика! —
Персиков нету.
Побегал,
хоть версты
меряй на счетчике!
А персик
мой
на базаре и во поле,
слезой
обливая

пушистые щечки,
за час езды
гниет в Симферополе.
Громада
дворцов
отдыхающим нравится.
Прилег
и вскочил от кусачей тоски ты,
я крик
содрогает
спокойствие здравницы:
– Спасите,
на помощь,
съели москиты! —
Но вас
успокоят
разумностью критики,
тревожа
свечой
паутину и пыль:
«Какие же ж
это,
товарищ,
москитики,
они же ж,
товарищ,
просто клопы!»
В душе
сомнений
переполох.

Контрасты —
черт задери их!
Страна абрикосов,
дюшесов
и блох,
здоровья и
дизентерии.
Республику
нашу
не спрятать под ноготь,
шестая
мира
покроется ею.
О,
до чего же
всего у нас много,
и до чего же ж
мало умеют!

1928

ПЛЮШКИН

Послеоктябрьский скопидом обстраивает стол и дом

Обыватель —
многосортен.
На любые
вкусы
есть.
Даже
можно выдать орден —
всех
сумевшим
перечесать.
Многолики эти люди.
Вот один:
годах и в стах
этот дядя
не забудет,
как
тогда
стоял в хвостах.
Если
Союзу
день затруднел —
близкий
видится

бой ему.
О боевом
наступающем дне
этот мыслит по-своему:
«Что-то
рыпаются в Польше...
надобно,
покамест есть,
все достать,
всего побольше
накупить
и приобрести.
На товары
голод тяжкий
мне
готовят
битв года.
Посудите,
где ж подтяжки
мне себе
купить тогда?
Чай вприкуску?
Я не сваха.
С блюдца пить —
привычка свах.
Что ж,
тогда мне
чай и сахар
нарисует,
что ли,

АХРР?»

Оглядев

товаров россыпь,

в жадности

и в алчи укупил

двенадцать grossов

дирижерских палочек.

«Нынче

все

сбесились с жиру.

Глядь —

война чрез пару лет.

Вдруг прикажут —

дирижируй! —

хватать,

а палочек и нет!

И ищи

и там и здесь.

Ничего хорошего!

Я куплю,

покамест есть,

много

и дешево».

Что же вам

в концертном гвалте?

Вы ж

не Никиш,

а бухгалтер.

«Ничего,

на всякий случай,

все же
с палочками лучше».
Взлетала
о двух революциях весть,
Бурлили бури.
Плюхали пушки.
А ты,
как был,
такой и есть
ручною
вшой
копошащийся Плюшкин.

1928

ХАЛТУРЩИК

«Пролетарий
туп жестоко —
дуб
дремучий
в блузной сини!
Он в искусстве
смыслит столько ж,
сколько
свиньи в апельсине.
Мужики —
большие дети.
Крестиянин
туп, как сука.
С ним
до совершеннолетия
можно
только что
сюсюкать».
В этом духе
порешив,
шевелюры
взбивши кущи,
нагоняет
барыши
всесоюзный

маг-халтурщик.
Рыбьим фальцетом
бездарно оря,
он
из опер покрикивает,
он
переделывает
«Жизнь за царя»
в «Жизнь
за товарища Рыкова».
Он
берет
былую оду,
славящую
царский шелк,
«оду»
перешьет в «свободу»
и продаст,
как рев-стишок.
Жанр
намажет
кистью тучной,
но, узя,
что спроса нету,
жанр изрежет
и поштучно
разбазарит
по портрету.
Вылепит
Лассалья

ихняя порода;
если же
никто
не купит ужас глиняный —
прискульптурив
бороду на подбородок,
из Лассалья
сделает Калинина.
Близок
юбилейный риф,
на заказы
вновь добры,
помешают волоса ли?
Год в Калининских побыв,
бодро
бороду побрив,
снова
бюст
пошел в Лассали.
Вновь
Лассаль
стоит в продаже,
омоложенный проворно,
вызывая
зависть
даже
у профессора Воронова.
По наркомам
с кистью лазя,
день-деньской

заказов ждя,
укрепил
проныра
связи
в канцеляриях вождя.
Сила знакомства!
Сила родни!
Сила
привычек и давности!
Только попробуй
да сковырни
этот
нарост бездарностей!
По всем известной вероятности, —
не оберешься
неприятностей.
Рабочий,
крестьянин,
швабру возьми,
метущую чисто
и густо,
и, месяц
меся
часов по восьми,
смети
халтуру
с искусства.

СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ

Нет,
не те «молодежь»,
кто, забившись
в лужайку да в лодку,
начинает
под визг и галдеж
прополаскивать
водкой
глотку.

Нет,
не те «молодежь»,
кто весной
ночами хорошими,
раскривлявшись
модой одеж,
подметают
бульвары
клешами.

Нет,
не те «молодежь»,
кто восхода
жизни зарево,
услыхав в крови
зудеж,
на романы

разбазаривает.
Разве
это молодость?
Нет!
Мало
быть
восемнадцати лет.
Молодые —
это те,
кто бойцовым
рядам поределым
скажет
именем
всех детей:
«Мы
земную жизнь переделаем!»
Молодежь —
это имя —
дар тем,
кто влит в боевой КИМ,
тем,
кто бьется,
чтоб дни труда
были радостны
и легки!

ГАЛОПЩИК ПО ПИСАТЕЛЯМ

Тальников
в «Красной нови»
про меня
пишет
задорно и храбро,
что лиру
я
на агит променял,
перо
променял на швабру.
Что я
по Европам
болтался зря,
в стихах
ни вздохи, ни ахи,
а только
грублю,
случайно узря
Шаляпина
или монахинь.
Растет добродушие
с ростом бород.
Чего
обижать
маленького?!

Хочу не ругаться,
а, наоборот,
понять
и простить Тальникова.
Вы молоды, верно,
сужу по мазкам,
такой
резвун-шалунишка.
Уроки
сдаете
приятным баском
и любите
с бонной,
на радость мозгам,
гулять
в коротких штанишках.
Чему вас учат,
милый барчук, —
я
вас
расспросить хочу.
Успела ли
бонна
вам рассказать
(про это —
и песни поются) —
вы знаете,
10 лет назад
у нас
была

революция.
Лиры
крыл
пулемет-обормот,
и, взяв
лирические манатки,
сбежал Северянин,
сбежал Бальмонт
и прочие
фабриканты патоки.
В Европе
у них
ни агиток, ни швабр —
чиста
ажурная строчка без шва.
Одни —
хореи да ямбы,
туда бы,
к ним бы,
да вам бы.
Оставшихся
жала
белая рать
и с севера
и с юга.
Нам
требовалось переорать
и вьюги,
и пушки,
и ругань!

Их стих,
как девица,
читай на диване,
как сахар
за чаем с блюдца, —
а мы
писали
против плеваний,
ведь, сволочи —
все плюются.
Отбившись,
мы ездим
по странам по всем,
которые
в картах наляпаны,
туда,
где пасутся
долларным посевам
любимые вами —
Шаляпины.
Не для романсов,
не для баллад
бросаем
свои якоря мы —
лощенным ушам
наш стих грубоват
и рифмы
будут корявыми.
Не лезем
мы

по музеям,
на коллизии глаза.
Мой лозунг —
одну разглазей-ка
к революции лазейку...
Теперь
для меня
равнодушная честь,
что чудные
рифмы рожу я.
Мне
как бы
только
почище уесть,
уесть покрупнее буржуя.
Поэту,
по-моему,
слабый плюс торчать
у веков на выкате.
Прощайте, Тальников,
я тороплюсь,
а вы
без меня чирикайте.
С поэта
и на поэта
в галоп скачите,
сшибайтесь лоб о лоб.
Но
скидывайте галоши,
скача

по стихам, как лошадь.
А так скакать —
неопратно:
от вас
по журналам...
пятна.

1928

ИДИЛЛИЯ

Революция окончилась.

Житье чини.

Ручейковой
журчи водицей.

И пошел
советский мещанин
успокаиваться
и обзаводиться.

Белые
обои
кари —
в крапе мух
и в пленке пыли,
а на копоту
и гари

Гаррей
Пилей
прикрепили.

Спелой
дыней
лампа свисла,
светом
ласковым
упав.

Пахнет липким,

пахнет кислым
от пеленок
и супов.
Тесно править
варку,
стирку,
третее
дитё родив.
Вот
ужо
сулил квартиру
в центре
кооператив.
С папой
«Ниву»
смотрят детки,
в «Красной ниве» —
нету терний.
«Это, дети, —
Клара Цеткин,
тетя эта
в Коминтерне».
Впились глазки,
снимки выев,
смотрят —
с час
журналом вея.
Спрашивает
папу
Фия:

«Клара Цеткин —
это фея?»
Братец Павлик
фыркнул:
«Фи, как
немарксична эта Фийка!
Политрук
сказал же ей —
аннулировали фей».
Самовар
кипит со свистом,
граммофон
визжит романс,
два
знакомых коммуниста
подошли
на преферанс.
«Пизырь коки...
черви...
масти...»
Ритуал
свершен сполна...
Смотрят
с полочки
на счастье три
фарфоровых слона.
Обеспечен
сном
и кормом,
вьет

очаг
семейный дым...
И доволен
сам
домкомом,
и домком
доволен им.
Революция не кончилась.
Домашнее
мычанье
покрывает
приближающейся битвы гул...
В трубы
в самоварные
господа мещане
встречу
выдувают
прущему врагу.

1928

СТОЛП

Товарищ Попов
чуть-чуть не от плуга.
Чуть
не от станка
и сохи.
Он —
даже партиец.
но он
перепуган,
брюзжит
баритоном сухим:
«Раскроешь газетину —
в критике вся,
любая
колеблется
глыба.
Кроют.
Кого?
Аж волосья
встают
от фамилий
дыбом.
Ведь это —
подрыв,
подкоп ведь это...

Критику
осторожненько
должно вести.

А эти
критикуют,
не щадя авторитета,
ни чина,
ни стажа,
ни должности.

Критика
снизу —
это яд.

Сверху —
вот это лекарство!

Ну, можно ль
позволить
низам,
подряд,
всем! —

заниматься критиканством?!

О мерзостях
наших
трубим и поем.

Иди
и в газетах срамись я!

Ну, я ошибся...

Так в тресте ж,
в моем,
имеется

ревизионная комиссия.

Ведь можно ж,
не задевая столпов,
в кругу
своих,
братишек, —
вызвать,
сказать:
– Товарищ Попов,
орудуй...
тово...
потеше... —
Пристали
до тошноты,
до рвот...
Обмазывают
кистью густою.
Товарищи,
ведь это же ж
подорвет
государственные устои!
Кого критикуют? —
вопит, возомня,
аж голос
визжит
тенорком. —
Вчера —
Иванова,
сегодня —
меня,
а завтра —

Совнарком!»
Товарищ Попов,
оставьте скулеж.
Болтовня о подрывах —
ложь!
Мы всех зовем,
чтоб в лоб,
а не пятясь,
критика
дрянь
косила.
И это
лучшее из доказательств
нашей
чистоты и силы.

1928

ПОДЛИЗА

Этот сорт народа —
тих
и бесформен,
словно студень, —
очень многие
из них
в наши
дни
выходят в люди.
Худ умом
и телом чахл
Петр Иванович Болдашкин.
В возмутительных прыщах
зря
краснеет
на плечах
не башка —
а набалдашник.
Этот
фрукт
теперь согрет
солнцем
нежного начальства.
Где причина?
В чем секрет?

Я
задумываюсь часто.
Жизнь
его
идет на лад;
на него
не брошу тень я.
Клад его —
его талант:
нежный
способ
обхожденья.
Лижет ногу,
лижет руку,
лижет в пояс,
лижет ниже, —
как кутенок
лижет
суку,
как котенок
кошку лижет.
А язык?!
На метров тридцать
догонять
начальство
вылез —
мыльный весь,
аж может
бриться,
даже

кисточкой не мылась.
Все похвалит,
впавши
в раж,
что
фантазия позволит —
ваш катар,
и чин,
и стаж,
вашу доблесть
и мозоли.
И ему
пошли
чины,
на него
в быту
равнение.
Где-то
будто
вручены
чуть ли не —
бразды правленья.
Раз уже
в руках вожжа,
всех
сведя
к подливым взглядам,
расслюнявит:
«Уважать,
уважать

начальство
надо...»
Мы
глядим,
уныло ахая,
как растёт
от ихней братии
архи-разиерархия
в издевательстве
над демократией.
Вея шваброй
верхом,
низом,
сместь бы
всех,
кто поддались,
всех,
радеющих подлизам,
всех
радетельских
подлиз.

1928

СПЛЕТНИК

Петр Иванович Сорокин
в страсти —
холоден, как лед.
Все ему
чужды пороки:
и не курит
и не пьет.
Лишь одна
любовь
рекой
залила
и в бездну клонит —
любит
этакой серьгой
повисеть на телефоне.
Фарширован
сплетен
кормом,
он
вприпрыжку,
как коза,
к первым
вспомненным
знакомым
мчится

новость рассказать.
Задыхаясь
и сипя,
добредя
до вашей
дали,
он
прибавит от себя
пуд
пикантнейших деталей.
«Ну... —
начнет,
пожавши руки, —
обхохочете живот,
Александр
Петрович
Брюкин —
с секретаршею живет.
А Иван Иванович Тестов —
первый
в тресте
инженер —
из годичного отъезда
возвращается к жене.
А у той,
простите,
скоро —
прибавленьё!
Быть возне!
Кстати,

вот что —
целый город
говорит,
что раз
во сне...»
Скрыл
губу
ладоней ком,
стал
от страха остролицым.
«Новость:
предъявил...
губком...
ультиматум
австралийцам».
Прослюнявив новость
вкупе
с новостишкой
странной
с этой,
быстро
всем
доложит —
в супе
что
варилось у соседа,
кто
и что
отправил в рот,
нет ли,

есть ли
хахаль новый,
и из чьих
таких
щедрот новый
сак
у Ивановой.
Когда
у такого
спросим мы
желание
самое важное —
он скажет:
«Желаю,
чтоб был
мир огромной
замочной скважиной.
Чтоб, в скважину
в эту
влезши на треть,
слюну
подбирая еле,
смотреть
без конца,
без края смотреть —
в чужие
дела и постели».

ХАНЖА

Петр Иванович Васюткин

бога

беспокоит много —

тыщу раз,

должно быть,

в сутки

упомянет

имя бога.

У святоши —

хитрый нрав, —

черт

в делах

сломает ногу.

Пару

коробов

наврав,

перекрестится:

«Ей-богу».

Цапнет

взятку —

лапа в сале.

Вас считая за осла,

на вопрос:

«Откуда взяли?» —

отвечает:

«Бог послал».

Он

заткнул

от нищих уши, —

сколько ни проси, горласт,

как от мухи

отмахнувшись,

важно скажет:

«Бог подаст».

Вам

всуча

дрянце с пыльцой,

обворовывая трест,

крестит

пузо

и лицо,

чист, как голубь:

«Вот те крест».

Грабят,

режут —

очень мило!

Имя

божеское

помнящ,

он

пройдет,

сказав громилам:

«Мир вам, братья,

бог на помощь!»

Вор

крадет
с ворами вкупе.
Поглядев
и скрывшись вбок,
прошептал,
глаза потупив:
«Я не вижу...
Видит бог».
Обворовывая
массу,
разжиревши понемногу,
подытожил
сладким басом:
«День прожил —
и слава богу».
Возвратясь
домой
с питей —
пил
с попом пунцоворожим, —
он
сечет
своих детей,
чтоб держать их
в страхе божьем.
Жене
измочалит
волосья и тело
и, женин
гнев

остудя,
бубнит елейно:
«Семейное дело».
Бог нам
судья».
На душе
и мир
и ясь.
Помянувши
бога
на ночь,
скромно
ляжет,
помолясь,
христианин
Петр Иванович.
Ублажаясь
куличом да пасхой,
божьим словом
нагоняя жир,
все еще
живут,
как у Христа за пазухой,
всероссийские
ханжи.

СТИХИ О РАЗНИЦЕ ВКУСОВ

Лошадь
сказала,
взглянув на верблюда:
«Какая
гигантская
лошадь-ублюдок».
Верблюд же
вскричал!
«Да лошадь разве ты?!
Ты
просто-напросто —
верблюд недоразвитый».
И знал лишь
бог седобородый,
что это —
животные
разной породы.

1928

ПИСЬМО ТОВАРИЦУ КОСТРОВУ ИЗ ПАРИЖА О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ

Простите
меня,
товарищ Костров,
с присущей
душевной ширью,
что часть
на Париж отпущенных строк
на лирику
я растрянжирую.
Представьте:
входит
красавица в зал,
в меха
и бусы оправленная.
Я
эту красавицу взял
и сказал:
— правильно сказал
или неправильно?
Я, товарищ, —
из России,
знаменит в своей стране я,

я видал
девиц красивей,
я видал
девиц стройнее.
Девушкам
поэты любви.
Я ж умен
и голосист,
заговариваю зубы —
только
слушать согласись.
Не поймать
меня
на дряни,
на прохожей
паре чувств,
Я ж
навек
любовью ранен —
еле-еле волочусь.
Мне
любовь
не свадьбой мерить:
разлюбила —
уплыла.
Мне, товарищ,
в высшей мере
наплевать
на купола.
Что ж в подробности вдаваться,

шутки бросьте-ка,
мне ж, красавица,
не двадцать, —
тридцать...
с хвостиком.

Любовь
не в том,
чтоб кипеть крутей,
не в том,
что жгут угольями,
а в том,
что встает за горами грудей
над
волосами-джунглями.

Любить —
это значит:
в глубь двора
вбежать
и до ночи грачьею,
блестя топором,
рубить дрова,
силой
своей
играючи.

Любить —
это с простынь,
бессонницей
рваных,
срываться,
ревнуя к Копернику,

его,
а не мужа Марьи Ивановны,
считая
своим
соперником.

Нам
любовь
не рай да кущи,
нам
любовь
гудит про то,
что опять
в работу пущен
сердца
выстывший мотор.

Вы
к Москве
порвали нить.
Годы —
расстояние.
Как бы
вам бы
объяснить
это состояние?
На земле
огней — до неба...
В синем небе
звезд —
до черта.
Если бы я

поэтом не был,
я б
стал бы
звездочетом.
Подымает площадь шум,
экипажи движутся,
я хожу,
стишки пишу
в записную книжицу.
Мчат
авто
по улице,
а не свалят наземь.
Понимают
умницы:
человек —
в экстазе.
Сонм видений
и идей
полон
до крышки.
Тут бы
и у медведей
выросли бы крылышки.
И вот
с какой-то
грошовой столовой,
когда
докипело это,
из зева

до звезд
взвивается слово
золоторожденной кометой.
Распластан
хвост
небесам на треть,
блестит
и корит оперенье его,
чтоб двум влюбленным
на звезды смотреть
из ихней
беседки сиреневой.
Чтоб подымать,
и вести,
и влечь,
которые глазом ослабли.
Чтоб вражьи
головы
спиливать с плеч
хвостатой
сияющей саблей.
Себя
до последнего стука в груди,
как на свиданье,
простаивая,
прислушиваюсь:
любовь загудит —
человеческая,
простая.
Ураган,

ОГОНЬ,
вода подступают в ропоте.
Кто
сумеет совладать?
Можете?
Попробуйте...

1928

ПИСЬМО ТАТЬЯНЕ ЯКОВЛЕВОЙ

В поцелуе рук ли,
губ ли,
в дрожи тела
близких мне
красный
цвет
моих республик
тоже
должен
пламенеть.
Я не люблю
парижскую любовь:
любую самочку
шелками разукрасьте,
потягиваясь, задремлю,
сказав —
тубо —
собакам
озверевшей страсти.
Ты одна мне
ростом вровень,
стань же рядом
с бровью брови.
дай
про этот

важный вечер
рассказать
по-человечьи.
Пять часов,
и с этих пор
стих
людей
дремучий бор,
вымер
город заселенный,
слышу лишь
свисточный спор
поездов до Барселоны.
В черном небе
молний поступь,
гром
ругней
в небесной драме, —
не гроза,
а это
просто
ревность двигает горами.
Глупых слов
не верь сырью,
не пугайся
этой тряски, —
я взнуздаю,
я смирю
чувства
отпрысков дворянских.

Страсти корь
сойдет коростой,
но радость
неиссыхаемая,
буду долго,
буду просто
разговаривать стихами я.
Ревность,
жены,
слезы...
ну их! —
вспухнут веки,
впору Вию.
Я не сам,
а я
ревную
за Советскую Россию.
Видел
на плечах заплаты,
их
чахотка
лижет вздохом.
Что же,
мы не виноваты —
ста миллионам
было плохо.
Мы
теперь
к таким нежны —
спортом

выпрямишь не многих, —
вы и нам
в Москве нужны,
не хватает
длинноногих.
Не тебе,
в снега
и в тиф
шедшей
этими ногами,
здесь
на ласки
выдать их
в ужины
нефтяниками.
Ты не думай,
щурясь просто
из-под выпрямленных дуг.
Иди сюда,
иди на перекресток
моих больших
и неуклюжих рук.
Не хочешь?
Оставайся и зимуй,
и это
оскорбление
на общий счет нанижем.
Я все равно
тебя
когда-нибудь возьму —

одну
или вдвоем с Парижем.

ОТВЕТ НА БУДУЩИЕ СПЛЕТНИ

Москва
меня
обступает, сипя,
до шепота
голос понижен:
«Скажите,
правда ль,
что вы
для себя авто
купили в Париже?
Товарищ,
смотрите,
чтоб не было бед,
чтоб пресса
на вас не нацыкала.
Купили бы дрожки...
велосипед...
Ну
не более же ж мотоцикла!»
С меня
эти сплетни,
как с гуся вода;
надел
хладнокровия панцирь. —
Купил – говорите?

Конешно,
да.
Купил,
и бросьте трепаться.
Довольно я шлепал,
дохл
да тих,
на разных
кобылах-выдрах.
Теперь
забензинено
шесть лошади в моих
четырёх цилиндрах.
Разят
желтизною
из медных глазниц
глаза —
не глаза,
а жуть!
И целая
улица
падает ниц,
когда
кобылицы ржут.
Я рифм
накосил
чуть-чуть не стог,
аж впору
бухгалтеру сбиться.
Две тыщи шестьсот

бессоннейших строк
в руле,
в рессорах
и в спицах.
И мчишься,
и пишешь,
и лучше, чем в кресле.
Напрасно
завистники злятся.
Но если
объявят опасность
и если
бой
и мобилизация —
я, взяв под уздцы,
кобылиц подам
товарищу комиссару,
чтоб мчаться
навстречу
жданым годам
в последнюю
грозную свару.
Не избежать мне
сплетни дрянной.
Ну что ж,
простите, пожалуйста,
что я
из Парижа
привез «рено»,
а не духи

и не галстук.

1928

МРАЗЬ

Подступает
голод к glandам.
Только,
будто бы на пире,
ходит
взяточников банда,
кошельки порастопыря.
Родные
снуют:
– Ублажь да уважь-ка! —
Снуют
и суют
в бумажке барашка.
Белей, чем саван,
из портфеля кончики...
Частники
завам
суют червончики.
Частник добрый,
частник рад
бросить
в допры наш аппарат.
Допру нить не выдавая,
там,
где быт

и где грызня,
ходит
взятка бытовая, —
сердце,
душу изгрязня.
Безработный
ждет работку.
Волокита
с бирж рычит:
«Ставь закуску, выставь водку,
им всучи
магарычи!»
Для копеек
пропотелых,
с голодухи
бросив
срам, —
девушки
рабочье тело
взяткой
тычут мастерам.
Чтобы выбиться нам
сквозь продажную смрадь
из грязного быта
и вшивого —
давайте
не взятки брать,
а взяточника
брать за шиворот!

ПЕРЕКОПСКИЙ ЭНТУЗИАЗМ!

Часто
сейчас
по улицам слышишь
разговорчики
в этом роде:
"Товарищи, легче,
товарищи, тише.
Это
вам
не 18-й годик!"
В нору
влезла
гражданка Кротиха,
в нору
влез
гражданин Крот.
Радуются:
"Живем ничего себе,
тихо.
Это
вам
не 18-й год!"
Дама
в шляпе рубликов на сто
кидает

кому-то,
запахивая котик:
"Не толкаться!
Но-но!
Без хамства!
Это
вам
не 18-й годик!"
Малого
мелочь
работой скосила.
В унынье
у малого
опущен рот...
"Куда, мол,
девать
молодецкие силы?
Это
нам
не 18-й год!"
Эти
потоки
слюнявого яда
часто
сейчас
по улице льются...
Знайте, граждане!
И в 29-м
длится
и ширится

Октябрьская революция.
Мы живем
приказом
октябрьской воли.
Огонь
«Авроры»
у нас во взоре.
И мы
обывателям
не позволим
баррикадные дни
чернить и позорить.
Года
не вымерить
по единой мерке.
Сегодня
равноценны
храбрость и разум.
Борись
и в мелочах
с баррикадной энергией,
в стройку
влей
перекопский энтузиазм.

1929

РАЗГОВОР С ТОВАРИЩЕМ ЛЕНИНЫМ

Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.
Рот открыт
в напряженной речи,
усов
щетинка
вздернулась ввысь,
в складках лба
зажата
человечья,
в огромный лоб
огромная мысль.
Должно быть,
под ним
проходят тысячи...
Лес флагов...

рук трава...
Я встал со стула,
радостью высвечен,
хочется —
идти,
приветствовать,
рапортовать!
"Товарищ Ленин,
я вам докладываю
не по службе,
а по душе.
Товарищ Ленин,
работа адская
будет
сделана
и делается уже.
Освещаем, одеваем нищ и оголь,
ширится
добыча
угля и руды...
А рядом с этим,
конечно,
много,
много
разной
дряни и ерунды.
Устаешь
отбиваться и отгрызаться.
Многие
без вас

отбились от рук.

Очень
много
разных мерзавцев
ходят
по нашей земле
и вокруг.

Нету
им
ни числа,
ни клички,
целая
лента типов
тянется.
Кулаки
и волокитчики,
подхалимы,
сектанты
и пьяницы, —
ходят,
гордо
выпятив груди,
в ручках сплошь
и в значках нагрудных...

Мы их
всех,
конешно, скрутим,
но всех
скрутить
ужасно трудно.

Товарищ Ленин,
по фабрикам дымным,
по землям,
покрытым
и снегом
и жнивьям,
вашим,
товарищ,
сердцем
и именем
думаем,
дышим,
боремся
и живем!.."
Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.

МРАЧНОЕ О ЮМОРИСТАХ

Где вы,
бодрые задиры?
Крыть бы розгой!
Взять в слезу бы!
До чего же
наш сатирик
измельчал
и обеззубел!
Для подхода
для такого
мало,
што ли,
жизнь дрянна?
Для такого
Салтыкова —
Салтыкова-Щедрина?
Заголовком
жирно-алым
мозжечок
прикрывши
тощий,
ходят
тихо
по журналам
дореформенные тещи.

Саранчой
улыбки выев,
ходят
нэпманам на страх
анекдоты гробовые —
гроб
о фининспекторах.
Или,
злостью измусоля
сотню
строк
в бумажный крах,
пишут
про свои мозоли
от зажатия в цензорах.
Дескать,
в самом лучшем стиле,
будто
розы на заре,
лепестки
пораспустили б
мы
без этих цензоров.
А поди
сними рогатки —
этаких
писцов стада
пару
анекдотов гадких
ткнул —

и снова пустота.
Цензоров
обвыли воем.
Я ж
другую
мыслью ранен:
жалко бедных,
каково им
от прочтения
столькой дряни?
Обличитель,
меньше кремю,
очень
темы
хороши.
О хорошенькую тему
зуб
не жалко искрошить.
Дураков
больших
обдумав,
взяли б
в лапы
лупы вы.
Мало, што ли,
помпадуров?
Мало —
градов Глуповых?
Припаси
на зубе

яд,
в километр
жало вызмей
против всех,
кто зря
сидят
на труде,
на коммунизме!
Чтоб не скрылись,
хвост упрятав,
крупных
вылови налимов —
кулаков
и бюрократов,
дураков
и подхалимов.

Измельчал
и обеззубел,
обэстетился сатирик.
Крыть бы в розги,
взять в слезу бы!
Где вы,
бодрые задиры?

УРОЖАЙНЫЙ МАРШ

Добьемся урожая мы —
втройне,
земля,
рожай!
Пожалте,
уважаемый
товарищ урожай!
Чтоб даром не потели мы
по одному,
по два —
колхозами,
артелями
объединись, братва.
Земля у нас хорошая,
землица неплоха,
да надобно
под рожь ее
заранее вспахать.
Чем жить, зубами щелкая
в голодные года,
с проклятою
с трехполкою
покончим навсегда.
Вредителю мы
начисто

готовим карачун.
Сметем с полей
кулачество,
сорняк
и саранчу.
Разроем складов завали.
От всех
ответа ждем, —
чтоб тракторы
не ржавели
впустую под дождем.
Поля
пройдут науку
под ветром-игруном...
Даешь
на дружбу руку,
товарищ агроном!
Земля
не хочет более
терпеть
плохой уход, —
готовься,
комсомолия,
в передовой поход.
Кончай
с деревней серенькой,
вставай,
который сер!
Вперегонки
с Америкой

иди, СССР!
Добьемся урожая мы —
втройне,
земля,
рожай!
Пожалте,
уважаемый
товарищ урожай!

1929

ДУША ОБЩЕСТВА

Из года в год
легенда тянется —
легенда
тянется
из века в век:
что человек, мол,
который пьяница, —
разувлекательнейший человек.
Сквозь призму водки,
мол,
все – красотки...
Любая
гадина —
распривлекательна.
У машины
общества
поразвинтились гайки —
люди
лижут
довоенного лютей.
Скольким
заменяли
водочные спайки
все
другие

способы
общения людей?!

Если
муж
жену
истаскивает за волосы —
понимай, мол,
я
в семействе барин! —
это значит,
водки нализался
этот
милый,
увлекательнейший пареньь.

Если
парень
в сногшибательнейшем раже
доставляет
скорой помощи
калек —
ясно мне,
что пивом взбудоражен
этот
милый,
увлекательнейший человек.

Если
парень,
запустивши лапу в кассу,
удостаивает
сам себя

и премий и наград —
значит,
был привержен
не к воде и квасу
Этот
милый,
увлекательнейший казнокрад.
И преступления
всех систем,
и хрип хулигана,
и пятна быта
сегодня
измеришь
только тем —
сколько
пива
и водки напито.
Про пьяниц
много
пропето разного, —
из пьяных пеней
запомни только:
беги от ада
от заразного,
тащи
из яда
алкоголика.

КАНДИДАТ ИЗ ПАРТИИ

Сколько их?
Числа им нету.
Пяля блузы,
пяля френчи,
завели по кабинету
и несут
повинность эту
сквозь заученные речи.
Весь
в партийных причиндалах,
ноздри вздернул —
крыши выше...
Есть бумажки —
прочитал их,
нет бумажек —
сам напишет.
Все
у этих
в порядке,
не язык,
а маслобой...
Служит
и играет в прятки
с партией,
с самим собой.

С классом связь?
Какой уж класс там!
Классу он —
одна помеха.
Стал
стотысячным балластом.
Ни пройти с ним,
ни проехать.
Вышел
из бойцов
с годами
в лакированные душки...
День пройдет —
знакомой даме
хвост
накрутит по вертушке.

Освободиться бы
от ихней братии,
удобней будет
и им
и партии.

ВОНЗАЙ САМОКРИТИКУ!

Наш труд
сверкает на «Гиганте»,
сухую степь
хлебами радуя.

Наш труд
блестит.
Куда ни гляньте,
встает
фабричную оградою.

Но от пятна
и солнца блеск
не смог
застраховаться, —
то ляпнет
нам

пятно
Смоленск,
то ляпнут
астраханцы.

Болезнь такая
глубока,
не жди,
газеты пока
статейным
гноем вытекут, —

ножом хирурга
в бока
вонзай самокритику!
Не на год,
не для видика
такая
критика.
Не нам
критиковать крича
для спорта
горластого,
нет,
наша критика —
рычаг
и жизни
и хозяйства.
Страна Советов,
чисть себя —
нутро и тело,
чтоб, чистотой
своей
блестя,
республика глядела.
Чтоб не шатать
левой,
правей
домину коммунизма,
шатающихся
проверь
своим

рабочим низом.
Где дурь,
где белых западня,
где зава
окружит родня —
вытравливай
от дня до дня
то ласкою,
то плетью,
чтоб быстро бы
страну
поднять,
идя
по пятилетью.
Нам
критика
из года в год
нужна,
запомните,
как человеку —
кислород,
как чистый воздух —
комнате.

1929

НА ЗАПАДЕ ВСЕ СПОКОЙНО

Как совесть голубя,
чист асфальт.
Как лысина банкира,
тротуара плиты
(после того,
как трупы
на грузовозы взвалят
и кровь отмоют
от плит политых).
В бульварах
буржуеныши,
под нянин сказ,
медведям
игрушечным
глядят плюшики
(после того,
как баллоны
заполнил газ
и в полночь
прогрохали
к Польше
пушки).
Миротворцы
сияют
цилиндровым гляncем,

МОЗОЛЯТ ЯЗЫК,
СОСТЯЗАЯСЬ С МЕЧОМ
(ПОСЛЕ ТОГО,
КАК ПОСЛАНЫ
ВИНТОВКИ АФГАНЦАМ,
А БОМБЫ —
БАСМАЧАМ).
СИДЯТ
ПО КАФЕ
ГУСАРЫ СПЕШЕННЫЕ.
ПЕХОТА
РАЗВЛЕКАЕТСЯ
В ШТАТСКОЙ ЛЕНИ.
А ПОД ЭТОЙ
ИДИЛЛИЕЙ —
ВЗЛИХОРАДЕННО-БЕШЕННЫЕ
ВОЕННЫЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ.
КРОВАВЫХ КАПЕЛЬ
ПУНКТИРНЫЙ ПУТЬ
ПОЛЗЕТ ПО ЗЕМЛЕ, —
НЕДАРОМ КРУГЛА!
КТО-НИБУДЬ
КОГО-НИБУДЬ
ПОДСТРЕЛИВАЕТ
ИЗ-ЗА УГЛА.
ЦЕЛЯТ —
В СЕРДЦЕ.
В САМУЮ ТОЧКУ.
ОДНО

стрельбы командирам
надо —
бунтовщиков
смирив в одиночку,
погнать
на бойню
баранье стадо.
Сегодня
кровишка
мелких стычек,
а завтра
в толпы
танки тыча,
кровищи
вкус
война поймет, —
пойдет
хлестать
с бронированных птичек
железа
и газа
кровавый помет.
Смотри,
выступает
из близких лет,
костьми постукивает
лошадь-краса.
На ней
войны
пожелтый скелет,

и сталью
синеет
смерти коса.
Мы,
излюбленное
пушечное лакомство,
мы,
оптовые потребители
костылей
и протез,
мы
выйдем на улицу,
мы
1 августа
аж к небу
гвоздями
прибьем протест.
Долой
политику
пороховых бочек!
Довольно
дома
пугливо щуплиться!
От первой республики
крестьян и рабочих
отбросим
войны
штыкастые щупальцы.
Мы
требуем мира.

Но если
тронете,
мы
в роты сожмемся,
сжавши рот.
Зачинщики бойни
увидят
на фронте
один
восставший
рабочий фронт.

1929

ПАРИЖАНКА

Вы себе представляете
парижских женщин
с шеей разжемчуженной,
разбриллиантенной
рукой...
Бросьте представлять себе!
Жизнь —
жестче —
у моей парижанки
вид другой.
Не знаю, право,
молода
или стара она,
до желтизны
отшлифованная
в лощеном хамье.
Служит
она
в уборной ресторана —
маленького ресторана —
Гранд-Шомьер.
Выпившим бургундского
может захотеться
для облегчения
пойти пройтись.

Дело мадмуазель
подавать полотенце,
она
в этом деле
просто артист.
Пока
у трюмо
разглядываешь прыщик,
она,
разулыбив
облупленный рот,
пудрой подпудрит,
духами попрыщет,
подаст пипифакс
и лужу подотрет.
Раба чревоугодий
торчит без солнца,
в клозетной шахте
по суткам
клопая,
за пятьдесят сантимов!
(По курсу червонца
с мужчины
около
четырёх копеек.)
Под умывальником
ладони оmyвая,
дыша
диковиной
парфюмерных зелий,

над мадмуазелью
недоумевающая,
хочу
сказать
мадмуазели:
– Мадмуазель,
ваш вид,
извините,
жалок.

На уборную молодость
губить не жалко вам?

Или
мне
наврали про парижанок,
или
вы, мадмуазель,
не парижанка.
Выглядите вы
туберкулезно
и вяло.

Чулки шерстяные...
Почему не шелка?
Почему
не шлют вам
пармских фиалок
благородные мусью
от полного кошелька? —
Мадмуазель молчала,
грохот наваливал
на трактир,

на потолок,
на нас.
Это,
кружа
веселье карнавалово,
весь
в парижанках
гудел Монпарнас.

Простите, пожалуйста,
за стих раскрежещенный
и
за описанные
вонючие лужи,
но очень
трудно
в Париже
женщине,
если
женщина
не продается,
а служит.

КРАСАВИЦЫ

(Раздумье на открытии Grand Opera)7

В смокинг вштопорен,
побрит что надо.
По гранд
по опере
гуляю грандом.
Смотрю
в антракте —
красавка на красавице.
Размяк характер —
все мне
нравится.
Талии —
кубки.
Ногти —
в глянце.
Крашенные губки
розой убиганятся.
Ретушь —
у глаза.
Оттеняет синь его.
Спины

из газа
цвета лососиньего.
Упадая
с высоты,
пол
метут
шлейфы.
От такой
красоты
сторонитесь, рефы.
Повернет —
в брильянтах уши.
Пошевелится шаля —
на грудинке
ряд жемчужин
обнажают
шиншиля.
Платье —
пухом.
Не дыши.
Аж на старом
на морже
только фай
да крепдешин,
только
облако жоржет.
Брошки – блещут...
на тебе! —
с платья
с полуголого.

Эх,
к такому платью бы
да еще бы...
голову.

1929

СТИХИ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ

Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту...
По длинному фронту
купе
и кают
чиновник
учтивый движется.
Сдают паспорта,
и я
сдаю
мою
пурпурную книжицу.
К одним паспортам —
улыбка у рта.
К другим —

отношение левое.
С почтением
берут, например,
паспорта
с двухспальным
английским левою.
Глазами
доброе дядю выев,
не переставая
кланяться,
берут,
как будто берут чаевые,
паспорт
американца.
На польский —
глядят,
как в афишу коза.
На польский —
выпяливают глаза
в тугой
полицейской слоновости —
откуда, мол,
и что это за
географические новости?
И не повернув
головы кочан
и чувств
никаких
не изведав,
берут,

не моргнув,
паспорта датчан
и разных
прочих
шведов.
И вдруг,
как будто
ожогом,
рот
скривило
господину.
Это
господин чиновник
берет
мою
краснокожую паспортину.
Берет —
как бомбу,
берет —
как ежа,
как бритву
обоюдоострую,
берет,
как гремучую
в 20 жал
змею
двухметроворостую.
Моргнул
многозначаще
глаз носильщика,

хоть вещи
снесет задаром вам.

Жандарм

вопросительно
смотрит на сыщика,

сыщик

на жандарма.

С каким наслаждением

жандармской кастой

я был бы

исхлестан и распят

за то,

что в руках у меня

молоткастый,

серпастый

советский паспорт.

Я волком бы

выгрыз

бюрократизм.

К мандатам

почтения нету.

К любым

чертям с матерями

катись

любая бумажка.

Но эту...

Я

достаю

из широких штанин

дубликатом

бесценного груза.
Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин
Советского Союза.

1929

АМЕРИКАНЦЫ УДИВЛЯЮТСЯ

Обмерев,
с далекого берега
СССР
глазами выев,
привстав на цыпочки,
смотрит Америка,
не мигая,
в очки роговые.
Что это за люди
породы редкой
копошатся стройкой
там,
поодаль?
Пофантазировали
с какой-то пятилеткой...
А теперь
выполняют
в 4 года!
К таким
не подойдешь
с американской меркою.
Их не соблазняют
ни долларом,
ни гривною,
и они

во всю
человечью энергию
круглую
неделю
дуют в непрерывную.
Что это за люди?
Какая закалка!
Кто их
так
в работу вклинил?
Их
не гонит
никакая палка —
а они
сжимаются
в стальной дисциплине!
Мистеры,
у вас
практикуется исстари
деньгой
окупать
строительный норов.
Вы
не поймете,
пухлые мистеры,
корни
рвения
наших коммунаров.
Буржуи,
дивитесь

коммунистическому берегу —
на работе,
в аэроплане,
в вагоне
вашу
быстроногую
знаменитую Америку
мы
и догоним
и перегоним.

1929

ПРИМЕР, НЕ ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ

Тем, кто поговорили и бросили

Все —
в ораторском таланте.
Пьянке —
смерть без колебания.
Это
заседает
анти-
алкогольная компания.
Кулаком
наотмашь
в грудь
бьют
себя
часами кряду.
"Чтобы я?
да как-нибудь?
да выпил бы
такого яду?!"
Пиво —
сгинь,

и водка сгинь!

Будет
сей порок
излечен.

Уменьшает
он
мозги,
увеличивая
печень.

Обсудив
и вглубь
и вдоль,
вырешили
все
до толики:
де —
ужасен алкоголь,
и —
ужасны алкоголики.

Испершив
речами
глотки,
сделали
из прений
вывод,
что ужасный
вред
от водки
и ужасный
вред от пива...

Успокоившись на том,
выпив
чаю
10 порций,
бодро
вылезли
гуртом
яростные
водкоборцы.
Фонарей
горят
шары,
в галдеже
кабачный улей,
и для тени
от жары
водкоборцы
завернули...
Алкоголики, —
воспряньте!
Неуместна
ваша паника!
Гляньте —
пиво хлещет
анти —
алкогольная компанийка.

ПТИЧКА БОЖИЯ

Он вошел,
склонясь учтиво.

Руку жму.

– Товарищ —
сядьте!

Что вам дать?

Автограф?

Чтиво!"

– Нет.

Мерси вас.

Я —

писатель.

– Вы?

Писатель?

Извините.

Думал —

вы пижон.

А вы...

Что ж,

прочтите,

зазвените

грозным

маршем

боевым.

Вихрь идей

у вас,
должно быть.
Новостей
у вас
вагон.
Что ж,
пожалте в уха в оба.
Рад товарищу. —
А он:
– Я писатель.
Не прозаик.
Нет.
Я с музами в связи. —
Слог
изыскан, как борзая.
Сконапель
ля поэзи.
На затылок
нежным жестом
он
кудрей
закинул шелк,
стал
барашком златошерстым
и заблеял,
и пошел.
Что луна, мол,
над долиной,
мчит
ручей, мол,

по ущелью.
Тинтидликал
мандолиной,
дундудел виолончелью.
Нимб
обвил
волосьев копны.
Лоб
горел от благородства.
Я терпел,
терпел
и лопнул
и ударил
лапой
об стол.
– Попрошу вас
покороче.
Бросьте вы
поэта корчить!
Посмотрю
с лица ли,
сзади ль,
вы тюльпан,
а не писатель.
Вы,
над облаками рея,
птица
в человечесий рост.
Вы, мусье,
из канареек,

чижик вы, мусье,
и дрозд.
В испытанье
битв
и бед
с вами,
што ли,
мы
полезем?
В наше время
тот —
поэт,
тот —
писатель,
ктолезен.
Уберите этот торт!
Стих даешь —
хлебов подвозу.
В наши дни
писатель тот,
кто напишет
марш
и лозунг!

СТИХИ О ФОМЕ

Мы строим коммуну,
и жизнь
сама
трубит
наступающей эре.
Но между нами
ходит
Фома,
и он
ни во что не верит.
Наставь
ему
достижений любых
на каждый
вкус
и вид,
он лишь
тебе
половину губы
на достиженья —
скривит.
Идем
на завод
отстроенный
мы —

смирись
перед ликом
факта.
Но скептик
смотрит
глазами Фомы:
– Нет, что-то
не верится как-то. —
Покажешь
Фомам
вознесенный дом
и ткнешь их
и в окна,
и в двери.
Ничем
не расцветятся
лица у Фом.
Взглянут —
и вздохнут:
«Не верим!»
Послушайте,
вы,
товарищ Фома!
У вас
повадка плохая.
Не надо
очень
большого ума,
чтоб все
отвергать

и хаять.
И толк
от похвал,
разумеется, мал.
Но слушай,
Фомина шатя!
Уж мы
обойдемся
без ваших похвал —
вы только
труду не мешайте.

1929

Я СЧАСТЛИВ!

Граждане,
у меня
огромная радость.
Разулыбьте
сочувственные лица.

Мне
обязательно
поделиться надо,
стихами
хотя бы
поделиться.

Я
сегодня
дышу как слон,
походка
моя
легка,
и ночь
пронеслась,
как чудесный сон,
без единого
кашля и плевка.

Неизмеримо
выросли
удовольствий дозы.

Дни осени —
баней воняют,
а мне
цветут,
извините, —
розы,
и я их,
представьте,
обоняю.
И мысли
и рифмы
покрасивели
и особенные,
аж вытаращит
глаза
редактор.
Стал вынослив
и работоспособен,
как лошадь
или даже —
трактор.
Бюджет
и желудок
абсолютно превосходен,
укреплен
и приведен в равновесие.
Стопроцентная
экономия
на основном расходе —
и поздоровел

и прибавил в весе я.

Как будто

на язык

за кусом кус

кладут

воздушнейшие торта —

такой

установился

феерический вкус

в благоуханных

апартаментах

рта.

Голова

снаружи

всегда чиста,

а теперь

чиста и изнутри.

В день

придумывает

не меньше листа,

хоть Толстому

ноздрю утри.

Женщины

окружили,

платья испестря,

все

спрашивают

имя и отчество,

я стал

определенный

весельчак и остряк —
ну просто —
душа общества.
Я
порозовел
и пополнил в лице,
забыл
и гриппы
и кровать.
Граждане,
вас
интересует рецепт?
Открыть?
или...
не открывать?
Граждане,
вы
утомились от жданья,
готовы
корить и крыть.
Не волнуйтесь,
сообщаю:
граждане —
я
сегодня —
бросил курить.

РАССКАЗ ХРЕНОВА О КУЗНЕЦКСТРОЕ И О ЛЮДЯХ КУЗНЕЦКА

К этому месту будет подвезено в пятилетку 1 000 000 вагонов строительных материалов. Здесь будет гигант металлургии, угольный гигант и город в сотни тысяч людей.

Из разговора.

По небу
тучи бегают,
дождями
сумрак сжат,
под старую
телегою
рабочие лежат.
И слышит
шепот гордый
вода
и под
и над:
"Через четыре
года
здесь

будет
город-сад!"
Темно свинцовоночие,
и дождик
толст, как жгут,
сидят
в грязи
рабочие,
сидят,
лучину жгут.
Сливеют
губы
с холода,
но губы
шепчут в лад:
"Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!"
Свела
промозглость
корчею —
неважный
мокр
уют,
сидят
впотьмах
рабочие,
подмокший

хлеб
жуют.
Но шепот
громче голода —
он кроет
капель
спад:
"Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!
Здесь
взрывы закудахтают
в разгон
медвежьих банд,
и взроет
недра
шахтою
стоугольный
«Гигант».
Здесь
встанут
стройки
стенами.
Гудками,
пар,
сипи.
Мы
в сотню солнц

мартенами
воспламеним
Сибирь.
Здесь дом
дадут
хороший нам
и ситный
без пайка,
аж за Байкал
отброшенная
попятится тайга".

Рос
шепоток рабочего
над тенью
тучных стад,
а дальше
неразборчиво,
лишь слышно —
«город-сад».

Я знаю —
город
будет,
я знаю —
саду
цвезть,
когда
такие люди
в стране
в советской
есть!

1929

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Огромные вопросы,
огромней слоних,
страна
решает
миллионнолобая.

А сбоку
ходят
индивидуумы,
а у них
мнение обо всем
особое.

Смотрите,
в ударных бригадах
Союз,
держат темп
и не ленятся,
но индивидум в ответ:

"А я
остаюсь
при моем,
особом мненьце".

Мы выполним
пяtilетку,
мартены воспламеня,
не в пять годов,

а в меньше,
но индивидуум
не верит:
"А у меня
имеется, мол,
особое мненьище".
В индустриализацию
льем заем,
а индивидуум
сидит в томлении
и займа не покупает
и настаивает на своем
собственном,
особенном мнении.
Колхозим
хозяйства
бедняцких масс,
кулацкой
не спугнуты
злобою,
а индивидуумы
шепчут:
"У нас
мнение
имеется
особое".
Субботниками
бьет
рабочий мир
по неразгруженным

картофелям и поленьям,
а индивидуумы
нам
заявляют:
"Мы
посидим
с особым мнением".
Не возражаю!
Консервируйте
собственный разум,
прикосновением
ничьим
не попортив,
но тех,
кто в работу
впрягся разом, —
не оттягивайте
в сторонку
и напротив.
Трясина
старья
для нас не годна —
ее
машиной
выжжем до дна.
Не втыкайте
в работу
клинья, —
и у нас
и у массы

и мысль одна
и одна
генеральная линия.

1929

ДАЕШЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ БАЗУ!

Пусть ропщут поэты,
слюною плеща,
губою
презрение вызмеив.
Я,
душу не снизив,
кричу о вещах,
обязательных при социализме.
"Мне, товарищи,
этажи не в этажи —
мне
удобства подай.
Мне, товарищи,

хочется жить
не хуже,
чем жили господа.
Я вам, товарищи,
не дрозд
и не синица,
мне
и без этого
делов массу.
Я, товарищи,
хочу возноситься,

как подобает
господствующему классу.
Я, товарищи,
из нищих вышел,
мне
надоело
в грязи побираться.
Мне бы, товарищи,
жить повыше,
у самых
солнечных
протуберанцев.
Мы, товарищи,
не лошади
и не дети —
скакать
на шестой,
поклажу взвалив?!
Словом, —
во-первых,
во-вторых,
и в-третьих, —
мне
подавайте лифт.
А вместо этого лифта
мне —
прыгать —
работа трехпотая!
Черным углем
на белой стене

выведено криво:

"Лифт

НЕ

работает".

Вот так же

и многое

противно глазу. —

Примуса, например?!

Дорогу газу!

Поработав,

желаю

помыться сразу.

Бегай —

лифт-мошенник!

Словом,

давайте

материальную базу

для новых

социалистических отношений".

Пусть ропщут поэты,

слюною плеща,

губою

презрение вызмеив.

Я,

душу не снизив,

кричу о вещах,

обязательных

при социализме.

ЛЮБИТЕЛИ ЗАТРУДНЕНИЙ

Он любит шептаться,
хитер да тих,
во всех
городах и селеньицах:
"Тс-с, господа,
я знаю —
у них
какие-то затрудненьица".

В газету
хихикает,
над цифрой трунив:
"Переборщили,
замашинив денежки.

Тс-с, господа,
порадуйтесь —
у них
"какие-то
такие затрудненьишки".

Усы
закручивает,
весел и лих:
"У них
захудшился день еще.

Тс-с, господа,
подождем —

у них
теперь
огромные затрудненьища".
Собрав
шептунов,
врунов
и вруних,
переговаривается
орава:
"Тс-с-с, господа,
говорят,
у них
затруднения.
Замечательно!
Браво!"
Затруднения одолеешь,
сбавляет тон,
переходит
от веселия
к грусти.
На перспективах
живо
наживается он —
он
своего не упустит.
Своего не упустит он,
но зато
у другого
выгрызет лишек,
не упустит

оставиться
в сто задов
любой
из очередишек.
И вылезем лишь
из грязи
и тьмы —
он первый
придет, нахален,
и, выпятив грудь,
раззаявит:
"Мы
аж на тракторах —
пахали!"
Республика
одолеет
хозяйства несчастья,
догонит
наган
врага.
Счищай
с путей
завшивевших в мещанстве,
путающихся
у нас
в ногах!

МАРШ УДАРНЫХ БРИГАД

Вперед
тракторами по целине!
Домны
коммуне
подступом!
Сегодня
бейся, революционер,
на баррикадах
производства.
Раздувай
коллективную
грудь-меха,
лозунг
мчи
по рабочим взводам.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.
Вперед,
в египетскую
русскую темь,
как
гвозди,
вбивай

лампы!
Шаг держи!
Не теряй темп!
Перегнать
пятилетку
нам бы.
Распрабабкиной техники
скидывай хлам.
Днепр,
турбины
верти по заводьям.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.
Вперед!
Коммуну
из времени
вод
не выловишь
золото-рыбкою.
Накручивай,
наворачивай ход
без праздников —
непрерывкою.
Трактор
туда,
где корпела соха,
хлеб
штурмуй

колхозным
походом.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.
Вперед
беспрогульным
гигантским ходом!
Не взять нас
буржуевым гончим!
Вперед!
Пятилетку
в четыре года
выполним,
вымчим,
закончим.
Электричество
лей,
река-лиха!
Двигай фабрики
фырком зловодым.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.
Энтузиазм,
разрастайся и длись
фабричным
сиянием радужным.

Сейчас
подымается социализм
живым,
настоящим,
правдошним.
Этот лозунг
неси
бряцаньем стиха,
размалюй
плакатным разводом.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов —
к ударным заводам.

1930

* * *

Уже второй. Должно быть, ты легла.
В ночи Млечпуть серебряной Окою.
Я не спешу, и молниями телеграмм
мне незачем тебя будить и беспокоить.
Как говорят, инцидент исперчен.
Любовная лодка разбилась о быт.
С тобой мы в расчете. И не к чему перечень
взаимных болей, бед и обид.
Ты посмотри, какая в мире тишь.
Ночь обложила небо звездной данью.
В такие вот часы встаешь и говоришь
векам, истории и мирозданию.

1930

ЛЕНИНЦЫ

Если
блокада
нас не сморила,
если
не сожрала
война горяча —
это потому,
что примером,
мерилом
было
слово
и мысль Ильича.
– Вперед
за республику
лавой атак!
На первый
военный клич! —
Так
велел
защищаться
Ильич.
Втрое,
каждый
станок и верстак,
работу

свою
увеличь!
Так
велел
работать
Ильич.
Наполним
нефтью
республики бак!
Уголь,
расти от добыч!
Так
работать
велел Ильич.
"Снижай себестоимость,
выведи брак!" —
гудков
вызывает
зыч, —
так
работать
звал Ильич.
Комбайном
на общую землю наляг.
Огнем
пустыри расфабричь!
Так
Советам
велел Ильич.
Сжимай экономией

каждый пятак.

Траты

учись стричь, —

так

хозяйничать

звал Ильич.

Огнями ламп

просверливой мрак,

республику

разэлектричь, —

так

велел

рассветиться

Ильич.

Религия – опиум,

религия – враг,

довольно

поповских притч, —

так

жить

велел Ильич.

Достань

бюрократа

под кипой бумага,

рабочей

ярости

бич, —

так

бороться

велел Ильич.

Не береги
от критики
лак,
чин
в оправданье
не тычь, —
так
велел
держаться
Ильич.
«Слева»
не рви
коммунизма флаг,
справа
в унынье не хнычь, —
так
идти
наказал Ильич.
Намордник фашистам!
Довольно
собак
спускать
на рабочую «дичь»!
Так
велел
наступать Ильич.
Не хнычем,
а торжествуем
и чествуем.
Ленин с нами,

бессмертен и величав,
по всей вселенной
ширится шествие —
мыслей,
слов
и дел Ильича.

1930

Во весь голос

Первое вступление в поэму

Уважаемые
товарищи потомки!
Роясь
в сегодняшнем
окаменевшем г...,
наших дней изучая потемки,
вы,
возможно,
спросите и обо мне.
И, возможно, скажет
ваш ученый,
кроя эрудицией
вопросов рой,
что жил-де такой
певец кипяченой
и ярый враг воды сырой.
Профессор,
снимите очки-велосипед!
Я сам расскажу
о времени
и о себе.

Я, ассенизатор
и водовоз,
революцией
мобилизованный и призванный,
ушел на фронт
из барских садоводств
поэзии —
бабы капризной.
Засадил садик мило,
дочка,
дача,
вот
и гладь —
сама садик я садила,
сама буду поливать.
Кто стихами льет из лейки,
кто кропит,
набравши в рот —
кудреватые Митрейки,
мудреватые Кудрейки —
кто их, к черту, разберет!
Нет на прорву карантина —
мандолинят из под стен:
"Тара-тина, тара-тина,
т-эн-н..."
Неважная честь,
чтоб из этаких роз
мои изваяния высились
по скверам,
где харкает туберкулез,

где б... с хулиганом да сифилис.

И мне

агитпроп

в зубах навяз,

и мне бы строчить

романсы на вас —

доходней оно

и прелестней.

Но я

себя

смирял,

становясь

на горло

собственной песне.

Слушайте,

товарищи потомки,

агитатора,

горлана-главаря.

Заглуша

поэзии потоки,

я шагну

через лирические томики,

как живой

с живыми говоря.

Я к вам приду

в коммунистическое далеко

не так,

как песенно-есененный провитязь.

Мой стих дойдет

через хребты веков

и через головы
поэтов и правительств.
Мой стих дойдет,
но он дойдет не так, —
не как стрела
в амурно-лировой охоте.
не как доходит
к нумизмату стершийся пятак
и не как свет умерших звезд доходит.
Мой стих
трудом
громаду лет прорвет
и явится
весомо,
грубо,
зримо,
как в наши дни
вошел водопровод,
сработанный
еще рабами Рима.
В курганах книг,
похоронивших стих,
железки строк случайно обнаруживая,
вы
с уважением
ощупывайте их,
как старое,
но грозное оружие.
Я
ухо

словом
не привык ласкать;
ушку девическому
в завиточках волоска
с полупохабщины
не разалеться тронуту.
Парадом развернув
моих страниц войска,
я прохожу
по строчечному фронту.
Стихи стоят
свинцово-тяжело,
готовые и к смерти
и к бессмертной славе.
Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацеленных
зияющих заглавий.
Оружия
любимейшего
род,
готовая
рвануться в гике,
застыла
кавалерия острот,
поднявши рифм
отточенные пики.
И все
поверх зубов вооруженные войска,
что двадцать лет в победах

пролетали,
до самого
последнего листка
я отдаю тебе,
планеты пролетарий.
Рабочего
громады класса враг —
он враг и мой,
отъявленный и давний.
Велели нам
идти
под красный флаг
года труда
и дни недоеданий.

Мы открывали
Маркса
каждый том,
как в доме
собственном
мы открываем ставни,
но и без чтения
мы разбирались в том,
в каком идти,
в каком сражаться стане.
Мы
диалектику
учили не по Гегелю.
Бряцанием боев
она врывалась в стих,

когда
под пулями
от нас буржуи бегали,
как мы
когда-то
бегали от них.
Пускай
за гениями
безутешною вдовой
плетется слава
в похоронном марше —
умри, мой стих,
умри, как рядовой,
как безымянные
на штурмах мерли наши!
Мне наплевать
на бронзы многопудье,
мне наплевать
на мраморную слизь.
Сочтемся славою —
ведь мы свои же люди, —
пускай нам
общим памятником будет
Построенный
в боях
социализм.
Потомки,
словарей проверьте поплавки:
из Леты
выплывут

остатки слов таких,
как «проституция»,
«туберкулез»,
«блокада».

Для вас,
которые
здоровы и ловки,
поэт
вылизывал
чахоткины плевки
шершавым языком плаката.

С хвостом годов
я становлюсь подобием
чудовищ
ископаемо-хвостатых.

Товарищ жизнь,
давай быстрее протопаем,
протопаем
по пятилетке
дней остаток.

Мне
и рубля
не накопили строчки,
краснодеревщики
не слали мебель на дом.

И кроме
свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
мне ничего не надо.

Явившись

в Це Ка Ка
идущих
светлых лет,
над бандой
поэтических
рвачей и выжиг
я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
моих
партийных книжек.

Декабрь 1929 г. – январь 1930 г.

Лозунги 1929-1930 годов САНПЛАКАТ

1

Убирайте комнату,
чтоб она блестела.
В чистой комнате —
чистое тело.

2

Воды —
не бойся,
ежедневно мойся.

3

Зубы
чисть дважды,
каждое утро
и вечер каждый.

4

Куриль —

бросим.
Яд в папиресе.

5

То, что брали
чужие рты,
в свой рот
не бери ты.

6

Ежедневно
обувь и платье
Чисть и очищай
от грязи и пятен.

7

Культурная привычка,
приобрати ее —
Ходи еженедельно в баню
и меняй белье.

8

Долой рукопожатия!
Без рукопожатий
встречайте друг друга
и провожайте.

9

Проветрите комнаты,
форточки открывайте
перед тем
как лечь
в свои кровати.

10

Не пейте
спиртных напитков.
Пьющему – яд,
окружающим – пытка.

11

Затхлым воздухом —
жизнь режем.
Товарищи,
отдыхайте
на воздухе свежем.

12

Товарищи люди,
на пол не плюйте.

13

Не вытирайся
полотенцем чужим,
могли
и больные
пользоваться им.

14

Запомните —
надо спать
в проветренной комнате.

15

Будь аккуратен,
забудь лень,
чисть зубы
каждый день.

16

На улице были?
Одежду и обувь
очистьте от пыли.

17

Мойте окна,
запомните это,

Окна – источник
жизни и света.

18

Товарищи,
мылом и водой
мойте руки
перед едой.

19

Запомните вы,
запомни ты —
пищу приняв,
полощите рты.

20

Грязь
в желудок
идет с едой,
мойте
посуду
горячей водой.

21

Фрукты
и овощи

перед
едой
мойте
горячей водой.

22

Нельзя человека
закупорить в ящик,
жилище проветривай
лучше и чаще.

23

Вытрите ноги!!!
забыли разве, —
несете с улицы
разную грязь вы.

24

Хоть раз в неделю,
придя домой, —
горячей водой
полы помой.

25

Болезнь и грязь
проникают всюду.

Держи в чистоте
свою посуду.

26

Во фруктах и овощах
питательности масса.
Ешьте больше зелени
и меньше мяса.

27

Лишних вещей
не держи в жилище —
станет сразу
просторней и чище.

28

Чадят примуса, —
хозяйки, запомните:
нельзя
обед
готовить
в комнате.

29

Держите чище
свое жилище.

30

Каждое жилище
каждый житель
помещение
в сохранности держите.

31

Товарищ!
да приучись ты
держат жилище
опрятным и чистым.

32

С одежды грязь
доставляется на дом.
Одетому лежать
на кровати не надо.

33

Хозяйка,
помни о правиле важном:
Мети жилище
способом влажным.

34

Раз в неделю,
никак не реже,
белье постельное
меняй на свежее.

35

Не стирайте в комнате,
могут от сырости
грибы и мокрицы
в комнате вырасти.

[1929]

Лозунги по безопасности труда

1

Товарищи,
бросьте
раскидывать гвозди!
Гвозди
многим
попортили ноги.

2

Не оставляй
на лестнице
инструменты и вещи.
Падают
и ранят
молотки и клещи.

3

Работай
только
на прочной лестнице.
Убьешься,
если

лестница треснется.

4

Месим руками
сталь, а не тесто,
храни
в порядке
рабочее место.
Нужную вещь
в беспорядке ищешь,
никак не найдешь
и ранишь ручища.

5

Пуская машину,
для безопасности
надо
предупредить товарища,
работающего рядом.

6

На работе
волосы
прячьте лучше:
от распущенных волос —
несчастный случай.

Электрический ток —
рабочего настиг.
Как
от смерти
рабочего спасти?
Немедленно
еще до прихода врача
надо
искусственное дыхание начать.

Нанесем
безалаберности удар,
образумим
побахвалиться охочих.
Дело
безопасности труда —
дело
самих рабочих.

[1929]

Лозунги для журнала «Даешь»

1

Кузница коммунизма,
раздувай меха!
Множитесь,
энтузиастов
трудовые взводы:
за ударными бригадами —
ударные цеха,
за ударными цехами —
ударные заводы!

2

Нефть
не добудешь
из воздуха и ветра.
Умей
сочетать
практику и разум.
Пролетарий,
даешь
земным недрам
новейшую технику
и социалистический энтузиазм.

3

Верхоглядство —

брось!

«*Даешь*»

зовет

знать

насквозь

свой

завод!

Кто стоит за станком?

Как работает рабочий?

Чем живут рабочие?

Какие интересы у рабочих?

4

Профессорская братия

вроде Ольденбургов

князьям

служить

и сегодня рада.

То,

что годилось

для царских Петербургов,

мы вырвем

с корнем

из красных Ленинградов.

Чтоб фронт отстоять,
белобанды гоня,
пролетариат
в двадцатом
сел на коня.
Чтоб видеть коммуны,
растветшую в быль,
садись в двадцать девятом
на трактор
и автомобиль.

[1929]

Лозунги «Трудовая дисциплина» и «Агитационно-производственные»

1

Из-за неполадок на заводе
несознательный рабочий
драку заводит.
Долой
с предприятий
кулачные бои!
Суд разберет
обиды твои.

2

Притеснения на заводе
и непорядок всякий
выясняй в месткоме,
а не заводи драки.

3

Опытные рабочие,
не издевайтесь

над молодыми.
Молодого рабочего
обучим и подыдем.

4

Долой
безобразников
по женской линии.
Парней-жеребцов
зажмем в дисциплине.

5

Антисемиту
не место у нас —
все должны
работой сравняться.
У нас
один рабочий класс
и нет
никаких наций.

6

Хорошего спеца
производство заботит.
Товарищ
спецу
помоги в работе.

7

Надо
квалификацию
поднять рабочему.
Каждый спец
обязан помочь ему.

8

Не спи на работе!
Работник этакий
может продряхнуть
все пятилетки.

9

Долой того,
кто на заводе
частную мастерскую
себе заводит.

10

Заводы – наши.
Долой кражи!
У наших заводов
встанем на страже.

11

Болтливость —
растрата
рабочих часов!
В рабочее время —
язык на засов!

12

Прогульщика-богомольца
выгони вон!
Не меняй гудок
на колокольный звон!

13

Долой пьянчуг!
С пьянчугой с таким
перержавеют
и станут станки.

14

В маленьком стакане,
в этом вот,
может утонуть
огромный завод.
Из рабочей гущи
выгоним пьющих.

15

Разгильдяев
с производства гони.
Наши машины
портят они.

16

Чтоб работа шла
продуктивно и гладко,
выполняй правила
внутреннего распорядка.

17

Перед машиной
храбриться нечего —
следи
за безопасностью
труда человеческого.

18

В общей работе
к дисциплине привыкни.
Симулянта
разоблачи
и выкинь.

19

Не опаздывай
ни на минуту.
Злостных
вон!
Минуты сложатся —
убытку миллион.

20

Долой хулиганов!
Один безобразник
портит всем
и работу
и праздник.

21

Непорядки
надо
разбирать по праву,
долой с предприятий
кулачную расправу.

22

Каждый
должен

помочь стараться
техническому персоналу
и администрации.

23

Не издевайся на заводе
над тем, кто слаб,
Оберегайте слабого
от хулиганских лап.

24

Вызов за вызовом,
по заводам лети!
Вступай в соревнование,
за коллективом коллек-
тив!
Встают заводы,
сильны и стройны.
Рабочий океан
всколыхнулся низом.
Пятилетка —
это рост
благосостояния страны.
Это пять километров
по пути в коммунизм.

25

Хулиганство на производстве
наносит удар
всей дисциплине
нашего труда.

26

Больше дела!
Меньше фраз.

Антирелигиозные стихотворения КОМУ И НА КОЙ ЛЯД ЦЕЛОВАЛЬНЫЙ ОБРЯД

Верующий крестьянин или неверующий, надо или
не надо,
но всегда норовит выполнять обряды.
В церковь упираются или в красный угол,
крестятся, пялят глаза, —
а потом норовят облизать друг друга,
или лапу поповскую, или образа.
Шел через деревню прыщастый калека.
Калеке б этому – нужен лекарь.
А калека фыркает: Поможет бог.
Остановился у образа – и в образ чмок.
Присосался к иконе долго и сильно.
И пока выпячивал губищи грязные,
с губищ на образ вползла бациллина —
заразная,
посидела малость
и размножалась.
А через минуту, гуляя ради первопрестольного
праздника,
Вавила Грязнушкин, стоеросовый дядя,
остановился и закрестился у иконы грязненькой.
Покончив с аллилуями,

будто вошь, в икону Вавила вцепился поцелуями,
да так сильно, что за фалды не оторвешь.

Минут пять бациллы

переползали с иконы на губу Вавилы.

Помолился и понес бациллы Грязнушкин.

Радостный идет, аж сияют веснушки!

Идет. Из-за хаты перед Вавилою

встала Маша – Вавилина милая.

Ради праздника, не на шутку

впился Вавила губами в Машутку.

Должно быть, с дюжину, бацилла за бациллой,
переползали в уста милой.

Вавила сияет, аж глазу больно,

вскорости свадьбу рисует разум.

Навстречу – кум. «Облобызаемся по случаю
престольного!»

Облобызались, и куму передал заразу.

Пришел домой, семью скликал

и всех перелобызал – от мала до велика;

до того разлобызался в этом году,

что даже пса Полкана лобызнул на ходу.

В общей сложности, ни много ни мало —

слушайте, на слово веря, —

человек полтора ста налобызал он

и одного зверя.

А те заразу в свою очередь

передали – кто – мамаше, кто – сыну, кто – дочери.

Через день ночью проснулся Вавила,

будто губу ему колесом придавило.

Глянул в зеркало. Крестная сила!

От уха до уха губу перекосило.
А уже и мамаша зеркало ищет.
«Что это, – говорит, – как гора, губища?»
Один за другим выползает родич.
У родичей губы галоши вроде.
Вид у родичей —
не родичи, а уродичи.
Полкан – и тот рыча
перекатывается и рвет губу сплеча.
Лизнул кота. Болезнь ту
передал коту.
Мяукает кот, пищит и носится.
Из-за губы не видно переносицы.
К утру взвыло всё село —
полсела в могилы свело.
Лишь пес да кот выжили еле.
И то – окривели.
Осталось от деревни только человек двадцать —
не верили, не прикладывались и не желали
лобызаться.
Через год объяснил доктор один им,
что село переболело нарывом лошадиным.
Крестьяне, коль вывод не сделаете сами —
вот он: у образов не стойте разинями,
губой не елозьте грязными образами,
не христосуйте – и не будете кобылогубыми
образинами.

КРЕСТИТЬ – ЭТО ТОЛЬКО ПОПАМ РУБЛИ СКРЕСТИ

Крестьяне, бросьте всякие обряды!
Обрядам только попы рады.
Посудите вот:
родился человек или помер —
попу доход,
а крестьянину ничего – неприятности кроме.
Жил да был мужик Василий,
богатый, но мозгами не в силе.
Родилась у него дочка —
маленькая, как точка.
Не дочь, а хвороба,
смотри в оба.
Надо бы ее немедленно к врачу,
да Василий говорит: "Доктора – чушь!
Впрягу Пегова и к попу лечу.
Поздоровеет моментально – только окрещу".
Пудами стол уставили в снедь,
к самогону огурцов присовокупили воз еще.
Пришел дьякон, кудластый, как медведь,
да поп, толстый, как паровозище.
А гостей собралось ради крестин!!!
Откуда их столько удалось наскрести?!
Гости с попами попили, попели

и, наконец, собрались вокруг купели.
Дьякон напился, аж не дополз до колодца,
воду набрал – из первого болотца.
Вода холодная да грязная —
так и плавают микробы разные.
Крестный упился и не то что троекратно —
раз десять окунал туда и обратно.
От холода у бедной дочки
ручки и ножки – как осиновые листочки.
Чуть было дочке не пришел капут:
опустили ее в воду вместе с головою,
да дочка сама вмешалась тут,
чуть не надорвалась в плаче и вое.
Тут ее вынула крестная мать
да мимоходом головкой о двери – хватить!
Известно одному богу,
как ее не прикончили или не оторвали ногу.
Беда не любит одна шляться —
так вот еще, на беду ей
(как раз такая святая подвернулась в святцах),
назвали – «Перепетуей».
После крестин ударились в обжорку да в пьянку,
скулы друг другу выворачивали наизнанку.
Василий от сивухи не в своем уме:
начисто ухо отгрыз куме.
После крестин дочка
прохворала полтора годочка.
Доктора отходили еле.
От крестной ножки все-таки окривели.
Подросла и нравится жениховским глазам уж.

Да никак Перепетуи не выдать замуж.

Женихи говорят: "При таком имени — в жены никак подходите вы мне".

Зачахла девица из-за глупых крестин так можно дочку в гроб свести...

А по-моему, не торопись при рождении младенца — младенец никуда не денется.

Пойдешь за покупками, кстати зайди и запиши дитё в комиссариате.

А подрос, и если Сосипатр не мил или имя Перепетуя тебе не мило — зашел в комиссариат и переменял, зашла в комиссариат и переменяла.

КРЕСТЬЯНЕ, СОБСТВЕННОЙ ВЫГОДЫ РАДИ ПОЙМИТЕ – ДЕЛО НЕ В ОБРЯДЕ

Известно, у глупого человека в мозгах вывих;
чуть что – зовет долгогривых.

Думает, если попу как следует дать,
сейчас же на крестьянина спускается благодать.
Эй, мужики! Эй, бабы!

В удивлении разиньте рот!

Убедится даже тот, кто мозгами слабый,
что дело – наоборот.

Жила-была Анюта-красавица.

Красавице красавец Петя нравится.

Но папаша Анютки
говорит: «Дудки!»

Да и мать Анютина глядит крокодилицей.

Словом, кадилу в церквах не кадилиться,
свадьбе не бывать. Хоть Анюта и хороша,
и Петя неплох, да за душой – ни гроша.

Ждут родители, на примете у них – Сапрон жених.

Хоть Сапрону шестьдесят с хвостом,
да в кубышке миллиардов сто.

Словом, не слушая Анютино воя,
окрутили Анюту у аналая,
и пошел у них «законный брак» —

избу разрывает от визга и драк.
Хоть и крест целовали, на попа глядя,
хоть кружились по церкви в православном обряде,
да Сапрону, злея со дня на день,
рвет жена волосенок пряди.
Да и Анюту Сапрон измочалил в лоскут —
вырывает косу ежеминутно по волоску.
То муж – хлоп, то жена – хлоп.
Через месяц – каждый, как свечка, тонкий.
А через год легли супруги в гроб:
жена без косы, муж без бороденки.
А Петр впал в скуку,
пыткой кипятился в собственном соку
и, наконец, наложил на себя руку:
повесился на первом суку.
В конце ж моей стихотворной повести
и родители утопились от угрызения совести.
Лафа от этого одному попику.
Слоновье пузо, от даяний окреп,
знай выколачивает из бутылей пробки,
самогоном требует за выполнение треб.
А рядом жили Иван да Марья —
грамотеи ярые.
Полюбились и, не слушая родственной рати,
пошли и записались в комиссариате.
Хоть венчанье обошлось без ангельских рож —
а брак такой, что водой не разольешь.
Куда церковный!
Любовью, что цепью друг с другом скованы.
А родители только издали любятся ими.

Наконец, пришли: "Простите, дураки мы!
И на носу зарубим и в памяти:
за счастьем незачем к попам идти."

ОТ ПОМИНОК И ПАНИХИД У ОДНИХ ПОПОВ ДОВОЛЬНЫЙ ВИД

Известно, в конце существования человеческого —
радоваться нечего.

По дому покойника идет ревоголосье.

Слезами каплют. Рвут волосья.

А попу и от смерти радость вели
и доходы, и веселия.

Чтоб люди доход давали, умирая,
сочинили сказку об аде и о рае.

Чуть помрешь – наводняется дом чернорясниками.

За синенькими приходят да за красненькими.

Разглаживая бородищу свою, допытываются –
много ли дадут.

«За сотнягу прямехонько определим в раю,
а за рупь папаше жариться в аду».

Расчет верный: из таких-то денег
не отдадут папашу на съедение геенне!

Затем, чтоб поместить в райском вертограде,
начинают высчитывать (по покойнику глядя). —

Во-первых, куме заработать надо —

за рупь поплачет для христианского обряда.

Затем за отпевание ставь на кон —
должен подработать отец диакон.

Затем, если сироты богатого виду,
начинают наяривать за панихидой панихиду.
Пока не перестанут гроши носить,
и поп не перестает панихиды гнусить.
Затем, чтоб в рай прошли с миром,
за красненькую за гробом идет конвоиром,
как будто у покойничка понятия нет,
как самому пройти на тот свет.
Кабы бог был – к богу
покойник бы и без попа нашел дорогу.
АН нет —
у попа входной билет.
И, наконец, оставшиеся грошей лишки
идут на приготовление поминальной кутьишки.
А чтоб не обрывалась доходов лента,
попы установили настоящую ренту.
И на третий день, и на девятый, и на сороковой —
опять устраивать панихидный вой.
А вспомнят через год (смерть-то пустяк),
опять поживится – и год спустя.
Сойдет отец в гроб – и без отца, и без доходов, и
без еды дети,
только поп —
и с тем, и с другим, и с третьим.
Крестьянин, чтоб покончить – с обдираловкой с
этой,
советую
тратить достаток до последнего гроша
на то, чтоб жизнь была хороша.
А попам,

объедающим и новорожденного и труп,
посоветуй, чтоб работой зарабатывали руб.

НА ГОРЕ БЕДНЕНЬКИМ, БОГАТЕЙШИМ НА СЧАСТЬЕ — И ИСПОВЕДНИКИ И ПРИЧАСТЬЕ

Люди умирают раз в жизнь.
А здоровые – и того менее.
Что ж попу – помирай-ложись?
Для доходов попы придумали говения.
Едва до года дорос —
человек поступает к попу на допрос.
Поймите Вы, бедная паства, —
от говений польза лишь для богатея мошнастого.
Кулак с утра до ночи
обирает бедняка до последней онучи.
Думает мироед: «Совести нет —
выгод много.
Семь краж – один ответ
перед богом.
Поп освободит от тяжести греховной,
и буду снова безгрешней овна.
А чтоб церковь не обиделась – и попу и ей
уделю процент от моих прибылей».
Под пасху кулак кончает грабежи,
вымоет лапы и к попу бежит.
Накроет поп концом епитрахили:
«Грехи, мол, отцу духовному вылей!»

Сделает разбойник умильный вид:

«Грабил, мол, и крал больно я».

А поп покрестит и заголосит:

«Отпускаются рабу божьему прегрешения вольные
и невольные».

Поп целковым получит после голосения
да еще корзину со снедью в сени.

Доволен – поди – поделился с вором;
на баб заглядываясь, идет притвором.

А вор причастился, окрестил башку,
очистился, улыбаясь и на солнце и на пташку,
идет торжественно, шажок к шажку,
и снова дерет с бедняка рубашку.

А бедный с грехами не пойдет к попу:
попы у богатеев на откуп.

Бедный одним помыслом грешен:
как бы в пузе богатенском пробить бреши.
Бывало, с этим к попу сунься —
он тебе пропишет всепрощающего Иисуса.

Отпустит бедному грех,
да к богатому – с ног со всех.

А вольнолюбивой пташке —
сидеть в каталажке.

Теперь бедный в положении таком:
не на исповедь беги, а в исполком.

В исполкоме грабительскому нраву
найдут управу.

Найдется управа на Титычей лихих.

Радуется пусть Тит —
отпустит Титычу грехи,

а Титыча... за решетку впустят.

ОТ ПРИМЕТ КРОМЕ ВРЕДА НИЧЕГО НЕТ

Каждый крестьянин верит в примету.
Который – в ту, который – в эту.
Приметами не охранишь свое благополучье.
Смотрите, что от примет получится.
Ферапонт косил в поле,
вдруг – рев: «Ферапонт! Беги домой!
Сын подавился – корчит от боли.
За фельдшером беги скорей!»
Ферапонт работу кинул —
бежит. Не умирать же единственному сыну.
Бежит, аж проселок ломает топ!
А навстречу – поп.
Остановился Ферапонт, отвернул глаза
да сплюнул через плечо три раза.
Постоял минуту – и снова с ног.
А для удавившегося и минута – большой срок.
Подбежал к фельдшеру, только улицу перемахнуть,
—
и вдруг похороны преграждают путь.
Думает Ферапонт: «К несчастью! Нужно
процессию оббежать дорогой окружной».
На окружную дорогу, по задним дворам,
у Ферапонта ушло часа полтора.

Выбрать бы Ферапонту путь покороче —
сына уже от кости корчит.

Наконец, пропотевши в десятый пот,
к фельдшерской калитке прибежал Ферапонт.

Вдруг из-под калитки

выбежал котище — черный, прыткий,
как будто прыть лишь для этого берег.

Всю дорогу Ферапонт перебежал поперек.

Думает Ферапонт: «Черный кот

хуже похорон и целого поповского собора.

Задам-ка я боковой ход —

и перелезу забором».

Забор за штаны схватил Ферапонта

С полчасика повисел он там,

пока отцепился. Чуть не сутки

ушли у Ферапонта на эти предрассудки.

Ферапонт прихватил фельдшера, фельдшер —
щипчик,

бегут к подавившемуся ветра шибче.

Прибежали, а в избе вой и слеза —

сын скончался полчасика назад.

А фельдшер говорит, Ферапонта вина:

«Что ж теперь поднимать вой?!

Кабы раньше да на час позвали меня,
сын бы был обязательно живой».

Задумался Ферапонт. Мысль эта

суеверного Ферапонта сжила со света.

У моей у басенки мыслишка та,

что в несчастиях не суеверия помогут, а быстрота.

НИ ЗНАХАРЬ, НИ БОГ, НИ АНГЕЛЫ БОГА — КРЕСТЬЯНСТВУ НЕ ПОДМОГА

Мы сбросили с себя помещичье ярмо,
мы белых выбили, наш враг полег, исколот;
мы побеждаем волжский мор
и голод.

Мы отвели от горл блокады нож,
мы не даем разрухе нас топтать ногами,
мы победили, но не для того ж,
чтоб очутиться под богами?!

Чтобы взвилась вновь, старья вздымая пыль,
воронья стая и сорочья,
чтоб снова загнусавили попы,
религиями люд мороча.

Чтоб поп какой-нибудь или раввин,
вчера благословлявший за буржуев драться,
сегодня ручкой, перемазанной в крови,
за требы требовал: «Попам подайте, братцы!»

Чтоб, проповедуя смиренья и посты,
ногами в тишине монашских келий,
за пояс закрутивши рясовы хвосты,
откалывали спяну трепака да поросенка с хреном

ели.

Чтоб, в небо закатив свиные глазки,
стараясь вышибить Россию из ума,
про Еву, про Адама сказывали сказки,
на место знаний разводя туман.

Товарищ, подымись! Чего пред богом сник?!

В свободном нынешнем ученом веке
не от попов и знахарей – из школ, из книг
узнай о мире и о человеке!

ПРОШЕНИЯ НА ИМЯ БОГА — В ЗАСУХУ НЕ ПОДМОГА

Эи, крестьяне!

Эта песня для вас!

Навостри на песню ухо!

В одном селе, на Волге как раз,
была засуха.

Сушь одолела – не справиться с ней,
а солнце сушит сильней и сильней.

Посохли немного и решили: «Попросим бога!»

Деревня крестным ходом заходила,
попы отмахали все кадила.

А солнце шпарит. Под ногами
уже не земля – а прямо камень.

Сидели-сидели, дождика ждя,
и решили помолиться о ниспослании дождя.

А солнце так распалилось в высях,
что каждый росток на корню высох.

А другое село по-другому с засухами борьбу вело,
другими мерами:

агрономами обзавелось да землемерами.

Землемер объяснил народу,
откуда и как отвести воду.

Вел землемер с крестьянами речь,
как загородкой снега беречь.

Агроном учил: «Засеивайтесь злаком,
который на дождь не особенно лаком.
Засушливым годом
засеивайтееь корнеплодом —
и вырастут такие брюквы,
что не подымете и парой рук вы».
Эй, солнце – ну-ка! —
попробуй, совладай с наукой!
Такое солнце, что дышишь еле,
а поля – зазеленели.
Отсюда ясно: молебен
в засуху мало целебен.
Чем в засуху ждть дождя по году,
сам учись устраивать погоду.

ПРО ФЕКЛУ, АКУЛИНУ, КОРОВУ И БОГА

Нежная вещь – корова. Корову
не оставишь без пищи и крова.
Что человек —
жить норовит меж ласк и нег.
Заботилась о корове Фекла,
ходит вокруг да около.
Но корова – чахнет раз от разу.
То ли дрянь какая поедена и попита,
то ли от других переняла заразу,
то ли промочила в снегу копыта, —
только тает корова, свеча словно.
От хворобы никакая тварь не застрахована.
Не касается корова ни жратвы, ни поила —
чихает на всё стоило.
Известно бабе – в таком горе
коровий заступник – святой Егорий.
Лезет баба на печку,
трет образа, увешанные паутинами,
поставила Егорию в аршин свечку —
и пошла... только задом трясет по-утиному!
Отбивает поклоны. Хлоп да хлоп!
Шишек десять набила на лоб.
Умудрилась даже расквасить нос.

Всю руку открытила – будто в сенокос.
За сутками сутки
молилась баба, не отдохнув ни минутки.
На четвертый день
(не помогли корове боги!)
отощала баба – совсем тень.
А корова околела, задрала ноги.
А за Фекловой хатой – пройдя малость —
жила Акулина и жизнью наслаждалась.
Акулина дело понимала лихо.
Аж ее прозвали – «Тетя-большевиха».
Молиться – не дело Акулинье:
у Акулины другая линия.
Чуть у Акулины времени лишки,
садится Акулина за красные книжки.
А в книгах речь
про то, как корову надо беречь.
Заболит – времени не трать даром —
беги скорей за ветеринаром.
Глядишь – на третий аль на пятый день
корова, улыбаясь, выходит за плетень,
да еще такая молочная —
хоть ставь под вымя трубы водосточные.
Крестьяне, поймите мой стих простенький
да от него к сердцу проведите мостики.
Поймите! – во всякой болезни
доктора любого Егория полезней.
Болезням коровьим – не помощь бог.
Лучше в зубы возьми ног пару
да бросайся со всех ног —

к ветеринару.

НИ ЗНАХАРСТВО, НИ БЛАГОДАТЬ БОГА В БОЛЕЗНИ НЕ ПОДМОГА

Нашла на деревню оспа-зараза.
Вопит деревня. Потеряла разум.
Смерть деревню косит и косит.
Сёла хотят разобраться в вопросе.
Ванька дурак сказал сразу:
«Дело ясное – оно не без сглазу.
Ты вокруг коровы пегой
возьми и на ножке одной побегай
да громко кричи больного имя.
Заразу – как рукой снимет».
Прыгают – орут, аж волдыри в горле.
А люди мерли, мерли и мерли.
Тогда говорит Данила Балда:
«Средство есть – наговорная вода.
Положите, – говорит, – в воду уголёчек
и сплевывайте сквозь губы уголочек».
Пока заговаривали воду,
перемёрло еще с десятков народу.
Собрались снова всей деревней.
Выжил из ума Никифор древний,
говорит: «Хорошее средство есть —
ходите по улице и колотите в жечь».

Пусть бабы разденутся да голосили чтобы —
в момент не будет и следа от хворобы».
Забегали. Резвей, чем в прошлые разы,
бьют в кастрюли, гремят в тазы —
выгоняют, значит, оспяного духа.
Да оспа оказалась бабой без слуха.
Пока гремели – человек до ста
провезли из села в направлении погоста.
Тогда бабы вспомнили о боженьке,
повалились господу-богу в ноженьки.
Молятся, крестятся да кадиллом кадят.
А оспа душит людей, как котят.
Только поп за свои молебны
чуть не весь пережрал урожай хлебный.
Был бы всей деревне капут,
да случай счастливый представился тут:
Балды Данилы умный отпрыск —
красноармеец Иванов вернулся в отпуск.
Служил Иванов в полку, в лазарете,
все переглядел болезни эти.
Знахарей разогнал саженой за сто,
получил по шеям и поп кудластый.
Как гаркнет по-военному во весь рот:
«Смирно!
Протяните
руки вперед!»
В руке Иванова ножичек блеснул,
поцарапал руку да из пузырьречка плеснул.
«Готово, – говорит. – Оспа привилась.
Верьте в медицину, а не в божью милость».

Загудело веселье над каждым из дворов.

Каждый весел. Каждый здоров.

Вывод тот, что во время болезней

доктора и попов, и суеверий, и вер полезней.

Да еще, чем хлестать самогон без просыпу,

наймите фельдшера и привейте оспу.

ТОВАРИЩИ КРЕСТЬЯНЕ, ВДУМАЙТЕСЬ РАЗ ХОТЬ — ЗАЧЕМ КРЕСТЬЯНИНУ СПРАВЛЯТЬ ПАСХУ?

Если вправду был Христос чадолюбивый,
если в небе был всевидящий бог, —
почему вам помещики чесали гривы?
Почему давил помещичий сапог?
Или только помещикам и пашни и лес?
Или блюдет Христос лишь помещичий интерес?
Сколько лет крестьянин крестился истов,
а землю получил не от бога, а от коммунистов!
Если у Христа не только волос долгий,
но и ум у Христа всемогущий, —
почему допущен голод на Волге?
Чтобы вас переселять в райские кущи?
Или только затем ему ладан курится,
чтобы у богатого в супе плавала курица?
Не Христос помог – советская власть.
Чего ж Христу поклоны класть?
Почему этот самый бог тройной
на войну не послал вселюбящего Христа?
Почему истреблял крестьян войной,
кровью крестьянской поля исхлестал?

Или Христу – не до крестьянского рева?
Христу дороже спокойствие царево?
Крестьяне Христу молились веками,
а война не им остановлена, а большевиками.
Понятно – пасха блюдетя попами.
Не зря обивают попы пороги.
Но вы из сердца вырвите память,
память об ихнем – злом боге.
Русь, разогнись, наконец, богомолица!
Чем праздновать чепуху разную,
рождество и воскресенье Коммуны-вольницы
всем крестьянским сердцем отпразднуем!

ПРО ТИТА И ВАНЬКУ. СЛУЧАЙ, ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ЧТО БЕЗБОЖНИКУ МНОГО ЛУЧШЕ

Жил Тит. Таких много!
Вся надежда у него на господу-бога.
Был Тит, как колода, глуп.
Пока не станет плечам горячо,
машет Тит со лба на пуп
да с правого на левое плечо.
Иной раз досадно даже.
Говоришь: «Чем тыкать фигой в пуп —
дрова коли! Наколот бы сажень,
а то и целый куб».
Но сколько на Тита ни ори,
Тит не слушает слов:
чесет Тит языком тропари
да «Часослов».
Раз у Тита в поле
гроза закуролесила чересчур люто.
А Тит говорит: «В господней воле...
Помолюсь, попрошу своего Илью-то».
Послушал молитву Тита Илья
да как вдарит по всем по Титовым жильям!
И осталось у Тита – крещеная башка
да от избы углей полтора мешка.

Обнищал Тит: проселки месит пятой.

Не помогли ни бог-отец, ни сын, ни дух святой.

А Иванов Ваня – другого сорта:

не верит ни в бога, ни в чёрта.

Товарищи у Ваньки —

сплошь одни агрономы да механики.

Чем Илье молиться круглый год,

Ванька взял и провел громоотвод.

Гремит Илья, молнии лья,

а не может перейти Иванов порог.

При громоотводе – бессилен сам Илья
пророк.

Ударит молния Ваньке в шпиль —

и хвост в землю прячет куце.

А у Иванова – даже не тронулась пыль!

Сидит и хлещет чай с блюдца.

Вывод сам лезет в дверь

(не надо голову ломать в муке):

крестьянин, ни в какого бога не верь, а верь науке.

ПОП

Сколько от сатириков досталось попам, —
жестка сатира-палка!
Я не пойду по крокодильим стопам,
мне попа жалко.

Идет он, в грязную гриву спрятав
худое плечо и ухо.
И уже у вожатых спрашивают октябрюта:
«Кто эта рассмешная старуха?»

Профессорееет вузовцев рать.
От бога мало прока.
И скучно попу ежедневно врать,
что гром от Ильи-пророка.

Люди летают по небесам,
и нет ни ангелов ни бесов,
а поп про ад завирает, а сам
не верит в него ни бельмеса.

Люди на отдых ездят по месяцам
в райский крымский край,
а тут неси околесицу
про какой-то небесный рай.

И богомольцы скупы, как пни, —
и в месяц не выбубнишь трешку.
В алтарь приходится идти бубнить,
а хочется бежать в кинематошку.

Мне священников очень жаль,
жалею и день и ночь я —
вымирающие сторожа
аннулированного учреждения.

Где-то между 1924 и 1930

Стихи детям ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?

Крошка сын
к отцу пришел,
и спросила кроха:
– Что такое
хорошо
и что такое
плохо? —
У меня
секретов нет, —
слушайте, детишки, —
папы этого
ответ
помещаю
в книжке.

– Если ветер
крыши рвет,
если
град загрохал, —
каждый знает —
это вот
для прогулок

плохо.
Дождь покапал
и прошел.
Солнце
в целом свете.
Это —
очень хорошо
и большим
и детям.

Если
сын
чернее ночи,
грязь лежит
на рожице, —
ясно,
это
плохо очень
для ребячьей кожицы.

Если
мальчик
любит мыло
и зубной порошок,
этот мальчик
очень милый,
поступает хорошо.

Если бьет
дрянной драчун

слабого мальчишку,
я такого
не хочу
даже
вставить в книжку.

Этот вот кричит:
– Не трожь
тех,
кто меньше ростом! —
Этот мальчик
так хорош,
загляденье просто!

Если ты
порвал подряд
книжицу
и мячик,
октябрюта говорят:
плоховатый мальчик.

Если мальчик
любит труд,
тычет
в книжку
пальчик,
про такого
пишут тут:
он
хороший мальчик.

От вороны
карапуз
убежал, заохав.
Мальчик этот
просто трус.
Это
очень плохо.

Этот,
хоть и сам с вершок,
спорит
с грозной птицей.
Храбрый мальчик,
хорошо,
в жизни
пригодится.

Этот
в грязь полез
и рад.
что грязна рубаха.
Про такого
говорят:
он плохой,
неряха.

Этот
чистит валенки,
моет

сам
галоши.
Он
хотя и маленький,
но вполне хороший.

Помни
это
каждый сын.
Знай
любой ребенок:
вырастет
из сына
свин,
если сын —
свиненок,
Мальчик
радостный пошел,
и решила кроха:
«Буду
делать хорошо,
и не буду —
плохо».

ЧТО НИ СТРАНИЦА, – ТО СЛОН, ТО ЛЬВИЦА

Льва показываю я,
посмотрите нате —
он теперь не царь зверья,
просто председатель.

Этот зверь зовется лама.
Лама дочь
и лама мама.
Маленький пеликан
и пеликан-великан.
Как живые в нашей книжке
слон,
слониха
и слонишки.
Двух– и трехэтажный рост,
с блюдо уха оба,
впереди на морде хвост
под названьем «хобот».
Сколько им еды, питья,
сколько платья снашивать!
Даже ихнее дитя
ростом с папу с нашего.
Всех прошу посторониться,

разевай пошире рот, —
для таких мала страница,
дали целый разворот.

Крокодил. Гроза детей.
Лучше не гневите.
Только он сидит в воде
и пока не виден.

Вот верблюд, а на верблюде
возят кладь
и ездят люди.
Он живет среди пустынь,
ест невкусные кусты,
он в работе круглый год —
он,
верблюд,
рабочий скот.

Кенгуру.
Смешная очень.
Руки вдвое короче.
Но за это
у ней
ноги вдвое длинней.

Жираф-длинношейка —
ему
никак
для шеи не выбрать воротника.

Жирафке лучше:
жирафу-мать
есть
жирафенку
за что обнимать.
Обезьян
Смешнее нет.
Что сидеть как статуя?!
Человеческий портрет,
даром что хвостатая.
Зверю холодно зимой.
Зверик из Америки.
Видел всех.
Пора домой.
До свиданья, зверики!

1926

ЭТА КНИЖЕЧКА МОЯ ПРО МОРЯ И ПРО МАЯК

Разрезая носом воды,
ходят в море пароходы.
Дуют ветры яростные,
гонят лодки парусные.
Вечером,
а также к ночи,
плавать в море трудно очень.
Все покрыто скалами,
скалами немалыми.
Ближе к суше
еле-еле
даже
днем обходят мели.
Капитан берет бинокль,
но бинокль помочь не мог.
Капитану так обидно —
даже берега не видно.
Закружит волна кружение,
вот
и кораблекрушение.
Вдруг —
обрадован моряк:
загорается маяк.

В самой темени как раз
показался красный глаз.
Поморгал —
и снова нет,
и опять зажегся свет.
Здесь, мол, тихо —
все суда
заплывайте вот сюда.
Бьется в стены шторм и вой.
Лестницею винтовой
каждый вечер,
ближе к ночи,
на маяк идет рабочий.
Наверху фонарище —
яркий,
как пожарище.
Виден он
во все моря,
нету ярче фонаря.
Чтобы всем заметиться,
он еще и вертится.
Труд большой рабочему —
простоять всю ночь ему.
Чтобы пламя не погасло,
подливает в лампу масло.
И чистит
исключительное
стекло увеличительное.
Всем показывает свет —
здесь опасно или нет.

Пароходы,
корабли —
запыхтели,
загребли.
Волны,
как теперь ни ухайте, —
все, кто плавал, —
в тихой бухте.
Нет ни волн,
ни вод,
ни грома,
детям сухо,
дети дома.
Кличет книжечка моя:
— Дети,
будьте как маяк!
Всем,
кто ночью плыть не могут,
освещай огнем дорогу,
Чтоб сказать про это вам,
этой книжечки слова
и рисуночков наброски
сделал
дядя
Маяковский.

КОНЬ-ОГОНЬ

Сын
отцу твердил раз триста,
за покупкою гоня:
– Я расту кавалеристом.
Подавай, отец, коня! —

О чем же долго думать тут?
Игрушек
в лавке
много вам.
И в лавку
сын с отцом идут
купить четвероногого.
В лавке им
такой ответ:
– Лошадей сегодня нет.
Но, конечно,
может мастер
сделать лошадь
всякой масти, —
Вот и мастер. Молвит он:
– Надо
нам
достать картон.
Лошадей подобных тело

из картона надо делать. —
Все пошли походкой важной
к фабрике писчебумажной.
Рабочий спрашивать их стал!
— Вам толстый
или тонкий? —

Спросил
и вынес три листа
отличнейшей картонки.
— Кстати
нате вам и клей.
Чтобы склеить —
клей налей. —

Тот, кто ездил,
знает сам,
нет езды без колеса.
Вот они у столяра.
Им столяр, конечно, рад.
Быстро,
ровно, а не криво,
сделал им колесиков.
Есть колеса,
нету гривы,
нет
на хвост волосиков.
Где же конский хвост найти нам?
Там,
где щетки и щетина.

Щетинщик возражать не стал, —
чтоб лошадь вышла дивной,
дал
конский волос
для хвоста
и гривы лошадиной.
Спохватились —
нет гвоздей.
Гвоздь необходим везде.
Повели они отца
в кузницу кузнеца.
Рад кузнец.
– Пожалте, гости!
Вот вам
самый лучший гвоздик. —
Прежде чем работать сесть,
осмотрели —
все ли есть?
И в один сказали голос:
– Мало взять картон и волос.
Выйдет лошадь бедная,
скучная и бледная.
Взять художника и краски,
чтоб раскрасил
шерсть и глазки. —
К художнику,
удал и быстр,
вбегают наш кавалерист.
– Товарищ,
вы не можете

покрасить шерсть у лошади?

– Могу. —

И вышел лично

с краскою различной.

Сделали лошажье тело,

дальше дело закипело.

Компания остаток дня

впустую не теряла

и мастерить пошла коня

из лучших матерьялов.

Вместе взялись все за дело.

Режут лист картонки белой,

клеем лист насквозь пропитан.

Сделали коню копыта,

щетинщик вделал хвостик,

кузнец вбивает гвоздик.

Быстра у столяра рука —

столяр колеса остругал.

Художник кистью лазит,

лошадке

глазки красит,

Что за лошадь,

что за конь —

горячей, чем огонь!

Хоть вперед,

хоть назад,

хочешь – в рысь,

хочешь – в скок.

Голубые глаза,

в желтых яблоках бок.

Взнуздан
и оседлан он,
крепко сбруей оплетен.
На спину сплетенному —
помогай Буденному!

1927

ПРОЧТИ И КАТАЙ В ПАРИЖ И КИТАЙ

1

Собирайтесь, ребяташки,
наберите в руки книжки.
Вас
по разным странам света
покатает песня эта.

Начинается земля,
как известно, от Кремля.
За морем,
за сушею —
коммунистов слушают.
Те, кто работают,
слушают с охотою.
А буржуям этот голос
подымает дыбом волос.

2

От Кремля, в котором были,
мы летим в автомобиле
прямо на аэродром.

Здесь стоит
и треск и гром.
По поляне люди ходят,
самолету винт заводят.

3

Подходи,
не робей,
расправляй галстучки
и лети, как воробей,
даже
как ласточка!
Туча нам помеха ли?
Взяли и объехали!
Помни, кто газетку полез, —
рот зажмите крепко,
чтоб не плюнуть с поднебес
дяденьке на кепку.

4

Опускаемся в Париже,
осмотреть Париж поближе.
Пошли сюда,
пошли туда —
езде одни французы.
Часть населения худа,
а часть другая —
с пузом.

Куда б в Париже ни пошел,
картину видишь ту же:
живет богатый хорошо,
а бедный —
много хуже.
Среди Парижа – башня
высокая страшно.

5

Везет нас поезд
целый день,
то лес,
то город мимо.
И
мимо ихних деревень
летим
с хвостом из дыма.

6

Качает пароход вода.
Лебедка тянет лапу —
подняла лапой чемодан,
а мы идем по трапу.
Пароход полный,
а кругом волны,
высоки и солоны.
Волны злятся —
горы вод

смыль грозятся пароход.
Ветер,
бурей не маши нам:
быстро движет нас машина;
под кормой крутя винтом,
погоняет этот дом.
Доехали до берега —
тут и Америка.

7

Издали —
как будто горки,
ближе – будто горы тыщей, —
вот какие
в Нью-Йорке
стоэтажные домища.
Все дни народ снует вокруг
с поспешностью блошиною,
не тратит
зря —
ни ног, ни рук,
а все
творит машиною.
Как санки
по снегу
без пыли
скользят горой покатою,
так здесь
скользят автомобили,

и в них
сидят богатые.

Опять седобородый дым.
(Не бреет поезд бороду!)
Летим к волне другой воды,
летим к другому городу.
Хорош, да не близко
город Сан-Франциско.

8

Отсюда
вновь
за океан
плывут такие, как и я.
Среди океана
стоят острова,
здесь люди другие,
и лес, и трава.
Проехали,
и вот
она —
японская страна.

9

Легко представить можете
жителя Японии:
если мы – как лошади,

то они —
как пони.
Деревья здесь невелики.
Строенья
роста маленького.
Весной,
куда глаза ни кинь —
сады
в деревьях карликовых.
На острове
гора гулка,
дымит,
гудит гора-вулкан.
И вдруг
проснется поутру
и хлынет
лавой на дом.
Но люди
не бросают труд.
Нельзя.
Работать надо.

10

Отсюда за морем —
Китай.
Садись
и за море катай.
От солнца Китай
пожелтел и высох.

Родина чая.
Родина риса.
Неплохо:
блюдо рисовой каши
и чай —
из разрисованных чашек.
Но рис
и чай
не всегда у китайца, —
английский купец на китайца
кидается:
«Отдавайте нам еду,
а не то —
войной иду!
На людях
мы
кататься привыкли.
Китайцев таких
называем «рикши».
В рабочих привыкли всаживать
пули.
Рабочих таких
называем «кули».

11

Мальчик китайский
русскому рад,
Встречает нас,
как брата брат.

Мы не грабители —
мы их не обидели.
За это
на нас
богатеи английский
сжимает кулак,
завидевши близко.
Едем схорониться
к советской границе.
Через Сибирь вас
провозит экспресс.
Лес да горы,
горы и лес.
И вот
через 15 дней
опять Москва —
гуляйте в ней.

12

Разевают дети рот.
– Мы же
ехали вперед,
а приехали туда же.
Это странно,
страшно даже.
Маяковский,
ждем ответа.
Почему случилось это? —
А я ему:

– Потому,
что земля кругла,
нет на ней угла —
вроде мячика
в руке у мальчика.

1927

ВОЗЬМЕМ ВИНТОВКИ НОВЫЕ

Возьмем винтовки новые,
на штык флажки!
И с песнею
в стрелковые
пойдем кружки.
Раз,
два!
Все
в ряд!
Впе-
ред,
от-
ряд.
Когда
война-метелица
придет опять —
должны уметь мы целиться,
уметь стрелять.
Ша-
гай
кру-
че!
Цель-
ся
луч-

ше!

И если двинет армии

страна моя —

мы будем

санитарами

во всех боях.

Ра-

нят

в ле-

су.

к сво-

им

сне-

су.

Бесшумною разведкою —

тиха нога —

за камнем

и за веткою

найдем врага.

Пол-

зу

день,

ночь

мо-

им

по-

мочь.

Блестят винтовки новые,

на них

флажки.

Мы с песнею
в стрелковые
идем кружки.

Раз,
два!

Под-
ряд!

Ша-
гай,

от-
ряд!

1927

МАЙСКАЯ ПЕСЕНКА

Зеленые листики —
и нет зимы.
Идем
раздольем чистеньким —
и я,
и ты,
и мы.
Весна сушить развесила
свое мытье.
Мы молодо и весело
идем!
Идем!
Идем!
На ситцах, на бумаге —
огонь на всем.
Красные флаги
несем!
Несем!
Несем!
Улица рада,
весной умытая.
Шагаем отрядом,
и мы,
и ты,
и я.

1928

КЕМ БЫТЬ

У меня растут года,
будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?
Нужные работники —
столяры и плотники!
Сработать мебель мудрено:
сначала
мы
берем бревно
и пилим доски
длинные и плоские.
Эти доски
вот так
зажимает
стол-верстак.
От работы
пила
раскалилась добела.
Из-под пилки
сыплются опилки.
Рубанок
в руки —
работа другая:
сучки, закорюки

рубанком стругаем.
Хороши стружки —
желтые игрушки.

А если
нужен шар нам
круглый очень,
на станке токарном
круглое точим.
Готовим понемножку
то ящик,
то ножку.
Сделали вот столько
стульев и столиков!

Столяру хорошо,
а инженеру —
лучше,
я бы строить дом пошел,
пусть меня научат.

Я
сначала
начерчу
дом
такой,
какой хочу.
Самое главное,
чтоб было нарисовано
здание
славное,
живое словно.

Это будет
перед,
называется фасад.
Это
каждый разберет —
это ванна,
это сад.
План готов,
и вокруг
сто работ
на тыщу рук.
Упираются леса
в самые небеса.
Где трудна работка,
там
визжит лебедка;
подымает балки,
будто палки.
Перетащит кирпичи,
закаленные в печи.
По крыше выложили жечь.
И дом готов,
и крыша есть.
Хороший дом,
большущий дом
на все четыре стороны,
и заживут ребята в нем
удобно и просторно.

Инженеру хорошо,

а доктору —
лучше,
я б детей лечить пошел,
пусть меня научат.
Я приеду к Пете,
я приеду к Поле.
— Здравствуйте, дети!
Кто у вас болен?
Как живете,
как животик? —
Погляжу
из очков
кончики язычков.
— Поставьте этот градусник
под мышку, детишки.
И ставят дети радостно
градусник под мышки.
— Вам бы
очень хорошо
проглотить порошок
и микстуру
ложечкой
пить понемножечку.
Вам
в постельку лечь
поспать бы,
вам —
компрессик на живот,
и тогда
у вас

до свадьбы
все, конечно, заживет.

Докторам хорошо,
а рабочим —
лучше,
я б в рабочие пошел,
пусть меня научат.
Вставай!
Иди!
Гудок зовет,
и мы приходим на завод.
Народа – уйма целая,
тысяча двести.
Чего один не сделает —
сделаем вместе,
Можем
железо
ножницами резать,
краном висящим
тяжести тащим;
молот паровой
гнет и рельсы травой.
Олово плавим,
машинами правим.
Работа всякого
нужна одинаково.
Я гайки делаю,
а ты
для гайки

делаешь винты.
И идет
работа всех
прямо в сборочный цех.
Болты,
лезьте
в дыры ровные,
части
вместе
сбей
огромные.
Там —
дым,
здесь —
гром.
Гро-
мим
весь
дом.
И вот
вылазит паровоз,
чтоб вас
и нас
и нес
и вез.

На заводе хорошо,
а в трамвае —
лучше,
я б кондуктором пошел,

пусть меня научат.
Кондукторам
езда везде.
С большою сумкой кожаной
ему всегда,
ему весь день
в трамваях ездить можно.
– Большие и дети,
берите билетик,
билеты разные,
бери любые —
зеленые,
красные
и голубые.
Ездим рельсами.
Окончилась рельса,
и слезли у леса мы,
садись
и грейся.

Кондуктору хорошо,
а шоферу —
лучше,
я б в шоферы пошел,
пусть меня научат.
Фырчит машина скорая,
летит, скользя,
хороший шофер я —
сдержатъ нельзя.
Только скажите,

вам куда надо —
без рельсы
жителей
доставлю на дом.
Е-
дем,
ду-
дим:
«С пу-
ти
уй-
ди!»

Быть шофером хорошо,
а летчиком —
лучше,
я бы в летчики пошел,
пусть меня научат.
Наливаю в бак бензин,
завожу пропеллер.
"В небеса, мотор, вези,
чтобы птицы пели".
Бояться не надо
ни дождя,
ни града.
Облетаю тучку,
тучку-летучку.
Белой чайкой паря,
полетел за моря.
Без разговору

облетаю гору.
«Вези, мотор,
чтоб нас довез
до звезд
и до луны,
хотя луна
и масса звезд
совсем отдалены».

Летчику хорошо,
а матросу —
лучше,
я б в матросы пошел,
пусть меня научат.
У меня на шапке лента,
на матроске
якоря.
Я проплавал это лето,
океаны покоря.
Напрасно, волны, скачете —
морской дорожкой
на реях и по мачте
карабкаюсь кошкой.
Сдавайся, ветер вьюжный,
сдавайся, буря скверная,
открою
полюс
Южный,
а Северный —
наверное.

Книгу перевершив,
намотай себе на ус —
все работы хороши,
выбирай
на вкус!

1928

ПЕСНЯ-МОЛНИЯ

За море синеволное,
за сто земель
и вод
разлейся, песня-молния,
про пионерский слет.

Идите,
слов не тратя,
на красный
наш костер!
Сюда,
миллионы братьев!

Сюда,
миллион сестер!
Китайские акулы,
умерьте
вашу прыть, —
мы
с китайчонком-кули
пойдем
акулу крыть.

Веди
светло и прямо
к работе
и к боям,
моя

большая мама —
республика моя.
Растем от года к году мы.
смотри,
земля-старик, —
садами
и заводами
сменили пустыри.
Везде
родные наши,
куда ни бросишь глаз.
У нас большой папаша —
стальной рабочий класс.
Иди
учиться рядышком,
безграмотная старь.
Пора,
товарищ бабушка,
садиться за букварь.
Вперед,
отряды сжатые,
по ленинской тропе!
У нас
один вожатый —
товарищ ВКП.

Пьесы ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

Трагедия

ПРОЛОГ

ДВА ДЕЙСТВИЯ

ЭПИЛОГ

ДЕЙСТВУЮТ:

Владимир Маяковский (поэт 20-25 лет).

Его знакомая (сажени 2-3. Не разговаривает).

Старик с черными сухими кошками (несколько тысяч лет).

Человек без глаза и ноги.

Человек без уха.

Человек без головы.

Человек с растянутым лицом.

Человек с двумя поцелуями.

Обыкновенный молодой человек.

Женщина со слезинкой.

Женщина со слезой.

Женщина со слезищей.

Газетчики, мальчики, девочки и др.

ПРОЛОГ

В. Маяковский

Вам ли понять,

почему я,

спокойный,

насмешек грозою

душу на блюде несу

к обеду идущих лет.

С небритой щеки площадей

стекая ненужной слезою,

я,

быть может,

последний поэт.

Замечали вы —

качается

в каменных аллеях
полосатое лицо повешенной скуки,
а у мчащихся рек
на взмыленных шеях
мосты заломили железные руки.
Небо плачет
безудержно,
звонко;
а у облачка
гримаска на морщинке ротика,
как будто женщина ждала ребенка,
а бог ей кинул кривого идиотика.
Пухлыми пальцами в рыжих волосиках
солнце изласкало вас назойливостью овода —
в ваших душах выцелован раб.
Я, бесстрашный,
ненависть к дневным лучам понес в веках;
с душой натянутой, как нервы провода,
царь ламп!
Придите все ко мне,
кто рвал молчание,
кто был
оттого, что петли полдней туги, —
я вам открою
словами
простыми, как мычанье,
наши новые души,

гудящие,
как фонарные дуги.
Я вам только головы пальцами трону,
и у вас
вырастут губы
для огромных поцелуев
и язык,
родной всем народам.
А я, прихрамывая душонкой,
уйду к моему трону
с дырами звезд по истертым сводам.
Лягу,
светлый,
в одеждах из лени
на мягкое ложе из настоящего навоза,
и тихим,
целующим шпал колени,
обнимет мне шею колесо паровоза.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Весело. Сцена – город в паутине улиц. Праздник нищих. Один В. Маяковский. Проходящие приносят еду – железного сельдя с вывески, золотой огромный кашалач, складки желтого бархата.

В. Маяковский

Милостивые государи!

Заштопайте мне душу,

пустота сочиться не могла бы.

Я не знаю, плевков – обида или нет,

Я сухой, как каменная баба.

Меня выдоили.

Милостивые государи,

хотите –

сейчас перед вами будет танцевать

замечательный поэт?

*Входит старик с черными сухими кошками. Гла-
дит. Весь – борода.*

В. Маяковский

Ищите жирных в домах-скорлупах

и в бубен брюха веселье бейте!

Схватите за ноги глухих и глупых

и дуйте в уши им, как в ноздри флейте.

Разбейте днища у бочек злости,

ведь я горящий булыжник дум ем.

Сегодня в вашем кричащем тосте

я овенчаюсь моим безумием.

*Сцена постепенно наполняется. Человек без уха.
Человек без головы и др. Тупые. Стали беспорядком,
едят дальше.*

В. Маяковский

Граненых строчек босой алмазник,

взметя перины в чужих жилищах,

зажгу сегодня всемирный праздник
таких богатых и пестрых нищих.

Старик с кошками

Оставь.

Зачем мудрецам погремушек потеха?

Я – тысячелетний старик.

И вижу – в тебе на кресте из смеха
распят замученный крик.

Легло на город громадное горе
и сотни махоньких горь.

А свечи и лампы в галдящем споре
покрыли шепоты зорь.

Ведь мягкие луны не властны над нами, –
огни фонарей и нарядней и хлеще.

В земле городов нареклись господами
и лезут стереть нас бездушные вещи.

А снеба на вой человечесьей орды
глядит обезумевший бог,

И руки в отрепьях его бороды,
изъеденных пылью дорог.

Он – бог,

а кричит о жестокой расплате,
а в ваших душонках поношенный вздошек.

Бросьте его!

Идите и гладьте –

гладьте сухих и черных кошек!

Громадные брюха возьмете хвастливо,

лоснящихся щек надуете пышки.

Лишь в кошках,

где шерсти вороньей отливы,

налепите глаз электрических вспышек.

Весь лов этих вспышек

(он будет обилен!)

вольем в провода,

в эти мускулы тяги, —

заскачут трамваи,

пламя светилен

зарееет в ночах, как победные стяги.

Мир зашевелится в радостном гриме,

цветы испавлинятся в каждом окошке,

по рельсам потащат людей,

а за ними

все кошки, кошки, черные кошки!

Мы солнца приколем любимым на платье,

из звезд накуем серебрящихся брошек.

Бросьте квартиры!

Идите и гладьте —

гладьте сухих и черных кошек!

Человек без уха

Это — правда! Над городом

— где флюгеров древки —

женщина

— черные пещеры век —

мечется,

кидает на тротуары плевки, —
а плевки вырастают в огромных калек.
Отмщалась над городом чья-то вина, —
люди столпились,
табуном бежали,
А там,
в обоях,
меж тенями вина,
сморщенный старикашка плачет на рояле.
Окружают.

Над городом ширится легенда мук.
Схватишься за ноту —
пальцы окровавишь!
А музыкант не может вытащить рук
из белых зубов разъяренных клавиш.
Все в волнении.

И вот
сегодня
с утра
в душу
врезал матчиш губы.
Я ходил, подергиваясь,
руки растопыря,
а везде по крышам танцевали трубы,
и каждая коленями выкидывала 44!
Господа!
Остановитесь!

Разве это можно?!

Даже переулки засучили рукава для драки.

А тоска моя растет,
непонятна и тревожна,

как слеза на морде у плачущей собаки.

Еще тревожнее.

Старик с кошками

Вот видите!

Вещи надо рубить!

Недаром в их ласках провидел врага я!

Человек с растянутым лицом

А может быть, вещи надо любить?

Может быть, у вещи душа другая?

Человек без уха

Многие вещи сшиты наоборот.

Сердце не сердится,

к злобе глухо.

Человек с растянутым лицом

(радостно поддакивает)

И там, где у человека вырезан рот, многим вещам
пришито ухо!

В. Маяковский

(поднял руку, вышел в середину)

Злобой не мажьте сердец концы!

Вас,

детей моих,

буду учить непреклонно и строго.

Все вы, люди,
лишь бубенцы
на колпаке у бога.

Я
ногой, распухшей от исканий,
обошел
и вашу сушу
и еще какие-то другие страны
в домино и в маске темноты.

Я искал
ее,
невиданную душу,
чтобы в губы-раны
положить ее целящие цветы.

(Остановился.)

И опять,
как раб
в кровавом поте,
тело безумием качаю.

Впрочем,
раз нашел ее – душу.

Вышла
в голубом капоте,
говорит:

«Садитесь!

Я давно вас ждала.

Не хотите ли стаканчик чаю?»

(Остановился.)

Я – поэт, я разницу стер
между лицами своих и чужих.

В гное моргов искал сестер.

Целовал узорно больных.

А сегодня

на желтый костер,

спрятав глубже слёзы морей,

я взведу и стыд сестер

и морщины седых матерей!

На тарелках зализанных зал

будем жрать тебя, мясо, век!

Срывает покрывало. Громадная женщина. Боязливо. Вбегают Обыкновенный молодой человек. Суется.

В. Маяковский

(в стороне – тихо)

Милостивые государи!

Говорят,

где-то,

– кажется, в Бразилии –

есть один счастливый человек!

Обыкновенный молодой человек

(подбегает к каждому, цепляется)

Милостивые государи!

Стойте!

Милостивые государи!

Господин,
господин,
скажите скорей:
это здесь хотят сжечь
матерей?

Господа!

Мозг людей остер,
но перед тайнами мира ник;
а ведь вы зажигаете костер
из сокровищ знаний и книг!
Я придумал машинку для рубки котлет.

Я умом вовсе не плох!

У меня есть знакомый –

он двадцать пять лет
работает

над капканом для ловли блох.

У меня жена есть,

скоро родит сына или дочку,

а вы – говорите гадости!

Интеллигентные люди!

Право, как будто обидно.

Человек без уха

Молодой человек,

встань на коробочку!

Из толпы

Лучше на бочку!

Человек без уха

А то вас совсем не видно!

Обыкновенный молодой человек

И нечего смеяться!

У меня братец есть,

маленький, —

вы придете и будете жевать его кости.

Вы всё хотите съесть!

Тревога, Гудки. За сценой крики: «Штаны, штаны!»

В. Маяковский

Бросьте!

*Обыкновенного молодого человека обступают ее
сторон.*

Если б вы так, как я, голодали —

дали

востока и запада

вы бы глодали,

как гложут кость небосвода

заводов копченые рожи!

Обыкновенный молодой человек

Что же, —

значит, ничто любовь?

У меня есть Сонечка сестра!

(На коленях.)

Милые!

Не лейте крепь!

Дорогие,

не надо костра!

*Тревога выросла. Выстрелы, Начинает медленно
тянуть одну ноту водосточная труба. Загудело же-
лезо крыш.*

Человек с растянутым лицом

Если бы вы так, как я, любили
вы бы убили любовь
или лобное место нашли
и растлили б
шершавое потное небо
и молочно-невинные звезды.

Человек без уха

Ваши женщины не умеют любить,
они от поцелуев распухли, как губки.

*Вступают удары тысячи ног в натянутое брюхо
площади.*

Человек с растянутым лицом

А из моей души
тоже можно сшить
такие нарядные юбки!

*Волнение не помещается. Все вокруг громадной
женщины. Взваливают на плечи. Тащат.*

Вместе

Идем, —
где за святость
распяли пророка,
тела отдадим раздетому плясу,
на черном граните греха и порока

поставим памятник красному мясу.

Дотаскивают до двери. Оттуда торопливые шаги. Человек без глаза и ноги. Радостный. Безумие надорвалось. Женщину бросили.

Человек без глаза и ноги

Стойте!

На улицах,

где лица –

как бремя,

у всех одни и те ж,

сейчас родила старуха-время

огромный

криворотый мятеж!

Смех!

Перед мордами вылезших годов

онемели земель старожилы,

а злоба

вздывала на лбах городов

реки –

тысячеверстые жилы.

Медленно,

в ужасе,

стрелки волос

подымался на лысом темени времен.

И вдруг

все вещи

кинулись,

раздирая голос,
скидывать лохмотья изношенных имен.
Винные витрины как по пальцу сатаны,
сами плеснули в днища фляжек.
У обмершего портного
сбежали штаны
и пошли –
одни! —
без человеческих ляжек!
Пьяный –
разинув черную пасть –
вывалился из спальни комод.
Корсеты слезали, боясь упасть,
из вывесок «Robes et modes» '.
Каждая калоша недоступна и строга.
Чулки-кокетки
игриво щурятся.
Я летел, как ругань.
Другая нога
еще добегаёт в соседней улице.
Что же,
вы,
кричащие, что я калека?! –
старые,
жирные,
обрюзгшие враги!
Сегодня

в целом мире не найдете человека,
у которого
две
одинаковые ноги!
Занавес
Платья и моды (*фр*).

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Скучно. Площадь в новом городе. В. Маяковский переоделся в тогу. Лавровый венок. За дверью многие ноги.

Человек без глаза и ноги

(услужливо)

Поэт!

Поэт!

Вас объявили князем.

Покорные

толпятся за дверью,

пальцы сосут.

Перед каждым положен наземь

какой-то смешной сосуд.

В. Маяковский

Что же,

пусть идут!

Робко. Женщины с узлами. Много кланяются.

Первая

Вот это слезка моя –
возьмите!

Мне не нужна она.

Пусть.

Вот она,

белая,

с щелке из нитей
глаз, посылающих грусть!

В. Маяковский

(беспокойно)

Не нужна она, зачем мне?

(Следующей.)

И у вас глаза распухли?

Вторая

(беспечно)

Пустяки!

Сын умирает.

Не тяжело.

Вот еще слеза.

Можно на туфлю.

Будет красивая пряжка.

В. Маяковский испуган.

Третья

Вы не смотрите, что я

грязная.

Вымоюсь –

буду чище.

Вот вам и моя слеза,
праздная,
большая слезища.

В. Маяковский

Будет!

Их уже гора.

Да и мне пора.

Кто этот очаровательный шатен?

Газетчики

Фигаро!

Фигаро!

Матэн!

Человек с двумя поцелуями. Все оглядывают. Говорят вперебой.

Смотрите – какой дикий!

Отойдите немного.

Темно.

Пустите!

Молодой человек,
не икайте!

Человек без головы

И-и-и-н...

Человек с двумя поцелуями

Тучи отдаются небу,

рыхлы и гадки.

День гиб.

Девушки воздуха тоже до золота падки,
и им только деньги.

В. Маяковский

Что?

Человек с двумя поцелуями

Деньги и деньги б!

Голоса

Тише!

Тише!

Человек с двумя поцелуями

(танец с дырявыми мячами)

Большому и грязному человеку

подарили два поцелуя.

Человек был неловкий,

не знал,

что с ними делать,

куда их деть.

Город,

весь в празднике,

возносил в соборах аллилуйя,

люди выходили красивое надеть.

А у человека было холодно,

и в подошвах дырочек овальцы.

Он выбрал поцелуй,

который побольше,

и надел, как калошу.

Но мороз ходил злой,

укусил его за пальцы.

«Что же, —

рассердился человек, —

я эти ненужные поцелуи брошу!»

Бросил.

И вдруг

у поцелуя выросли ушки,

он стал вертеться,

тоненьким голосочком крикнул:

«Мамочку!»

Испугался человек.

Обернул лохмотьями души своей дрожащее тельце,
понес домой.

чтобы вставить в голубенькую рамочку.

Долго рылся в пыли по чемоданам

(искал рамочку).

Оглянулся —

поцелуй лежит на диване,

громадный,

жирный,

вырос,

смеется,

бесится!

«Господи! —

заплакал человек, —

никогда не думал, что я так устану.

Надо повеситься!»

И пока висел он,
гадкий,
жаленький, —
в будуарах женщины
— фабрики без дыма и труб —
миллионами выделявали поцелуи,
всякие,
большие,
маленькие, —
мясистыми рычагами шлепающих губ.

Вбежавшие дети-поцелуи

(резво)

Нас массу выпустили.

Возьмите!

Сейчас остальные придут.

Пока — восемь.

Я —

Митя.

Просим!

Каждый кладет слезу.

В. Маяковский

Господа!

Послушайте, —

я не могу!

Вам хорошо,

а мне с болью-то как?

Угрозы:

Ты поговори еще там!
Мы из тебя сделаем рагу,
как из кролика!

Старик с одной ощипанной кошкой

Ты один умеешь песни петь.

(На груди слёз.)

Отнеси твоему красивому богу.

В. Маяковский

Пустите сесть!

Не дают. В. Маяковский неуклюже топчется, собирает слезы в чемодан. Стал с чемоданом.

Хорошо!

Дайте дорогу!

Думал –

радостный буду.

Блестящий глазами

сяду на трон,

изнеженный телом грек.

Нет!

Век,

дорогие дороги,

не забуду

ваши неги худые

и седые волосы северных рек!

Вот и сегодня –

выйду сквозь город,

душу

на копьях домов
оставляя за клоком клок.
Рядом луна пойдет –
туда,
где небосвод распорот.
Поравняется,
на секунду примерит мой котелок.

Я
с ношей моей
спотыкаюсь,
ползу
дальше
на север,
туда,
где в тисках бесконечной тоски
пальцами волн
вечно
грудь рвет
Океан-изувер.
Я добреду –
усталый,
в последнем бреду
брошу вашу слезу
темному богу гроз
у истока звериных вер.

Занавес

ЭПИЛОГ

В. Маяковский

Я это все писал

о вас,

бедных крысах.

Жалел – у меня нет груди:

я кормил бы вас доброй нененькой.

Теперь я немного высох,

я – блаженненький.

Но зато

кто

где бы

мыслям дал

такой нечеловечий простор!

Это я

попал пальцем в небо,

доказал:

он – вор!

Иногда мне кажется –

я петух голландский

или я

король псковский.

А иногда

мне больше всего нравится

моя собственная фамилия,
Владимир Маяковский.
1913

МИСТЕРИЯ-БУФФ

Героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи

ВТОРОЙ ВАРИАНТ

«Мистерия-буфф» – дорога. Дорога революции. Никто не предскажет с точностью, какие еще горы придется взрывать нам, идущим этой дорогой. Сегодня сверлит ухо слово «Ллойд-Джордж», а завтра имя его забудут и сами англичане. Сегодня к коммуне рвется воля миллионов, а через полсотни лет, может быть, в атаку далеких планет ринутся воздушные дредноуты коммуны. Поэтому, оставив дорогу (форму), я опять изменил части пейзажа (содержание). В будущем все играющие, ставящие, читающие, печатающие «Мистерию-буфф», меняйте содержание, – делайте содержание ее современным, сегодняшним, сиюминутным.

ДЕЙСТВИЮТ:

1. **Семь пар чистых:** 1) Негус абиссинский, 2) Раджа индийский, 3) Турецкий паша, 4) Российский спекулянт, 5) Китаец, 6) Упитанный перс, 7) Клемансо, 8) Немец, 9) Поп, 10) Австралиец, 11) Жена австралийца, 12) Ллойд-Джордж, 13) Американец и 14) Дипломат.

2. **Семь пар нечистых:** 1) Красноармеец, 2) Фонарщик, 3) Шофер, 4) Шахтер, 5) Плотник, 6) Батрак, 7)

Слуга, 8) Кузнец, 9) Булочник, 10) Прачка, 11) Швея, 12) Машинист, 13) Эскимос-рыбак и 14) Эскимос-охотник.

3. **Соглашатель.**

4. **Интеллигенция.**

5. **Дама с картонками.**

6. **Черти:** 1) Вельзевул, 2) Обер-черт, 3) Вестовой, 4) 2-й вестовой, 5) Караульный, 6) 20 чистых с рогами и хвостами.

7. **Святые:** 1) Мафусаил, 2) Жан-Жак Руссо, 3) Лев Толстой, 4) Гавриил, 5) Ангел, 6) 2-й ангел и 7) ангелы.

8. **Саваоф.**

9. **Действующие Земли обетованной:** 1) Молот, 2) Серп, 3) Машины, 4) Поезда, 5) Автомобили, 6) Рубанок 7) Клещи, 8) Игла, 9) Пила, 10) Хлеб, 11) Соль, 12) Сахар, 13) Материя, 14) Сапог, 15) Доска с рычагом.

10. **Человек будущего.**

МЕСТА ДЕЙСТВИЙ

1. Вся вселенная. 2. Ковчег. 3. Ад. 4. Рай. 5. Страна обломков. 6. Земля обетованная.

ПРОЛОГ

Нечистый

Через минуту

мы вам покажем...

Мистерию-буфф.

Должен сказать два слова я:

это

вещь новая.

Чтобы выше головы прыгнуть,

надо чтоб кто-нибудь помог.

Перед новой пьесой

необходим пролог.

Во-первых,

почему

весь театр разворочен?

Благонамеренных людей

это возмутит очень.

Вы для чего ходите на спектакли?

Для того, чтобы удовольствие получить —

не так ли?

А велико ли удовольствие смотреть,

если удовольствие только на сцене;

сцена-то —

всего одна треть.

Значит,

в интересном спектакле,

если все застроишь,

то и удовольствие твое увеличится втрое ж,

а если

спектакль неинтересный,

то не стоит смотреть
и на одну треть.

Для других театров
представлять не важно:

для них
сцена —

замочная скважина.

Сиди, мол, смирно,
прямо или наискосочек
и смотри чужой жизни кусочек.

Смотришь и видишь —
гнусят на диване

тети Мани

да дяди Вани.

А нас не интересуют
ни дяди, ни тети, —

теть и дядь и дома найдете.

Мы тоже покажем настоящую жизнь,
но она

в зрелище необычайнейшее театром превращена.

Суть первого действия такая:

земля протекает.

Потом — топот.

Все бегут от революционного потопа.

Семь пар нечистых

и чистых семь пар,

то есть

четырнадцать бедняков-пролетариев
и четырнадцать буржуев-бар,
а меж ними,
с парой заплаканных щечек —
меньшевичочек.

Полюс захлестывает.

Рушится последнее убежище.

И все начинают строить

даже не ковчег,

а ковчежище.

Во втором действии

в ковчеге путешествует публика:

тут тебе и самодержавие,

и демократическая республика,

и наконец

за борт,

под меньшевистский вой,

чистых сбросили вниз головой.

В третьем действии показано,

что рабочим

ничего бояться не надо,

даже чертей посреди ада.

В четвертом —

смейтесь гуще! —

показываются райские кущи.

В пятом действии разруха,

разинув необъятный рот,

крушит и жрет.
Хоть мы работали и на голодное брюхо,
но нами
была побеждена разруха.
В шестом действии —
коммуна, —
весь зал,
пой во все глотки!
Смотри во все глаза!
Все готово?
И ад?
И рай?
Из-за сцены.
Г-о-т-о-в-о!
Давай!

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

На зареве северного сияния шар земной, упирающийся полюсом в лед пола. По всему шару лестницами перекрещиваются канаты широт и долгот. Между двух моржей, подпирающих мир, эскимос-охотник, уткнувшись пальцем в землю, орет другому, растянувшемуся перед ним у костра.

Охотник

Эйе!

Эйе!

Рыбак

Горланит.

Дела другого нет —
пальцем землю тыркать.

Охотник

Дырка!

Рыбак

Где дырка?

Охотник

Течет!

Рыбак

Что течет?

Охотник

Земля!

Рыбак

(вскакивая, подбегая и засматривая под зажимающую палец)

О-о-о-о!

Дело нечистых рук.

Черт!

Пойду предупрежу Полярный круг.

Бежит. На него из-за склона мира наскокивает выжимающий рукава немец. Секунду ищет пуговицу и, не найдя, ухватывает шерсть шубы.

Немец

Гер эскимос!

Гер эскимос!
Страшно спешно!
Пара минут...

Рыбак

Ну?

Немец

Так вот – сегодня сижу я это у себя в ресторане
на Фридрихштрассе.

В окно солнце

так и манит.

День,

как буржуй до революции, ясен.

Публика сидит

и тихо шейдеманит.

Суп съев,

смотрю я на бутылочные эйфели.

Думаю:

за какой мне приняться беф?

Да и приняться мне за беф ли?

Смотрю —

и в горле застрял обед:

что-то неладное с Аллеей Побед.

Каменные Гогенцоллерны,

стоявшие меж ромашками,

вдруг полетели вверх тормашками.

Гул.

На крышу бегу.

Виясь вокруг трактирного остова,
безводный прибой,
суетне вперебой,
бежал,
кварталы захлестывал.

Берлин – тревожного моря бред,
невидимых волн басовые ноты.

И за,
и над,
и под,
и пред —
домов дредноуты!

И прежде чем мыслью раскинуть мог,
от Фоша ли это или от...

Рыбак

Скорей!

Немец

Я весь
до ниточки взмок.

Смотрю —
все сухо,
но льется, и льется, и льет.

И вдруг,
крушенья Помпеи помпезней, картина разверзлась

с корнем
Берлин был вырван

и вытоплен в бездне,
у мира в расплавленном горне.
Я очнулся на гребне текущих сел.
Я весь свой собрал яхт-клубский опыт, —
и вот
перед вами,
милейший,
все,
что осталось теперь от Европы.

Рыбак

Н-н-немного...

Немец

Успокоится, конечно...

Дня-с на два-с.

Рыбак

Да говори ты без этих европейских юлений!

Чего тебе надо? Тут не до вас.

Немец

(показывая горизонтально)

Разрешите мне около ваших многоуважаемых тюленей.

Рыбак досадливо машет рукой костру, идет в другую сторону – предупредить Круг – и натывается на выбегающих из-за другого склона измокших австралийцев.

Рыбак

(отступая в удивлении)

А еще омерзительней не было лиц?!

Австралиец с женой

(вместе)

Мы – австралийцы.

Австралиец

Я – австралиец.

Все у нас было.

Как-то-с:

утконос, пальма, дикобраз, кактус...

Австралийка

(плача в нахлынувшем чувстве)

А теперь

пропали мы,

все пропало:

и кактусы,

и утконосы,

и пальмы —

все утонуло...

все на дне...

Рыбак

(указывая на разлегшегося немца)

Вот идите к ним.

А то они одне.

Собравшись вновь идти, эскимос остановился, прислушиваясь к двум голосам с двух сторон земного шара.

Первый голос

Котелок, у-ту!

Второй

Цилиндр, у-ту!

Первый

Крепчает!

Держитесь за северную широту!

Второй

Яреет!

Хватайтесь за южную долготу!

*По канатам широт и долгот скатываются с
земного шара англичанин и француз. Каждый водру-
жает национальное знамя.*

Англичанин

Знамя водружено.

Хозяин полный в снежном лоне я.

Француз

Нет, извините!

Я раньше водрузил.

Это – моя колония.

Англичанин

(раскладывая какие-то товары)

Нет – моя,

я уже торгую.

Француз

(начиная сердиться)

Нет – моя,

а вы себе поищите другую.

Англичанин

(взъярясь)

Ах, так!

Да чтобы ты погиб!

Француз

(взъярясь)

Ах, так!

Насажу я тебе шишку на нос!

Англичанин

(лезет с кулаками на француза)

Англия, гип-гип!

Француз

(лезет с кулаками на англичанина)

Вив ла Франс!8

Австралиец

(бросается разнимать)

Ну и народ!

Не народ, а сброд чистый:

уже ни империй нет,

ни империалов,

а они все еще морду друг другу бьют.

Рыбак

Эх, вы,

империалисты!

Немец

Бросьте, что вы, право!

Рыбак

Ну и орава!

Прямо на голову вновь собравшемуся идти эскимосу низвергается наш купчина.

Купец

Почтенные,

это безобразие!

Да рази я Азия?

«Уничтожить Азию» – постановление совнеба.

Да я и в жисть азиатом не был!

(Успокоившись немного.)

Вчера в Туле

сажу я спокойно в стуле.

Как рванет двери!

Ну, думаю —

из Чека!

У меня, сами понимаете,

аж побледнела щека.

Но

бог многомилостив на свете:

оказывается, не Чека – ветер.

Крапнуло немного,

потом пошло,

дальше – больше,

больше – выше,

хлынуло в улицы,

рвануло крыши...

Все

Тише!

Тише!

Француз

Слышите?

Слышите топот?

Множество приближающихся голосов.

Потоп! потопом! потопу! о потопе! потопа!

Англичанин

(в ужасе)

О, господи!

Несчастье – как из трубы водосточной,
а тут еще этот вопрос восточный.

*Впереди негус, за ним – китаец, перс, турок, ра-
джа, поп, соглашатель. Шествие замыкают вливаю-
щиеся со всех сторон все семь пар нечистых.*

Негус

Хоть чуть чернее снегу-с,
но тем не менее
я абиссинский негус.

Мое почтение.

Я покинул сейчас мою Африку.

Извивался в ней Нил, удав-река.

Как взъярился Нил, царство сжав в реку,
и потопла в нем моя Африка.

Хоть нет имения,
но тем не менее...

Рыбак

(досадливо)

...но тем не менее
мое почтение.

Слыхали, слыхали!

Негус

Прошу не забываться —

с вами говорит негус,

и негус хочет кушать.

Что это?

Должно быть, вкусная собачка?

Рыбак

Я те дам – собачка!

Это морж, а не собачка.

*Негус по ошибке пытается сесть на похожего как
две капли воды на моржа Ллойд-Джорджа.*

Рыбак

Иди садись, да никого не запачкай.

Англичанин

(перепуганно)

Это не я морж,

это он морж,

а я не морж,

я Ллойд-Джордж.

Рыбак

(обращаясь к остальным)

А вам чего?

Китаец

Ничего!

Ничего!

Утоп мой Китай!

Перс

Персия,

моя Персия пошла на дно!

Раджа

Даже Индия,

поднебесная Индия, и та!

Паша

И от Турции осталось воспоминание одно!

Из толпы чистых прорывается дама с бесконечным количеством картонок.

Дама

Осторожней!

Не рвите!

Шелк тонкий!

(Рыбаку.)

Мужик,

помоги поставить картонки.

Голос

(из толпы чистых)

Какая милая!

Какая пикантная!..

Рыбак

Дармоедка праздная!

Француз

Вы какой будете нации?

Дама

Нация у меня самая разнообразная.

Сначала была русской —

Россия мне стала узкой.

Эти большевики – такой ужас!

Я женщина изящная,

с душою тонкой —

я взяла и стала эстонкой.

Стали большевики наседать на окраины —

я и стала гражданкой Украины.

Брали Харьков раз десять —

я в какой-то республике устроилась в Одессе.

Одессу взяли, Врангель в Крыму —

я взяла и подчинилась ему.

Гнали белых по морю и по полю —

я уже турчанка.

Гуляю по Константинополю.

Стали большевики подходить ближе —

а я уже парижанка.

Гуляю в Париже.

Наций сорок переменяла, признаться, я —

теперь у меня камчатская нация.

Какое паршивое на полюсах лето:

нельзя показать ни одного туалета!

Рыбак

(прикрикивает на чистых)

Тише!

Тише!

Что это за гул?

Соглашатель

(в истерике отделяется от толпы)

Послушайте!

Я не могу!

Послушайте!

Что же это такое?

Сухого места на свете нет!

Послушайте!

Оставьте меня в покое!

Отпустите меня домой,

в кабинет!

Послушайте!

Я не могу!

Я думал, потоп по Каутскому будет.

И волки сыты,

и овцы целы.

А теперь —

убивают друг друга люди.

Милые красные!

Милые белые!

Послушайте, я не могу!

Француз

Да не трите глаз...

не кусайте губ...

(Придвигающимся к костру нечистым, заносчиво.)

А вы которых наций?!

Нечистые

(вместе)

По свету всему гоняться
привык наш бродячий родина.

Мы никаких не наций,
труд наш – наша родина.

Француз

Старые арии!

Испуганные голоса чистых

Это пролетарии!

Пролетарии...

Пролетарии...

Кузнец

(французу, похлопывая его по изрядному животу)

Шум потопа, небось, в ушах-то?

Прачка

(ему же, насмешливо и визгливо)

Лег бы сейчас и уснул на кровати?

Пустить бы тебя в окопы да в шахты!

Красноармеец

(грозно)

Пошел бы в окопы —

в окопах мокроватей.

Видя назревающий «конфликт» между чистыми и нечистыми, разнимать их бросается соглашатель.

Соглашатель

Милые! Ну, не надо! Не подымайте ругань!

Бросьте друг на друга коситься.

Протяните руки,
обнимите друг друга.

Господа, товарищи,
надо согласиться.

Француз

(злобно)

Чтоб я согласился?

Это уж слишком!

Рыбак

(злобно. И рыбак и француз костыляют шею соглашателю)

Ах ты, соглашатель!

Ах ты, соглашателишка!

Соглашатель

(отбегал, побитый, скулит)

Ну вот,
опять...

Я ему по-хорошему,

а он...

Так вот всегда:

зовешь согласиться,

а тебе наложат с двух сторон.

Нечистые проходят, разделяя брезгливо жмущуюся толпу чистых, рассаживаются у костра. Толпа чи-

стyx смыкается за ними в круг.

Паша

(вылазит в середину)

Правоверные!

Надо обсудить, что же произошло.

Давайте внимнем в суть явления.

Купец

Дело простое —
светопреставление.

Поп

А по-моему — потоп.

Француз

И вовсе не потоп,
а то б
дождик был.

Раджа

Да,
не было дождика.

Дипломат

Значит, и эта идея тоже дика...

Паша

Но все-таки —
что же, правоверные, произошло?
Давайте, правоверные, посмотрим в корень.

Купец

Народ, по-моему, стал непокорен.

Немец

Думаю, война, я.

Интеллигенция

Нет,

по-моему, причина иная.

По-моему, метафизическое...

Купец

(недовольно)

Война – метафизическое!

Начали с Адама!

Голоса

По очереди!

По очереди!

Не устраивайте содома.

Паша

Те!

Давайте говорить постепенно.

Ваше слово, студент!

(Оправдывается перед толпой.)

А то у него даже на губах пена.

Интеллигент

Сначала

все было просто:

день сменила ночь,

и только

заря чересчур разнебесилась ало.

Потом —

законы,

понятия,
веры,
гранитные кучи столиц
и самого солнца недвижимая рыжина, —
все стало как будто немного текуче,
ползуче немного,
немного разжижено.

Потом как прольется!

Улицы льются,
растопленный дом низвергается на дом.

Весь мир,
в доменных печах революций расплавленный,
льется сплошным водопадом.

Голос китайца

Господа! Внимание!

Сюда моросят!

Жена австралийца

Хорошенькое моросят!

Измочило, как поросят.

Перс

Может, конец мира близок,

а мы

митингуем, орем и ржем.

Дипломат

(жметя к полюсу)

Становитесь сюда!

Теснее!

Здесь не закапает.

Купец

(наддавая коленкой зажимающего дыру с присущим этому народу терпением эскимоса)

Эй, ты!

Пошел к моржам!

Охотник-эскимос отлетает, и из открытой дыры забила в присутствующих струя. Веером рассыпались чистые, нечленораздельно оря.

И-и-и-и-и!

У-у-у-у-у!

А-а-а-а-а!

Через минуту все бросаются к струе.

Забить!

Заткнуть!

Зажать!

Отхлынули. Только австралиец остался у земного шара с пальцем в дыре. В общем переполохе взгромоздился на пару поленьев поп.

Поп

Братие!

Лишаемя последнего вершка!

Последний дюйм заливают водой!

Голоса нечистых

(тихо)

Кто это?

Кто этот шкаф с бородой?

Поп

Сие на сорок ночей и на сорок ден!

Купец

Правильно!

Господь надоумил умно его.

Интеллигенция

В истории был подобный прецедент —
вспомните знаменитое приключение Ноево.

Купец

(водворяясь на место попа)

Это глупости —

и история, и прецедент, и воопче...

Голоса

Ближе к делу!

Купец

Давайте, братцы, построим копчег.

Жена австралийца

Правильно! Ковчег!

Интеллигенция

Вот охота!

Пароход построим.

Раджа

Два парохода!

Купец

Правильно!

Весь капитал вложу!

Те спаслись, а мы умнее тех, никак.

Общий гул

Да здравствует,
да здравствует техника!

Купец

Подымите руки —
кто за.

Общий гул

И рук не надо,
видно за глаза.

И чистые и нечистые поднимают руки.

Француз

(заняв место купца, со злобой осматривает кузнеца, поднявшего руку)

И ты туда же?

Да и не тщись ты!

Господа,

давайте не возьмем нечистых!

Будут знать, как нас ругать!

Голос плотника

А ты умеешь пилить и строгать?

Француз

(поникая)

Я передумал.

Возьмем нечистых.

Купец

Только отберем непьющих и плечистых.

Немец

(влезая на место француза)

Т-с-с, господа,
может быть, еще и не придется мириться с
нечистыми.

К счастью,
мы не знаем, что с пятой частью света.
Галдите, и даже не побеспокоились узнать,
есть меж нами американцы ли.

Купец

(радостно)

Ну и голова!

Не человек, а германский канцлер!

Радость прорезает крик австралийки.

Что это?

Прямо из зала к напряженно вглядывающимся врывается американец на мотоцикле.

Американец

Милостивые государи,
где здесь строят ковчег?

(Протягивает бумагу.)

Вот

от утопшей Америки
на двести миллиардов чек.

Молчаливое уныние. И вдруг вопль зажимающего воду австралийца.

Австралиец

Чего разглазелись? Будет пялиться!

Ей-богу, выну!

Коченеют пальцы!

Чистые засуетились, трутся к нечистым.

Француз

(кузнецу)

Ну что, товарищи,
построим, а?

Незловивый кузнец

А мне что,
по мне хоть...

(Машет рукой нечистым.)

Айда, товарищи!

Ехать, так ехать.

Нечистые поднимаются. Пилы. Рубанки. Молотки.

Соглашатель

Поскорее, товарищи,
поскорее, милые!..

За работу!

В руки топоры и пилы!

Интеллигент

(отходит в сторону)

Работать —

и не подумаю даже.

Сяду себе вот тут

и займусь саботажем.

(Кричит на работающих.)

Живей поворачивайся!

Руби, да не промахивайся мимо!

Плотник

А ты чего сидишь, руки сложивши?

Интеллигент

Я спец, я незаменимый...

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Палуба ковчега. По всем направлениям панорама рушащихся в волны земель. В низкие облака упирается запутанная веревками лестница-мачта. В стороне рубка и вход в трюм. Чистые и нечистые выстроились по близкому борту.

Батрак

Н-да!

Не хотел бы я нынче за борт.

Швея

Глянь-ка туда:

не волна, а забор!

Купец

Зря я это с вами спутался.

Всегда вот так,

без толка.

Мореплаватели тоже!

Нашли морского волка!

Фонарщик

Ишь поднесла!
Гудит и стенает.

Швея

Какой там забор!
Закрыло стеною!

Француз

Да-с.
Очень глупо-с!
Говорю вам с прискорбием и болью-с.
Сидели б.
Земля еще держится.
Какой ни на есть, а все-таки полюс.

Батрак

Что волки твои,
волнищами ляскают.

Оба эскимоса, шофер и австралийцы (сразу)

Глядите,
что это?
Что с Аляскою?

Негус

Ну и метнулась!
Что камень пращой.

Немец

Ухнулась!

Эскимос

Нет ее!

Рыбак

Нет!

Все

Прощай! Прощай! Прощай!

Француз

(расплакался, придавленный воспоминаниями)

Боже мой!..

Боже мой!..

Бывало,

всей семьей

соберемся у чайного столика —

плюшки,

икорка...

Булочник

(отмеряя кончик ногтя)

Чудно, ей-богу!

Ну, не жаль вот

ни столько.

Сапожник

Я водчонки припас.

Найдется рюмка?

Слуга

Найдется.

Рудокоп

Ребята,

идемте в трюм-ка!

Эскимос-охотник

Ну, как моржонок?

Не очень поджарый ли?

Слуга

Ничего не поджарый,

славно поджарили.

*Чистые одни. Нечистые спускаются в трюм, под-
левая.*

Что терять нам? Испугаться нам потопа ли?

Разустили ножки – по свету потопали!

Эх, и отдых в пароходах.

Эх!

И моржонка съесть и водочки хлебнуть не грех...

Эх, не грех!

Чистые окружили расхныкавшегося француза.

Перс

Стыдно, право!

Бросьте орать-то!

Купец

Перебьемся как-нибудь,

доползем до Арарата.

Негус

С голодудохнешь, пока гора-то.

Американец

Деньжищ уйма,

а без пищи недохнешь едва.

Даю за фунт хлеба полмиллиона

николаевок
и бриллиантов фунта два.

Купец

Спекулировал.
В Чека сидел раза три.
А на черта мне теперь эти деньги?!

Китаец

Плюнь да разотри.

Паша

Что бриллианты!
Теперь, если у человека камни в печени,
то и то чувствуешь себя обеспеченней —
быдто брюхо набито.

Австралиец

Никакой жратвы,
одно корыто.

Соглашатель

А тут еще и Сухаревка закрыта.

Купец

(к попу)

Ничего, смиренный инок,
теперь на каждой площади Смоленский рынок.

Дама

И масло, и молоко, и сливки на рынке, —
подставляй пустой карман вместо крынки.

Купец

Это ты без молока насидишься, дура,

а у рабочего премия,
у рабочего натура, —
получит
и обменяется.

Дама

А я шляпки буду менять на яйца.

Интеллигент

Обменяешь последнюю шляпу,
а потом сиди,
соси лапу.

Поп

(прислушиваясь к шуму в трюме)

Ишь ржут!

Интеллигент

Что им!

Наловили рыбу и жрут.

Поп

Возьмем сеть или острогу и тоже давайте ловить.

Немец

О-с-т-р-о-г-у?

А как обращаться ею?

Я только шпагой в человеке ковырять умею.

Купец

Я закинул сеть,
думал – рыбину выну,
умаялся,
и ничего —

одну травину.

Паша

(сокрушенно)

До чего доросли:

первой гильдии – и жрут водоросли.

Ллойд-Джордж

(к Клемансо)

Эврика!

Давайте бросим ссориться.

Какая может быть распря с англичанином

у француза?

Главное – это то, что у меня пузо, у вас пузо.

Соглашатель

И у меня... пузо.

Клемансо

Как это грустно:

с таким прекрасным господином —

и я не задрался чуть.

Ллойд-Джордж

Теперь нам не до драк:

у нас с вами общий враг,

Вот что я вам сказать хочу...

Берет Клемансо под руку и отводит. Пошептавшись, возвращаются.

Клемансо

Господа!

Мы все такие чистые.

Нам проливать за работой пот ли?
Давайте заставим нечистых, чтоб они на нас
работали.

Интеллигент

Я бы их заставил!
Да куда мне —
чахл!

А из них любой – косяя в плечах.

Ллойд-Джордж

Боже сохрани драться!
Не драться,
а пока выжирают меню,
пока восседают,
пия и оря,
возьмем и подложим им свинью...

Клемансо

Выберем им царя!

Соглашатель

Зачем царя?
Лучше городского.

Клемансо

А затем, что царь издаст манифест —
все кушанья мне, мол, должны быть отданы.
Царь ест,
и мы едим —
его верноподданные.

Все

Здорово!

Паша

Ловко!

Немец

(радостно)

Я же говорил вам —
Бисмарочья головка!

Австралийцы

Выбираем скорей!

Несколько голосов

Но кого?

Кого же?

Англичанин и француз

Негуса.

Поп

Правильно!

Ему и в руки вожжи.

Купец

Какие вожжи?

Немец

Ну, как их там...

бразды правления, что ли...

Чего придираетесь?

Смысл один.

(Негусу.)

Взлазьте, господин!

Дама

Господа!

Скажите —

это будет настоящий царь
или только притворный?

Голоса

Настоящий, настоящий!

Дама

Ах!

Я буду дамой придворной!

Ллойд-Джордж

Скорей, скорей
строчите манифест:
с божьей, мол, милости...

Паша и австралиец

А мы сюда,
чтобы не успели вылезти.

Паша и прочие строчат манифест. Немец с дипломатом разматывают перед выходом из трюма канат. Пошатываясь, вылазят нечистые. Когда последний выполз на палубу, дипломат и немец меняются местами — и нечистые опутаны.

Немец

(сапожнику)

Эй,

ты!

Ступай под присягу!

Сапожник

(плохо разбираясь в событиях)

Можно, я лучше прилягу?

Дипломат

Я тебе прилягу —
не встанешь сто лет!

Господин поручик,
наводите пистолет!

Француз

Ага!

Протрезвели!

Вот так оно проще.

Некоторые нечистые

(грустно)

Попались, братцы,
как куры во щи.

Австралиец

Шапки долой!

У кого там шапка?

Китаец и раджа

(подталкивают попа, стоящего под рубкой, возглавляемой негусом)

Читай же,

читай, стоят не дыша пока.

Поп

(по бумаге)

Божьей милостью

мы,

царь изжаренных нечистыми кур
и великий князь на оных же яйца,
не сдирая ни с кого семь шкур, —
шесть сдираем, седьмая оставляется, —
объявляем нашим верноподданным:
волоките все —
рыбу, сухари, морских свинят
и чего найдется съестного прочего.

Правительствующий сенат
не замедлит

разобраться в грудях добра,
отобрать и нас попотчевать.

Импровизированный сенат из паши и раджи
Слушаемся, ваше величество!

Паша

(распоряжается. Австралийцу)

Вы — в каюты!

(Австралийке.)

Вы — в кладовые!

(Общее.)

Чтоб нечистый ничего дорогой не выел.

(Купцу, отматывая для него булочника.)

Вы вот с ним спускайтесь в трюм.

Я с раджою на палубе все просмотрю.

Притащите сюда

и возвращайтесь снова.

Радостный гул чистых.

Навалим целую гору съестного!

Поп

(потирая руки)

А после братски поделимся добычей
по христианскому обычаю.

Конвоируемые чистыми, нечистые спускаются в трюм. Через минуту возвращаются и вываливают перед негусом всяческую пищу.

Купец

(радостно)

Все обыскали,
больше нет ничего ровно.

Продукт-то какой!

Восхищенье!

Одно слово —
нормированный.

Ну, ребята, востри зуб!

Американец

А нечистые?

Немец

Надо их запереть внизу.

Поп

Ну-тко,
ваше величество, обождите.

Одна минутка!

Гонят нечистых в трюм, и пока возятся с ними, негус съедает все принесенное.

Чистые возвращаются.

Клемансо

Идешь, Ллойд-Джордж?

Ллойд-Джордж

Иду, иду!

Чистые

(подгоняют друг друга)

Скорей, скорей,

время за еду!

Взбираются к негусу. Перед негусом пустое блюдо. В один грозный голос.

Что здесь?!

Гуляла мамаева рать?

Поп

(в исступлении)

Один ведь,

один —

и чтоб столько сожрать!

Паша

Взял бы да грохнул по сытой роже.

Негус

Молчать!

Я помазанник божий.

Немец

Помазанник,

помазанник!

Лег бы, как мы...

Дипломат

На голодный желудок...

Поп

Иуда!

Раджа

ТЬфу!

Не об этаким думал дне я.

Купец

Ляжем.

Утро вечера мудренее.

Укладываются. Ночь. По небу быстро проходит луна. Луна склоняется. Рассвет. В синем утре приподнимается фигура дипломата. С другой стороны приподнимается немец.

Дипломат

Вы спите?

Немец отрицательно качает головой.

Дипломат

Проснулись в эту пору?!

Немец

Уснешь тут!

В животе такой разговорище.

Ну, поговори, поговори еще!

Соглашатель

Все котлеты снятся.

Поп

(издали)

А что ж еще могло сниться?

(Негусу.)

Ишь, проклятый! Так и лоснится.

Австралиец

Холодно.

Интеллигент

(негусу)

Никаких духовных запросов!

Объелся – и рад.

Француз

(после короткой паузы)

Господа,

знаете что?..

Я чувствую, что я уже демократ.

Немец

Вот новость!

Я всегда народ любил без памяти.

Перс

(ехидно)

А кто предлагал его величеству к стопам идти?

Дипломат

Бросьте ваши ядовитые стрелы!

Самодержавие как форма правления несомненно устарело.

Купец

Устареет, если росинки не попало в рот.

Немец

Серьезно! Seriously!
Назревает переворот.
Довольно распрь,
покончим с бранью!

Соглашатель

Ура!

Ура Учредительному собранию!

(Отваливают люк.)

Ура! Ур-а-а!

(Друг другу.)

Наяривайте!

Жмите!

Из люка лезут разбуженные нечистые.

Сапожник

Что это? Перепились?

Кузнец

Авария?

Купец

Граждане, пожалте на митинг!

(Булочнику.)

Гражданин, вы за республику?

Нечистые

(хором)

Митинг?

Республику?

Какую такую?

Француз

Стойте,
сейчас интеллигенция растолкует.

(Интеллигенту.)

Эй ты, интеллигенция!

«Интеллигенция» и француз влазят на рубку.

Француз

Объявляю собрание открытым.

(Интеллигенту.)

Ваше слово!

Интеллигент

Граждане!

У этого царицы невозможный рот!

Голоса

Правильно!

Правильно, гражданин оратор!

Интеллигент

Все, проклятый, как есть, сожрет!

Голос

Правильно!

Интеллигент

И никто

никогда не доползет до Арарата.

Голоса

Правильно!

Правильно!

Интеллигент

Довольно!

Рвите цепи ржавые!

Общий гул

Долой!

Долой самодержавие!

Соглашатель

На кого вы руку подымаете?

Ах!

Монарх!

Всю жизнь вам в каторге жить на нарах.

Власть от бога.

Не трогайте оной,
господа.

Согласитесь на монархии конституционной,
на великом князе Николае
или

на Михаиле.

Нечистые и чистые

(хором)

Согласиться,
чтобы все сжиралось им?

Немец

Я тебе соглашусь!

Все

(хором)

Мы тебя согласим!

Соглашатель

(вздутый, плачется)

Как начали греть!
Как начали крыть!
Легче помереть,
чем их помирить.

Купец

(негусу)

Попили кровушки,
нагадили народу...

Француз

(негусу)

Эй, ты,
алон занфан в воду!

Общими усилиями раскачивают негуса и швыряют за борт. Затем чистые берут под руки нечистых и расходятся, нашептывая.

Дипломат

(рудокопу)

Товарищи,
вы даже не поверите,
я так безумно рад:
нет теперь этих вековых преград.

Француз

(кузнецу)

Поздравляю вас!
Рухнули вековые устои.

Кузнец

(неопределенно)

М-да...

Француз

Остальное устроится,
остальное – пустое!

Поп

(швее)

Теперь мы – за вас, вы – за нас.

Купец

(довольный)

Так, так! Води за нос.

Дама

Разве я к негусу была пылкой?

Я живу,

я дышу Учредилкой!

За правительство Временное —
что угодно!

Хоть два года буду ходить беременная!

Сейчас надену красные банты, —

надо же завести революционную моду.

Через минутку вернусь

к моему обожаемому народу.

(Бежит к картонкам.)

Клемансо

(на рубке)

Ну, граждане, довольно.

Погуляли всласть.

Давайте организуем демократическую власть.

Граждане,
чтобы все это было скоро и быстро,
мы вот, – упокой господи душу негуса! – мы вот три-
надцать

будем министры и помощники министров,
а вы – граждане демократической республики, —
вы будете ловить моржей, шить сапоги, печь бубли-
ки.

Возражений нет?

Принимаются доводы?

Батрак

Ладно!

Было бы недалеко до воды.

Хором

Да здравствует, да здравствует демократическая
республика!

Француз

А теперь я

(нечистым)

вам предлагаю работать.

(Чистым.)

А вы – за перья.

Работайте,

несите сюда,

а мы это поделим поровну, —

последняя рубашка пополам будет порвана.

Чистые устанавливают стол, располагаются с

бумагами и, когда нечистые приносят съестное, вписывают во входящие и по уходе с аппетитом съедают.

Булочник, пришедший во второй раз, пытается заглянуть под бумаги.

Ллойд-Джордж

Чего глазеешь?

Отойди от бумаг!

Это, брат, дело не твоего ума.

Клемансо

Вы же в управлении государством ничего не понимаете ровно.

Каждая входящая тарелка

и каждая исходящая

должна быть обязательно перенумерована.

Кузнец

Пока вы ставите номер,

как бы наш брат, нечистый, не помер.

Булочник

Давайте делиться обещанным.

Поп

(возмущенно)

Братие!

Рановато думать о пище нам.

Раджа

(отводя от стола)

Акулу посмотрите —

там акулу поймали, —
не несет яиц,
не дает молока ли.

Кузнец

Эй, раджа, паша ли вы,
помните турецкую поговорку:
«Паша, не пошаливай!»

Кузнец

(возвращаясь с прочими нечистыми)

Учат!

Сколько ни дои акул,
не быть из акулы молоку.

Сапожник

(пишущим)

Пора обедать. Скорей кончай-ка!

Американец

Обратите внимание,
как это красиво:
волны и чайка.

Батрак

Поговорим-ка лучше о щак и о чае.

К делу!

К делу!

Нам не до чаек!

Клемансо

Смотрите, смотрите!

По морю —

кит!

Красноармеец

К черту кита!

Сам ты кит!

Хором, опрокидывая стол.

Вы нам здесь не устраивайте канцелярских волокит!

На палубу грохаются пустые тарелки.

Швея и прачка

(грустно)

Все совет министерский вылакал.

Плотник

(вскакивая на опрокинутый стол)

Товарищи!

Это нож в спину!

Голоса

И вилка!

Рудокоп

Товарищи!

Что ж это!

Раньше жрал один рот, а теперь обжирают ротой.

Республика

оказалась

тот же царь,

да только сторотый.

Француз

(ковыряя в зубах)

Что кипятитесь?

Обещали и делим поровну:
одному – бублик,
другому – дырку от бублика.
Это и есть демократическая республика.

Купец

Надо ж кому-нибудь и семечки – не всем же арбуз.

Нечистые

Мы вам покажем классовую борьбу!

Соглашатель

И опять,
и опять разрушается кров,
и опять,
и опять смятение и гул.

Довольно!

Довольно!

Не лейте кровь!

Послушайте, я не могу!

Это все хорошо:

и коммуна

и прочее.

Но для этого ж должны пройти века.

Товарищи рабочие!

Согласитесь с чистыми,

послушайте старого

опытного меньшевика!

Ллойд-Джордж

Согласиться?

Да я же капитала лишусь.

Мы тебе согласимся!

Красноармеец

Я тебе соглашусь!

Соглашатель

Ну и положение!

Опять двухстороннее обложение!

Нечистые насаждают на чистых.

Чистые

Стойте, граждане! Наша политика...

Нечистые

А ну,

с четырех сторон подпалите-ка!

Покажем им, какая такая политика!

Ну, держись, проклятая,

будешь помнить Октября 25-е!

Вооружаются сложенным чистыми во время обеда оружием. Загоняют на корму. Мелькают пятки сбрасываемых чистых. Только купец, утащив на ходу половину моржонка, забился в угольный ящик; в другой забились интеллигент с дамой. Соглашатель ухватил за руку батрака; силясь его оттянуть, всхлипывает.

Батрак

Ишь проклятый,

распустил слюнки!

Революция вам, мусье, не юнкер.

Соглашатель вгрызается в руку.

Кузнец

Ишь злюка!

Вали его, ребята,
в дырку люка!

Валят.

Трубочист

Не задохся бы тама,
корпуленция хрупкая —
прямо дама.

Батрак

Что мямлить!

Вернутся,
нас же распнут на кресте.
Понежничаем —
дайте Арарат-гору.

Нечистые

Правильно!

Правильно!

Или мы – или те!

Батрак

Дорогу террору!

Кузнец

Товарищи!

Сапогами отшвыривайте кликуш.

Эй, народ, чего не ликуешь?

Ликуй!

*Но суровы голоса нечистых, – последние запасы
сожрала республика.*

Булочник

Ликуй!

А ты подумал о хлебе?

Батрак

Ликуй!

А хлеб-то чем засеять?

Фонарщик

Ликуй! Когда вместо пашен – хляби.

Рыбак

И рыбачить нечем, порваны сети.

Шофер

Как пройдешь через хлябь эту?

Если б хоть было кругом сухо.

Охотник

Ковчег трещит.

Шофер

Компаса нету.

Все

Разруха!

Кузнец

Не останавливаться на половине ж.

Съеденное в утопших,

назад не вынешь.

Теперь об одном осталось ратовать,

чтоб сила не иссякла до места Араратова.

Пусть нас бури бьют,
пусть изжарит жара,
голод пусть —
посмотрим в глаза его,
будем пену одну морскую жрать.
Мы зато здесь всего хозяева!

Прачка

Сегодня поедим,
а завтра – крышка!
На всем ковчеге два сухаришка.

Батрак

Эй!

Товарищи!

Без карточек не давать сухарей.

Из угольного ящика высовываются дама и интеллигент.

Интеллигент

Слышите —

говорят:

«Давать сухарей».

А тут голод, холод и всякие страсти.

Дама

Пойдем на службу к Советской власти.

Вылазят.

Нечистые

Что это?

Выходцы с того света?

Интеллигент

Никак нет.

Мы свои,
мы беспартийные,
мы из угольного ящика.
Мы – за власть Советов.

Дама

Ненавижу буржуев!
Мошенники!
Я все ждала, скоро ли буржуазия свалится.
Разрешите,
я тоже у вас буду
работать
на машинке,
хотя бы только одним пальцем.

Интеллигент

И меня возьмите.
Худо без спеца.
Без спеца
некуда деться.
Один путь —
тонуть.

Кузнец

Не утонем,
не каркай.
(Даме.)
Садись, товарищ.

(Интеллигенту.)

Марш вниз!

Заведуй кочегаркой.

Шофер

Без еды – все равно что машина без дров.

Рудокоп

Даже я сдаю – уж на что здоров.

Красноармеец

Мало, оказывается, чистых добить.

Нужен хлеб.

Надо воду добыть.

Нечистые

Что делать?

Как быть?

Швея

Нам бог не может погибнуть дать.

Сложим руки – будем ждать.

Охотник

Слабеет от голода за мускулом мускул.

Швея

(вслушиваясь)

Что это?

Слышите?

Слышите музыку?

Плотник

Антихрист речь повел нам
об Арарате и рае.

(Испуганно вскакивает, пальцем за борт.)

Кто там

идет по волнам,
в кости свои играет?

Трубочист

Брось ты!

Море голо.

Да и кому являться?

Сапожник

Вот он

идет...

Это голод

нами идет разговляться.

Батрак

Что ж, иди!

Нет здесь таких, кто упал бы.

Товарищи, враг у борта.

Живо!

Все на палубы!

Голод

сам идет на абордаж.

Вбегают, шатаясь, вооруженные чем попало. Рассвело. Пауза.

Все

Что ж, иди!

Никого...

И вот

снова будем смотреть бесплодное лоно вод.

Охотник

Так вот молишь о тени в печах пустыни,
умирая ж —

видишь, будто пустыня стынет.

Мираж.

Шофер

(приходит в страшное волнение, поправляет очки, всматривается. Кузнецу)

Там вот,

на западе —

не заметишь ли точки?

Кузнец

Что глядеть?

Все равно что на хвост надеть или в ступе истолочь очки.

Шофер

(отбегаёт, шарит, лезет с трубой на рею — и через минуту его рвущийся от радости голос)

Арарат! Арарат! Арарат!

Со всех концов.

О, как я рада!

О, как я рад!

Вырывают у шофера трубу. Сгрудились.

Плотник

Где он?

Где?

Кузнец

Да вот
виднеется
направо от...

Плотник

Что это?
Приподнялось.
Выпрямилось.
Идет.

Шофер

То есть как – идет?
Арарат – гора и ходить не может.
Глаза потри.

Плотник

Сам три.
Смотри!

Шофер

Да, идет!
Человек какой-то.
Да, человек.
Старый с посохом.
Молодой без посоха.
Эк, идет по воде, что посуху.

Швея

Колокола, гудите!
Вздыбливайте звон!
Это

он
шел, рассекая воды Генисарета.

Кузнец

У бога есть яблоки,
апельсины,
вишни,
может весны стлать семь раз на дню,
а к нам только задом оборачивался всевышний
теперь Христом залавливает в западню.

Батрак

Не надо его!
Не пустим проходимца!
Не для молитв у голодных рты.
Ни с места!

А то рука подыметя.

Эй!

Кто ты?

*Самый обыкновенный человек входит на замершую
палубу.*

Человек

Кто я?

Я не из класса,
не из нации,
не из племени.

Я видел тридцатый,
сороковой век.

Я из будущего времени

просто человек.
Пришел раздуть
душ горны я,
ибо знаю,
как трудно жить пробовать.
Слушайте!
Новая
нагорная
проповедь!
Араратов ждете?
Араратов нету.
Никаких.
Приснились во сне.
А если
гора не идет к Магомету,
то и черт с ней!
Не о рае Христовом ору я вам,
где постнички лижут чай без сахару.
Я о настоящих
земных небесах ору.
Судите сами: Христово небо ль,
евангелистов голодное небо ли?
Мой рай – в нем залы ломит мебель,
услуг электрических покой фешенебелен.
Там сладкий труд не мозолит руки,
работа розой цветет по ладони.
Там солнце строит такие трюки,

что каждый шаг в цветомории тонет.
Здесь век корпит огородника опыт —
стеклянный настил, навозная насыпь,
а у меня
на корнях укропа
шесть раз в году росли ананасы б.

Все

(хором)

Мы все пойдём!

Чего нам терять!

Но пустят ли нашу грешную рать?

Человек

Мой рай для всех,

кроме нищих духом,

от постов великих вспухших с луну.

Легче верблюду пролезть сквозь иголье ухо,

чем ко мне

такому слону.

Ко мне —

кто всадил спокойно нож

и пошел от вражьего тела с песнею!

Иди, непростивший!

Ты первый вхож

в царствие мое

земное —

не небесное.

Идите все,

кто не вьючный мул.
Всякий,
кому нестерпимо и тесно,
знай:

ему —
царствие мое
земное —
не небесное.

Хором

Не смеется ли этот над нищими?
Где они?
Дразнишь какими страницами?

Человек

Длинна дорога.
Надо сквозь тучи нам.

Хор

Каждую тучу сразим поштучно!

Человек

А если ад взгромоздится за адом?

Хор

Пойдем и туда.
Не попятимся задом.

Веди нас!
Где она?

Человек

Где?

Ждете, чтоб рассказал кто-нибудь другой.

А она
вот здесь,
у вас
под рукой.
Где руки твои?
Что делаешь ею?
Сложили кресты бесполезных рук!
Вы нищими жметесь.
А вы – богатеи.
Смотрите —
какое богатство вокруг!
Как смеет играть ковчегом ветер?
Долой природы наглое иго!
Вы будете жить в тепле,
в свете,
заставив волной электричество двигать.
А если
ко дну окажетесь пущены,
не страшно тоже, —
почище луга
морское дно.
Наш хлеб насущный
на нем растет —
каменный уголь.
Пускай потопами ветер воеет,
трещат бока ковчегов-посуд.
Правая и левая —

эти двое

спасут.

Конец.

Слово за вами.

Я нем.

Исчезает. На палубе восхищенное недоумение.

Сапожник

Где он?

Кузнец

По-моему, он во мне.

Батрак

По-моему, влезть удалось и в меня ему.

Голоса

Кто он?

Кто этот дух неменяемый?

Кто он —

без имени?

Кто он —

без отчества?

Зачем он?

Какие кинул пророчества?

Кругом потопа смертельная ванная.

Пускай!

Найдется обетованная!

Батрак

Значит, рай все-таки есть.

Значит, не глупо к счастью лезть.

Голоса

Чтоб раньше дойти до этой поры,
вздымайте молоты,
ввысь топоры!
Ровней ряды!
Не кривите линии!
Ковчег трещит.
Спасенье в дисциплине.

Кузнец

(рукой на реи)

Зловещ пучин разверзшийся рот.
Дорога одна —
сквозь тучи!
Вперед!

Бросаются к мачте. Хором.

Сквозь небо – вперед!

На реях развертывается боевая песня.

Эй, на реи!

На реи, эй!

По реям вперед, комиссары морей!

Хор

Вперед, комиссары морей!

Сапожник

Там всем победителям отдых за боем.

Пусть ноги устали, их в небо обуем!

Хор

Обуем!

Кровавые в небо обуем!

Плотник

Распахнута твердь
небесам за ограду!

По солнечным трапам,
по лестницам радуг!

Хор

По солнечным сходням
качелями радуг!

Рыбак

Довольно пророков!
Мы все Назареи!

Скользите на мачты,
хватайтесь за реи!

Хор

На мачты!

На мачты!

За реи!

За реи!

*Когда скрывается последний нечистый, за ним ко-
выляют по реям дама и интеллигент. Меншевик
минутку стоит, задумавшись.*

Соглашатель

Куда вы?

В коммуну?

Охота в такую даль переть!

Оглядывается. Ковчег трещит.

Вперед, товарищи!

Уж лучше вперед, чем умереть...

*Меньшевик скрывается, и наконец из угольного
ящика вылезает купец, ухмыляясь.*

Купец

Надо же быть ослом!

Добра на четыреста миллионов

минимум.

Даже если на слом.

Ну,

и спекульну!..

Что это?

Ломается.

Трещит.

Спасайтесь!

Идем ко дну!

Товарищи!

Товарищи!

Подождите минуту одну!

Товарищи!

Один

погибаю здесь я!..

Соглашатель

Иди, иди,

и тебе перепадет концессия...

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Ад. Сцена с огромной дверью. На двери: «Без доклада не входить». По бокам караульные черти. Два вестовых черта перекликаются через весь театр. Тихое пение на сцене за дверью.

Хор

Мы черти, мы черти, мы черти, мы черти!
На вертеле грешников вертим.

1-й вестовой

Да, брат черт,
паршивая жизнь!

2-й вестовой

Да, в последние месяцы понатерпелся горя я.

1-й

Одно слово —
третья категория!

Хор

Попов разогнали, мешочников в ризе.
Теперь и у нас продовольственный кризис.

2-й

Нашего брата, исконного черта, совсем не видно.
Как попали эти самые господа:
то подай!
Это подай!

1-й

Хуже всех этот негус абиссинский.

Морда черная.

Аппетит свинский.

Хор

О, горе, о, горе, о, горе, о, горе,
без пищи мы все передохнем здесь вскоре!

1-й

Бывало, у черта арбуз щека.

2-й

Да, это верно.

1-й

А как попов прогнали, ни одного поставщика!

2-й

Выдачи маленькие!

1-й

Паек скверный!

2-й

Еще бы черти были как следует,
а то омерзительные —

лыдые,

куцые!

1-й

Дождутся,
будет и у нас революция.

2-й

Т-с!

Опять звонок.

Оба

Бежим со всех ног.

Перемахивают всю сцену.

Караульные расспрашивают вестовых и, сделав небольшой доклад, распахивают двери.

Ллойд-Джордж

Ах, вы, дьяволы!

Ах, вы, чертовы дети!

Отчего же грешники не попадают в сети?

Поп

(замахивается на вестовых)

Что ж, я для того на вас работал,

чтобы пайком питаться на том свете!

Вестовые

(недовольно)

Взяли бы по виле,

сами бы ловили.

Клемансо

Молчать!

Вы эти привычки бросьте.

Мы черти белой кости.

Не щадя пота,

черный черт на белых должен работать.

2-й вестовой

Завели порядок свой.

Пошел и меж чертями антагонизм классовой.

Паша

Ах, ты разговаривать?

Какой пылкий!

Да я тебя ножом!

Да я тебя вилкой!

Черт-церемониймейстер

Его величество Вельзевул

желает говорить с верноподданным адом.

Немец

Встать!

Смирно!

Не вихлять задом!

Вельзевул

(входит)

Черти мои верноподданные!

Больше не будете сидеть голодные.

Радостней клики!

Выше хвост!

Кончается великий,

кончается пост.

Грешников пятнадцать идет, не менее.

Поп

(крестится)

Слава богу!

Кончается это всухомятку пение.

Китаец

Очень уж народ серьезный,

хотя и беспортошный.

Негус

Эх, и нажрюсь!

Аж будет чертям тошно!

Ллойд-Джордж

Уж и наточу я рога!

Будут знать, как меня свергать!

Вельзевул

(к вестовым)

Живей

на пост сторожевой!

На бинокль,

смотри лучше,

чтобы ни один из них не ушел живой!

А то

по шее получишь.

*Черти, вооруженные биноклями, бегут в зал, при-
слушиваясь. Дверь распахивается.*

1-й

Пусть только попадутся!

Я им покажу!

Хвост подыму!

Рога вниз!

2-й

Прямо жуть!

1-й

Я уж с ними разделаюсь!

Не пожелал бы врагу.

Люблю я из сочных грешников рагу.

2-й

Я их попросту жру.

Без штук.

Т-с!

Слышишь? —

Тук-тук-тук.

Тук-тук-тук.

Прислушивается. Доносится гроыхание разносящих преддверие ада нечистых.

1-й

Старик-то наш

обрадуется донельзя.

2-й

Тише ты, черт! Нельзя, чтоб без гула!

Беги,

предупреди штаб Вельзевула.

Первый бежит. Над средним ярусом показывается Вельзевул.

Ладонь ко лбу. Приподымаются черти.

Вельзевул

(убедившись, орет)

Эй, вы!

Черти!

Волоките котелище!

Да дров побольше —

суше,
толще!

Прячься за тучи, батальон сторогий!
Чтоб никто из них не ушел с дороги!

Черти притаились. Снизу доносится: «На мачты, на мачты! За реи, за реи!» Вваливается толпа нечистых, и моментально же вываливаются черти с вилами наперевес.

Черти

У-у-у-у-у-у-у!
А-а-а-а-а-а-а!

Кузнец

(указывая на крайних швее, со смехом)

Старые знакомые!

Как тебе нравится?

Справились с безрогими.

И с рогатыми удастся справиться.

Гвалт начал надоедать. Цыкнули нечистые.

Т-с-с-с-с!

Смолкли растерявшиеся черти.

Нечистые

Это ад?

Черти

(нерешительно)

Д-да.

Батрак

(на чистилище)

Товарищи!

Не останавливаться!

Прямо туда.

Вельзевул

Да-да!

Черти, вперед!

Не пускать в чистилище!

Батрак

Послушайте,

что это за стиль еще?

Кузнец

Бросьте вы это!

Вельзевул

(обиженно)

То есть как бросить?

Кузнец

Да так.

Стыдно!

Все-таки старый черт,

у самого проседь.

Нашли, ей-богу, чем стращать!

На заводе

чугуноплавильном

не бывали, чать?

Вельзевул

(сухо)

Не был я на вашей плавильне.

Кузнец

То-то!

А то б повылинял
шерсткой.

Живешь себе тут
щеголем,
гладкий такой да жесткий.

Вельзевул

Хорош гладкий,
хорош жесткий!

Довольно разговаривать! Пожалте на костры!

Булочник

Остри!

Нашел чем пугать!

Смешно, ей-богу!

Да у нас

в Москве

вам бы еще заплатили за дрова.

От мороза колики,

а у вас

температурка здорова.

Блаженство!

Ходите голенькие.

Вельзевул

Довольно шутить!

Трепещите за души!

Всех вас серой сейчас же задушим!

Кузнец

(сердась)

Хвастают тоже!

Что у вас? —

Слегка попахивает серою.

У нас как пустят удушливым газом —

вся степь от шинелей становится серою,

дивизия разом валится наземь.

Вельзевул

Побойтесь, говорю вам, раскаленных жаровен!

На вилах будете,

час не ровен.

Батрак

(выходя из себя)

Да что ты кичишься какими-то вилами!

Твой глупый ад – все равно что мед нам.

Бывало,

в атаке

три четверти выломит

в одно дуновенье огнем пулеметным.

Черти развесили уши.

Вельзевул

(старается поддерживать дисциплину)

Чего стоите?

Разинули рот!

Может, он все это врет.

Батрак

(зверья)

Я вру?!

Сидите тут,
пещеры пещерите —
черти!

Слушайте,
я вам расскажу...

Черти

Тише!

Батрак

...про нашу земную жуть.

Что ваш Вельзевул!

С вилочкой гуляет посреде ада.

Я вас на землю на минуту сзову.

Знаете вы, черти, что такое блокада?

Нам ли убояться каких-то вил!

Рабочих танки английские потчуют.

Кольцом эскадр и армий сдавил
капитал Республику рабочую.

У вас хоть праведников нет и детей.

Рука небось не подымается мучить?

А у нас и те!

Нет, черти,

у вас здесь лучше.

Как какой-нибудь некультурный турок,
грешника с размаха саданете на кол,
а у нас машины,

а у нас культура...

Голос

(из толпы чертей)

Однако!

Батрак

Кровь пьете?

Невкусное сырье!

Вас на фабрику свел, каб не было поздно.

Буржуям на шоколад перегоняют ее.

Голос

(из толпы чертей)

Но-о!

Серьезно?

Батрак

А посмотрите на раба из колонии английской —
черти все б разбежались в писке.

С негров сдирают,

дубят кожи,

на переплеты чтоб мог идти.

В ухо гвоздь?

Пожалуйста, отчего же!

Шерсть свиную загоняют под ногти.

Посмотрели солдата в окопе вы бы:

сравнить если с ним – ваш мученик лодырь.

Голос

(из толпы чертей)

Довольно!

Шерсть подымается дыбом!
Берет от этих рассказов одурь...

Батрак

Думаете, страшно?

Развели костерики,
развесили чанк'и.

Какие вы черти?

Да вы щенки!

Ремни вас на фабриках растягивали по суставам?

Вельзевул

(смущенно)

Ну, вот!

В чужой монастырь
со своим уставом.

Поп

(подталкивая Вельзевула)

Скажи,

скажи про адскую печь им.

Вельзевул

Говорил —

не слушают.

Крыть нечем!

Батрак

(налезая)

Что, только на робких пасти щерите?

Вельзевул

Ну что вы, ей-богу, пристали?

Черти, как черти!

Соглашатель

(старается разнять чертей и нечистых)

О, господи!

Начинается!

Да что вам,

двух революций мало?

Господа, товарищи,

не устраивайте скандала!

Ну что, у вас пицци лучше нет?

Нашли

торт!

И вы

тоже

хороши,

уступить не можете!

Видите – старый, почтенный черт.

Бросьте трения,

надо согласиться.

Вельзевул

Ах ты, подхалима!

Батрак

Ах ты, лисица!

С двух сторон бьют соглашателя.

Соглашатель

(апеллирует к зрителям)

Граждане!

Ну где ж справедливость тут?
Ты же их зовешь согласиться,
тебе же с двух сторон и накладывают.

Вельзевул

(грустно, нечистым)

Я б вас пригласил хлеб-соль откусать
в гости,
да какое теперь угощенье —
кожа да кости.

Сами знаете, какие теперь люди, —
изжаришь, так его и незаметно на блюде...
Притащили на днях рабочего
из выгребных ям,
так не поверите – нечем потчевать.

Батрак

(брезгливо)

Пошел к чертям!

(К давно нетерпеливо ждущим рабочим.)

Айда, товарищи!

Нечистые двинулись, к последнему прицепился

Вельзевул.

Вельзевул

Счастливого пути!

Не забывайте!

Я черт сведущий —
опыт.

Устроитесь —

и меня пригласите,
я буду заведующим
Главтопа.

Сидишь тут не евши дней по пяти,
а у чертей, известно,
чертовский аппетит.

*Нечистые двинулись ввысь. Ломаемые, падают
тучи. Тьма. Из тьмы и обломков опустевшей сцены
вырисовывается следующая картина. А пока по аду
гремит песня нечистых.*

Кузнец

Телами адовы двери пробейте!

Чистилище – в клочья!

Вперед! Не робейте!

Хор

Чистилище вдребезги!

Так!

Не робейте!

Рудокоп

Вперед!

От отдыха тело отучим.

По ярусам!

Выше!

Шагайте по тучам!

Хор

Шагайте по ярусам!

Выше!

По тучам!

Дама

(откуда ни возьмись бросается на грудь к Вельзевулу)

Вельзевульчик!

Милый!

Родной!

Не дайте даме погибнуть одной!

Пустите меня,

пустите к своим!

Пустите, милый!

А то эти нечистые такие громилы!

Вельзевул

Ну, что ж!

Приют дам.

Пожалуйте, мадам.

(Показывает на дверь, из-за которой моментально выскакивают два черта с вилами и выволакивают даму. Он потирает руки.)

Одна есть.

Дезертира всегда приятно съесть.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Рай. Облако на облаке. Белесо. По самой середине,

по облачью рассевшись, райские жители. Мафусаил ораторствует.

Мафусаил

Святейшие!

Идите в светлейшее мощи оправить.

Почище начистьте дни-ка.

Глаголет Гавриил —

грядет

больше чем дюжина праведников.

Святейшие!

Примите их в свою среду.

Что мышью, голод играет ими,

им гадит ад,

но они бредут...

Райские

(степенно)

Сразу видно — достойнейшие люди.

Примем.

Обязательно примем.

Мафусаил

Надо стол накрыть,

выйти вместе.

Торжественнейшую встречу устроить надо нам.

Райские

Вы здесь старейший и будьте церемониймейстер.

Мафусаил

Да я не умею...

Все

Ладно, ладно!

Мафусаил

(кланяется, идет распоряжаться столом. Выстраивает святых)

Вот сюда Златоуст.

Готовь приветственный тост:

– Мы, мол, вас приветствуем, а также Христос...

Сам знаешь, тебе и книги в руки.

Вот сюда Толстой, —

у тебя вид хороший, декоративный,
стал и стой.

Сюда – Жан-Жак.

Так и развертывайтесь анфиладою,
а я пойду стол присмотреть.

Доишь облака, сын мой?

Ангел

Да, дою.

Мафусаил

Надоишь – и на стол.

Нарежьте даже

облачко одно,

каждому по ломтику.

Для отцов святейших главное не еда же,

а речи душеспасительные, которые за столом текут.

Святые

Ну что,

не видно пока?

Чтой-то край у облака подозрительно дут.

Идут! Идут! Идут! Идут!

Неужели это они?

В рай, а будто трубочисты грязные.

Вымоем.

М-да, святые-то, оказывается, бывают разные.

Снизу доносится:

Орите в ружья!

В пушки басите!

Мы сами себе и Христос и спаситель!

Вваливаются, пробивая облако пола.

Нечистые

(хором)

Ух, и бородастые!

Штук под триста!

Мафусаил

Пожалте, пожалте —

тихая пристань!

Ангельский голос

Понапустили народу шалого!

Ангелы

Драсите, драсите!

Добро пожаловать!

Мафусаил

А ну-ка, Златоуст, займись-ка тостом.

Нечистые

К чертям Златоуста!

Какие тут тосты,
когда в животе пусто!

Мафусаил

Терпение, братие!

Сейчас,
сейчас накормим досыта.

*Ведет нечистых к месту, где на облачном столе
облачное молоко и облачный хлеб.*

Плотник

Нашагался.

Нельзя ли какой-нибудь стул?

Мафусаил

Нет-с,
в раю нет.

Плотник

Чудотворца б пожалели —
стоит вон сутул.

Рудокоп

Не ругайся.

Главное – подкрепление сил.

*Набрасываются на ковши и краюхи, сначала уди-
вляются, потом, негодуюя, откидывают бутафорию.*

Мафусаил

Вкусили?

Плотник

(грозно)

Вкусил, вкусил!

А нет чего посущественней?

Мафусаил

Не купать же бестелых существ в вине?

Нечистые

Ждем вас, проклятых,
смиренно умираем мы.

Кабы люди знали, что это впереди!

У нас у самих

такими раями

хоть пруд пруди.

Мафусаил

(указывая на святого, которому орал кузнец)

Не орите, неудобно.

Ангельский чин.

Рыбак

Поговорили бы лучше с чином:

не сварит ли чин ваш щи нам.

Голоса нечистых

Не так мы себе это представляли.

Охотник

Нора!

Сущяя нора!

Шофер

И не похоже на рай.

Сапожник

Так, голубчики,
дорвались до рая!

Слуга

Ну, доложу вам, дыра, я.

Батрак

Что ж, вы так вот и сидите?

Один из ангелов

Зачем?

Случается и на землю

к праведному брату или сестре пойти —
и возвращаемся, елей свой излив там.

Слуга

Так вот перышки по тучам и трепите?

Чудаки!

Обзавелись бы лифтом.

Второй ангел

А мы метки на облаках вышиваем, —
Х. и В. —

Христовы инициалы.

Слуга

Вы б еще подсолнухи грызли.

Провинциалы!

Батрак

Побывали б у меня на земле они,
отучил бы лодырей от лени.

Поют вот:

«Долой тиранов, прочь оковы».

И до вас доберутся,
не смотрите, что высоко вы.

Швея

Совсем как в Питере:
население скучено,
еда скушана.

Нечистые

Скучно у вас.
Ох, и скушно!

Мафусаил

Что поделаешь, такой уж строй у нас.
Оно, конечно,
многое не благоустроено-с.

Интеллигент

*(смотрит то на Льва Толстого, то на Жан-Жака,
обращается к последнему)*

Я вот все смотрю
на вас
и на Льва Николаевича.

Какие знакомые лица!

Вы?

Вы Жан-Жак Руссо?

Ах!

Разрешите поделиться!

Аж дух от радости сводит!

Это вы писали о братстве, о равенстве, о свободе?

Это вы написали «Общественный договор»?

Помилуйте!

Да я вас наизусть знаю
вот с этих пор!

Разрешите выразить мое почтениице.

Больше всего на свете люблю либеральное чтениице.

Никуда не пойду.

Так и останусь тут.

Пусть эти некультурные нечистые идут,
я вас ненадолго задержу в разговоре.

В вашем

«Общественном договоре»...

Батрак

Как отсюда вылезти?

Мафусаил

Спросите у Гавриила.

Батрак

А Гавриил который?

Все – как один!

Мафусаил

(гордо разглаживая бороду)

Ну, не скажите,

есть и отличие, —

вот, например, бороды длина-с.

Нечистые

Чего разговаривать?

Крушите!

Это учреждение не для нас.

Соглашатель

Тс, тс!

Товарищи! Согласитесь!

Бросьте ваши разногласия!

Ну, разве не все равно, в котором классе я?

(Ангелам.)

Посмотрите,
какие ребята!

Я

на вашем месте

был бы только рад:

лучшая часть общества —

пролетариат!

(Нечистым.)

Вы тоже хороши!

Подумайте только, в каком он ранге!

(Указывая на Мафусаила.)

Это вам не Врангель —

ангел!

Мафусаил

Согласиться с этим?

Упаси боже!

Кузнец

Я тебе соглашусь!

Выискался тоже!

Бьют.

Соглашатель

(плача)

Стараешься по-хорошему,
а выходит гадко.

Опять двухсторонняя накладка!

Ух!

Еще посоглашаюсь —

и испущу дух.

Батрак

К обетованной!

Ищите за раем!

Шагайте!

Рай шажищами взроем!

Хор

Найдем!

Хоть всю вселенную взроем!

Мафусаил

*(глядя на разрушаемый нечистыми рай, возопил
истошным голосом)*

Караул!

Хватайте!

Держите!

Разорви их молния и господь вседержитель!

При страшном громе в облаках появляется с пучком молний сам Саваоф.

Саваоф

Да я вас разражу громами!

Красноармеец

(укоризненно)

Как дети —

взяли и пожаловались маме.

С перекошенным лицом, видя назревающий невиданный скандал, заверещал соглашатель.

Соглашатель

Уф!

Оф!

Сам Саваоф!

Дрожу!

Лежу!

Подкосились ноженьки!

(Нечистым.)

Опомнитесь!

Согласитесь!

Куда вы?

Против боженьки!

Саваоф

(показывает кулак соглашателю)

Кабы не был всеблагой я,

показал бы тебе соглашательство такое!..

Кузнец

Нам,

рабочим,

согласиться с богом?

Вылезет у тебя соглашенье боком!

Тузят соглашателя.

Соглашатель

(плаксиво, но с уважением)

Не ручаюсь за убеждение.

Ну, и кулак!

Посоглашаюсь еще немного,

и сойдет с меня меньшевистский лак.

Машинист

(указывая на Саваофа, замахвающегося стрелами молний, не желая их пустить в ход из боязни задеть своих же Мафусаилов)

Надо у бога молнии вырвать.

Бери их!

На дело пригодятся —

электрифицировать.

Нечего по-пустому громами ухать!

Бросаются, вырывают молнии.

Саваоф

(печально)

Ободрали!

Ни пера, ни пуха!

Мафусаил

Чем же нам теперь грешников крыть?

Придется лавочку совсем закрыть.

Нечистые ломают рай, вздымаясь ввысь с молниями.

Кузнец

Заря разгорается —

дальше!

За рай!

Там все разговеемся...

Но когда сквозь обломки долезли до верха, перебивает кузнеца швея:

Да что кормить голодных зарей!

Прачка

(устало)

Ломаем, ломаем, ломаем мы
тучи.

Не время ли мимо им!

Скоро ли, скоро ли маями
тело усталое вымоем?

Еще голоса

Куда?

Не очутимся в новом аду ли?

Надули нас!

Нас надули!

А дальше что?

Чем дальше, тем жутче.

(Подумав.)

Вперед трубочиста! Иди, лазутчик!

Из тьмы обломков рая вырастает новая картина. От идущих вперед нечистых отделяется задумчивый соглашатель.

Соглашатель

Прошли через рай,
прошли через ад,
и все идут.

Не вернуться ли хоть мне назад?
Хороший народ – это ангельское отродье.

Оно
как будто немного соглашено.

Пускай идут, ежели не лень им,
(*машет рукой вслед уходящим нечистым*)

а я вернусь
к Толстому.

Туз!

Займусь
непротивлением

злу-с...

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Кузнец

Эй!

Чего остановился?

Трогай!

Фонарщик

Не пролезешь,

горы взгромоздились дорогой.

Можно по такой дороге идти ли?

Швея

За три года обломков сколько наколотили!

Разглядывают обломки.

Смотрите, ковчега кусок.

Красноармеец

Негуса абиссинского остатки.

Сапожник

Кусочек рая.

Батрак

Черепок ада.

Фонарщик

Что делать?

Не то что идти, —

сесть некуда.

Кузнец

Что делать? Что делать?

Расчистить надо.

Батрак

Значит, нечего раздумывать тут:

организуйся, товарищ,

и берись за труд!

Красноармеец

(важно)

Организация организации рознь.

Сначала нужно

наметить правильный путь.

По-моему, взять организацию
и перетряхнуть.

Рудокоп

(досадливо)

Тоже

выкинул коленце!

Вздор перетряхивание!

Нужны назначенцы.

Прачка

(задорно)

Назначенство...

Вот тебе раз!

Необходимы буфера-с.

Нечистые сгрудились, галдя друг на друга.

Эскимос

А по-моему,

это все —

не по марксистской догме и форме.

Я стою

на совершенно иной платформе:

желаю спасти трудовую Русь я,

разорвать нищеты и голода узы.

Батрак

(безнадежно)

Пошла дискуссия!

Кузнец

(разнимая наступающих)

Товарищи,
бросьте!
Здесь вам не профсоюзы.

Машинист

Буфера?!
Попала не в глаз, а в бровь:
прачка-то с буферами,
а паровоз без колес, а не то что без буферов.

Кузнец

Тонем в разговорах,
не виден брод.
Через газетный ворох —
за работу!
Вперед!
Чего растекаться словесной рекой?
Наляжем лопатой!
Взмахнем киркой!

Хор

(разгребает обломки)

А ну,
раз взмахнул,
и еще взмахну.
К чему счет?
Раз махнул,
взмахну еще!

Соглашатель

(показываясь из облачка с надписью: «Берлин»)

О-о-о!

Товарищи,

бросьте работать!

Сами понимаете,

не стану советовать зря я, —

мне все видно из моего заграничного рая.

Бросьте работать, милые люди,

из этого ровно ничего не будет!

Согласитесь со мной...

Кузнец

Рожу высунул —

смотри,

чтоб молотом нечаянно не свистнул

в лоб.

Соглашатель

Оп!

(Моментально запахнул облако.)

Шахтер

(остановился с поднятой киркой)

Товарищи,

прислушайтесь!

Какой-то вой!

Обломками

кто-то придавлен

живой!

Беги на вой!

Рой!

По окончании его слов роят с удесятеренной силой, и из облаков показываются паровоз и пароход.

Паровоз

Эй!

Внемлите паровозному стону!

Не вздохнуть!

Пар не развесть!

Черный хлеб с Дону

дайте!

Дайте есть!

Машинист

Нет,

не умереть тебе.

Нет,

друг, спокоен будь.

Мы вырвем уголь из земных недр,

выведем на новый путь.

Пароход

О-о-о!

Дайте испить мне рек истоки!

Дыры в каждом боку!

Введите меня в доки!

Дайте нефть из Баку!

У-у-у-у-у!

Шахтер

Эй, товарищи,

за мной!

Чего руки сложили?

За углем

под свод земной!

За нефтью!

Не уйти нефтеносной жиле!

Хор

Взвей кирку-пушок!

Ударником встань, брав!

Занеси сильней обушок!

В землю вонзай бурав!

Разруха

Назад!

Чего молотищами ухают?

Назад! Кто спорит со мной,

с разрухою?

Здесь царствую я —

царица-разруха:

я жру паровоз,

сжираю машину.

Как дуну —

сдуну фабрику пухом.

Как дуну —

сдуну завод, как пушину.

Я лишь взгляну —

и чугушка не ходит.

Грызну —

и путь железный сглодан.

И корчится в голоде город
и в холоде,
деревня от холода мрет
и от голода.

Назад!

Я труд ненавижу бодрый.

Назад!

Я с вами расправлюсь по-свойски.

Ко мне, мое войско, шкурники, лодыри!

Ко мне, спекулянтов верное войско!

Разруху окружает «войско».

Хор

Назад!

Чего молотищами ухают?

Назад!

Кто спорит с нею,

с разрухою?

Разруха

Склонитесь! Я ваша царица – разруха,

стяну вам голодом глотки туго.

Кузнец

Довольно!

Царицу б молотом ухнуть!

Вооружайтесь!

Шахтер

(наступает на разруху)

Боритесь за уголь!

(На мешочников.)

И этих!

Наездились верхом на вагоне,
довольно!

Всех в работу вгоним.

Кузнец

Ловите шкурников!

Долой лодырей!

Все за работу!

Работать до одури!

Нечистые двинулись, и «войско» отступает.

Шахтер

(подрывается под разруху)

Нам под разрухой гнуть ли шеи?

Товарищи!

Подрывайте шахт траншеи!

Батрак

Окопы – борозды на гладь луга.

Батрак и шахтер

Наше оружие —

хлеб и уголь.

Кузнец

(разруху добивают. Конец речи ведется на разбитой разрухе.)

Ура!

Побежали!

Разруха сдается!

Еще
удар последний остается...

Сдалась!

Довольно!

Слазь!

Свободен вход —

дверь в будущее.

(Указывает на спуск в шахту.)

Вот.

Иди,

забивай за забоем забой.

Пой:

"И это будет

последний

и решительный бой".

Идут в шахту. Голоса замирают в отдалении.

Шахтер

(приводит вагонетку с углем)

Первый подмосковный.

Паровоз

Спасибо.

Рад.

Чиниться становимся —

влазь на домкрат.

Машинист

(катит бочку нефти)

Вот из Баку

бери дары.

Пароход

Готово:

нет в боку дыры.

Шахтер

(еще вагонетку)

Вот тебе от Донбасса дары.

Паровоз

Спасибо.

Сейчас разведу пары.

Машинист

(еще бочка)

Вот тебе еще цистерну выкатили.

Пароход

Спасибо.

Сейчас заходят двигатели.

Машинист

(еще бочка)

Вот тебе еще подарок от Ухты.

Шахтер

(еще вагонетка)

Вот тебе еще Урал.

Пароход и паровоз

Оживаем.

Ура!

Паровоз

Бегут колеса.

Пароход

Ожил.

Сейчас пойду по плесам.

Из дыр шахт выбегают нечистые, бросаются друг на друга.

Машинист

А я к тебе.

Шахтер

А я к тебе.

Кузнец

А я к вам.

Прачка

А я к вам.

Красноармеец

Необычайно!

Швея

Невероятно!

Эскимос

Фантастическая весть!

Шахтер

Там, за последней вышкой...

Шахтер и машинист

Там

что-то есть.

Шахтер

Забиваю это я последний забой...

Машинист

Я это
последнюю бочку качу перед собой...

Шахтер

И слышу —
далеко, далеко...

Машинист

И вижу —
далеко, далеко...
Откуда едва достигает око...

Шахтер

Пение слышу,
колес грохотание,
фабрик дыхание мерное...

Машинист

Солнце вижу,
заря ранняя,
город, наверное.

Красноармеец

Мы, кажется, победили.
Мы, кажется,
у края
двери
в лоно правдашнего рая.

Паровоз

Паровоз готов.

Пароход

Пароход готов.

Машинист

Забирайтесь.

Им

в будущее помчим.

Красноармеец

(лезет на паровоз, за ним – другие)

Ровен путь,

гладок и чист.

Первым будь —

вперед, машинист!

На волны!

На рельсы!

Добытый трудом,

он близок,

грядущего радостный дом.

Пространство жрите,

в машину дыша.

Лишь на машине

в грядущее шаг.

Взмах за взмахом!

За шагом шаг!

Хор

(повторяет)

Вперед!

Во все машины дыша.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ

Обетованная земля. Огромные ворота. Какие-то углы, из которых слабо намечаются улицы и площади земных местностей. Над воротами какие-то радуги, крыши, цветы непомерные. У ворот лазутчик, возбужденно выкликающий карабкающихся.

Шахтер

Сюда, товарищи!

Сюда!

Высаживайте десант!

Подымаются нечистые и со страшным удивлением откидывают ворота.

Шахтер

Чудеса!

Плотник

Да ведь это Иваново-Вознесенск!

Хорошенькие чудеса!

Слуга

Как это проходимцам верить, вас спрошу я?

Кузнец

Да не Вознесенск это —

верьте чести.

Это Марсель.

Сапожник

А по-моему, Шуя.

Шофер

Не Шуя вовсе.

Это Манчестер.

Машинист

Как не стыдно глупости городить вам!

Какой это Манчестер?

Это Москва.

Как это ослепли все?

Вот, смотрите, Тверская,

вот Садовая,

вот театр РСФСР.

Батрак

Москва, Манчестер, Шуя —

не в этом дело:

главное —

опять очутились на земле,

опять у того же угла.

Все

Кругла земля, проклятая,

ох, и кругла!

Прачка

Земля, да не та!

По-моему,

для земли

не мало ли пахнет помоями?

Слуга

Что это в воздухе
сласть какая-то разабрикосена?

Сапожник

Абрикосы?

В Шуе?

Да и время как будто к осени.

Подымают головы. Радуга бьет в глаза.

Красноармеец

А ну, фонарщик,
ты с лестницей, —

лезь

да глазом окинь.

Фонарщик

(лезет и останавливается, обмерев, только и мя-млит)

Дураки мы!

Ну, и дураки!

Красноармеец

Да рассказывай!

Смотрит, что гусь на молнию!

Рассказывай!

Сыч!

Фонарщик

Не могу!

Такая

косноязычь!

Дайте мне,

дайте стовой языкчище.
Луча чтоб солнечного ярче и чище,
чтоб не тряпкой висел,
чтоб раструбливался лирой,
чтоб этот язык раскачивали ювелиры,
чтоб слова соловьи разносили изо рта...

Да что!

И тогда не расскажешь ни черта!

Домов стоэтажия земли кроют!

Через дома

перемахивают ловкие мосты!

Под домами

едища!

Вещи горюю.

На мостах

поездов ускользящие хвосты!

Хор

Хвосты?

Фонарщик

Да, хвосты!

Лампы

глаза электрические выкатили!

В глаза в эти

сияние

миллионотильные двигатели

льют!

Земля блестит и светит!

Хор

Светит?

Фонарщик

Да, светит!

Красноармеец

Сами работали.

Чего он удивляется?

Машинист

Работать – работали,
а все-таки не верится,
что чудо такое
за трудом является.

Батрак

Довольно врать!

Нашли
лектора!

Ни в жизнь не рожала фиг акация.

Фонарщик

Да бросьте галдеть вы!

Это —
электрификация!

Хор

Электрификация?

Фонарщик

Да,
электрификация.

В саженные штепсели вставлены вилки.

Машинист

Чудеса!

Не поверят никакие ученые.

Фонарщик

Едет электротрактор!

Электросеялка!

Электромолотилка!

И через секунду

хлеба

уже печеные.

Хор

Печеные?

Фонарщик

Да,

печеные.

Булочник

А хозяйка расфуфыренная,

а хозяин мопсовидный —

ходят по городу, тротуары уродуя?

Фонарщик

Нет,

отсюда никого не видно.

Ничего не заметил этого рода я.

Сахарная голова!

Две еще!

Швея

Сахар?

Слышишь?

Как быть?

Я карточки перед потопом не успела прикрепить.

Хор

Да говори хоть подробнее немножко!

Фонарщик

Да ходят всякие

яства,

вещи.

У каждой ручка,

у каждой ножка.

Фабрики во флагах.

За верстой верста.

Куда ни ткнется взор стоног —

в цветах

без работы стоят

верстак,

станок.

Нечистые

(беспокойно)

Стоят?

Без работы?

А мы здесь исхищряемся в словесном спорте!

Может, дождь пойдет,

машины испортит!

Ломитесь!

Кричите!

Эй!

Кто тут?

Фонарщик

(скатываясь)

Идут!

Все

Кто?

Фонарщик

Вещи идут.

Ворота распахиваются, и раскрывается город. Но какой город! Громоздятся в небо распахнутые махины прозрачных фабрик и квартир. Обвитые радугами, стоят поезда, трамваи, автомобили, а посередине – сад звезд и лун, увенчанный сияющей кроной солнца. Из витрин вылазят лучшие вещи и, предводительствуемые серпом и молотом, с хлебом и солью идут к воротам.

По онемелым рядам прижавшихся нечистых:

Нечистые

А-а-а-х-х-х!

Вещи

Ха-ха-ха-ха-ха!

Батрак

Кто вы?

Чьи вы?

Вещи

Как чьи?

Батрак

Да как вашего хозяина имя?

Вещи

Никаких хозяев.

Ничьи мы.

Мы – делегаты.

Молот и серп
вас встречает —
республики герб.

Батрак

А для кого хлеб?

Соль?

Сахарная голова?

Губернатора встречаете, что ли?

Вещи

Нет —

вас,
все вам.

Прачка

Будет врать!

Не дети малы.

Должно быть,
вас
продают из-под полы.
Должно быть,
сзади
спекулянт на спекулянте.

Вещи

Никаких спекулянтов, —
гляньте.

Слуга

Понимаю!

Сложат в МПК

и через год по столовой ложке выдавать будут.

Вещи

Никуда нас не складывают.

Берите хоть по пуду.

Рыбак

Спим, должно быть.

Выдумки сна.

Швея

Раз

вот так

сидела галеркою.

На сцене бал.

Травиата.

Ужин.

Вышла —

и такой это показалась горькою

жизнь:

грязь,

лужи.

Вещи

Никуда это от вас теперь не денется, —

это земля.

Кузнец

Будет морочить!

Какая это земля!

Земля – грязь,

земля – ночи.

На земле наработаешь – разинешь рот,
а жирный придет и сработанное отберет.

Прачка

(хлебу)

Зовет,

а сам,

небось,

кусаться будет.

100 000 рублей, что 100 000 зубов, должно быть,
на каждом пуде.

Машинист

Тоже!..

Подходит!..

Походка мышиная.

Мало коверкало нас машиною!

Вам бы лишь зубы на рабочих растить.

Машины

Прости, рабочий!

Рабочий, прости!

Вы нас собрали,

добыли,

лили.

А нас забрали,
закабалили.

Маши, машина, маши, махина.

Стальные без устали,
стальные без отдыха, —

нам жирных велели возить на шинах,
велели работать на них на заводах.

Вал на вале

вас веками

ремнями рвали,
маховиками.

Орите, моторы,
радость великая, —

жирных сбили,
свободна отныне я!

Гуди по заводам, колесами двигая,
кружи в железнодорожные линии.

Мир каруселить,
светить в чернокочье

вам отселе

будем, рабочие.

Вещи

А мы, а мы, помощные вещи!

Мы – молоты, иглы, пилы и клещи.

Лишь день полосой обозначится желтой,
под нами сгибаясь, на фабрики шел ты.

Теперь с хозяйской расправились кликою,
мы все тебе расстругаем и выкуем.

Тебе,

чья спина под нами ломилась,
тебе сегодня сдаемся на милость.

В просторной кузнице нового рая
молот вздымай, игрушкой играя.

Еды

А мы – товары, питья и еды:

от нас рабочим бесчисленны беды.

Без хлеба нет человеческой власти,
без сахара нет человеческой сласти.

Трудом человеческим добытые еде,
не вы нас, а мы вас рублищами ели.

Рот ценой миллионной разинув,
мы лаяли псами с витрин магазинов.

Да вы дармоедам прикрикнули: слазьте!

И хлеб отныне свободен и сласти.

Все, что смотрели со скрежетом прежде,
берите сегодня, режьте и ешьте.

Машины, вещи и еды

(хором)

Свое берите,

берите!

Идите!

Все, чем работать,

все, что едите!

Идите, берите!
Иди, победитель!

Кузнец

Должно быть, надо мандат предъявить.
У нас мандатов нет,
мы прямо из рая,
а до этого из ада.

Вещи

Не надо,
никаких мандатов не надо.

Батрак

Нога не бритва, —
авось, не ступим.
Давайте, братцы, попробуем!
Ступим!

Нечистые ступают.

Батрак

(трогает землю)

Землица!

Она!

Родимая землица!

Все

Запеть бы теперь!

Закричать!

Замолиться!

Булочник

(плотнику)

Сахар-то —
я его лизнул.

Плотник

Ну?

Булочник

Сладок, просто сладок.

Несколько голосов

Теперь с весельем не будет слада!

Батрак

(хмелея)

Товарищи вещи,
знаете что?

Довольно судьбу пытаться!

Давайте, мы будем вас делать,
а вы нас питать.

А хозяин навяжется – не выпустим живьем!

Заживем?

Все

Заживем!

Заживем!

Купчина

(расталкивая толпу, возмущенный, высказывает)

Как бы не так!

Знайτε меру!

Надо же что-нибудь оставить и концессионеру.

Кузнец

Убирайся!

Твоя окончена работа, —
ребятишкам на молочишко подработал.
Знания у тебя хотели призанять —
подучились,
пора и честь знать.

Выброшенный, вылетает купчина. Нечистые жадно поглядывают на вещи.

Батрак

Я бы взял пилу. Застоялся. Молод.

Пила

Бери!

Швея

А я – иглу б.

Кузнец

Рука не терпит – давайте молот!

Молот

Бери! Голубь!

Нечистые, вещи и машины кольцом окружают солнечный сад.

Машинист

(к машинам)

Я бы вас пустил.

Не броситесь, рычага?

Машины

Ничего!

Поворачивай рычаг!

Машинист поворачивает рычаг. Загорелись ша-

ры. Завертелись колеса. Нечистые смотрят с восхищенным изумлением.

Машинист

Никогда не видел такого света!

Это не земля, —

это

с хвостом поездов горящая комета.

Чего волами подъяремными мычали?

Ждали,

ждали,

ждали года —

и никогда не замечали

под боком такую благодать.

И чего это люди лезят в музеи?

Живое сокровище на сокровище вокруг!

Что это — небо или кусок бумазеи?

Если это дело наших рук,

то какая дверь перед нами не отворится?

Мы — зодчие земель,

планет декораторы,

мы — чудотворцы,

лучи перевяжем пучками метел,

чтоб тучи небес электричеством вымести.

Мы реки миров расплещем в меде,

земные улицы звездами вымостим.

Копай!

Долби!

Пили!

Буравь!

Все ура!

Всему ура!

Сегодня

это лишь бутафорские двери,

а завтра

былью сменится театральный сор.

Мы это знаем.

Мы в это верим.

Сюда, зритель!

Сюда, художник!

Поэт!

Режиссер!

Подымаются на сцену все зрители.

Все хором

Солнцепоклонники у мира в храме —

покажем, как петь умеем мы.

Становитесь хорами —

будущему псалмы!

Откуда ни возьмись соглашатель удивленно смотрит на коммуну; сообразив, в чем дело, вежливо снимает шляпу.

Соглашатель

Нет,

энергичному человеку в раю не место,

не люблю я этих постных рыл.

Социализм неминуем —
я это всегда говорил.

(Нечистым.)

Товарищи, не надо зря голосить,
пение обязательно надо согласить.

(Отходит в сторону и тихо дирижирует ручкой.)

Кузнец отодвигает его вежливо.

Нечистые

(поют)

Труда громадой миллионной
тюрьму старья разбили мы.

Проклятем рабства заклеянный,
освобожден сегодня мир.

Насилья гнет развеян пылью,
разбит и взорван, а теперь
коммуна-сказка стала былью.

Для всех коммуны настезь дверь.

Этот гимн наш победный,
вся вселенная, пой!

С Интернационалом
воспрянул род людской.

Не ждали мы спасенья свыше.

Ни бог, ни черт не встал за нас.

Оружье сжав, в сраженье вышел
и вырвал власть рабочий класс.

Одной коммуной слили мир мы.

Весь мир обвил рабочий круг.

Теперь иди, попробуй, вырви
его из наших сжатых рук.
Этот гимн наш победный,
вся вселенная, пой!
С Интернационалом
воспрянул род людской.
Навек о прошлом память сгинет.
Не встать буржуям – крут удар.
Землею мы владеем ныне,
солдаты армии труда.
Сюда от фабрик и от пашен,
из городов сюда и сел!
Земля от края к краю наша,
кто был ничем – сегодня все.
Этот гимн наш победный,
вся вселенная, пой!
С Интернационалом
воспрянул род людской.

Занавес

1920-1921

КЛОП

Феерическая комедия

ДЕВЯТЬ КАРТИН

РАБОТАЮТ

Присыпкин – Пьер Скрипкин – бывший рабочий, бывший партиец, ныне жених.

Зоя Березкина – работница.

Эльзевира Давидовна – невеста, маникюрша, кас-сирша парикмахерской.

Розалия Павловна – мать-парикмахерша.

Ренесанс Давид Осипович – отец-парикмахер.

Олег Баян – самородок, из домовладельцев.

Милиционер.

Профессор.

Директор зоосада.

Брандмейстер.

Пожарные.

Ш'афер.

Репортер.

Рабочие аудитории.

Председатель горсовета.

Оратор.

Вузовцы.

Распорядитель празднества.

Президиум горсовета, охотники, дети, старики.

I

*Центр – вертящаяся дверница универмага, бока
остекленные, затоваренные витрины. Входят пу-
стые, выходят с пакетами. По всему театру расха-
живают частники-лотошники.*

Пуговичный разносчик

Из-за пуговицы не стоит жениться,

из-за пуговицы не стоит разводиться!

Нажатие большого и указательного пальца,

и брюки с граждан никогда не свалятся.

Голландские,

механические,

самопришивающиеся пуговицы,

6 штук 20 копеек...

Пожалте, мусью!

Разносчик кукол

Танцующие люди

из балетных студий.

Лучшая игрушка

в саду и дома,

танцует по указанию

самого наркома!

Разносчица яблок

Ананасов!

нету...

Бананов!

нету...

Антоновские яблочки 4 штуки 15 копеек

Прикажите, гражданочка!

Разносчик точильных камней

Германский

небьющийся

точильный брусок,

30

копеек

любой

кусок.

Точит

в любом

направлении

и вкусе

бритвы,

ножи

и языки для дискуссий!

Пожалте, граждане!

Разносчик абажуров

Абажуры

любой

расцветки и масти.
Голубые для уюта,
красные для сладострастий.
Устраивайтесь, товарищи!

Продавец шаров

Шары-колбаски.
Летай без опаски.
Такой бы

шар
генералу Нобиле, —
они бы на полюсе
дольше побыли.
Берите, граждане...

Разносчик селедок

А вот
лучшие
республиканские селедки,
незаменимы
к блинам и водке!

Разносчица галантереи

Бюстгальтеры на меху,
бюстгальтеры на меху!

Продавец клея

У нас
и за границей,
а также повсюду
граждане

выбрасывают
битую посуду.
Знаменитый
Экцельзиор,
клей-порошок,
клеит
и Венеру
и ночной горшок.

Угодно, сударыня?

Разносчица духов

Духи Коти
на золотники!
Духи Коти
на золотники!

Продавец книг

Что делает жена, когда мужа нету дома, 105 веселых анекдотов бывшего графа Льва Николаевича Толстого вместо рубля двадцати – пятнадцать копеек.

Разносчица галантереи

Бюстгальтеры на меху,
бюстгальтеры на меху!

Входят Присыпкин, Розалия Павловна, Баян.

Разносчица

Бюстгальтеры...

Присыпкин

(восторженно)

Какие аристократические чепчики!

Розалия Павловна

Какие же это чепчики, это же...

Присыпкин

Что ж я без глаз, что ли? А ежели у нас двойня родится? Это вот на Дороти, а это на Лилиан... Я их уже решил назвать аристократическо-кинематографически... так и будут гулять вместе. Во! Дом у меня должен быть полной чашей. Захватите, Розалия Павловна!

Баян

(подхихикивая)

Захватите, захватите, Розалия Павловна! Разве у них пошлость в голове? Она молодой класс, она все по-своему понимают. Она к вам древнее, незапятнанное пролетарское происхождение и профсоюзный билет в дом вносят, а вы рубли жалеете! Дом у них должен быть полной чашей.

Розалия Павловна, вздохнув, покупает.

Баян

Я донесу... они легонькие... не извольте беспокоиться... за те же деньги...

Разносчик игрушек

Танцующие люди из балетных студий...

Присыпкин

Мои будущие потомственные дети должны воспитываться в изящном духе. Во! Захватите, Розалия Павловна!

Розалия Павловна

Товарищ Присыпкин...

Присыпкин

Не называйте меня товарищем, гражданка, вы еще с пролетариатом не породнились.

Розалия Павловна

Будущий товарищ, гражданин Присыпкин, ведь за эти деньги пятнадцать человек бороды побреют, не считая мелочей – усов и прочего. Лучше пива к свадьбе лишнюю дюжину. А?

Присыпкин

(строго)

Розалия Павловна! У меня дом...

Баян

У него дом должен быть полной чашей. И танцы и пиво у него должны бить фонтаном, как из рога изобилия.

Розалия Павловна покупает.

Баян

(схватывая сверточки)

Не извольте беспокоиться, за те же деньги.

Разносчик пуговиц

Из-за пуговицы не стоит жениться!

Из-за пуговицы не стоит разводиться!

Присыпкин

В нашей красной семье не должно быть никакого мещанского быта и брючных неприятностей. Во! Захватите, Розалия Павловна!

Баян

Пока у вас нет профсоюзного билета, не раздражайте его, Розалия Павловна. Он – победивший класс, и он считает все на своем пути, как лава, и брюки у товарища Скрипкина должны быть полной чашей.

Розалия Павловна покупает со вздохом.

Баян

Извольте, я донесу за те же самые...

Продавец сельдей

Лучшие республиканские селедки!

Незаменимы

при всякой водке!

Розалия Павловна

(отстраняя всех, громко и повеселевши)

Селедка – это – да! Это вы будете иметь для свадьбы вещь. Это я да захвачу! Пройдите, мосье мужчины! Сколько стоит эта килька?

Разносчик

Эта лососина стоит 2.60 кило.

Розалия Павловна

2.60 за этого шпрота-переростка?

Продавец

Что вы, мадам, всего 2.60 за этого кандидата в осетрины!

Розалия Павловна

2.60 за эти маринованные корсетные кости? Вы слышали, товарищ Скрипкин? Так вы были правы, ко-

гда вы убили царя и прогнали господина Рябушинско-го! Ой, эти бандиты! Я найду мои гражданские права и мои селетки в государственной советской общественной кооперации!

Баян

Подождем здесь, товарищ Скрипкин. Зачем вам сливаться с этой мелкобуржуазной стихией и покупать сельдей в таком дискуссионном порядке? За ваши 15 рублей и бутылку водки я вам организую свадьбочку на-ять.

Присыпкин

Товарищ Баян, я против этого мещанского быту, канареек и прочего... я человек с крупными запросами... Я – зеркальным шкафом интересуюсь...

Зоя Березкина почти натывается на говорящих, удивленно отступает, прислушиваясь.

Баян

Когда ваш свадебный кортэж...

Присыпкин

Что вы болтаете? Какой картеж?

Баян

Кортэж, я говорю. Так, товарищ Скрипкин, называется на красивых иностранных языках всякая, и особенно такая, свадебная торжественная поездка.

Присыпкин

А! Ну-ну-ну!

Баян

Так вот, когда кортэж подъедет, я вам спою эпиталаму Гименея.

Присыпкин

Чего ты болтаешь? Какие еще такие Гималаи?

Баян

Не Гималаи, а эпиталаму о боге Гименее. Это такой бог любви был у греков, да не у этих желтых, озверевших соглашателей Венизелосов, а у древних, республиканских.

Присыпкин

Товарищ Баян, я за свои деньги требую, чтобы была красная свадьба и никаких богов! Понял?

Баян

Да что вы, товарищ Скрипкин, не то что понял, а силой, согласно Плеханову, дозволенного марксистам воображения я как бы сквозь призму вижу ваше классовое, возвышенное, изящное и упоительное торжество!.. Невеста вылезает из кареты – красная невеста... вся красная, – упарилась, значит; ее выводит красный посаженный отец, бухгалтер Ерыкалов, – он как раз мужчина тучный, красный, апоплексический, вводят это вас красные шафера, весь стол в красной ветчине и бутылки с красными головками.

Присыпкин

(сочувственно)

Во! Во!

Баян

Красные гости кричат «горько, горько», и тут красная (уже супруга) протягивает вам красные-красные губки... —

Зоя

(растерянно хватая за рукава обоих. Оба снимают ее руки, сбивая щелчком пыль)

Ваня! Про что он? Чего болтает эта каракатица в галстук? Какая свадьба? Чья свадьба?

Баян

Красное трудовое бракосочетание Эльзевиры Давидовны Ренесанс и...

Присыпкин

Я, Зоя Ванна, я люблю другую.

Она изячней и стройней,
и стягивает грудь тугую
жакет изысканный у ней.

Зоя

Ваня! А я? Что ж это значит: поматросил и бросил?

Присыпкин

(вытягивая отстраняющую руку)

Мы разошлись, как в море корабли...

Розалия Павловна

(вырывается из магазина, неся сельди над головой)

Киты! Дельфины! *(Торговцу сельдями.)* А ну, покажи, а ну, сравни твою улитку! *(Сравнивает; сельдь лотошника больше; всплескивает руками)* На хвост больше?! За что боролись, а, гражданин Скрипкин? За что

мы убили государя императора и прогнали господина Рябушинского, а? В могилу меня вкопает советская ваша власть... На хвост, на целый хвост больше!..

Баян

Уважаемая Розалия Павловна, сравните с другого конца, – она ж и больше только на головку, а зачем вам головка, – она ж несъедобная, отрезать и выбросить.

Розалия Павловна

Вы слышали, что он сказал? Головку отрезать. Это вам головку отрезать, гражданин Баян, ничего не убавится и ничего не стоит, а ей отрезать головку стоит десять копеек на киле. Ну! Домой! Мне очень нужен профессиональный союзный билет в доме, но дочка на проходном предприятии – это тоже вам не бык на палочке.

Зоя

Жить хотели, работать хотели... Значит, все...

Присыпкин

Гражданка! Наша любовь ликвидирована. Не мешайте свободному гражданскому чувству, а то я милицию позову.

Зоя, плачущая, вцепилась в рукав. Присыпкин вырывается. Розалия Павловна становится между ними и Зоей, роняя покупки.

Розалия Павловна

Чего надо этой лахудре? Чего вы цепляетесь за моего зятя?

Зоя

Он мой!

Розалия Павловна

А!.. Она-таки с дитем! я ей заплачу алименты, но я ей разобью морду!

Милиционер

Граждане, прекратите эту безобразную сцену!

II

Молодняцкое общежитие. Изобретатель сопит и чертит. Парень валяется; на краю кровати девушка. Очкастый ушел головой в книгу. Когда раскрываются двери, виден коридор с дверями и лампочки.

Босой парень

(орет)

Где сапоги? Опять сапоги сперли. Что ж мне их на ночь в камеру хранения ручного и ножного багажа на Курский вокзал относить, что ли?

Уборщик

Это в них Присыпкин к своей верблюдихе на свидание затопал. Надевал – ругался. В последний раз, говорит. А вечером, говорит, явлюсь в обновленном виде, более соответствующем моему новому социальному положению.

Босой

Сволочь!

Молодой рабочий

(убирает)

И сор-то после него стал какой-то благородный, деликатный. Раньше што? Бутыль с-под пива да хвост во-блы, а теперь баночки Тэжэ да ленточки разрадуженные.

Девушка

Брось трепаться, парень галстук купил, так его уже Макдональдом ругаете.

Парень

Макдональд и есть! Не в галстук дело, а в том, что не галстук к нему, а он к галстуку привязан. Даже не думает – головой пошевелить боится.

Уборщик

Лаком дырки покрывает; заторопился, дыру на чулке видать, так он ногу на ходу чернильным карандашом подмазывал.

Парень

Она у него и без карандаша черная.

Изобретатель

Может быть, не на том месте черная. Надо бы ему носки переодеть.

Уборщик

Сразу нашелся – изобретатель. Патент заявляй. Смотри, чтоб идею не сперли. *(Рванул тряпкой по столику, скидывает коробку, – разваливаются веером карточки. Нагибается собрать, подносит к све-*

ту, заливаясь хохотом, еле созывая рукой товарищей.)

Все

(перечитывают, повторяют)

Пьер Скрипкин. Пьер Скрипкин!

Изобретатель

Это он себе фамилию изобрел. Присыпкин. Ну, что это такое Присыпкин? На что Присыпкин? Куда Присыпкин? Кому Присыпкин? А Пьер Скрипкин – это уже не фамилия, а романс!

Девушка

(мечтательно)

А ведь верно: Пьер Скрипкин – это очень изящно и замечательно. Вы тут гогочете, а он, может, культурную революцию на дому проделывает.

Парень

Мордой он уже и Пушкина превзошел. Висят баки, как хвост у собаки, даже не моет – растрепать боится.

Девушка

У Гарри Пиля тоже эта культура по всей щеке пущена.

Изобретатель

Это его учитель по волосатой части развивает.

Парень

И на чем только у этого учителя волоса держатся: головы никакой, а курчавости сколько угодно. От сырости, что ли, такие заводятся?

Парень с книгой

Н-е-ет. Он – писатель. Чего писал – не знаю, а только знаю, что знаменитый! «Вечорка» про него три раза писала: стихи, говорит, Апухтина за свои продал, а тот как обиделся, опровержение написал. Дураки, говорит, вы, неверно все, – это я у Надсона списал. Кто из них прав – не знаю. Печатать его больше не печатают, а знаменитый он теперь очень – молодежь обучает. Кого стихам, кого пению, кого танцам, кого так... деньги занимать.

Парень с метлой

Не рабочее это дело – мозоль лаком нагонять.

Слесарь, засаленный, входит посредине фразы, моет руки, оборачивается.

Слесарь

До рабочего у него никакого касательства, расчет сегодня брал, женится на девице, парикмахеровой дочке – она же кассирша, она же маникюрша. Когти ему теперь стричь будет мадмуазель Эльзевира Ренесанс.

Изобретатель

Эльзевир – шрифт такой есть.

Слесарь

Насчет шрифтов не знаю, а корпус у нее – это верно. Карточку бухгалтеру для скорости расчетов показывал.

Ну и милка, ну и чудо, —
одни груди по два пуда.

Босой

Устроился!

Девушка

Ага! Завидки берут?

Босой

А что ж, я тоже, когда техноруком стану да ежедневные сапоги заведу, я тоже себе лучшую квартиренку пообнюхаю.

Слесарь

Я тебе вот что советую: ты занавесочки себе заведи. Раскрыл занавесочку – на улицу посмотрел. Закрыл занавесочку – взятку тяпнул. Это только работать одному скучно, а курицу есть одному веселее. Правильно? Из окопов такие тоже устраиваться бегали, только мы их шлепали. Ну что ж – пошел!

Босой

И пойду и пойду. А ты что из себя Карла Либкнехта корчишь? Тебя из окна с цветочками помани, тоже небось припустишься... Герой!

Слесарь

Никуда не уйду. Ты думаешь, мне эта рвань и вонь нравится? Нет. Нас, видите ли, много. На всех на нас нэповских дочек не наготовишься. Настроим домов и двинем сразу... Сразу все. Но мы из этой окопной дыры с белыми флагами не вылезем.

Босой

Зарядил – окопы. Теперь не девятнадцатый год. Людям для себя жить хочется.

Слесарь

А что – не окопы?

Босой

Врешь!

Слесарь

Вшей сколько хошь.

Босой

Врешь!

Слесарь

А стреляют бесшумным порохом.

Босой

Врешь!

Слесарь

Вот уже Присыпкина из глазной двухстволки подстрелили.

Входит Присыпкин в лакированных туфлях, в вытянутой руке несет за шнурки стоптанные башмаки, кидает Босому. Баян с покупками. Заслоняет от Скрипкина откалывающего слесаря.

Баян

Вы, товарищ Скрипкин, внимания на эти грубые танцы не обращайтесь, оне вам нарождающийся тонкий вкус испортят.

Ребята общежития отворачиваются.

Слесарь

Брось кланяться! Набалдашник расколотишь.

Баян

Я понимаю вас, товарищ Скрипкин: трудно, невозможно, при вашей нежной душе, в ихнем грубом обществе. Еще один урок оставьте ваше терпение не лопнутым. Ответственный шаг в жизни – первый фокстрот после бракосочетания. На всю жизнь должен впечатление оставить. Ну-с, пройдите с воображаемой дамой. Чего вы стучите, как на первомайском параде?

Присыпкин

Товарищ Баян, башмаки сниму: Во-первых, жмут, во-вторых, стаптываются.

Баян

Вот, вот! Так, так, тихим шагом, как будто в лунную ночь в мечтах и меланхолии из пивной возвращаетесь. Так, так! Да не шевелите вы нижним бюстом, вы же не вагонетку, а мадмуазель везете. Так, так! Где рука? Низко рука!

Присыпкин

(скользит на воображаемом плече)

Не держится она у меня на воздухе.

Баян

А вы, товарищ Присыпкин, легкой разведкой лифчик обнаружьте и, как будто для отдохновения, большим пальчиком упритесь, и даме сочувствие приятно, и вам облегчение – о другой руке подумать можете. Чего плечьями затрясли? Это уже не фокстрот, это вы уже шиммское «па» продемонстрировать изволили.

Присыпкин

Нет. Это я так... на ходу почесался.

Баян

Да разве ж так можно, товарищ Присыпкин! Если с вами в вашем танцевальном вдохновении такой казус случится, вы закатите глаза, как будто даму ревнуете, отступите по-испански к стене, быстро потритесь о какую-нибудь скульптуру (*в фешенебельном обществе, где вы будете вращаться, так этих скульптур и ваз разных всегда до черта наворочено*). Потритесь, передернитесь, сверкните глазами и скажите: «Я вас понял, коварррная, вы мной играете... но...» и опять пуститесь в танец, как бы постепенно охлаждаясь и успокаиваясь.

Присыпкин

Вот так?

Баян

Браво! Хорошо! Талант у вас, товарищ Присыпкин! Вам в условиях буржуазного окружения и построения социализма в одной стране – вам развернуться негде. Разве наш Средний Козий переулочек для вас достойное поприще? Вам мировая революция нужна, вам выход в Европу требуется, вам только Чемберленов и Пуанкаров сломить, и вы Мулен Ружи и Пантеоны красотой телодвижений восхищать будете. Так и запомните, так и замрите! Превосходно! А я пошел. За этими шаферами нужен глаз да глаз, до свадьбы задатком стакан и ни росинки больше, а работу выполняют, тогда хоть из

горлышка. Оревуар.9(Уходит, крича из дверей.) Не давайте двух галстуков одновременно, особенно разноцветных, и зарубите на носу: нельзя на выпуск носить крахмальную рубашу!

Присыпкин меряет обновки.

Парень

Ванька, брось ты эту бузу, чего это тебя так расчучило?

Присыпкин

Не ваше собачье дело, уважаемый товарищ! За што я боролся? Я за хорошую жизнь боролся. Вон она у меня под руками: и жена, и дом, и настоящее обхождение. Я свой долг, на случай надобности, всегда исполнить сумею. Кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть. Во! Может, я весь свой класс своим благоустройством возвышаю. Во!

Слесарь

Боец! Суворов! Правильно!

Шел я верхом,

шел я низом,

строил мост в социализм,

не достроил

и устал

и уселся у моста.

Травка выросла у моста.

По мосту идут овечки.

Мы желаем

очень просто
отдохнуть у этой речки...
Так, что ли?

Присыпкин

Да ну тебя! Отстань ты от меня с твоими грубыми агитками... Во! *(Садится на кровать, напевает под гитару.)*

На Луначарской улице
я помню старый дом —
с широкой чудной лестницей,
с изящнейшим окном.
Выстрел. Бросаются к двери.

Парень

(из двери)

Зоя Березкина застрелилась!
Все бросаются к двери.

Парень

Эх, и покроют ее теперь в ячейке!

Голоса

Скорее...

Скорее...

Скорую...

Скорую...

Голос

Скорая! Скорей! Что? Застрелилась! Грудь. Навылет.

Средний Козий, 16.

Присыпкин один, спешно собирает вещи.

Слесарь

Из-за тебя, мразь волосатая, и такая баба убилась!
Вон! *(Берет Присыпкина за пиджак, вышвыривает в дверь и следом выбрасывает вещи.)*

Уборщик

(бегущий с врачом, придерживает и приподымает Присыпкина, подавая ему вылетевшую шляпу)

И с треском же ты, парень, от класса отрываешься!

Присыпкин

(отворачиваясь, орет)

Извозчик, улица Луначарского, 17! С вещами!

III

Большая парикмахерская комната. Бока в зеркалах. Перед зеркалами бумажные цветища. На бритвенных столиках бутылки. Слева авансцены роль с разинутой пастью, справа печь, заворачивающая трубы по всей комнате. Посредине комнаты круглый свадебный стол. За столом: Пьер Скрипкин, Эльзевира Ренесанс, двое шаферов и шафериц, мамаша и папаша Ренесанс. Посаженный отец – бухгалтер и такая же мать. Олег Баян распоряжается в центре стола, спиной к залу.

Эльзевира

Начнем, Скрипочка?

Скрипкин

Обождать.

Пауза.

Эльзевира

Скрипочка, начнем?

Скрипкин

Обождать. Я желаю жениться в организованном порядке и в присутствии почетных гостей и особенно в присутствии особы секретаря завкома, уважаемого товарища Лассальченко... Во!

Гость

(вбегая)

Уважаемые новобрачные, простите великодушно за опоздание, но я уполномочен передать вам брачные пожелания нашего уважаемого вождя, товарища Лассальченко. Завтра, говорит, хоть в церковь, а сегодня, говорит, прийти не могу. Сегодня, говорит, партдень, и хочешь не хочешь, а в ячейку, говорит, поттить надо. Перейдем, так сказать, к очередным делам.

Присыпкин

Объявляю свадьбу открытой.

Розалия Павловна

Товарищи и мусье, кушайте, пожалуйста. Где вы теперь найдете таких свиней? Я купила этот окорок три года назад на случай войны или с Грецией или с Польшей. Но... войны еще нет, а ветчина уже портится. Ку-

Шайте, мусье.

Все

(подымают стаканы и рюмки)

Горько! Горько!..

Эльзевира и Пьер целуются.

Горько! Г о-о-о-р ь-к-о-о!

Эльзевира повисает на Пьере. Пьер целует степенно и с чувством классового достоинства.

Посаженный отец-бухгалтер

Бетховена!.. Шакеспера!.. Просим изобразить кой-чего. Не зря мы ваши юбилеи ежедневно празднуем!

Тащат рояль.

Голоса

Под крылышко, под крылышко ее берите! Ух и зубов, зубов-то! Вдарить бы!

Присыпкин

Не оттопчите ножки моей рояли.

Баян

(встает, покачивается и расплескивает рюмку)

Я счастлив, я счастлив видеть изящное завершение на данном отрезке времени полного борьбы пути товарища Скрипкина. Правда, он потерял на этом пути один частный партийный билет, но зато приобрел много билетов государственного займа. Нам удалось согласовать и увязать их классовые и прочие противоречия, в чем нельзя не видеть вооруженному марксистским взглядом, так сказать, как в капле воды, бу-

дущее счастье человечества, именуемое в простона-
родье социализмом.

Все

Горько! Горько!

Эльзевира и Скрипкин целуются.

Баян

Какими капитальными шагами мы идем вперед по
пути нашего семейного строительства! Разве когда мы
с вами умирали под Перекопом, а многие даже умерли,
разве мы могли предположить, что эти розы будут цве-
сти и благоухать нам уже на данном отрезке времени?
Разве когда мы стонали под игом самодержавия, разве
хотя бы наши великие учителя Маркс и Энгельс могли
бы предположительно мечтать или даже мечтательно
предположить, что мы будем сочетать узами Гименея
безвестный, но великий труд с поверженным, но оча-
ровательным капиталом?

Все

Горько!.. Горько!..

Баян

Уважаемые граждане! Красота – это двигатель про-
гресса! Что бы я был в качестве простого трудящегося?
Бочкин и – больше ничего! Что я мог в качестве Боч-
кина? Мычать! И больше ничего! А в качестве Баяна –
сколько угодно! Например:

Олег Баян

от счастья пьян.

и вот я теперь Олег Баян, и я пользуюсь, как равноправный член общества, всеми благами культуры и могу выражаться, то есть нет – выражаться я не могу, но могу разговаривать, хотя бы как древние греки: «Эльзевира Скрипкина, передайте рыбки нам». И мне может вся страна отвечать, как какие-нибудь трубадуры:

Для промывки вашей глотки,
за изящество и негу
хвост сельдя и рюмку водки
преподносим мы Олегу.

Все

Браво! Ура! Горько!

Баян

Красота – это мать...

Шафер

(мрачно и вскакивая)

Мать! Кто сказал «мать»? Прошу не выражаться при новобрачных.

Шафера оттаскивают.

Все

Бетховена! Камаринского!

Тащат Баяна к роялю.

Баян

Съезжались к загсу трамваи —
там красная свадьба была...

Все

(подпевают)

Жених был во всей прозодежде,
из блузы торчал профбилет!

Бухгалтер

Понял! Все понял! Это значит:

Будь здоров, Олег Баянчик,
кучерявенький баранчик...

Парикмахер

(с вилкой лезет к посаженной маме)

Нет, мадам, настоящих кучерявых теперь, после ре-
волюции, нет. Шиньон гоффре делается так... Берутся
щипцы *(вертит вилкой)*, нагреваются на слабом огне
а ля этуаль *(тычет вилку в пламя печи)*, и взбивается
на макушке эдакое волосяное суффле.

Посаженная

Вы оскорбляете мое достоинство как матери и как
девушки... Пустите... Сукин сын!!!

Шафер

Кто сказал «сукин сын»? Прошу не выражаться при
новобрачных!

*Бухгалтер разнимает, подпевая, пытаясь крут-
нуть ручку кассового счетчика, с которым он вер-
тится, как с шарманкой.*

Эльзевира

(к Баяну)

Ах! Сыграйте, ах! Вальс «Тоска Макарова по Вере
Холодной». Ах, это так шарман, 10 ах, это просто петит
истуар... 11

Шафер

(вооруженный гитарой)

Кто сказал «писуар»? Прошу при новобрачных...

Баян разнимает и набрасывается на клавиши.

Шафер

(приглядываясь, угрожающе)

Ты что же это на одной черной кости играешь? Для пролетариата, значит, на половине, а для буржуазии на всех?

Баян

Что вы, что вы, гражданин? Я на белых костях в особенности стараюсь.

Шафер

Значит, опять выходит, что белая кость лучше? Играй на всех!..

Баян

Да я на всех!

Шафер

Значит, с белыми вместе, соглашатель?

Баян

Товарищ... Так это же... цедура.

Шафер

Кто сказал «дура»? При новобрачных. Во!!! *(Грохочет гитарой по затылку.)*

Парикмахер нацепливает на вилку волосы посаженной матери.

Присыпкин оттесняет бухгалтера от жены.

Присыпки

Вы что же моей жене селедку в грудь тычете? Это же ж вам не клумба, а грудь, и это же вам не хризантема, а селедка!

Бухгалтер

А вы нас лососиной угощали? Угощали? Да? А сами орете – да?

В драке опрокидывают газовую невесту на печь, печь опрокидывается, – пламя, дым.

Крики

Горим!!! Кто сказал «горим»?.. Пожар! Лососину... Съезжались из загса трамваи...

IV

В чернейшей ночи поблескивает от недалекого пламени каска пожарного. Начальник один. Подходят и уходят докладывающие пожарные.

1-й пожарный

Не совладать, товарищ начальник! Два часа никто не вызывал... Пьяные стервы!! Горит, как пороховой склад. *(Уходит.)*

Начальник

Чего ж ему не гореть? Паутина да спирт.

2-й пожарный

Затухает, вода на лету сосулится. Погреб водой за-

лили глаже, чем каток. (*Уходит.*)

Начальник

Тела нашли?

3-й пожарный

Одного погрузили, вся коробка испорчена. Должно быть, балкой поломана. Прямо в морг. (*Уходит.*)

4-й пожарный

Погрузили... одно обгоревшее тело неизвестного пола с вилкой в голове.

1-й пожарный

Под печкой обнаружена бывшая женщина с проводочным венчиком на затылочных костях.

3-й пожарный

Обнаружен неизвестный довоенного телосложения с кассой в руках – очевидно, при жизни бандит.

2-й пожарный

Среди живых нет никого... Среди трупов недосчитывается один, так что согласно ненахождения полагаю – сгорел по мелочам.

1-й пожарный

Ну и иллюминация! Прямо театр, только все действующие лица сгорели.

3-й пожарный

Везла их со свадьбы карета,
карета под красным крестом.

Горнист кликает пожарных. Строятся. Маршируют через театр, Выкрикивая.

Пожарные

Товарищи и граждане,
водка – яд.

Пьяные
республику
за зря спалят!

Живя с каминами,
живя с примусами,
сожжете дом
и сгорите сами!

Случайный
сон —
причина пожаров, —
на сон
не читайте
Надсона и Жарова!

V

Огромный до потолка зал заседаний, вздымающийся амфитеатром. Вместо людских голосов – радиораструбы, рядом несколько висящих рук по образцу высовывающихся из автомобилей. Над каждым раструбом цветные электрические лампы, под самым потолком экран. Посредине трибуна с микрофоном. По бокам трибуны распределители и регуляторы го-

лосов и света. Два механика – старик и молодой – во-
зятся в темной аудитории.

Старый

*(сдувая разлохмаченной щеткой из перьев пыль с
раструбов)*

Сегодня важное голосование. Смажь маслом и про-
верь голосовательный аппарат земледельческих райо-
нов. Последний раз была заминка. Голосовали со скри-
пом.

Молодой

Земледельческие? Хорошо! Центральные смажу.
Протру замшей горло смоленским аппаратам. На про-
шлой неделе опять похрипывали. Надо подвинтить
руки служебным штатам столиц, а то у них какой-то
уклончик: правая за левую цепляется.

Старый

Уральские заводы готовы. Metallургические кур-
ские включим, там провели новый аппарат на шесть-
десят две тысячи голосов второй группы электростан-
ции Запорожья. С ними ничего, работа легка.

Молодой

А ты еще помнишь, как раньше было? Смешно,
должно быть?

Старый

Меня раз мамка на руках на заседание носила. На-
роду совсем мало – человек тысячу скопилось, сидят,
как дармоеды, и слушают. Вопрос был какой-то важ-

ный и громкий, одним голосом прошел. Мать была против, а проголосовать не могла, потому что меня на руках держала.

Молодой

Ну конечно! Кустарничество!

Старый

Раньше такой аппарат и не годился бы. Бывало, человеку первому руку поднять надо, чтоб его заметили, так он ее под нос председателю тычет, к самой ноздре подносит обе, жалеет только, что не древняя богиня Изиды, а то б в двенадцать рук голосовал. А многие спасались. Про одного рассказывали, что он какую-то важную дискуссию всю в уборной просидел – голосовать боялся. Сидел и задумывался, шкуру, значит, служебную берег.

Молодой

Уберег?

Старый

Уберег!.. Только по другой специальности назначили. Видят любовь к уборным, так его там главным назначили при мыле и полотенцах. Готово?

Молодой

Готово!

Сбегают вниз к распределительным доскам и проводам. Человек в очках и бородке, распахнув дверь, прямым шагом входит на эстраду, спиной к аудитории, поднимает руки.

Оратор

Включить одновременно все районы федерации!

Старший и младший

Есть!

Одновременно загораются все красные, зеленые и синие лампочки аудитории.

Оратор

Алло! Алло! Говорит председатель института человеческих воскрешений. Вопрос опубликован телеграммами, обсужден, прост и ясен. На перекрестке 62-й улицы и 17-го проспекта бывшего Тамбова прорывающая фундамент бригада на глубине семи метров обнаружила засыпанный землей обледеневший погреб. Сквозь лед феномена просвечивает замороженная человеческая фигура. Институт считает возможным воскрешение индивидуума, замерзшего пятьдесят лет назад. Урегулируем разницу мнений. Институт считает, что каждая жизнь рабочего должна быть использована до последней секунды. Просвещение показало на руках существа мозоли, бывшие столетия назад признаком трудящегося. Напоминаем, что после войн, пронесшихся над миром, гражданских войн, создавших федерацию земли, декретом от 7 ноября 1965 года жизнь человека неприкосновенна. Довожу до вашего сведения возражения эпидемической секции, боящейся угрозы распространения бактерий, наполнявших бывшие существа бывшей

России. С полным сознанием ответственности приступаю к решению. Товарищи, помните, помните и еще раз помните: Мы голосуем человеческую жизнь!

Лампы тушатся, пронзительный звонок, на экране загорается резолюция, повторяемая оратором.

«Во имя исследования трудовых навыков рабочего человечества, во имя наглядного сравнительного изучения быта требуем воскрешения».

Голоса половины ратрубов: «Правильно, принять!», часть голосов: «Долой!» Голоса смолкают мгновенно. Экран тухнет. Второй звонок, загорается новая резолюция. Оратор повторяет.

«Резолюция санитарно-контрольных пунктов металлургических и химических предприятий Донбасса. Во избежание опасности распространения бактерий подхалимства и чванства, характерных для двадцать девятого года, требуем оставить экспонат в замороженном виде».

Голоса ратрубов: «Долой!» Одинокие выкрики: «Правильно!»

Есть ли еще резолюции и дополнения?

Загорается третий экран, оратор повторяет.

«Земледельческие районы Сибири просят воскресать осенью, по окончании полевых работ, для облегчения возможности присутствия широких масс желающих».

Подавляющее количество голосов-труб: «Долой!»

«Отклонить!» Лампы загораются.

Ставлю на голосование: кто за первую резолюцию, прошу поднять руки!

Подымается подавляющее большинство железных рук.

Опустить! Кто за поправку Сибири?

Подымаются две редких руки.

Собрание федерации приняло: «Вос-кре-сить!»

Рев всех ратрубов: «Ура!!!» Голоса молкнут.

Заседание закрыто!

Из двух распахнувшихся дверей врываются репортеры. Оратор прорывается, бросая радостно во все стороны.

Воскресить! Воскресить!! Воскресить!!!

Репортеры вытаскивают из карманов микрофоны, на ходу крича:

1-й репортер

Алло!!! Волна 472 1/2 метра... «Чукотские известия»... Воскресить!

2-й репортер

Алло! Алло!!! Волна 376 метров... «Витебская вечерняя правда»... Воскресить!

3-й репортер

Алло! Алло! Алло! Волна 211 метров... «Варшавская комсомольская правда»... Воскресить!

4-й репортер

«Армавирский литературный понедельник». Алло!

Алло!!!

5-й репортер

Алло! Алло! Алло! Волна 44 метра. «Известия чикагского совета»... Воскресить!

6-й репортер

Алло! Алло! Алло! Волна 115 метров... «Римская красная газета»... Воскресить!

7-й репортер

Алло! Алло! Алло! Волна 78 метров... «Шанхайская беднота»... Воскресить!

8-й репортер

Алло! Алло! Алло! Волна 220 метров... «Мадридская батрачка»... Воскресить!

9-й репортер

Алло! Алло! Алло! Волна 11 метров... «Кабульский пионер»... Воскресить!

Газетчики врываються с готовыми оттисками.

1-й газетчик

Разморозить

или не разморозить?

Передовицы

в стихах и в прозе!

2-й газетчик

Всемирная анкета

по важнейшей теме —

о возможности заноса

подхалимских эпидемий!

3-й газетчик

Статьи про древние
гитары и романсы
и прочие
способы
одурачивания массы!

4-й газетчик

Последние новости!!! Интервью! Интервью!

5-й газетчик

Научный вестник,
пожалуйста, не пугайтесь!
Полный перечень
так называемых ругательств!

6-й газетчик

Последнее радио!

7-й газетчик

Теоретическая постановка
исторического вопроса:
может ли
слона
убить папироса!

8-й газетчик

Грустно до слез,
смешно до колик:
объяснение
слова «алкоголик»!

VI

Матовая стеклянная двухстворчатая дверь, сквозь стены просвечивают металлические части медицинских приборов. Перед стеной старый профессор и пожилая ассистентка, еще сохранившая характерные черты Зои Березкиной. Оба в белом, больничном.

Зоя Березкина

Товарищ! Товарищ профессор, прошу вас, не делайте этого эксперимента. Товарищ профессор, опять пойдет буза...

Профессор

Товарищ Березкина, вы стали жить воспоминаниями и заговорили непонятным языком. Сплошной словарь умерших слов. Что такое «буза»? *(Ищет в словаре.)* Буза... Буза... Буза... Бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков... Буза – это род деятельности людей, которые мешали всякому роду деятельности...

Зоя Березкина

Эта его «деятельность» пятьдесят лет назад чуть не стоила мне жизни. Я даже дошла до... попытки самоубийства.

Профессор

Самоубийство? Что такое «самоубийство»? (*Ищет в словаре.*) Самообложение, самодержавие, само-реклама, самоуплотнение... Нашел «самоубийство». (*Удивленно.*) Вы стреляли в себя? Приговор? Суд? Ревтрибунал?

Зоя Березкина

Нет... я сама.

Профессор

Сама? От неосторожности?

Зоя Березкина

Нет... От любви.

Профессор

Чушь... От любви надо мосты строить и детей ро-жать... А вы... Да! Да! Да!

Зоя Березкина

Освободите меня, я, право, не могу.

Профессор

Это и есть... Как вы сказали... Буза. Да! Да! Да! Да!
Буза! Общество предлагает вам выявить все имеющи-еся у вас чувства для максимальной легкости преодо-ления размораживаемым субъектом пятидесяти ана-биозных лет. Да! Да! Да! Да! Ваше присутствие очень, очень важно. Я рад, что вы нашлись и пришли. Он – это он! А вы – это она! Скажите, а ресницы у него бы-ли мягкие? На случай поломки при быстром размора-живании.

Зоя Березкина

Товарищ профессор, как же я могу упомянуть ресницы, бывшие пятьдесят лет назад...

Профессор

Как? Пятьдесят лет назад? Это вчера!.. А как я помню цвет волос на хвосте мастодонта полмиллиона лет назад? Да! Да! Да!.. А вы не помните, – он сильно раздувал ноздри при вдыхании в возбужденном общест-
стве?

Зоя Березкина

Товарищ профессор, как же я могу помнить?! Уже тридцать лет никто не раздувает ноздрей в подобных случаях.

Профессор

Так! Так! Так! А вы не осведомлены относительно объема желудка и печени, на случай выделения возможного содержания спирта и водки, могущих воспла-
мениться при необходимом высоком вольтаже?

Зоя Березкина

Откуда я могу запомнить, товарищ профессор! По-
мню, был какой-то живот...

Профессор

Ах, вы ничего не помните, товарищ Березкина! По-
крайней мере был ли он порывист?

Зоя Березкина

Не знаю... Возможно, но... только не со мной.

Профессор

Так! Так! Так! Я боюсь, что мы отмораживаем его, а

отмерзли пока что вы. Да! Да! Да!.. Ну-с, приступаем.

Нажимает кнопку, стеклянная стена тихо расходится. Посредине, на операционном столе, блестящий оцинкованный ящик человеческих размеров, у ящика краны, под кранами ведра. К ящику электропроводки. Цилиндры кислорода. Вокруг ящика шесть врачей, белых и спокойных. Перед ящиком на авансцене шесть фонтанных умывальников. На невидимой проволоке, как на воздухе, шесть полотенец.

Профессор

(переходя от врача к врачу, говорит) (Первому.)

Ток включить по моему сигналу.

(Второму.)

Доведите теплоту до 36,4 – пятнадцать секунд каждая десятая.

(Третьему.) Подушки кислорода наготове? *(Четвертому.)*

Воду выпускать постепенно, заменяя лед воздушным давлением. *(Пятому.)*

Крышку открыть сразу. *(Шестому.)*

Наблюдать в зеркало стадии оживления.

Врачи наклоняют головы в знак ясности и расходятся по своим местам.

Начинаем!

Включается ток, вглядываются в температуру. Каплет вода. У маленькой правой стенки с зеркалом влившийся доктор.

6-й врач

Появляется естественная окраска!

Пауза

Освобожден ото льда!

Пауза

Грудь вибрирует!

Пауза

(Испуганно.)

Профессор, обратите внимание на неестественную порывистость...

Профессор

(подходит, взглядывается, успокоительно)

Движения нормальные, чешется, – очевидно, ожидают присущие подобным индивидуумам паразиты.

6-й врач

Профессор, непонятная вещь: движением левой руки отделяется от тела...

Профессор

(вглядывается)

Он сросся с музыкой, они называли это «чуткой душой». В древности жили Страдивариус и Уткин. Страдивариус делал скрипки, а это делал Уткин, и называлось это гитарой.

Профессор оглядывает термометр и аппарат, регистрирующий давление крови.

1-й врач

36,1.

2-й врач

Пульс 68.

6-й врач

Дыхание выравнено.

Профессор

По местам!

Врачи отходят от ящика. Крышка мгновенно откинулась, из ящика подымается взъерошенный и удивленный Присыпкин, озирается, прижав гитару.

Присыпкин

Ну и выспался! Простите, товарищи, конечно, выпимши был! Это какое отделение милиции?

Профессор

Нет, это совсем другое отделение! Это – отделение ото льда кожных покровов, которые вы отморозили...

Присыпкин

Чего? Это вы чевой-то отморозили. Еще посмотрим, кто из нас были пьяные. Вы, как спецыдоктора, всегда сами около спиртов третесь. А я себя, как личность, всегда удостоверить сумею. Документы при мне. *(Выскакивает, выворачивает карманы.)* 17 руб. 60 коп. при мне. В МОПР? Уплатил. в Осоавиахим? Внес. «Долой неграмотность»? Пожалуйста. Это что? Выписка из загса! *(Свистнул.)* Да я же вчера женился! Где вы теперь, кто вам целует пальцы? Ну и всыплют мне дома! Расписка шаферов здесь. Профсоюзный билет здесь. *(Взгляд падает на календарь, трет глаза, ози-*

рается в ужасе.) 12 мая 1979 года! Это ж за сколько у меня в профсоюз не плочено! Пятьдесят лет! Справок-то, справок спросят! Губотдел! ЦК! Господи! Жена!!! Пустите! *(Обжимает окружающим руки, бросается в дверь.)*

За ним беспокоящаяся Березкина. Доктора окружают профессора. Шесть врачей и профессор вдумчиво моют руки.

Хором

Это что он такое руками делал? Совал и тряс, тряс и совал...

Профессор

В древности был такой антисанитарный обычай.

Шесть врачей и профессор вдумчиво моют руки.

Присыпкин

(натываясь на Зою)

Какие вы, граждане, собственно, есть? Кто я? Где я? Не матушка ли вы Зои Березкиной будете?

Рев сирены обернул присыпкинскую голову.

Куда я попал? Куда меня попали? Что это?. Москва? Париж?? Нью-Йорк?!. Извозчик!!!

Рев автомобильных сирен.

Ни людей, ни лошадей! Автодоры, автодоры, автодоры!!! *(Прижимается к двери, почесывается спиной, ищет пятерней, оборачивается, видит на белой стене переползающего с воротничка клопа.)* Клоп, клопик, клопуля!!! *(Перебирает гитару, поет.)* Не ухо-

ди, побудь со мною... (*Ловит клопа пятерней; клоп уполз.*) Мы разошлись, как в море корабли... Уполз!.. Один! Но нет ответа мне, снова один я... Один!!! Извозчик, автодоры... Улица Луначарского, 17! Без вещей!!! (*Хватается за голову, падает в обморок на руки выбежавшей из двери Березкиной.*)

VII

Середина сцены – треугольник сквера. В сквере три искусственных дерева. Первое дерево: на зеленых квадратах-листьях – огромные тарелки, на тарелках мандарины. Второе дерево – бумажные тарелки, на тарелках яблоки. Третье – зеленое, с елочным шишками, – открытые флаконы духов. Бока – стеклянные и облицованные стены домов. По сторонам треугольника – длинные скамейки. Входит репортер, за ним четверо: мужчины и женщины.

Репортер

Товарищи, сюда, сюда! В тень! Я вам расскажу по порядку все эти мрачные и удивительные происшествия. Во-первых... Передайте мне мандарины. Это правильно делает городское самоуправление, что сегодня деревья мандаринятся, а то вчера были одни груши – и не сочно, и не вкусно, и не питательно...

Девушка снимает с дерева тарелку с мандарина-

ми, сидящие чистят, едят, с любопытством наклоняясь к репортеру.

1-й мужчина

Ну, скорей, товарищ, рассказывайте все подробно и по порядку.

Репортер

Так вот... Какие сочные ломтики! Не хотите ли? Ну хорошо, хорошо, рассказываю. Подумаешь, нетерпение! Конечно, мне, как президенту репортажа, известно все... Так вот, видите, видите?

Быстрой походкой проходит человек с докторским ящиком с термометрами.

Это – ветеринар. Эпидемия распространяется. Будучи оставлено одно, это воскрешенное млекопитающее вступило в общение со всеми домашними животными небоскреба, и теперь все собаки взбесились. Оно выучило их стоять на задних лапах. Собаки не лают и не играют, а только служат. Животные пристают ко всем обедающим, подласкиваются и подлизываются. Врачи говорят, что люди, покусанные подобными животными, приобретут все первичные признаки эпидемического подхалимства.

Сидящие

О-О-О!!!

Репортер

Смотрите, смотрите!

Проходит шатающийся человек, нагруженный кор-

зинками с бутылками пива.

Проходящий

(напевает)

В девятнадцатом веке
чудно жили человеки —
пили водку, пили пиво,
сизый нос висел, как слива!

Репортер

Смотрите, конченный, больной человек! Это один из ста семидесяти пяти рабочих второй медицинской лаборатории. В целях облегчения переходного существования врачами было предписано поить воскресшее млекопитающее смесью, отравляющей в огромных дозах и отвратительной в малых, так называемым пивом. У них от ядовитых испарений закружилась голова, и они по ошибке глотнули этой прохладительной смеси. И с тех пор сменяют уже третью партию рабочих. Пятьсот двадцать рабочих лежат в больницах, но страшная эпидемия трехгорной чумы пенится, бурлит и подкашивает ноги.

Сидящие

А-а-а-а!!!

Мужчина

(мечтательно и томительно)

Я б себя принес в жертву науке, — пусть привьют и мне эту загадочную болезнь!

Репортер

Готов! И этот готов! Тихо... Не спугните эту лунатичку...

Проходит девушка, ноги заплетаются в «пафокстрота и чарльстона, бормочет стихи по книжице в двух пальцах вытянутой руки. В двух пальцах другой руки воображаемая роза, подносит к ноздрям и вдыхает.

Несчастливая, она живет рядом с ним, с этим бешеным млекопитающим, и вот ночью, когда город спит, через стенку стали доноситься к ней гитарные рокотанья, потом протяжные душераздирающие придыхания и всхлипы нараспев, как это у них называется? «Романсы», что ли? Дальше – больше, и несчастная девушка стала сходить с ума. Убитые горем родители собирают консилиумы. Профессора говорят, что это приступы острой «влюбленности», – так называлась древняя болезнь, когда человечья половая энергия, разумно распределяемая на всю жизнь, вдруг скоротечно конденсируется в неделю в одном воспалительном процессе, ведя к безрассудным и невероятным поступкам.

Девушка

(закрывает глаза руками)

Я лучше не буду смотреть, я чувствую, как по воздуху разносятся эти ужасные влюбленные микробы.

Репортер

Готова, и эта готова... Эпидемия океанится...

30 герлс проходят в танце.

Смотрите на эту тридцатиголовую шестидесятиножку! Подумать только – и это вздымание ног они (*к аудиотории*) обзывали искусством!

Фокстротирующая пара.

Эпидемия дошла... дошла... до чего дошла? (*Смотрит в словарь.*) До а-по-гея, ну... это уже двуполое четвероногое.

Вбегают директор зоологического сада с небольшим стеклянным ларчиком в руках. За директором толпа, вооруженная зрительными трубами, фотоаппаратами и пожарными лестницами.

Директор

(ко всем)

Видали? Видали? Где он? Ах, вы ничего не видали!! Отряд охотников донес, что его видели здесь четверть часа тому назад: он перебирался на четвертый этаж. Считая среднюю его скорость в час полтора метра, он не мог уйти далеко. Товарищи, немедленно обследуйте стены!

Наблюдатели развинчивают трубы, со скамеек вскакивают, вглядываются, заслоняя глаза. Директор распределяет группы, руководит поисками.

Голоса

Разве его найдешь!.. Нужно голого человека на мраморе в каждом окне выставить – он на человека бежит...

Не орите, спугнете!!!

Если я найду, я никому не отдам...

Не смеешь: он коммунальное достояние...

Восторженный голос

Нашел!!! Есть! Ползет!..

Бинокли и трубы уставлены в одну точку. Молчание, прерываемое щелканием фото- и киноаппаратов.

Профессор

(придушенным шепотом)

Да... Это он! Поставьте засады и охрану. Пожарные, сюда!!!

Люди с сетками окружают место. Пожарные развинчивают лестницу, люди карабкаются гуськом.

Директор

(опуская трубу, плачущим голосом)

Ушел... На соседнюю стену ушел... SOS! Сорвется — убьется! Смельчаки, добровольцы, герои!!! Сюда!!!

Развинчивают лестницу перед второй стеной, вскарабкиваются. Зрители замирают.

Восторженный голос сверху

Поймал! Ура!!!

Директор

Скорей!!! Осторожней!!! Не упустите, не помните животному лапки...

По лестнице из рук в руки передают зверя, наконец очутившегося в директорских руках. Директор

запирывает зверя в ларец и подымает ларец над головой.

Спасибо вам, незаметные труженики науки! Наш зоологический сад ошастливлен, ошедеврэн... Мы поймали редчайший экземпляр вымершего и популярнейшего вначале столетия насекомого. Наш город может гордиться – к нам будут стекаться ученые и туристы... Здесь, в моих руках, единственный живой «клопус нормалис». Отойдите, граждане: животное уснуло, животное скрестило лапки, животное хочет отдохнуть! Я приглашаю вас всех на торжественное открытие в зоопарк. Важнейший, тревожнейший акт поимки завершен!

VIII

Гладкие опаловые, полупрозрачные стены комнаты. Сверху из-за карниза ровная полоса голубоватого света. Слева большое окно. Перед окном рабочий чертежный стол. Радио. Экран. Три-четыре книги. Справа выдвинутая из стены кровать, на кровати, под чистейшим одеялом, грязнейший Присыпкин. Вентиляторы. Вокруг Присыпкина угол обгряжен. На столе окурки, опрокинутые бутылки. На лампе обрывок розовой бумаги. Присыпкин стонет. Врач нервно шагает по комнате.

Профессор

(входит)

Как дела больного?

Врач

Больного – не знаю, а мои отвратительны! Если вы не устроите смену каждые полчаса, – он перезаразит всех. Как дыхнет, так у меня ноги подкашиваются! Я уж семь вентиляторов поставил: дыхание разгонять.

Присыпкин

О-о-о!

Профессор бросается к Присыпкину.

Присыпкин

Профессор, о профессор!!!

Профессор тянет носом и отшатывается в головокружении, ловя воздух руками.

Присыпкин

Опохмелиться...

Профессор наливает пива на донышко стакана, подает.

Присыпкин

(приподнимается на локтях. Укоризненно)

Воскресли... и издеваются! Что это мне – как слону лимонад!..

Профессор

Общество надеется развить тебя до человеческой степени.

Присыпкин

Черт с вами и с вашим обществом! Я вас не просил меня воскрешать. Заморозьте меня обратно! Во!!!

Профессор

Не понимаю, о чем ты говоришь! Наша жизнь принадлежит коллективу, и ни я, ни кто другой не могут эту жизнь...

Присыпкин

Да какая же это жизнь, когда даже карточку любимой девушки нельзя к стенке прикрепить? Все кнопки об проклятое стекло обламываются... Товарищ профессор, дайте опохмелиться.

Профессор

(наливает стакан)

Только не дышите в мою сторону.

Зоя Березкина входит с двумя стопками книг. Врачи переговариваются с ней шепотом, выходят.

Зоя Березкина

(садится около Присыпкина, распаковывает книги)

Не знаю, пригодится ли это. Про что ты говорил, этого нет, и никто про это не знает. Есть про розы только в учебниках садоводства, есть грезы только в медицине, в отделе сновидений. Вот две интереснейшие книги приблизительно того времени. Перевод с английского: Хувер – «Как я был президентом».

Присыпкин

(берет книгу, отбрасывает)

Нет, это не для сердца, надо такую, чтоб замирало...

Зоя Березкина

Вот вторая – какого-то Муссолини: «Письма из ссылки».

Присыпкин

(берет, откидывает)

Нет, это ж не для души. Отстаньте вы с вашими грубыми агитками. Надо, чтоб щипало...

Зоя Березкина

Не знаю, что это такое? Замирало, щипало... щипало, замирало...

Присыпкин

Что ж это? За что мы старались, кровь проливали, когда мне, гегемону, значит, в своем обществе в новоизученном танце и растанцеваться нельзя?

Зоя Березкина

Я показывала ваше телодвижение даже директору центрального института движений. Он говорит, что видал такое на старых коллекциях парижских открыток, а теперь, говорит, про такое и спросить не у кого. Есть пара старух – помнят, а показать не могут по причинам ревматическим.

Присыпкин

Так для чего ж я себе преемственное изящное образование выработывал? Работать же я ж и до революции мог.

Зоя Березкина

Я возьму тебя завтра на танец десяти тысяч рабо-

чих и работниц, будут двигаться по площади. Это будет веселая репетиция новой системы полевых работ.

Присыпкин

Товарищи, я протестую!!! Я ж не для того размерз, чтобы вы меня теперь засушили. *(Срывает одеяло, вскакивает, схватывает свернутую кипу книг и встряхивает ее из бумаги. Хочет изодрать бумагу и вдруг вглядывается в буквы, перебегая от лампы к лампе.)* Где? Где вы это взяли?

Зоя Березкина

На улицах всем раздавали... Должно быть, в библиотеке в книги вложили.

Присыпкин

Спасен!!! Ура!!! *(Бросается к двери, как флагом развевая бумажкой.)*

Зоя Березкина

(одна)

Я прожила пятьдесят лет вперед, а могла умереть пятьдесят лет назад из-за такой мрази.

IX

Зоологический сад. Посредине на пьедестале клетка, задрапированная материями и флагами. Позади клетки два дерева. За деревьями клетки слонов и жирафов. Слева клетки трибуна, справа возвыше-

ние для почетных гостей. Кругом музыканты. Группами подходят зрители. Распорядители с бантами расставляют подошедших – по занятиям и росту.

Распорядитель

Товарищи иностранные корреспонденты, сюда! Ближе к трибунам! Посторонитесь и дайте место бразильцам! Их аэрокорабль сейчас приземляется на центральном аэродроме. *(Отходит, любуется.)* Товарищи негры, стойте попеременно с англичанами красивыми цветными группами, англосаксонская белизна еще больше оттенит вашу оливковость... Учащиеся вузов, – налево, к вам направлены три старухи и три старика из союза столетних. Они будут дополнять объяснения профессоров рассказами очевидцев.

Въезжают в колясках старики и старухи.

1-я старуха

Как сейчас помню...

1-й старик

Нет – это я помню, как сейчас!

2-я старуха

Вы помните, как сейчас, а я помню, как раньше.

2-й старик

А я как сейчас помню, как раньше.

3-я старуха

А я помню, как еще раньше, совсем, совсем рано.

3-й старик

А я помню и как сейчас и как раньше.

Распорядитель

Тихо, очевидцы, не шепелявьте! Расступитесь, товарищи, дорогу детям! Сюда, товарищи! Скорее! Скорее!!

Дети

(Маршируют колонной с песней)

Мы здорово

учимся

на бывшее «ять»!

Зато мы

и лучше всех

умеем

гулять.

Иксы

и игреки

давно

сданы.

Идем

туда,

где тигрики

и где

слоны!

Сюда,

где звери многие,

и мы

с людьем

в сад

зоологии

идем!

идем!!

идем!!!

Распорядитель

Граждане, желающие доставлять экспонатам удовольствия, а также использовать их в научных целях, благоволят приобретать дозированные экзотические продукты и научные приборы только у официальных служащих зоосада. Дилетантство и гипербола в дозах – смертельны. Просим пользоваться только этими продуктами и приборами, выпущенными центральным медицинским институтом и городскими лабораториями точной механики.

По саду и театру идут служащие зоосада.

1-й служащий

В кулак

бактерии

рассматривать глупо!

Товарищи,

берите

микроскопы и лупы!

2-й служащий

Иметь

советует

доктор Тоболкин

на случай оплевания

раствор карболки.

3-й слугитель

Кормление экспонатов —
незабываемая картина!

Берите

дозы

алкоголя и никотина!

4-й слугитель

Пойте алкоголем,
и животные обеспечены
подагрой,
идиотизмом
и расширением печени.

5-й слугитель

Гвоздика огня
и дымная роза
гарантируют
100
процентов
склероза.

6-й слугитель

Держите
уши
в полном вооружении.
Наушники
задерживают
грубые выражения.

Распорядитель

(расчищает проход к трибуне горсовета)

Товарищ председатель и его ближайшие сотрудники оставили важнейшую работу и под древний государственный марш прибыли на наше торжество. Приветствуем дорогих товарищей!

Все аплодируют, проходит группа с портфелями, степенно раскланиваясь и напевая.

Все

Службы

бремя

не сморщило нас.

Делу —

время,

потехе —

час!

Привет вам

от города,

храбрые ловцы!

Мы вами

горды,

мы —

города отцы!!!

Председатель

(входит на трибуну, взмахивает флагом, все затихает)

Товарищи, объявляю торжество открытым. Наши го-

да чреваты глубокими потрясениями и переживаниями внутреннего порядка. Внешние события редки. Человечество, истомленное предыдущими событиями, даже радо этому относительно покою. Однако мы никогда не отказываемся от зрелища, которое, будучи феерическим по внешности, таит под радужным оперением глубокий научный смысл. Прискорбные случаи в нашем городе, явившиеся результатом неосмотрительного допущения к пребыванию в нем двух паразитов, случаи эти моими силами и силами мировой медицины изжиты. Однако эти случаи, теплящиеся слабым напоминанием прошлого, подчеркивают ужас поверженного времени и мощь и трудность культурной борьбы рабочего человечества. Да закалятся души и сердца нашей молодежи на этих зловещих примерах! Не могу не отметить благодарностью и предоставляю слово прославленному нашему директору, разгадавшему смысл странных явлений и сделавшему из пагубных явлений научное и веселое препровождение времени. Ура!!!

Все кричат «ура», музыка играет туш, на трибуну влазит раскланивающийся директор зоологического сада.

Директор

Товарищи! Я обрадован и смущен вашим вниманием. Учитывая и свое участие, я не могу все же не принести благодарности преданным труженикам сою-

за охотников, являющимся непосредственными героями поимки, а также уважаемому профессору института воскрешений, поборовшему замораживающую смерть. Хотя я и не могу не указать, что первая ошибка уважаемого профессора была косвенной причиной известных бедствий. По внешним мимикрийным признакам – мозолям, одежде и прочему – уважаемый профессор ошибочно отнес размороженное млекопитающее к «гомо сапиенс» и к его высшему виду – к классу рабочих. Не приписываю успех исключительно своему долгому обращению с животными и проникновению в их психологию. Мне помог случай. Неясная, подсознательная надежда твердила: «Напиши, дай, разгласи объявления». И я дал: «Исходя из принципов зоосада, ищу живое человеческое тело для постоянных обкусываний и для содержания и развития свежеприобретенного насекомого в привычных ему, нормальных условиях».

Голос из толпы

Ах, кой ужас!

Директор

Я понимаю, что ужас, я сам не верил собственному абсурду, и вдруг... существо является! Его внешность почти человеческая... Ну, вот как мы с вами...

Председатель совета

(звонит в звонок)

Товарищ директор, я призываю вас к порядку!

Директор

Простите, простите! Я, конечно, сейчас же путем опроса и сравнительной зверологии убедился, что мы имеем дело со страшным человекообразным симулянтом и что это самый поразительный паразит. Не буду вдаваться в подробности, тем более, что они вам сейчас откроются в этой в полном смысле поразительной клетке. Их двое – разных размеров, но одинаковых по существу: Это знаменитые «клопус нормалис» и... и «обывателиус вульгарис». Оба водятся в затхлых матрацах времени.

«Клопус нормалис», разжирев и упившись на теле одного человека, падает под кровать.

«Обывателиус вульгарис», разжирев и упившись на теле всего человечества, падает на кровать. Вся разница! Когда трудящееся человечество революции обчесывалось и корчилось, соскребая с себя грязь, они свивали себе в этой самой грязи гнезда и домики, били жен и клялись Бебелем, и отдыхали и благодушествовали в шатрах собственных галифе. Но «обывателиус вульгарис» страшнее. С его чудовищной мимикрией он завлекает обкусываемых, прикидываясь то сверчком-стихоплетом, то романсо-голосой птицей. В те времена даже одежда была у них мимикрирующзя – птичье обличье – крылатка и хвостатый фрак с белой-белой крахмальной грудкой. Такие птицы свивали гнезда в ложах театров, громоздились на дубах опер,

под Интернационал в балетах чесали ногу об ногу, свисали с веточек строк, стригли Толстого под Маркса, голосили и зазывали в возмутительных количествах и... простите за выражение, но мы на научном докладе... гадили в количествах, не могущих быть рассматриваемыми, как мелкая птичья неприятность.

Товарищи! Впрочем... убеждайтесь сами!

Делает знак, служители обнажают клетку; на пьедестале клопий ларец, за ним возвышение с двупальной кроватью. На кровати Присыпкин с гитарой. Сверху клетки свешивается желтая абажурная лампа. Над головой Присыпкина сияющий венчик – веер открыток. Бутылки стоят и валяются на полу. Клетка окружена плевательными урнами. На стенах клетки – надписи, с боков фильтры и озонаторы. Надписи: 1. «Осторожно – плюется!» 2. «Без доклада не входить!» 3. «Берегите уши – оно выражается!» Музыка сыграла туш; освещение бенгальское: отхлынувшая толпа приближается, онемев от восторга.

Присыпкин

На Луначарской улице
я помню старый дом —
с широкой темной лестницей,
с завешенным окном!..

Директор

Товарищи, подходите, не бойтесь, оно совсем смир-

ное. Подходите, подходите! Не беспокойтесь: четыре фильтра по бокам задерживают выражения на внутренней стороне клетки, и наружу поступают немногочисленные, но вполне достойные слова. Фильтры прочищаются ежедневно специальными служителями в противогазах. Смотрите, оно сейчас будет так называемое «курить».

Голос из толпы

Ах, какой ужас!

Директор

Не бойтесь – сейчас оно будет так называемое «вдохновляться». Скрипкин, – опрокиньте!

Скрипкин тянется к бутылке с водкой.

Голос из толпы

Ах, не надо, не мучайте бедное животное!

Директор

Товарищи, это же совсем не страшно: оно ручное! Смотрите, я его выведу сейчас на трибуну. *(Идет к клетке, надевает перчатки, осматривает пистолеты, открывает дверь, выводит Скрипкина, ставит его на трибуну, поворачивает лицом к местам почетных гостей.)* А ну, скажите что-нибудь коротенькое, подражая человеческому выражению, голосу и языку.

Скрипкин

(покорно становится, покашливает, подымает гитару и вдруг оборачивается и бросает взгляд на зри-

тельный зал. Лицо Скрипкина меняется, становится восторженным. Скрипкин отталкивает директора, швыряет гитару и орет в зрительный зал)

Граждане! Братцы! Свои! Родные! Откуда? Сколько вас?! Когда же вас всех разморозили? Чего ж я один в клетке? Родимые, братцы, пожалте ко мне! За что ж я страдаю?! Граждане!..

Голоса гостей

- Детей, уведите детей...
- Намордник... намордник ему...
- Ах, какой ужас!
- Профессор, прекратите!
- Ах, только не стреляйте!

Директор с вентилятором, в сопровождении двух служителей, вбегает на эстраду. Служители оттаскивают Скрипкина. Директор проветривает трибуну. Музыка играет туш. Служители задерживают клетку.

Директор

Простите, товарищи... Простите... Насекомое утомилось. Шум и освещение ввергли его в состояние галлюцинации. Успокойтесь. Ничего такого нет. Завтра оно успокоится... Тихо, граждане, расходитесь, до завтра.

Музыка, марш!

[1928-1929]

[РЕКЛАМНАЯ ЛЕТУЧКА К СПЕКТАКЛЮ «КЛОП»]

Люди хохочут
и морщат лоб
в театре Мейерхольда
на комедии «Клоп».

Гражданин!
Спеши
на демонстрацию «Клопа».
У кассы – хвост,
в театре толпа.
Но только
не злись
на шутки насекомого.
Это не про тебя,
а про твоего знакомого.
[1929]

БАНЯ

Драма в шести действиях с цирком и фейерверком

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Товарищ Победоносиков – главный начальник по управлению согласованием, главначпупс.

Поля – его жена.

Товарищ **Оптимистенко** – его секретарь.

Исак **Бельведонский** – портретист, баталист, натуралист.

Товарищ **Моментальников** – репортер.

Мистер **Понт Кич** – иностранец.

Товарищ **Ундертон** – машинистка.

Растратчик **Ночкин**.

Товарищ **Велосипедкин** – легкий кавалерист.

Товарищ **Чудаков** – изобретатель.

Мадам **Мезальянсова** – сотрудница ВОКС.

Товарищ **Фоскин**, товарищ **Двойкин**, товарищ **Тройкин** – рабочие.

Просители.

Преддомком.

Режиссер.

Иван Иванович.

Учрежденская толпа.

Милиционер.

Капельдинер.

Фосфорическая женщина.

І ДЕЙСТВИЕ

Справа стол, слева стол. Свисающие отовсюду и раскиданные везде чертежи. Посредине товарищ Фоскин запаивает воздух паяльной лампой. Чудаков переходит от лампы к лампе, пересматривая чертеж.

Велосипедкин (вбегая). Что, всё еще в Каспийское море впадает подлая Волга?

Чудаков (размахивая чертежом). Да, но это теперь ненадолго. Часы закладывайте и продавайте.

Велосипедкин. Хорошо, что я их еще и не купил.

Чудаков. Не покупай! Не покупай ни в коем случае! Скоро эта тикающая плоская глупость станет смешней, чем лучина на Днепрострое, беспомощней, чем бык в Автодоре.

Велосипедкин. Унасекомили, значит, Швейцарию?

Чудаков. Да не щелкай ты языком на мелких сегодняшних политических счетах! Моя идея грандиознее. Волга человеческого времени, в которую нас, как брев-

на в сплав, бросало наше рождение, бросало барахтаться и плыть по течению, – эта Волга отныне подчиняется нам. Я заставляю время и стоять и мчать в любом направлении и с любой скоростью. Люди смогут вылезать из дней, как пассажиры из трамваев и автобусов. С моей машиной ты можешь остановить секунду счастья и наслаждаться месяц, пока не надоест. С моей машиной ты можешь взвихрить растянутые тягучие годы горя, втянуть голову в плечи, и над тобой, не задевая и не раня, сто раз в минуту будет проноситься снаряд солнца, приканчивая черные дни. Смотри фейерверочные фантазии Уэльса, футуристический мозг Эйнштейна, звериные навыки спячки медведей и йогов – всё, всё спрессовано, сжато и слито в этой машине.

Велосипедкин. Почти ничего не понимаю и, во всяком случае, совсем ничего не вижу.

Чудаков. Да напяль же ты очки! Тебя слепят эти планки платины и хрусталя, этот блеск лучевых сплетений. Видишь? Видишь?..

Велосипедкин. Ну, вижу...

Чудаков. Смотри, ты призаметил эти две линейки, горизонтальную и вертикальную, с делениями, как на весах?

Велосипедкин. Ну, вижу...

Чудаков. Этими линейками ты отмеряешь куб необходимого пространства. Смотри, ты видишь этот колесный регулятор?

Велосипедкин. Ну, вижу...

Чудаков. Этим ключом ты изолируешь включенное пространство и отсекаешь от всех тяжестей все потоки земного притяжения и вот этими странноватыми рычажками включаешь скорость и направление времени.

Велосипедкин. Понимаю! Здорово! Необычайно!!! Это значит – собирается, например, всесоюзный съезд по вопросу об успокоении возбуждаемых вопросов, ну, и, конечно, предоставляется слово для приветствия от Государственной академии научных художеств государственному товарищу Когану, и как только он начал: «Товарищи, сквозь щупальцы мирового империализма красной нитью проходит волна...» – я его отгораживаю от президиума и запускаю время со скоростью полтора-раста минут в четверть часа. Он себе потеет, приветствует, приветствует и потеет часа полтора, а публика глядит: академик только рот разинул – и уже оглушительные аплодисменты. Все облегченно вздохнули, подняли с кресел свеженькие зады и айда работать. Так?

Чудаков. Фу, какая гадость! Чего ты мне какого-то Когана суешь? Я тебе объясняю это дело вселенской относительности, дело перевода определения времени из метафизической субстанции, из ноумена в реальность, подлежащую химическому и физическому воздействию.

Велосипедкин. А я что говорю? Я это и говорю: ты

себе построй реальную станцию с полным химическим и физическим воздействием, а мы от нее проведем провода, ну скажем, на все куриные инкубаторы, в пятнадцать минут будем возвращать полупудовую курицу, а потом ей под крылышко штепсель, выключим время – и сиди, курица, и жди, пока тебя не поджарили и не съели.

Чудаков. Какие инкубаторы, какие курицы?! Я тебе...

Велосипедкин. Да ладно, ладно, ты думай себе хоть про слонов, хоть про жирафов, если тебе про мелкую скотину и думать унижительно. А мы все это к нашим сереньким цыплятам сами приспособим...

Чудаков. Ну, что за пошлятина! Я чувствую, что ты со своим практическим материализмом скоро из меня самого курицу сделаешь. Чуть я размахнусь и хочу лететь – ты из меня перья выщипываешь.

Велосипедкин. Ну, ладно, ладно, не горячись. А если я у тебя даже какое перо и выщипал, ты извини, я тебе его обратно вставляю. Летай, пари, фантазируй, мы твоему энтузиазму помощники, а не помеха. Ну, не злись, парнишка, запускай, закручивай свою машину. Чего помочь-то?

Чудаков. Внимание! Я только трону колесо, и время рванется и пустится сжимать и менять пространство, заключенное нами в клетку изоляторов. Сейчас я отбиваю хлеб у всех пророков, гадалок и предсказателей.

Велосипедкин. Постой, Чудаков, дай я стану сюда, может, я через пять минут выйду из комсомольца в этикие бородатые Марксы. Или нет, буду старым большевиком с трехсотлетним стажем. Я тебе тогда всё сразу проведу.

Чудаков (*оттягивая, испуганно*). Осторожно, сумасшедший! Если в идущих годах здесь проляжет стальная ферма подземной дороги, то, вмещаясь своим щуплым тельцем в занятое сталью пространство, ты ментально превратишься в зубной порошок. И может быть, в грядущем вагоны сверзятся с рельс, а здесь небывалым времятрясением в тысячу баллов к чертовой бабушке разворотит весь подвал. Сейчас опасно пускаться туда, надо подождать идущих оттуда. Поворачиваю медленно-медленно – всего в минуту пять лет...

Фоскин. Постой, товарищ, обожди минуточку. Тебе все равно крутить машину. Сделай одолжение, сунь в твою машину мою облигацию, – не зря я в нее вцепился и не продаю, – может, она через пять минут уже сто тысяч выигрывает.

Велосипедкин. Догадался! Тогда туда весь Наркомфин с Брюхановым засунуть надо, а то же ты выиграешь, а они все разно тебе не поверят – таблицу спросят.

Чудаков. Ну вот, я вам в будущее дверь пробиваю, а вы на рубли сползли... Фу, исторические материалисты!

Фоскин. Дура, я ж для тебя с выигрышем тороплюсь. У тебя на твой опыт есть деньги?

Чудаков. Да... Деньги есть?

Велосипедкин. Деньги?

Стук в дверь. Входят Иван Иванович, Понт Кич, Мезальянсова и Моментальников.

Мезальянсова(Чудакову). Ду ю спик инглиш?12 Ах, так шпрехен зи дейч?13 Парле ву франсе,14 наконец? Ну, я так и знала! Это утомительно очень. Я принуждена делать традюксион с нашего на рабоче-крестьянский. Мосье Иван Иванович, товарищ Иван Иванович! Вы, конечно, знаете Иван Ивановича?

Иван Иванович. Здравствуйте, здравствуйте, дорогой товарищ! Не стесняйтесь! Я показываю наши достижения, как любит говорить Алексей Максимыч. Я сам иногда... но, понимаете, эта нагрузка! Нам, рабочим и крестьянам, очень, очень нужен свой, красный Эдисон. Конечно, кризис нашего роста, маленькие недостатки механизма, лес рубят – щепки летят... Еще одно усилие – и это будет изжито. У вас есть телефон? Ах, у вас нет телефона! Ну, я скажу Николаю Ивановичу, он не откажет. Но если он откажет, можно пойти к самому Владимиру Панфилычу, он, конечно, пойдет навстречу. Ведь даже и Семен Семенович мне постоянно говорит: «Нужен, говорит, нам, рабочим и крестьянам, нужен красный, свой, советский Эдисон». Товарищ Моментальников, надо открыть широкую кампанию.

Моментальников.

Эчеленца, прикажите!

Аппетит наш невелик.

Лишь зад-да-да-данье нам дадите, —
все исполним в тот же миг.

Мезальянсова. Мосье Моментальников, товарищ Моментальников! Сотрудник! Попутчик! Видит – Советская власть идет, – присоединился. Видит – мы идем, – зашел. Увидит – они идут, – уйдет.

Моментальников. Совершенно, совершенно верно, – сотрудник! Сотрудник дореволюционной и пореволюционной прессы. Вот только революционная у меня, понимаете, как-то выпала. Здесь белые, там красные, тут зеленые, Крым, подполье... Пришлось торговать в лавочке. Не моя, – отца или даже, кажется, просто дяди. Сам я рабочий по убеждениям. Я всегда говорил, что лучше умереть под красным знаменем, чем под забором. Под этим лозунгом можно объединить большое количество интеллигенции моего толка. Эчеленца, прикажите, – аппетит наш невелик!

Понт Кич. Кхе! Кхе!

Мезальянсова. Пардон! Простите! Мистер Понт Кич, господин Понт Кич. Британский англосакс.

Иван Иванович. Вы были в Англии? Ах, я был в Англии!.. Везде англичане... Я как раз купил кепку в Ли-

верпуле и осматривал дом, где родился и жил Антидю-ринг. Удивительно интересно! Надо открыть широкую кампанию.

Мезальянсова. Мистер Понт Кич, известный, известный и в Лондоне и в Сити филателист. Филателист (сконапель¹⁵, марколюб – по-русски), и он очень, очень интересуется химическими заводами, авиацией и вообще искусством. Очень, очень культурный и общительный человек. Даже меценат. Сконапель... ну, как это вам перевести?.. помогает, там, кинороботникам, изобретателям... ну такой, такой вроде как будто РКИ, только наоборот... Вы компрэнэ?¹⁶ Он уже смотрел на Москву с небоскреба «Известий» (Нахрихтен), он уже был у Анатоля Васильча, а теперь, говорит, к вам... Такой культурный, общительный, даже нам ваш адрес сказал.

Фоскин. Носатая сволочь: с нюхом!

Мезальянсова. Плиз,¹⁷ сэр!

Понт Кич. Ай Иван в дверь ревел, а звери обедали. Ай шел в рай менекен, а енот в Индостан, переперчил ой звери изобретейшен.

Мезальянсова. Мистер Понт Кич хочет сказать на присущем ему языке, что на его туманной родине все, от Макдональда до Черчилля, совершенно как звери, заинтересованы вашим изобретением, и он очень, очень просит...

Чудаков. Ну, конечно, конечно! Мое изобретенье

принадлежит всему человечеству, и я, конечно, сейчас же... Я очень, очень рад. *(Отводит иностранца, доставшего блокнот, показывает и объясняет.)* Это вот так. Да... да... да... Здесь два рычажка, а на параллельной хрустальной измерительной линейке... Да... да... да... вот сюда! А это вот так... Ну да...

Велосипедкин*(отводя Ивана Ивановича)*. Товарищ, надо помочь парню. Я ходил всюду, куда «без доклада не входить», и часами торчал везде, где «кончил дело...» и так далее, и почти ночевал под вывеской «если вы пришли к занятому человеку, то уходите» — и никакого толку. Из-за волокиты и трусости ассигновать десяток червонцев гибнет, может быть, грандиозное изобретенье. Товарищ, вы должны с вашим авторитетом...

Иван Иванович. Да, это ужасно! Лес рубят — щепки летят. Я сейчас же прямо в Главное управление по согласованию. Я скажу сейчас же Николаю Игнатьичу... А если он откажет, я буду разговаривать с самим Павлом Варфоломеичем... У вас есть телефон? Ах, у вас нет телефона! Маленькие недостатки механизма... Ах, какие механизмы в Швейцарии. Вы бывали в Швейцарии? Я был в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!

Понт Кич*(кладя блокнот в карман и пожимая Чудакову руку)*. Дед свел в рай трам из двери в двери лез и не дошел туго. Дуй Иван. Червонцли?..

Мезальянсова. Мистер Понт Кич говорит, что если вам нужны червонцы...

Велосипедкин. Ему? Ему не нужны, ему наплевать на червонцы. Я только что для него сбегал в Госбанк и пришел весь в червонцах. Даже противно. Сквозь карман жмут. Вот тут натыканы купюры по два, вот тут по три, а в этих двух карманах так одни десятичервонцевые. Ол райт! Гуд бай! *(Трясет Кичу руку, обнимает его обеими руками и восхищенно проводит к дверям.)*

Мезальянсова. Я очень прошу вас чуточку такта: с вашими комсомольскими замашками назреет, если еще не назрел, громадный международный конфликт. Гуд бай – до свидания!

Иван Иванович*(похлопывая по плечу Чудакова и прощаясь).* Я тоже в ваши годы... Лес рубят – щепки летят. Нам нужен, нужен советский Эдисон. *(Уже из дверей.)* У вас нет телефона? Ну ничего, я обязательно скажу Никандру Пирамидоновичу.

Моментальников*(семенит, напевая).* Эчеленца, прикажите...

Чудаков*(к Велосипедкину).* Это хорошо, что есть деньги.

Велосипедкин. Денег нет!

Чудаков. То есть как же это, нет денег? Я не понимаю, зачем тогда хвастаться и говорить... А тем более отказываться, когда делаются солидные предложения со стороны иностранных...

Велосипедкин. Хотя ты и гений, а дурак! Ты хочешь, чтобы твоя идея обжелезилась и влетела к нам из Англии прозрачным, командующим временами дредноутом невидимо бить по нашим заводам и Советам?

Чудаков. А ведь верно, верно... Как же это я ему все рассказал? А он еще в блокнот вписывал! А ты чего же меня не одернул? Сам еще к двери ведешь, обнимаешься!

Велосипедкин. Дура, я его недаром обнимал. Бывшая беспризорщина пригодилась. Я не его – я карман его обнимал. Вот он, блокнот английский. Потерял блокнот англичанин.

Чудаков. Браво, Велосипедкин! Ну, а деньги?

Велосипедкин. Чудаков, я пойду на все. Я буду грызть глотки и глотать кадыки. Я буду драться так, что щеки будут летать в воздухе. Я убеждал, я орал на этого Оптимистенко. Он гладкий и полированный, как дачный шар. На его зеркальной чистоте только начальство отражается, и то вверх ногами. Я почти разогитировал бухгалтера Ночкина. Но что можно сделать с этим проклятым товарищем Победоносиковым? Он просто плющит каждого своими заслугами и стажем. Ты знаешь его биографию? На вопрос: «Что делал до 17 года?» – в анкетах ставил: «Был в партии». В какой – неизвестно, и неизвестно, что у него, «бе» или «ме» в скобках стояло, а может, и ни бе, ни ме не было. Потом он утек из тюрьмы, засыпав страже табаком глаза. А

сейчас, через двадцать пять лет, само время засыпало ему глаза табаком мелочей и минут, глаза его слезятся от довольства и благодушия. Что можно увидеть такими глазами? Социализм? Нет, только чернильницу да пресс-папье.

Фоскин. Товарищи, что же я, слюной буду запаивать, что ли? Тут еще двух поставить надо. Двести шестьдесят рублей минимаксом.

Поля(вбегает, размахивая пачкой). Деньги – смешно!

Велосипедкин(Фоскину, передает деньги. Фоскин выбегает). Ну, гони! На такси гони! Хватай материал, помощников – и обратно. (К Поле.) Ну, что, уговорила начальство по семейной ли...

Поля. Разве с ним можно просто? Смешно! Он шипит бумажным удавом каждый раз, когда возвращается домой, беременный резолюциями. Не смешно. Это Ночкин... это такой бухгалтерчик в его учреждении, я его и вижу-то первый раз... Прибегает сегодня в обед, пакет сует, передайте, говорит... секретно... Смешно! А мне, говорит, к ним нельзя... по случаю возможности подозрения в соучастии. Не смешно.

Чудаков. Может быть, эти деньги...

Велосипедкин. Да. Тут есть над чем подумать, что-то мне кажется... Ладно! Все равно! Завтра разберемся.

Входят Фоскин, Двойкин и Тройкин.

Готово?

Фоскин. Есть!

Велосипедкин (*сгребая всех*). Ну, айда! Валяй, товарищи!

Чудаков. Так, так... Проводки спаяны. Изоляционные перегородки в порядке. Напряжение выверено. Кажется, можно. Первый раз в истории человечества... Отойдите! Включаю... Раз, два, три!

Бенгальский взрыв, дым. Отшатываются, через секунду приливают к месту взрыва. Чудаков выхватывает, обжигаясь, обрывок прозрачной стеклянной бумаги с отбитым, рваным краем.

Прыгайте! Гогочите! Смотрите на *это!* Это – письмо! Это написано пятьдесят лет тому вперед. Понимаете – *тому вперед!!!* Какое необычайнейшее слово! Читайте!

Велосипедкин. Чего читать-то?.. «Бе дэ 5-24-20». Это что, телефон, что ли, какого-то товарища Бедэ?

Чудаков. Не «бе дэ», а «бу-ду». Они пишут одни ми согласными, а 5 – это указание порядковой гласной А – е – и – о – у: «Буду». Экономия двадцать пять процентов на алфавите. Понял? 24 – это завтрашний день. 20 – это часы. *Он, она, оно* – будет здесь завтра – в восемь вечера. Катастрофа? Что?.. Ты видишь, видишь этот обожженный, снесенный край? Это значит – на пути времени встретилось препятствие, тело, в один из пятидесяти годов занимавшее это сейчас пу-

стое пространство. Отсюда взрыв. Немедля, чтоб не убить идущее оттуда, нужны люди и деньги... Много! Надо немедленно вынести опыт возможно выше, на самый пустой простор. Если мне не помогут, я на собственной спине выжму эту махину. Но завтра все будет решено.

Товарищи, вы со мной!

Бросаются к двери.

Велосипедкин. Пойдем, товарищи, возьмем их за воротник, заставим! Я буду жрать чиновников и выплевывать пуговицы.

Дверь распахивается навстречу.

Преддомкома. Я сколько раз вам говорил: выметайтесь вы отсюда с вашей частной лавочкой. Вы воняете вверх ответственному съемщику, товарищу Победоносикову. *(Замечает Полю.)* И... и... вы-ы... здесь? Я говорю, бог на помощь вашей общественной деятельности. У меня для вас отложен чудный вентиляторчик. До свиданьяца.

II ДЕЙСТВИЕ

Канцелярская стена приемной. Справа дверь со светящейся вывеской «Без доклада не входить». У двери за столом Оптимистенко принимает длинный, во всю стену, ряд просителей. Просители копи-

руют движения друг друга, как валящиеся карты. Когда стена освещается изнутри, видны только черные силуэты просителей и кабинет Победоносикова.

Оптимистенко. В чем дело, гражданин?

Проситель. Я вас прошу, товарищ секретарь, увяжите, пожалуйста, увяжите!

Оптимистенко. Это можно. Увязать и согласовать — это можно. Каждый вопрос можно и увязать и согласовать. У вас есть отношение?

Проситель. Есть отношение... такое отношение, что прямо проходу не дает. Материт и дерется, дерется и материт.

Оптимистенко. Это кто же, вопрос вам проходу не дает?

Проситель. Да не вопрос, а Пашка Тигролапов.

Оптимистенко. Виноват, гражданин, как же это можно Пашку увязать?

Проситель. Это верно, одному его никак не можно увязать. Но вдвоем-втроем, ежели вы прикажете, так его и свяжут и увяжут, я вас прошу, товарищ, увяжите вы этого хулигана. Вся квартира от его стонет...

Оптимистенко. Тьфу! Чего же вы с такими мелочами в крупное государственное учреждение лезете? Обратитесь в милицию... Вам чего, гражданочка?

Просительница. Согласовать, батюшка, согласовать.

Оптимистенко. Это можно — и согласовать можно

и увязать. Каждый вопрос можно и увязать и согласовать. У вас есть заключение?

Просительница. Нет, батюшка, нельзя ему заключение давать. В милиции сказали, можно, говорят, его на неделю заключить, а я чего, батюшка, кушать-то буду? Он из заключения выйдет, он ведь опять меня побьет.

Оптимистенко. Виноват, гражданочка, вы же заявляли, что вам согласовать треба. А чего ж вы мне мужем голову морочите?

Просительница. Меня с мужем-то и надо, батюшка, согласовать, несогласно мы живем: нет, пьет он очень вдумчиво. А тронуть его боимся, как он партийный.

Оптимистенко. Тьфу! Да я же ж вам говорю, не суйтесь вы с мелочами в крупное государственное учреждение. Мы мелочами заниматься не можем. Государство крупными вещами интересуется – фордизмы разные, то, сё...

Вбегают Чудаков и Велосипедкин.

О! А вы ж куда ж?

Велосипедкин (*пытаясь отстранить Оптимистенко*). К товарищу Победоносикову экстренно, срочно, немедленно!

Чудаков (*повторяет*). Срочно... немедленно...

Оптимистенко. Ага-га! Я вас узнаю. Это вы сами или ваш брат? Тут ходил молодой человек.

Чудаков. Это я сам и есть.

Оптимистенко. Да нет... Он же ж без бороды.

Чудаков. Я был даже и без усов, когда начал толкаться к вам. Товарищ Оптимистенко, с этим необходимо покончить. Мы идем к самому главначпупсу, нам нужен сам Победоносиков.

Оптимистенко. Не треба. Не треба вам его беспокоить. Я же ж вас могу собственноручно вполне удовлетворить. Все в порядке. На ваше дело имеется полное решение.

Чудаков*(переспрашивает радостно).* Вполне удовлетворить? Да?

Велосипедкин*(переспрашивает радостно).* Полное решение? Да? Сломали, значит, бюрократов? Да? Здорово!

Оптимистенко. Да что вы, товарищ! Какой же может быть бюрократизм перед чисткой? У меня всё на индикаторе без входящих и исходящих, по новейшей карточной системе. Раз – нахожу ваш ящик. Раз – хватаю ваше дело. Раз – в руках полная резолюция – вот, вот!

Все втыкаются.

Я ж говорил – полное решение. Вот! От-ка-зять.

Первый план тухнет. Внутренность кабинета.

Победоносиков*(перелистывает бумаги, дозванивается по вертушке. Мимоходом диктует).* «...Итак, товарищи, этот набатный, революционный призывный трамвайный звонок колоколом должен гудеть в сердце каждого рабочего и крестьянина. Сегодня рельсы Ильича свяжут „Площадь имени десятилетия совет-

ской медицины“ с бывшим оплотом буржуазии, „Сенным рынком“... (К телефону.) Да. Алло, алло!.. (Продолжает.) «Кто ездил в трамвае до 25 октября? Де-классированные интеллигенты, попы и дворяне. За сколько ездили? Они ездили за пять копеек станцию. В чем ездили? В желтом трамвае. Кто будет ездить теперь? Теперь будем ездить мы, работники вселенной. Как мы будем ездить? Мы будем ездить со всеми советскими удобствами. В красном трамвае. За сколько? Всего за десять копеек. Итак, товарищи...» (Звонок по телефону. В телефон.) Да, да, да. Нету? На чем мы остановились?

Машинистка Ундертон. На «Итак, товарищи...».

Победоносиков. Да, да... «Итак, товарищи, помните, что Лев Толстой – величайший и незабвенный художник пера. Его наследие прошлого блещет нам на грани двух миров, как большая художественная звезда, как целое созвездие, как самое большое из больших созвездий – Большая Медведица. Лев Толстой...»

Ундертон. Простите, товарищ Победоносиков. Вы там про трамвай писали, а здесь вы почему-то Льва Толстого в трамвай на ходу впустили. Насколько можно понимать, тут какое-то нарушение литературно-трамвайных правил.

Победоносиков. Что? Какой трамвай? Да, да... С этими постоянными приветствиями и речами... Попрошу без замечаний в рабочее время! Для самокрити-

ки вам отведена стенная газета. Продолжаем... «Даже Лев Толстой, даже эта величайшая медведица пера, если бы ей удалось взглянуть на наши достижения в виде вышеупомянутого трамвая, даже она заявила бы перед лицом мирового империализма: „Не могу молчать. Вот они, красные плоды всеобщего и обязательного просвещения“. И в эти дни юбилея...» Безобразие! Кошмар! Вызвать мне сюда товарища... гражданина бухгалтера Ночкина.

Кабинет Победоносикова тухнет. Опять очередь у кабинета. Врывающиеся Чудаков и Велосипедкин.

Велосипедкин. Товарищ Оптимистенко, это издевательство!

Оптимистенко. Да нет же ж, никакого издеательства нема. Слушали – постановили: отказать. Не входит ваше изобретение в перспективный план на ближайший квартал.

Велосипедкин. Так ведь не на одном твоём ближайшем квартале социализм строится.

Оптимистенко. Да не мешайте вы со своими фантазиями нашей государственной деятельности! (*К вошедшему Бельведонскому.*) Пожалте! Валяйте! Распространяйтесь! (*К Чудакову.*) Ваше предложение не увязано с НКПС и не треба широчайшим рабочим и крестьянам.

Велосипедкин. При чем тут НКПС? Что за головотяпство!

Чудаков. Конечно, нельзя предугадать всей грандиозности последствий, и возможно, возможно со временем применить с пользой мое изобретение и к транспортным задачам – при максимальной скорости и почти вне времени...

Велосипедкин. Ну, да, да, можно и с НКПС увязать. Например, садитесь вы в три часа ночи, а в пять утра – уже в Ленинграде.

Оптимистенко. Ну вот, а я что сказал? Отказать! Нежизненно. И зачем нам быть в пять утра в Ленинграде, когда все учреждения еще же ж закрыты? *(Загорается красная лампочка телефона. Слушает, кричит.)* Ночкина – к товарищу Победоносикову!

Отстраняясь от бросившихся к нему Чудакова и Велосипедкина, к дверям Победоносикова трусит рысцой Ночкин. Кабинет Победоносикова.

Победоносиков*(крутя и дуя в вертушку).* Тьфу! Иван Никанорыч? Здорово, Иван Никанорыч! Я тебя попрошу два билета. Ну да, международным. Как, уже не заведешь? Тьфу! С этой нагрузкой просто отрываешься от масс. Нужен билет, так неизвестно, кому телефонить! Алло, алло! *(К машинистке.)* На чем остановились?

Ундертон. «Итак, товарищи...»

Победоносиков. «Итак, товарищи, Александр Семенович Пушкин, непревзойденный автор как оперы „Евгений Онегин“, так и пьесы того же названия...»

Ундертон. Простите, товарищ Победоносиков, но вы сначала пустили трамвай, потом усадили туда Толстого, а теперь влез Пушкин – без всякой трамвайной остановки.

Победоносиков. Какой Толстой? При чем трамвай?! Ах да, да! С этими постоянными приветствиями... Попрошу без возражений! Я здесь выдержанно и усовершенствованно пишу на одну тему и без всяких уклонов в сторону, а вы... И Толстой, и Пушкин, и даже, если хотите, Байрон – это всё хотя и в разное время, но союбилейщики, и вообще. Я, может, напишу одну общую руководящую статью, а вы могли бы потом, без всяких извращений самокритики, разрезать статью по отдельным вопросам, если вы вообще на своем месте. Но вы вообще больше думаете про покрасить губки и припудриться, и вам не место в моем учреждении. Давно пора за счет молодых комсомолок орабочить секретариат. Попрошу-с сегодня же...

Входит Бельведонский.

Здравствуйтесь, здравствуйтесь, товарищ Бельведонский! Задание выполнено? В ударном порядке?

Бельведонский. Выполнено, конечно, выполнено. Почти не смыкая глаз, так сказать, в социалистическом соревновании с самим с собой, но выполнено все согласно социальному заказу и авансу на все триста процентов. Извольте, товарищ, взглянуть на вашу будущую мебель?

Победоносиков. Продемонстрируйте!

Бельведонский. Извольте! Вы, разумеется, знаете и видите, как сказал знаменитый историк, что стили бывают разных Луёв. Вот это Луи Каторз Четырнадцатый, прозванный так французами после революции сорок восьмого года за то, что шел непосредственно после тринадцатого. Затем вот это Луи Жакоп, и, наконец, позволю себе и посоветую, как наиболее современное, Луи Мове Гу.

Победоносиков. Стили ничего, чисто подобраны. А как цена?

Бельведонский. Все три Луя приблизительно в одну цену.

Победоносиков. Тогда, я думаю, мы остановимся на Луе Четырнадцатом. Но, конечно, в согласии с требованием РКИ об удешевлении, предложу вам в срочном порядке выпрямить у стульев и диванов ножки, убрать золото, покрасить под мореный дуб и разбросать там и сям советский герб на спинках и прочих выдающихся местах.

Бельведонский. Восхитительно! Свыше пятнадцати Людовиков было, а до этого додуматься не могли, а вы сразу – по-большевицки, по-революционному! Товарищ Победоносиков, разрешите мне продолжить ваш портрет и запечатлеть вас как новатора-администратора, а также распределителя кредитов. Тюрьма и ссылка по вас плачет, журнал, разумеется. Музей рево-

люции по вас плачет, – оригинал туда – оторвут с руками! А копии с небольшой рассрочкой и при удержании из жалования расхватают признательные сослуживцы. Позвольте?

Победоносиков. Ни в каком случае! Для подобных глупостей я, конечно, от кормила власти отрываться не могу, но если необходимо для полноты истории и если на ходу, не прерывая работы, то пожалуйста. Я сяду здесь, за письменным столом, но ты изобрази меня ретроспективно, то есть как будто бы на лошади.

Бельведонский. Лошадь вашу я уже дома нарисовал по памяти, вдохновлялся на бегах и даже, не поверите, в нужных местах сам в зеркало гляделся. Мне теперь только вас к лошади присобачить остается. Разрешите отодвинуть в сторону корзиночку с бумажками. Какая скромность при таких заслугах! Очистите мне линию вашей боевой ноги. Как сапожок чисто блестит, прямо – хоть лизни. Только у Микель Анжело встречалась такая чистая линия. Вы знаете Микель Анжело?

Победоносиков. Анжелов, армянин?

Бельведонский. Итальянец.

Победоносиков. Фашист?

Бельведонский. Что вы!

Победоносиков. Не знаю.

Бельведонский. Не знаете?

Победоносиков. А он меня знает?

Бельведонский. Не знаю... Он тоже художник.

Победоносиков. А! Ну, он мог бы и знать. Знаете, художников много, главначпупс – один.

Бельведонский. Карандаш дрожит. Не передать диалектику характера при общей бытовой скромности. Самоуважение у вас, товарищ Победоносиков, титаническое! Блесните глазами через правое плечо и через самопишущую ручку-с. Позвольте увековечить это мгновение.

Победоносиков. Войдите!

Входит Ночкин.

Вы?!!

Ночкин. Я...

Победоносиков. Двести тридцать?

Ночкин. Двести сорок. Победоносиков. Пропили?..

Ночкин. Проиграл.

Победоносиков. Чудовищно! Непостижимо! Кто? Растратчик! Где? У меня! В какое время? В то время, когда я веду мое учреждение к социализму по гениальным стопам Карла Маркса и согласно предписаниям центра...

Ночкин. Ну что ж, Карл Маркс тоже в карты поигрывал.

Победоносиков. Карл Маркс? В карты? Никогда!!!

Ночкин. Ну вот, никогда... А что писал Франц Меринг? Что он писал на семьдесят второй странице своего капитального труда «Карл Маркс в личной жизни»? Играл! Играл наш великий учитель...

Победоносиков. Я, конечно, читал и знаю Меринга. Во-первых, он преувеличивает, а во-вторых, Карл Маркс действительно играл, но не в азартные, а в коммерческие игры.

Ночкин. А вот одноклассник, знаток и современник, известный Людвиг Фейербах, пишет, что и в азартные.

Победоносиков. Ну да, я читал, конечно, товарища Фейербахова. Карл Маркс иногда играл и в азартные, но не на деньги...

Ночкин. Нет... На деньги.

Победоносиков. Да, но на свои, а не на казенные.

Ночкин. Положим, каждый, штудировавший Маркса, знает, что был, правда, однажды памятный случай и с казенными.

Победоносиков. Конечно, этот исторический случай заставит нас, ввиду исторического прецедента, подойти внимательнее к вашему проступку, но все же...

Ночкин. Да бросьте вы вола вертеть! Не играл никогда Карл Маркс ни в какие карты. Да что мне вам рассказывать! Разве вы человека поймете? Вам только чтоб образцам да параграфам соответствовало. Эх ты, портфель набитый! Клипса канцелярская!

Победоносиков. Что?! Издеваться? И над своим непосредственным, ответственным начальством и над посредственной... да нет, что я говорю! над безответственной тенью Маркса... Не пускать! Задержать!!!

Ночкин. Товарищ Победоносиков, не утруждайте

себя звонками, я сам в МУУР сообщу.

Победоносиков. Прекращу! Не позволю!!!

Бельведонский. Товарищ Победоносиков! Мгновение! Сохраните позу, как таковую. Дайте увековечить это мгновеньице.

Ундертон. Ха-ха-ха!

Победоносиков. Сочувствие? Растратчику? Смеяться? Да еще покрашенными губами?.. Вон! (*Один, накручивая вертушку.*) Алло, алло! Фу, Фу!.. Кто это! Александр Петрович. Да я ж тебя три дня... Прошел? Поздравляю. Ну еще бы, еще бы! Какие могут быть сомнения!.. Как всегда, целыми днями, целыми ночами... Да, наконец сегодня... Два билета. Мягкие. Первый. Со стенографисткой. При чем тут РКИ? Необходимо додиктовать отчет. Какое имеют значение двести сорок рублей туда и обратно? Да проведем их как суточные или еще какие-нибудь. В ударном порядке, с курьером... Ну, конечно, твое продвину... Вот, вот! Зеленый Мыс... Мне. Ну, жму руку, с ответственным приветом. (*Бросает трубку. Мотивом тореадора.*) Алло, алло!

Приемная. Чудаков и Велосипедкин наступают.

Оптимистенко. Да куда же ж вы прете, наконец? Имейте ж уважение к трудам и деятельности государственного персонала.

Входит Мезальянсова. Снова рванулись Чудаков и Велосипедкин.

Нет, нет... Вне очереди, согласно телефонограмме... *(Проводит под ручку, выговаривая.)* Все готово... А как же ж. Я ему рассказал со значением, что супруга его по комсомольцам пошла. Он спервоначалу как рассердится! Не потерплю, говорит, невоздержанные ухаживания без серьезного стажа и служебного базиса, а потом даже обрадовался. Секретаршу уже ликвидировал по причинам неэтичности губ. Идите прямо, не бойтесь! И под каждым ей листком был уже готов местком...

Мезальянсова уходит.

Чудаков. Ну, вот, теперь эту пропустили! Товарищ, да поймите ж вы – никакая научная, никакая нечистая сила уже не может остановить надвигающееся. Если мы не вынесем опыт в пространство над городом, то может даже быть взрыв.

Оптимистенко. Взрыв? Ну, это вы оставьте! Не угрожайте государственному учреждению. Нам нервничать и волноваться неудобно, а когда будет взрыв, тогда и заявим на вас куда следует.

Велосипедкин. Да пойми ты, дурья голова!.. Это тебе надо распрозаявить и куда следует и куда не следует. Люди горят работать на всю рабочую вселенную, а ты, слепая кишка, канцелярскими разговорами мочишься на их энтузиазм. Да?

Оптимистенко. Попрошу-с не упирать на личность! Личность в истории не играет особой роли. Это вам не

царское время. Это раньше требовался энтузиазм. А теперь у нас исторический материализм, и никакого энтузиазму с вас не спрашивается.

Мезальянсова входит.

Расходитесь, граждане, прием закрыт.

Мезальянсова(с портфелем). О баядера, перед твоей красотой! Тара-рам-тара-рам...

III ДЕЙСТВИЕ

Сцена – продолжение театральных рядов. В первом ряду несколько свободных мест. Сигнал: «Начинаем». Публика смотрит в бинокли на сцену, сцена смотрит в бинокли на публику. Начинаются свистки, топанье, крики: «Время!»

Режиссер. Товарищи, не волнуйтесь! На несколько минут придется задержать третье действие по независящим обстоятельствам.

Минута, снова крики: «Время!»

Одну минуту, товарищи! (В сторону.) Ну что, идут? Неудобно так затягивать. Переговорить, наконец, можно и потом; пройдите в фойе, как-нибудь вежливо намекните. А, идут!.. Пожалте, товарищи. Нет, что вы! Очень приятно! Ну, несущественно, одну минуту, даже полчаса, это ж не поезд, всегда можно задержать. Каждый понимает, в такое время живем. Могут быть вся-

кие там государственные, даже планетарные дела. Вы смотрели первый и второй акт? Ну, как, как? Нас всех, конечно, интересует впечатление и вообще взгляд...

Победоносиков. Ничего, ничего! Мы вот говорим с Иваном Ивановичем. Остро схвачено. Подмечено. Но все-таки это как-то не то...

Режиссер. Так ведь это все можно исправить, мы всегда стремимся. Вы только сделайте конкретные указания, – мы, конечно... оглянуться не успеете...

Победоносиков. Сгущено все это, в жизни так не бывает... Ну, скажем, этот Победоносиков. Неудобно все-таки... Изображен, судя по всему, ответственный товарищ, и как-то его выставили в таком свете и назвали еще как-то «главначпулс». Не бывает у нас таких, ненатурально, нежизненно, непохоже! Это надо переделать, смягчить, опозитизировать, округлить...

Иван Иванович. Да, да, это неудобно! У вас есть телефон? Я позвоню Федору Федоровичу, он, конечно, пойдет навстречу... Ах, во время действия неудобно? Ну, я потом. Товарищ Моментальников, надо открыть широкую кампанию.

Моментальников.

Эчеленца, прикажите!

Аппетит наш невелик.

Только слово, слово нам скажите, —
изругаем в тот же миг.

Режиссер. Что вы! Что вы, товарищи! Ведь это в порядке опубликованной самокритики и с разрешения Гублита выведен только в виде исключения литературный отрицательный тип.

Победоносиков. Как вы сказали? «Тип»? Разве так можно выражаться про ответственного государственного деятеля? Так можно сказать только про какого-нибудь совсем беспартийного прощелыгу. Тип! Это все-таки не «тип», а как-никак поставленный руководящими органами главначпупс, а вы – тип!! И если в его действиях имеются противозаконные нарушения, надо сообщить куда следует на предмет разбирательства и, наконец, проверенные прокуратурой сведения – сведения, опубликованные РКИ, претворить в символические образы. Это я понимаю, но выводить на общее посмешище в театре...

Режиссер. Товарищ, вы совершенно правы, но ведь это по ходу действия.

Победоносиков. Действия? Какие такие действия? Никаких действий у вас быть не может, ваше дело показывать, а действовать, не беспокойтесь, будут без вас соответствующие партийные и советские органы. А потом, надо показывать и светлые стороны нашей действительности. Взять что-нибудь образцовое, например, наше учреждение, в котором я работаю, или меня, например...

Иван Иванович. Да, да, да! Вы пойдите в его учреждение. Директивы выполняются, циркуляры проводятся, рационализация налаживается, бумаги годами лежат в полном порядке. Для прошений, жалоб и отношений – конвейер. Настоящий уголок социализма. Удивительно интересно!

Режиссер. Но, товарищ, позвольте...

Победоносиков. Не позволю!!! Не имею права и даже удивляюсь, как это вообще вам позволили! Это даже дискредитирует нас перед Европой. *(Мезальянсовой.)* Это вы не переводите, пожалуйста...

Мезальянсова. Ах, нет, нет, ол райт! Он только что поел икры на банкете и теперь дремлет.

Победоносиков. А кого вы нам противопоставляете? Изобретателя? А что он изобрел? Тормоз Вестингауза он изобрел? Самопишущую ручку он выдумал? Трамвай без него ходит? Рациолярию он канцеляризировал?

Режиссер. Как?

Победоносиков. Я говорю, канцелярию он рационализировал? Нет! Тогда об чем толк? Мечтателей нам не нужно! Социализм – это учет!

Иван Иванович. Да, да. Вы бывали в бухгалтерии? Я бывал в бухгалтерии – везде цифры и цифры, и маленькие, и большие, самые разные, а под конец все друг с другом сходятся. Учет! Удивительно интересно!

Режиссер. Товарищ, не поймите нас плохо. Мы мо-

жем ошибаться, но мы хотели поставить наш театр на службу борьбы и строительства. Посмотрят – и заработают, посмотрят – и взбудоражатся, посмотрят – и разоблачат.

Победоносиков. А я вас попрошу от имени всех рабочих и крестьян меня не будоражить. Подумаешь, будильник! Вы должны мне ласкать ухо, а не будоражить, ваше дело ласкать глаз, а не будоражить.

Мезальянсова. Да, да, ласкать...

Победоносиков. Мы хотим отдохнуть после государственной и общественной деятельности. Назад, к классикам! Учитесь у величайших гениев проклятого прошлого. Сколько раз я вам говорил. Помните, как пел поэт:

После разных заседаний —
нам не радость, не печаль,
нам в грядущем нет желаний,
нам, тарам, тарам, не жаль...

Мезальянсова. Ну, конечно, искусство должно отображать жизнь, красивую жизнь, красивых живых людей. Покажите нам красивых живчиков на красивых ландшафтах и вообще буржуазное разложение. Даже если это нужно для агитации, то и танец живота. Или, скажем, как идет на прогнившем Западе свежая борьба со старым бытом. Показать, например, на сцене, что

у них в Париже женотдела нет, а зато фокстрот, или какие юбки нового фасона носит старый одряхлевший мир – сконапель – бо монд¹⁸. Понятно?

Иван Иванович. Да, да! Сделайте нам красиво! В Большом театре нам постоянно делают красиво. Вы были на «Красном маке»? Ах, я был на «Красном маке». Удивительно интересно! Везде с цветами порхают, поют, танцуют разные эльфы и... сифилиды.

Режиссер. Сильфиды, вы хотели сказать?

Иван Иванович. Да, да, да! Это вы хорошо заметили – сильфиды. Надо открыть широкую кампанию. Да, да, да, летают разные эльфы... и цвельфы... Удивительно интересно!

Режиссер. Простите, но эльфов было уже много, и их дальнейшее размножение не предусмотрено пятилеткой. Да и по ходу пьесы они нам как-то не подходят. Но относительно отдыха я вас, конечно, понимаю, и в пьесу будут введены соответствующие изменения в виде бодрых и грациозных дополнительных вставок. Вот, например, и так называемый товарищ Победоносиков, если дать ему щекотящую тему, – может всех расхохотать. Я сейчас же сделаю пару указаний, и роль просто разалмазится. Товарищ Победоносиков, возьмите в руки какие-нибудь три-четыре предмета, например, ручку, подпись, бумагу и партмаксимум, и сделайте несколько жонглерских упражнений. Бросайте ручку, хватайте бумагу – ставьте подпись, берите

партмаксимум, ловите ручку, берите бумагу – ставьте подпись, хватайте партмаксимум. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сов-день – парт-день – бю-ро-кра-та. Сов-день – парт-день – бю-ро-кра-та. Доходит?

Победоносиков (*восторженно*). Хорошо! Бодро! Никакого упадочничества – ничего не роняет. На этом можно размяться.

Мезальянсова. Вуй, сэ трэ педагожик. 19

Победоносиков. Легкость телодвижений, нраво-учительная для каждого начинающего карьеру. Доступно, просто, на это можно даже детей водить. Между нами, мы – молодой класс, рабочий – это большой ребенок. Оно, конечно, суховато, нет этой округленности, сочности...

Режиссер. Ну, если вам это нравится, здесь горизонты фантазии необъятны. Мы можем дать прямо символистическую картину из всех наличных актерских кадров. (*Хлопает в ладоши.*)

Свободный мужской персонал – на сцену! Станьте на одно колено и согнитесь с поработанным видом. Сбивайте невидимой киркой видимой рукой невидимый уголь. Лица, лица мрачнее... Темные силы вас злобно гнетут. Хорошо! Пошло!..

Вы будете капитал. Станьте сюда, товарищ капитал. Танцуйте над всеми с видом классового господства. Воображаемую даму обнимайте невидимой ру-

кой и пейте воображаемое шампанское. Пошло! Хорошо! Продолжайте! Свободный женский состав – на сцену!

Вы будете – свобода, у вас обращение подходящее. Вы будете – равенство, значит, все равно, кому играть. А вы – братство, – другие чувства вы все равно не вызовете. Приготовились! Пошли! Подымайте воображаемым призывом воображаемые массы. Заражайте, заражайте всех энтузиазмом! Что вы делаете?!

Выше вздымайте ногу, симулируя воображаемый подъем. Капитал, подтанцовывайте налево с видом Второго Интернационала. Чего руками размахались! Протягивайте щупальцы империализма... Нет щупальцев? Тогда нечего лезть в актеры. Протягивайте что хотите. Соблазняйте воображаемым богатством танцующих дам. Дамы, отказывайтесь резким движением левой руки. Так, так, так! Воображаемые рабочие массы, восстаньте символистически! Капитал, красиво падайте! Хорошо!

Капитал, издыхайте эффектно!

Дайте красочные судороги!

Превосходно!

Мужской свободный состав, сбрасывайте воображаемые оковы, вздымайтесь к символу солнца. Размахивайте победоносно руками. Свобода, равенство и братство, симулируйте железную поступь рабочих когорт. Ставьте якобы рабочие ноги на якобы свергнутый

якобы капитал.

Свобода, равенство и братство, делайте улыбку, как будто радуетесь.

Свободный мужской состав, притворитесь, что вы – «кто был ничем», и вообразите, что вы – «тот станет всем». Взбирайтесь на плечи друг друга, отображая рост социалистического соревнования.

Хорошо!

Постройте башню из якобы могучих тел, олицетворяя в пластическом образе символ коммунизма.

Размахивайте свободной рукой с воображаемым молотом в такт свободной стране, давая почувствовать пафос борьбы.

Оркестр, подбавьте в музыку индустриального грохота.

Так! Хорошо!

Свободный женский состав – на сцену!

Увивайте воображаемыми гирляндами работников вселенной великой армии труда, символизируя цветы счастья, расцветшие при социализме.

Хорошо! Извольте! Готово!

Отдохновенная пантомима на тему – «Труд и капитал актеров напитал».

Победоносиков. Bravo! Прекрасно! И как вы можете с таким талантом размениваться на злободневные мелочи, на пустяшные фельетоны? Вот это подлинное искусство – понятно и доступно и мне, и Ивану Ивано-

вичу, и массаж.

Иван Иванович. Да, да, удивительно интересно! У вас есть телефон? Я позвоню. Кому-нибудь позвоню. Прямо душа через край. Это заражает! Товарищ Моментальников, надо открыть широкую кампанию.

Моментальников

Эчеленца, прикажите!

Аппетит наш невелик.

Только хлеба-зрелищ нам дадите, —
всё похвалим в тот же миг.

Победоносиков. Очень хорошо! Всё есть! Вы только введите сюда еще самокритику, таким символистическим образом, теперь это очень своевременно. Поставьте куда-нибудь в сторонку столик, и пусть себе статьи пишет, пока вы здесь своим делом занимаетесь. Спасибо, до свидания! Я не хочу опошлять и отяжелять впечатления после такой изящной концовочки. С товарищеским приветом!

Иван Иванович. С товарищеским приветом! Кстати, как фамилия этой артисточки, третья сбоку? Очень красивое и нежное... дарование... Надо открыть широкую кампанию, а можно даже и узкую, ну так... я и она. Я позвоню по телефону. Или пускай она позвонит.

Моментальников.

Эчеленца, прикажите!
Стыд природный невелик.
Только адрес, адрес нам дадите,
Стелефоним в тот же миг.

Два капельдинера останавливают лезущего в первый ряд Велосипедкина.

Капельдинер. Гражданин, а гражданин, вас вежливо просят, убирайтесь вы отсюда! Куда вы прете?

Велосипедкин. Мне нужно в первый ряд...

Капельдинер. А бесплатных пирожных вам не нужно? Вас вежливо просят, гражданин, а гражданин? У вас билет в рабочей полосе, а вы в чистую публику прете.

Велосипедкин. Я иду в первый ряд к товарищу Победоносикову по делу.

Капельдинер. Гражданин, а гражданин, в театр для удовольствий ходят, а не по делу. Вам вежливо говорят, катитесь отсюда колбасой!

Велосипедкин. Удовольствие дело послезавтрашнее, а я по делу по сегодняшнему, и, если будет надо, не только первый – мы вам все ряды переворотим с ложами.

Капельдинер. Гражданин, вам вежливо говорят, выметайтесь отсюда! За гардероб не платили, программу не купили, да еще без билета!

Велосипедкин. Да я не смотреть пришел. С моим

делом я и по партийному билету сюда пройду... Я к вам, товарищ Победоносиков!

Победоносиков. Чего вы кричите? И кто это такой? Какой-то Победоносиков?!!

Велосипедкин. Шутки в сторону, бросьте играть. Вы и есть он, и я к вам, который и есть главначпупс Победоносиков.

Победоносиков. Надо-с узнать если не имя-отчество, то хотя бы фамилию, прежде чем обращаться к вышесидящему ответственному товарищу.

Велосипедкин. Так как ты ответственный, ты и отвечай, почему у тебя в канцелярии замораживают изобретение Чудакова? В нашем распоряжении минуты. Несчастье будет непоправимо. Отпустите немедленно деньги, вынесем опыт на максимально возвышенное место и...

Победоносиков. Что за чепуха?! Какой Чудаков? Какие возвышенности? И я вообще сам сегодня выезжаю на возвышенности Кавказа.

Велосипедкин. Чудаков – это изобретатель...

Победоносиков. Изобретателей много, а я один, и вообще прошу не беспокоить меня хотя бы в редкие, урегулированные подлежащими инстанциями минуты отдыха. Зайдите в пятницу.

Режиссер усиленно машет рукой Велосипедкину.

Велосипедкин. К тебе зайдут – и не в пятницу, а сегодня, и не я, а...

Победоносиков. Пускай заходит кто угодно, и не ко мне, а к моему заместителю. Если в приказе объявлено о моем отпуске, значит, меня нет. Надо понимать конструкцию нашей конституции.

Это безобразие!

Велосипедкин (к *Ивану Ивановичу*). Втолкните ему, втелефонируйте ему, вы же обещали!

Иван Иванович. Приставать с делами к лицу, находящемуся в отпуску!!! Удивительно интересно! У вас есть телефон? Я позвоню Николаю Александровичу. Надо беречь здоровье старых ответственных, пока они еще молоды.

Режиссер. Товарищ Велосипедкин, умоляю вас, не устраивайте скандала! Он же ж не из пьесы. Он просто похож, и умоляю вас, чтобы они не догадались. Вы получите полное удовлетворение по ходу действия.

Победоносиков. Прощайте, товарищ! Нечего сказать, называетесь ррреволюционным театром, а сами раздражаете... как это вы сказали?.. будоражите, что ли, ответственных работников. Это не для масс, и рабочие и крестьяне этого не поймут, и хорошо, что не поймут, и объяснять им этого не надо. Что вы из нас каких-то действующих лиц делаете? Мы хотим быть бездейственными... как они называются? – зрителями. Не-еет! В следующий раз я пойду в другой театр!

Иван Иванович. Да, да, да! Вы видали «Вишневую квадратуру»? А я был на «Дяде Турбиных». Удивитель-

но интересно!

Режиссер(*Велосипедкину*). Что вы наделали? Вы чуть не сорвали весь спектакль. Пожалте на сцену! Пьеса продолжается!

IV ДЕЙСТВИЕ

Сцена переплетена входными лестницами. Углы лестниц, площадки и двери квартир. На верхнюю площадку выходит одетый и с чемоданом Победоносиков. Пытается плечом придавить дверь, но Поля распахивает дверку и выбегает на площадку. Кладет руку на чемодан.

Поля. Что ж, я так и останусь?.. Не смешно!

Победоносиков. Я прошу тебя прекратить этот разговор. Какое семейное мещанство! Каждый врач скажет, что для полного отдыха необходимо вырвать себя, именно себя, а не тебя, из привычной среды, ну и я еду восстановить важный государству организм, укрепить его в разных гористых местностях.

Поля. Я же знаю, ну, видела, – тебе принесли два билета. Я могла думать... Ну, чем, чем я тебе мешаю? Смешно!

Победоносиков. Оставь ты эти мещанские представления об отдыхе. Мне на лодках кататься некогда. Это мелкие развлечения для разных секретарей. Плы-

ви, моя гондола! У меня не гондола, а государственный корабль. Я тебе не загорать еду. Я всегда обдумываю текущий момент, а потом там... доклад, отчет, резолюция – социализм. По моему общественному положению мне законом присвоена стенографистка.

Поля. Когда я твоей стенографии мешала? Смешно! Ну, хорошо, ты перед другими ханжишь, стараешься, но чего ты меня обманываешь? Не смешно. Чего ты меня ширмой держишь?! Пусти ты меня, ради бога, и стенографируй хоть всю ночь!

Смешно!

Победоносиков. Тс... Ты меня компрометируешь своими неорганизованными, тем более религиозными выкриками. «Ради бога». Тсс... Внизу живет Козляковский, он может передать Павлу Петровичу, а тот знаком домами с Семеном Афанасьичем.

Поля. Чего скрывать? Смешно!

Победоносиков. Тебе, тебе нужно скрывать, скрывать твои бабьи мещанские, упадочные настроения, создавшие такой неравный брак. Ты вдумайся хотя бы перед лицом природы, на которую я еду. Вдумайся! Я – и ты! Сейчас не то время, когда достаточно было идти в разведку рядом и спать под одной шинелью. Я поднялся вверх по умственной, служебной и по квартирной лестнице. Надо и тебе уметь самообразовываться и диалектически лавировать. А что я вижу в твоём лице? Пережиток прошлого, цепь старого быта!

Поля. Я тебе мешаю? Чем? Смешно! Это ты из меня сделал ощипанную наседку.

Победоносиков. Тсс!!! Довольно этой ревности! Сама шляешься по чужим квартирам. Комсомольские удовольствия, да? Думаешь, я не знаю? Не могла себе даже хахалей найти сообразно моему общественному положению. Шкодливая юбконосица!

Поля. Замолчи! Не смешно!

Победоносиков. Тсс!!! Я тебе сказал, внизу живет Козляковский. Зайдем в квартиру. Это надо, наконец, кончить!

Хлопает дверью, вталкивая Полю в квартиру. На нижней ступеньке показывается Велосипедкин, за ним Чудаков, груженный невидимой машиной. Невидимую машину поддерживают Двойкин и Тройкин.

Велосипедкин. Нажимай, товарищи! Еще ступенек двадцать. Тащи тихо! Чтоб он не спрятался опять за секретарей и бумажки. Пускай эта бомба времени разорвется у него.

Чудаков. Боюсь, не успеем донести. Просчет в десятую секунды даст разницу в целый час по нашему времени.

Двойкин. Ты чувствуешь, как нагреваются части под рукой? Стекло закипает.

Тройкин. С моей стороны планка накаляется до невозможности. Плита! Честное слово, плита! С трудом держусь, чтоб не разжать ладонь.

Чудаков. Тяжесть машины увеличивается с каждой секундой. Я почти могу поручиться, что в машине материализуется постороннее тело.

Двойкин. Товарищ Чудаков, топай скорей! Поддерживать нет возможности. Огонь несем!!!

Велосипедкин*(подбегает и поддерживает, обжигаясь)*. Товарищи, не сдавайтесь. Еще ступенек десять – пятнадцать, он сейчас же здесь наверху. О, черт, адово пламя! *(Отрывает обожженную руку.)*

Чудаков. Тащить дальше нельзя. Видимо, остаются секунды. Скорее! Хотя б до площадки! Сваливайте здесь!

Из двери выбегает Победоносиков, дверь захлопывает, потом стучит. Дверь приоткрывается, показывается Поля.

Победоносиков. Ты, конечно, не волнуйся... Ты, Полечка, помни, что ты сама можешь понять, что нашу жизнь, мою жизнь может устроить только твое доброе желание.

Поля. Мое? Сама? Не смешно.

Победоносиков. Кстати, я забыл спрятать браунинг. Он мне, должно быть, не пригодится. Спрячь, пожалуйста. Помни, он заряжен, и, чтоб выстрелить, надо только отвести вот этот предохранитель. Прощай, Полечка!

Захлопывает дверь, прижимает ухо к замочной скважине, прислушивается. На нижней ступеньке показывается Мезальянсова.

Мезальянсова. Носик, ты скоро?

Победоносиков. Т-с-с-с!!!

Грохот, взрыв, выстрел. Победоносиков распахивает дверь и бросается в квартиру. На нижней площадке фейерверочный огонь. На месте поставленного аппарата светящаяся женщина со свитком в светящихся буквах. Горит слово «Мандат». Общее оштолбенение. Выскакивает Оптимистенко, на ходу подтягивает брюки, в ночных туфлях на босы ноги, вооружен.

Оптимистенко. Где? Кого?!

Фосфорическая женщина. Привет, товарищи! Я делегатка 2030 года. Я включена на двадцать четыре часа в сегодняшнее время. Срок короткий, задания чрезвычайные. Проверьте полномочия и оповеститесь.

Оптимистенко*(бросается к делегатке, всматривается в мандат, скороговоркой проборматывая текст).* «Институт истории рождения коммунизма...» Так... «Даны полномочия...» Правильно... «Отобрать лучших...» Ясно... «для переброски в коммунистический век...» Что делается-то! Что делается, господи!.. *(Бросается вверх по ступенькам.)*

На пороге появляется раздраженный Победоносиков.

Товарищ Победоносиков, к вам делегат из центра.

Победоносиков снимает кепку, роняет чемодан, растерянно пробегает мандат, потом торопливо

приглашает рукой в квартиру. К Оптимистенко шепотом, потом к Фосфорической женщине.

Победоносиков *(к Оптимистенко)*. Накрути хвост вертушке. Справься там, знаешь у кого, возможная ли эта вещь, сообразно ли это с партэтикой и мыслимо ли безбожнику верить в такие сверхъестественные явления. *(К Фосфорической женщине.)* Я, конечно, уже в курсе этого дела, и мною оказано всемерное содействие. Ваши компетентные органы поступили вполне продуманно, направив вас ко мне. У нас этот вопрос уже прорабатывается в комиссии и сейчас же за получением руководящих директив будет с вами согласован. Пройдите прямо в мой кабинет, не обращая внимания на некоторое мешчанство вследствие неувязки равенства культурного уровня супружества. *(К Велосипедкину.)* Пожалуйста! Я ж вам говорил – заходите прямо ко мне!

Победоносиков пропускает Фосфорическую женщину, постепенно охлаждающуюся и приходящую в нормальный вид.

(К подбежавшему Оптимистенко.) Ну, что, что?

Оптимистенко. Оне смеются и говорят, что это за границей человеческого понимания.

Победоносиков. Ах, за границей! Значит, надо с ВОКСом увязать. Самую мельчайшую вещь надо растолковывать. Сами ни малейшей инициативы не могут проявить. Товарищ Мезальянсова, стенография от-

кладывается. Подымайтесь вверх для немедленной сверхурочной культурной связи.

V ДЕЙСТВИЕ

Установка второго действия, только беспорядочная. Надпись: «Бюро по отбору и переброске в коммунистический век». Вдоль стены сидят Мезальянсова, Бельведонский, Иван Иванович, Кич, Победоносиков, Оптимистенко секретарствует на приеме. Победоносиков входит недовольный, придерживая двумя руками два портфеля.

Оптимистенко. В чем дело, гражданин?

Победоносиков. Нет, так это продолжаться не может! Я об этом еще поговорю. Я и в стенную газету про это напишу. Обязательно напишу!!! С бюрократизмом и протекционизмом надо бороться. Я требую пропустить меня вне очереди!

Оптимистенко. Товарищ Победоносиков, да какой же может быть бюрократизм перед проверкой и перед отбором? Не треба вам ее беспокоить. Идите себе вне очереди. Вот очередь пройдет, и валяйте прямо сами по себе и без всякой очереди.

Победоносиков. Мне нужно сейчас!

Оптимистенко. Сейчас? Пожалуйста, сейчас! Только же ж у вас часы с ихними часами не согласованы. У

нее же ж, товарищ, время другое, и как она мне скажет, вы сейчас же ж и пойдете...

Победоносиков. Так ведь мне ж надо в связи с переломкой выяснить массу дел: и оклад, и квартиру, и прочее.

Оптимистенко. Тьфу! Да я же ж вам говорю, не суйтесь вы с мелочами в крупное госучреждение! Мы мелочами заниматься не можем. Государство крупными вещами интересуется: фордизмы разные, машины времени, то, сё...

Иван Иванович. Вы когда-нибудь бывали в очереди? Я первый раз бываю в очереди. Удивительно неинтересно!

Бывший кабинет Победоносикова полон. Приподнятость и боевой беспорядок первых октябрьских дней. Фосфорическая женщина говорит.

Фосфорическая женщина. Товарищи, сегодняшняя встреча – наспех. Со многими мы проведем года. Я расскажу вам еще много подробностей нашей радости. Едва разнеслась весть о вашем опыте, ученые установили дежурство. Они много помогли вам, учитывая и корректируя ваши неизбежные просчеты. Мы шли друг к другу, как две бригады, прорывающие тоннель, пока не встретились сегодня. Вы сами не видите всей грандиозности ваших дел. Нам виднее: мы знаем, что вошло в жизнь. Я с удивлением оглядывала квартирки, исчезнувшие у нас и тщательно реставри-

руемые музеями, и я смотрела гиганты стали и земли, благодарная память о которых, опыт которых и сейчас высятся у нас образцом коммунистической стройки и жизни. Я разглядывала незаметных вам засаленных юношей, имена которых горят на плитах аннулированного золота. Только сегодня из своего краткого облета я оглядела и поняла мощь вашей воли и грохот вашей бури, выросшей так быстро в счастье наше и в радость всей планеты. С каким восторгом смотрела я сегодня ожившие буквы легенд о вашей борьбе – борьбе против всего вооруженного мира паразитов и поработителей. За вашей работой вам некогда отойти и полюбоваться собой, но я рада сказать вам о вашем величии.

Чудаков. Товарищ, простите, я вас перебую. Но времени остается наших шесть часов, и мне нужны ваши последние указания. Сколько будет отправлено, год назначения, быстрота?

Фосфорическая женщина. Направление – бесконечность, скорость – секунда – год, место – 2030 год, сколько и кто – неизвестно. Известна только станция назначения. Здесь – ценность неясна. Будущему прошлое – ладонь. Примут тех, кто сохранится в ста годах. Приступайте, товарищ! Кто с вами?

Фоскин. Я!

Двойкин. Я!

Тройкин. Я!

Фосфорическая женщина. А кто из математиков –

для чертежей и руководства?

Фоскин. Мы!

Двойкин. Мы!

Тройкин. Мы!

Фосфорическая женщина. Как? Вы и рабочие, вы и математики?

Велосипедкин. Очень просто! Мы и рабочие, мы и вузовцы.

Фосфорическая женщина. Для нас просто. Я не знала, прост ли для вас переход от конвейера к управлению, от рашпиля к арифмометру.

Двойкин. Не такие переходы делали, товарищ. Мы броненосцы делали, потом зажигалки, с зажигалками кончили – штыки начали, штыков наделали – на трактора перешли, да еще всякую учебу на вуз наматывали. И у нас многие не верили, только мы это неверие в рабочий класс ликвидировали. Когда вы наше время изучали, у вас небольшой просчетец вышел. Вы, кажется, про прошлый год думаете?

Фосфорическая женщина. Я вижу, с вашим подвижным курьерским мозгом встать бы прямо в наши ряды и в нашу работу.

Велосипедкин. Этого мы и боимся, товарищ. Машину мы пустим и, конечно, пойдём, если ячейка пошлет. Но, пожалуйста, лучше пока не берите нас никуда. У нас как раз наш цех на непрерывку переходит – очень важно и интересно знать, выполним ли мы пятилетку

в четыре года.

Фосфорическая женщина. Обещаю одно. Остановимся на станции 1934 год для получения справок. Но если таких, как вы, много, то и справок не надо.

Чудаков. Идем, товарищи!

Стена канцелярии. Пробегают Чудаков, Велосипедкин, Двойкин, Тройкин, Фоскин, на ходу сверяя планы. Победоносиков семенит за Чудаковым. Чудаков отмахивается.

Победоносиков(*возбужденно размахивая*). Подумаешь, какой-то Чудаков пользуется тем, что изобрел какой-то аппаратишко времени и познакомился с этой бабой, ответ-женщиной, раньше. Я еще не уверен вообще, что здесь не просто бытовое разложение и вообще связи фридляндского порядка. Пол и характер! Да! Да! (*К Оптимистенко.*) Подчиненный товарищ Оптимистенко, вы же должны понять, что вопрос касается важнейшей вещи о поездке моей, ответственного работника, во главе целого учреждения в столетнюю служебную командировку.

Оптимистенко. Да не согласовано ваше путешествие!

Победоносиков. То есть как это не согласовано? Я уже с утра себе и литеры и мандаты выписал!

Оптимистенко. Ну, видите, а с НКПС не увязано.

Победоносиков. Но при чем же тут НКПС? Это же головотяпство! Это же ж не поезд. Тут в одну секунду

сорок человек или восемь лошадей мчат вперед на целый год.

Оптимистенко. Отказать! Нежизненно! Кто же ж согласится ездить в командировку, когда ему за сто лет суточных треба, а ему секундочные выписывать будут?

Кабинет Победоносикова.

Фосфорическая женщина. Товарищи...

Поля. Прошу слова! Простите за навязчивость, я без всякой надежды, какая может быть надежда! Смешно! Я просто за справкой, что такое социализм. Мне про социализм товарищ Победоносиков много рассказывал, но все это как-то не смешно.

Фосфорическая женщина. Вам недолго осталось ждать. Вы поедете вместе с мужем, с детьми.

Поля. С детьми? Смешно, у меня нет детей. Муж говорит, что в наше боевое время лучше не связываться с таким несознательным не то элементом, не то алиментом.

Фосфорическая женщина. Хорошо. Вас не связывают дети, но ведь вас связывает многое другое, раз вы живете с мужем.

Поля. Живу? Смешно! Я не живу с мужем. Он живет с другими, равными ему умом, развитостью. Не смешно!

Фосфорическая женщина. Почему же вы называете его мужем?

Поля. Чтобы все видели, что он против распущен-

ности. Смешно!

Фосфорическая женщина. Понимаю. Значит, он просто заботится о вас, чтобы у вас все было?

Поля. Да... он заботится, чтобы у меня ничего не было. Он говорит, что обрастание меня новым платьем компрометирует его в глазах товарищей. Смешно!

Фосфорическая женщина. Не смешно!

Стена канцелярии. Проходит Поля.

Победоносиков. Поля? Ты как здесь? Доносила? Жаловалась?!

Поля. Жаловалась? Смешно!

Победоносиков. Ты ей, главное, рассказала, как мы шли вместе, плечо к плечу, навстречу солнцу коммунизма? Как мы боролись со старым бытом? Женщины любят сентиментальность. Ей это понравилось? Да?

Поля. Вместе? Смешно!

Победоносиков. Ты смотри, Поля! Ты не должна запятнать мою честь как члена партии с выдающимся стажем. Ты должна помнить про партийную этику и не выносить сора из избы. Кстати, ты пошла бы в избу, то есть в квартирку, и убрала бы, вынесла сор и уложила вещи. Я еду. Я против совместительства и пока поеду один, а тебя выпишу, когда вообще буду выписывать родственников. Иди домой, Поля, а то...

Поля. Что «а то»? Не смешно!

Кабинет Победоносикова.

Фосфорическая женщина. Выбор на ваше учре-

ждение пал случайно, как и изобретения кажутся случайными. Пожалуй, лучшие образцы людей в том учреждении, в котором работают Тройкины и Двойкины. Но у вас на каждой пяди стройка, хорошие экземпляры людей можно вывезти и отсюда.

Ундертон. Скажите, а мне можно с вами?

Фосфорическая женщина. Вы отсюда?

Ундертон. Пока ниоткуда.

Фосфорическая женщина. Как так?

Ундертон. Сократили.

Фосфорическая женщина. Что это значит?

Ундертон. Губы, говорят, красила.

Фосфорическая женщина. Кому?

Ундертон. Себе.

Фосфорическая женщина. Больше ничего не делали?

Ундертон. Перестукивала. Стенографировала.

Фосфорическая женщина. Хорошо?

Ундертон. Хорошо.

Фосфорическая женщина. Отчего ж ниоткуда?

Ундертон. Сократили.

Фосфорическая женщина. Почему?

Ундертон. Губы красила.

Фосфорическая женщина. Кому?

Ундертон. Да себе ж!

Фосфорическая женщина. Так какое ж им дело?

Ундертон. Сократили.

Фосфорическая женщина. Почему?

Ундертон. Губы, говорят, красила!

Фосфорическая женщина. Так зачем же вы красили?

Ундертон. Не покрасить, тогда и совсем не примут.

Фосфорическая женщина. Не понимаю. Если б вы еще кому-нибудь другому, скажем, приходящим за справками на работе красили б, ну, тогда б могли сказать – мешает, посетители обижаются. А так...

Ундертон. Товарищ, вы меня извините за губы. Что мне делать? В подполье я не была, а нос у меня в веснушках, на меня только и внимание обратят, что я губами бросаюсь. Если у вас и без этого на людей смотрят, вы скажите, только покажите вашу жизнь – хоть краешком! Конечно, там у вас все важные... с заслугами, там Победоносиковы разные. Я им на глаза попадаться не буду, но все-таки пустите... Если не подойду, я обратно вернусь... вышлете сейчас же. А в дороге я могу кой-чего поделать, впечатления будете диктовать или отчет в израсходовании – я настаю.

Ночкин. А я подсчитаю. Я лучше у вас в МУУР заявлю, а то пока здесь суды разберутся...

Стена приемной.

Победоносиков. Запишите, занесите в протокол! В таком случае я должен заявить, что я снимаю с себя всякую ответственность, и если вследствие незнакомства с предшествующей перепиской, а также неудачно-

го подбора личного состава произойдет катастрофа...

Оптимистенко. Ну, это вы оставьте!.. Не угрожайте крупному государственному учреждению, нам нервничать и волноваться неудобно. А если произойдет катастрофа, мы тогда и доведем до сведения милиции на предмет составления протокола.

Проходит Ночкин, прячась за Ундертон.

Победоносиков*(останавливая Ночкина и меряя Ундертон глазами).* Как? Еще в учреждении?! Еще на свободе?!! Товарищ Оптимистенко! Почему не приняты меры? Но, впрочем, раз вы еще на свободе, вы не можете уклоняться от срочной работы. Надо соответственно с моими командировками выписать подъемные и суточные, исходя из нормального понятия о времени и среднего заработка за сто лет, ну и там командировочные и подотчетные... В случае порчи машины, может, где-нибудь придется простоять, на каком-нибудь глухом полугодии, лет двадцать, тридцать, надо все это предусмотреть и принять во внимание. Нельзя так не организованно катиться...

Ночкин. А ты организованно катись колбасой!!!
(Скрывается.)

Иван Иванович. Колбасой? Вы бывали на заседаниях? Я бывал на заседаниях. Везде бутерброды с сыром, с ветчиной, с колбасой – удивительно интересно!

Победоносиков*(один, разваливается в кресле).* Ну, хорошо, я уйду! При таком отношении я скажу, что

я ухожу в отставку. Пускай потом изучают меня по воспоминаниям современников и портретам. Я ухожу, но вам же, товарищи, хуже!

Выходит Фосфорическая женщина.

Оптимистенко. Прием закрыт! Придите завтра, в порядке живой очереди.

Фосфорическая женщина. Какой прием? Какое завтра? Какая очередь?!!

Оптимистенко(*указывая на вывеску «Без доклада не входить»*). Согласно с основными законами.

Фосфорическая женщина. А, вы эту глупость снять забыли?!

Победоносиков(*вскакивая и идя рядом с Фосфорической женщиной*). Здравствуйте, здравствуйте, товарищ. Простите, что я опоздал, но эти дела... Я все-таки к вам заехал на минутку. Я отказывался. Но никто и слушать не хочет. Езжай, говорят, представительствуй. Ну, раз коллектив просит, – пришлось согласиться. Только имейте в виду, товарищ, я работник центрального значения, пускай другие колхозятся. Вы это учтите заранее и снесите. Товарищ Оптимистенко может дать молнией за наш счет. Вы, конечно, сами понимаете, что мне придется предоставить должность согласно стажу и общественному положению как крупнейшему работнику в своей области.

Фосфорическая женщина. Товарищ, я никого никуда не определяю, я явилась к вам только для убедит-

тельности. Не сомневаюсь, что с вами поступят так, как вы заслуживаете.

Победоносиков. Инкогнито? Понимаю! Но между нами, как облеченными обоюдным доверием, не может быть тайн. И я, как старший товарищ, должен вам заметить, что вас окружают люди не вполне стопроцентные. Велосипедкин курит. Чудаков – пьет, должно быть, пьет сообразно с фантазией. Должен сказать и про жену, не смею утаить от организации, – мещанка и привержена к новым связям и к новым юбкам, совокупно именуемым старым бытом.

Фосфорическая женщина. Ну какое вам дело? Работают зато...

Победоносиков. Ну что ж, что зато? Я тоже за то, но я зато не пью, не курю, не даю «на чай», не загибаю влево, не опаздываю, не... *(наклоняется к уху)* не предаюсь излишествам, не покладаю рук...

Фосфорическая женщина. Это вы говорите про все, чего вы «не, не, не»... Ну а есть что-нибудь, что вы «да, да, да»?

Победоносиков. Да, да, да? Ну да! Директивы провозжу, резолюции подшиваю, связь налаживаю, партвзносы плачу, партмаксимум получаю, подписи ставлю, печать прикладываю... Ну, просто уголок социализма. У вас там, должно быть, циркуляция бумажек налажена, конвейер, а?

Фосфорическая женщина. Не знаю, про что вы го-

ворите, но, конечно, бумага для газет подается в машину исправно.

Входят Понт Кич и Мезальянсова.

Понт Кич. Кхе, кхе!

Мезальянсова. Плиз, сэр.

Понт Кич. Асеев, бегемот, дай в долг, лик избит, и стоимость снизилась май пуд часейшен...

Мезальянсова. Мистер Понт Кич хочет сказать, что он может по сходной государственной цене скупить, ввиду полной ненадобности, все часы, и тогда он поверит в коммунизм.

Фосфорическая женщина. Понятно и без перевода. Сначала признайте – выгоды потом! Товарищи! Приходите вовремя, – ровно в двенадцать часов на станцию 2030 год отбывает первый поезд времени.

VI ДЕЙСТВИЕ

Подвал Чудакова. С двух сторон невидимой машины возятся Чудаков и Фоскин, Велосипедкин и Двойкин. Фосфорическая женщина сверяет с планом невидимую машину. Тройкин хранит двери.

Фосфорическая женщина. Товарищ Фоскин! Щиты, ослабляющие ветер, ставьте ординарные. Пятилетка приучила к темпу и скорости. Переход почти не будет заметен.

Фоскин. Стекло сменю. Полмиллиметра. Небьющееся.

Фосфорическая женщина. Товарищ Двойкин! Проверьте рессоры. Смотрите, чтобы не трясло на ухабах праздников. Непрерывка избаловала плавным ходом.

Двойкин. Пройдем плавно, только б не валялись водочные бутылки на дороге.

Фосфорическая женщина. Товарищ Велосипедкин! Следите за манометром дисциплины. Отклонившихся срежет и снесет.

Велосипедкин. Ничего! Подтянем струною!

Фосфорическая женщина. Товарищ Чудаков, готово?

Чудаков. Отметим линию стояния, и можно пускать пассажиров.

Белая лента-рулон размотана между колесами невидимой машины.

Велосипедкин. Тройкин, пускай!

С четырех сторон с плакатами под «Марш времени» вливаются пассажиры.

Марш времени

Взвивайся, песня,
рей, моя, над маршем
красных рот!

Впе-
ред,
вре-
мя!
Вре-
мя,
вперед!
Вперед, страна,
скорей, моя,
пускай
старье
сотрет!
Впе-
ред,
вре-
мя!
Вре-
мя,
вперед!
Шагай, страна,
быстрей, моя,
коммуна —
у ворот!
Впе-
ред,
вре-
мя!
Вре-мя,
вперед!
На пятилетке

премией

мы —

сэкономим год!

Впе-

ред,

вре-

мя!

Вре-

мя,

впе-

ред!

Наляг, страна,

скорей, моя,

на непрерывный ход!

Впе-

ред,

вре-

мя!

Вре-

мя,

вперед!

Сильней, коммуна,

бей, моя,

пусть вымрет

быт-урод!

Впе-

ред,

вре-

мя!

Вре-

мя,
вперед!
Взвивайся, песня,
рей, моя,
над маршем
красных рот!
Впе-
ред,
вре-мя!
Вре-
мя,
вперед!

Оптимистенко (*отделяясь от толпы, к Чудакову*).

Товарищ, я вас должен конфиденциально спросить – буфет будет? Так и знал! А почему не оповещено приказом? Забыли? Ну, ничего, питья хватит, с едой перебежусь. Заходите в наше купе. Которое местечко-то?

Чудаков. Становитесь рядом. Плечо к плечу. Об усталости не беспокойтесь. Только поворот вот этого колеса – и через секунду...

Победоносиков (*входит в сопровождении Мезальянсовой*). Звонка еще не было? Можно давать. Сразу второй! (*К Двойкину*.) Товарищ, ты партийный? Да? Не в службу, а в дружбу – помоги там с вещами. Документы важные, о-о-о!!! Нельзя доверять разным беспартийным носильщикам, носящим только за деньги, а тебе, как выдвигенцу, пожалуйста, – неси! Доверяю!...

Кто здесь завглавнач посадки? Где мое купе? Мое место, конечно, нижнее...

Фосфорическая женщина. Машина времени еще не вполне оборудована. Вам, как пионерам этого вида транспорта, придется стоять со всеми.

Победоносиков. При чем тут пионеры? Пионерский слет закончен, и попрошу никогда больше не надоедать мне с пионерами. Эта кампания проведена! Я просто не поеду! Черт знает что такое! Надо наконец научиться беречь старого гвардейца, а то я уйду из гвардии. Наконец я требую компенсации за неиспользованный отпуск! Одним словом, где вещи?

Двойкин толкает вагонетку с перевязанными кипами бумаг, шляпными картонками, портфелями, охотничьими ружьями и шкафом-сундуком Мезальянсовой. С четырех углов вагонетки четыре сеттера. За вагонеткой Бельведонский, с чемоданом, ящиком, кистями, портретом.

Фосфорическая женщина. Товарищ, это что за громадный универмаг?

Оптимистенко. Да нет же ж. Это малюсенькое обростание.

Фосфорическая женщина. Ну, зачем вам? Хоть часть оставьте!

Оптимистенко. Конечно, товарищ, почтой дошлете.

Победоносиков. Попрошу без замечаний! Развесьте себе стенную газету и замечайте там. Я должен

представить циркуляры, литеры, копии, тезисы, перекопии, поправки, выписки, справки, карточки, резолюции, отчеты, протоколы и прочие оправдательные документы при хотя бы вещественных собаках. Я мог спросить дополнительный вагон-бис, но я не спрашиваю сообразно со скромностью в личной жизни. Не теряйте политику дальнего прицела. Вам это тоже очень и очень пригодится. Получив штаты, я переведу канцелярию в общемировой масштаб. Расширив штаты, я переведу масштаб в междупланетный. Надеюсь, вы не хотите обесканцелярить и дезорганизовать планету?

Оптимистенко (*Фосфорической женщине*). Не возражайте, гражданка. Жалко же ж планету.

Фосфорическая женщина. Только возитесь быстрее!

Победоносиков. Я попрошу вас не вмешиваться не в свою компетенцию. Это слишком! Попрошу не забывать – это мои люди, и пока я не снят, я здесь распронаиглавный. Мне это надоело! Я буду жаловаться всем на все действия решительно всех, как только вступлю в бразды. Посторонитесь, товарищи! Ставьте вещи сюда. Где портфель светло-желтого молодого теленка с монограммой? Оптимистенко, сбегайте! Не волнуйтесь, подождут! Я останавливаю поезд по государственной необходимости, а не из-за пустяков.

Оптимистенко бросается, навстречу Поля с портфелем.

Поля. Пожалуйста, не шипи! Я прибирала дома, как ты велел, – сейчас вернусь, доприбираюсь. Вижу – забыл. Думаю – важное! Смешно! Прибежала – пожалуйста! *(Передает портфель.)*

Победоносиков. Принимаю портфель и принимаю к сведению. Надо напоминать раньше! В следующий раз я буду рассматривать это как прорыв и ослабление супружеской дисциплины. Провожатые, выйдите! Прощай, Поля! Когда я устроюсь, я тебе буду присылать треть чего-нибудь в согласии с практикой суда и вплоть до изменения устаревшего законодательства.

Понт Кич*(входя и останавливаясь)*. Кхе, кхе!

Мезальянсова. Плиз, сэр!

Понт Кич. Вор нагл драл с лип жасмин дай нам плюньте биллетер...

Мезальянсова. Мистер Кич хочет сказать и говорит, что он без билета, потому что не знал, какой нужен – партийный или железнодорожный, но что он согласен вращать в любой социализм, только чтоб это ему было доходно...

Оптимистенко. Плиз, плиз, сэр. Дорогой договоримся.

Иван Иванович. Привет! Наше вам и вашим и нашим достижениям. Еще одно последнее усилие – и всё будет изжито. Вы видали социализм? Я сейчас увижу социализм – удивительно интересно.

Победоносиков. Итак, товарищи... Почему и на чем

мы остановились?

Ундертон. Мы остановились на «Итак, товарищи...».

Победоносиков. Да! Прошу слово! Беру слово! Итак, товарищи, мы переживаем то время, когда в моем аппарате изобретен аппарат времени. Этот аппарат освобожденного времени изобретен именно в моем аппарате, потому что у меня в аппарате было сколько угодно свободного времени. Настоящий текущий момент характеризуется тем, что он момент стоячий. А так как в стоячем моменте неизвестно, где заключается начало и где наступает конец, то я сначала скажу заключительное слово, а потом вступительное. Аппарат прекрасный, аппарату рад – рад и я и мой аппарат. Мы рады потому, что, раз мы едем раз в год в отпуск и не пустим вперед год, мы можем быть в отпуску каждый год два года. И наоборот, теперь мы получаем жалованье один день в месяц, но раз мы можем пропустить весь месяц в один день, то мы можем получать жалованье каждый день весь месяц. Итак, товарищи...

Голоса.

– Долой!

– Довольно!!

– Валяй без молебнов!!!

– Чудаков, выключи ему время!

Чудаков подкручивает Победоносикова. Победоносиков продолжает жестикулировать, но уже совсем

не слышен.

Оптимистенко. В свою очередь беру слово от лица всех и скажу вам прямо в лицо, невзирая на лица, что нам все равно, какое лицо стоит во главе учреждения, потому что мы уважаем только то лицо, которое поставлено и стоит. Но скажу нелицеприятно, что каждому лицу приятно, что это опять ваше приятное лицо. Поэтому от лица всех подношу вам эти часы, так как эти идущие часы будут к лицу именно вам, как лицу, стоящему во главе...

Голоса.

– Долой!!!

– Посолите ему язык!!

– Закрути ему кран, Чудаков!

Чудаков выключает Оптимистенко. Оптимистенко тоже жестикулирует, но и его не слышно.

Фосфорическая женщина. Товарищи! По первому сигналу мы мчим вперед, перервав одряхлевшее время. Будущее примет всех, у кого найдется хотя бы одна черта, роднящая с коллективом коммуны, – радость работать, жажда жертвовать, неутомимость изобретать, выгода отдавать, гордость человечностью. Удесатерим и продолжим пятилетние шаги. Держитесь массой, крепче, ближе друг к другу. Летящее время сметет и срежет балласт, отягченный хламом, балласт опустошенных неверием.

Победоносиков. Отойди, Поля!

Ночкин(*збегает, преследуемый*). Мне бы только добежать до социализма, уж там разберут.

Милиционер(*догоняет, свистя*). Держи!!!

Вскакивают в машину.

Фосфорическая женщина. Раз, два, три!

Бенгальский взрыв. «Марш времени». Темнота.

На сцене Победоносиков, Оптимистенко, Бельведонский, Мезальянсова, Понт Кич, Иван Иванович, скинутые и раскиданные чертовым колесом времени.

Оптимистенко. Слезай, приехали!

Победоносиков. Поля, Полечка! Пощупай меня, осмотри меня со всех сторон. Кажется, меня переехало временем. Полина!.. Увезли?! Задержать, догнать и перегнать! Который час? (*Смотрит на дареные часы.*)

Оптимистенко. Отдавайте, отдавайте часы, гражданин! Бытовая взятка нам не к лицу как таковая, коль скоро я один от лица всех месячное жалованье в эти часы вложил. Мы найдем себе другое лицо, чтобы подносить часы и уважать.

Иван Иванович. Лес рубят – щепки летят. Маленькие... большие недостатки механизма. Надо пойти привлечь советскую общественность. Удивительно интересно!

Победоносиков. Художник, лови момент, изобрази живого человека в смертельном оскорблении!

Бельведонский. Не-е-ет! Ракурс у вас какой-то стал неудачный. На модель надо смотреть, как утка на бал-

кон. У меня только снизу вверх получается вполне художественно.

Победоносиков (*Мезальянсовой*). Хорошо, хорошо, пускай попробуют, поплавают без вождя и без ветрил! Удаляюсь в личную жизнь писать воспоминания. Пойдем, я с тобой, твой Носик!

Мезальянсова. Я уже с носиком, и даже с носом, и даже с очень большим. Ни социализма не смогли устроить, ни женщину. Ах вы, импо... зантная фигурочка, нечего сказать! Гуд бай, адье, ауф-видерзейн, прощайте!!! Плиз, май Кичик, май Пончик! (*Уходит с Понтом Кичем.*)

Победоносиков. И она, и вы, и автор – что вы этим хотели сказать, – что я и вроде не нужны для коммунизма?!?

Конец

1928-1930

Примечания

1

школа изящных искусств (франц. – école des beaux arts).

2

Дальнейшие части показывают безотносительность моего Интернационала немецкому. Второй год делаю эту вещь. Выделявая дальнейшее, должно быть, буду не раз перерабатывать и «открытое». (Прим. авт.)

3

Стакан Кото дает энергию (фр.)

4

Как поживаете, дорогой товарищ Верлен?
(франц.). – Ред.

5

Да здравствуют Советы!.. Долой войну!.. Долой капитализм!..(франц.). – Ред.

6

Положение обязывает (фр. noblesse oblige).

7

Большого оперного театра (фр.)

8

Да здравствует Франция! (фр.)

9

До свидания (франц. – Au revoir)

10

прелестно (франц. – charmant)

11

маленькая история (франц. – petite historie)

12

Говорите ли вы по-английски? (англ. – Do you speak English?)

13

Говорите ли вы по-немецки? (нем. – Sprechen sie deutsch?)

14

Говорите ли вы по-французски? (франц. – Parlez-vous francais?)

15

что называется (франц. – ce qu'on appelle).

16

Понимаете? (франц. – Vous comprenez?)

17

пожалуйста (англ. – please).

18

высший свет (франц. – Beau monde).

19

Да, это очень педагогично (франц. – Oui, c'est tres pedagogique).